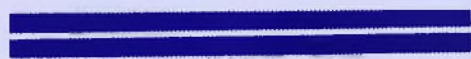


ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й М И Р

1



1991



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 1 (793)

Январь, 1991 г.

УЧРЕДИТЕЛИ: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ФОНД СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР, ЦЕНТР «НОВЫЙ МИР»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Д.С. ЛИХАЧЕВ — Русская культура в современном мире Стр. 3
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Литература и природа 10

БОРИС СИРОТИН — Святой Кирилл, стихотворение 18
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ — Путешествие души, повесть 19
АНДРЕЙ КРЫЖАНОВСКИЙ — Один из многих, стихи 79
ВЛАДИМИР ЛОБАС — Желтые короли. Записки нью-йоркского
таксиста 81

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ИБО ЗНАЮ НАДЕЖДУ. Кумранские гимны. Перевод с древнееврейского, вступительное слово и комментарии Д.Щедровицкого 122

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ — Из неопубликованного. Рассказ. Сценарий. Наброски. Записи. Публикация и составление М.А. Платоновой. Вступительная статья, подготовка текста и комментарий Н.В. Корниенко 130
БОРИС СЛУЦКИЙ — Я прорвусь и уйду, стихи. Публикация Ю. Болдырева 156

ПУБЛИЦИСТИКА

«НАСИЛИЕ — НЕ РЫЧАГ ИСТОРИИ...» 159
А. АВТОРХАНОВ — Ленин в судьбах России. Главы из книги 165

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

ПОЛЮСА ЕВРАЗИЙСТВА — Л.П. Карсавин. Государство и кризис демократии. Перевели с литовского Г. Мажейкис и И. Савкин; Георгий Флоровский. Евразийский соблазн. Составление А.В. Соболева и И.А. Савкина. Вступительная статья А.В. Соболева. Комментарии Г. Мажейкиса, И.А. Савкина, А.В. Соболева 180

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

- АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ — Без записок. Примечания и подготовка текста Е. Майданович. Предисловие С. Аверинцева 212

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- ВЛАДИМИР ПОТАПОВ — Схватка с левиафаном. Литература в кругу идеологий 231

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 236

Сергей Аверинцев. «Были очи острее точимой косы...»

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- В.П. МАСЛОВ — Экспертизы и эксперименты 243

КОРОТКО О КНИГАХ:

Сергей Носов. — И. Н. Андиферов. Душа Петербурга.
И. Лидия Иванова. Воспоминания. Книга об отце. III. Э. Голлербах.
Город муз. Повесть о Царском Селе 253

- РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ 256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Уменьшение объема настоящего номера до 16 п.л. вызвано новым способом набора. Фактический объем публикуемых материалов даже больше прежнего — 28 уч.-изд. листов.

Редакционная коллегия.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

- АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ. Из книги «День благодарения». Стихи.
ЕВГЕНИЯ КИСЕЛЕВА. Кишмарева, Киселева, Тюрячева. Вступительное слово
О. Чухонцева.
ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. Путешествие души. Повесть. Окончание.
АНДРЕЙ БЫЧКОВ. Наши за границей. Рассказ.
В. ЛОБАС. Желтые короли. Записки нью-йоркского таксиста. Продолжение.
ЧЕСЛАВ МИЛОШ. Стихи разных лет. Перевод с польского В. Британишского.
ИОСИФ БРОДСКИЙ. Поэт и проза. Об одном стихотворении. (О Марине Цветаевой.)
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. Поэзия нового измерения. (Об Иосифе Бродском.)
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Между свободой и равенством. Общественное сознание в зеркале «Огонька» и «Нашего современника». 1986—1990.
Н. ЛЕБЕДЕВА. Катынские голоса.
-

Д. С. ЛИХАЧЕВ

*

РУССКАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ни одна страна в мире не окружена такими противоречивыми мифами о ее истории, как Россия, и ни один народ в мире так по-разному не оценивается, как русский.

Н. Бердяев постоянно отмечал поляризованность русского характера, в котором странным образом совмещаются совершенно противоположные черты: доброта с жестокостью, душевная тонкость с грубостью, крайнее свободолобие с деспотизмом, альтруизм с эгоизмом, самоуничтожение с национальной гордыней и шовинизмом. Да и многое другое. Другая причина в том, что в русской истории играли огромную роль различные «теории», идеология, тенденциозное освещение настоящего и прошлого. Приведу один из напрашивающихся примеров: петровскую реформу. Для ее осуществления потребовались совершенно искаженные представления о предшествующей русской истории. Раз необходимо было большее сближение с Европой, значит, надо было утверждать, что Россия была совершенно отгорожена от Европы. Раз надо было быстрее двигаться вперед, значит, необходимо было создать миф о России косной, малоподвижной и т. д. Раз нужна была новая культура, значит, старая никуда не годилась. Как это часто случалось в русской жизни, для движения вперед требовался основательный удар по всему старому. И это удалось сделать с такою энергией, что вся семивековая русская история была отвергнута и оклеветана. Создателем мифа об истории России был Петр Великий. Он же может считаться создателем мифа о самом себе. Между тем Петр был типичным воспитанником XVII века, человеком барокко, воплощением заветов педагогической поэзии Симеона Полоцкого — придворного поэта его отца, царя Алексея Михайловича.

В мире не было еще мифа о народе и его истории такого устойчивого, как тот, что был создан Петром. Об устойчивости государственных мифов мы знаем и по нашему времени. Один из таких «необходимых» нашему государству мифов — это миф о культурной отсталости России до революции. «Россия из страны неграмотной стала передовой...» и т. д. Так начинались многие бахвальские речи последних семидесяти лет. Между тем исследования академика Соболевского по подписям на различных официальных документах еще до революции показали высокий процент грамотности в XV—XVII веках, что подтверждается и обилием берестяных грамот, найденных в Новгороде, где почва наиболее благоприятствовала их сохранению. В XIX и XX веках в «неграмотные» записывались все старожилы, так как они отказывались читать новопечатные книги. Другое дело, что в России до XVII века не было высшего образования, однако объяснение этому следует искать в особом типе культуры, к которой принадлежала древняя Русь.

Твердая убежденность существует и на Западе и на Востоке в том, что в России не было опыта парламентаризма. Действительно, парламенты до Государственной думы начала XX века у нас не существовали, опыт же Государственной думы был очень небольшой. Однако традиции совещательных учреждений были до Петра глубокие. Я не говорю о вече. В домонгольской Руси князь, начиная свой день, садился «думу думать» со своей дружиной и боярами.

Совещания с «градскими людьми», «игуменами и попы» и «всеми людьми» были постоянными и положили прочные основы земским соборам с определенным порядком их созыва, представительством разных сословий. Земские соборы XVI—XVII веков имели письменные отчеты и постановления. Конечно, Иван Грозный жестоко «играл людьми», но и он не осмеливался официально отменить старый обычай совещаться «со всей землей», делая по крайней мере вид, что он управляет страной «по старине». Только Петр, проводя свои реформы, положил конец старым русским совещаниям широкого состава и представительным собраниям «всех людей». Возобновлять общественно-государственную жизнь пришлось только во второй половине XIX века, но ведь все-таки возобновилась же эта общественная, «парламентская» жизнь; не была забыта!

Не буду говорить о других предрассудках, существующих о России и в самой России. Я не случайно остановился на тех представлениях, которые изображают русскую историю в непривлекательном свете.

Когда мы хотим построить историю любого национального искусства или историю литературы, даже когда мы составляем путеводитель или описание города, даже просто каталог музея, мы ищем опорные точки в лучших произведениях, останавливаемся на гениальных авторах, художниках и на лучших их творениях, а не на худших. Это принцип чрезвычайно важный и совершенно бесспорный. Историю русской культуры мы не можем построить без Достоевского, Пушкина, Толстого, но вполне можем обойтись без Маркевича, Лейкина, Арцыбашева, Потапенко. Поэтому не считите за национальное бахвальство, за национализм, если я буду говорить о том самом ценном, что дает русская культура, опуская то, что цены не имеет или имеет ценность отрицательную. Ведь каждая культура занимает место среди культур мира только благодаря тому самому высокому, чем она обладает. И хотя с мифами и легендами о русской истории разбираться очень трудно, но на одном круге вопросов мы все же остановимся. Вопрос этот состоит в том: Россия — это Восток или Запад?

Сейчас на Западе очень принято относить Россию и ее культуру к Востоку. Но что такое Восток и Запад? О Западе и западной культуре мы отчасти имеем представление, но что такое Восток и что такое восточный тип культуры — совсем неясно. Есть ли границы между Востоком и Западом на географической карте? Есть ли различие между русскими, живущими в Петербурге, и теми, кто живет во Владивостоке, хотя принадлежность Владивостока к Востоку отражена в самом названии этого города? В равной степени неясно: культуры Армении и Грузии относятся к восточному типу или к западному? Думаю, что ответа на эти вопросы и не потребуется, если мы обратим внимание на одну чрезвычайно важную особенность Руси, России.

Россия расположена на огромном пространстве, объединяющем различные народы явно обоих типов. С самого начала в истории трех народов, имевших общее происхождение — русских, украинцев и белорусов, — играли огромную роль их соседи. Именно поэтому первое большое историческое сочинение «Повесть временных лет» XI века начинает свой рассказ о Руси с описания того, с кем соседит Русь, какие реки куда текут, с какими народами соединяют. На севере это скандинавские народы — варяги (целый конгломерат народов, к которым принадлежали будущие датчане, шведы, норвежцы, «англыне»). На юге Руси главные соседи — греки, жившие не только в собственно Греции, но и в непосредственном соседстве с Русью — по северным берегам Черного моря. Затем отдельный конгломерат народов — хазары, среди которых были и христиане, и иудеи, и магометане.

Значительную роль в усвоении христианской письменной культуры играли болгары и их письменность.

Самые тесные отношения были у Руси на огромных территориях с финно-угорскими народами и литовскими племенами (литва, жмудь, пруссы, ятвяги и другие). Многие входили в состав Руси, жили общей политической и культурной жизнью, призывали, по летописи, князей, ходили вместе на Царьград. Мирные отношения были с чудью, мерей, весью, емью, ижорой, мордвой, черемисами, коми-зырянами и т. д. Государство Русь с самого начала было многонациональным. Многонациональным было и окружение Руси.

Характерно следующее: стремление русских основывать свои столицы как можно ближе к границам своего государства. Киев и Новгород возникают на важнейшем в IX—XI веках европейском торговом пути, соединявшем север и юг Европы, — на пути «из Варяг в Греки». На торговых реках основываются Полоцк, Чернигов, Смоленск, Владимир.

А затем, после татаро-монгольского ига, как только открываются возможности торговли с Англией, Иван Грозный делает попытку перенести столицу поближе к «морю-окиану», к новым торговым путям — в Вологду, и только случай не дал этому осуществиться. Петр Великий строит новую столицу на опаснейших рубежах страны, на берегу Балтийского моря, в условиях незаконченной войны со шведами — Санкт-Петербурх, и в этом (самом радикальном, что сделал Петр) он следует издавней традиции.

Учитывая весь тысячелетний опыт русской истории, мы можем говорить об исторической миссии России. В этом понятии исторической миссии нет ничего мистического. Миссия России определяется ее положением среди других народов, тем, что в ее составе объединилось до трехсот народов — больших, великих и малочисленных, требовавших защиты. Культура России сложилась в условиях этой многонациональности. Россия служила гигантским мостом между народами. Мостом прежде всего культурным. И это нам необходимо осознать, ибо мост этот, облегчая общение, облегчает одновременно и вражду, злоупотребления государственной власти.

Хотя в национальных злоупотреблениях государственной власти в прошлом (разделы Польши, завоевание Средней Азии и т. д.) русский народ не виноват по своему духу, культуре, тем не менее делалось это государством от его имени. Злоупотребления же в национальной политике наших десятилетий не совершались и даже не прикрывались русским народом, который испытывал не меньшие, а едва ли не большие страдания. И мы можем с твердостью сказать, что русская культура на всем пути своего развития непричастна к человеконенавистническому национализму. И в этом мы опять-таки исходим из общепризнанного правила — считать культуру соединением лучшего, что есть в народе. Даже такой консервативный философ, как Константин Леонтьев, гордился многонациональностью России и с великим уважением и своеобразным любованием относился к национальным особенностям населявших ее народов.

Не случайно расцвет русской культуры в XVIII и XIX веках совершился на многонациональной почве в Москве и главным образом в Петербурге. Население Петербурга с самого начала было многонациональным. Его главная улица Невский проспект стал своеобразным проспектом веротерпимости, где бок о бок с православными церквями находились церкви голландская, немецкая, католическая, армянская, а вблизи от Невского финская, шведская, французская. Не все знают, что самый большой и богатый буддийский храм в Европе был в XX веке построен именно в Петербурге. В Петрограде же была построена богатейшая мечеть.

То, что страна, создавшая одну из самых гуманных универсальных культур, имеющая все предпосылки для объединения многих народов Европы и Азии, явилась в то же время одной из самых жестоких национальных угнетательниц, и прежде всего своего собственного, «центрального» народа — русского, составляет один из самых трагических парадоксов в истории, в значительной мере оказавшийся результатом извечного противостояния народа и государства, поляризованности русского характера с его одновременным стремлением к свободе и власти.

Но поляризованность русского характера не означает поляризованности русской культуры. Добро и зло в русском характере вовсе не уравнены. Добро всегда во много раз ценнее и весомее зла. И культура строится на добре, а не на зле, выражает доброе начало в народе. Нельзя путать культуру и государство, культуру и цивилизацию.

Самая характерная черта русской культуры, проходящая через всю ее тысячелетнюю историю, начиная с Руси X—XIII веков, общей праматери трех восточнославянских народов — русского, украинского и белорусского, — ее вселенскость, универсализм. Эта черта вселенскости, универсализма, часто искажается, порождая, с одной стороны, охаивание всего своего, а с другой —

крайний национализм. Как это ни парадоксально, светлый универсализм порождает темные тени...

Таким образом, вопрос о том, Востоку или Западу принадлежит русская культура, снимается полностью. Культура России принадлежит десяткам народов Запада и Востока. Именно на этой основе, на многонациональной почве, она выросла во всем своем своеобразии. Не случайно, например, что Россия, ее Академия наук создала замечательное востоковедение и кавказоведение. Упомяну хотя бы несколько фамилий востоковедов, прославивших русскую науку: иранист К. Г. Залеман, монголовед Н. Н. Поппе, китайсты Н. Я. Бичурин, В. М. Алексеев, индологи и тибетологи В. П. Васильев, Ф. И. Щербатской, индолог С. Ф. Ольденбург, тюркологи В. В. Радлов, А. Н. Кононов, арабисты В. Р. Розен, И. Ю. Крачковский, египтологи Б. А. Тураев, В. В. Струве, японовед Н. И. Конрад, финноугроведы Ф. И. Видеман, Д. В. Бубрих, гебраисты Г. П. Павский, В. В. Вельяминов-Зернов, П. К. Коковцов, кавказовед Н. Я. Марр и многие другие. В великом русском востоковедении всех не перечислишь, но именно они сделали так много для народов, входивших в Россию. Многих я знал лично, встречал в Петербурге, реже в Москве. Они исчезли, не оставив равноценной замены, но русская наука — это именно они, люди западной культуры, много сделавшие для изучения Востока.

В этом внимании к Востоку и Югу прежде всего выражается европейский характер русской культуры. Ибо европейская культура отличается именно тем, что она открыта к восприятию других культур, к их объединению, изучению и сохранению и отчасти усвоению. Далеко не случайно, что среди названных мною выше русских востоковедов так много обрусевших немцев. Немцы, ставшие жить в Петербурге со времен Екатерины Великой, оказались и в дальнейшем в Петербурге представителями русской культуры в ее всечеловечности. Не случайно, что и в Москве обрусевший немец врач Ф. П. Гааз оказался выразителем другой русской черты — жалости к заключенным, которых народ называл несчастенькими и которым Ф. П. Гааз помогал в самом широком масштабе, часто выходя на дороги, где шли этапы на каторжные работы.

Итак, Россия — это Восток и Запад, но что дала она тому и другому? В чем ее характерность и ценность для того и другого? В поисках национального своеобразия культуры мы должны прежде всего искать ответа у литературы и письменности.

Позволю себе одну аналогию.

В мире живых существ, а их миллионы, только человек обладает речью, словом, может выражать свои мысли. Поэтому человек, если он действительно Человек, должен являться защитником всего живого на земле, говорить за все живое во вселенной. Так же точно в любой культуре, представляющей собой обширнейший конгломерат различных «немых» форм творчества, именно литература, письменность яснее всего выражает национальные идеалы культуры. Она выражает именно идеалы, только лучшее в культуре и только наиболее выразительное для ее национальных особенностей. Литература «говорит» за всю национальную культуру, как «говорит» человек за все живое во вселенной.

Возникла русская литература на высокой ноте. Первое произведение было компилятивное сочинение, посвященное мировой истории и размышлению о месте в этой истории Руси. Это была «Речь филозофа», впоследствии помещенная в первую русскую летопись. Тема эта не была случайной. Через несколько десятилетий появилась другое историософское произведение — «Слово о Законе и Благодати» первого митрополита из русских Илариона. Это было уже вполне зрелое и искусное произведение, в жанре, не знавшем себе аналогий в византийской литературе, — философское размышление о будущем народа Руси, церковное произведение на светскую тему, которая сама по себе была достойна той литературы, той истории, которая зарождалась на востоке Европы... В этом размышлении о будущем — уже одна из своеобразных и значительнейших тем русской литературы.

А. П. Чехов в повести «Степь» обронил от себя лично такое замечание: «Русский человек любит вспоминать, но не любит жить»; то есть он не живет настоящим, и действительно — только прошлым или будущим! Я считаю, что это самая важная русская национальная черта, далеко выходящая за пределы

только литературы. В самом деле, об особом интересе к прошлому свидетельствует чрезвычайное развитие в древней Руси исторических жанров, и в первую очередь летописания, известного в тысячах списков, хронографии, исторических повестей, временников и т. д.

Вымышленных сюжетов в древней русской литературе крайне мало — только то, что было или представлялось бывшим, было достойным повествования до XVII века. Русские люди были преисполнены уважения к прошлому. За свое прошлое умирали, сжигали себя в бесчисленных «гарях» (самосожжениях) тысячи староверов, когда Никон, Алексей Михайлович и Петр захотели «поручить старину». Эта черта в своеобразных формах удержалась и в новое время.

Рядом с культом прошлого с самого начала в русской литературе находилась ее устремленность к будущему. И это опять-таки черта, далеко выходящая за пределы литературы. Она в своеобразных и разнообразных, иногда даже искаженных, формах свойственна всей русской интеллектуальной жизни. Устремленность к будущему выражалась в русской литературе на всем протяжении ее развития. Это была мечта о лучшем будущем, осуждение настоящего, поиски идеального построения общества. Обратите внимание: русской литературе, с одной стороны, в высшей степени свойственны прямое учительство — проповедь нравственного обновления, а с другой — до глубины души захватывающие сомнения, искания, недовольство настоящим, разоблачения, сатира. Ответы и вопросы! Иногда даже ответы появляются раньше, чем вопросы. Допустим, у Толстого преобладает учительство, ответы, а у Чаадаева и Салтыкова-Щедрина — вопросы и сомнения, доходящие до отчаяния.

Эти взаимосвязанные склонности — сомневаться и учить — свойственны русской литературе с первых же шагов ее существования и постоянно ставили литературу в оппозицию государству. Первый летописец, установивший самую форму русского летописания (в виде «погодных», годовых записей), Никон, вынужден был даже бежать от княжеского гнева в Тмутаракань на Черном море и там продолжать свою работу. В дальнейшем все русские летописцы в той или иной форме не только излагали прошлое, но разоблачали и учили, призывали к единству Руси. Это же делал и автор «Слова о полку Игореве».

Особенной интенсивности эти поиски лучшего государственного и общественного устройства Руси достигают в XVI и XVII веках. Русская литература становится публицистичной до крайности и вместе с тем создает грандиозные летописные своды, охватывающие и всемирную историю, и русскую как часть всемирной.

Настоящее всегда воспринималось в России как находящееся в состоянии кризиса. И это типично для русской истории. Вспомните: были ли в России эпохи, которые воспринимались бы их современниками как вполне стабильные и благополучные? Период княжеских распрей или тирании московских государей? Петровская эпоха и период послепетровского царствования? Екатерининская? Царствование Николая I? Не случайно русская история прошла под знаком тревог, вызванных неудовлетворенностью настоящим, вечных волнений и княжеских распрей, бунтов, тревожных земских соборов, восстаний, религиозных волнений. Достоевский писал о «вечно создающейся России». А А. И. Герцен отмечал: «В России нет ничего оконченного, окаменелого: все в ней находится еще в состоянии растрава, приготовления... Да, всюду чувствуешь извеще, слышишь пилу и топор».

В этих поисках правды-истины русская литература первой в мировом литературном процессе осознала ценность человеческой личности самой по себе, независимо от ее положения в обществе и независимо от собственных качеств этой личности. В конце XVII века впервые в мире героем литературного произведения «Повесть о Горе-Злочастии» стал ничем не примечательный человек, безвестный молодец, не имеющий постоянного крова над головой, бездарно проводящий свою жизнь в азартной игре, пропивающий с себя все — до телесной наготы. «Повесть о Горе-Злочастии» была своеобразным манифестом русского бунта.

Тема ценности «маленького человека» делается затем основой моральной стойкости русской литературы. Маленький, неизвестный человек, права которого необходимо защищать, становится одной из центральных фигур

у Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и многих авторов XX века.

Нравственные поиски настолько захватывают литературу, что содержание в русской литературе явственно доминирует над формой. Всякая устоявшаяся форма, стилистика, то или иное литературное произведение как бы стесняют русских авторов. Они постоянно сбрасывают с себя одежды формы, предпочитая им наготу правды. Движение литературы вперед сопровождается постоянным возвращением к жизни, к простоте действительности — либо путем обращения к просторечию, разговорной речи, либо к народному творчеству, либо к «деловым» и бытовым жанрам — переписке, деловым документам, дневникам, записям («Письма русского путешественника» Карамзина), даже к стенограмме (отдельные места в «Бесах» Достоевского).

В этих постоянных отказах от устоявшегося стиля, от общих направлений в искусстве, от чистоты жанров, в этих смещениях жанров и, я бы сказал, в отказе от писательского профессионализма, что всегда играло большую роль в русской литературе, существенное значение имело исключительное богатство и разнообразие русского языка. Факт этот в значительной мере утверждался тем обстоятельством, что территория, на которой был распространен русский язык, была настолько велика, что одно только различие в бытовых, географических условиях, разнообразие национальных соприкосновений создавало огромный запас слов для различных бытовых понятий, отвлеченных, поэтических и т. д. А во-вторых, тем, что русский литературный язык образовался из опять-таки «международного общения» — русского просторечия с высоким, торжественным староболгарским (церковнославянским) языком.

Многообразие русской жизни при наличии многообразия языка, постоянные вторжения литературы в жизнь и жизни в литературу смягчали границы между тем и другим. Литература в русских условиях всегда вторгалась в жизнь, а жизнь — в литературу, и это определяло характер русского реализма. Подобно тому как древнерусское повествование пытается рассказывать о реально бывшем, так и в новое время Достоевский заставляет действовать своих героев в реальной обстановке Петербурга или провинциального города, в котором он сам жил. Так Тургенев пишет свои «Записки охотника» — к реальным случаям. Так Гоголь объединяет свой романтизм с самым мелочным натурализмом. Так Лесков убежденно представляет все им рассказываемое как действительно бывшее, создавая иллюзию документальности. Особенности эти переходят и в литературу XX века — советского периода. И эта «конкретность» только усиливает нравственную сторону литературы — ее учительный и разоблачительный характер. В ней не ощущается прочности быта, уклада, строя. Она (действительность) постоянно вызывает нравственную неудовлетворенность, стремление к лучшему в будущем.

Русская литература как бы сжимает настоящее между прошлым и будущим. Неудовлетворенность настоящим составляет одну из основных черт русской литературы, которая сближает ее с народной мыслью: типичными для русского народа религиозными исканиями, поисками счастливого царства, где нет притеснения начальников и помещиков, а за пределами литературы — склонностью к бродяжничеству, и тоже в различных поисках и устремлениях.

Сами писатели не уживались на одном месте. Постоянно был в дороге Гоголь, много ездил Пушкин. Даже Лев Толстой, казалось бы обретший постоянное место жизни в Ясной Поляне, уходит из дома и умирует как бродяга. Затем Горький...

Литература, созданная русским народом, — это не только его богатство, но и нравственная сила, которая помогает народу во всех тяжелых обстоятельствах, в которых русский народ оказывался. К этому нравственному началу мы всегда можем обращаться за духовной помощью.

Говоря о тех огромных ценностях, которыми русский народ владеет, я не хочу сказать, что подобных ценностей нет у других народов, но ценности русской литературы своеобразны в том отношении, что их художественная сила лежит в тесной связи ее с нравственными ценностями. Русская литература — совесть русского народа. Она носит при этом открытый характер по отношению к другим литературам человечества. Она теснейшим образом связана с жизнью, с действительностью, с осознанием ценности человека самого по себе.

Русская литература (проза, поэзия, драматургия) — это и русская философия, и русская особенность творческого самовыражения, и русская всечеловечность.

Русская классическая литература — это наша надежда, неисчерпаемый источник нравственных сил наших народов. Пока русская классическая литература доступна, пока она печатается, библиотеки работают и для всех открыты, в русском народе будут всегда силы для нравственного самоочищения.

На основе нравственных сил русская культура, выразителем которой является русская литература, объединяет культуры различных народов. Именно в этом объединении ее миссия. Мы должны вынуть голосу русской литературы.

Итак, место русской культуры определяется ее многообразнейшими связями с культурами многих и многих других народов Запада и Востока. Об этих связях можно было бы говорить и писать без конца. И какие бы ни были трагические разрывы в этих связях, какие бы ни были злоупотребления связями, все же именно связи — самое ценное в том положении, которое заняла русская культура (именно культура, а не бескультурие) в окружающем мире.

Значение русской культуры определялось ее нравственной позицией в национальном вопросе, в ее мировоззренческих исканиях, в ее неудовлетворенности настоящим, в жгучих муках совести и поисках счастливого будущего, пусть иногда ложных, лицемерных, оправдывающих любые средства, но все же не терпящих самоуспокоенности.

И последний вопрос, на котором следует остановиться. Можно ли считать тысячелетнюю культуру России отсталой? Казалось бы, вопрос не вызывает сомнений: сотни препятствий стояли на пути развития русской культуры. Но дело в том, что русская культура иная по типу, чем культуры Запада. Это касается прежде всего древней Руси, и особенно ее XIII—XVII веков. В России были всегда отчетливо развиты искусства. Игорь Грабарь считал, что зодчество древней Руси не уступало западному. Уже в его время (то есть в первой половине XX века) было ясно, что не уступает Русь и в живописи, будь то иконопись или фрески. Сейчас к этому списку искусств, в которых Русь никак не уступает другим культурам, можно прибавить музыку, фольклор, летописание, близкую к фольклору древнюю литературу. Но вот в чем Русь до XIX века явно отставала от западных стран, это наука и философия в западном смысле этого слова. В чем причина? Я думаю, в отсутствии на Руси университетов и вообще высшего школьного образования. Отсюда многие отрицательные явления в русской жизни, и церковной в частности. Созданный в XIX и XX веках университетски образованный слой общества оказался слишком тонким. К тому же этот университетски образованный слой не сумел возбудить к себе необходимого уважения. Пронизавшее русское общество народничество, преклонение перед народом, способствовало падению авторитета. Народ, принадлежавший к иному типу культуры, увидел в университетской интеллигенции что-то ложное, нечто себе чужое и даже враждебное.

Что же делать сейчас, в пору действительной отсталости и катастрофического падения культуры? Ответ, я думаю, ясен. Кроме стремления к сохранению материальных остатков старой культуры (библиотек, музеев, архивов, памятников архитектуры) и уровня мастерства во всех сферах культуры надо развивать университетское образование. Здесь без общения с Западом не обойтись.

Позволю себе заключить свои заметки одним проектом, который может показаться фантастическим. Европа и Россия должны быть под одной крышей высшего образования. Вполне реально создать общеевропейский университет, в котором каждый колледж представлял бы одну какую-либо европейскую страну (европейскую в культурологическом смысле, то есть и США, и Японию, и Ближний Восток). Впоследствии такой университет, созданный в какой-либо нейтральной стране, смог бы стать общечеловеческим. В каждом колледже была бы представлена своя наука, своя культура, взаимопроницаемая, доступная для других культур, свободная для обменов.

В конце концов, поднятие гуманитарной культуры во всем мире — это забота всего мира.

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

ЛИТЕРАТУРА И ПРИРОДА

Литературе всегда самой близкой стороной жизни были страдания людей, трагедия их существования на земле. На мой взгляд, и культура-то возникла именно тогда, когда людьми была осознана их собственная трагедия.

Источником трагедий всегда являлись отношения между людьми — личные, столь сильно выраженные Шекспиром, а в русской литературе Достоевским, общественные; тут, может быть несколько неожиданно, я назвал бы Платонова, но вот в конце XX века выявилась совершенно другая сфера и причина глобальной трагедии — в отношениях между человеком и природой. И новизна, неожиданность этой трагедийности застала литературу врасплох, совершенно не подготовленной к ее новой роли. Литература все еще восприняла «проблему природы» как безусловно главную проблему современного мира.

Мы все понимаем, что человек вот уже многие века относится к природе как анархист и настолько корыстно, что даже не замечает тот критический момент, когда какой-либо природный ресурс уже использован им до предела, момент, крайне опасный для жизни. Мы знаем, что еще великий мыслитель Солон предупреждал, что человек может погибнуть, превращая цветущие нивы в пустыни, но за две с половиной тысячи лет, прошедших с тех пор, мы так и не сняли этому предупреждению.

Гомер так или иначе, но всегда выяснял межчеловеческие отношения, и это наше любимейшее занятие, выяснять же отношения между человечеством и природой, человечеством и всем остальным миром — нет, к этой проблеме мы всегда относились бесстрастно, с прохладцей. Гомера да, мы почитаем, но Солон нам нипочем. А когда апокалиптическое мышление присвоила себе религия, литература вздохнула свободнее и радостнее, ей гораздо приятнее быть и земной и светской, но вот эта радость и светскость обернулись совсем другой стороной. Чего, собственно, и следовало ожидать.

Время же делало свое дело — оно шло и расставляло все наши деяния в совершенно определенном порядке — за и против жизни, иначе говоря, время придавало всему тому, что мы называем актуальностью, истинный смысл в проблеме «быть или не быть».

Вот и я, инженер-мелиоратор в прошлом, тоже воспитывался в актуальном духе преобразователя природы, полагая, что эти преобразования сделают землю прекраснее, еще более полезной людям, людям социалистического общества, что существует только «быть», а «не быть» — это пустая и никому не нужная выдумка, что именно моего-то разумения и энтузиазма и не хватает природе. Но в течение своей долгой жизни я несколько раз бывал в Горном Алтае и каждый раз (в 1929, 1938, 1961 годах) я видел уже совершенно другой Горный Алтай — обезображенный и все более и более убогий, все более и более бесприродный. Когда-то я думал, вглядываясь в природу, в ее пейзажи: вот я умру, а эта река, эти горы, эти луга и небеса, эти леса останутся после меня, они ведь не что иное, как воплощение вечности на земле. Не сразу, но я все-таки убеждался в другом — моя жизнь оказалась продолжительнее, чем тот срок, в который природа еще способна сохранять свой собственный облик, а значит, и

свое подлинное существование. Теперь в Горном Алтае, на одной из красивейших рек мира — Катуни, строится никому, кроме министерских чиновников, не нужная ГЭС, и Алтай окончательно перестает быть самим собой, он станет условной средой обитания человека. А все потому, что человек, чья жизнь мгновенна, поработил ту вечность, которая есть Природа. Не будучи царем самого себя и без царя в голове, он захотел стать (и стал) царем природы — ситуация, которая и не могла привести его к какому-либо иному результату. Всегда так было: владыка, который не умел владеть самим собой, приводил к разрухе и свои владения.

И тут надо вспомнить, что и литература, если она является участницей подобной жизни людей, тоже прошла этот путь отчуждения от природы.

Какие к тому мы находим в ней самой признаки?

Начнем с нашего словаря, начнем со слова. В словаре любого языка лично я и только для себя различаю слова природные и надприродные (возможны и другие обозначения, например, понятийные, постприродные). Слова природные ощущаемы физически и обозначают предметы, их качества, их эволюцию, а также и действия, которые мы можем ощущать непосредственно с помощью тех пяти чувств, которые природой нам даны, это зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Слова «осязаемые» — это «рука», «нога», «воробей», «небо», «телевизор»; слова «красивый», «быстрый», «умный», «шершавый», «громкий», «бессловесный»; слова «писать», «рубить», «смеяться», «плакать». Эти слова, кроме того, что они «зримы», «осязаемы» и слышны, имеют и свою историю, общую с историей народа. Известно ведь, что в исландском языке, например, в исконном языке рыбаков, ветры — западный или восточный, слабый, сильный или штормовой, каждый имеет свое собственное название, всего 27 названий, а на Филиппинах слово «носить» имеет более 50 обозначений в зависимости от того, как носить: на голове, на плечах, на спине, на руках...

Слова надприродные, ну, скажем, «лазер», творят уже наука и техника и делают это помимо пяти наших чувств; творит слова и бюрократия (точь-в-точь по Оруэллу), творит и сленг — все это известно.

Судьба тех и других слов различна: количество слов надприродных возрастает в геометрической прогрессии, они легко порождают друг друга, все больше места занимают они и в нашем сознании. Количество слов природных и увеличивается и сокращается. Увеличивается главным образом за счет появления все новых и новых предметов быта, таких, как телевизор, телекс или компьютер, мы в Советском Союзе такого рода новые предметы почти не производим, а значит, русский язык и не производит соответствующие слова. В то же время на земле исчезают многие виды фауны, флоры, породы рыб, виды птиц и насекомых, значит, исчезают из обихода и соответствующие слова.

В Москве дети уже забывают слово «воробей», ну а кто нынче помнит такие слова, как «луб» или «чёка», разве только по соотношению с Лубянкой и Чека. Кто помнит все предметы упряжи лошадей-тяжеловозов? Но дело даже не в этом, не в абсолютном количестве тех и других слов, а в том, что вся предметная природа нашей земли нынче уже сочтена и обозначена, нам только казалось, будто она бесконечна, она — конечна.

Опять вспоминаю, что шестьдесят лет тому назад я учился в сельскохозяйственном техникуме и ботанику преподавал нам незабвенный Виктор Иванович Верещагин. Путешествуя по Горному Алтаю, он открыл 15 неизвестных до него растений, к названиям которых была затем сделана приставка «верещагинус». Разве это возможно нынче?

Итак, повторяю: в то время как предметный мир земли оказался конечным и опознанным, безграничной оказалась наша деятельность в нем, в том числе и деятельность словотворческая. Вот и литература все больше и больше становится литературой надприродной. Иначе и не могло быть. Но если бы дело этим и ограничилось! На мой взгляд, процесс отчуждения литературы от природы с лексикона только начинается. За лексиконом следует стиль. Как бы я ответил на вопрос, что такое стиль, что он отражает прежде всего? Он отражает тот или иной образ жизни людей. (А раз образ жизни, значит, и мышления.) Не случайно ведь слово «стиль» воспринимается в значениях и литературного стиля и стиля жизни.

Что такое стиль Толстого? Это образ жизни и мышления обитателей дворянской усадьбы прошлого века. Стиль Достоевского — стиль городской разночинной среды. Стиль Гоголя очень разнообразен, но в то же время только так, как могли говорить обладатели мертвых душ, они и говорят в «Мертвых душах». Спустя двадцать — тридцать лет после Гоголя они так уже не говорили, их попросту уже не было, потому что в России было отменено крепостное право. Стиль Чехова повсеместно отражает его собственный образ жизни и жизни той среды, к которой он относился, — русской интеллигенции, но не потомственной, а первого поколения.

Не буду утверждать это категорически, но мне представляется, что стиль, будучи производным от образа жизни людей, отражает еще и отношение их к природе, видение природы, способ, которым человек приобщается к миру и природе. Посмотрите, какое оно разное, это отношение с миром, а значит, и с природой у Толстого и Гоголя, у Чехова и Тургенева. Все эти писатели жили как будто в мирах, обладавших разными красками, разными звуками, разными восходами и закатами солнца. Каждый из них создавал свой собственный вариант мира и природы, ее красок, звуков и настроений. Общее же у наших классиков, пожалуй, только одно: отсутствие опасений за природу, за дальнейшее ее существование, за ее само собою разумеющуюся вечность и уж во всяком случае — за ее практически неисчислимую долговечность.

Конечно, пейзажи Тургенева, Гончарова да и Пушкина и Лермонтова — это великое мастерство, но вот нынче-то, когда я их читаю, мне все-таки хочется сказать: «Нам бы ваши заботы!» Нынче это для меня голубая и труднодостижимая мечта — любоваться пейзажами и передавать свою любовь, свое пейзажное настроение читателям. Не очень-то вот так помечтаешь, если мои читатели живут в районе Чернобыля или на бывших берегах бывшего Аральского моря! И даже не живут, но все еще — логике вопреки — существуют.

Природа в стиле писателей советского времени совсем другая. Какое вообще дело Серафимовичу в «Железном потоке» до природы? Какое дело Бабелю в «Конармии»? Артему Веселому в «России, кровью умытой»? Но были и другие явления, был Платонов, был Булгаков. Именно парадоксальность существования общества вне законов природы породила и парадоксальность стиля Андрея Платонова (и фантазмагорию Булгакова).

Мне думается, что самое существенное в платоновской парадоксальности — это невероятное и дикое насилие человека над природой вещей и над природой как таковой, существование как бы вне природы и вопреки ей. Что еще может быть большим парадоксом, чем такое существование? Перечитывая «Котлован», тем более «Чевенгур», еще и еще убеждаешься в этом. Ведь вот же те его «природные» герои, такие, как Фро, как Иванов или Очарованный человек, они написаны совсем в другом стиле. Но они и обречены.

Ну а Пришвин и Соколов-Микитов — те уходили от этого насилия и произвола над природой в еще сохранившиеся леса и там, в лесной тишине, они и хотели вместе с этой тишиной умереть, разделив свою судьбу с судьбой природы. Читая этих писателей, чувствуешь именно эту предсмертную их слиянность с природой. Безграничная и корыстная деятельность в природе, эксперимент над ней им были чужды. Ведь мастер, истинно трудовой человек, всегда знает и чувствует, что он может и должен, а чего не может и не должен, он знает, что его труд ограничен, он легко различает труд полезный и труд бесполезный и губительный. Этим само понимание труда и отличается от деятельности.

Природа гармонична, это бесспорно. Благодаря своей гармоничности она и существует. Но мы не хотим взять в толк, что гармоничность — это еще и искусство ограничений, искусство отбрасывать все лишнее, все, что невпопад, все, что препятствует или будет препятствовать продолжению жизни на земле.

Не хотим мы и понять, что земной мир ограничен, человек этого мира ограничен. Когда мы с упреком и даже с презрением говорим «ограниченный человек», мы и не подозреваем, что говорим сушью правду, поскольку ограничены мы все, и литература совершенно напрасно все еще надеется сделать открытие нового характера — все существующие качества человеческого характера уже открыты, потому что они тоже ограничены.

Тут я сделаю отступление в область географии.

Когда в океан под парусами (а это весьма существенный факт — под парусами, то есть пользуясь природной энергией ветра) уплывали Колумб, Кук, Магеллан и тысячи других путешественников, менее удачливых и потому оставшихся для нас неизвестными, они стремились к тем истинным открытиям, которых современный мир уже лишен, а каждый из них рассчитывал на удачу и на свою собственную интуицию. Другого обеспечения подобных начинаний у них не было — не было ни программ, ни планов, ни сроков исполнения. Никто из них не знал, когда он вернется домой и вернется ли когда-нибудь. Вот тогда-то и были открытия в полном и подлинном смысле этого слова. В наше же время составление географической карты мира закончено, а место открывателей заняли исследователи, которых можно, наверное, назвать уточнителями, маршруты и программы которых разработаны задолго, может быть, за год до начала путешествия, которые и в космосе знают, в течение какого числа минут они обогнут Землю, а если полетят на Луну — через какое время прилунятся, а если запустят свои снаряды на Марс — когда такой снаряд достигнет цели.

И вообще цивилизация преобразила путешествия в спорт и в туризм. Путешественник пускался вдаль, чтобы увидеть нечто если уж не первым, так одним из первых, турист делает это из зависти: как это сотни миллионов людей видели Париж, а я не видел? Это безобразие! миллионы людей проплыли через Магелланов пролив, а я — нет? снова безобразие!

Если самые существенные географические открытия совершены при помощи силы ветра, то открытия людьми человека и человеческих характеров целиком обязаны такому инструменту, каким было гусиное перо.

Ренессанс искусства не случайно совпал с великими географическими открытиями: человек, по-видимому, мог открывать себя одновременно с открытиями мира, закончились одни — закончились и другие.

Повторяю: закончились, но литература все еще не хочет этому верить, особенно применительно к самой себе, особенно литература советская, неизменно «актуальная», а в значительной степени и соцреалистическая. А поверить надо, действительность заставляет.

В самом деле — какие новые качества открыты литературой и наукой в человеке за последние тысячелетия? Да никаких. Добро и зло, честность и коварство, трусость и смелость, слабость и сила, способность любить и ненавидеть — все это было известно давным-давно, все было ярко и талантливо выражено древними художниками в образах мифов.

Далее из мифов возникали близкие им характеры в творчестве, скажем, Шекспира, а в России эта тенденция откликнулась сперва в житиях святых, а затем, я думаю, и в творчестве Гоголя. Гоголь уже почти завершил создание таблицы характеров, подобной таблице элементов Менделеева. Разве «Мертвые души» нельзя приравнять к такой таблице? Да ведь даже Акакий Акакиевич Башмачкин и тот мифологизирован, так мне кажется. Ну а Достоевский, тот окончательно завершил труд Гоголя, такие его образы, как Ставрогин, братья Карамазовы, старец Зосима, это подтверждают.

Вообще характер в России имел для литературы и более общее, типологическое значение. Это значит, что Чехов выражал в своем творчестве все главные черты той группы характеров, к которой принадлежал сам, к которой принадлежали Елпатьевский, Боборыкин, Левитан. Он ведь прежде всего для них и писал, их видел своими первыми читателями. Чеховых времен Чехова в России было много, другое дело, что выдающимся художником слова стал только один из них. Да ведь и в окружении Пушкина было много Пушкиных, весьма заметных в истории литературы, но значительно уступавших ему в таланте. Характеры и характерные группы и создавали то общество, в котором они взаимодействовали, познавали друг друга и обогащались при этом духовно и создавали элиту. При отсутствии же таких типологических групп общество перестает быть обществом, а становится массой, которая очень легко воспринимает общие, а значит, и примитивные идеи. И только. А общество и масса — это далеко не одно и то же, у них и генезис тоже разный. Общество — это результат эволюции, можно даже сказать, культурной эволюции, и если оно преобража-

ется в массу, так только через революцию. Масса же — единична, а единственность исключает гармоничность, да и не нуждается в ней.

Ну а что же все-таки творит и открывает современный писатель, если эпоха мифов минула и даже эпоха характеров тоже, как говорят метеорологи, окклюзивна, то есть остаточна? Теперь писатель комбинирует в фигуре своего героя качества разных и давно известных характеров — столько-то в герое будет зла и столько-то добра, столько от Тараса Бульбы, а столько от Печорина. Новых качеств такому герою не пришьешь, разве тот или иной вид психологической или сексуальной неполноценности или же извращенности можно выдать за характер. Этот своего рода литературный пасьянс все еще искусство, но, повторю, никогда не открытие.

Правда, современные литература и психология безо всяких на то оснований все еще полагают человека величиной качественно безграничной, на практике же они человека обедняют. Приведу пример. Вот «Психологический словарь» издания 1983 года. Редакторы В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, В. П. Зинченко и другие. Я останавливаюсь на слове «память». В быту мы различаем у людей память хорошую и плохую, и только, но «Психологический словарь» различает память буферную, иконическую, сенсорную — больше десятка памятей, и, наверное, это неплохо, а плохо другое: в словаре не находится места для таких слов, как «нежность», «ласка», «любовь». Очевидно, по мнению составителей, эти слова должны быть исключены из области психологии.

Так мир природный, качества, свойственные всему живому, вытесняются понятиями надприродными, деталями, которые противостоят целому, так узкая специальность навязывает себя человечеству, навязывает себя деталями в противовес целому. Специальность всегда склонна к детализации и анализу, анализ всегда бесконечен и он же бессилен перед целым и законченным, которое есть природа.

Но если разрушается целое, то все детали целого теряют смысл. Человек, утеревший целостность, данную ему природой, а по некоторым представлениям — Богом, теряет и нравственность, это уже регрессирующий человек, не совсем человек.

Мы в России говорим, что в потерях повинна власть, вот наша страна и изрыта на всем ее пространстве котлованами, едва ли не первым из которых был платоновский котлован.

Но эйфория деятельности мнимой по отношению к природе коснулась всех нас, и очень хороший советский поэт писал:

Нету лучшего сроду,
Чем под небом большим
Дым советских заводов,
Нашей Родины дым... —

и прекрасные прозаики прославляли строительство каналов, нанесших природе непоправимый ущерб. Но они только писали, а кто-то ведь планировал и осуществлял преобразование родных пенатов Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого, Бунина, Пришвина, кто-то губернии преобразил в «зону» — в черноземную зону, в пустыню, расположенную в самом сердце России. Авторами этого преобразования были и экономист Заславская, и министр Васильев, и агроном Лысенко, и мелиоратор Полад-заде с супругой. И это в стране, где экономистом был когда-то Чайанов, министрами — Столыпин и Витте, агрономом — Докучаев, мелиораторами — Жилинский и Костяков. Первые объявили и объявляют: не будем ждать милостей от природы, возьмем их своими советскими руками; вторые, чувствуя себя людьми больше природными, чем чиновными или советскими, трудились в гармонии с природой. Одни были, будучи людьми по природе самостоятельными, личностями, другие — исполнителями чужой воли. Ведь любое предательство, как никакое другое общественное явление, требует примера, требует вождя и «передовиков». А кто-кто, но «вожди» и «передовики» найдутся и находились всегда.

Итак, для сведения литературы: все, что мы называем нынче общественной психологией, в значительной мере есть не что иное, как психология экологическая. Это та или иная степень приобщенности или отчужденности от природы. Мы знаем, какое озлобление и анархизм день ото дня ширятся в нашей стране,

но вот еще в чем дело: отношение людей друг к другу — это и отношение людей к природе, к миру в целом в ощущении его цельности.

Если бы наши самые крайние «правые» и самые крайние «левые» сосредоточились на проблемах чернобыльской аварии, на последствиях разбоя Минводхоза в бассейнах Арала и Нижней Волги — они стали бы в большей степени гражданами, больше стали бы понимать и друг друга.

Примирающая роль природы не может сравниться ни с чем другим, но и любые разногласия между людьми, любые ошибки и заблуждения обязательно сказываются на природе, на ее судьбе. Разве война сама по себе, а затем и политика военного противостояния не явились причиной той экологической обстановки, в которой мы нынче оказались? А разве Гулаг, начиная с Беломорстроя, не был предтечей «великих сталинских строек коммунизма»?

В этом смысле особое место занимает роман Виктора Астафьева «Царь-рыба», едва ли не единственный известный мне роман на тему психологии и экологии, вместе взятых.

Экология из года в год все в большей степени становится наукой универсальной. До сих пор стимулом развития человечества являлось беспредельное развитие его потребностей, но вот с неизбежностью возникла необходимость и потребительства и ограничительной деятельности, а экология и есть наука о тех всеобщих ограничениях, без которых дальнейшее существование человека невозможно. Это, если хотите, универсальная диетология человеческого сообщества. Впрочем, экология — это вовсе и не наука в ее классическом понимании.

Греховность науки состоит в том, что она изначально презирала Апокалипсис, объявляя его химерой и сумасбродством, в то время как экология проистекает из его признания. Тем более наука не могла признать Антихриста, а экология опять-таки признает и его — в лице человека с ничем не ограниченной жадной потреблением — и уже этим становится ближе к религии. Наука все меньше и меньше доступна рядовому человеку и даже самой себе, поскольку она дробится, как об этом уже говорилось, на неисчислимый ряд специальностей; экология все больше и больше становится общественным движением, проникает в сознание каждого из нас. Наука отчуждается от непосредственного общения с главным объектом своего изучения — от природы. Она все больше становится надприродной и уводит по этому ложному пути человечество. Экология приближается к природе. Именно наука сделала природу «средой обитания», лишая ее всех других качеств. И разве не дело литературы обо всем этом говорить, изыскивая новые и новые художественные средства?

Да, открытие характера для литературы — резерв исчерпанный. Но что же у нее осталось?

Прежде всего осталось событие.

Событиям повседневным и событиям историческим нет и не будет конца, это резерв неисчерпаемый, но это накладывает на литературу и обязательства: она должна приблизиться к публицистике и документализму. Да так ведь оно и есть — чем крупнее события, тем больше, по крайней мере на первое время, они теснят беллетристику в пользу публицистики. После войны через публицистику прошли и Тендряков, и Абрамов, и Солоухин, и Бакланов, и многие другие.

Еще раз подчеркну, что такие глобальные и трагические события, как урбанизация, войны, как репрессивная система, это всегда еще и война с природой, очерченное и безжалостное наступление на нее. Урбанизация и не скрывает своего антиэкологического существа, а отчуждение земледельца от земли — это самый большой шаг на пути отчуждения человека от природы. Этот процесс прошел и все еще происходит мучительно, в агониях. Трагедия земледельца имеет место во всем мире, но оказалась на редкость неинтересна человечеству. Может быть, потому, что по времени совпала с другими событиями, такими, как войны и революции, как передел мира.

Исключение составила наша литература, и тому есть причины.

Будучи страной земледельческой, Россия породила и специфическую земледельческую, иначе говоря — народническую, литературу, это естественно. И классики наши Толстой, Тургенев да и Пушкин тоже были близки к земледелию и земледельцу, и это обстоятельство безусловно сказалось в их творчестве, а это опять-таки естественно.

Неестественно то, что жизнь земледельца в России и до отмены крепостного права и после него, и до Октябрьской революции и тем более после нее — это череда бесконечных страданий. Чего стоит один только период коллективизации и раскулачивания!

А что же наша литература с ее народническим прошлым, исполнила ли она свой долг перед лицом этой трагедии? Исполнили его или нет Распутин, Белов, Абрамов, Можаяев, Тендряков? Да — исполнили. Конечно, тема не исчерпана, но недаром же произведения этих писателей, на первый (и поверхностный) взгляд столь узких и узконациональных, вызвали такой интерес и резонанс в читающем мире. Потому и вызвали, что читающий мир находил у «деревенских» писателей ответы на вопрос не только о том, что же такое реальный социализм в СССР, что такое коллективизация и раскулачивание, но, может быть, более, чем через какие-либо другие источники, он узнал, как земледелец уходил из этого мира, в каких муках это происходило.

Другой переломный момент истории — вторая мировая война. Это была последняя, по крайней мере последняя мировая, если будет еще одна мировая — человечество погибнет. И тут Россия снова оказалась в эпицентре событий.

А какое же место советская литература заняла здесь? Достаточно назвать Василя Быкова, чтобы ответить на этот вопрос, вспомнить Владимира Богомолова, достаточно будет прочесть военный роман того же Виктора Астафьева, который в нынешнем году напечатает «Новый мир».

И наконец еще одно явление XX века, античеловечное и антиэкологическое: репрессии и уничтожение людей друг другом в лагерях смерти — в Освенциме, Дахау, в Гулаге. Подобных явлений в истории не было, не было угрозы перехода количества в качество, перехода человека природы в человека антиприродного и потому самоуничтожающегося.

И опять-таки, наверное, ближе, чем какая-либо другая страна, мы и здесь оказались на краю бездны, а позже через свою литературу поведали миру обо всем увиденном «там».

Обо всем этом никто не сказал столько и не сказал так, как это сделал Солженицын, недаром же в «Архипелаге ГУЛАГ» он говорит о себе, что он принадлежит столько же литературе, сколько каторге — советской каторге, недаром посвящает свой грандиозный труд тем, кто был рядом с ним, кто погиб. А отношение к «Архипелагу» современного советского читателя — это своего рода общественно-психологически-нравственная анкета, документ, который показывает, кто есть мы нынешние, так называемые советские люди. «Новый мир» публикует отклики своих читателей, и читатели этих откликов убедятся, что я имел основания сказать так. И не один Солженицын был лагерным летописцем, ими стали и Домбровский, и Шаламов, и Евгения Гинзбург, и еще многие и многие.

И вот вывод: наша литература оказалась на высоте событийности XX века. Только пренебрегая самой историей, ее трагизмом, только в грош не ставя страдания, выпавшие не на твою собственную, а на чью-то другую долю, можно было стать автором идей и статей, которые предадут эту литературу осмеянию и с радостью готовы отслужить по ней панихиду. Прочтите не какую-нибудь, а «Литературную газету», статью В. Ерофеева, — это чтение было мне ужасно противно, но по-своему необходимо.

Но речь, повторяю и повторяю, идет о проблеме отчуждения человека от природы и от собственной природности.

Проблему до сих пор мы рассматривали в плане литературно-технологическом: как это отчуждение происходит, начиная с лексикона, как продолжается в стилях различных произведений, в темах и содержании литературы в целом. Ну а в плане философском? Может быть, потеря или, по крайней мере, пренебрежение какими-то или каким-то одним философским понятием более чем что-либо другое способствует процессу этого отчуждения? Есть ли такое понятие?

Мне кажется, есть, это понятие Вечности.

Вечность вечна, потому что она истинно бесконечна и никакие явления в ней, никакие процессы для нее не глобальны и не гибельны, а только местны. Единственно что не может погибнуть, не может измениться, это Вечность. И понятие Вечности неизменно и, по сути дела, адекватно для всех — для теологов

и атеистов. Теологи обозначают Вечность еще и словом «Бог», атеист же этого обозначения не принимает, и только, но любая цивилизация, которая пыталась или будет пытаться осмыслить Вечность, ничего принципиально нового в это понятие не внесет. Главное открытие уже сделано: время и пространство Вечности бесконечны, и можно исследовать Вечность сколько угодно, принципиальных открытий все равно не будет, а Земля, земная природа — вот единственный связист и посредник между нами, людьми, и Вечностью, приобщение к которой, чувствование которой каждым из нас и есть, очевидно, смысл нашего существования, его причина и назначение, его энергия. (А любая энергия неизменно приобщена к своему источнику.)

Не хочу сказать, будто нынче все экологи и все писатели только и должны что постигать Вечность. Это было бы и странно и смешно. Важно другое: все происходящее сегодня в мире — это не что иное, как смена цивилизаций. Заканчивается цивилизация, которая исходила из принципа «человек — царь природы», приходит другая, она понимает, к чему привел этот принцип, но все еще не понимает, каким образом следует перестраиваться. (Я употребил слово «перестраиваться», полагая, что в состоянии перестройки находимся не только мы, но и весь мир, а мне от этого чуть полегче на душе.)

Время смены цивилизаций ответственное и опасное. Вот и нынче едва ли не все то, что мы называем жизнью человека, уже следует называть проблемой выживания. Выживание должно быть проблемой не только материальной, но и духовной, а экология должна обрести эстетический смысл. В новой цивилизации культура и культурные ценности нашей эпохи, думается мне, приобретут такое значение, которое имеют нынче для нас культуры Древней Греции и Рима. Верю, что русская литература, а вместе с ней и русский язык не потеряются среди этих памятников. Верю, но и сомневаюсь, потому что люди все больше и больше теряют интерес к истории. Это особенно заметно в молодом поколении — история не оправдала его надежд, не научила жизни, тем более выживанию.

За последние два века благодаря перенасыщенности событиями истории стало гораздо больше, но, может быть, именно по этой причине она и девальвируется. Молодое поколение все больше и больше убеждается в том, что история мало чему научила их отцов и дедов, разве только прописным истинам, а если так — откуда же у молодежи возьмется прилежание к истории?

Новая цивилизация, наверное, не захочет глобальных экспериментов — социальных, экономических, религиозных (национальные, очевидно, все еще не будут исключены), ей не нужны будут и призраки, которые бродили бы по Азии, Африке, Южной Америке, тем более по Европе, ее цель — экологическое благополучие — должна будет подчинить себе и экономику, и политику, и просвещение. Преувеличение? Может быть, но оно не меняет сути проблемы.

Да, природа когда-то приютила в своем доме человека, но он решил, будто он и есть полновластный хозяин, и создал в доме природы свой собственный, надприродный дом. А теперь ему ничего не остается как приютить природу в этом своем доме, но вовсе не в качестве бедной родственницы, а при условии, что она-то и будет определять режим и порядок жизни нового дома, право пользования всем его имуществом. Среди этого имущества находится и литература — и для нее не будет и не может быть исключения, и чем раньше она найдет себя, свое место в доме новой цивилизации, тем лучше.

Заканчиваю стихами Николая Гумилева. Будучи акмеистом, исповедую русское слово в его изначальном смысле, минуя все и всяческие поэтические изыски, Гумилев когда-то говорил:

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себе вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога.

Эти слова, обращенные к человеку, в равной мере относятся и к литературе, к русской современной литературе, вероятно, даже больше, чем к какой-либо другой.

БОРИС СИРОТИН

*

СВЯТОЙ КИРИЛЛ

Леса, бесконечные дали,
Немолкнущий звездный хорал —
К нам буквы с неба упали,
Кирилл их в лукошко собрал.

И вот в теремах и хоромах,
В узорчье дивном вокруг,
В сплетении веток, в изломах —
Вся азбука вспыхнула вдруг.

И он, озирая с отрадой
Деревни, покосы, леса,
Увидел, как линия лада
Мерцала и шла в небеса.

На камень седой придорожный
В раздумии светлом присев,
Он мыслил, что буквы, возможно,
Суть в космос обратный посев.

И так было тихо — ни гнева
В природе, ни мертвой тоски.
И мнилось опавшее древо
Прямым продолженьем руки...



ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ

*

ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Он едва добрал, дотащился до наших дней и, старый, измученный, с изодранной душой и дряблым телом, не знал, зачем он это сделал. Он думал при этом, нужна ли была ему вся долгая, смутная в своих радостях, тревожная жизнь, за которую он цеплялся, как верхолаз цепляется, наверное, за старые камни на крутом подъеме. Теперь ему тоже, как верхолазу, было трудно дышать на вершине, трудно произносить слова, трудно двигаться. Простор, который открывался ему, был мрачен и пуст, он один дожил до столь почтенного возраста, навсегда оставив своих друзей, любимых женщин и единственную жену в той мрачной пустоте, в которую и сам скоро упадет, обессиленный и уже не способный к сопротивлению восьмидесятилетний старец, так и не успевший поверить, что жизнь его прошла.

Василий Дмитриевич Темляков родился в зажиточной семье главного бухгалтера, служившего на чаеразвесочной фабрике Перлова, что на Мясницкой. Был младшим сыном в семье и до пятнадцати лет не задумывался над смыслом жизни, живя в свое удовольствие в одноэтажном домике на замоскворецкой булыжной улице. Он каждое утро вприпрыжку выбегал из дверей подъезда на известняковые плиты короткой дорожки, ведущей к калитке. Ему нравилось, как громко хлопала за его спиной тяжелая пружинная дверь и как испуганно вспархивали воробьи при его появлении. Ему нравилось все в этом мире: небо с белыми облаками, зеленые ветви сирени, влажная земля под ними, тугой весенний запах ее коричневой тьмы. Но не меньше нравился ему и зимний день, когда все ветви маленького садика на задах дома были убраны снегом.

Дом, одетый в желтую штукатурку, казался ему живым существом, с которым ему иногда хотелось даже поговорить. Над четырьмя высокими его окошками белели лепные вставки: гирлянды, сплетенные из лозового листа, виноградных гроздей, яблок, груш. Мезонинчик над зеленой крышей, похожий на скворечник, был непропорционально мал, возвышаясь теремком над домом, над слуховыми его окнами и печными трубами. В мезонине было холодно зимой, и там никто не жил, но с весны туда переселялся отец, суровый и строгий, не знавший нежности к сыну, а только требовавший от него беспрекословного подчинения. Самым страшным и непонятным словом для маленького Васи было слово «баланс», которого он очень боялся и сразу утихал, если ему, расшалившемуся, грозили пальцем и говорили: «Тише, папа делает баланс...» Этот баланс представлялся мальчику в образе невидимого чудовища, которое часто поселялось в их доме, особенно в конце каждого года, и наводило на всех домочадцев панический страх.

Отец в эти дни, когда в доме жил «баланс», бывал капризен, как тяжело больной человек, и все его боялись, даже мать. Чутье его как будто обострялось в эти дни. Он улавливал за обеденным столом беспокоящие его запахи, если они вдруг вплетались в привычный дух накрытого стола.

Василий Дмитриевич Темляков до сих пор помнил, как отец однажды бросил тарелку, в которой плавало в соусе жаркое. Тарелка упала на пол, но не разбилась, а лишь закружилась юлой, издавая квакающие звуки.

— Дмитрий! — воскликнула испуганная мать. — Что все это значит?

— Ты еще спрашиваешь! Знаешь прекрасно, что! Неужели надо напоминать? — Лицо его было плаксиво-гневным и очень обиженным. — Ты какое приготовила мясо? — спрашивал он. — Ответь, пожалуйста, почему не черкасское? Или я не заслужил уважения в этом доме? Или я выжил из ума? Зачем ты испытываешь мое терпение?! — кричал он чуть ли не со слезами на глазах. — Не надо меня обманывать, не надо!

Мать виноватилась перед ним, просила прощения, сваливая все на молодую прислугу, на Пелагею, которая еще не привыкла спрашивать в мясной черкасское мясо, а берет какое приглянется... Отец голодным уходил из-за стола, и в доме воцарялась тревожная тишина.

Он ел только черкасское мясо и не признавал иного, каким-то странным образом отличая по запаху одно от другого, и никогда не ошибался при этом, что тоже для всех домочадцев имело особенный смысл и значение. Само понятие «черкасское мясо» было для маленького Васи, как и «баланс», пугающей тайной. Он никак не связывал это понятие с Черкассами и с пастбищами, где откармливались коровы, гуртами пригоняемые в Москву, чтобы потом в виде говяжьего мяса попасть на тарелку к строгому отцу. Черкасское мясо было для него признаком спокойствия в доме и благорасположения отца, который «делал баланс», живя в мезонине. Он очень боялся отца, а потому и не любил.

Но вот что любил маленький Вася, так это сидеть в садике на скамейке и смотреть, как стрижи лепят из глины гнезда под крышей. Постепенно высыхая, глина становилась серой, но стрижи носили свежую, беря ее на берегу пруда возле монастыря, и налепливали за день темную сырую полоску, которая к утру тоже высыхала и сливалась цветом с остальным мешочком, пока гнездо не обретало наконец форму шерстяного носка с дыркой. В этом глиняном носке под крышей начиналась новая, таинственная жизнь, своими писклявыми звуками так возбуждая маленького Васю, что он чуть ли не в обморок падал от нервного напряжения, от усталости, от небывалого любопытства, которое схватывало его за шею жарким удушьем.

— Мама! — шептал он чуть дыша. — Там пищат птички! Послушай!

Мать обожала младшего сына, видя в нем чувствительную душу. Он был единственным существом на свете, которое она способна была защитить даже перед грозным отцом, если тот был недоволен Василием.

— Василий! — раздавался скрипучий голос отца, почувшего шальную радость во взгляде младшего сына.

— Ну что — Василий? — вступалась мать. — Василий ведет себя примерно. Ты напрасно на него сердись. А ты, Васенька, иди поиграй.

Весной в саду распускалась персидская сирень. Грозди ее лилово горели на солнце, обрамленные венчиками зеленых сочных листьев. Каждая ветвь, казалось, с удивлением и робостью замирала в прерванном беге к солнцу, к свету и теплу, прислушиваясь к щебету стрижей. Темная земля под сиренями, не тронутая травой, пахла прелью и сыростью и тоже как будто бы росла вместе с сиренями, выпирала тестом в крохотном садике, обнесенном тяжелым дощатым забором.

Вася мог подолгу смотреть, сидя на корточках, на черных муравьев, которые жили в земляных норках, следить за их бегом, удивляться, если они встречались на своих тропах друг с другом. Он не замечал тогда ни запаха сирени, ни щебета и писка стрижей, не видел облетевшие на землю белые лепестки вишен — он весь был вместе с муравьями, пребывая душой в таинственной их жизни, и даже завидовал им, таким маленьким и веселым, будто они знали что-то такое, чего он сам никогда-никогда не будет знать в своей жизни. Затаившись, он вздыхал вдруг глубоко и скорбно, как если бы возвращался оттуда, из подземелья, куда уползали муравьи, в большой этот и шумный мир, в котором есть отец и жалостливая мать, навеки подчиненная отцу.

За забором, у соседей, в таком же саду дымил самовар, и горечь легкого дыма мешалась с горечью сиреневого запаха. Там, за забором, раздавались

ласковые голоса женщин, один из которых очень нравился маленькому Васе. Он даже испытывал чувство, похожее на чувство любви к этому сладкоголосому звуку, доносящемуся из-за глухого забора. Он искал какую-нибудь щелочку во тьме почерневших досок, чтобы увидеть тех, кто там жил и кто так хорошо разряжал тишину, разбрасывая звуки своих голосов под самые облака.

Но забор был глух и непроницаем. Лишь косая дырочка от выпавшего сучка светилась в нем, но в нее видна была только яблоневетка и розовые цветы на ней.

Вася сотворил себе в мыслях образ красивой девочки, жившей за забором, и с тех пор на всех живых, бегающих по улице, играющих с сестрами девочек смотрел как на дурнушек, способных только хихикать, визжать и показывать длинные голубые языки из растопыренных губ. Он презирал их и всячески хотел показать им свое презрение, поглядывая на них как на извечных врагов, сотворенных для мучительной жизни. Он даже сравнить их не мог с той единственной, что жила за забором, которую он не смел, не позволял себе даже увидеть в яблоневом саду, из милости ступающую по земле, сотканную из сверкающих звездочек, переливающуюся снежинками, плывущую над цветами, душистую, как сама сирень. Она была гордая, но податливая. Тайным его желанием было взять ее на руки и нести. Чтoб она обхватила его за шею и, держась так, улыбалась бы, поглядывая на него сверху вниз.

Размечтавшись, он прижался однажды лбом к забору, чувствуя кожей занозистую шероховатость досок, и в полуобморочном состоянии витал в мыслях над землею, неся это поблескивающее чудо на руках и чувствуя такой прилив радости, оглушительного блаженства, что вдруг потерял равновесие, схватился руками за забор и испуганно огляделся...

Он узнал ее имя, и оно показалось ему неправдоподобно редким, таинственно-нежным, как срывающийся ее голосок. «Ле-на!» — позвал женский голос за забором. И она откликнулась: «Я тут, мама».

«Я тут, мама», — одними губами повторил он, млея от восторга.

Где он сам был в эти мгновения, он не смог бы ответить. Она же была тут, рядышком, за теплыми, сухими досками, в которых надо обязательно проделать тайком какую-нибудь щелку или дырочку, чтобы наконец-то увидеть ее.

В тот раз он на цыпочках отошел от забора и почувствовал стыд, словно подслушал то, что ему еще рано было знать. Он мучительно улыбнулся, зажмурился, прогоняя неожиданный стыд, и опять одними губами беззвучно произнес неземное имя, которое благостным звуком обняло вдруг неясно светящееся видение девочки, облекло в теплую плоть, приблизило, укрепило и поставило на землю, создав другой уже образ в его мечтательной душе.

Звук этого имени, на которое она откликнулась, долго не утихал в его сознании. Засыпая, слыша за окном неторопливый дождик, шелестящий каплями в глянцевых листьях сиреней, он в предсонной дреме опять носил ее на руках, видя себя и ее в воздушной пустыне, в полном безлюдье... Онемевшие, обессиленные от своего загадочного счастья, они плыли среди голубых, прозрачных облаков, как и его блуждающая улыбка. Сквозь сияние этой улыбки он видел себя и ее, имя которой — Лена. «Я тут, мама, — слышал он голос. — Я тут, мама». И беззвучно смеялся, обнимая и прижимая ее к себе.

Это только теперь, в глубокой старости, понимал Темляков, что детскую его душу, ожесточенную отцовской суровостью, окрылила тогда чистая, как перо белого голубя, любовь.

А в ту далекую пору, когда ему было всего лишь восемь и он учился в подготовительном классе коммерческого училища, он убежал в темный угол сада, забивался в кусты сирени и с колотящимся сердцем прислушивался, прижимаясь к деревянному забору. Он боялся самого себя. Даже мысль о том, что можно забраться на забор и заглянуть в соседний садик, пугала его безобразием, своей вопиющей бессовестностью, как если бы он вдруг увидел ее, живущую в сознании, и она из бесплотной мечты, которую так приятно и легко было носить на руках, превратилась в настоящую девочку.

Имя ее обозначило предмет детских его вождлений, сделало более понятным и его стремление понять самого себя и ее, которую он ни разу не видел и даже как будто не хотел этого делать, словно не девочка сама по себе нужна

была ему, а он сам, познающий непонятную и заманчивую муку, мутившую его сознание.

— Васенька, где ты? Пора обедать,— звала его ненавистная мать, выглядывая из окошка.— Не слышу ответа!

Он резко отстранялся от забора, отворачивался от него и чувствовал себя так, будто мать застала его за занятием, недостойным мальчика.

— Не хочу! — откликнулся он в озлоблении.— Все обедать, обедать... Не хочу!

— Иди, сынок, ты же знаешь, папа будет сердиться...

Он понуро шел к черному ходу, отпихивая от себя гроздь сиреней, которые душной прохладой студили ему лицо, обожженное недавним возбуждением. Елочка глянцево светилась зелеными иголками, кристаллическими своими лапами. Эту елочку привезли из леса еще до рождения Васи и посадили тут, возле крылечка черного хода.

Во тьме дома скрипели половицы, пахло пересошим деревом крутой лестницы, ведущей наверх, в отцовский теремок, в котором он жил и что-то делал, двигая стулом, о чем-то разговаривал сам с собой, наводя мистический страх на детей и жену.

В столовой был накрыт тяжелый стол с почерневшими от времени толстыми тумбами. Пахло картофельным супом с бараниной, в котором плавали ненавистные салдно-белые кружочки вареной петрушки, оранжевые звездочки моркови, приготовленные матерью по прихоти отца, любившего в супе фигурные кусочки картофеля и моркови.

Коричневые венские стулья рядами стояли по краю стола, скатерть на котором была так велика, что белыми фалдами ниспадала на скользкие сиденья.

Дети смотрели в окна. На подоконниках стояли горшки с темно-зелеными длинными листьями лилий, одна из которых выбросила оранжевый цветок. За полотняными, в пол-окна занавесками светило солнце.

Обедать никому не хотелось. Ждали отца, который наконец-то заставлял сухую лестницу заскрипеть, запеть визгливым дискантом, затрещать разошедшимися ступенями. Каблуки его черных штиблет щелкали неторопливо и звонко, словно он испытывал домочадцев на страх, получая актерское удовольствие от сознания того, что его ждут и трепещут в томительном ожидании.

Он каждый день играл роль несчастного отца в кругу беззаботных домочадцев, приучив их смотреть с почтением на бордовый занавес гардин. Он появлялся из-за занавеса с трагическим выражением на испитом лице, безумоватым взглядом мгновенно озирая притихших детей.

— Прошу за стол,— строго говорил отец.

Сухой кистью руки, ладонью вверх, он указывал на толстые фаянсовые тарелки с золотыми ободками и, склонив голову набок, ждал, поглядывая на детей, как они сядут, не потянут ли скатерть, не разобьют ли тарелку, не уронят ли ложку. Сам он усаживался последним и, втягивая носом запах супа, морщился, будто нос его улавливал нечто неприятное, несъедобное, опасное для здоровья.

2

Василий Дмитриевич Темляков, насмешливый старец, с удивлением иногда вспоминал о своем отце, давно истлевшем на Даниловском кладбище. Что заставляло его, вполне здорового человека, с таким упорством мучить близких? Какие силы нужны были ему для этого нелепого занятия! И сколько их ушло, пропало даром, направленных на каждодневное истязание своих детей и жены.

Смешным неудачником казался отец, когда Темляков смотрел на него с нынешней своей вершины.

— Ты как держишь ложку?! — взрывался тот и, давась супом, выскакивал из-за стола, делал широкий и бурный шаг в сторону дочери, вырывал из ее руки серебряную ложку и бросал на стол.— Возьми сейчас же правильно! Ты держишь ложку в кулаке, как обезьяна. Зачем тогда тебе ложка? Ты бы, сударыня, пригоршней, пригоршней... Так-то удобнее...

За столом воцарялась тягостная тишина, слышны были только удары металла о фаянс, хлюпанье супа в губах едоков. Все искоса поглядывали на

безумно испуганную сестрицу, не приучившуюся еще держать тяжелую ложку. Она не плакала, зная, что отец, увидя слезы, еще больше рассердится и убежит из-за стола, проклиная жену и детей, погубивших его.

У матери в эти минуты вспыхивали скулы и чернели глаза, но она молчала, невозмутимо неся очередную порцию супа в дрожащей ложке. Хотя и поглядывала тоже на дочь, погибающую от ужаса. Слабые пальцы девочки еще не могли удержать в равновесии ложку с супом, которую надо далеко нести, не проливая. Склоняться низко над тарелкой отец не разрешал.

— Вам что же? Корыто подать на стол? Корыто с пойлом! Вам только это, только это! Господи, с кем я живу?! — восклицал он и откидывался на спинку стула, закатывая глаза. — Позор!

Бледно-желтые руки с длинными сиреневыми ногтями, обросшие лоснящимися черными волосами, плетью лежали на белой скатерти. Узкий нос с хрящеватой восковой горбинкой передался от отца к маленькому Васе, хотя в полной мере признак этот проявился только теперь, когда лицо Василия Дмитриевича Темлякова, обтянутое сухой кожей, испещренной паутинно-тонкими морщинами, давно уже переросло, пережило на много лет лицо отца, умершего на шестьдесят четвертом году жизни. Перед кончиной он запретил отпевать его отдельно. Родственники, столпившиеся в головах покойников, ждали отпевания. Живые цветы, белые розы, гвоздики, стеариново-светлые лилии, потеряв рядом со смертью свою красоту и благоухание, обрамляли лицо Дмитрия Илларионовича Темлякова. Никто из темляковской родни не плакал. Вася, которому было в то время под тридцать, стоял среди других знакомых и незнакомых родственников, крутил в пальцах незажженную восковую свечу и с непроходящим удивлением смотрел на строгий, безумно сгорбившийся нос отца, хищно торчащий над провалившимся лицом. Он не узнавал отца.

Подошел священник с кадилом, и началось отпевание. Торопливый неразборчивый говорок низкорослого батюшки, раскачивание и металлическое клцанье крышки кадила, из чаши которого исходил голубой приторно-душистый дымок, — все это действо словно бы усыпило мозг молодого Темлякова.

Свеча в руках горела с тихим потрескиванием, обжигая пальцы горячим воском. В глазах понурых родственников поблескивали желтые кошачьи огоньки. Глаза казались теплыми и влажными от слез. Но никто не плакал... Изредка в заочном и очном списке отпеваемых проборматывалось вдруг имя Димитрий, и тогда Василий Дмитриевич понимал, что это имеется в виду его отец.

Праздные мысли отвекли молодого Темлякова, и он не заметил, как кончилось отпевание, услышал:

— Родственники, прощайтесь с покойным.

Все стали подходить и целовать отца в лоб. Кто-то подтолкнул Темлякова в бок и тихо шепнул:

— Что же ты, Вася?

И он пошел целовать то, что осталось от отца. В соседнем гробу лежала старушка с поджатыми губами. А другая старушка, видимо сестра той, что лежала в гробу, так убивалась, так вопила над гробом, выкрикивая: «Катенька, Катенька!» — что спазм вдруг перехватил горло Темлякова, он успел подумать, что жили, наверное, на свете две сестры, одинокие старушки, и вот умерла младшая. А старшая, согбенная и жалкая в своей немощи, теперь плакала, выкрикивая: «Катенька, Катенька!» — словно бы она недоглядела за младшенькой, не смогла уберечь от беды.

Он успел это подумать и всхлипнул, пожалев старушку. Холод отцовского лба вонзился в его губы и в кончик носа, он отпрянул от гроба, чувствуя жжение слез, и заметил, что родственники, поблескивая глазами, смотрят на него плачущего.

Огарок свечи он воткнул в заплывшее воском отверстие в чаше бронзового подсвечника, в котором горели три свечи в минуты отпевания. Горбатенькая церковная служка попросила помочь ей погасить свечи. Он не сразу задул острые огоньки, а когда черные фитили задымили, горбунья попросила его отнестись залитый воском большой подсвечник в сторону от гробов, и он охотно подчинился ей, отвлекаясь от тяжелого прощания.

Теперь Темляков с трудом бы, наверное, отыскал на кладбище кресты отца и матери, сестер и теток с дядьями, волею судеб улегшихся в родовых темляковских могилах, в которых кости их тлели на костях предков. Вряд ли сын сумеет похоронить его под теми же крестами.

Он приказал сыну, живущему в новом районе, условно зовущемуся Москвою, сжечь себя, а прах, перемешанный, как это принято теперь в крематориях, с прахом других сожженных, закопать в подмосковном лесу под корни дуба. Крупинка в том коллективном прахе, как он говорил с ухмылочкой, будет и его.

Сын только посмеивался над причудами старика, а Василий Дмитриевич побаивался, что тот не исполнит его воли. Возвращался даже в телефонном разговоре к теме сожжения, вдалбливая ему в голову единственную свою просьбу. Хотя и сам тоже говорил об этом с неизменной ухмылочкой, словно не верил, что его, Василия Темлякова, красавца и бравого ухажера, любимца женщин, могут засунуть, как полено, в топку и превратить в золу. Сердце отказывалось в это верить. Он с содроганием видел огромную подземную кладовую с костями, прядями волос и свежей слякотью, в которую его опустят, как в библейский ад на вечные муки, и утверждался опять и опять в мысли о сожжении. О собственных останках, о брэнном теле, из которого отлетит жизнь, он заботился как о некоей драгоценной субстанции. Вспоминал о древних славянах, сжигавших своих мертвецов. «Конечно, ладья, конечно, пламя на воде и плач на берегу. Но все-таки лучше исчезнуть в огне электропечи, — думал он с кособокой ухмылочкой, — чем тлеть в помойной яме перегруженного кладбища. Да и Николаше будет проще».

Вот уж никогда не мог Василий Темляков представить себе, что настанет такая странная, неотступная тревога в душе, которая принудит его всерьез задуматься о хлопотах погребения своего собственного тела, не надеясь больше на силу его мышц и хрупких костей. Вот уж не предполагал!

Был когда-то сумеречный час зимнего дня. Электрическая лампа словно еще только разгоралась в стеклянной колбе, и свет ее был керосиново-желтым. А за окном снег на ветвях светился лазуритовым синим огнем, как если бы он, пушистый, еще не успевший закоптиться, обрел способность излучать плотный, каменный цвет.

Вася Темляков смотрел с удивлением на волшебное свечение. Лицо его, отраженное в невидимом стекле, оранжевой рыбой плавало в снежно-синем саду. Декабрьская тьма наступала очень рано, не было еще и пяти часов вечера.

Там, в саду за черным забором, за переплетением синих ветвей, виднелась синяя крыша с колпаком слухового окна. А под этой крышей трепетала улыбающаяся жизнь девочки по имени Лена.

Он с затаенной и словно бы преступной радостью думал о девочке, понимая между тем, что он еще слишком мал, чтобы так думать о ней, брать ее на руки, прижиматься к ней, чувствовать тепло и нежность ее руки, обнявшей его за шею. Он вновь и вновь возвращался к самому себе, вглядываясь в оранжевую рыбу, которая ему тоже очень нравилась, как и придуманная девочка.

И если в эти мгновения, похожие на вечность, кто-нибудь спрашивал его: «Ты что там разглядываешь?» — он, ужаленный вопросом, резко оборачивался и отходил от окна, застигнутый врасплох, и чувствовал себя пойманным.

— Ничего! — вскриком отвечал он, ненавидя своих домашних.

В тот зимний вечер мать играла с детьми в лото. Он отказался, сославшись на чистописание.

— Он, мамочка, врет, — сказала сестра, щуря глазки в длинных ресницах. — Я видела, он уже сделал чистописание. — Ядовитая злость сочилась из дрожащих щелок.

Вася Темляков, ученик первого класса коммерческого училища, презрительно хмыкнул и, едва сдерживаясь, четко произнес:

— А ты даже соврать как следует не смогла бы, дура. — И, обиженный, ушел в детскую, где они жили с братом.

— Не надо ссориться, дети, — услышал он просьбу матери и плотно закрыл за собою дверь.

Он включил настольную лампу и, освещенный желтым, не окрепшим в сумерках огнем, отсек себя от домашнего мирка, освободился и, как лодка, смытая волной с берега, поплыл, покачиваясь, в волнах тайных своих вожделений, подставив грудь простору.

Синева открылась перед его взором за тонким стеклом, обметанным в углах белыми искристыми веточками мороза. Он слышал, как за дверью орехово-выпукло стучат в холщовом мешочке точеные бочонки лото, как голос матери негромко называет выпавшее число, но сам был далек от этой игры, за которой в доме коротали вечера. Синий простор, раскинувшийся за окном в хаосе заснеженных ветвей, казался ему опасным и тревожным. В грудь его, освещенную и видимую отовсюду, кто-то целился из лиloveющих сумерек... Было страшно и радостно ощущать свою смелость, свой риск... Ему даже хотелось, чтобы кто-то в самом деле выстрелил, но не убил его, а только ранил; чтоб девочка из-за забора успела узнать, что он смотрел в сторону ее дома, думал о ней, а за это получил пулю в грудь.

«Ах, боже мой,— сказала бы она жалостливым голосочком, похожим на звон печальных колокольчиков,— я знала, я знала! Всюду злодеи! Но я исцелю тебя...»

И, сказав это, душистым платочком отерла бы кровь с его раны.

«Не надо,— сказал бы он ей,— я все равно умру. Но знай и помни: лучше тебя нет на свете».

«Нет, ты не умрешь, не умрешь,— шептала бы она сквозь слезы.— Я с тобой! Уйдите все! Оставьте нас одних,— сказала бы она матери, отцу, брату и сестрам.— Он не хочет вас видеть. Вы погубили его! Уйдите отсюда! Не мешайте нам»,— говорила бы она сквозь слезы, в отчаянии топя ножкой на злодеев.

Он с таким увлечением вошел в эту роль, что оранжевая рыба отраженного его лица вдруг уплыла от него за забор и там, за лиловыми ветвями, взмахнула вдруг ярко-рыжим искристым хвостом... Расплескивая искрами тьму, хвост ее взметнулся в широком и мощном изгибе, освещая заснеженную крышу дома, крася ее в багровый цвет.

В нем возникло смешанное ощущение, будто он видит огонь, но не может понять, зачем вдруг во тьме возник этот плещущийся из стороны в сторону, летучий и яростный огонь, от которого стала дрожать в светотенях багровая крыша и вспыхивать красными глазами стекла слухового окна.

«Это огонь! — думал он в недоумении.— Ведь это настоящий огонь... Это что же? Пожар?»

— Пожар,— сказал он испуганно.— Пожар! — закричал Вася и бросился к двери, распахнул ее с треском, безумовато крича играющим за овальным столом: — Пожар! Там горит... Пожар!

Окна синей гостиной, в которой коричневая мебель глухо отблескивала свет абажура, выходили на улицу, и мать не могла увидеть огня.

Когда они, запыхавшиеся и перепуганные, вбежали в переулок, у ограды соседского дома уже толпился кричащий народ, а лица толпы уже хищно освещались бушующим пламенем.

В треске и гуле солнечно-яркого огня, который метался за черными переплетами окон, раздавались вдруг стеклянные звоны, а потом что-то глухо взрывалось там, в небо летели фонтаны огненных брызг... Огонь кипел жидкой лавой.

Люди все подваливали и подваливали, шуму становилось все больше, крики заглушали утробный рокот огня, льющегося из окон, из дверей, брызжущего из прожогов крыши. Небесная высь, облачная тьма над домом уже колыхалась в багряных судорогах. Тощие струйки из пожарных кишок уперлись в льющийся огонь и словно бы добавляли ему силы и злости.

Вася Темляков, дрожа в ознобе, смотрел на огненный смерч, пожирающий дом, в котором жила его девочка, и слышались ему в гуле пожара жалобные ее вскрики, вопли, стоны...

И вдруг он увидел в озаренном переулке розовую лошадь, впряженную в коляску. Лошадь остановилась перед толпой, из пролетки вышла женщина в

беличьей шубке, а за нею прыгнула девочка в белой кроличьей и в белой же горностаевой шапочке. На груди у нее пушистилась белая муфта...

К ним подбежал из толпы мужчина с обезумевшим взглядом, растерзанный, в распахнутом пальто. Вася Темляков стоял рядом и слышал, как женщина в беличьей шубке как будто прорычала: «Ты жив» — и с подкошенными ногами упала бы на грязный булыжник, если бы мужчина не подхватил ее.

Девочка в отблеске огня тоже, как и белая лошадь, казалась розовой. Она вскричала: «Мама!» — и Вася Темляков узнал голос той, которую он сочинил в мечтах.

Неожиданно для самого себя он шагнул к ней, взял за руку и, понимая, чувствуя, осязая, что она лучше и прекраснее той, что носил на руках, сказал ей:

— Вы, пожалуйста, не бойтесь... Пожалуйста... Мама! — воскликнул он в мгновенном возмущении. — Что же ты молчишь?! Им надо к нам идти, к нам! — И тут же девочке дрожащим голосом: — Пойдите к нам... Мы ваши соседи... Вон наш дом... Идите, пожалуйста!

Женщина в беличьей шубке, в которую сострадательно вперилась толпа, открыла глаза, взглянула на догорающий дом и тихо застонала.

— Да, Верочка, да, — твердил ей мужчина. — Это рок... Смирись. — Голос его, подстраиваясь к учащенному дыханию, казался равнодушным, точно он что-то очень привычное, изрядно надоевшее ему втолковывал жене. — Ты сама понимаешь, — говорил он подчеркнуто вежливо, — тут ничего не поделаешь. Это может случиться с каждым. Нельзя роптать. Мы что-нибудь придумаем... Леночка! Ты плачешь? Ах нет! Ну умница... Идите отсюда, идите... Здесь нечего делать.

А Вася опять крикнул матери:

— Что же ты молчишь?

— Надо спросить у папы, — шепотом ответила она. — Ты подожди, я сбегу... Я сейчас.

Мужчина, не выпуская из рук ослабевшую женщину, поддерживая ее за талию, привлек другой рукой дочь, потрепал ее по плечу черной, испачканной в саже и копоты рукой и с задиристой хмуростью посмотрел на огромное, вполнеба огненное дерево, выросшее на месте дома.

Звенела колокольчиком пожарная, тесня и разваливая толпу, с бортов прыгивали чистенькие, в сверкающих шлемах, похожие на римских воинов пожарники. В этот момент рухнула прогоревшая кровля. Толпа отхлынула с криком. Столб дыма с яростным взрывом искр взметнулся к облакам. Горящие головешки в потоке раскаленного воздуха унеслись ввысь и стали падать, шипя и мрачняя в прокопченном снегу.

Огонь опал, покраснел, и все потемнело вокруг. Розовая девочка тоже померкла, и Вася поймал ее внимательный, нахмуренный взгляд.

— Там кукла, — сказала она озабоченно и добавила: — С закрывающимися глазами... Теперь ее нет.

— Кукла? — переспросил Вася. — Вы играете в куклы?

— Играла, — ответила она, пожав плечиком. — А что ж? У нее были фарфоровые глаза.

— У моей сестры есть кукла! Вы придете и будете играть.

— Где же я буду играть? У вас? Нет... Я привыкла там... — сказала она и мотнула головой в сторону шипящего пожара, не решившись посмотреть в ту сторону, где недавно стоял ее дом. — Это совсем иное дело. — И передернулась всем телом.

Он согласился, конечно, с нею и тут же увидел страдальческое лицо матери. Она взглянула на сына и обреченно покачала головой... Вася в страхе попятился от нее, будто она хотела ударить его.

— Ну уж нет! — вскрикнул он. — Подождите, пожалуйста, — взмолился он. — Одну минуту! Я мигом!

Протискиваясь сквозь толпу, он торопился к дому, и в голове его пульсировала страшная злорада на отца, которого он готов был убить за отказ. Хотя он и знал в эти минуты, что отец не откажет ему, не посмеет... Нет, ни за что!

Тот стоял, заложив руки за спину, в детской комнате у окна и смотрел на

грудю красных бревен и углей, окутанных едким дымом и паром. Вода из пожарных кишок словно чернилами заливала и заливала языки пламени и красную, пламенеющую чешую бревен. Дмитрий Илларионович не обернулся на крик младшего сына.

— Папа! — кричал тот, толкая в спину. — Папа! Ты учил меня быть хорошим и честным. А сам?

Отец пробасил незнакомым, черевным голосом:

— Ты о чем, Василий?

— Это бесчестно! Это... Я не знаю что! Людям негде жить... А ты... Ты сам! Папа! Я позвал... Пусть они придут... Слышишь, я позвал!

И вдруг отец сказал так ясно и четко, будто вокруг была тишина, будто они стояли в гулкой зале, резонирующей каждый звук. Он сказал:

— Это меняет дело.

Вася не верил своим ушам! Он схватил, оторвал заложенную назад руку отца и поцеловал ее. Он задохнулся от восторга. Хотел что-то сказать отцу, но не нашелся и только в слезном спазме выкрикнул дискантом:

— Я знал! Знал... — И опрометью кинулся вон из дома.

До сих пор Василий Дмитриевич Темляков с душевным стоном прокручивал в мгновенном озарении свою потерю, которая, как ему казалось, сделала из него вечного охотника за женской улыбкой, лишила покоя и благоразумия, предопределив его будущие поиски и все разочарования, какими переполнена была его жизнь.

...Когда он, возбужденный до безумоватости, разгоряченный огнем, словно бы перекинувшись от сгоревшего дома в его грудь, ворвался в редеющую толпу, шевелящуюся в потемках черного от копоти переулка, он юлой завертелся в ней, разыскивая прекрасную девочку в горностаевой шапке. Восторг его был так велик, так радостно ему было сознавать себя победителем в схватке с отцом, что будущее, которое открывалось перед ним в цветных, очень ярких, сияющих картинках, кружилось музыкальной каруселью с раскрашенными лошадками, жирафами, слонами и носорогами...

Многоликая, ворчащая толпа, в которой он искал горностаевую шапочку, была меж тем темна и подозрительно однообразна. На него смотрели красные морды, рожи, хари, носатые, бородатые, толстые, хрюкающие, рычащие, взмывающие, поблескивающие коровьими глазами...

Вот здесь, как раз на этом месте, только что стояли несчастные погорельцы, которых он пригласил обогреться... Но место это занимали теперь две женщины в серых платках. Он с возмущением смотрел на них, и из груди его готовы были вырваться бранливые слова: «Это же место не ваше! Почему вы здесь? Какое имеете право? Это место не ваше!»

И вдруг он услышал голос матери:

— Ты что, Вася? Ты меня ищешь? Я здесь.

Она возвышалась перед ним, кургузая, пестрая, как огромная куропатка, с маленькой головкой. Глаза ее были так же бессмысленно круглы, как у этой птицы, искусно нарисованной на глянцевой странице в синем томе Брема. И так же печален был носик.

— А они ушли, — добавила она, догадавшись. — Вон туда, к Шаболовке. Только что были тут...

— Да ну тебя! — крикнул и махнул на нее рукой Вася. — Ты противная, злая! Ну тебя! Я же их позвал... Папа разрешил! — кричал он и плакал, ревел безобразно, как маленький, впадая в истерику. — Не люблю тебя! Ты знала, ты знала... Ты нарочно не хотела пускать! Не люблю тебя!

Мать испуганно хватала его за руки, стараясь прижать к себе, успокаивала, не понимая истинной причины, отчего разволновался ее сын, почему так зол и груб он с ней. Это, конечно, пожар виноват, впечатлительный ее мальчик не вынес испытания, сорвался и впал в нервный припадок, думала она, но люди, которые собирались вокруг в надежде на новое зрелище, смущали ее, она конфузилась, уговаривала сына успокоиться и даже всхлывала вдруг, не смело посмеивалась, говоря ему:

— Стыдись, Васенька! Люди бог знает что подумают! Стыдно!

Но он отпихнул ее и, взбешенно взглянув напоследок, побежал от нее прочь в сторону Шаболовки, скользя ногами и разъезжаясь на обледенелом булыжнике.

В потемках заснеженной улицы он никого не увидел и, разбитый, подавленный, не замечая ничего вокруг, вернулся к дому. Возле тяжелой двери калитки встретила его озябшая мать, которую бил нервный озноб. Она молча пропустила его вперед и заперла за собой тяжелую дверь калитки, обитую, как крышка старого сундука, полосами железа. Кирпичная башенка, в которой темнела дверь, была островерхая, крытая жестью, представляя собою нечто совсем отличное от оштукатуренного дома. Столбы ворот тоже были кирпичными, крытые такой же жестью, окрашенной в зеленый цвет, а створы, запертые на засов, обиты такими же полосами железа.

Вполне возможно, думал теперь Темляков, со вздохом распростившись с видением детства, что стоял когда-то на месте их дома кирпичный терем с узорчатым рельефным фасадом и, может быть, так же вот сгорел в лихую годину, оставив в память о себе ворота с калиткой и каменную тропу, выложенную из серых плит песчаника.

Он жалел порой, что ничего не узнал об этом в свое время. Теперь уж никто не скажет о судьбе того клочка замоскворецкой земли, на котором когда-то светились окнами отчий его дом.

Он видел его почему-то чаще всего в зимний лютый мороз. Заиндевелые ветви лип перед фасадом чернели на его ячно-чистом фоне. Белая лепнина и карниз казались снежными наметами, придавая дому вид живого запорошенного существа, согретого изнутри раскаленными голландками, освещенного в вечерней тьме оранжевыми абажурами, убаюканного негромкими перезвонами пианино, звуки которого проникали сквозь двойные рамы окон, проложенные пушистыми хвостами из ваты. На вате до весны блестели золотые и серебряные звезды из картона.

Впрочем, и в другие времена года воскресал в памяти приземистый дом, размашистый, в своей небрежной необязательности, лишенный какой-либо архитектурной строгости. Слишком много было связано у Василия Дмитриевича Темлякова с этим домом, с тем высоким окошком в детской, из которого он увидел в себе нечто такое, что припорошило его душу мечтательной тягой к Прекрасному. К тому Прекрасному, о котором люди забыли. Даже слово это, над смыслом и значением которого мучительно думали великие мудрецы и поэты — имена их записаны в Книге Жизни, — обернулось в не нужную никому бутафорию, в декорацию, в каприз сентиментальных старушек и перестало обозначать что-либо существенное.

Люди как будто нашли заменитель Прекрасному, направив все свои силы, мысли и чувства на создание громадного Безобразия. Спаситель отвернулся от них, а Князь Тьмы протянул угодливую руку.

Так думал иногда Василий Темляков, потерявший старшего брата и не нашедший в своей жизни человека, которому он мог бы без боязни довериться, открыть душу, вознестись с ним вместе в мечтаниях или хотя бы увидеть в глазах его уважение к чистоте собственных помыслов, почувствовать в нем способность взглянуть на себя со стороны, устыдиться содеянного зла, покаяться или простить чужой грех, откликнуться делом на сострадательное движение души или хотя бы понять восторг влюбленного юноши, в тиши бессонной ночи купающегося в нежных чувствах, о которых он готов кричать на весь белый свет, но, страшась расплескать драгоценный сосуд, молчит.

Он понимал себя в такие минуты безнадежно устаревшим романтиком. Ему бывало жаль себя, ибо не осталось уже сил дожить до счастливых перемен. Да и наступят ли они когда-нибудь? Он не верил в это.

Под конец жизни он пришел к печальному заключению, что люди изжили себя. Мозг, данный им для созерцания Прекрасного, они употребили как инструмент для добычи все новых и новых благ, погубив себя на этом пути. Из прекрасного леса они научились делать бумагу, на которой стали писать воззвания в защиту этого же самого леса, подсчитав, что, погубив лес, они опасно сократили поступление кислорода в атмосферу. Они объявили тотальную войну

самим себе, изобретя тот же автомобиль и прочие средства передвижения, умертвляя ежегодно с их помощью сотни тысяч собственных жизней в катастрофах, наездах, в удушающем воздухе отравленных городов, насыщенном смертоносными ядами... Несть числа их грехам!

Они были неприятны старому ворчуну. Один на всем белом свете, он чувствовал и понимал себя человеком, созданным по воле Бога для блаженства. Был ленив в умственных и в физических усилиях, каким и должен быть истинный сын Прекрасной земли. Но знал при этом, что душа его не ленится, оставаясь и в старости чистой, незамутненной, как прозрачный ключик, из которого каждый может напиток в зной.

Он любил себя. Любил за то, что именно лень и потребность в хорошем отдыхе заставляли его работать, а не жажда наживы и уж, конечно, не призывные вопли платных пропагандистов, твердивших только о работе, работе и работе. В тайных мыслях о себе он знал без сомнения, что добрый гений сохранил его в образе и подобию Бога для живого примера заблудшим людишкам. Но люди, беспечные эти самоубийцы, почему-то отвернулись от него или даже не заметили в толпе. В этом он усматривал загадку, особенно мучившую его в старости. Хотя он и знал, что людям свойственно заблуждаться. Но не до такой же степени!

Закрыв глаза, Темляков в мечтательном забытии покачивался на легкой лодочке между небом и водой. Темно-зеленая влага за низкими бортами, как огромное живое существо, сытое, лоснящееся, доброе, колыбила лодочку мерным дыханием, змеило отраженный лес, белые и рыжие стволы, светлую и темную зелень.

Лес стоял не шелохнув на травянистом берегу. Серая скамейка под березами навевала грусть. Чуткая лодка ловила овальным днищем каждый вздох тихого озера. Ах, какая печаль!

Он проскочил все эти красоты, как гонный заяц, жизнь торопила его, и он не успел насладиться, почувствовать душой неповторимость чистых вод и расцветов, насладиться солнечным лучом, когда тот полыхал розовым огнем в небе и в воде или тихо тлел на закате. Теплые и светлые овсы в наступающей тьме, накапливая росу, трепетали в тишине, переливались перепелиным гулькающим боем, душистые, как васильки в брызгах дождя.

«Ах, Господи! — вопил он в безмолвном пространстве погибшей жизни. — Что же я наделал! Я даже не помню, как пахнет спелая рожь. А ведь мог бы вкусить! Боже, что же это я?!»

Душа его изнывала в жалящей тоске по быстротечности жизни.

«Я весь в орхидеях, цветущих в безмолвии гор...» — эти мудрые древние китайцы знали цену каждого мгновения жизни. «Я весь в орхидеях...»

А перед глазами чугунная решетка, желтый лист липы, крохотное сердечко на черенке, застрявшее в чугунном изгибе, а под сияющим листом черная слеза застывшей краски. Холодно, дождливо и печально вокруг...

Но снова в нежном цветении вставала перед ним розовая Москва, шумела и мерцала в слуховых и зрительных видениях, не давала покоя, мучая колокольными звонами и зыбкой явью позолоченных куполов. Они мерещились ему кучевыми облаками в зияющих пустотах дымного неба, гудели буревыми, сборными колоколами и, останавливая на ходу, гневливая на него, гневались на него, ничего сына Москвы, будто именно он и был виноват в их гибели.

Московская земля, сочная, изрезанная соловьиными оврагами, омытая весенними половодьями, пропитанная влагой чистых речек, струи которых давно упрятаны в подземные трубы или загублены ядовитыми стоками, светила в памяти зеркальцами карасевых прудов, виделась с высоты прожитых лет цветущей долиной в излучине реки меж зеленых холмов, застроенных жилищами счастливых людей.

Он страдал от бессилия вернуться на песчаные берега Москвы-реки, где когда-то искал и находил белый, искрящийся песок для аквариума.

В четырех стеклянных стенках четырехведерного аквариума жили порфиновые пецилии, таинственно рдеющие в зарослях зелено-розовой людвигии. Вода в нем дурманяще пахла теплой водой заросшего пруда его детства, когда на

заре маленькие карасики выпрыгивают из тихого безмятежья, рождая тут и там на поверхности пруда разбегающиеся колечки от капель дождя, которого нет.

Теплый вечер, озаренный оранжевым солнцем, красит воду румянами, а пробковый поплавок вдруг, как карасик, начинает дергаться в разбегающихся кольцах на воде, пропадать под розовой поверхностью, горяча рыболова, рука которого ждет верного момента для подсечки, чтобы снять с крючка золотого карасика.

— А дальше там брянские леса,— говорила неокрепшим, водянистым голосочком застенчивая красавица с потупленным взором.— Мы туда боялись... Там легко заблудиться.— И коротко обмахивалась гибкими пальцами перламутрово-светлой руки, божественной, как мнилось страдающему Темлякову, туманной.— Папа туда ходил с ружьем, он рассказывал. Там черные ели и мох.

— Да отчего же они брянские? Дача-то у вас была по Николаевской дороге,— восторженно возражал ей Василий Дмитриевич, страшась обидеть ненароком.

А она поднимала глаза, не понимая его, и с надтреснуто-звонкой усмешкой отвечала, как несмышленишу:

— Уж это я не знаю отчего! А вот — брянские. До Белого моря тянутся, можно уйти и не вернуться.

Не сразу он сообразил, что несравненная его Дуняша, милая Евдокия Николаевна, все глухие леса называла брянскими, пользуясь этим словом как эпитетом.

Черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, разделяли ее яйцеподобную головку на две сияющие лоском половины. Темляков в волнении часто ловил себя на том, что не в силах объять взглядом это раздвоенное чудо. У него мутилось сознание, когда он видел левый ее глаз, такой же синий и под такой же черной бровью, как и правый. Ему словно судорогой сводило взгляд, и он ничего не мог поделать с собой.

— Почему вы такой странный? — спрашивала она у него.— Все время отводите глаза. У вас есть какая-нибудь страшная тайна?

Она спрашивала о страшной тайне с искренним участием, ее никак нельзя было заподозрить в любопытстве или в насмешливости. Половинки ее лица бывали при этом настолько одинаковыми, что Темляков, блуждающим взглядом пытаясь обнаружить в них хоть какое-нибудь отличительное свойство, даже в улыбке не находил асимметрии. Даже граненый кончик носа и тот был как бы поделен едва приметной впадинкой на две очаровательные дольки. Мягкие уголки ее розовых, матовых губ растягивались с поразительной точностью, образуя на круглящихся в улыбке щеках продолговатые одинаковые ямочки, являвшие собой неземную радость, словно бы слетевшую с небес и озарившую ее несмелое лицо. В синих глазах при этом возникал доверчивый вопрос, на который как будто уже готов был, таясь на доньшке, нетерпеливый ответ, хотя Дуняша не осмеливалась ни на вопрос, ни на ответ, помалкивая в застенчивости.

Ее безмолвные ответы своей заразной силой расслабляли Темлякова, он прочитывал в них такое головокружительное обещание, на какое он даже в мечтах не мог рассчитывать. С ним происходило в эти мгновения что-то очень похожее на то состояние, какое он испытывал когда-то в детстве, в цветущем саду, прижимаясь горячим лбом к шершавым доскам забора.

«Я весь в орхидеях, цветущих в безмолвии гор...» Он торопился, он заглядывал в завтра, думая, что завтра орхидеи расцветут у него под окном...

«Ах, ты Господи! — вопил он в отчаянии,— Зачем же я так торопился? Какой поток тащил меня? Куда?»

В эти минуты ему казалось, что он умирает, так тяжело ему было сознавать свое бессилие перед потоком времени, мчавшего его по жизни. Особенно трудно бывало в бессонные ночи. Только огромным усилием воли заставлял он себя жить дальше. И среди ночи, к зимнему окошку...

Он опять подходил к заиндевелому окну и прижимался лбом к ледяному стеклу, чувствуя упругую его хрупкость. Старший брат посапывал в постели. За окном звенела морозная лунная ночь. Декабрь на исходе. Скоро Рождество.

Маленькая луна забиралась так высоко в небо, что казалась стеклянным шариком. На пепельном снегу видны тени. А за обгоревшим забором пепельный холм — это снѣгом занесенное пожарище.

Смотреть туда страшно.

3

Евдокия Николаевна Нечаева, дочь богатого когда-то владельца суконной фабрики, донашивала бабушкины наряды и, словно бы не затронутая, никак не задетая трагическими событиями минувших лет, была не от мира сего. Летом она ходила в полотняных платьях, которые от долгого хранения приобрели восковой оттенок, устарев, конечно, фасоном, со всевозможными вытачками, рюшечками, фестончиками и рукавами буф, туго обтягивающими запястья. Костяные пуговицы выгнулись и тоже пожелтели от времени.

Когда она шла по улице в старомодном платье, кто-нибудь над ней обязательно посмеивался, называя барыней, хотя делал это за глаза, не откровенно, тайком, усмешечкой в спину; а кто-то при надобности обращался к Дунечке со всем тем почтением, к какому с детства успела привыкнуть она. Это ей придавало новых сил, словно она на примере убеждалась еще и еще раз, что независимостью победила время и нежелательные обстоятельства, оставив в дураках тех, кто смеялся.

На них Дунечка вообще слабо реагировала, не замечала, как не замечала она в жизни грязные, зловонные помойки с копошащимися там крысами, зная, что рядом с неизбежным злом растет раскидистый клен. В конце лета с этого клена, кружась, слетали созревшие семена с перепончатыми прозрачно-зелеными крылышками, похожие на речных стрекоз. А потом и желтые листья с бордовым крапом или с холодной прозеленью, так же кружась, опускались на землю, тихим и влажным шепотом тревожа уже опавших братьев.

Их было много, такое богатство лежало под ногами, что Дунечка всегда удивлялась, если хмурые люди проходили мимо и даже не смотрели на груды светящегося чуда. Она-то уж обязательно собирала чистые листья, лучшие из лучших, испытывая в эти минуты настоящую жадность и едва удерживая себя от желания сгрести их все в охапку и унести домой. А дома она горячим утюгом через бумагу разглаживала лучистые листья, подбирала по цвету и размеру, прикручивала тонкими медными проволочками к голым веткам, которые заготавливала заранее, выбирая развилчатые, наиболее похожие на настоящие кленовые.

В тяжелых вазах до весны, до первых живых цветов, светились тут и там в ее комнатке осенние букеты, умиляя добродушных гостей, которые обязательно всякий раз восхищенно спрашивали ее, как это ей удастся составить такую красоту из простых опавших листьев.

— Нет ничего проще! — отвечала им Дунечка. — Надо только дождаться, когда листья пожелтеют и упадут к вашим ногам. Разве их соберешь среди зимы? — удивленно вопрошала она и сама же отвечала: — Нет, конечно. Надо ждать целый год, а это очень долго. А когда дождешься, потом все очень просто.

И гости восхищались умением Дунечки так терпеливо и так долго ждать, точно за упорным ее ожиданием они втайне от самих себя усматривали нечто более значительное, чем ожидание простых этих букетов из сухих листьев.

— А я всегда загадываю, — с ворчливым кокетством говорила старая бабушка, поглядывая на родные лица. — Вот, думаю, в этом году непременно соберу и буду любоваться всю зиму. Глядь, а за окнами снежинки... Опять прозевала. Снежинки уже падают, не листья...

— Нет, мама, нам с тобой никогда не угнаться за Дуняшей, — вторила двоюродная сестра. — У Дуняши на то есть особенный талант. Этого уж нам с тобой не дано, ничего не поделаешь.

Все были счастливы обычно, что у Дунечки Нечаевой имеется в запасе особенный талант, какого нет и не было ни у кого из ближайших родственников, хотя были среди них и музыкант, и архитектор, и даже артист, танцор Большого театра, выступающий в кордебалете. Как же! Все, конечно, знали, что их близкий родственник в половецких плясках в «Князе Игоре» носится вихрем по

сцене, и будь он поудачливее, его давно бы заметили. Но удачи ему нет, и это достойно сожаления. Жаль, конечно, жаль артиста!

А между тем в двух проходных комнатах, празднично освещенных и хорошо протопленных, с натертыми до блеска полами, уютных и чистеньких, пахло душистой кулебякой, острой, под уксусом голландской сельдью, украшенной кружевами из репчатого лука, и множеством других вызывающих сладостное страдание коварного желудка, у которого словно бы выросли вдруг глаза и чутыстый нос, краснеющих, желтеющих и чернеющих, лоснящихся на белом фарфоре ароматных закусок.

Накрытый по случаю дня рождения Дунечки стол великолепным горельефом сверкал под лучащимся светом пушистого абажура, как будто именно он и был тут самым уважаемым и любимым, скромно помалкивающим существом, привлечшим в теплые комнаты всех любезных родственников, говоривших и рассуждавших о чем угодно, только не о нем. Он же нес на своей крахмально-белой скатерти бутылки со сладкими наливками, на откупоренные горлышки которых были надеты особенные пробки с серебряными носиками, изображавшими то ли клов пеликана, то ли страшного какого-то дракона, а то и просто маленький кувшинчик, крышечка которого при наклоне бутылки сама открывалась и из-под серебряного лепестка лилась в рюмку багрово-красная, густая струйка. Над столом витал тогда терпкий запах черной смородины или спелой вишни, пьянящий душу и пробуждающий в ней нежную любовь.

Нет, друзья, забыли мы праздничный русский стол! Каких только изобретений домашней своей кухни не выставит счастливая хозяйка для сердечных гостей. А сколько открытий сделает за трапезой любознательный и благодарный гость! Радость хозяйке и честь дорогим гостям.

— Кушайте, пожалуйста! Угощайтесь, — не устает потчевать она счастливых гостей. — Что же это никто не пробует грибочков? Попробуйте, пожалуйста! Давешним летом в Абрамцево было столько белых грибов!

— Батюшки! Это же белые грибы! — воскликнет кто-нибудь за столом, неся из зеленого фарфора в свою тарелку натуральный, величиной с грецкий орех гриб, облитый лаком маринада, в котором и гвоздика, и душистый перец, и корица, и лавровый лист, и лимонная кислота — все для того, чтобы даже самый капризный, самый разборчивый гость соблазнился и, поймав вилкой скользящий на тарелке, пряткий и упругий лесной плод, сохранивший подлинный цвет, как если бы он только вчера красовался среди слоя рыжих иголок под елочкой, наколол его стальными зубьями, с вождением великого обжоры и грешника отправил бы, разлужезного, себе на язык. — Ах, что за чудо! Ох, какой вкусный... Ух! Это невозможно передать. Сплошное блаженство. Они не только вкусные! Как это можно сохранить до сей поры белый гриб, чтоб он сиял всеми своими красками, а? Это же подлинное искусство! Я потрясен! И не рассказывайте, не рассказывайте! — решительно остановит он рдеющую от удовольствия хозяйку. — Пусть останется это вашим секретом, умоляю вас... Не разглашайте тайну! Разве может простой смертный произвести на свет нечто подобное? Никогда! Поверьте мне! Ах, какие грибы! Ох, как это все вкусно, как вкусно!

А какие пирожки с грибами или с капустой предложит вам хозяйка! А пышные кулебяки! А маринованная щука или другая какая-либо речная рыба, косточки которой тают на зубах как сахарные, доставляя очередную, опасную уже для здоровья радость ликующему чреву...

Если же вы, несмотря на счастливое отупение и неуправляемую блаженную улыбку, не слетающую с вашего лица, дождетесь еще и чаю, то, уверяю вас, вы не сумеете, вы просто не найдете в себе сил отказать от толстого ломтя домашнего, секретно изготовленного торта, который сделает вас наконец полным рабом собственной плоти, требующей от вас все новых и новых усилий и даже подвигов.

Нет и не может быть даже капли сомнения, что подвиг вы обязательно совершите, потому что не родился еще на свет такой человек, который смог бы отказать от торта, начиненного грецкими орехами и имеющего тончайший вкус неведомого до сих пор плода человеческой изобретательности.

Причем шоколадный цвет этого кулинарного чуда перемешается на разрезе с цветом кофе со сливками, а потом и клубничного мусса, слой которого в свою очередь перейдет в лимонную желтизну, заканчивающуюся тонким слоем поджаристой корочки, этим прочным фундаментом роскошного сооружения, на которое никак невозможно любоваться слишком долго.

Нет, друзья мои! Мы забыли русский праздничный стол. Меня спросил как-то один азартный старик, сравнительно недавно ушедший от нас в иные миры:

— А пробовал ли ты когда-нибудь закусывать водку, от холода которой туманится хрусталь, горячим черным сухарем с кусочком горячего костного мозга? А я, бывало, имел такое удовольствие... Или, например, паштет из рябчика с черной икрой? Где уж! Ты безнадежно опоздал, — говорил он, сидя со мной за бражным столиком в хорошем ресторане. — Ах, Зоя, Зоя... — запел он блатную песенку, истекая старческой жалостью ко мне, не вкусившему изысканного паштета.

Я не завидовал ему, познавшему многие ресторанные тонкости, понимающему толк в холодной водке и в изысканной закуске к ней. Все это, конечно, совсем неплохо, и я бы тоже не отказался...

Но все-таки! Что может быть изысканнее, вкуснее и душевнее домашнего стола, когда сама мастерица, не спавшая ночь перед праздником, усталая и счастливая, потчует тебя такими яствами, о которых покойный гурман, возможно, и не подозревал даже, обратив свой взор на другую жизнь и найдя, наверное, в ней тоже свое какое-то удовольствие. Нет! Кроме истинного удовольствия созерцать хозяйшку, которая именно для тебя, такого-сякого, готовила кулебяку с капустой, украшала селедку, пекла пирожки с мясом, колдовала над засекреченным тортом, не говоря уж о том, что еще летом в дождливый какой-нибудь денечек шла в лес за грибами и, отобрав лучшие из них, с безошибочной точностью сварив душистый маринад, залила им банку подготовленных грибочков, белых, подосиновиков, подберезовиков, потерявших в варке свой отличительный цвет, но вдруг вспыхнувших с новой силой, коснувшись секретной тоже дозы лимонной кислоты, подпущенной заботливой хозяйшкой в маринад. Для чего все это нужно ей? А для того, чтобы именно ты, такой-сякой, пришел к ней в гости, званный, как и все остальные, к праздничному столу, и ахнул, увидев и откушав разноцветных грибков, собранных в абрамцевском лесу.

Какое уж тут может быть сравнение с ресторанной прохладой, если даже подносят тебе там горячий черный сухарик с дрожжащим на нем кусочком горячего костного мозга... Хотя, конечно! Совсем неплохо, конечно!

Почему бы не откушать и этого лакомства, если ты вдруг из буднего вечера захотел себе устроить маленький праздник и не для сытости пришел в ресторан, не за хмельным угаром, а для душевного смака, о котором мы тоже, увы, забыли совсем и даже думать перестали. А ведь было и такое в российских трактирах и ресторанах. Что уж тут говорить!

Даст Бог, наступят когда-нибудь времена, и мы, очнувшись, с тревогой вспомним о себе, пойдем наконец, что тоже не хуже людей, очухаемся от будничного, кабы как торопыженья и посмакуем в свое удовольствие. Дай-то Бог!

А все-таки! Согласитесь со мной, пожалуйста, не обижайте сомнением. Домашний-то русский стол превосходил всегда и во всем любую кухню даже самого что ни на есть раскрепасного ресторана. Уж тут вы не спорьте со мной, пожалуйста, тут уж я вам ни в чем не уступлю, даже в самой малости. Такой уж я домашний, наверное, что ни на какие прелести не променяю радостное застолье, о котором столько уже слов наговорил, а ведь и сотой доли не успел донести от тех прелестей и тех усад, какие испытывает русский человек в кругу своих родных и самых близких людей, собравшихся на семейный праздник. Уповаю лишь на ваше воображение, с помощью которого вы сами дорисуете пиршественную картину, какая происходила когда-то в двух проходных комнатках любезного мне семейства Нечаевых.

А надо сказать, Дунечка Нечаева родилась очень давно, 16 января 1907 года. В тот день, когда гости любовались ее букетами из кленовых листьев, ей

исполнилось девятнадцать лет. Со времени революции и гражданской войны советская власть отпраздновала уже восьмую годовщину. Нечаевы, даже самые старшие из них, потеряв богатства и распрощавшись с некоторыми близкими, которых не пощадили страшные годы, стали уже привыкать к тесноте и скромности нового быта, страдая лишь оттого, что заселенные в их дом жильцы были слишком нелюбезны, чересчур грубы и неопрятны. За исключением, пожалуй, небольшой семьи немцев, плохо говоривших по-русски, но являвших собой пример чистоты и аккуратности. Хотя чопорная старуха, которую звали Эмилией Карловной, выражала такое презрение во взгляде при встрече с Нечаевыми, так по-кошачьи громко фыркала, что можно было подумать, будто Эмилия эта Карловна со своим немецким пфыканьем больше других пострадала от русских эксплуататоров.

Татары были ласковы и приветливы, как если бы все время виноватились перед Нечаевыми, что заняли в их доме полуподвальные комнаты, в которых когда-то размещались кладовки.

Еврейская же семья, выносившая в жаркие дни стулья во двор и греющаяся всем кагалом под солнцем, знала только свои заботы. Казалось, всем им, от мала до велика, не было никакого дела до бывших хозяев, которым они частенько даже не отвечали на приветствия. Не от злости, нет! А просто от постоянной внутренней озабоченности, в которой они изо дня в день пребывали, словно никак не могли понять, что произошло в мире и почему они получили так мало в результате всего случившегося — лишь две комнатки на первом этаже. Разве это справедливо?

А вот русские их соплеменники, те посматривали на Нечаевых с нескрываемой неприязнью, возмущались то и дело и, кипя неподдельной ненавистью к живым кровопийцам, которые, по их мнению, легко отделались, едва выносили соседство с ними, живя под одной крышей большого дома. Это были какие-то уж очень злые и непримиримые люди! Они жили очень бедно. Так бедно, что Нечаевы из сострадания отдавали им иногда кое-что из зимней одежды, особенно детям, вечно сопливым мальчикам и девочкам, у которых и сопلي-то были отвратительно зеленого цвета, каких и не видели никогда раньше Нечаевы. Вместо благодарности — воровская цепкая взглядка, с какой эти несчастные оценивали подарок — теплый ли шарф на шею, подшитые валежки, шерстяной башлык, завалившийся на дне сундука с прадедовских времен, — все это они, бедные эти люди, брали, но злость, не дававшая им покоя, не утихала, а только разгоралась, как костер, в который подбросили сухого хвороста.

У Нечаевых жила хорошенькая дымчатая кошечка с зелеными, как весенняя трава, глазами. Была она ласковая и доверчивая, избалованная любовью людей, у которых жила. Кошечку эту, игривую, как котенок, поймали и повесили на бечевке прямо перед окнами Нечаевых.

Дунечка не проронила ни слезинки, видя такую жестокость, зная, кто это сделал (ей намекал на злодея татарский мальчик по имени Таер). Она сняла с ветки окоченевшую за ночь, с выпученными глазами и закушенным язычком в ощеренной пасти любимую свою кошку и, завернув в тряпку, закопала в углу двора, не видя ухмыляющихся сопливых рож, даже не думая о злодеях, как будто их не было на свете. Она спокойно и рассудительно как бы сказала себе: «Хорошо. Теперь мы будем жить без кошки. Она была очень хорошенькой, мы ее любили и даже думали, что она нравится всем другим людям. Но мы ошиблись. Тут уж ничего не поделаешь. Я им тоже не нравлюсь. Я даже больше не нравлюсь им, чем кошечка. Но меня убить они пока еще боятся. Вот и убили беззащитную кошечку, думая, что убивают меня. Они ошиблись».

Она подумала так, и ей стало дурно. Не могла превозмочь слабости и той тьмы, которая тошнотно окутывала ее, ослепляя, и она упала, уже не зная, что падает на землю и что все сопякая, наблюдавшие за ней из-за углов, из окон, из дверей сараев, испуганно попрятались, убежали, отвалились от своих окон, скрылись, как если бы отважились наконец-то и убили своей злобой фабрикантшу и трусливо сбежали, страшась ответа за содеянное. Такое огромное зло масштабами своими еще не умещалось пока в их мерцающем сознании, но ни тени раскаянья не испытывали и не испытали бы они, случись с «фабрикант-

шей» и в самом деле самое страшное. «Так ей и надо! — мстительно подумали бы они. — Подохла из-за какой-то кошки!»

Но слава Богу, этого не случилось. Дунечка, хорошея год от года, дождала до своих девятнадцати лет, и к ней — впервые в жизни! — был приглашен на день рождения Вася Темляков. Да не просто так, а в качестве жениха, которого мама хотела показать родственникам, устроив по такому торжественному поводу настоящий пир. Деньги она добыла в торгсине, продав свои камушки, оставшиеся от прежней жизни, и, как всегда, ничего не пожалела на угощения. Вася Темляков был по душе ей, хотя она и страшилась за судьбу дочери, потому что ее суженый был тоже, как и сами Нечаевы, человеком без будущего в новой истории России. Вечно будут читать ему всяческие препятствия, как только заглянут в анкету — из бывших, из недобитых домовладельцев, пусть подождет, пусть пропустит вперед достойных, пожили в свое удовольствие — и хватит, назад его, в шею.

Но сердце матери не хотело мириться с жестокой реальностью, окружавшей Дунечку и ее жениха, как она уже привыкла думать о Васе Темлякове, чуть ли не год добивавшемся расположения ее дочери. Любовь его, явственная, недвусмысленная, покорила не только Дунечку, но и ее тоже сделала союзницей Темлякова в достижении благородной цели.

— Ах, это было бы очень хорошо, — говорила она сестре покойного мужа. — Он любит ее, я это вижу. Приятный молодой человек, с хорошими манерами. Я разговаривала с ним, расспрашивала. Из порядочной семьи. Хотя, сама понимаешь, сейчас это не достоинство, а скорее наоборот. Но меня это не останавливает... Представить, что какой-нибудь прощельга завладеет моей дочерью, выше моих сил. Она такая чувствительная, ей нужен понимающий супруг, способный учитывать привязанности и привычки. Бог знает, что ждет ее впереди, но сердце мое чувствует — она будет счастлива с Темляковым. У них свой дом и маленький сад, их потеснили, конечно, но не так уж... Какой-то комиссар поселился у них. Отец его не потерял даже места на службе. У него две сестры и один брат, старший. Был офицером царской армии. Царской! Понимаешь? Не белой, а царской. Окончил коммерческое училище, а в четырнадцатом ушел добровольцем. И такой смешной случай! В боях он не участвовал, стоял в Кременчуге, — говорила она, переходя на полусшепот, — и во время погрома спас одного еврея, посадив его в какую-то бочку на своей квартире... К нему ворвались, видят — офицер, и ушли... Так и спас еврея от гибели. Тот сам прибежал к нему с мольбой. А теперь в их лучших комнатах живет комиссар... Вот ведь как! Из бочки прямо в хоромы... Вот такая у них благодарность. Это, как говорится, дай мне спичек, а то у меня котелка нет сварить твою картошку... Что-то в этом роде. Я уж сейчас не помню. Что-то в этом роде получилось. Но одно мне ясно — это благородные люди, воспитанные. И когда я подумаю, то лучшего мужа и желать не могла бы для Дунечки. Он и сам тоже учился в коммерческом. Но не окончил. Представь себе! Поссорился с учителем. На уроке физики кто-то вывинтил лампу... Уж я не знаю какую, я в этом ничего не понимаю, но подозрение учителя пало на Васю Темлякова. Он был очень способным учеником, а чтобы вывинтить эту злополучную лампу, нужно было знать какой-то секрет, который плохой ученик знать просто не мог. Вот и пало подозрение на Темлякова. Он возмутился и бросил учебу. Не стал больше ходить в училище. Не перенес такого оскорбления. Я его очень хорошо понимаю! Нет, это благородный человек! Можешь себе представить, он даже немозжко играет на фортепьяно... Душа его воспитана на лучших примерах. А если бы ты видела, с каким восхищением он смотрит на Дунечку. Он влюблен по уши! Признаюсь, я готова во всем ему помогать, но не знаю, как это сделать, чтоб не оскорбить его. Вот задача! Впрочем, ты скоро сама его увидишь и все поймешь. Мне очень нужен твой совет. Ты более решительная, ты похожа на Колю, такая же смелая, тебе удастся как-то продвинуть дело. Я не знаю, как этому помочь, чтобы не обидеть. В конце концов, не залежалый товар предлагаем: Дунечка — красавица. Но ведь ты знаешь, она пошла в отца, у нее нечаевский характер, и я боюсь, как бы она не выкинула какое-нибудь колечко, как бы не отпугнула своим характером... Найдет коса на камень — что тогда делать? Один вспылит, другая топнет ножкой... Вот чего я больше всего боюсь.

Откровенно признаюсь тебе: хочу видеть его Дунечкиным мужем. И уж ты, пожалуйста, помоги мне в этом. Но, умоляю тебя, деликатно, чтоб комар носа не подточил. Уж ты, пожалуйста, сделай одолжение, пойми меня и пожалей. Я за тебя и так молюсь, а то буду день и ночь, день и ночь... Я это вполне серьезно тебе говорю, ты верь мне, пожалуйста...

Молодая еще женщина, вдова Николая Нечаева, человека вспыльчивого и нетерпеливого в достижении своих целей, погибшего в бессудном расстреле в восемнадцатом году, долго болела, не вставая с постели. Ослабшее сердце состарило Екатерину Ивановну, сделало ее тело грузным, водянисто-рыхлым. У нее вечно были теперь опухшие, как после долгого сна, тяжелые глаза с желтоватым, слезливым белком и дряблые мешочки под нижними веками.

Никакие массажи не помогали ей, она в конце концов смирилась с новым своим обликом и с тем отчаянием, какое долгое время испытывала, разглядывая себя в зеркале.

Со временем вернулась былая веселость. Хотя лишняя тяжесть, к какой она так и не смогла привыкнуть, мучила ее, вынужденную носить свое разбухшее тело на тяжелых тумбах отечных ног. Каждый вечер теперь, укладываясь в постель, она обязательно давила пальцем лоснящуюся кожу на ноге, надеясь на чудо, но палец, вдавливаясь в плоть, как в глину, оставлял всякий раз глубокую белую ямку, которая не скоро разглаживалась.

Новые жильцы дома думали о ней не иначе как о жирной, зажавшейся барыне, не замечая ее мучений, на которые она, как и дочь, никому никогда не жаловалась, не искала ни у кого сочувствия, скрываясь за привычной веселостью, залившей голодных и худых людей.

Екатерина Ивановна смеялась. Смех ее звучал, что называется, колокольчиком, проникая сквозь стены, как проникает детский плач.

Родом из богатой крестьянской семьи, она была взята Николаем Нечаевым с головокружительной смелостью и быстротой. Красивый щеголь, сам родом из соседнего села, венчание назначил в церкви Ивана-воина, пригласив московскую знать, дивившуюся, что Нечаев женится на крестьянке. Когда же невеста его вышла под венец в платье, расшитом жемчугами, которые большими колосьями были разбросаны по атласной ткани, когда гости увидели горделивую крестьянку, не спускавшую глаз со счастливого жениха, все они с улыбкой оценили шутку Николая Нечаева, преуспевающего молодого дельца.

Уверенная в себе, Екатерина Ивановна быстро освоилась в новом доме, в который с тех пор зачастили гости, слетаясь, как на приманку, на красивую крестьяночку. Она была для всех этих людей живым напоминанием о неиссякаемой красоте русского народа, способного рождать в своих недрах такую непревзойденную в целом мире, умную и добрую красоту.

И вдруг эта кровь, этот дикий расстрел... За что? У него ведь так хорошо шли дела...

Теперь она не жалела ни о чем, свято чтит память убиенного мужа и мечтала лишь о том, чтобы дочь ее, странная и, как ей казалось, совершенно не приспособленная к новой жизни барышня, хоть немножко была счастлива, познав хоть частичку той радости, какая выпала в свое время на ее долю. Чтобы хоть раз в своей жизни она проснулась ранним утром с улыбкой, зная, что все у нее хорошо обустроено в доме и не надо думать о деньгах, о еде, о теплой одежде... Ей казалось теперь, что именно Вася Темляков сумеет освободить ее от гнетущих душу забот. Или, во всяком случае, сумеет скрасить своей любовью злые дни.

Вася Темляков в этот вечер словно бы разучился есть, пить, говорить, слушать — сидел тупым истуканом, давясь кулебякой, из пышного зева которой сыпалась на стол духовитая капуста, подкрашенная яичным желтком. Он напряженно думал об этих ужасных крошках, которые падали на скатерть и вниз, на брюки, хмурился, чувствуя себя таким неловким и жалким за пиршественным столом, что готов был сбежать. Ему казалось, что все сидящие за столом насмешливо смотрят на него, как если бы он один вышел на сцену, освещенную яркими прожекторами, и стал делать что-то несуразное, что-то такое, что и сам

не мог никак понять, хотя и старался. Он слышал только свое жалкое «спасибо», произносимое всякий раз, когда Екатерина Ивановна, не оставляя его в покое, предлагала попробовать новое какое-нибудь кушанье — маринованную рыбу, кирпично краснеющую в живописном фарфоре, или заливной язык. Те самые блюда, которые пугали его своей неприступностью, потому что он знал, был уверен, что, потянься он к ним через стол и зацепи большой ложкой и вилкой кусок рыбы, выуди ее из морковно-лукового соуса, рука обязательно подведет его, задрожит и он уронит на переливающуюся тисненой белизной скатерть эту рыбу и этот соус.

— Спасибо! — с мольбой откликнулся он, прижимая руку к сердцу, единственное движение, какое он в этот вечер исполнил вполне сносно.

Дунечка откровенно посмеивалась над ним, сидя рядышком и так ловко орудуя ножом и вилкой, что Темляков любовался ее движениями, как любовался когда-то розовоглазым белым кроликом, хрумкающим морковку.

Она была слишком красива для него, она казалась ему в этот ужасный вечер совершенно недостижимой, совершенно непонятной и созданной для чего-то иного, чем он до сих пор представлял себе, для какой-то особенной жизни, в которой сам он никак не может оказаться рядом с ней на равных правах.

— На доньшох три дольки чеснока, — говорила между тем Екатерина Ивановна, — резаных. Смородиновый лист обязательно и укроп. Потом помидоры и опять зелень...

Сосед слева, который больше всего смущал Темлякова, прозрачный худой старик с веснушчатými руками, казалось, был очень недоволен, что сидел рядом с Темляковым, вдруг ни с того ни с сего, откинувшись на спинку стула, сказал мгновенно притихшим гостям:

— Народу надо было пустить себе кровь... Надо было! Никто не знает зачем, а вот поди ж ты! Шел на это как на самосожжение... А другие, как голодные волки, на запах крови, и себя грызли, себя жрали, пока кровь эта им в ноздри... Тут даже понятие вины неуместно. Вина — это то, что в конце концов искупается. Нет! Это не вина! Это затмение, чад души... Проклятье какое-то! Ложь, ложь...

Он поднес большую рюмку к сухим губам и стал медленно всасывать в себя вишневою наливку, которая окрасила уголки его губ в багряный цвет.

Екатерина Ивановна, нарушая молчание, хрипло засмеялась. Дунечка с укориной взглянула через Темлякова на мрачного старика. Взгляд ее был долгим, будто она всегда так смотрела на своего дядю, брата отца, внушая ему нечто одной только ей известное. Темляков не знал еще этого решительно-властного и строгого ее взгляда, когда, казалось, вся душа ее устремилась невидимой энергией к тому, на кого она так смотрела.

А старик поставил рюмку, хитро улыбнулся, поймав ее гипнотизирующий взгляд, и как ни в чем не бывало начал опять говорить:

— Однажды на муравейнике, на самой вершинке, выросла земляника... И вот такая ягода созрела! Большущая, красивая. Как украшение дома. Хозяйка кишат под ней, а я соблазнился и сорвал. Положил ее себе на язык и засовестился. Отнял у маленьких. Они забегали и, наверно, очень огорчились. А муравейник стал, как все другие муравейники, без ягоды. Бурый холмик, и все. А был такой красивый! С красной ягодой, крупной да такой вкусной, какой я больше никогда в жизни не пробовал. Ты, Дунечка, ягода наша

И Темлякову показалось, что старик безумоватой белесостью глаз мазнул его, обжег ему щеку, сделав это с такой осязаемой ненавистью, что он покраснел и, зная, что краснеет, совсем потерялся, поплыл в страшном стыде не в силах справиться сам с собой.

Это был мучительный вечер! Перед глазами у него грудились в серебре и фарфоре вкуснейшие по тем временам, изысканные закуски, о которых он потом не раз вспоминал на голодный желудок, но он так и не вкусил сладостно-ароматной их плоти, оставив все на тарелке, как если бы сосед слева помешал ему сделать это, а соседка справа усугубила, внося полный разлад в некий внутренний механизм его безвольного в тот вечер, вышедшего из подчинения тела.

Через год, когда Дунечка уже переехала к Темлякову и они жили с ней в бывшей детской, выходявшей окном на то пространство, которое когда-то было цветущим садом, старого ворчуна арестовали.

Темлякову казалось тогда, что тот сам был во всем виноват, сам напросился, словно хотел уйти из постылой жизни, из муравейника, на вершине которого горела когда-то крупная ягода земляники.

Вася был счастлив со своей Дуняшей, которая на удивление так естественно и просто влилась в его жизнь, что он никак не мог успокоиться и сменить свою радость на будничные хлопоты и заботы.

Первая та ночь, когда он привез ее к себе на легковом извозчике после шумной и туманно-неясной свадьбы, врезалась ему в память.

Пахло землею и молодыми листьями, ржавыми крышами и трухлявым нутром дровяных сараев, которые тянулись теперь вдоль забора. Конский навоз щекотал вдруг чуткие ноздри в прохладе весенней ночи. Доносился порой перестук копыт лохматого тяжеловоза в свете раннего утра. Шипящий ошпар дворничьей метлы в воробьино-звонком воздухе настаораживал слух.

Дунечка до утра сидела перед ним в своем белом платье, сняв только с шеи жемчужное ожерелье.

Он ей что-то говорил, говорил... Что-то совсем не то, что, наверное, надо было говорить... Она вдруг зевнула и шепотом сказала:

— Я спать ложусь...

— Ложись, ложись! — торопливо воскликнул он. — А я тут посижу...

Она стала стелить постель, толкая кулаками подушки. Потом просто, как на пляже, сняла платье, оголив гладкие плечи, обнаружив круто замешанное тело под плотным лоском облегающего шелка. Стянула с белокожих в утреннем сумраке ног чулки и испуганно кувырнулась под ватное одеяло, закрылась по самые глаза и, зябко дрожа всем телом, простучала зубами фарфорово-колкого и звонко:

— Замерзла совсем! — И засучила ногами, подправляя концы одеяла, собирая крохи тепла, которое уже копило ее тело во тьме ватной тяжести. И затихла вдруг в полном, казалось бы, изнеможении или притаилась в ожидании, как охотница в засаде, устроенной на опасного и сильного зверя.

Он никак не ожидал от Дуняши такой смелой решительности и был очень благодарен ей за это.

Море, море, море, кораллы, кораллы, кораллы, а потом, глядишь, уже и финики. Все это быстро в астрономическом времени. А на финиках обезьяны, а под финиками — детишки. Не так ли все это? В астрономическом-то времени... Потом — товарищи. Сначала просто товарищи. А потом — дорогие товарищи. И они, эти дорогие товарищи, не просто гордятся своими достижениями, а по праву гордятся.

Так и вся его жизнь протекла, проплыла пароходиком по реке. Ах, какие берега! А какие просторы! Сердцем понимал красоту, а рассудок твердил, что по берегам этим и просторам ходить не ему, а другим. Ты же все дальше и дальше, как дым из трубы. Только душа летает над просторами, а тело, как свинцовый мешок, приковано к месту, где родился. Есть, конечно, счастливички! Уходят, улетают, уезжают, уплывают... Но только не он. Он домосед. Он боялся дороги.

Даже перед короткой дорогой в пригородки не спал до утра, ворочался, обдумывая завтрашнюю дорогу, представлял себе неожиданные варианты, которые могли бы принести ему несчастье, волновался, выстраивая целый ряд непредвиденных обстоятельств, очень беспокоился... И только уже в поезде, когда перрон вокзала начинал отодвигаться назад, а вагон, покачиваясь, утробно гудеть колесами, катящимися по гладким рельсам, успокаивался и отдавался на волю судьбы, понимая себя крупинкой в потоке воздуха, уносящего ее по своей прихоти. Спорить с этим уже невозможно, и оставалось одно — покориться. Что он и делал, думая лишь о времени, какое оставалось ему пребывать в катящемся по рельсам вагоне.

Эта тайная боязнь дороги, о которой он никому никогда не говорил, возникла в нем впервые глубокой осенью сорок первого года. Хотя история началась гораздо раньше, еще в двадцатых годах.

4

Брат, словно бы обескровленный и убитый революцией и гражданской войной, постаревший, лишившийся права на личную жизнь и хоть какую-нибудь мечту о будущем, вернулся однажды из Манежа, где собирали бывших генералов и офицеров царской армии, и ушел к себе, не сказав никому ни слова.

Когда Вася заглянул в комнату, брат лежал на кровати, свесив одну ногу в сапоге на пол, а другую положив на железную гнутую спинку. Потертый, старый френч был расстегнут. Нижняя рубашка белела сухой чистотой. Голова лежала на подушке. Глаза неподвижно смотрели в потолок. Усы показались Васе седыми: они блестели от слез, как и все лицо брата, освещенное солнцем.

— Что тебе? — спросил брат, скосив красный стеклянистый глаз. — Оставь меня.

Вася испуганно закрыл дверь.

Потом он только узнал, что многих офицеров и генералов, тесно толпившихся в холодном Манеже, собранных туда по приказу властей, расстреляли, обвинив в заговоре.

Среди расстрелянных был хороший и добрый приятель брата. Да и других он тоже знал как боевых офицеров, готовых и дальше служить России и русскому народу и не робеющих не только под пулями, но и под разгневанным взором начальства, не забывая о чести русского офицера даже в самые критические моменты жизни.

Их обвинили в заговоре и расстреляли как реальную силу, способную причинить вред новой власти. Продырявили им груди и головы, остановив навеки горячие сердца, бившиеся во благо России и бранной ее славы. Расстреливали их, конечно, люди обозленные, и вряд ли кто-нибудь из тех людей, поднявших на них винтовки или наганы, мог бы сравняться с убитыми умом и остротой святого чувства любви к России.

Люди, поднявшие винтовки, прицелились и по команде нажали на спусковые крючки, произведя роковые выстрелы. Офицеры и генералы упали, а те, которые еще были живы и стонали от боли, были добиты штыками.

Брат наверняка представлял себе эту жуткую сцену, видя в толпе расстреливаемых и своего друга, юного человека, мечтавшего вместе с ним о новой России, которой они поклялись служить до конца еще в Кременчуге, когда стояли там в пятнадцатом году, ожидая отправки на фронт. Воображая себе подробности убийства живых людей только за то, что они были озабочены судьбой России ничуть не меньше тех, в чьих руках была власть, он понимал свою жизнь оконченной, никому не нужной. Во всяком случае, он понимал свою кончину лишь отсроченной до особого распоряжения той мрачной и огромной силы, которая олицетворялась в его горячем сознании с говорливо-шумной и злой толпой, не знавшей пощады или хотя бы какого-то чувства сострадания и милосердия. Его охватило нетерпение, которое привело к душевной болезни.

Он работал тогда в какой-то конторе счетоводом. Время было голодное. Однажды он пришел домой в страшном расстройстве, вздыхал и болезненно ахал, рассказывая в нервном возбуждении о том неловком положении, в какое нечаянно попал: грыз потихонечку подсолнушки, страдая от голода, а кто-то из сослуживцев заметил это, когда он уронил полосатую шелуху на пол.

Его успокаивали, но все было тщетно. Он чуть не плакал от стыда, вспоминая несчастный для него день, когда люди увидели, что он грызет подсолнушки... Он, офицер! — и вдруг эти проклятые семечки, он, Александр Дмитриевич Темляков, грыз семечки! Этот позор он не мог простить себе, как не мог простить и того, что был оставлен до поры до времени в живых, как если бы у властей не хватило на этот раз патронов или как если бы власть, расстреляв часть его друзей, решила припугнуть его, Александра Темлякова, почему-то посчитав, что именно он, поручик Темляков, может быть напуган ими до смерти

актом расстрела и будет превращен в визгливую свинью, сало которой пока что не требовалось к столу палача.

Он стонал и ахал, просыпаясь среди ночи, ходил по дому,пил холодную сырую воду и снова ахал, причмокивая языком, мычал, бил по столу кулаком, пугая домохозяев.

— Как же так?! — спрашивал он ночную тьму. — Как же я мог допустить?! Ах, эти подсолнушки! Боже мой, какой позор!

Потом он стал прислушиваться к проезжавшим мимо автомобилям и к потрескивающим звукам пролетов. Автомобиль, проезжавший по улице и тарахтящий мотором, стал приводить его в ужас. Он вскакивал и с виноватой, торопливой grimасой говорил обреченно:

— Это за мной... Ничего, ничего! Не беспокойтесь, это за мной.

Движения его были рваные в эти минуты, глаза страдальчески бежали, словно он не в силах был остановить свой мутящийся взгляд, он весь превращался в слух, с мальчишеским любопытством раскрывая рот в ожидании шагов.

Никто не мог отвлечь его, пока на улице не затихал автомобильный мотор.

Брат, затаив дыхание, выглядывал из-за занавески и, только убедившись, что улица пуста, уходил на цыпочках в глубину комнаты и жмурился в улыбке, показывая всем язык.

Душевная болезнь брата, толчком для которой явились обыкновенные подсолнушки, с каждым днем прогрессировала, припадки отчаяния и страха стали учащаться, и однажды его увезли с работы на Канатчикову дачу, а потом перевели в пригород, в Подосиновку.

Оттуда он приезжал иногда на побывку, жил тихо и смиренно под слезно-радостным присмотром несчастной матери, но потом вдруг сам, что-то предчувствуя, собирался, тихо прощаясь со всеми, терпеливо и грустно наклонял голову для материнских поцелуев и уходил с вещевым мешком, уезжал в свой загородный дом, на дачу, как печально шутил он, находясь в здравом расположении духа.

Болезнь эта была неизлечима.

Однажды Вася вместе с матерью ездил к брату.

Возле печальной больницы собирались молчаливые люди, встречая тихими улыбками своих больных с серыми остриженными головами, разглядывая их без всякой надежды, как если бы это были осужденные на пожизненное заключение.

Брат застенчиво потрепал Васины волосы, поцеловался с матерью и, серый, одутловатый, с опухшими глазами, покорно пошел за матерью на деревянную скамейку, стоявшую в пыльных акациях.

Был жаркий день. Коричневые, зрелые стручки, которыми были усыпаны кусты акаций, трескались под лучами горячего солнца, и этот электрический треск, казалось, имел какое-то странное отношение к землисто-серой, поблескивающей ранней сединой голове брата, будто этот треск все время раздавался в ней, отчего на лице его блуждала отрешенная улыбка.

— А этому-то... — сказал брат, когда мать развернула перед ним салфетку с пирожками и клюквенным морсом, постелив ее на узкой скамейке. — Опять ему привезли... эти самые... — Брат смял лицо в улыбке и вопросительно взглянул на мать, пугая Васю своей непохожестью на того брата, какого он знал раньше. — Ты что ж; не знаешь? Я рассказывал тебе! — обиженно воскликнул Саша. — Палач! Он расстреливал... всех... Ему опять привезли сорок бутербродов. Он злой. Разложит бутерброды и считает... До тридцати досчитает и сбивается... Ох уж тогда! Кричит! И опять считает, — говорил он со смехом, надеясь вызвать смех и у матери. — Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь... А потом опять сбивается! Никак не может до сорока досчитать. — Брат умолк и, уйдя в себя, тихо забормotal, озираясь по сторонам с загадочной хитрецей в мутноватом взгляде: — Это он никак сосчитать не может, скольких он расстрелял... До тридцати сосчитает, а потом сбивается и кричит от злости.

— Попей морсику, Шура, — говорила испуганная, как и Вася, встревоженная мать, отвлекая несчастного сына от странного его рассказа. — Кисленький.

А вот твои любимые пирожки с грибами... А вот эти с мясом. По-моему, получились пирожки, не подгорели. И тесто хорошо подошло.

Брат отвлекался с послушанием примерного ребенка и начинал старательно жевать пирожки, запивая их морсом из фаянсовой кружки. Вася почему-то со страхом слышал, как стучат его зубы о край, и с удивлением наблюдал, как текут струйки морса по подбородку, затекая по шее за ворот серой, застиранной нижней рубашки, завязанной на груди такими же серыми тесемками.

Несмотря на свои шестнадцать лет, ему было так страшно тут, что он ничего не видел, не слышал и хотел лишь одного — побыстрее уехать отсюда и никогда больше не ездить сюда. Но мать промучила его до заката, рассказывая равнодушно сыну все, что могла только вспомнить, и они уехали домой последними. В дороге мать плакала, словно ехала с похорон сына. А Вася сидел и хмуро смотрел в окно, зная, что он больше никогда не поедет в эту Подосиновку. Он тоже словно бы похоронил брата, смирившись с неизбежным.

Но он еще не знал, что истинные похороны впереди и что те, грядущие похороны будут ужасны и неправдоподобны, как кошмар.

Излом белых заснеженных плоскостей крыш подчеркивал загадочность и тайну человеческого разума, настроенного на нужность того или иного сооружения — курятника или загончика, сарайчика для борава. Хозяин всех этих деревянных сооружений чувствовал себя среди тесных пространств, как ученый в своей лаборатории. Он делал шаг и знал, что тут ему надо повернуться боком, чтобы протиснуться между частоколом и дощатой стеной, а тут надо нагнуть голову, чтобы не удариться об угол крыши.

Теперь, когда все это было засыпано плотным, крепко замороженным снегом, особенно четко проглядывалась целесообразность каждого сооружения.

Черно-белый двор, штрихи частокола на снегу, зловонная тьма распахнутой двери, во тьме которой грубо похрюкивал боров, белые куры, которые на снегу казались лимонно-желтыми, — все это было заключено в обнесенное частоколом пространство, которое было как бы тем местом, где жизнь свила себе гнездо и где одна жизнь, выращивая жизнь другую, поглощает эту другую, воспроизводя ее опять и опять, чтобы на новом витке снова поглотить ее. Это был не просто участок для жизни и удовольствия человека, а это был участок для многих жизней, гибелью своей и кровью кормящих друг друга.

В морозный день декабря к этому деревянному и теплому островку жизни подошел озябший, зеленовато-серый, задыхающийся человек в драповых пальто и в черной котиковой шапке, мех которой был вытерт до коричневатых проплешин, словно съеденный молью. И лишь опущенные уши шапки чернели нетронутым лоском котикового ворса. Нос у человека был узкий и розово-холодный. Глаза, остуженные морозом, безумовато поглядывали на зловонную дыру, откуда доносилось хрюканье.

— Хозяин! — надрывно крикнул человек. — Хозяин! Кто-нибудь есть? Але! Хозяин! Можно на минутку?

Из тьмы сарайчика, из-под наверхия косога проема, обметанного инеем, показалась голова старика с тяжелым лицом. Он молча вперился в нежданного гостя и в глаза его Темляков заметил испуг.

— Хозяин, прости, пожалуйста! — взмолился Темляков. — Брат у меня... в больнице... умер. Мертвый лежит уже три недели... Понимаешь? Похоронить надо. А как? Ни лома, ни лопаты... Выручи, пожалуйста, прошу тебя... Никто не верит. Обошел уже много дворов, никто не дает, не верит. Что же мне делать-то? А я обязательно принесу. Ты поверь мне, ради Бога! Похоронить надо брата. Совсем выбился из сил. Разве я знал! Я бы из дома взял и лом и лопату... Не знал.

Он умолк, в надежде глядя на угрюмого старика, который вышел из тьмы. Коряжистый, некрасивый, кривой весь какой-то, как корчеванный пенёк. Был он безбородый, безусый, в стеганых ватных штанах, в которые словно бы врос, не снимая никогда. Что-то в его лице дрогнуло, заслезилось добротой и сочувствием. Он что-то сказал или откашлялся — Темляков, погибая от холода, не расслышал.

— Что вы сказали? — переспросил он, перейдя на вы. — Я не понял...

Старик подошел к ограде, хрипя прокуренной глоткой:

— Как написано в етий бумажке?

— В какой бумажке? — не понял его Темляков.

Старик вздохнул и сказал:

— Не умер он...

— Как же не умер?! — испуганно возразил ему Темляков. — Я его сам... Там их много... Замерзшие все... в сарае. Еле узнал. Больной он был. Умер...

— Так-то и умерли? Говоришь, много... Много, конечно. Что ж они, все так и умерли? Не умерли они. Побили их, когда немец близко подходил. Как тварей бессловесных, а они все ж таки люди. Кричали. Я сам слышал, кричали, когда их колотушками... кто чем... по голове... Как бычков.

Озноб, который бил Темлякова, вдруг утих, будто кровь вскипела в жилах. Он только теперь с ужасом понял, о чем говорит старик.

— Ну да, ну да, — сказал он. — Я думал... но не мог... Я не поверил... У него на голове, вот тут, — показал он на свой висок, ткнув в черное ухо vareжкой. — Синий рубец... Чернота... Ну да! Ну да! — словно заговариваясь, повторял он. — Ну да! Конечно, война... Ну да, но... Немцы, конечно, но... Кричали, говорите? Боже мой! Что же мне делать? Мне говорят: вон, ищи своего. А их там целый штабель, как бревна, как дрова... Ну да! — спохватился он, задыхаясь. — Теперь понятно. Да, да! Я понял. А что же мне делать? Теперь я понял... Я хоть и догадывался, но думал, может, печи не топили, заморозили, они уснули навеки... А вы говорите... Неужели колотушками? Ах, Господи!

Старик смотрел на него, словно бы примериваясь, есть ли силы, сумеет ли он один в такой-то мороз выдолбить в каменной земле могилу, донесет ли, вернет ли лом и лопату, а потом сказал:

— Ты меня не продавай. Гляди! Ты уж помалкивай. Начальство знаешь какое. Не помилует.

— Нет, нет! — испуганно воскликнул Темляков. — Что вы! Разве можно! Не беспокойтеся, пожалуйста. Я все понимаю.

— А могилу ты не сумеешь выкопать. Земля как лед, — сказал старик. — Кремень. Об нее хоть искру высекай.

— А что же мне делать? Не бросать же опять в этот... ужас... А?

Темляков слышал себя как бы со стороны, будто это не он говорил о брате, окоченело лежащем в эти минуты на полу большого сарая, превращенного в мертвецкую. У него что-то выпало из сознания еще тогда, когда он, ужаснувшись груде замерзших тел, увиденных им в полусумраке сарая, стал растаскивать их, смерзшихся, скованных друг с другом морозом. В сознании его только одно лишь звучало как молотом по наковальне: «не он, не он, не он...» Силы, неведомо откуда взявшиеся, не оставили его до того страшного мгновения, когда он, едва ухватившись окоченевшими руками за плечи покойника, сразу узнал Шурку, лежащего с жалко подвернутой головой, белой от изморози. «Да, — сказал он сторожу так, будто наконец-то ему повезло и не надо больше никаких усилий с его стороны, — это он. — И даже добавил: — Слава Богу. Это он». А сторож, помогавший ему растаскивать убиенных за обещанную красненькую, тоже облегченно вздохнул. «Ну и хорошо, — сказал. — Теперь только надо обратно всех сложить. Чего ж мы их так разбросали. Придется складывать. Ничего не поделаешь». И Темляков, задыхаясь от нахлынувших чувств, согласился с ним и стал заносить трупы на верх жуткого штабеля, опять слыша, как морозно скрипят они и попискивают, укладываясь друг на дружку.

Шуру они отнесли к дверям, положили на простыни, которые захватил с собой Темляков, зная, конечно, что о гробе сейчас и думать не приходится.

Он лежал у них под ногами, полураздетый, в каких-то широких, примороженных, жестянисто топорщущихся штанах, босой, подвернув голову, как битая птица. Это был он и не он. Мутные подо льдом глаза, мутное, заиндевелое лицо... И лишь длинные, струнно вытянутые пальцы левой руки, согнутой и на весу торчащей над грудью, те самые пальцы, которые когда-то, в натопленном отчем доме, сопровождали правой руке на басах, говорили в своем застывшем полете, что это именно он лежал под ногами, Александр Темляков,

горячий и азартный человек, добровольцем ушедший в четырнадцатом году в армию, хотя и мог, как старший сын, избежать призыва.

— Сашенька, — тихо сказал обессиленный, погибающий от удушливых спазм в горле, убитый печальным воспоминанием младший Темляков, — Сашенька...

Но надо было торопиться, и он с помощью мохнатого, заросшего щетиной сторожа, от которого несло водочным перегаром, укутал Сашу в простыни, а потом в старое байковое одеяло, Сашино одеяло, прожженное когда-то угольком папиросы. Туго-натуго обвязал веревками, пытаясь прижать к груди руку, но услышав льдистый ее хруст, испугался, будто ломал брату кости, и оставил на отлете.

Ни лома, ни лопаты — ничего не было у сторожа. В деревне никто и слушать не хотел его, когда он просил помочь, даже отмахивались от него и закрывали двери, как если бы он покушался на вдов и старух, отбирая у них последнее.

И вот он стоял теперь перед стариком, который по каким-то непонятным ему соображениям, движимый своим каким-то чувством сострадания, никак не выраженным на словах, не только принес лопату и ржавый лом, но и сам, затворив и заперев на замок все двери своего жилища, пошел с ним по тропочке, ничего не говоря. Но тут же остановился и так же молча вернулся, пробренчал ключами, отворил серую дверь сарая и выкатил оттуда деревянные санки на гнутых и широких полозьях. От санок пахнуло в нос сеном и навозцем, они зашуршали, елозливо запели на снежной дороге, легко поспешая за стариком, который шел в валенках с разрезанными под коленками голенищами, рыхлых и неказистых, будто спрессованных из мохорки неумелым мастером.

А за ним шел Темляков и впервые за этот кошмарный день плакал, неся на плечах лопату и тяжелый лом. Ему очень хотелось сказать старику сквозь слезы, которые он не скрывал: «Я молиться за вас буду всю жизнь», но стеснен был той неправдой, какая прозвучала бы в морозном воздухе, скажи он это старику, потому что забыл да и раньше плохо знал молитвы, считая себя атеистом. Не по убеждению, нет, а по моде, какая гуляла среди молодежи в оные времена.

Могилу на кладбище они со стариком, имени которого он так и не узнал, копали до самой темноты. Получилась она мелкая. На глубокую не хватило сил. Закопали кое-как в эту могилу Сашу, обложив сверху, точно камнями, осколками мерзлой земли, присыпали снегом. Старик воткнул в могилу ветку, отломленную тут же от молодой березы, которые росли вокруг во множестве, розовея в солнечно-чистых снегах. Стылую землю уже окутали опасные дымчато-мрачные сумерки, березки посинели от ночного мороза, а потом и совсем померкли.

— Снег сойдет весной, — сказал старик, еле дыша от усталости, — ты приезжай, поглубже уложи его... Земля немножко отойдет, там полегче будет. Найдешь могилу-то?

Темляков прижал его к груди и ответил звонким взрыдом на его заботу.

— Простите меня, — то ли простонал, то ли вскрикнул он. — Что бы я без вас! Не знаю, как благодарить.

А старик уложил на саночки, на которых они притащили сюда Сашу, лом и лопату и сказал сердито:

— На станцию беги. Не уедешь отсюда. Поезд-то теперь знаешь как... А то, хочешь, у меня переночуй.

— Спасибо. Жена с ума сойдет. И так уж...

И он, шатаясь от всего пережитого, смертельно усталый, пошел по звенящему снегу не чуя ног, будто они у него были обморожены. Шел, проклиная страшную жизнь, немцев, только что отогнанных от Москвы, и тех псов с колотушками, которые убили большого брата.

Эта злость и спасла его в морозную ночь, когда он едва живой дошел до станции и узнал, что до утра уже не будет поезда — отменили.

Сил возвращаться к старику не было. Слава Богу, его пустили переночевать в доме поблизости от темной станции. Он привалился в углу теплой избы, пугая хозяйку и маленьких девочек. Они во все глаза смотрели на него, пока он

не объяснил им, кто он и почему здесь, и тут же уснул, повалившись на земليсто-грязный пол как на самую мягкую, пуховую перину, на которой никогда в жизни не спал.

Среди ночи проснулся от мычащего крика и, уже проснувшись, со стыдом понял, что это он сам кричит, пугая добрую хозяйку и ее девочек. Кости болели как отбитые, он едва сдерживал стон, поворачиваясь на другой бок, со страхом подумал о Дуняше и опять провалился, словно теряя сознание, в мрачный сон.

Море, море, море, кораллы, кораллы, кораллы... Темляков именно с тех пор боялся дороги. Эта боязнь засела ему в душу, будто всякая дорога в его жизни обязательно должна рано или поздно привести к сараю, в котором покоятся смерзшиеся трупы.

5

Чем старше становился Темляков, тем меньше он знал, каким должен быть человек. Теперь, в глубокой старости, он вполне определенно мог бы сказать: я не знаю, каким должен быть человек.

А потому все проявления человека, все его действия, убеждения, разочарования и мечты — все составляло суть реального человека, вызывало в нем чуть ли не детское любопытство, и он с интересом наблюдал за всеми проявлениями непонятной жизни, оставив себе роль стороннего наблюдателя, который наконец-то отошел от дел и огляделся вокруг.

Он и свою жизнь поставил в этот ряд, посматривая на нее со стороны и понимая, что вся она, от начала и до конца, была раздергана в клочья призывами вождей и полубогов, которых он боялся, но которым зачем-то верил, надеясь, что тот или иной призыв нового вождя, руководителя страны, выведет Россию на счастливый путь.

Каждый новый вождь, возвышаясь, отторгал от себя, а то и проклинал всенародно предыдущего, и эти проклятья очистительным ветром возбуждали и окрыляли душу доверчивого Темлякова.

Но этот, кому он доверялся, уходил в тень, а пришедший на смену, как лотерейный шарик из крутящегося барабана, уже выкатывался на свет божий, суля любопытным зрителям выигрышный номер. И пока крутился прозрачный барабан, механическими лопаточками перемешивая другие шарики, среди которых был неизвестный еще людям, но обязательно выигрышный номер, Темляков опять доверчиво всматривался в новую фигуру, выброшенную из барабана времени на обозрение людям. Мало было счастливицков, выигравших от этой новой комбинации, но зато многие, игравшие в эту игру, верили, что и им тоже когда-нибудь повезет.

Теперь он с улыбкой думал о той азартной игре, в которую он был втянут, как в водоворот, и понимал, что в жизни у него не было ни одной такой комбинации, которая принесла бы ему выигрыш. Было много обещаний, но ни одно из них не сбылось, ни один партийный олигарх, которому он верил, не принес ему счастья.

Вселенский рынок, засилье торговцев в храме, где все продается и все покупается — кошки и люди, трактора и иголки, — все это страшило его теперь и приводило в отчаяние.

А он всю жизнь в молитвенном восторге рисовал себе будущее, которое могло бы, как он считал, спасти Россию от гибели. Видел синие, словно бы льдисто-холодные асфальтовые дороги в жарких степях или елях и вдруг за обочиной — лужайка, освещенная солнцем, домик, корова на лугу и две белые козы, куры, гуси, утки и... подтопленный бережок над тихой речушкой, заболоченный и пропахший аиром. И, конечно, счастливые люди, гуляющие по зеленой лужайке.

Эта мечтательная картинка никак не вписывалась в действительную жизнь и очень печалила его. Она, как домик на старой открытке, манила его своей романтической идиллией.

«Ну да, конечно, — говорил он сам себе. — Я один из тех мечтателей, которых называют пустыми людьми. Я пустой человек. Я ни на что не гожусь.

Но разве все остальные, кто думает, что именно они нужны России и ее истории, разве они лучше меня? Нет, конечно. Они своей энергией губят землю. Чем энергичнее человек, тем он опаснее для жизни. Энергия — это страшная разрушительная сила. Кому-то надо избавляться от этого проклятия. Почему бы мне не быть первым?»

В такие минуты он обязательно вступал в серьезный спор с воображаемым противником.

«А вот, — говорил он, — я знаю один такой лужок на опушке леса. Старик испокон веку косил его и всегда оставлял возле опушки под березами зеленую полосу зрелой травы и цветов. В этой полосе копошились шмели, пчелы, осы и прочие мухи и комары. Лужок этот всегда хорошо родил густую и сочную траву, и старик был с душистым сеном. Но умер старик. И однажды молодой и злой мужичонка приехал на лужок на тракторе с косилкой и подрезал под корень всю траву. Быстро да глупо, потому что на другой год трава была хилая и сухая, жесткая. Так ручная работа взяла верх над механической, или, как теперь говорят, энергонасыщенной, после которой пропал лужок. А вы говорите — энергия! Вот вам и энергия. А старик косил себе да косил по росе. Брызги из-под лезвия, как искры в солнечных лучах... Лужок был пологим, спускался к речке. А мудрый этот старик оставлял полосу травы на взгорке. Трава там созревала, бросала семена, а по весне вместе с талой водой семена эти и подсевали лужок. Этот же, на тракторе, дурак, хоть и насыщен энергией...»

Но с ним никто не спорил. Некому было. Темляков всю жизнь прожил одиноким человеком, которого, как это ни странно, люди просто не замечали, как если бы он был невидимкой.

Весной сорок второго, когда он приехал на могилу брата, земля, раскрывшаяся из-под снега, была обметана паутиной, изборождена петлистыми мышинными норами, прикрыта слежавшейся в войлок прошлогодней травой, дырявой и плоской, безжизненной. И не верилось Темлякову, что скоро она зарастет новой травой. Солнце с ветром высушили пожелкшую путаницу прошлогодних стеблей, и они, как старое сено, громко хрустели под ногами.

Но потом, приглядевшись, он увидел, что сквозь эту рухлядь туго пробивались курчавые побеги сныти, а колодезно-чистые, холодные стрелки юной травы уже обметывали землю мшисто-зеленым пухом. Бледная бабочка порпыхала над возрождающимся миром, согретая жаром весенних лучей.

На этот раз Темляков привез лопату и, с трудом отыскав могилу, которая не холмиком, а глинистой впадиной ржавела среди хрустящей белесой травы, осторожно положил ее рядом с не просохшей еще глиной.

Весенняя усталость и волнение обессилили его, и он долго сидел на теплом бугорке соседней могилы, на которой ни креста, ни отметины, слушая, как на березках ворчат возле рыхлых гнезд грачи. Многоголосый их говор сливался в неумолчное радостное ворчанье. Небо по-весеннему робко голубело над березами и тоже, казалось, радовалось вместе с грачами и множеством других птичек, поющих, свистящих, дерущихся за свое место под солнцем, поселившихся на кладбищенских деревьях и кустах.

В слезливом умилении он подумал, что Саше здесь хорошо, как будто останкам брата вообще может быть хорошо или плохо. Это нужно было ему самому так подумать, чтобы отодвинуть горе и вернуться в мир жизни с чистой совестью, как если бы он сказал Саше: «Тебе, братушка, повезло» — и успокоился на этом. То есть продолжил свою жизнь здесь, рядом с могилой брата, на равных с ним: тебе хорошо, и мне неплохо.

Зимой, когда он хоронил Сашу, или, как мать называла его, Шуру, вместе с ужасом, какой испытывал он, преследовало его странное чувство вины и смиренной неловкости перед людьми, с которыми он имел дело. Будто он, отвернувшись от великих бед отечества, забыв о тех жертвах, какие несло оно в страшной войне, докатившейся до Москвы, преступно озабочен был сугубо личным своим делом — похоронами брата, не имевшего никакой не то что заслуги перед истекающим кровью отечеством, но вообще являвшегося лишним, никому не нужным, мешающим сражающемуся народу человеком, смерть которого как бы сама собою разумелась, ибо жизнь этого человека отвлекала

многих людей от главного дела всей страны. Он очень остро ощущал это чувство виноватости, зная, что в каких-то десятках километров от больницы и от деревенского кладбища только что легли в боях декабрьского контрнаступления наших войск тысячи молодых, здоровых, хороших людей, жизнь которых обещала такое же здоровое и хорошее, как и сами они, поколение несостоявшихся потомков, в то время как жизнь Саши была темным тупиком, биологически бесперспективной туманностью, которую и жизнью-то назвать можно было только с серьезными оговорками.

Теперь же, когда немцев отогнали от Москвы и они лишь ночными налетами пугали москвичей, бесприцельно сбрасывая из тьмы свой бомбовый груз; когда у всех появилась уверенность в своей силе и способности бить немцев; когда здесь, на деревенском погосте, вдали от отодвинувшегося фронта, гракали в брачных играх и гнездовых заботах усталые от перелета очень мирные грачи, — Темляков, тупо глядя на глину осевшей могилы брата, весь отдался переполнившей его жалости, сострадая душою несчастному.

Сияюще-желтый цветок мать-и-мачехи раскрылся пушистой звездочкой на его жалкой могиле, и Темляков, не заметив утром этого чуда, прятавшегося в холоде земли, пока солнце еще не коснулось теплом глинистой впадины, похолодел от нахлынувших чувств, будто это был знак оттуда, где лежал брат, не истлевшее еще тело Саши, пославшее ему некую улыбку...

Перед глазами его зарыбли металлическими конструкциями и решетками старый Крымский мост с деревянным настилом, и услышал он жизнь ледохода на Москвареке, как принято было называть в семье реку, не склоняя слова Москва, а произнося его слитно с рекой. Почему-то было очень важно ему после свидания с братом подумать об этом, словно таким образом он обособил эту реку от нынешней, назвав по старинке Москварекой.

Правый берег, где они с братом родились и жили, естественно и просто возник в проясненной и живой памяти. И оттуда, из того булыжного, трамвайно-звонкого Замоскворечья, побежали они с братом под горку, по Крыму к шумной реке и вместе со множеством радостного люда увидели с дрожащего моста, подпертого в то время каменными быками, мрачно-серую и вспененную белым крошевом льда неукротимую лавину вспученной реки... Жар небесных лучей и свежий холод зимнего черепа реки, грохот взломанных льдин, дыбившихся и сверкающих голубым огнем, упрямое их движение, которое далеко было видно в прозрачно-чистом просторе реки. Взъерошенной лавой река выпирала из-под недалеких Воробьевых гор, круто поворачивая там, в излучине, полукружьем, опоясывая Москву, делая воробу, отчего и назвали древние москвичи свои гористые холмы над рекой Воробьевыми, то есть вознесшимися над городом и над Москварекой лесистой подковою.

И оттуда, по этой крутой воробе, из-за поворота с бесконечной, казалось, деловитостью, с утробным гулом и сырым, тяжким хрустом напознал на мост ледоход. Огромные льдины, приближаясь, напарывались на быки, с адовым скрежетом и ревом лезли на них, стекленели, оголяя свою толщу, сверкали в солнечных лучах узловатыми сколами, с шумным чавканьем водяных жителей подбирались, пугая веселых зрителей, чуть ли не под самый настил моста, но с сопящим ревом и грохотом рушились, разламываясь, в бурлящую струю ожившей реки, в сизое крошево все наплывающих и наплывающих с однообразной и незаметной скоростью льдин.

Шумно было, весело, тепло и холодно, а на сердце страшновато и храбросто. Страшно, что мост дрожал, но и не страшно, потому что так много собралось людей на мосту, так много вокруг было радостных улыбок и восторженных переглядок, общих криков, вселюдной причастности к чуду весны, что даже испуг при виде уж очень большой и толстой льдины, хрустальной глыбой напиравшей чуть ли не на перила моста, грозя изломать непрочные сооружения, только веселил беспечных зрителей, которые с игривым ужасом, с криком и визгом отпрыгивали от перил, от того голубо-алого, золотисто-синего чудовища, которое со звериным ревом лезло на них, грозя раздавить, но опять и опять разрушалось, сотрясая мост. Страх этот был веселый.

Вася Темляков хватался руками за брата, жмурился и гоготал, взмыкивал и с мычанием этим выдыхал всякий раз очередной свой страх. А Саша придержи-

вал его за плечи, большой и сильный, и радостно улыбался, играя тоже, как и все тут, в веселый страх.

Это было огромным событием в жизни братьев, если им удавалось попасть на Крымский мост в самом начале ледохода, когда недвижимая Москварека оживала после зимнего оцепенения и настоящая, бесповоротная весна делалась у них на глазах. На тот Крымский мост, по которому они каждое утро проезжали в дрожках на резине, веселясь за спиной кучера, насмешливого, горячистого мужика, у которого была знаменитая фамилия — Кутузов.

— Это то самое, что надо, — любил приговаривать он, соглашаясь со всем, что рассказывали ему братья по дороге.

Место его стоянки было на углу Мытной, неподалеку от керосиновой лавки, но каждое утро с осени до весны по уговору с отцом он возил братьев в коммерческое училище, и хотя разница в возрасте у братьев Темляковых была велика, он с каждым из них горячо и как-то уж очень насмешливо-быстро соглашался:

— Вот это то самое, что надо! То самое... Да! Что надо!

Они выкатывали с улицы на площадь, где трамвай делал круг, огибали зеленую еще в сентябрьские дни клумбу с цветущими астрами и, разгоняясь, катили вниз, к реке, к Остоженке, заключая себя надолго в классных комнатах коммерческого училища, которое Саша окончил перед войной, а Вася гордо бросил, уже после революции, оскорбившись подозрениями учителя физики.

Но эти поездки на дрожках, учеба, классы и учителя — все это пролетело промельком в сознании Темлякова как что-то случайное в жизни, не важное, оставшееся не до конца понятным и осознанным, как загадочный и туманно-неясный сон.

А вот ледоход на Москвареке!

Он даже помнил вкус воздуха и его солнечно-льдистое дуновение, которое словно бы не снаружи оведало его, холодя и согревая, а просачивалось сквозь всю его плоть, мешаясь с кровью, с жизненными какими-то силами, грея озябшую от восторга душу.

Его и до сих пор пронизывало сладостное страдание, когда вдруг неожиданным наплывом возникало в нем то давнишнее состояние духа, будто душа его, исстрадавшаяся за долгую жизнь, звала его в детство, а он и рад бы подчиниться, да изможденное тело, усталые до предела мышцы, больные кости не в силах были вернуться туда, где шумели льды и сияло солнце, обещая весенние радости в цветущем саду.

Конечно, как всякий старый человек, вспоминая детские и отроческие годы жизни, Василий Дмитриевич Темляков приукрашивал и рисовал в своей памяти чересчур уж благостную Москву. Но сам он никогда не хотел и не мог думать о ней иначе, не помня тесноты, заразы грязных помоек, зная, как и Дуняша его, что рядом с той же помойкой шумел листвою в чистом голубом воздухе золотистый клен. Зачем нужна ему была вонючая помойка, если над нею возвышалось раскидистое дерево? Каждому свое — кто-то видит помойку, а кто-то кленовые листья под ногами, из которых делает букеты для долгой зимы.

Он всю жизнь искал и любил красивую правду, которая была, есть и будет даже в судьбе самого обездоленного человека, если для него жизнь — счастливый подарок небес, а не кусок колбасы, который ему не достался.

Досталась сама жизнь! Что же еще!

Об этом в зябкой расслабленности думал он, сидя на чужой могиле и глядя на ярко-желтый цветок мать-и-мачехи. Знал ли этот цветок, над каким чудом поверженным и растерзанным распустил он раннюю свою красоту? Понимал ли он в своей безмятежной радости, что, впитывая солнечную энергию и надеясь на полнокровную жизнь, он обречен на близкую гибель, что придется скоро ему быть засыпанным под могильным холмом, ради чего и приехал сюда брат того, кто лежит под глиняным пластом?

Темляков задавался этими странными вопросами, которые казались ему преступными в эту минуту и в тяжелую эту весну, когда война еще только разгоралась, а он, здоровый, сильный мужчина, не призван под знамена, сидит на сельском погосте.

— Эй, подосиновик! — услышал он вдруг за спиной чей-то ядовитый голос. — Эй ты!

Медленно обернулся. Замороженный ужасом хребет не позволил ему быстро среагировать на резкий голос, раздавшийся из-за могил и берез... Но кладбище было все так же пустынно и заброшено, одни лишь грачи неумолчно ворчали, звонко хрипели у гнезд, перелетывая меж берез, заляпанных гнездами, как прибрежные кусты после половодья. Черные, белоклювые, озабоченные своими весенними радостями, они медленно пролетали и над ним, не обращая внимания, как будто его и не было здесь, во владениях, которые они считали своими. Над головой раздавались сильные вздохи их крыльев.

Но голоса Темляков больше не слышал, хотя никак не мог избавиться от явственно прозвучавшего оклика, который напугал его и заставил поднять с земли лопату, снять с нее парусиновую тряпицу, в которую она была обернута. Мутный блеск металла успокоил, но взгляд, которым Темляков с тревогой окидывал ближайшие могилы, ржавые, покосившиеся кресты, пугался даже взлета маленькой птички, заставляя вздрагивать сердце.

«Господи, да что же это я? — мрачно подшучивал над собой Темляков. — В грачином этом реве все что хочешь может послышаться. Но все-таки! Почему именно подосиновик?» «Эй, подосиновик!» — с ознобом слышал он в самом себе этот испугавший его ядовито-веселый оклик, как ему казалось теперь, и какой-то уж очень пронзительный, дошедший не только до слуха, но и до глубины всей его сути, как это бывает иногда в предсонной дреме, когда кто-то тоже очень властно и требовательно окликал его: «Вася!» — отчего он тоже пугался, как теперь, и долго не мог уснуть.

Что-то заставило его подкопать цветущую мать-и-мачеху и, подняв на лопате с комом вязкой глины, отнести в сторону, чтобы потом, когда он навалил большой бугор над спеленатым телом брата, обложив его дерном с едва заметными стрелками молодой травы, водрузить в ногах бедного Саша этот маленький желтый цветочек, который все с той же наивной радостью сиял под солнышком, уверенный в своем бессмертии.

Бульжная улица под старыми липами еще в прохладной утренней тени. Крыши особняков блестят росой под косыми лучами. Вершинные листья нестриженных лип горят зеленым огнем. На камнях коричневые воробьи и пепельно-голубые голуби. Чириканье гулкое и радостное, а воркованье страстное и упрямое.

Жизнь только-только начиналась на земле в это майское утро. Людям еще предстояло, проснувшись, увидеть бугристую каменную дорогу и голубей на ее влажных от росы бульжниках, улыбнуться зеленому свечению листьев, вознесшихся в синее небо, и вдохнуть прохладный и чистый воздух Москвы, которая где-то далеко-далеко шумела однозвучно и утробно, как если бы не город, а земной шар в своем кружении терся о голубые небеса, издавая вселенский ветреный гул.

Темляков, положение которого было шатким, не сулившим ничего хорошего в будущем, и который по нужде, как сын лишенца, работал осмотрщиком вагонов на Окружной железной дороге (от его рабочей одежды пахло паровозным угольным дымом), проснулся в то утро после брачной ночи счастливейшим человеком.

Голова Дуняши на вмятой подушке, обрамленная волосами, цветом напоминавшими ему надкрылки майского жука; лицо, затуманенное утренним сном; бездыханность под вздернутой верхней губой, сухая ее розовость, под которой поблескивала тоже сухая эмаль резцов; выпуклости тонких век, сквозь которые просвечивали синевую спящие глаза; сонный жар ее тела, — вся эта блажь, объемистая и реальная, весомо лежащая рядом с ним, поразила его настолько, что он тут же принялся Дуняшу будить. И напугал ее. Она открыла глаза и увидела его рядом с собой. Ужас промелькнул в ее расширившихся глазах, крик готов был сорваться с губ — сонный ее мозг, купавшийся в своих каких-то грезах, не сразу дал себе силу понять реальность. Темляков хорошо увидел это мгновение, этот таинственный переход от ужаса к смущению и улыбке, и тоже испугался — как-то она утром...

Пальцы, которые сама она называла музыкальными, хотя натруженные пальцы профессиональной пианистки ничего общего не имели с ее тонкими пальцами, которыми она, проснувшись, шевелила в воздухе, будто смущенно ощупывая прозрачную его плоть, будто глядя этот воздух неопределенным взмахом руки, будто говоря: «Там брянские леса, глухомань», — пальцы ее, пойманные его рукой, легли ему на плечо... Припухшие после сна глаза спросили сквозь росу с доверчивой улыбкой: «Ты меня не обманешь?» — и взгляд их ушел в глубину, посерьезнел, всматриваясь в то таинственное превращение, какое происходило с ней, в то вожденное ощущение, к какому она старалась скорее привыкнуть и понять его прелесть, а не только боль, какую опять испытывала она, и не только стыд, какой мешал ей понять и почувствовать все то, что делал с ней он, тело которого неприятно пахло сырмятным ремнем. И уже другие пальцы, сжатые в блаженствующий комочек, как розовые виноградины, тесно сидящие на тонкокожей струнной стопе, плавали в воздухе чужой комнаты, странно, незнакомо высоко поднятые и сводимые сладостной судорогой, отчего она стыдливо отворачивалась, не в силах что-либо изменить и сделать по-своему, как она привыкла всегда поступать в прежней жизни, навсегда отброшенной ради этого нового своего положения, к которому стремилась ее душа. Она с удивлением понимала, как если бы знала об этом всегда, что именно так и надо все делать, как делала она, и что именно в этом счастье новой ее жизни и к нему надо как можно скорее привыкнуть.

— Ах, если бы ты знал! — говорила она с прерывистым восторгом, наслаждаясь наконец собственной властью. — Если бы ты знал!

И, как живая раковина, влекла к себе пластикой своих форм, изгибов, выпуклостей и смутных глубин, в которых таилась ее душа, выгибала грудь, все свое полнокровное и, как казалось Темлякову, хищное существо, жертвой которого он стал. Она вобрала в свою перламутровую форму, в свои вогнутые глубины всю его душу, приняв как должное невольную его грубость, и он растворился в ней, перестал быть, как тот маленький паучок, оплодотворивший самку и съеденный ею, о котором он где-то когда-то что-то читал.

Замкнутое пространство, каким представлялась им запертая на ключ, занавешенная и отгороженная от всего мира комната, с каждым часом становилась для них ловушкой, из которой им нужно было выйти.

Оба они с игривыми перешептываниями прислушивались к проснувшемуся дому, к шагам и голосам его жителей, понимая, что все эти чужие и родные люди прекрасно знают о том, что происходило в эту ночь в запертой комнате, и оттого еще больше и еще отчаяннее веселились.

Игривый страх, которым они бодрились, посмеиваясь и подхохатывая над самими собой и над проснувшимися жильцами, постепенно утрачивал для них значение некоей оборонительной силы, которой они отмахивались от всего остального мира. И уже не игривый, а едкий, как дым, греховный страх пугал их при мысли, что им неизбежно придется, преодолевая стыд, выйти из комнаты и встретиться глазами с домочадцами, которые будут делать вид, что ничего особенного не произошло в эту ночь, будут приторно улыбаться, угождая во всем Дуняше, отчего она будет так смущаться, так краснеть и стыдиться, что именно теперь, когда она была еще отгорожена от этих людей запертой дверью, все ее существо протестовало против необходимости, неизбежности встречи с ними.

Стыдливость ее была непомерно остра. Глаза Дуняши наполнялись слезами, и она, сжав кулачки, повторяла, глядя с нешутливой ненавистью на мужа:

— Мне надо немедленно выйти... Сделай что-нибудь! — твердила она. — Мне немедленно надо выйти... Что-нибудь придумаю.

— Что же я могу придумать? — спрашивал Темляков, едва сдерживая смех. — Посоветуй.

— Придумай что-нибудь, — упрямылась Дуняша. — Пускай все куда-нибудь уйдут.

— Да куда же они уйдут? — с хохотом спрашивал Темляков, зажимая рот рукою.

— Замолчи сейчас же! — гневливым шепотом говорила Дуняша. — Или я умру! Сейчас же сделай что-нибудь. Немедленно!

Оба они были уже одеты, кровать была убрана, дверь сияла перед ними

слоновой костью. Но ни он, ни она словно бы не имели физической силы подняться и повернуть звонкий ключ, отворить высокую и тяжелую, украшенную глубокими филенками дверь. Рельефные ее плоскости неприступно светлели за коричневыми гардинами, и Темлякову было непросто сделать то, что он привычно делал каждое утро, выходя полураздетым из комнаты и направляясь в уборную.

Он воровато повернул ключ, который, как ему почудилось, издал слишком громкий щелчок, и так же воровато приоткрыл дверь, выглянув в коридор.

В золотистой полутьме он увидел приоткрытую дверь комнаты, в которой жили сестры. Коридор был, как ножом, разрезан солнечным лучом, голубовато-мутное его свечение падало на паркет, выявляя каждую плашечку, и казалось, именно оттого так хорошо пахло в коридоре теплым воском.

Темляков на цыпочках подошел к двери и, захлопнув ее, вернулся к своей двери, увидел стертое от ужаса и нетерпения лицо Дуняши и поманил ее рукой. Она испуганно поднялась, напряженно и прямо, словно у нее заржавели все суставы, продвинулась мимо, вперед, решившись наконец на подвиг, и, не оглядываясь, боясь смотреть по сторонам, пошла по враждебной территории к уборной и умывальнику, зная, что никогда и ни за что не сможет привыкнуть к новому дому, к родственникам мужа да и к самому мужу, который в эти страшные минуты был совсем не нужным ей и чужим человеком.

Влажная и холодная от воды, с намокшими прядками волос, с мокрыми ресницами, отчего глаза ее казались заспанными, она проскользнула обратно в комнату, плотно затворив за собой дверь, и, как будто радуясь, что осталась невидимой и живой, со счастливой улыбкой опустилась в круглое креслице, которое поехало на костяных колесиках. Но теперь уже над самой собой она беззвучно смеялась, жмурясь от прилива новой стыдливости, не понимая себя и не зная, что ей теперь надо делать и как быть дальше.

И снова единственным человеком, на которого она могла надеяться, единственным ее защитником стал запыхавшийся от волнения и детского страха, бледно-прохладный, влажноликий муж, волосы которого от холодной воды и, казалось, от пережитого ужаса торчали в разные стороны.

— Я есть хочу, — сказала Дуняша, удивленно выпучивая глаза. — Принеси чего-нибудь, пожалуйста.

— Все еще боишься? — спросил ее Темляков.

— Ужасно! — ответила она, не спуская с него глаз. Хотя и знала, что уже не боится. Один лишь стыд удерживал ее от встречи с родителями и сестрами мужа, с которыми она пока еще не могла сесть за общий стол или просто сказать им: «С добрым утром».

Темляков впервые испытывал чувство всепоглощающей умиленности. Он сел перед нею на пол и, забыв о своих прыщиках на лбу, о которых он всегда угнетенно помнил и которые, он знал, еще больше разгорелись после мытья с мылом, смотрел на нее снизу вверх с ощущением полной покорности и собачьего послушания, не веря, что эта чистая красавица, безмерно стыдливая, затейливая в этом чувстве, теперь будет всегда рядом с ним.

То, что он до недавнего времени считал свободой, о чем он множество раз слышал от своих товарищей как об истинной свободе, показалось ему теперь смешным самообманом. Он даже засмеялся, не спуская преданных глаз со своей жены, давшей ему ощущение полной свободы. Он подумал, что если то, что он чувствовал теперь, — несвобода, как принято было думать среди мужчин, то он либо не мужчина и ему совсем не нужна та свобода, в которой он до недавнего времени пребывал, либо люди глупы и ничего не понимают в жизни, не догадываются, что обманывают себя, принимая за свободу веселое и бессмысленное шалопайство, убивающее в конце концов душу усталостью.

Он тоже в эти минуты дьявольски хотел есть и тоже, как Дуняша, не знал, что ему делать и как быть, догадываясь, конечно, что в выходной день, накануне которого была сыграна свадьба, все его родные с напряжением и любопытством ждут появления их к завтраку.

Стол будет ломиться от всяких закусок, оставшихся от вчерашнего пира. Он глотал слюну, видя мысленным взором груды салата оливье, развалы куле-

бьяки, обветренные лепестки швейцарского сыра, поблескивающие выступившим жиром, и, конечно, куски маринованной щуки под красным соусом.

Он страдал от любви к стыдливой жене, но не меньше страдал и от голода, чувствуя себя на вершине всех своих жизненных сил, которые сладостно мучили его, обещая все воображимые наслаждения, какие только можно было себе представить. И силы эти помогли ему уломать Дуняшу, хотя она до последнего сопротивлялась, когда он подталкивал ее навстречу опасности, какую видела она в новых своих родственниках.

— Что ты как маленькая!— радостно говорил он ей, силой заставляя идти по коридору в комнату родителей, где уже собрались все и, услышав их, вышли навстречу, одаривая их счастливыми восклицаниями, улыбками, как если бы сын их, брат их с молодой женой вернулся в отчий дом после долгих странствий по свету.— Она у меня маленькая еще!— говорил он, обнимая Дуняшу за плечи.— Боится вас как огня.— И смеялся.

А Дуняша, безумно смущаясь, просила его на душевном срыве: «Перестань сейчас же. Это совсем не смешно», отвечая между тем на улыбки новых своих родственников вымученной, страдальческой улыбкой, как если бы они знали, что только голод заставил выйти ее из ночного убежища к людям, которых она, диковатая, не переставала бояться. Ей даже казалось, что она вышла к ним с поджатым от стыда и страха хвостом и все они, эти добрые на вид люди, уже разглядели ее поджатый хвост, который, она вдруг ощутила почти физически, мешал ей свободно двигаться, но она ничего не могла поделать с собой, презирая себя за вопиющее бессилие и безобразие.

Хотя на самом деле была прелестна, являя собой полнокровное, загадочное в своей переливчатой изменчивости, придававшей ее облику новую красочку, новый оттенок, миловидное существо с гладко причесанными на прямой пробор каштаново-темными волосами, облежавшими ее голову с плотностью надкрылок майского жука. Все было приятно в ней, все смотрелось со стороны с тем приятным удовольствием, какое испытывает человек при виде чего-то пушистого, нежного, как распустившийся цветок или замерший на еловой ветке бельчонок,— до нее хотелось дотронуться, чтоб убедиться, что перед тобой живая плоть, а не пустое видение. Но в формах ее лица было столько всевозможных отклонений от классических норм эллинской красоты, что если бы скрупулезно составить каталог этих отклонений и предложить его на суд строгого догматика, то он без всякого сомнения отнес бы это лицо к числу несовершеннолетних, заурядных, банальных созданий слепой природы, не найдя в нем ничего, кроме печальной ошибки.

В лице этом были нарушены все пропорции и формы губ, носа, подбородка, лба и глазных впадин, не говоря уж о самих глазах, которые были невелики и неопределенны в своем выражении. Только, может быть, одна симметрия нашла в этом лице свое место. Все остальное, каждая выпуклость или впадинка,— все было далеко от совершенства. Однако именно это несовершенство и составляло красоту, освещенную изнутри меняющимся настроением, которое мгновенно отражалось на лице, придавая ему всякий раз новый цвет, блеск и неузнаваемую прелесть, от которой невозможно было отвести взгляд.

Именно с такими чувствами и встретили Дуняшу родители ее мужа и две его сестры, зачарованно разглядывавшие ее с нескрываемым и восторженным любопытством, какое испытывают к замужней подруге сверстницы, еще пребывающие в девичестве.

Они смотрели на нее, как будто впервые видели. Для них сверхъестественным событием была свадьба брата. Сестры словно бы никак не могли уразуметь, почему же это такого некрасивого и скучного, заносчивого человека, каким они видели своего брата, полюбила красивая девушка, но испытывали при этом чувство странной благодарности к ней, сумевшей что-то такое найти в Ваське, чего они сами, возможно, так и не разглядели в нем. Оттого и на брата они посматривали с некоторой горделивостью, будто всегда тоже знали, что брат их Вася, которого они терпеть не могли и не любили, обладал многими свойствами замечательных людей, видных только на расстоянии, а вблизи совсем незаметных, но что они все-таки выросли вместе с ним под одной крышей и имеют на него определенные права.

То есть обе они готовы были все простить брату и быть ему добрыми сестрами, а ей, его жене, верными подругами, о чем и говорили их влажные от возбуждения выпукло-удивленные глаза с голубыми тенями, которые положила им сама природа, нанеся на тонкую кожу эту красочку усталости.

Их можно было понять, если вспомнить, что старший брат, любивший их и доверявший роли в домашнем театре, на спектакли которого он приглашал своих товарищей по коммерческому училищу, навсегда покинул их, оставив в одиночестве.

Они были очень одиноки. словно те мальчики в строгих мундирах с сияющими полосками многочисленных пуговиц, которые заглядывались, а то и тайно переглядывались с сестрами Саши, смущая их и рождая в душах их в головках мечтанья о будущей жизни, казавшейся им пиршеством, — мальчики эти с мягкими усами тоже словно бы заболели вместе с Сашей и пропали бесследно, заглушив мечты и надежды повзрослевших сестер. Старшей давно пора было бы нянчить детей и ублажать мужа лаской. Но обе они были одиноки. Годы угрожающе нарастали, наслаивались один на другой. Уныние и хандра стали частенько посещать сестер, делая их раздражительными, резкими в отношениях с младшим братом и слезливыми. Лица их бледнели с каждым годом, глаза выкатывались из усталых век, и часто их можно было застать сидящими в отрешенной забывчивости, находящимися то ли в полусне, то ли в полуяви.

Старшая, работая машинисткой, жаловалась на боли в спине, сделав это единственной темой разговора с родными людьми, живущими вместе с ней. А младшая своим любимым занятием сделала шитье, перешивая по вечерам старые материнские платья на новый лад, перелицовывая одежду, штопая, обметывая новые петли. В доме чуть ли не каждый вечер раздавалось маслянистое, слитное шелканье швейной машины, звук которой не давал никому покоя. Вася Темляков и Темляков-старший слышали в этом стрекоте что-то мстительное, что-то раздраженно-истеричное, отчего оба они набрасывались всяк по-своему на бедняжку, доводя ее до слез, до рыданий, унять которые ни у кого не было сил, даже у матери.

В такой вот дом и пришла Дуняша, ничего не зная о страданиях, которые поселились в нем. Наоборот, она чувствовала себя в этом доме недостойной гостьей, хотя и не догадывалась, что, придя сюда, явилась для всех тем свежим ветром, который своим дыханием разогнал удушающе-мутный, сырой и холодный туман.

А когда она родила первенца, названного в честь расстрелянного деда Николаем, сестры, оставшиеся к тому времени одинокими, словно бы обрели наконец свое место в жизни, заделавшись такими ревнивыми и заботливыми тетками, что Дуняше порой приходилось строго отстаивать перед ними свои материнские права на мальчика.

С рождением сына она не растолстела, как это порой случается с женщинами, но словно бы развернулась и заметно раздалась вширь, плоть ее расправилась, как река, которая, долго стиснутая берегами, нашла наконец для себя обширное ложе и, разлившись спокойным плесом под нависшими ивами, заблестела рябью под ветром, затуманилась на розовых утренних зорях, зазолотилась, отразив в себе закатное солнце и прибрежную тьму дерев, размлела в полуденную жару, когда даже серебристые рыбы прячутся в тени кустов и в глубоких ямах и лишь пестрое стадо, забредшее на отмели в воду, стоит не шелохнув в плавно скользящей стремнине, прислушиваясь, как падают с мокрых губ капли воды в реку да ласточки-береговушки бесшумным роєм вьются в знойной тишине.

Кожа ее приобрела упругость и особенное тепло материнского тела, точно была она освещена теперь ласковым солнцем, прогрета им и окрашена в матовый цвет зреющего абрикоса.

Было бы заманчиво придумать какие-нибудь еще более красивые сравнения и метафоры, эпитеты, говоря о Дуняше, и сказать, например, что вся она пахла теперь свежестью морского прибоя. Но это была бы вопиющая ложь, потому что, во-первых, молодые Темляковы не видели в своей жизни моря, и

даже в мечтах не возникало оно перед мысленным взором, а во-вторых, она, большая любительница доступных в то время ароматических снадобий, вся была пропитана едва уловимым ароматом увядших лепестков шиповника, растущего на знойных береговых кручах, или сухих ягод земляники, то есть пронизана была тем остаточным запахом природных ароматов, который как бы превратился в собственную душистость ее кожи, ее волос и даже как будто бы ее дыхания.

Темляков, возвращаясь с работы, особенно остро ощущал эту душистость, резко отличавшуюся от вони смазочных масел вагонных колес, от кислого чада паровозного дыма и черной смолы шпал. Он, как черт из преисподни, встречался с чистым ангелом, утишая всякий раз свою растревоженную душу в объятиях и лобзаниях любимой жены.

И если он грубел с каждым годом, находясь целый день, а то и ночь в среде таких же, как он, железнодорожных рабочих, знавших только свое немудреное, но строгое дело, то жена его, освобожденная хлопотливыми золовками от многих забот, становилась все более и более женственной, нежной и, как это ни странно, барственной, что стало проявляться даже в ее голосе, в жестах и улыбке.

Но ничего, кроме благодарности, не испытывал Темляков к жене за эти новые свойства ее развивающейся натуры. Он даже чувствовал себя в некотором роде творцом ее снисходительно-властного характера, с удивительным для себя раболепием испытывая чувства слуги, допущенного в святая святых, в тайное тайных своей как бы развращенной им самой госпожи и хозяйки. Он словно бы очищался, лобзя жену, от смрада и грохота товарной станции, от мрачной ругани и проклятий злых и неуступчивых хозяев новой жизни, смотревших на него как на барчука, справедливо наказанного историей, требовавших от него точно такого же образа жизни, какой был доступен и понятен им самим, и не признававших за ним никаких иных добродетелей, кроме умения жить и работать, как жили и работали они сами.

Любые его разговоры на посторонние темы, будь то литература или музыка, театр, «Синяя птица» или загородное дачное житье с семьей на Москва-реке, вызывали в них неприязненные чувства. В лучшем случае грубо смеялись над ним, мгновенно объединялись в одно чумазое, лоснящееся черным жиром огромное лицо правильного человека, перед которым как бы возникал вдруг человек неправильный, нуждающийся в немедленном исправлении.

В худшем же, особенно если дело касалось жены, нигде не работающей и летом воспитывающей сына в подмосковной деревне, они, не ведая того, мрачно оскорбляли Темлякова, высказываясь о жене его и о нем самом в таком тоне и такими словами, за которые надо было бы кого-то ударить. Перед ним возникало всякий раз общее, грозное в своей общности, страшное лицо, требовавшее от него, ничтожного трутня, какой-то непонятной ему скромности, грозившее ему неминуемой расправой за малейшееслушание и за нескромность.

Он своим существованием раздражал и оскорблял их достоинство, будто он не работал вместе с ними, исполняя свои обязанности с не меньшим рвением и старанием, чем делали это они сами, а скрывался, среди них от какой-то расплаты, от которой ему удалось уйти; они же, зная про это, едва терпели его и не выдавали только лишь потому, что не видели за ним настоящей вины, хотя и подразумевали, что он, конечно, способен на всякую подлость, предоставься ему удобный случай.

Правая рука его, готовая ударить, слабела в страхе перед этим расплывчатым лицом, он скорбно улыбался и молчал, неслышно поскрипывая зубами.

С годами чувство постоянной оскорбленности притихло, как будто его заглушили свистки маневровых «кукушек» и зверские ревы больших, маслянисто-черных паровозов, истязające усталое сознание, будящие по ночам в кошмарных снах, от которых он просыпался с колотящимся сердцем и с горячей испариной на лбу.

Лишь теплая душистость Дунечки уводила его от страха перед жизнью, превратившей его в тихое и безвольное существо, лишенное права на сопротивление. Он с улыбкой прижимался к спящей жене, проникаясь ее безмятежностью, и чуть ли не вслух твердил, засыпая: «Слава Богу! Слава Богу...»—

вкладывая в эту славу и то, что именно он, униженный и недостойный раб обстоятельств, сумел-таки сделать в несчастное, голодное время хоть немножко счастливой эту женщину, не знавшую и даже не догадывавшуюся о мрачных подробностях жизни лишенца, вынужденного терпеть оскорбления от всеобщего и злого лица взбесившегося дьявола.

Ему казалось порой, когда в свободное время любовался он Дунечкой, что она никак не может привыкнуть к своей красоте и смущению, если прохожие мужчины с нескрываемым восторгом смотрели на нее. Ах, знаю, знаю, как бы говорили ее глаза, вы меня не обманете. Руки ее при этом делали торопливые и волнующиеся движения, как если бы у нее был веер и она охлаждала им пылающее лицо.

Темляковы давно уже оставили в торгсине свои обручальные кольца, проели их, хотя, пойдя на это, долго стояли на углу Большой Серпуховки, не решаясь на последний шаг, остро чувствуя суеверную тоску и понимая себя преступниками. Но Николаша, которому надо было расти, подвигнул их на преступление.

Красная икра, один вид которой приводил мальчика в жадную дрожь, стала хитрой приманкой для него, не выносившего запаха рыбьего жира. Сестры, научившие Николашу зачем-то называть их матан, на маленький кусочек хлеба намазывали несколько липких, рябиново поблескивающих икринок и, маня племянника лакомством, заставляли его проглотить с серебряной ложечки ненавистный рыбий жир, после чего, восторженно воркуя над ним, заласкивая его словами и похвалой, клали в разинутый, как у птенца, рот этот вожделенный кусочек, который он мгновенно съедал, прося еще. Сестры до слез умилялись, кормя племянника, и, глотая слюнки, обещали Николаше следующую порцию дать завтра, отвлекая его с сердечной болью от икры.

Жизнь ребенка без ложечки рыбьего жира была подвержена, как казалось им, серьезной опасности, и они тоже, как и родители, всеми правдами и неправдами доставали красную или черную икру, унося в торгсин и свои золотые безделушки, оставшиеся от старой жизни.

А уж про гоголи-моголи и говорить нечего! Эта забота так волновала сестер, так долго они сбивали в стакане яйцо с сахарным песком, округло и влажно брэнча ложечкой, что смесь эта превращалась в бледно-желтый, как новорожденный цыпленок, пушистый и плотный крем с нежным запахом яичного желтка. Они кормили Николашу, заложив ему за воротник салфетку, забываясь в эти минуты до того, что сами открывали рты, как это делал племянник, будто ртами своими и губами помогали ему слизнуть без остатка с ложечки очередную порцию гоголь-моголя.

Николаша Темляков все увереннее и зримее рос с каждым днем под опекой заботливого семейства и к шести годам уже ходил с отцом на Москвареку с собственной удочкой, таская неподалеку от него упругих светлосияющих ельцов. На вид ему можно было смело дать лет семь или восемь.

В тот далекий теперь, туманно-влажный, полузабытый год, пробежавший в череде тридцатых годов нынешнего столетия, Темляковы выбрали день для выезда на дачу, или, точнее говоря, в деревню, где доживала дряхлые свои денечки бывшая их прислуга, старая Пелагея, перед кончиной позвавшая к себе Васеньку, чтобы, наверное, проститься с ним.

Письмо писала под диктовку грамотная ее сестра. Было оно написано причудливо и красочно, словно не письмо, а жгучий романс о любви пела ему нянька, рабелепствуя перед Темляковым, как если бы он оставался добрым ее хозяином, а она, как прежде, верной слугой.

Темляков ответил благодарностью на приглашения и обещал приехать. Вторым письмом, посланным заранее, оповестил ее о приезде, прося, чтобы зять Серафим, как обещала Пелагея, встречал их с подводой на станции в Звенигороде. Рукой младшей сестры Пелагея ответила, что ждет драгоценных гостей и целует «жемчужные их ручки».

Пришлось им ехать в дождливый день, зеленый, пропахший мокрыми тополиными листьями, когда вся Москва была затуманена тихим дождем,

мостовые блестели и каждый булыжник, отражая удары падающих капель, казалось, дрожал на холоде, поеживаясь, и был живым.

Николаша, выйдя на улицу, печально смотрел из-под островерхого горохового башлыка на подмигивающую, живую мостовую, крест-накрест перевязанный такими же гороховыми концами на груди, и слушал, как потрескивают капли по черному крылу огромного и глубокого зонта, который держали над племянником растревоженные и чуть ли не плачущие перед разлукой тетушки, две его «матаны», провожавшие Николашу до Белорусского, или, как говорили по старинке в доме Темляковых, Брестского, вокзала.

На многолюдной площади как нарочно Николаша запросился в уборную, точно льющаяся с небес водица вызвала в нем непреодолимое желание. До отправления поезда оставалось минут двадцать, и одна из тетушек торопливо повела племянника в поисках какого-нибудь укромного уголочка.

Но Николаша не мог уже терпеть. Тогда милосердная тетушка подвела его к подвальной яме вокзального фасада, забранной прутьями решетки, и, расстегнув ему штаны, выпростала розового петушка, как она всегда называла ласково эту принадлежность племянника. Теплая струйка тут же брызнула вместе с дождиком на решетку и в темную яму, в глубине которой отражали серое небо тусклые стекла в переплете рамы...

Тетушка была счастлива не меньше племянника, чувствуя вместе с ним блаженное освобождение, и даже не понимала в эти минуты, что выбрала для этой цели не самое подходящее место на шумной площади. Солнечная струйка уже опадала, и тетушка нагнулась уже, чтобы застегнуть пуговицы Николашиных штанов, когда ощутила вдруг на своем плече жесткий тычок чьего-то пальца.

Ужас! Это был милиционер железнодорожной службы, из-под плаща которого опасно торчал бронзовый набалдашник сабельных ножен. Он грозно смотрел на тетушку и что-то строго выговаривал ей, но что именно, она, поверженная в страх и смущение, не слышала. Она только жалко улыбалась, как если бы не племянник, а сама она облила мокрую решетку подвальной ямы. Она чувствовала, что упадет сейчас от смертельного страха. В голове ее все перемешалось, как в кошмарном сне: час отправления поезда, милиционер с саблей, требующий уплатить штраф, племянник, смотрящий на милиционера темно-серой тучкой из-под горохового башлыка, и сама она, онемевшая от стыда. Ноги ее ослабли, ей хотелось присесть на корточки, руки тряслись, когда она, щелкнув бронзовыми горошинами застежки своего ридикюля, рылась в нем в поисках денег, губы лепетали слова извинений, а уши горели, слушая справедливые выговоры, которыми казнил ее страж порядка. Взбешенный его взгляд не обещал пощады и, казалось, будь его воля, он выхватил бы саблю из ножен и прикончил на месте недобитую буржуйку вместе с ее пацаном в старорежимном башлыке.

Тетушке, когда, слава Богу, уплатила штраф, почудилось вдруг, что она, умоляя милиционера простить ее, разжалобила наконец его сердце и вызвала нечто похожее на ухмылку на сером, побитом оспой лице под малиновым околышем.

— Конечно, это очень глупо и смешно, — говорила она, пятась вместе с Николашей и заискиваяще улыбаясь, точно не верила, что милиционер отпустил ее. — Конечно, я понимаю, но мальчик... пис... он... — говорила она, все быстрее и быстрее боком удаляясь от него и не переставая посылать ему смущенную улыбку, пока наконец не почувствовала себя на свободе и не побежала, подхватив Николашу на руки, к подъезду вокзала.

Темляковы гневно накинулись на нее, растревоженные и готовые бежать на поиски пропавших.

— Боже мой! Не спрашивайте! Не спрашивайте! — отвечала им запыхавшаяся тетушка. — Пошли скорее! Мы опаздываем! Господи! Быстрее, быстрее... Бего-о-ом!

Второпях обнимались, тетушки плакали, целуя Николашу, обещали приехать, присили с мольбой быть осторожными, беречь себя, а главное — Николашу, доведя своим поведением и мальчика до слез.

Под звуки его рыданий и тетушкиных всхлипываний уселись в тесный и

темный вагон, пропахший угольным угаром, сырыми людскими одеждами, теплом потных тел, громоздящихся тут и там возле узких и мрачно-серых стекол вагонных окон.

Паровоз загудел, поезд дернулся, по вагону словно бы кто-то изо всей силы ударил кувалдой — то прогрохотали с лязгом жесткие буфера,— и перрон вместе с тетушками, поспешающими за вагоном и машущими на прощанье платочками, которые они специально приготовили для этой цели,— перрон двинулся и потек черной поблескивающей рекой в сторону Москвы, которая осталась за вокзальным строением, а вагон, бряцая колесами на стыках, покатился прочь от нее, увозя в своем душном нутре семейство Темляковых в неблизкий и, как казалось в эти минуты Дунечке, опасный и враждебный Звенигород.

Зеленая, мокрая, затянутая дождевой сетью земля закружилась за окном, туманясь открывшимися далями, бросая в глаза яркую зелень близких, бьющихся на встречном ветру ветвей, рвано проносившихся рядом с вагоном. Ключья паровозного дыма и пара мешались с ненастным небом, будто вдруг опускалось оно на крышу бегущего вагона, путаясь в отяжелевших от дождя, сытых деревьях, застревая в их листьях белыми лохмотьями паутины.

— А какие там голавли ходят!— говорил Темляков, рассказывая заплаканному, все еще не успокоившемуся сыну про Москвареку, куда они с ним будут ходить на рыбалку.

— Какие?— на тяжком вздохе спрашивал Николаша, сидя у отца на коленях, розовощекий и горячий от недавних слез.

— Вот такие!— показывал он руками аршинных рыбин, вызывая тихую недоверчивую улыбку Николаши. — Речка чистая-чистая!— говорил он мечтательно. — А доньшко желтое от песочка. Ракушки всякие белеются... А другие ползают по песочку, живые. Длинный за собой след тянут, как веревочку.

— Какой?

— Какой-какой! Увидишь. Вот выглянет солнышко, мы с тобой побежим на речку. Сначала, конечно, срежем тебе удочку.

— Какую?— вибрирующим голосочком опять спрашивал Николаша, играя с отцом в волшебную сказку.

— Ореховую. Привяжем лесочку, крючок с поплавочком, грузило — и на речку. Мама будет на горячем песочке загорать, а мы с тобой рыбу ловить,— говорил он и поглядывал меж тем на печальную свою красавицу, которая вздыхала при этих словах, не веря в солнышко, песочек и чистую реку.

— Выдумщик,— отозвалась она, уходя опять взглядом в мокрый мир за окном.

Но он не был выдумщиком. Он хорошо знал верховья Москвы-реки, бегущей в долине звенигородского края, извилисто скользя по хрящеватому доньшку, серебрясь на перекатах среди зеленых холмов. Чистые ее струи напарываются на камни, шумя день и ночь под ясными или темными небесами в оглушающей тишине цветущей земли. Темно-зеленые, глубокие плесы, раздвинув берега, что-то шепчут на ухо синим стрекозам, порхающим в прибрежных тростниках. Эти же стрекозы на утренней зорьке, когда солнце только-только осветит вершины деревьев, ярко-синими цветами сидят на седых от росы тростинках, тоже влажные, холодные, как и растения, не способные еще к полету.

Каждый шаг в густой траве рушит на землю и на одежду тяжелую росу. Над движущейся гладью реки, под дымящимися ключьями ночного тумана, в аировых благовониях безлюдного покоя бьют хвостами, глуша рыбью молодь, властелины реки — шумные и быстрые шересперы, разводя крутые и тоже как будто дымные круги на воде.

Кажется, словно каждая живая душа подводного царства от переизбытка жизненной силы стремится как можно выше выпрыгнуть из воды и, перевернувшись в воздухе, шлепнуться и уйти на глубину, чтобы разогнаться и снова выпрыгнуть. От этих всплесков, шлепанья, хищных ударов, то громких, взрывоподобных, то тихих, робких, над рекою стоит неумолчный шум, точно в реке живут самые счастливые создания вселенной. Кажется, даже пойманные, они трепещут и бьются в великой радости, славя мир чавкающими ртами, тараща на рыбака веселые глаза с рябиновой или желтой радужкой. Так хорошо и приятно

вырываться им, упругим и скользким, из пальцев рыбака, который освободил их от острого крючка и бросил в плетеный барабан садка! Радостно, собравшись в тесную кучу, биться в садке, поднятом из воды, и сверкать чешуей в лучах полуденного солнца. Безмятежно и легко у всех у них на душе. Оттого, наверно, и кажется удачливому рыбаку, что эта безмятежная легкость льется серебряным потоком в его сердце, переполняя душу жизнью и жаждой движения.

Соловьи в прибрежных кустах и отцветших черемухах поют до полуденного зноя, забывая о времени. Многокрасочные их песни, гулко усиленные рекой, способны усладить самый прихотливый слух любителя соловьиного пения.

Сладкоголосые звуки задумчиво-вопрошающей, безответной печали переплетаются с плеском играющей и жирующей рыбы, вливаясь во вселенский покой благословенной реки. День и ночь журчит она перекатами, шуршит крыльями синих стрекоз, повизгивает радостными криками береговых ласточек или урчит лягушачьим хором в теплые вечера.

Но царствует соловей лишь в рассветных сумерках. Река, едва отразив посветлевший простор неба, проявит себя мерклой дымкой во мраке спящих берегов. Дикие селезень с уточкой просвистят торопливыми крыльями и, невидимые в грязном небе, с тихим плеском плюхнутся в тростниковые заводи.

И опять все замрет в неуловимом миге борьбы света и тьмы, в огромной тишине подлунного мира, который отдает всего себя без остатка единственному своему певцу.

Вот тогда соловей — царь! Пламень голоса его не знает себе равных. Хотя и бьет в этот предутренний час в росистых лугах за рекою ласковый перепел, словно бы спорит с соловьем. Да где уж ему! Таких соловьев, как в верховьях Москворечья, Темляков больше не слышал нигде.

А где еще он купался с таким наслаждением, как не в той же Москвареке? Входил в теплую, упругую ее плоть и по песчаному доньшку забредал на глубину. Сносимый водой, смотрел сквозь ее волнующую толщу на свои стеариново-светлые, увеличенные водяным линзой ноги, видя, как поверх пальцев, вцепившихся в дно, перевевается течением шелковый песок и как доверчивые пескари прозрачными тенями подплывают к ногам и, осмелев, щиплют волосинки на его пальцах. Улыбка не сходила тогда с его лица, как будто он на какое-то мгновение понимал вдруг, кто он и зачем в муках родился, зачем рос и набирался сил.

А вот, может быть, только затем и появился на этот свет, чтобы зайти по грудь в чистую реку и увидеть, как пескари щекотно щиплют его ноги, поблескивая боковыми чешуйками.

6

Видение это, которое только в дороге, только между небом и землей, в бегущем по рельсам вагоне и может возникнуть, греза эта щемящей реальностью образовалась вдруг в сознании Темлякова, вспыхнула яркой картиной, неким идеалом, очищенным от грязных и грубых наслоений, и так потрясла его, что он почувствовал даже озноб от восторга и от надежды еще хоть разок испытать все это в жизни.

— Нет, — сказал он с зябким передергиванием плеч, — я не выдумщик.

Но реальная жизнь вскоре подкинула ему новую картинку, не имеющую ничего общего с тем идеалом, который только что расцвел в его сознании.

На деревянном настиле тупиковой станции звенигородской ветки Темляковы, прячась под зонтом, попали под тот же дождь, что мочил их и в Москве. Темляков отнес под навес станции чемоданы и, оставив жену с сыном, вышел на мокрую ухабистую пристанционную площадь. Там его должен был встретить Серафим. Он его помнил, но смутно, как если бы видел когда-то только в сумерках.

Но узнал, конечно, сразу: у Темлякова была хорошая зрительная память. Хотя и начал было беспокоиться, когда увидел пустынную площадь и расходящихся по ней людей, приехавших с поездом. Как-никак до Ракушина километров девять, а дорога, конечно, размокла, она и в сухую-то погоду такая, что не

разгонишься. Да и как тут с Николашкой и с вещами! Да и не знал он дороги в деревню, в которую ехал впервые.

Возле станционного буфетика, крашенного темно-красным суриком, под цвет всех окружающих построек, привязав лошадь к измочаленной зубами пряслине, сидел на телеге Серафим. Лицо его было закрыто большим колпаком брезентового капюшона, и виден был только кончик носа и нижняя челюсть, которая ходуном ходила, пережевывая очередной кус серого домашнего хлеба. В одной руке у Серафима была ржаная краюха, а в другой бутылка с желтым топленым молоком. Он так увлекся едой, что не сразу откликнулся на голос Темлякова. На мокром брезенте, закрывавшем, видимо, охапку сена, во вмяти-нах и складках поблескивали лужицы дождевой воды. От подводы остро пахло сеном и мокрой лошастью.

Лохматая кобыла неопределенного рыжего отсыревшего цвета, казалось, спала под дождем, опершись всем крутобоким туловом на оглобли, найдя некую мертвую точку равновесия, для чего подогнула заднюю ногу и выворотила грязное копыто, поблескивающее стертým металлом подковы.

Увидев наконец Темлякова, Серафим торопливо запихнул за пазуху хлеб, заткнул горлышко бутылки газетной пробкой и, сунув ее в карман закаленевшего от сырости брезента, спрыгнул, стукнулся об землю подошвами яловичных сапог и пропал под колпаком, который словно бы захлопнулся у него на подбородке. Был он маленький совсем.

Руки у Серафима красные и корявые, холодные, как морковь из земли. Он долго тряс ими руку Темлякова, ласково радуясь встрече и ничуть не смущаясь, что не заметил прибывшего поезда. Звуки голоса, гудящего по-шмелиному, цедил он из краешка рта, кособоко улыбаясь и скаля крайние зубы с налипшими остатками хлеба на них.

Лошадь тоже, казалось, радовалась гостю и, проснувшись, косила на него лиловым аметистом из-под черной челки. Грива ее была перепутанная, с какими-то травинками, колючками, как и у хозяина, который содрал наконец с головы жесткий колпак и явился лысоватым мужичком с всклокоченными волосами вокруг розового провала плешины. Казалось, будто бы присыпан он весь махоркой, она шиплет ему глаза и он смотрит на мир со слезой.

С плавной легкостью перенес он чемоданы, как два ведрышка с водой, не расплескав при этом и не споткнувшись на дыхании.

Распашисто, всей душой залюбовался Дуняшей.

— Вон какая красавица будет жить у нас, — жужжал он, кривя свой односторонний рот. — Ладно! Это хорошо. Я красивых женщин люблю, хотя они меня не любят почему-то, не пойму даже... Чем не вышел? Мал... У нас так говорят... Мал, да удал! У нас в семье все, как я, маленькие. А женщины у всех у нас большие. Дети получают среднего роста. Это хорошо! Природа знает, как ей выкрутиться. А я башлык-то надвинул, дождь по нему трещит, сам я хлебушек жую, вот и не услышал, как поезд подошел. Ничего! А мальчик-то какой важный! Генерал! Под крышей идет. Это правильно. Чтоб дождь зря не мочил. И без него вырастет, это верно. Третий день льет и льет. Хороший дождь. Надо! Сейчас все растет, все развивается. Надо, надо... Хочешь молочка? — спросил он у Николаши, достав бутылку и зубами вырвав пробку из нее. — Полезное. Хочешь? Ты говори прямо: хочу. Не робей!

Никак Серафим не мог поверить, что мальчонка не пьет молока, что оно ему вредно, и очень удивлялся, поглядывая на бутылку, в которой плескалось молоко, хорошее, топленое: как же может оно принести кому-нибудь вред?

— А что ж молоко! — отвлекая его, воскликнул Темляков. — Молоко всегда молоко. А вот по такой погоде, — говорил он, развязывая рюкзак и доставая сверху, из мягких рыбацких одежд, голубого стекла четвертинку с белым сургучом на горлышке, которая нагло и прозрачно блеснула у него в руке, как развратная девка глазом. При виде ее Серафим оступился на полуслове и тут же спрятался под капюшоном, как если бы тот сам прихлопнул его голову. Видеть он ее не хотел! — Или как? — спросил Темляков. — Я, например, глоточек, чтоб не простудиться. А вы-то как, Серафим?

— Дак это, — откликнулся тот из-под колпака, высывая нос, вылепленный местным умельцем из глины. — Это можно, конечно... Только это, —

испуганно сказал он вдруг, и взгляд его скользнул по лицу усталой Дуняши, которая, озябнув, сидела уже на сухом и душистом сене, прижав к животу Николашу. — Как бы это сказать... Можно, конечно, но...

— Да пейте на здоровье, — равнодушно отозвалась Дуняша. — Там где-то пирожки... Только, если можно, не тяните время. Выпейте, — сказала она уже Василию, — и поехали скорее. Простудим ребенка!

Жизнь в эти минуты казалась ей отвратительной. Она даже и не думала о дороге под дождем, о чужом доме и чужих людях, к которым они зачем-то ехали, о «брянских лесах», которые начинались сразу за станцией, — ей было мучительно сознавать, что ничего уже нельзя поделать: надо ехать в неизвестность.

— Серафим, — спросила она жалобно, — а есть ли у вас в деревне доктор? Врач какой-нибудь?

— А-а, это — да! Фельдшер в соседней деревне, в Улитине, — отвечал ей Серафим, выпивший из горлышка вслед за Василием Дмитриевичем чуть ли не всю водку. — Фельдшер! — с удовольствием прожужжал он. — Ох баба мировая! Здоровая, как слон... Одна нога на половице в доме, другая — на крыльце... Об потолочину головой задевает. Пригнется, тогда ничего. Фельдшер есть, — говорил он, довольный, усаживаясь на передок телеги и разбирая тяжелые от воды вожжи.

Лошадь очнулась, напряглась и, понукаемая сочным чмоканьем Серафима, потянула. Потряхивая седоков, телега грубо и жестко загремела железными шинами по буграм каменистой земли.

— А кто больной? — встрепнувшись, спросил Серафим. — Кто заболел?

— Боже мой, — прошептала Дуняша и закрыла глаза, спрятавшись с сыном под черным зонтом, по которому затрещал усилившийся дождь. — Куда нас несет?

— Не волнуйся, пожалуйста. Вот выйдет солнышко, сразу повеселеешь, — говорил ей Темляков, залезая под брезент и прикрывая им Дуняшу с сыном. Голос его от тряски дрожал. — Высохнет все. Знаешь, какая тут красотища!

Дуняша ничего не ответила, боясь сорваться на резкость. Она лишь вздохнула со стоном отчаяния, словно обрекая себя на муки и страдания, которые назначены были злым роком.

А они, эти муки, были еще впереди.

Не проехали и часа, как стал Серафим засыпать. Сначала это было незаметно. Он просто умолкал, опускал руки с вожжами и покачивался под темным от дождя колпаком. Одна лишь лошадь знала, видимо, что возница спит, и переходила с рыси на шаг, словно бы тоже задремывая на ходу.

Когда и Темляков понял это, он принял будить Серафима, чуя неладное. Тот ворчливо бормотал невнятные ругательства, вскрикивая бранливо, тупо выглядывая из-под колпака, драчливо вскидываясь, отбиваясь от толчков недруга, просыпался, вылезал из мерклого сознания и, хлебнув воздуха, удивленно бормотал: «Ай-яй... да... Да, да. Хорошо. Эхма!» — и опять, причмокивая, умолкал, сутулясь под жестким брезентом, который стоял на нем колом.

Лошадь, убыстряя было шаг при звуках его голоса, опять сникала и тащилась по большаку еле-еле, не разбирая луж и ухабов. Колеса то и дело с опасным треском и всхлипыванием проваливались в мутные глубокие лужи, телега кренилась то влево, то вправо. Серафим раскачивался маятником и спал.

Дуняша пугалась, вскрикивала, прижимая сына, раздраженно говорила мужу:

— Да разбуди ты его, ради Бога! Он что, с ума сошел! — И сама кричала: — Серафим! Проснитесь, пожалуйста! Что вы делаете, честное слово! Как не стыдно! Ведь ребенок же у нас!

Но Серафиму было уже не до нее и не до Темлякова, который тряс его за плечо. Да так однажды зло тряхнул, что Серафим повалился набок, и Темляков с трудом удержал его от падения с телеги — голова уже свесилась через край и болталась безжизненно с отвалившейся челюстью. Лицо было серое, нехорошее, как у мертвеца. Желтые зубы на бледно-розовой, как вымокший под дождем червяк, челюсти нагнали вдруг страх на Темлякова.

— Серафим! — закричал он изо всех сил. — Серафим!

Лошадь остановилась. Николаша заплакал.

По сторонам дороги зеленели поля молодой ржи, поседевшей от дождя, а за полями туманился сизый лес, который был всюду — сзади, впереди и по сторонам. Глинистые лужи на каменной дороге морщились от дождя. Пустыня, залитая водой, мутная, серо-зеленая, окружала Темляковых.

Серафим, которого тормошил Темляков, спал, выставив глиняный нос, дыхание его было ровным и спокойным. Лошадь, казалось, тоже дремала, кокетливо подогнув опять заднюю ногу и подвернув копыто. Сквозь коричневую грязь опять поблескивала стертая подкова.

Ничто не могло разбудить Серафима! Ни мольбы, ни крики, ни просьбы, ни слезы, ни ругань. Все было напрасно.

Николаша плакал с подвыванием. Плакала и Дуняша, прижимая сына. А Темляков никак не мог сдвинуть с места маленькое, но тяжелое, словно намагниченное тело Серафима. Пыхтя тянул он его, толкал, но вместо того, чтобы сдвинуть маленького человечка, сдвигал телегу, а с телегой и лошадь, которая терпеливо переступала с ноги на ногу и опять замирала в кокетливой позе.

Наконец он справился, перекатил Серафима, приткнул его головой к чемоданам, прикрыл ему лицо от дождя краем брезента, пристроился на облучке, взял в руки тяжелые вожжи, с оттяжкой шлепнул ими по лошадиному крупу, чмокнул, подражая Серафиму, и лошадь, к его удивлению, неохотно пошла, послушалась.

— Но-о-оо! — кричал на нее Темляков, растерявшийся и испуганный не на шутку. — Но-о-о!

Лошадь продолжала идти сонным шагом, безразлично и медленно, не разбирая дороги.

— Куда ехать-то, черт побери? Во дела! Спросить не у кого!

— Поезжай прямо! — крикнула Дуняша, теряя самообладание. — Он еще спрашивает, куда ехать! Куда ты поедешь, если дорога всего одна. Идиот какой-то!

Темляков увидел страх в глазах Дуняши, понял, что это не она кричит, а ее страх, и тихо отозвался, постаравшись выдавить улыбку:

— Успокойся, пожалуйста. Мы и так, как видишь, едем прямо.

Они долго и уныло ехали прямо и молчали. Даже Николаша перестал плакать, как если бы мать и на него тоже прикрикнула и он унял слезы, впервые услышав ее крик. Он внимательно смотрел по сторонам и, насупив брови, темно-серой тучкой поглядывал на отца, который не мог заставить лошадь бежать рысью.

Одному лишь Серафиму было хорошо: он крепко спал, распластавшись на дне телеги, словно это не человек был, а какая-то вещь, мешок какой-то под брезентом. Носок его сапога, торчащий из-под брезента, на каждом ухабчике, рытвинке, на неровности дороги игриво покачивался из стороны в сторону, как будто Серафим пританцовывал во сне, поставив ногу на каблучок и уперев руки в боки.

Мокрый, залишаенный лес подступал вплотную к дороге, стискивая ее в своих мрачных объятиях, но стены его раздвигались, освобождая место лугам с не кошенными еще травами, цветы которых закрылись от дождя, хотя и видны были полевые гвоздики, бледно-сиреневые колокольчики, метелки щавеля и желтого козлобородника, зонтики белого и розового тысячелистника, звездочки куриной слепоты. Цветущие травы поникли, отяжеленные дождевой влагой, насытились, напились небесной благодати и ждали солнца, а вместе с ним и хлопотливых пчел, шмелей и ос, всевозможных мух, комаров и жучков — ждали жизни.

Луга уступали место густым овсам или темно-зеленым челкам молодого картофеля. Но опять лес погружал во тьму уныло поблескивающую дорогу, которой не видно было ни конца ни края.

Ни души кругом! Ни встречного, ни попутного прохожего. Ни деревни! Ни единого признака жизни. Словно они ехали по земле, брошенной людьми.

Большак, который еще совсем недавно имел вид вполне проезжей, хотя и изрядно выбитой дороги и был окопан с обочин канавами, откуда ползли в

самую грязь усы веселой повилики, бросая свои цветы под колеса телег, — большак этот стал вдруг терять свои очертания, расплываясь вширь грязными разливами, ветвиться объездными колеями. Справа из ивовых кустов, залитых водой, поднялась свечой утка. Телегу трясло, болтало из стороны в сторону, жидкая грязь, в которую въезжали колеса и по самые оси проваливались в нее, заставляла лошадь напрягаться из последних сил, и Темляков молил Бога, чтоб она не остановилась посреди непролазной грязи, облегченно вздыхая всякий раз, когда лошадь вытаскивала вихляющую телегу на прочное место дороги, терявшей среди луж, ухабов и рытвин.

Носок Серафимового сапога плясал, будто хозяин припустился в лихую барыню, мертво примагнитившись к дну телеги.

Глинистая тропа потянулась от дороги вправо под горку, а вскоре туда же отвернули, заблестели на повороте мокрые колеи наезженной дороги. Внизу, за лугом, серебрился березовый лес вершинными ветвями.

Лошадь словно во сне свернула на эту колею, потянув туда и телегу.

— Куда?! — кричал Темляков, натягивая вожжи. — Ну пошла! Пошла прямо! — кричал он, вспомнив, что надо дергать за левую вожжу, чтобы повернуть упрямую кобылу. — Куда ехать-то?! Черт ее знает!

— Поезжай, ради Бога, прямо! — взмолилась Дуняша. — Пусть уж большая дорога! Куда-нибудь приведет. А эта в лес затащит. Пропадем там. Поезжай прямо! Ну что ж она у тебя встала совсем? Хлестни ее как-нибудь! Господи Боже мой! Ужас какой-то!

Лошадь остановилась и не хотела больше подчиняться Темлякову. Он хлестал ее вожжой, дергал, тянул, сворачивая голову на левую сторону, но лошадь упрямо стояла на месте. Пришлось спрыгнуть с телеги в грязь и вывести за уздцы эту тварь на большую дорогу. Вытянув шею, она как пьяная, шатаясь, вышла на прежний путь и поплелась еще медленнее, чем до развилки.

Казалось, прошла уже вечность с тех пор, как выехали они со станции. Лошадь все шлепала и шлепала копытами, понурившись в полудреме, телега проваливалась, дыбилась, качалась — и не было конца этим страшным звукам.

Николаша спал. Дунечка затекшей рукой придерживала сына, другой цепилась в крайку телеги, в высокую ее грядку. Промокшая и озябшая, она обреченно смотрела вперед, вглядываясь в бесконечную и бессмысленную дорогу, которая видна была ей из-за лохматого крупа лошади, шевелившегося у нее перед глазами хвостатым чудовищем. Силы ее кончались, и она стонала от тоски, потеряв уже способность что-нибудь понимать в этом мире. Ей хотелось лишь просушиться и согреться. Дом Пелагеи, куда она не надеялась попасть, казался ей мечтательным призраком, спасительной гаванью, сказочными чертогами, светлым, теплым, сытным жилищем добрых людей, которые, возможно, волнуются за них, несчастных путешественников, корабль которых, потеряв управление, плывет по разливанному морю грязной дороги без руля и ветрил.

И вдруг! О чудо! Всадник на коне!

Бурый жеребец, раскидывая длинные ноги в широкой рыси, поднес всадника к телеге. Дуняша услышала, как удила скользяще стукнули по зубам, увидела, как жеребец скосил глаз на кобылу, выпучив багрово-желтый белок.

— Тр-р-р, — протарахтел молодой усач, окинув всех путников ястребиными глазами. — Куда путь держите? — строго спросил он.

Он сидел на широкой спине жеребца, прижимаясь ногами к ребристым бокам. Жеребец был не оседлан, лишь старая стеганка накинута на хребет рабочего жеребца с мозолями на плечах.

В голосе всадника была такая лютая, холодная злость, так подозрительно и остро смотрел он на Темлякова, на мокрый край фибрового чемодана, что Дуняша решила в испуге, что им встретился на большой этой дороге разбойник.

— В Ракитино! — воскликнул измученный Темляков. — А дороги не знаем!

— В Ракушино нам надо, — поправила мужа продрогшая до костей Дуняша. — В Ракушино едем.

Лицо ее, забрызганное грязью и перечеркнутое мокрыми прядями почерневших волос, привлекло внимание разбойника, глаза его вспыхнули желтым огнем, как будто с высоты своей он увидел вдруг перепелку, теплая улыбка просочилась сквозь эту желтизну.

— Откуда вы едете?

— Со станции.

— Так, — протянул он. — А лошадь где взяли?

— Да вот он, этот... нас встретил, — опять криком ответил Темляков, мотнув головой в сторону спящего Серафима. — Спит! А мы не знаем, куда ехать.

Всадник увидел маленький холмик под брезентом, мокрый носок сапога, вцепился коню в гриву, вглядываясь в лицо спящего, и с облегчением расправил лицо в улыбку, превратившись в добродушного парня. Конь заходил под ним ходуном, как лодка на волнах.

— А я гляжу, лошадь из Ракушина, люди чужие... Лошадь-то я узнал, — говорил он, гарцуя на беспокойном жеребце. — А чего он спит? Угостился? Ему нельзя, он с глотка ложится... Симка! — крикнул он что есть мочи и засмеялся. — Симка, черт!

Бурый конь злобно прят ушами, прижимая их, и пританцовывал под всадником, крутился, прося воли.

— А куда ж вы едете-то? — кричал он, поглядывая на Дуняшу и смеясь. — Ракушино сзади осталось! Дорогу-то направо не заметили? Там и Ракушино. Теперь обратно езжайте!

Ноги его, как ружейные курки, взведенные для стрельбы, вдруг раскинулись в стороны, парень отпустил поводья и локти тоже раскинул и тут же ударил каблуками в бока жеребца. Тот екнул, напрягся и поскакал тяжелым размашистым галопом, кидая копытами ошметки мокрой глины.

— Лошадь-то, — сказал Темляков, — лошадь-то... умнее нас... Сама пошла домой, а мы не пустили. Покататься захотелось.

И Темляков, разозлившись на весь белый свет, потянул все ту же левую вожжу, разворачивая лошадь. На этот раз она охотно подчинилась, резво пошла, перебирая ногами, потащила за собой телегу, которая тут же встала под прямым углом к ней, а в следующее мгновение под таким же углом оказался по отношению к дороге... Телега вздыбилась стеной, что-то в ней затрещало, заскрипело, взвизгнуло, и не успели Темляковы опомниться, как все они — и вещи, и Серафим, и чемоданы, и Дуняша с сыном, и сам Темляков, — сходя с ума от ужаса, повалились с этой стены в дорожную грязь.

Все это случилось так неожиданно, так быстро, что Николаша, которого Дунечка, извернувшись кошкой при падении, не ушибла и не уронила в грязь, а каким-то невероятным образом удержала на весу, испугавшись лишь, что телега сейчас накроет их и убьет, — Николаша даже не проснулся. Дунечка же быстро поднялась на ноги и, удивленно глядя на грязного мужа, который запутался в вожжах и на которого к тому же навалился Серафим, непонятно как оседлав его, обхватив короткими ногами в яловичных сапогах, вдруг то ли заплакала, то ли засмеялась, с изумлением поймав безумоватый взгляд мужа, барахтающегося под Серафимом в грязи.

— Ты цел? — воплем спросила она сквозь смех.

Теперь, спустя тысячелетие после этого путешествия, разглядывая, как сквозь призму бегущей воды, укрупненные подробности дня, Темляков с удивлением видел в дрожи радостных слез, застилавших ему глаза, воистину счастливое свое семейство, барахтающееся в дорожной грязи.

Все те муки и страдания, которые казались невыносимыми, представляли теперь перед ним, старчески немощным человеком, игрищами веселой и беззаботной жизни. Они с Дунечкой купались в этой жизни, как несмышленные дети, не подозревая о подлинных муках и страданиях, переполнявших страну в те недоброй памяти годы.

Он еще не знал тогда, как и почему будет убит его брат, он не в силах был даже в кошмарном сне увидеть штабель полураздетых трупов в холодном сарае, в груды которых ляжет и замороженный Саша, добрый их Шура, грезивший в юности о театре, носивший коротенькие пышные усики, тщательно следя за своей франтоватой внешностью, и ушедший добровольцем на ту войну, с которой он как бы и не вернулся домой. Он даже предположительно не мог подумать, что в его стране существуют такие жестокие силы, которые способны на это

убийство. И уж, конечно, он не мог знать, у него даже такой попытки не было, ему и в голову не могло прийти, что мирные миллионы людей всех национальностей, населявших Россию; людей всевозможных политических или религиозных устроений, от крестьянина до государственного деятеля, от безграмотного мужика или бабы до всемирно известного ученого; тьма-тьмушкая разных людей, у которых были тоже, как у него, дети, матери и отцы, были надежды на будущее и какие-то свои уклады жизни с любимыми делами, привычками, с домашними тайными нежностями, с естественными потребностями вкусно поесть, поспать, пробудиться на рассвете, чтобы улыбнуться солнцу или первому снегу, — все эти разбросанные по всей России хорошие и плохие, добрые и злые люди были умерщвлены или подвергнуты пыткам, может быть, именно в тот день, когда он сам со своим семейством ехал в деревню Ракушино, были собраны в безликие массы, в серые толпы за заборами с колючей проволокой, в бараках жилых зон лагерей, чтобы каждое утро, забыв о своих привычках, идти в колоннах в рабочую зону под охраной немецких овчарок и вооруженных людей с одной лишь надеждой — выжить и вернуться домой.

Теперь, когда Темляков узнавал об этом, он ужасался крови, пролитой невинными жертвами России, и ему казалось порой, что сам он, ища наслаждений для души и тела, мечтая о соловьях и чистой реке, о счастье маленькой своей семьи, — не по дорожной грязи ехал в Ракушино, не в лужи с глинистой жижей вывалил он Дунечку с Николашей и самого себя и Серафима, а в густую кровь страдающей России, дождем лившуюся с хмурых небес обреченной на муки страны.

Конечно, он с обостренным чувством собственной вины понимал теперь, что кара не обошла Темляковых и за все сполна заплатил убиенный мученик, несчастный Саша, смертью своей искупивший грехи младшего брата, дав ему право на жизнь и на те грешные удовольствия, какие он мог вопреки всему извлекать из нее. Но при всем этом он понимал теперь и то, что удовольствия эти давались ему за чей-то счет, словно он волею судеб был избран жестокой властью, царившей в стране, в число людей, которым дарована свобода созерцать эту жизнь и славить власть за то, что она оставила их в покое.

Его мучило теперь сознание, что он прожил свою жизнь за счет жизни кого-то из тех убиенных, в гибели которых он не чувствовал своей вины, но и не виноватым тоже не мог теперь представить себя, не погрешив против нравственного самосознания, ибо не мог бы никогда почувствовать себя счастливым в доме, где стоит гроб.

Хотя и то верно, что он, узнавая в свое время об открытых процессах над «врагами народа», не сомневался, что суды над ними — праведные суды. В нем даже порой посаливало в глубине души злорадное чувство мести, будто он убеждался воочию в торжестве справедливости, видя черные фамилии тех, кто недавно еще так или иначе был виноват в разрухе и голоде, в той насаждаемой ими враждебности, какую он сам своей шкурой на каждом шагу испытывал.

Он догадывался по-своему в минуты мутного мщения, что оттого они и враги, что разъяри народ на части, раскололи монолит великой России, сведя с ума лучших ее сынов. Ему даже чудилось иной раз, что сумеет теперь Саша побороть свою болезнь и вернется с душевным облегчением домой, такой же улыбочивый и красивый, каким он помнил его на старом Крымском мосту...

Как это ни странно теперь вспоминать, но казни или смертные приговоры, о которых сообщали газеты, вносили в его душу некую успокоенность, как если бы именно его, Василия Темлякова, преследовали коварные злодеи, но нашлись в стране могущественные силы и он был спасен от гибели! Что-то в этом роде испытывал он всякий раз, узнавая о раскаявшихся и признавших свою вину преступниках. Уничтоженные, они освобождали захламленный путь России к счастью, а вместе с Россией он и сам со своим семейством делал шаг к этому будущему счастью, восклицая при этом с облегчением:

— Слава Богу, наконец-то! А то ведь просто немоготу стало жить... Оказывается, вон кто виноват! Ну хорошо, теперь жизнь наладится.

Он и Дунечку свою заставлял верить в справедливость этих казней, на что она ему, как добрая мать, говорила в задумчивой отрешенности:

— Но ведь для этого нужны и палачи.

— Конечно! — восклицал он решительно. — Как же без них?!

Это было страшно теперь вспоминать.

Никакие комбинации всевозможных умственных упражнений, которыми он пытался порой не то чтобы оправдать, но хоть как-то привести в равновесие душевные свои силы и унять тревогу, не помогали ему избавиться от тех наивных и до преступности глупых размышлений о неизбежности жертв на историческом пути развития страны, о необходимости казни и палачей, какими он отвлекал себя в ту давнюю пору. Хотя он и успокаивал Дунечку, говоря ей, что, дескать, палачей как таковых уже нет, все делает нехитрая механика, и что якобы приговоренного выводят в коридор, в котором, как на зверя, насторожена заряженная винтовка, тот подходит к черте, ногой наступает на пружинящую проволоку и таким образом сам себя расстреливает, потому что половина соединена со спусковым крючком винтовки и выстрел происходит сам собой...

Он в безумии своем пытался внушить Дунечке и самому себе идею гуманной казни во имя благополучия и нравственного здоровья народа, веря в эти рассказы как последний дурак, развесивший ослиные уши.

А Дунечку, которая возражала ему, говоря, что все равно кто-то ведь должен заряжать и настораживать винтовки, не хотел и слушать, убеждаясь всякий раз с великодушной насмешкой, что жена ничего не понимает в большой политике, если ее беспокоят такие мелочи.

Он жил, подчиняясь инерции, которую принимал за свой выбранный в здравом рассудке жизненный путь, а все, что делалось вокруг, старался объяснить и понять как именно свой тоже, единственно возможный и сознательно избранный им, как и всем народом, исторический путь России, и очень обижался и ревностно страдал, если кто-нибудь не хотел признавать за ним его права считать этот путь своим.

Теперь его мучили ужасы. Он один был виноват в мучениях, которые выпали на долю его народа; вину свою он видел даже в том, что не знал правды. Будто бы, зная эту зловещую правду, он мог бы спасти невинных людей, отговорив палачей от злых поступков.

Ночные стенания души будили его, и он всякий раз думал, что вот и он умирает в черном одиночестве, проклятый поколением юных праведников, узнающих в нем свидетеля казней, пыток и бесконечных этапов осужденных на гибель людей, о которых он умышленно не хотел знать, прожив свою жизнь безнравственным невеждой, не пожелавшим дознаться до правды. До той самой правды, что была не за тридевять земель, а рядом с ним, за стеной его благополучного дома и даже в соседних комнатах, отделенных от комнаты, где он жил с Дунечкой, голубыми обоями с белыми лилиями, слоем штукатурки и кирпичей, положенных всего лишь в один или два ряда.

Ноющие стоны души были теперь сродни стонам больной Пелагеи, давно истлевшей на деревенском погосте. Она, умирая, мучила по ночам молодых своих гостей, засыпавших в объятиях под звуки этих жалобно льющих стонов. Иссохшее тело старушки сестра уже вынесла из дома, положив в прохладу тесного крыльца, где было легче умирать на деревянной кровати, отдавая последние силы дождю и солнцу, молниям и громам летних гроз, как если бы силы эти, отлетавшие из выболевшего тела, впитывали душистая земля и цветущая за оградой рябина, далекие звезды, голубеющие за волнистым стеклом окошка, и хлопотливые ласточки под крышей, продолжившие свою жизнь в народившихся птенцах.

О чем, кроме боли своей, думала Пелагея в те бессонные ночи и дни своего умирания, Темлякову заказано было знать. Да он и не пытался никогда проникнуть в душу умирающей старухи, стоны которой мешали ему в счастливо-беспечной деревенской жизни в Ракушине.

И что это за лето было такое хорошее! После ненастных дней яркое солнышко вместе с жаворонками, светом и звоном ласкало сытую землю. В ясной синеве к полудню собирались белые стаи очень красивых лебяжьих облаков. Земля попадала в прохладные их тени, краски ее меркли, но вновь вспыхивали, когда из-за края облака солнечный луч туманным щупальцем прикасался к душистой плоти зеленой земли.

Колосилась рожь, цвели васильки, благовоние которых рождало в душе

воспоминания о детстве, о плетеных венках, увядших на голове; луга белели от ромашек, а в лесу появились первые грибы.

Однажды Темляков ушел с сыном на реку. Дуняша осталась дома, сославшись на лень. Облака к этому времени, как бы утомившись, оседали обычно над дымчато-зеленым окоемом, сияя вокруг серебристым ожерельем, и освобождали зенит, обещая на завтра такой же васильково-душистый, благостный день, с прохладой и зноем, с трепетным звоном жаворонков и с легкими ветерками, шевелящими полотняные занавески на окне.

Но на этот раз они уплотнились, сгущились в небе, доньшки их набрякли тьмою, солнце подолгу скрывалось за ними. Муравейник, мимо которого вела к реке среди струнных сосен узловатая тропинка, шипел от суетливого копошения его железных жителей, раскаленных в дневном зное и остывающих теперь. На реке гулял порывистый ветер, взъерошивая тут и там маслянистое течение и шершавя реку.

Ветви прибрежных кустов стали уже раскачиваться, когда Темляков понял, оглядевшись, что приближается сильная гроза. От лебяжьего покоя, который обычно царил в это время в небесах, не осталось и следа. Ему даже почудилось, что солнце странно заворочалось в дымчатых лоскутках облаков, затягивавших его, и все дальше и дальше улетало от земли, уменьшаясь в размерах.

Он смотал свою и Николашину удочки и, схватив за руку расплакавшегося сына, не хотевшего признавать никакой грозы, потащил его от реки короткой дорогой через лес к дому.

В деревню они вбежали запыхавшиеся и испуганные. Туча уже нависла над посветлевшими тесовыми крышами и, мрачная, то и дело разряжалась молниями и адовым грохотом. Пыль винтами поднималась над дорогой, где-то громко и тревожно причитала курица, всюду испуганно шелестела листва.

Они по ступенькам вомчались на крыльцо и мимо притихшей Пелагеи проскользнули в холодную свою половину, радуясь, что успели до дождя вернуться домой.

Но радость сменилась тревогой, потому что Дуняши не было. Занавески на открытом окне полоскались на ветру, глиняная кринка с цветами разбитая валялась на полу, который темнел пятном разлившейся воды. Цветы, еще совсем свежие, лежали в луже.

Никто в доме не знал, куда она ушла, и Темляков, еще больше тревожась, почувствовал вдруг лютую злость на нее, что она, не побоявшись, ушла в грозу, когда он зайцем бежал от надвигающейся тучи.

Он затворил окно, стекла жалобно всхлипнули, когда он с силой стукнул рамами, сомкнув их и заперев на крючок. И сел на табуретку возле разбитой кринки, над разбросанными по полу васильками и ромашками, раздавив мясистую головку с белыми лепестками, попавшую под ногу.

— Маме сегодня попадет! — сказал он Николаше, которому передалась тревога и страх, и он, как обычно в таких случаях, забрался на свою кровать и улегся на бочок, повернувшись к стене, чтоб не видеть отца, грозу и чтобы не слышать о маме, которой попадет сегодня.

Туча затемнила день, в доме все помрачнело, и за окном вместе с шелестом ветвей и листвы, вместе с молниями и громами зашумел, засветился дымчатым столбом густой ливневый дождь, похожий на холодный град.

Темляков ходил по скрипучим половицам комнаты, бревенчатые стены которой, храня тепло прошедших солнечных дней, отдавали его теперь древесно-вяленому пахучему воздуху, затуманивая охлажденные дождем стекла.

Он очень злился на Дуняшу, заглушая злостью все возрастающую тревогу за нее. И когда услышал хлопок двери и понял, а точнее, почувствовал, ощутил осязаемо и зримо присутствие ее в доме, быстро уселся опять на табуретку и встретил ее хмурым взглядом из-за плеча.

— Пришла? — спросил он, когда она в прилипшем к телу мокром сарафане, печатая ожерелья пальцев, изогнутое лекало ступни и пятки, прошла в темный угол, с веселой виноватостью кивая ему испуганно-радостным взглядом.

— Промокла, — сказала она ему с придыханием. — Чуть живая.

— Вижу, что... Согреться надо, — ворчал он, хмурясь и словно бы ненавидя жену. — Заболеешь.

— Не заболею, — откликнулась она, стягивая с себя налипшее платье и радуясь домашнему, настоящему за день хлебно-душистому теплу. — Я ведь за вами на речку... Вижу, гроза, а вы... А ты боялся за меня? Чуть со страху не померла. Один раз до земли присела, и это... Гром над головой с огнем вместе... Думала, убило меня. Так громко! А потом никак не могу, — торопливо, не в силах никак отдышаться, говорила она, не стыдясь своей жемчужно-светлой наготы в бревенчатой тьме комнаты. — Бежать хочу, а ноги не бегут, как притянуло к земле... Страху-то, страху! Онемела, и только. Ничего, — торопливым шепотом говорила она, — ничего, пошла. Пошла и пошла. А ты тут... Ты небось и не подумал даже, где это в такую грозу, не убило ли громом женушку... Слава Богу, хоть вы-то дома... Колюша спит? — шепотом спросила она и на цыпочках, большая под низким потолком, светлая, обернувшись полотенцем с вышитыми красным крестом петухами, подошла к сыну, заглянула, вытянувшись над ним. — Спит, — сказала, осветившись счастливой улыбкой.

Кожа ее была прохладная, как речная вода в зной. Дождь за окном долго еще шепелявил, капли с крыши долго еще чмокали, падая в выбитую бороздку вдоль низкой стены дома, промывая в земле камушки, и только в сумерках утихло все.

Редко-редко в тишине падала капля, застрявшая в листве; слышно было, как где-то под окном большой какой-то жук, сбитый, наверное, дождем и перевернутый на спину, жужжал, пытаясь взлететь, но у него не получалось.

Темляков даже видел в своем воображении, как жук кружится на земле, приподнявшись на распушенных хитиновых надкрыльях, и ему хотелось помочь несчастному.

Даже Пелагея молчала в этот тихий вечер. Грозовой озон, растворенный во влажном, зеленом воздухе, видимо, отвлек ее от боли, и она уснула.

Так думал Темляков, боясь пошевелиться и разбудить уснувшую у него на руке Дунечку. Он знал, что Николаша скоро проснется и, выспавшись, не ляжет спать до полуночи.

Но он не знал в эти блаженные минуты, что на крыльце уже закончила свой земной путь маленькая, иссохшая от злой болезни старушка, скоротавшая чуть ли не всю свою жизнь в темляковском доме.

Через день они уехали в Москву, простившись с Пелагеей, лежащей в гробу, с заплаканной ее сестрой, расцеловались с племянницами и со всеми, кого успели узнать за эти полторы недели деревенской жизни.

Вез их до станции все тот же Серафим. Был он мрачен на этот раз и молчалив. Лишь однажды оживленно вдруг обернулся и с виноватой улыбкой сказал, разводя маленькими руками:

— Это, знаешь, как говорится: собаку имею, а лаю сам! Вот такой я человек. Эхма!

А когда прощался на станции, втащив чемоданы в вагон, глазки его задымались мутной слезой, он растерянно улыбнулся, махнул рукой, словно подхлестнул себя сзади прутиком, и ушел навсегда из жизни Темляковых.

7

— Мне столько же лет, — говорил иногда Темляков своей задумчивой Дунечке, — сколько всей жизни на земле. Пять, сколько, шесть миллионов. Тебе не меньше, не улыбайся... Мы с тобой искорки сознания всей этой громадной и, как вздох, краткой жизни. Она как костер. Не все ли равно, что сгорело сначала, а что потом — зола, пепел, искры в пепле. Вот и вся жизнь. Огромное, теплое еще кострище с тлеющими искрами... Мы с тобой эти искры. Искры тлеющего сознания бесконечной жизни.

Она внимательно всматривалась в мужа, словно изучала подробности его худосочного лица, потемневшего от загара, и, казалось, ей нравилось быть переливающейся в теплой золе крохотной искоркой.

Темляков хорошо помнил то время, когда пришла строгая домоуправша с двумя мужчинами и, нагоняя страх на мать, которая одна была в тот день в доме, велела показать ей все комнаты. На просьбу матери подождать до прихода мужа она ответила, что это сейчас не имеет принципиального значения.

— Показывайте, — приказала она, кивком головы отсылая мать вперед, и затянулась дымом ядовитой папиросы.

Реквизировали две лучших комнаты в доме, столовую и гостиную, соединенные между собой высокими дверями. В большой столовой было два окна, за венецианскими стеклами которых темнели стволы старых лип, ажурная ограда, кирпичный теремок калитки и улица в отдалении. В гостиной было одно окно с той же картиной: калитка, ограда, улица, круглящийся ровный ствол липы.

Когда цвели липы, в комнаты залетали через открытые окна сытые пчелы и осы, зависали в воздухе, точно недоумевая, куда они вдруг попали, и так же тяжело и неторопливо уносили на прозрачных крылышках свои припорошенные липовой цветочной желтизной полосатые или бурые тельца. Зимой же, в лютые морозы, в окна заглядывали и стучали клювами по стеклу распушившиеся синицы, желтогрудые, с черным галстучком, белощекие. Воробьи тоже слетались с улицы, когда мать сыпала в кормушку хлебные крошки или пшено, и начиналась за окном веселая суета, драка, перебранки синиц и воробьев, которые долго не разлетались, царапая жезь на подоконниках коготками, хотя вся подкормка была уже съедена ими. На них всякий раз удивленно и ревниво поглядывал ручной щегол, живущий в гостиной, в деревянной клетке с бамбуковой решеткой, подвешенной возле окна. Он скакал с жердочки на жердочку и, казалось, был очень возмущен происходящим.

Велено было вынести всю мебель из этих комнат и сдать ключи в домовое управление.

Начались долгие дни ожиданий, полные тревог и раздумья о том, кого и когда вселят в эти всеми любимые комнаты, где обычно Темляковы собирались вечерами и пили чай из самовара красной меди, угольки в котором наполняли комнату запахом как будто бы поджаренного, подгоревшего крутого кипятка; играли в лото, а в поздний час, позевывая, расходились по своим комнатам спать.

В оставшихся комнатах стало тесно от мебели. Стулья громоздились чуть ли не до потолка, кованный сундук, почему-то украшавший гостиную своей стародавней искусной работой, был вдвинут в детскую. Ломберный столик и, конечно, обеденный столик, буфет, книжный шкаф — все это с трудом уместилось в переполненных комнатах. И было очень тесно!

Знакомый нэпман, построивший в Бабьегородском переулке собственный двухэтажный дом с магазином, купил вскоре сундук, стол, буфет и стулья. (А через год приходил к отцу плакаться, потому что дом с мебелью у него отобрали.)

Вася Темляков ходил вместе с отцом по приглашению этого нэпмана смотреть новый его дом, в котором с удивлением и странным чувством несоответствия видел так хорошо знакомые ему стол, сундук, буфет и стулья, зная, что все они теперь принадлежат другому человеку. Когда этот человек, потерявший все, плакал от горя в их доме, Васе не было жалко его. Он даже злорадствовал, что их вещи теперь не принадлежат бородатому нэпману, который потом и сам бесследно куда-то исчез.

Вася любил когда-то, особенно в зимние вечера, уходить из столовой последним и гасить в опустевшей комнате свет. Все погружалось во тьму, но вскоре заснеженная, тускло освещенная улица возникала в окнах сказочной декорацией, а в комнате проявлялись черные глыбы буфета, стола, стульев, пугая мальчика неожиданной таинственностью. Он в веселом мистическом страхе, который в ту пору привлекал его, захлопывал дверь и опрометью бежал в свою комнату, будто кто-то гнался за ним по темному коридору.

Пелагея в ту пору была еще молодая, жила она возле кухни в каморке, в которой умещались только кровать, маленький комод и один стул. В углу висела икона Казанской Богородицы в серебряном окладе, с рубиново-красной лампадой и веточкой искусственного цветка, похожего на белую розу. Обедала она на кухне.

Пелагея тайком подкармливала Васеньку, угощая его в своей каморке ломтиками подсолненного черного хлеба, окропленными подсолнечным маслом. Эти тайные кусочки казались ему лакомыми.

Она ворчала, не скрывая гнева, когда жилищная комиссия отобрала у

Темляковых лучшие комнаты. Переживала этот разбой, будто была хозяйкой дома, шумно и крикливо, никого не боясь, ругалась, пугая осторожных Темляковых, заставлявших ее молчать.

— Молчу, молчу, Господи, сохрани и помилуй, — откликнулась она, поглядывая куда-то в заградную даль, откуда пришло напасть. — Взяли моду! Приходят, хозяйничают, тьфу! — начинала она опять, вскидывая в ту сторону гневливый взгляд, словно видела злого разбойника за оградой.

Зимой и летом ходила она в длинном, до пят, темно-лиловом платье в мелкий горошек, меняя лишь обувь: зимою валенки с галошками, весною и осенью ботики, а летом мягкие высокие ботиночки на шнурках, подарок хозяйки на день рождения. Дома же она серой мышкой скользила в каких-то тапочках на войлочной подошве бесшумно и незаметно, никого не раздражая своим присутствием и ничего не требуя за свой труд, как будто была членом темляковской семьи, дальней родственницей, которую они приютили в своем доме.

— Ах, Паша, как я волнуюсь, если бы ты знала, — жаловалась ей добрая хозяйка, готовя вместе с ней обед на кухне. — Поселятся какие-нибудь грубые люди, начнут тут хозяйничать, ругаться... Ты ведь знаешь, злой у нас народ, грубый, неотесанный... Уж ладно, не жалко, пусть отбирают все, но только бы для хороших людей...

— Где их отыщешь, хороших-то, — откликнулась Пелагея, чистя картошку. — Огрубел народ. Один придумал какую-то эту революцию, другой перенял — и пошло, и пошло... За хлебом придешь — бросают кусок, как голодной собаке... Начальница! Все начальниками сделались, все орут. Никакого не стало порядка.

— Паша, я тебя просила. Мы с тобой в политике ничего не понимаем, и уж лучше помалкивать. Даст Бог, обойдется все. Ты слышала, Дмитрия Илларионовича приглашают на работу в Пермь, а я сомневаюсь, надо ли... Хотя, говорят, там полегче жизнь. Но ведь все чужое! Как поедешь? Я отговариваю его, но он отмалчивается. Меня это очень пугает.

Задушевные разговоры двух женщин, разделявших труд по дому, доверительные эти беседы никак нельзя было назвать разговорами хозяйки с прислугой, когда одна отдает какие-либо распоряжения, а другая прекословит ей или, наоборот, послушно исполняет приказ. У той и у другой не было желания повелевать или подчиняться. Свои отношения друг с дружкой они считали очень добрыми и чуть ли не родственными, хотя Пелагея исполняла более тяжелую, грубую работу, а хозяйка более легкую, как если бы Пелагея, например, замешивала раствор и делала кирпичную кладку, строя дом, а ее хозяйка этот дом украшала лепными орнаментами, тянула карнизы, белила потолки, малярничала и, выбирая по своему вкусу цвет, клеила обои на стены, придавая дому, построенному Пелагеей, законченный вид.

Так, например, если Пелагея чистила картошку, то ее хозяйка мыла очищенные клубни и резала фигурным ножиком на гофрированные дольки, прежде чем бросить в кипящий бульон. Пелагея снимала пену, а хозяйка солила, пробуя на вкус. После того как у хозяйки отобрали две комнаты, потеснив ее семью, Пелагея как бы и вовсе сравнялась по условиям жизни с ней. И если раньше именно Пелагея покупала на рынке живую курицу, утку, а то и гуся, неся их домой, и сама рубила топором им головы, щипала перо, потрошила, приносит на кухню опаленные тушки, запльвшие желтым жиром, за которые принималась уже сама хозяйка, то с некоторых пор обе они забыли эти сытные денечки, ограничив себя пайком, на который села в ту пору вся голодная Россия и, конечно, не избежавшая этой злой участи Москва. Теперь уже Пелагея получила возможность помогать Темляковым, привозя из деревни картошку, капусту, лук и морковь или брус свиного сала, присыпанного, как изморозью, крупной желтой солью, смущая Темляковых своей щедростью.

Но в документах и всевозможных справках, учетных ведомостях домоуправления, в сведениях, поступающих в милицию и районные органы власти, Пелагея числилась прислугой или домработницей, а Темляковы хозяевами, что очень смущало их, будто они были эксплуататорами, бросая вызов новому порядку.

— Господи, помилуй! Боже ты мой! Теперь в доме разведутся клопы, — в

один голос сказали теплым летним днем Пелагея и ее хозяйка, увидев старый кожаный диван, который тащили грузчики в освобожденные комнаты.

Потом поплыл в их руках тоже старый буфетик с гранеными стеклами в дверцах, побежали венские стулья, заколыхалась железная кровать с шарами — старая, посеченная временем, исцарапанная мебель новых жильцов.

— Знато дело, отдали бы им свою обстановку, чем такую-то рухлядь терпеть, — заключила Пелагея, косясь на нового жильца, который словно бы не замечал, не видел никого вокруг себя, следя за летящими, спешащими, плывущими по воздуху кастрюлями, картонками, ведрами, керосинками и прочей мелочью, которая как ветром всасывалась в распахнутые двери особнячка, несомая на руках торопливых грузчиков. — Разнюхался своим носом, — проговорила она напоследок.

Дворик с сиренями к тому времени стал проходным, забор сломали и сожгли в печах, дом Темляковых торчал теперь потрескавшейся скалой, обтекаемой с двух сторон людскими тропами.

Сирени зачахли и, ободранные, пыльные, стояли на запекшейся земле, по которой шли и шли теперь люди, вытаптывая гибельными тропами умирающую землю и все, что недавно росло на ней, окруженное заботами Темляковых. Делалось это людьми не по злому умыслу, а лишь для того, чтобы на десяток шагов сократить свой недлинный суетный путь от трамвая до дома или от дома до трамвая.

Кто-то срубил и елочку, оставив белеющий на срезе пенек в земле. Смолистый сок выступил на торце бисером крохотных липких капель. Капли потускнели, почернели, кора высохла и отвалилась. Вместо пушистой елочки торчал теперь из кожистой земли костистый кочеток, об который люди часто спотыкались, чертыхаясь или матерясь, будто кто-то специально поставил на их пути эту невидимую в темноте или сумерках кость.

Трава теперь росла лишь возле дома и сарая, лоскутьями зелenea по обочинам черного хода нищающего жилища.

То, что некогда было садиком, перестало существовать, превратившись в большой, слитый с бугристым пожарищем голый пустырь.

Летом в жаркие дни вытоптанная земля будто бы закрашивалась белесой пылью, в которой поблескивали осколки стекла, замурованные в эту мертвую землю; в дождливое ненастье пространство блестело мазутной поверхностью, по которой все равно шли и шли, скользя, угрюмые люди, которых как будто становилось с каждым днем все больше и больше.

Дверь калитки теперь никогда не закрывалась. Покосившись на вывернутых петлях, она навсегда прижалась к кирпичной стене крохотного теремка, вросла в землю, превратив темную щель между стенкой и своей поверхностью в мусорную дыру, набитую окурками, смятыми пачками от папирос и источающую из своей тьмы запах мочи.

Люди шли и шли через эту калитку, будто им открылась наконец дверь в легкую и безбедную жизнь, о которой они мечтали.

Пелагея смотрела медвежьими, глубоко посаженными глазками на хозяйку, которая, кажется, и не видела ее, чувствуя кожей присутствие чужих людей, принимаясь к новым запахам...

— Господи! Неужели лук жарят? — спросила она у Пелагеи. — Так и есть — лук. Я пропала.

Ей хотелось увидеть в новых жильцах что-то хорошее. Ласковость какую-нибудь, приветливость во взгляде, вежливые улыбки. Она и сама-то уж старалась не упустить случая улыбнуться им, ответить на какой-нибудь вопрос, объяснить что-нибудь, рассказать.

Но они, видимо, очень устали в этот день. Поджарили картошки с луком, вскипятили медный чайник, унесли сковороду и походный свой чайник в комнаты, щелкнули замком и не выходили до утра.

Ей не терпелось рассказать им о старшем сыне, о Шуре, который, будучи царским офицером, спас от смерти худенького мальчика в Кременчуге. За еврейским мальчиком гнались погромщики, руки которых уже обагрились иудейской кровью. Пьяные головы их жаждали кровавого пира, как жаждет

привычный пьяница губительной чарки вина, и ничто не могло спасти беглеца, потому что погромщики уже перешли границу добра и зла, порешив много жизней еврейских женщин и даже детей. Беглец этот влетел, как влетает к человеку птица, загнанная ястребом, ворвался в домик, где в ту пору жил Шура Темляков, и в последней надежде посмотрел на русского офицера. Шура без слов все понял и спрятал худенького человека, еле живого от страха, в пузатую бочку для солений, стоявшую в сенях, и прикрыл гнетом. Шура был не только русским офицером, он всегда был очень добрым, отзывчивым и великодушным человеком. И когда озверевшие погромщики с дубьем и топорами ворвались к нему, он поднялся навстречу, скрестив на груди руки, и спросил их: «Что вам нужно, господа?» Они увидели перед собой офицера и отпрянули к двери... «Извиняйте, пану», — сказал самый мрачный из них, круто озираясь и пятясь к двери. Бандит, конечно же, не мог допустить темным своим разумом, что русский офицер скрывает у себя «иуду, распявшего Христа». Мрачная сила, пропахшая винным перегаром, жар разгоряченных тел бросили в жар и Шурочку. Он побледнел и тихо сказал: «Вон! Чтобы ноги вашей не было в доме». Он сказал это напрасно, потому что они, собравшиеся уходить, замялись в дверях, исподлобья глядя на офицера и мутно бранясь. Но Бог был милостив к Шуру, поступившему как истинный христианин, — они ушли. Хотя, может быть, и заподозрили постояльца в способности к евреям. Трудно представить себе, что было бы, узнай погромщики, потерявшие человеческий облик, кто, скорчившись, сидит в бочке, обмирая от страха. Трудно предположить, на что решился бы Шура, вооруженный наганом, на что решились бы они. Страшно подумать! Но, слава Богу, все обошлось. Хотя много крови было пролито в те дни в обезумевшем городе. Пролилась бы кровь и Диогена, как потом шутливо называл Шура спасенного, а земля впитала бы алую лужицу с равнодушием всепоглощающего монстра. Может быть, в молитвах опомнившихся горожан, в поминальных молитвах их промелькнуло бы имя еще одного человека, жизнь которого иссякла, как маленький родничок среди камней. Может быть, кто-то уронил бы над ним слезу покаяния. Все могло быть, если бы Шура не спас этот крохотный родничок, взлелеянный любовью. Для чего он это сделал? Шура не нашел бы что ответить, ибо такой вопрос никогда не возникал в его сознании. Он бы возмутился, если бы кто-то посмел задать ему подобный вопрос. Как для чего? Это же человек! Никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если бы смерть угрожала ему гибели, не мог бы поступить он иначе. Неужели он так любил евреев, что готов был погибнуть за несчастную жизнь одного из их племени? Он спас не еврея и накричал не на русских, прогнав их из дома. Спас — человека! И прогнал с гневом людей, каждый из которых забыл, что он человек! Всего лишь навсего подчинился инстинкту жизни, и этот инстинкт спас его самого, спас бедняжку, которому не исполнилось и пятнадцати лет, и спас ворвавшихся погромщиков от греха, который, быть может, на небесных весах превысил бы меру зла, отпущенную человеку для покаяния. Мальчик, имя которого Шура не знал, ночью хотел уйти, слезно кланяясь пану офицеру, порываясь целовать ему руку в благодарность за спасение, но Шура Темляков не отпустил его в кроваво дрожащую от пожарниц ночь, и тот провел еще два дня под железной кроватью, пока не утихли в городе черные страсти.

Обо всем этом хозяйка хотела рассказать новым своим жильцам, чувствуя потребность в их доброй улыбке и благорасположении к себе, но боялась.

А вдруг, узнав, что сын ее был царским офицером, они сверкнут ненавидящим взглядом и отвернутся от нее, матери царского офицера, а то и вовсе потребуют от нее каких-нибудь объяснений, почему да как, по какому праву офицер скрывается от возмездия победившего класса.

Хотя сама она подспудно чувствовала себя тоже спасительницей этих людей, поселившихся в ее доме, словно они, гонимые холодом и ветром, попросили у нее приюта и она пустила их, горемычных, передохнуть перед теми испытаниями, какие суждены им в будущем. Она это тоже смутно ощущала в своем сердце, чувствовала боль за этих людей, словно они, лишь от страшного отчаяния покусившиеся на монаршую власть, убившие царя, царицу и царственных детей, теперь дрожат за свою жизнь, потому что грех томит их души перед неизбежной расплатой за содеянное, хотя сами еще не понимают этого.

Ей даже казалось, что они из последних сил утверждают сами себя в мысли, что имеют право теперь въехать в чужой дом и даже не заметить бывших его владельцев, отстранившись от них как от извечных своих гонителей, а потому они такие нелюдимые. Ей это обидно было сознавать, но по доброте душевной она жалела их, как заблудших, озябших на холодном ветру истории, несчастных странников, опьяненных своей временной удачей.

— Очень странные люди, — тихо сказала она, не дождавшись ни улыбки, ни вопроса, ни даже маленького интереса к себе.

— А чего церемониться! — ответила Пелагея, хмуря безволосые бровные дуги. — Хозяева теперь! Да что хозяйва! Что ж... Хозяин и тот сказал бы: здрасте, как здоровье...

— Зачем же так громко, — шепотом оборвала ее хозяйка. — Устали. Не знают, как себя поставить. Мало ли что на душе у людей. Нельзя так. У тебя слишком универсальное разочарование — везде все плохо. Это грешно, Паша, — выговаривала она прислуге. А та хмурилась, светлые ее угловатые глаза, сдавленные бровными дугами и скулами, наливались непокорливым упрямством, мрачнели. — Ты уж, Паша, пожалуйста, не делай глупостей. Время сейчас такое. Надо смириться. Разве они виноваты, что их поселили в нашем доме? Жребий повелел. Могли бы и других прислать. Неужели нельзя понять?

Пелагея пошевелила плотно сомкнутыми бескровными губами, которые у нее казались старушечьими, запавшими, словно она была беззубой, и сказала осуждающим шепотом:

— Слабохарактерная вы. Тихая... — И посмотрела на хозяйку с горькой кислинкой во взгляде.

— Что ж теперь поделаешь... Бог терпел и нам велел. Такая уж уродилась. Мне кажется, люди они хорошие, не грубые. А я и рада. И не разочаровывая меня, прошу. А то начнешь ворчать... А я плакать стану. Зачем тебе это, скажи мне на милость? Ты, наоборот, старайся, говори мне, какие они хорошие, какие добрые... Мне тогда на душе легче будет. Не усугубляй. Душа и так болит, а ты усугубляешь.

Пелагея была одной из тех строптивых деревенских женщин, которые никому не хотят подчиняться. Обладала она характером упрямым, непокорливым и даже заносчивым. Но вот чего не было в ней, так это вольнолюбия души. Даже намек на это свойство не наблюдалось в ней. Она при всей непокорливости и строптивости должна была непременно кому-то служить, словно бы это завещано было от Бога, и противиться этому она никак не могла.

Но не просто служить хотела она, отдавая свой труд на общее дело народа, а служить людям богатым, образованным, имеющим право проявить свою власть над ней, коли уж очень она раскипятится в злости и душевной вольнице. И если она попадала вольно или невольно под эту верховную для себя власть, то собственная ее жизнь казалась ей устроенной. Она успокаивалась, зная, что завтра не пропадет, не останется без куска хлеба, не окажется выброшенной на улицу.

Каким-то звериным инстинктом она сразу же, с одного взгляда, постигала возможности своих хозяев, их власть над собой, и тут же начинала проявлять свойства своей непокорливой природы, по каким-то неясным для нее самой причинам зная, что именно так, а не иначе нужно было себя вести в этих обстоятельствах.

Пелагея ощущала себя совершенно свободной от этой власти над собой и была, кажется, счастлива. Пока Темляковы, ее хозяева, не потеряли в ее глазах право на власть. Она почувствовала вдруг себя неустроенной в расширившемся, потерявшем всякие пределы пространстве собственной жизни, над которой уже не довлела власть этих хорошо обеспеченных в недавнем прошлом людей, утративших не только над ней свою власть, но лишенных вообще всех прав и привилегий, какими они пользовались, услаждая самолюбие Пелагеи. Она вдруг инстинктивно ощутила потребность настоящего бунта, потому что не хотела и не могла служить и подчиняться абы кому.

Сначала она, женщина незамужняя, возвращаясь из деревни, куда ездила за продуктами, бунтовала против революции и всех беспорядков, которые пришли вместе с ней, рассказывала со злыми слезами на глазах:

— Революция-то эта как? Один дьявол придумал, а другой перенял... Вот и

пошло, и пошло. Вот какие-то уполномоченные приедут... Раскулачивать! — восклицала она, нажимая на букву «а», которую произносила с такой злобой и презрением, что звук этот ахающим стоном вылетал у нее из глотки. — А у мужика одного, у Степана Николаевича, два сына грамотных, две дочери... Две коровы держал, две лошади. Отобрали. Налог наложили, а денег нету. Стол, тарелки всякие отобрали... Продадут стол, а сколько он стоит? Рубль или копейки какие — стол-то мужицкой работы. Бедняки покупали. А потом опять уполномоченные. Что ж это за звери такие! У бедняков уж эти столы отбирали. Отберут, а покупать уж некому. Вот стащут столы да тарелки, в овраг побросают и сожгут. Ничего не оставили в деревне... Банда эта уполномоченная! Один мужик... глупый мужик-то, неграмотный... Вот он и говорит на сходке: а что мне, зачем мне революция, я неграмотный, мне что при царе работать, что теперь — все одно работа. А этот... как его, — захлебывалась Пелагея, — выходит, прицелился... тра-ах! — и тот упал. Вот как кровь льется невинная! Вот какая она, революция-то! А другой нету...

Своими рассказами, услышанными в деревне, она пугала до смерти своих хозяев и злила их. Словно была Пелагея заговорщицей. Они покрикивали на нее злым шепотом, заставляя молчать. Лица их были в эти минуты искажены страхом, они пугливо озирались, как если бы за стенами темного, едва освещенного дома притаились люди, а у них уши, уши, уши...

Темляковы даже спорили с ней, не веря в ее рассказы, уверяли ее, что революция была необходима в России, что все культурные люди ждали ее, потому что Россия без нее не могла дальше развиваться, и что жертвы неизбежны, когда такие события происходят в стране.

— Люди справедливости хотят, Паша! Неужели это тебе не ясно? — терпеливо втолковывала ей хозяйка, очень огорчаясь, когда Пелагея, озлобленная и неукротимая в ненависти к революции, отмахивалась от нее.

— Ага! Справедливости! — словно бы шипящими глазами ненавистно глядя на хозяйку, вскрикивала она. — А баба завыла, как увидела мужика-то своего убитого... Схватила детишек троих: стрельни и меня, паразит! все равно нет ничего, от голода подышать все равно! Справедливость, да? Справедливость...

Дмитрий Илларионович Темляков, который словно бы навсегда онемел после революции, покашливая, уходил от греха подальше, оставляя жену с этой взбесившейся бабой. Его сутулая спина вздрагивала от кашля, и казалось — он плакал.

Он сделался покорным и неприхотливым, забыв о своих капризах и властолюбии. Тихой тенью ходил по дому, останавливаясь перед какой-нибудь картиной в золоченой раме, особенно часто перед натюрмортом, висевшим в столовой: виноград в серебряной вазе, золотистое вино в хрустальном бокале и рассыпанные по скатерти персики, писанные маслом неизвестным художником. Полотно было не очень туго натянуто и в середине картины выпучивалось. Дмитрий Илларионович, в тупой задумчивости созерцая подрумяненные персики, покрытые бархатистой дымкой, или поблескивающие самоцветами ягоды винограда, уходя взглядом во мглу темно-зеленого фона, из которой объемно выпирал пошлый натюрморт, написанный на вспученном полотне, начинал поглаживать прямыми своими волосатыми пальцами эти персики, и этот виноград в серебре, и зеленую тьму, вминая податливую вспученность полотна, точно хотел удостовериться лишний раз, что все это нарисовано, написано разноцветными красками.

— Хорошая, — говорил он равнодушно, — картина... Теперь не умеют...

— Где уж, — откликнулась ему жена.

— Ты скажи Пелагее, чтоб не забывала... Видишь — пыль.

И он показывал жене желтые подушечки пальцев с едва заметным серым налетом.

— А как же, — откликнулась жена. — Скажу, конечно.

Этим притихшим, смирившимся людям, еще недавно устанавливавшим для нее пределы воли, Пелагея уже не могла и не хотела служить, как прежде. Она лишь по привычке терпела их, возмущенная больше, чем они, тем разгромом, который царил вокруг, ухаживала за ними, как за наказанными детьми, и,

чувствуя свою не обузданную ничем волю, очень тяжело переживала разрушение былых, изначально священных для нее границ.

А потому и ненавидела революцию. Она теперь не знала, как проявлять ей свой характер, в каких пределах бунтовать. С тревогой понимала теперь, что не видит тех дозволенных границ, в черте которых она всегда чувствовала себя свободной. Пропала ее связь с хозяевами. Та свобода, которая теперь была предоставлена ей, была для нее хуже неволи. Она панически боялась теперь ничего не бояться. Раньше она знала, что свобода действий дана ей хозяином отсель и досель. А теперь ей словно бы ничего не было дано, потому что она не видела, не осязала, не знала в лицо того, кто ей может эту свободу дать, того физически объемного тела, другого хозяина, который раз и навсегда сказал бы ей: это можно делать, а этого никак нельзя. А потому душа ее, не знавшая никогда вольнолюбивых чувств, очень страдала. Пелагея готова была медведицей вздыбиться на каждого, кто посягнул на ее хозяев, утративших право властвовать над ней и в своем бесправии не способных очертить тот круг, внутри которого ей дозволено было бунтовать.

Была нарушена гармония ее жизни, пропали радости побед над хозяйкой, ушли в прошлое переживания от обиды, нанесенной ей хозяйкой, перестали волновать мстительные чувства, какие она испытывала всегда, сердясь на хозяйку, не мытьем, так катаньем добиваясь от нее заигрыванья с ней, что приносило чувство глубочайшего удовлетворения.

Теперь хозяева только раздражали ее. Она не умела и не хотела так жить. Ей нужны были властные хозяева, которым она могла бы не подчиняться, чтобы опять обрести гармонический покой души.

Сама Пелагея не понимала всех этих душевных процессов, какие происходили в ней, не понимали этого и ее хозяева, живя по-прежнему привычным симбиозом под крышей разоренного дома, в который вселились чужие люди.

Рассудительная и не по годам печально-взрослая шестилетняя дочь новых жильцов Соня ходила, плотно сложив руки на груди, по проходному дворику, внимательно изучая землю под ногами, кое-где торчащие кучечки травы, что-то поддевала носочком сандалии, приглядывалась, поднимала какое-нибудь стеклышко с земли, разглядывала его и, вздохнув, бросала, с брезгливостью отряхивая длинные пальчики. И опять складывала руки на груди, словно зябко запахивалась ими, как полами пальто. В глазах ее, больших и удивительно серых, дымчатых, глядящих на мир с осторожностью молочного котенка, жалобно ныла ненасытная библейская тоска. Она с недетским страданием оглядывала вытоптаный дворик, спешащих прохожих и маленьких детей, игравших в бурьяне на пустыре. Дети что-то ловили в зарослях крахмалистой лебеды, разглядывали... Это «что-то» дергалось у них в руках, вытягивало длинные ноги со струнно натянутыми перепончатыми лапками, блестело глазами. То были маленькие лягушата, только что освободившиеся от хвоста и покинувшие канаву, наполненную цветущей водой, обитель их канувшей в прошлое подводной жизни. Все, что успела узнать девочка к шести годам, знала она назубок и была убеждена в непререкаемости этих знаний, по которым она как по ступеням поднималась к будущим своим открытиям, проверяя всякий раз надежность предыдущей ступени. Она с одинаковым равнодушием и назидательной интонацией в голосе разговаривала с детьми и со взрослыми, пробуждая в каждом некое несогласие и желание оспорить ее, хотя она всегда высказывала только бесспорные истины.

— Ты что это делаешь такое? — тоном взбучки начинала она свою нотацию. — Разве можно ловить лягушат? Папа сказал, что лягушки очень полезные, они уничтожают комаров. Будешь ловить лягушек — комары съедят нас.

Ежилась, как на ветру, запахивалась покрепче сложенными руками, цепко обхватывала пальчиками локти и долго, внимательно, без всякого интереса разглядывала своего ровесника с лягушонком. Глаза ее выражали надменное равнодушие к непослушному мальчику и к лягушонку, который вырывался из его рук. Казалось, все они тут были противны ей, дети и лягушата, хотя она и знала, что лягушки для людей полезны в отличие от грязных детей, особенно если они не соглашались с ней.

— Нет, это не все равно, — выговаривала она, не замечая при этом, что вместо «в» произносит фыркающее «ф», словно язык ее был великоват для губастенького рта. — Ты мне больше не говори об этом никогда, — заключала Соня свою обвинительную речь. — Если я еще услышу, я никогда не буду с тобой играть. Ты понял меня, скажи мне, пожалуйста?

Угрозу никогда не играть с детьми она произносила с такой убежденностью в действительной ее силе, что это настораживало ребят. Они, еще даже не зная, откуда взялась незнакомая девочка, задумывались на мгновение, словно их пугало вдруг, что эта девочка не будет с ними играть, и прекращали мучить лягушек. Соня принимала это как должное, печально устремляя свои близко посаженные дымчатые глаза на ребят. Пухлые губки ее оставались полураскрытыми. Косолапящие ноги в сандалиях, прочно держащие крупную девочку на земле, начинали подрагивать в коленках. Соня потихонечку раскачивалась взад-вперед, как будто ей скучно и тоскливо было смотреть на ребят, не зная, что бы еще такое сказать им, чему бы еще научить полезному. Она о чем-то думала в этом плавном раскачивании, а ребята смотрели на нее и в пугливо-радостном удивлении ждали. Соня зябко сутулилась, шевеля своими белесыми бровками, точно испытывала тяжесть от непосильной нагрузки учить детей, выпавшей на ее долю в столь раннем возрасте.

— Папа мой сказал, — говорила задумчивая девочка, — что в этом году будет дождливая осень. Я не знаю, конечно, почему он так сказал, но он, наверное, не ошибается.

Ее отец, сероглазый, рано поседевший красивый мужчина лет тридцати, казалось, пришел на московскую землю прямо из библейских долин. Он с каждым днем все чаще и чаще выдавливал для Темляковых струящуюся, сияющую зубами улыбку, морща глаза и щеки, влажную, исполненную вечной какой-то вины и подобострастия. Темляковым даже чудилось, что улыбкой своей он игриво просил у них прощения. Но было в этой улыбке что-то опасное, как если бы он, улыбаясь, исподтишка вглядывался из-под этой ласковой и виноватой маски в вечного своего обидчика, и язык уже готов был измолотить его бранью, точно древний Иерусалим, душа и смысл его жизни, оболганный язычниками, опять подвергся осквернению и печали. Соня обожала отца.

Глаза ее, равнодушно разглядывающие неинтересного мальчика или девочку, вдруг оживали в тихой радости, распахивались по-птичьи: ни зрачка, ни белка — одно лишь пушистое серое облачко заполняло пространство под длинными ресницами. Вся вялость тела исчезала бесследно, ноги напрягались, Сонечка срывалась с места и косолапо летела, громко хлопая сандалиями по земле, навстречу отцу, который входил через калитку, возвращаясь с работы.

Отец, завидев ее, тоже истекал весь в сморщенной, влажной, рыдающей улыбке и, распахнув руки, ловил бегущую дочь, подбрасывал ее над головой и, прижав к себе, с уханьем и гуденьем целовал в щеки.

Автомобиль, который привозил отца, оставлял в воздухе запах сожженного бензина. На отце была кожаная куртка, фуражка с замятой назад тульей, тоже остро пахнущая, такая же черная и блестящая, как автомобиль.

— Ну что, ну что?! — отрывисто спрашивал он, гнусава. — Как провела день? Чего новенького? Рассказывай, рассказывай! Ну что? Как?

— Мальчишки! — изумленно восклицала ожившая девочка. — Лягушат...

— Да, да, — перебивал ее отец. — Мальчишки... Что они натворили?

— Лягушат мучили!

Сцены эти даже Пелагею не оставляли равнодушной. Хозяйка же ее не скрывала радостных слез, видя из окна, как целует отец свою Софочку. Людей она делила на две категории: на тех, которые любят своих детей, и на тех, которые равнодушны к ним. Именно своих детей, а не чужих. Чужих любить не так уж и трудно, это любовь издалека, без боли и без забот.

Борис Михайлович Корчевский, любезный ее сосед, как она стала думать о нем, боготворил свою дочь. Значит, он очень хороший человек, достойный всяческого внимания и уважения, — тут уж сомнений никаких не могло быть, она это знала решительно.

И полюбила своих соседей, тихих, скрытных, занятых самими собою,

наслаждающихся своими скромными радостями, до которых не было никому никакого дела, нешумных и незаметных, каждый день награждавших ее улыбками. Молодая мать Сонечки, русая, с серыми выпуклыми глазами, сначала очень смущалась, выходя из своих комнат. Голова ее плотно сидела на широкой и длинной шее, во всю щеку горел румянец, словно вымахивая пламенем из-под ворота, ожигая уши и даже глаза, которые слезились как в дыму. Но скоро и она привыкла к Темляковым, хотя навсегда осталась молчаливой с ними, неразговорчивой, отвечая на вопросы их односложно — да или нет, выражая свое отношение к ним не словами, до которых была она не охотница, а скорее улыбкой или пожатием плеча, наклоном головы или взмахом русых бровей. Звали ее Ревеккой. Итак, Темляковы были очень довольны своими жильцами.

А Пелагея бесконечно удивлялась, отчего это у всех у них такие дымчато-серые, с голубизной глаза и светлые волосы; куда же, Господи боже мой, подевалась смолистая чернота, в которую окрашены волосы и глаза всех остальных братьев их и сестер? Очень странным явлением природы, редчайшим исключением из правил казалось это ей. Она частенько приговаривала, если что-то хорошее хотела сказать о скромном семействе:

— Голубоглазенькие, светленькие, а почему-то евреи. Какие же они евреи? Они и на евреев-то совсем не похожи.

И при этом с подозрительностью поглядывала на Темляковых, обнаруживая, что они куда больше, чем семейство тихих Корчевских, смахивали на евреев. Она и не догадывалась, говоря эти ласковые слова про Бориса Михайловича, Рику и Софочку, что ничего более оскорбительного не могли бы услышать Корчевские, чем это великодушное, по соображению Пелагеи, отлучение от еврейства и признание в них русскости, которая как бы делала их нормальными людьми, достойными уважения и любви. Однажды Борис Михайлович случайно увидел в темном чулане темляковского дома велосипедное колесо и, увидев, с удивленным придыханием в голосе пропел:

— Это что же? Этого не может быть! — Глаза его задымились в сладчайшей улыбке, морщинки вспыхнули и разбежались по зябкой коже, словно она покрылась мурашками. — Неужели велосипед? Не сдали?

— Ах, Борис Михайлович! — воскликнула Темлякова. — Да какой же это... Ах, Господи!

— Что? Что? Как какой же? Пойдите, пойдите! — И он решительно взялся за колесо, вытянул его из хлама, поднял, ощупывая дряблую резину и заржавевшие спицы. — Колесо от велосипеда! Где же он сам?

Темлякова была крайне смущена, точно ее поймали с поличным.

— Ну какой велосипед! — сказала она. — Дети... они сломали... Разве это велосипед? Помилуйте, Борис Михайлович! Это какие-то археологические руины... — Силы покинули ее, она почувствовала, что сейчас потеряет сознание, и, шаря позади себя рукой, нащупала край сундука, опустила на него и безжизненным голосом произнесла, как если бы ее пытали: — Был велосипед... Сыновья вокруг дома... Дочери... Потом кто-то, не помню, со всего размаху... И он — вот. Был велосипед. Дети...

— Да где же он? Это же мечта всей моей жизни! — вскричал возбужденный, ничего не замечающий вокруг себя Борис Михайлович, обнимающий колесо, как штурвал. — Мне бы только увидеть! А если он сломан, я почию! Уверю вас, я понимаю толк! Я не испорчу, нет!

— Борис Михайлович! — с облегчением проговорила Темлякова. — Ах, Борис Михайлович! Разве можно! Я чуть не умерла от страха... Мы теперь всего боимся... Нам кажется... Мы всего, всего боимся...

— Что? Я ничего не понимаю! Рика! — закричал Борис Михайлович. — Ты посмотри, какое чудо! Велосипед!

Он наконец-то увидел во тьме чулана на дальней стене, под потолком черную раму большого велосипеда, передняя вилка которого, освобожденная от колеса, бодливо вздыбилась над тряпичным и деревянным скарбом бывших хозяев дома, над мраморным рукомошкой, над медными тазами, разошедшимися стульями, над ломберным столиком, зеленое сукно которого приютило на своей площадке кастрюли и рваный оранжевый абажур, висевший когда-то в столовой.

— Вы возьмите, — прошептала сквозь слезы Темлякова.

— Велосипед! — блеющим голосом твердил Борис Михайлович, залезая на столик и гремя кастрюлями. — Настоящий большой велосипед! Как же можно?! Скрывать такое чудо! Как можно! Все равно что запрятать в тюрьму... Нет, я не могу поверить! — говорил и говорил он, снимая со стены грохочущий велосипед. — Рика, прими, пожалуйста! Осторожнее, осторожнее... Так. Бастилия. Свободу узнику! Ура! Да здравствует прогресс! Рика, держи, я сейчас!

Темлякова, поднявшись с сундука, прижалась к стене и в слезливом умилении судорожно тянулась руками к велосипеду, который плыл, покачиваясь, над лампом, словно она тоже хотела помочь этому в самом деле похожему на узника железному счастью. Она тоже, как и Борис Михайлович, радовалась, что замурованный во тьме калека может еще пригодиться кому-нибудь, хотя и не верила, будто бы его можно излечить и вернуть к жизни.

— У него что-то смято... что-то сломалось, — говорила она виновато. — Я не помню что, но помню, что починить нельзя... Нет, я не помню. Мне так неудобно, неловко! Мне будет стыдно, если вы не сумеете ничего поправить. Такая рухлядь, боже! Борис Михайлович, Рика, право, не обольщайтесь! Прошу вас, не обольщайтесь, мне будет очень совестно. Вы так радуетесь... Мне просто стыдно за эту рухлядь.

Но радость распирала и ее грудь. Она чувствовала себя так, словно наконец-то пригодилась кому-то, кто-то понял наконец, ощутил на себе всю глубину ее доброты и любви к людям, о которой до сих пор никто не догадывался.

— Ах, Борис Михайлович, — говорила она, всплескивая руками. — Вы весь перепачкались! Мне так стыдно! Он такой пыльный, не протертый... Тут такой лам, такая пыль! Руки не доходят...

Но Борис Михайлович уже не слышал ее. Бледный и возбужденный, он жадно разглядывал на свету цепь велосипеда, скованную запекшейся ржавчиной шестерню, дергал педали, нажимал на язычок звонка, который тоже заржавел, но все же издал хриплый звук, похожий на тихий стрекот сверчка. Когда Борис Михайлович услышал этот глухой звон, глаза его осветились священным и трепетным восторгом, лицо сморщилось в счастливой улыбке, зубы оскalisiлись, он восторженным взглядом обвел Рику и Темлякову, будто услышал зов боевой трубы, и похолодел в мгновенной отрешенности от житейских будней.

— Вот! — сказал он торжественно. — Бастилия рухнула! Колесо истории повернулось. Его ждет, — кивнул он на черный и тусклый, как старый зонтик, велосипед, — ветер странствий. Порукой тому я! Доверьте его мне, — обратился он к Темляковой. — Я не только велосипеды, я безжизненные часы возвращал когда-то к жизни.

— Господи, Борис Михайлович! — взмолилась польщенная до дурноты Темлякова. — Он ваш! Мы хотели сдать его в утиль. Мне совестно, но... простите, если он окажется ни на что не годным... Мне так стыдно!

— Что вы, что вы! Я же вижу! Этот велосипед германской фирмы! Вот, видите? Что там? Ах, не разобрать... Но это отчистим, это потом. Что вы! Я не могу принять такой подарок, хотя, признаюсь, тронут! Но такое чудо в утиль! Это уж извините! Я готов сам заплатить.

— Борис Михайлович, — плаксиво откликнулась Темлякова, — не обижайте... Я буду счастлива, если увижу вас в седле. Но дай вам Бог справиться с ним. Черные дни моей жизни. Ах, вы не поймете! Я так страдала, когда дети ездили на нем.

Не было предела тому восхищению и той благодарности, с какими Борис Михайлович принял от Темляковой небывалый в его жизни подарок.

— Это же мечта! — говорил он, прикладывая руки к сердцу. — Нет, вы не знаете, нет... Это так.

— Да, — полыхая румянцем, подтверждала молчаливая Рика и кивала, тая в смущенной улыбке.

Все были счастливы в этот по-зимнему холодный еще, хотя и солнечно-голубой день марта. Одна лишь Соня, косолапо вмерзнув в холодный паркет, казалось, была сонливо-задумчива и пасмурна; пересохшие от волнения губы ее

были приоткрыты; верхние веки приспущены, глаза мутны, как пасмурное небо; из-под стиснутых крыльев носа было слышно тихое сопенье, будто Соня крепко спала, разглядывая огромные колеса в пугающем, странноватом сне, когда небывалые и ни на что не похожие чудовища мерещатся во тьме.

Она вдруг очнулась и быстренько выпалила:

— Я почему-то не люблю этот велосипед... Я не понимаю его совсем.

Это рассмешило Бориса Михайловича, Рику и Темлякову, а Соня, не спуская глаз с черной рамы и хромированных крыльев, опять погрузилась со вздохом во тьму неясных своих раздумий, приопустив отяжелевшие веки на серую яшму глаз. В доме с тех пор запахло керосином и машинным маслом. Дмитрий Илларионович останавливался теперь в коридоре, приносивался и, поводя головой, шумно втягивал воздух чутким своим носом.

— Керосином пахнет, — говорил он жене.

Она кивала ему, соглашаясь.

— Керосином пахнет, — повторял он громче. — Кто-то разлил керосин. Это опасно. Может случиться пожар. Керосином пахнет! Надо сказать Пелагее.

Он никак не мог привыкнуть, что в доме его живут теперь посторонние люди. Останавливался и, удивленно поднимая плечи, смотрел им вслед, будто не мог никак понять, что за люди вышли из столовой и что им нужно было там, куда даже ему, Темлякову, был заказан путь.

— Ах, да, да, — бормотал он. — Да, да, разумеется. — И покачивал головой, улыбаясь. — Совсем уж...

Странная привязанность Темляковых к Корчевским приняла со временем такие размеры, что даже собаку, которая прибежала однажды за Борисом Михайловичем, вернувшимся с прогулки на велосипеде, они сумели вопреки своим правилам приласкать и приютить в доме.

Дворняга смотрела на мир страдальчески-мудрыми глазами и, одетая в волнистую шерсть, будто в белое куриное перо, ласково помахивала хвостом. Была она безмерно преданна обитателям дома, каждому из богов, которые круто изменили ее голодную, бродячую, полную унижений и забитости жизнь. Глаза порой светились благодарностью, розовый, как пятячок у молочного поросенка, нос тыкался в руки, выражая полное доверие и покорность.

Со временем Темляковы так привыкли к беспородному умному Бобику, что уже и представить не могли себе утра или вечера без его радостного взгляда и розовой прохлады поросычьего носа. «Собака Корчевских», как называли ее Темляковы, стала для них как бы еще одним подходом к сердечным соседям, эдакой лазеечкой к ним, предметом для общения и разговора.

— Сегодня у Бобика, — говорила стареющая Темлякова, с вежливой улыбкой поглядывая на собаку, — проявился еще один талант. Софочка потеряла платок, я ему сказала: «Ищи» — и он нашел! Он сразу все хорошо понял и нашел платок на пустыре. — Глаза ее, как и глаза собаки, знающей, что люди говорят о ней, поблескивали радостным умилением. Она видела, что Корчевским этот талант Бобика пришелся по душе. — Удивительный пес! Все-таки дворняжки самые умные собаки, — добавляла она, утверждаясь, таким образом, в глазах Корчевских в дружеском расположении к ним.

Темляковы теперь жили словно бы под добрым покровительством Бориса Михайловича Корчевского, который, занимая начальственное кресло в сложной и непонятной Темляковым пирамиде новой власти, являлся в то же время их любезным соседом и благоволил к ним. Они даже гордились, что Борис Михайлович часто приезжает домой на легковом автомобиле, будто имели к этому автомобилю тоже некое косвенное отношение. Такой простой дома и важный в автомобиле и уж, конечно, в служебном кабинете, сосед их придавал им уверенности, и они, лишенные многих прав, чувствовали себя рядом с ним защищенными от произвола.

Бывший дом Темляковых с годами ветшал, штукатурка трескалась, обваливалась, обнажая дранку и клочья пакли, водосточные трубы дырявились ржавчиной, стены в дождливую погоду отсыревали, краска тускнела и покрывалась, как солью, каменной плесенью, болезненными лишаями, потолки протекали, а

полы в доме, застланные дубовым паркетом, стали со временем бугриться, теряя былую чистоту и плотность, и стали заваливаться в сторону фасадных окон, словно дом, некогда прочный и строгий в горизонталях и вертикалях, покосился, наклонившись к улице, как брошенное воронье гнездо.

Темляковы ждали, что Корчевские где-то там, наверху, потребуют срочного ремонта, но годы шли, а домоуправление лишь латало крышу, водосточные трубы, наспех замазывало обнажившуюся дранку известкой, красило стены охрой, покрывая яичной желтизной и лепные вставки над окнами.

Однако наступил для них очень печальный день: Темляковы узнали, что Корчевские покидают их, переезжая в квартиру со всеми удобствами в доме на Рождественском бульваре. Ослабевшая от тяжелой сердечной болезни Темлякова плакала по ночам, с ужасом представляя себе картину нового разрушения того жизненного уклада, к которому она уже привыкла.

Но самым сильным ударом, который она не перенесла и слегла в постель, было известие, что Пелагея уезжает с Корчевскими, которые втайне от Темляковых переманили ее, уговорив ехать вместе с ними в новый дом.

Седая, черноглазая, как белая куропатка, Темлякова не узнала Пелагею, когда та сообщила ей эту новость. Перед ней стояло враждебное, мрачное и жестокое существо в образе Паши и своими словами вколачивало и вколачивало гвоздь в ее грудь.

Пелагея проклинала жизнь в темляковском доме, мстительно выкрикивала, что здесь была погублена ее молодость, что она ничего, кроме кухни и ночных горшков, не видела в своей жизни. Кричала все это с мраком в медвежьих глазах, с той беспощадностью бунтующей бабы, которой нечего терять, ибо нашла она себе настоящих хозяев, обладавших нужной для ее укращения силой и способных защитить ее при случае.

Темлякова так и не смогла оправиться после предательства Пелагеи. Предчувствие смерти поселилось в душе слабеющей день ото дня женщины. Ей не хотелось жить, и она стала со вздохом и горестной улыбкой звать свою смерть, вслух уговаривая себя, что в смерти нет ничего страшного, что она, как сон, унесет ее из жизни. И смерть наконец-то услышала ее.

Перед кончиной, которая случилась в теплый весенний день, пронизанный щебетом и чириканьем воробьев, к Темляковой, лежащей перед открытым окном, неожиданно-негаданно пришла Пелагея и, безумовато озираясь, плача, упала на колени, уткнулась мокрым лицом в одеяло, накрывавшее истаявшее тело умирающей, разрыдалась и воющим ревом стала рассказывать, что Бориса Михайловича арестовали, квартиру опечатали, а Рику с Сонечкой переселили в полуподвальную комнату на Трубной, сырую и темную, как земляная яма. Пелагея, теряя силы, повалилась на пол и стала биться в истерике, охая и стона, как над свежей могилой.

Темлякова с трудом нащупала ее горячую голову, положила руку на скользкие волосы, впервые в жизни ощутив жесткую черепную кость Паши, улыбка скорбно тронула куропаточье ее личико, опущенное снежной белизной, темные глаза закрылись в знак сочувствия, и в желтых ямочках навернулись слюдянисто-тонкие слезинки, будто она в отчаянии выдавила для Пелагеи две эти прощальные капельки — все, чем могла утешить свою блудную прислугу. И прошептала со стоном:

— Жили бы у нас, пронесло... Дал бы Бог! Пронесло...

После смерти хозяйки Пелагея навсегда уехала в деревню и там умерла на глазах у Василия Дмитриевича Темлякова: ей было легче, наверное, расстаться с жизнью, когда кто-то из Темляковых видел ее уход, искупивший грех ее измены.

(Окончание следует)

АНДРЕЙ КРЫЖАНОВСКИЙ

*

ОДИН ИЗ МНОГИХ

* *
*

Брат я кому, и двоюродный даже — кому?
Как же товарищи вдруг да окажутся братья —
в Боге, в душе? — только я отрицаю саму
эту идею, не веря в успех предприятия,
ибо, представив себе, что придет побратим
(о, всего лишь по духу!),

чтоб уврачевать этот минус,
я решил: не поверю ему, даже самым святым
убеждениям его,

я,

отдельность и частность, один из...

И позвольте считать, что сто раз устарел реквизит
знаменитой соборности, общего дела, а что до
пресловутого братства,

то что мне добавить велит:

— Если я и «один из», то только один из народа.
Для меня эта родина, может быть, именно двор
(попрошу не смеяться — арбатский!), и праздничный шарик
над столом, и окошко, откуда был виден забор,
а когда повезет, то на башне кремлевской фонарик...

* *
*

Он из демонстраций, из пышущих алым колонн
из праздничных выкриков, этих «да здравствует некто!» —
а кто, и не важно, пусть имя сглотнул мегафон,
как уст без улыбки, не любят речей без дефекта.

Он — хочешь не хочешь, а правнук лихих комиссарш,
восторженный мальчик, рожденный под всеми вождями
при взрывах салюта и под несмолкаемый марш,
с которым над миром летит пролетарское знамя.

Да кто же упустит возможность не быть вне игры,
когда над ликующей улицей веют флюиды,
дающие право не знать о наличие дыры
из царства свободы в печальное царство Аида.

Он — хочешь не хочешь — один из твоих двойников,
готовый на все ради мирных предпраздничных сценок,
подобных уборке в квартире и мойке полов
синхронно со всеми — так как же его за бесценок?

Да пусто ли место, где были портрет и кумач, —
спросите любого, он скажет, что ищет опоры.
Сюда, мой Мальчиш-Кибальчиш, наш и врач, и палач,
и, как выясняется, общей телеги рессора.

А он и готов поддержать затухающий жар,
с которым бросался на гибель при вопле «по коням!».
О чем говорить, если в каждом сидит коммунар?
Кого мы хороним, и, кажется, рано хороним?

* *
*

Разбитую чашку не склеить никак:
ни тцаньем, ни соком волшебным, ни словом —
я полный набор потребительских благ
отдам за ночлег под родительским кровом,
и, блудный, но смывший растраты и блуд,
не смывший, так просто прощенный в припадке
родительской нежности, я бы за труд
не счел уместиться на детской кровати,
и чтоб меня елка с обмякшей хвоей
держала бы целую ночь под гипнозом,
внушая, что тесные мир и покой
дарованы небом и Дедом Морозом,
и пусть под подушку мне сунут мечту,
огромней случившейся в жизни отсрочки,
о том, что я все это перерасту
и выйду на свет, как царевич из бочки...



ВЛАДИМИР ЛОБАС

*

ЖЕЛТЫЕ КОРОЛИ

Записки нью-йоркского таксиста

Товарищам моим — белым и черным, американцам и эмигрантам, из России и Израиля, из Греции и Кореи, арабам, китайцам, полякам и всем прочим таксистам города Нью-Йорк в знак глубокого уважения к их нечеловеческому труду эту горькую книгу посвящаю.

Водитель № 320718.

Часть первая

ТРИСТА ТЫСЯЧ МИЛЬ ТОМУ НАЗАД

Я никогда не знал бы многого из того, что я знаю и половины чего достаточно, чтобы отравить навсегда несколько человеческих жизней, если бы мне не пришлось сделаться шофером такси...

Из книги «Ночные дороги» Гайто Газданова, белогвардейского офицера, который в годы первой эмиграции стал таксистом в Париже.

Глава 1. ЕЩЕ ВЧЕРА ВПОЛНЕ ПРИЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Представьте себе, дорогой читатель, что вы прилетели в Нью-Йорк и остановились в одном из отелей, глядящем окнами на Центральный парк. На следующее утро, выйдя из отеля, вы вдохнули полной грудью очищенный зеленью парка воздух, взглянули на часы и — пора было начинать хлопотливый нью-йоркский день — направились к первому из таксомоторов, выстроившихся вереницей у подъезда.

Несколько странным вам показалось, что водители двух головных машин таксистской очереди находились не там, где им полагалось бы — за баранкой, а, подпирая спинами стену отеля, о чем-то болтали, на пассажира, заглядывавшего в окна кэбов, внимания не обращали, и выглядело это так, будто они оба вообще никуда не собираются ехать. Выждав минуту и поняв, что беседа таксистов может длиться бесконечно, вы решились наконец прервать этот милый тет-а-тет и спросили:

— Ну, ребята, кто из вас отвезет меня?

— Мой кэб занят, — чуть поморщившись, отвечал один из водителей.

— Разве вы не видите, что мы разговариваем? — с режущим слух акцентом сказал второй и при этом покачал головой, сетуя на всеобщую невоспитанность.

Чтобы избежать препирательств, вы шагнули было к третьей машине, но едва потянулись открыть дверцу, как водитель, находившийся там, где ему и положено, защелкнул автоматический замок. Несуразный бойкот этот был тем более оскорбителен, что невозможно было понять, чем, собственно, он вызван. Остановив пробогавшее мимо такси, вы постарались как можно скорей забыть о случившемся. Но несколько часов спустя, перед вечером, когда, переодевшись, об руку с благоухающей женой вы снова вышли из отеля, непристойная сцена повторилась. Было время пик, в потоке машин свободное такси все никак не попадалось, а у подъезда стоял лишь один-единственный

Журнальный вариант.

© Владимир Лобас. 1991. Публикуется с разрешения агентства Фифи Оскард. 19 вест 44 улица. Нью-Йорк, Нью-Йорк 10036.

желтый кэб. Неопрятный субъект с помутневшим то ли от пива, то ли от безделья взглядом сидел на капоте и болтал ногами.

— Дружище, сделайте одолжение, — в два голоса с супругой, едва ли не заискивая, обратились вы к нему, — отвезите нас в ресторан. Это совсем недалеко, а мы будем вам очень признательны...

Туповатый таксист, однако, не понял намека. Он с натугой подавил зевок и, проморгавшись, сказал:

— Нет, мистер, я никуда не поеду. Я — отдыхаю.

Швейцар отвернулся: ему, наверно, было стыдно наблюдать эдакое измывательство над гостями престижного отеля. Пришлось повысить голос, окликнуть швейцара, и тот, надо сказать, живо навел порядок: развязный кэбби в два счета оказался за рулем! Но, Бог ты мой, до чего это неприятно, когда везет вас обозленный шоферюга, который все бурчит и бурчит что-то себе под нос, гримасничает и вам назло резко тормозит на перекрестках... Притихнув на заднем сиденье, вы молча разглядываете плешивый затылок над несвежим воротничком и — в зеркало заднего вида — обрюзгшие, небритые щеки. К счастью, поездка длится лишь несколько минут, и, когда кэб останавливается, счетчик показывает 1.80. Инцидент исчерпан; водителю протянуты две долларо-вые бумажки и сказано, что сдачу он может оставить себе.

— Зачем ты это делаешь? — в сердцах, поскольку грубиян угрюмо молчал, сказала жена.

— А ведь и в самом деле, — вслух согласились вы с замечанием жены, — вам, водитель, наверно, следует что-то сказать, если после всего я дал вам десять процентов на чай...

— При чем здесь какие-то проценты? — ощерился кэбби. — Вы хотели оставить мне меньше, чем квотер. Заберите свои деньги!

Английскую речь он коверкал; рука еле сдержалась, чтобы не хлопнуть дверцей.

А назавтра, когда вы с женой покидали Нью-Йорк, у отеля произошло чудо. Не успели вы спуститься по ступенькам подъезда, как один из дремавших в очереди таксистов, заметив пассажиров, нажал на гудок; другой, похожий, кстати, на вчерашнего, бросился им навстречу и буквально выхватил из рук чемодан, а третий, юркий такой, опередив швейцара, услужливо распахнул дверцу.

Вы только переглянулись с женой, еле сдержавшейся, чтобы не расхохотаться. Но каково же было ваше изумление, когда вы своими глазами — не может же такое померещиться — увидели, как кэбби (определенно тот самый, вчерашний!), захлопнув багажник, подскочил к швейцару и сунул ему ассигнацию. Да, да: он вместо уезжавших уплатил чаевые!..

— Аэропорт Кеннеди! — не слишком любезно бросили вы, не забыв давешних сцен.

— Слушаюсь, сэр! — бойко откликнулся жлоб, и кэб рванулся к переключаемому свету-фору.

А теперь, если вас интересует, откуда, да еще с такими подробностями, известно мне о том, что произошло между какой-то заезжей четой и таксистами перед входом в отель и в машине, и даже о нелепых пререканиях по поводу двадцати центов, оставленных на чай, я откроюсь: плешивый жлоб с небритыми щеками и мутным взглядом — это я...

Каждое утро, проснувшись в своей квартире на девятнадцатом этаже дома, расположенного через дорогу от океана, в Бруклине, я первым делом выглядываю в окно, чтобы проверить, стоит ли мой кэб там, где я поставил его с вечера. Машину эту, которую я арендую и за которую отвечаю головой, слава Богу, ни разу не угоняли, но автомобили в Нью-Йорке воруют до того часто, что у меня выработался такой вот рефлекс...

Убедившись, что украшенный пилоткой рекламы чекер стоит на месте, и тихонько прикрыв дверь в спальню, где спит жена, и другую дверь — в спальню сына, мимо ставшего с недавних пор не нужным кабинета я направляюсь в ванную. Накануне я вернулся с работы поздно, вымученный, и потому левая рука моя дрожит даже сейчас, после сна, и, чтобы донести пригоршню воды до лица, мне приходится как-то изловчиться. Впрочем, я к этому привык, приспособился и, умываясь, вспоминаю, что вчера, когда парковался перед домом, видел в нашем квартале только два желтых кэба, а сейчас, когда выглядывал в окно, заметил штук пять. Это машины моих соседей, таких же, как я, эмигрантов из России: значит, им пришлось работать до глубокой ночи и они вернулись домой еще позже, чем я.

В нашем доме, а вернее, в огромном, построенном городскими властями жилком комплексе, образованном шестью корпусами, поставленными на границе с черным районом, живет много, чуть ли не половина «русских». Их привлекает и близость океана, и близость колонии земляков на Брайтон-Бич, и, конечно же, условия контракта: за отличные, комфортабельные квартиры мы платим вдвое меньше, чем жильцы окрестных частных домов. Мы живем в раю бедняков.

Разумеется, не все желающие могут попасть в рай; поселиться в нашем комплексе имеет право

лишь семья с определенным доходом: не выше и не ниже установленных пределов. Если доход жильца повысится, то повысится и квартплата, а потому мы обязаны ежегодно подавать властям особую, заверенную нотариусом декларацию о своем финансовом положении.

Очутьившись в чужой стране, еще не научившись связать на чужом языке и двух слов, русские сразу же разобрались в самой сути американских порядков. Они поняли, что предоставляемые здесь блага — реальные, а запреты — условны. Что шкала доходов — условность. Если, записываясь в очередь на квартиру, указать в анкете не сумму своих доходов, а разрешенную шкалой ц и ф р у, все будет хорошо. Эту цифру никто не проверяет. И ежегодную декларацию тем паче не проверяют. Да и сам принцип очереди, в которой нужно ждать и два и три года, есть не что иное, как и н о с к а з а н и е, деликатный намек... Умным, понимающим что почем и умеющим быть благодарными людям чиновники предоставляют жилье без очереди. Для наших это было так просто, так естественно, ибо когда и какой еврей в Советском Союзе вселяется в квартиру без взятки?! И еще кое-кто из моих земляков, из тех, кто побойчей, посмекалистей, успел сообразить, что, получив от города квартиру, совсем не обязательно в нее перебираться. Живи там, где жил, покупай в Лонг-Айленде дом, а дешевую квартирку, накинув цену, можно сдать от себя менее расторопному эмигранту, это бизнес! И потекли русские в наши дома, вызывая к себе неприязнь старожилов.

Дети наших эмигрантов, с удивлением замечаю я, стесняются языка своих родителей: мой шестилетний приятель дергает за юбку мамашу, разговарившую со мной в лифте: «Мама, перестань! Как тебе не стыдно...» Прискакав на детскую площадку, он уселся на лавочку, оглядел исподлобья рой галдящих сверстниц и сказал со вздохом:

— Я люблю девочек...

— Почему же ты с ними не играешь?

— Они говорят: «Ты русский, ты плохой...»

— Такие невоспитанные!.. Хочешь мороженого?

— А оно кошерное?

— А что это значит?

— Кошерное — значит, очень вкусное.

Увидел у киоска размалеванную старуху и заподхалимничал, заулыбался.

— Тебе нравится эта тетя?

— Она богатая.

— А почему тебе нравится — богатая?

— Богатая — значит, очень умная.

Этот мальчик не задавал вопросов. Он знал все ответы на все вопросы. Он был сыном единственного из моих знакомых, который вскоре стал миллионером.

В этом бруклинском раю я прожил какой-то странной, призрачной жизнью более трех лет. Каждый день я покупал русскую газету. Книги, которые я читал, были изданы на Западе, но на русском языке. Мы покупали в русских магазинах выпеченный по русскому рецепту хлеб, русские сушеные грибы, русскую ветчину и русскую минеральную воду.

Раз в неделю я садился в метро и с одного крошечного пятачка, на котором протекала моя русская жизнь в Америке, через весь Нью-Йорк переезжал на другой пятачок, где в нескольких комнатах в небоскребе на Сорок второй улице размещалось учреждение, сотрудники которого тоже думали и говорили между собой по-русски, печатали на русских пишущих машинках, а на библиотечных столах громоздились кипы с о в е т с к и х газет (некоторые из них выписывались специально для меня), и здесь же я получал свой еженедельный чек на сто девяносто долларов.

Каждую пятницу ровно в десять утра я входил в специальное помещение, задрапированное от пола до потолка поглощавшими отражения звука складками ткани, закрывал за собой тяжелую звуконепроницаемую дверь, садился лицом к стеклянной, во всю стену, тоже звуконепроницаемой перегородке и ждал, когда над моей головой вспыхнет красная сигнальная лампочка. Когда она загоралась, это означало, что микрофон включен.

Одновременно высокий седой человек за стеклянной перегородкой кивал мне, я отвечал ему кивком, и тогда он нажимал на кнопку, пуская записанную на пленку звуковую заставку:

— Говорит «Радио Свобода». Сейчас вы услышите еженедельное обозрение нашего комментатора Владимира Лобаса...

Владимир Лобас — это мой литературный псевдоним, это я!..

Чтобы помешать людям слушать нас там, в России, советские города окружались сетями сверхмощных радиостанций особого назначения, которые никогда не передавали ни последних известий, ни прогнозов погоды, ни футбольных репортажей, а лишь непрерывно двадцать четыре часа в сутки транслировали вой высокочастотных генераторов: «джаз КГБ». Это была война за умы, за людские души, которая превращалась в эфире в войну западных передатчиков и советских глушилок.

Если бы всего лишь года три-четыре назад меня, самоуверенного тридцатипятилетнего киношника, чье имя время от времени мелькало в газетах, спросили бы: что конкретно толкает тебя бросить благополучную жизнь и все связанное с ней, может, и не очень значительные, но такие приятные привилегии: смотреть западные, недоступные для «простых смертных» фильмы; ездить в недоступную для прочих за границу; регулярно получать зарплату, появляясь на работе лишь иногда; оставить уютную квартиру, купленную по льготной цене в писательском кооперативе за тысячу двести рублей (за тысячу долларов!); оторвать от сердца могилы матери и выросившей меня няньки; родных, друзей, отца, — я ответил бы: вот эта красная лампочка, эта радиостанция, которая, я знал, где-то там, в далекой Америке, есть.

В этом странном, наверное, для западного человека побуждении не было между тем ничего личного, присущего именно мне. Миллионы других людей, умных и глупых, неудачников и баловней судьбы, копошившихся вместе со мной в той, советской жизни, тосковали и тоскуют о том, чтобы любой ценой, любым путем — используя туристскую путевку, гастроль, спортивные соревнования, израильскую визу, а то и ночью, под пулями, под колючей проволокой, в резиновой лодке, с аквалангом, совершенно не задумываясь о том, что ждет впереди, — лишь бы оттуда вырваться! Вот и меня постоянно, годами жгла мысль, что когда-нибудь я окажусь перед этим микрофоном и получу возможность говорить правду людям, которым — поколение за поколением — ежедневно вдалбливается в головы злокачественная ложь. И потому я не задумывался над тем, сколько денег мне будут платить и выгадаю я или прогадаю, «изменив судьбу».

Денег же, которые я зарабатывал на радиостанции, нам вполне хватало. Мы с женой ни в чем себе не отказывали: сын учился в прекрасной частной школе, за которую мы не платили ни копейки; потом он поступил в колледж и, хотя у меня не было ни знакомств, ни связей, не только учился бесплатно, но еще получал в колледже деньги на учебники и прочие расходы.

Мой отец, которому я подробно писал о нашей жизни в Америке, с некоторыми затруднениями, но все-таки переводил мои письма на советский образ мышления. Так, например, он не удивлялся, что студенту платят стипендию. Однако когда я написал ему, что мать моей жены, которая эмигрировала вместе с нами, получает пенсию и снимает отдельную квартиру, папа рассердился и в ответном письме прикрикнул на меня из-за океана: дескать, ври, да не завирайся! как могла твоя теща получить в Америке пенсию, если не работала там ни единого часу?! Впрочем, я и сам иной раз задумывался: в самом деле, а как это так?

Но однажды к нам в дверь постучалась совсем другая Америка: у меня заболел зуб.

И опять через весь Нью-Йорк в метро, а потом на автобусе я отправился на пяточок, где среди сверкания прожекторных ламп и шкафов с инструментами царил дантист, который с акцентом, с трудом, но еще говорил по-русски. Услышав мою безупречно чистую речь, он попросил меня заплатить вперед за осмотр и рентген, а затем вынес приговор: удалить восемь зубов и поставить два моста.

— А почему это, если болит один зуб, — воскликнул я, — нужно удалять восемь?!

— Потому что они мертвы, — скорбно сказал дантист.

— Но у меня никогда не болели зубы.

— Это беда всех эмигрантов. Перемена образа жизни, пищи, воды — стресс.

Научная дискуссия кончилась.

— А сколько все это будет стоить?

Щелкнул выключатель, и яркий свет, бивший мне в лицо, погас.

— Четыре тысячи восемьсот пятьдесят долларов, — отчеканил дантист, и в глазах у меня потемнело. Я как-то не привык еще оперировать тысячами! Ни в один из месяцев, что я прожил в эмиграции, мой заработок не поднимался до суммы в тысячу долларов.

— Доктор, вас устроит, если я внесу, скажем, пятьсот долларов, а остаток буду выплачивать сотни по три в месяц?

Дантист обиделся:

— Разве я требую у вас всю сумму сразу? Разумеется, я могу подождать: месяц, два... Но я не могу ждать год!

По дороге домой на углу Кони-Айленд и Брайтон-Бич авеню под цветастым зонтом, водруженным на новенькую тележку, я увидел будущего миллионера. Он торговал сосисками.

— Ну, как делишки? — спросил я.

— Хорошо, — сказал Миша и добавил: — Володя, стыд я потерял в Америке уже на другой день! (В Союзе он как-никак числился инженером.)

Миша угостил меня горячей сосиской, открыл баночку кока-колы и вдруг спросил:

— Хочешь начать со мной бизнес?

— Смотря какой, — солидно ответил я.

Миша глядел на меня в упор, и я понял, что сейчас он скажет что-то ужасное. Но Миша сопел и молчал. Он запустил руку глубоко в карман своих широченных советского производства штанов, долго шарил там (видимо, колебался: открываться ли?) и, наконец решившись, шваркнул о никелированный прилавок тележки желтым, размером с долларовую монетку кругляшом. На лицевой стороне его я увидел рельефно отчеканенную голову статуи Свободы.

— Володя, мы будем штамповать эту б...! — Он побледнел; в глазах полыхало безумство. — Это чистое золото!

— Миша, — с тоской сказал я, — ну подумай сам: зачем я тебе нужен? В золоте я ничего не смыслю, денег у меня нет...

— Я знаю, знаю, — зашептал Миша. — Но, Володя, у тебя есть — язык!

— Какой «язык»? Я же говорю по-английски в сто раз хуже, чем ты на идиш.

— При чем тут «ты — хуже, я — лучше»? — Миша нервничал и сердился. — Неужели у тебя совсем нет этой жилки? Ты же даже меня не выслушал!..

Миша перевернул кругляш, обратная сторона которого оказалась гладкой, и объяснил, что я держу в своих руках «памятную медаль», которую нам предстоит продавать счастливым родителям новорожденных американцев. Если на гладкой стороне выгравировать имя и дату рождения младенца — какой отец, какая мать устоят перед соблазном иметь на всю жизнь «память»? А сколько детей рождается в Нью-Йорке! И Нью-Йорк — это только начало... Короче, он, Миша, берет на себя раввинов и еврейские родильные центры, а мне предстоит действовать в англоязычных сферах: вербовать католических, протестантских и прочих гойских священников, которые, используя свой авторитет, будут активно способствовать сбыту медалей.

— Но с какой стати они станут нам помогать? — удивился я и почувствовал, какую боль способна причинить моя вульгарная наивность.

— Во-ло-дя, они же будут падать в долю!..

Почему-то именно в эти дни, когда я старался как можно реже открывать обезображенный рот, когда после продолжительных переговоров дантист удалил-таки мне зубы, пообещав, что, едва подзаживет десна, он бесплатно вставит временные мосты, у меня впервые зародилось сомнение в добросовестности свободной американской печати. Случилось это в приятный послеобеденный час, когда с океана уже потянуло прохладой и я, развалившись в кресле, углубился в «Нью-Йорк таймс». Читать эту газету мне было трудно, но тут я как-то очень уж бойко одолел длинную статью о безработице. Незнакомые слова в статье на эту тему встречались редко, поскольку все вокруг: и пассажиры в метро, и соседи по дому, и телевизионные дикторы, и сенаторы, и сам президент, — взахлеб говорили о безработице.

После еды меня клонило в сон, и, чтобы продлить ежедневный урок чтения, я стал просматривать самое легкое — объявления:

«ТРЕБУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ, ПРОГРАММИСТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, ДЕТЕКТИВЫ, ТЕЛОХРАНИТЕЛИ...»

Почему же в каждом бюро, где выдают пособия, стоят в очередях сотни безработных?

«ТРЕБУЮТСЯ ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, РАССЫЛЬНЫЕ, ЮВЕЛИРЫ, ПАРИК-МАХЕРЫ, ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛИЧНОСТИ...»

За каждое объявление заплачены деньги. С какой же стати работодатели выбрасывают свои доллары на ветер, вместо того чтобы позвонить в бюро, где, конечно же, есть картотека, и попросить прислать безработного парикмахера или «энергичную личность»? Очевидно, я не понимал чего-то важного и потому приказал себе не занимать мысли решением государственных дел, а подумать о чем-нибудь земном, например, о том, как бы подработать на стороне четыре тысячи и поскорей заменить временные зубы — на настоящие. Но не тут-то было: едва я стал просматривать объявления целенаправленно, выяснилось, что подыскать для себя самый скромный приборчик намного трудней, чем решить проблему безработицы в масштабах страны.

Ни бухгалтерского учета, ни программирования я не знал. В детективы не годился. Менеджером стать не мог уж хотя бы потому, что никогда не командовал и не умел командовать людьми.

Спускаясь по лесенке престижности профессий все ниже и ниже, я набрел на раздел «ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ», не уместившийся в трех колонках. Требовались водители грузовиков, лимузинов, микроавтобусов, развозчики хлеба, воды, горючего.

Я никогда не водил ни грузовиков, ни лимузинов, но такая перспектива мне почему-то сразу понравилась. И до чего это сладко было: даже просто пометчать о лихой шоферской свободе!

«ТАКСИСТ САМ СЕБЕ ХОЗЯИН! ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ТАКСИ НА ПОСТОЯННУЮ И ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ».

Это объявление мне понравилось еще больше.

«НОВЕНЬКИЕ МАШИНЫ. САДИТЕСЬ ЗА БАРАНКУ ХОТЬ СЕЙЧАС!»

Чувство ответственности протестовало, а благоразумие подсказывало, что мне не следует садиться за баранку ни новенькой, ни старенькой машины, но ведь я занят на радиостанции только по пятницам и в остальные дни вполне... И почему бы мне не попробовать?..

«ЕСЛИ У ВАС НЕТ ТАКСИСТСКИХ ПРАВ, МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ПОЛУЧИТЬ ИХ В ТРИ ДНЯ. НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБОТАТЬ 600 ДОЛЛАРОВ В НЕДЕЛЮ!»

Ну как я мог упустить такую возможность?

Через плечо в газету заглянула жена. Полгода назад она потеряла место русской машинистки в переводческом бюро, а поскольку с английским языком была не в ладах, то нового места все никак найти не могла... Сейчас, взглянув на страницу объявлений, жена испугалась, что меня, чего доброго, и в самом деле возьмут на работу в гараж, и попыталась удержать мой пыл:

— Сиди уж, «водитель»! Кому ты нужен!..

Я позвонил по объявлению, совершенно не веря в успех, как вдруг чертовое колесо завертелось: фотовспышка, отпечатки пальцев, медосмотр — и вот уже в каком-то заплеванном сарае я стою перед экзаменаторами комиссии такси и лимузинов.

Хотя я по-прежнему воспринимал предстоящий экзамен не совсем всерьез, однако еще до того, как нам раздали листки-вопросники, когда мы только рассаживались за столами, наметил я на всякий случай одного пуэрториканца с живым, осмысленным лицом и постарался пристроиться рядом с ним.

В первом пункте моего листка спрашивалось, где находится Рокфеллер-центр. Это, конечно, я знал. Ответ на второй вопрос: «Где находится музей «Метрополитен»?» — тоже не вызывал затруднений. Для начала дела шли неплохо. Но уже третий вопрос — о расположении Пенсильванского вокзала — показался мне заковыристым: я никогда на этом дурацком вокзале не был!..

Отлично ориентируясь в нью-йоркском метро, запросто подсказывая приезжим, как пересестись с поезда «Д» на поезд «Е» или «РР», о поверхности города я имел непростительно туманное даже для начинающего таксиста представление. Взгляд мой воровато забегал, проверяя, не следит ли за мной инспектор, глаза скосились на листок соседа, и от сердца сразу же отлегло: наши листки с вопросами были одинаковы. А сосед мой, в нем я не ошибся, знал все на свете: и про гостиницу «Вальдорф-Астория», и про госпиталь «Маунт Синай», и про небоскреб «Крайслер».

Мы не обменялись ни единым словом, но, едва перехватив мой взгляд, этот пуэрториканец положил свой листок так, чтобы мне было удобно списывать. Как говорили в России: «Еврею тоже бывают хорошие люди!»...

Шепелявый экзаменатор, которому тоже не помешало бы наведаться в зубопротезный кабинет, позвал меня к своему столу:

— Ты говоришь по-английски?

Я ответил, что в данный момент мы говорим по-английски. Он протянул мне раскрытую брошюру и ткнул пальцем в сорок второй параграф:

— Читай вслух!

Я прочел:

— «Водитель такси не имеет права ни словом, ни жестом и никаким иным образом отказываться везти пассажира. За нарушение этого правила штраф сто долларов, за повторное...»

Скучный американский чиновник, он явно не намеревался побеседовать со мной по душам, что непременно сделал бы на его месте любой советский кадровик. Тот непременно поинтересовался бы, почему мне вздумалось работать в такси, сказал бы, что честность — это главное в моей новой профессии, а может, даже загнул бы и что-нибудь мудреное из вечерней газеты: понимаю ли я, какая ложится на меня ответственность в том смысле, что таксист — это «лицо города», первым встречает приезжих? Я покивал бы, послушал и, глядишь, тоже что-нибудь рассказал бы. Ну, например, о первом такси, которое существовало еще в древнем Риме и которое, хоть и представляло собой запряженную лошаадьми повозку, тем не менее было оснащено самым настоящим счетчиком, устроенным из двух концентрических ободов и устанавливавшимся на ступице колеса. Через каждые пять тысяч шагов высверленные в ободьях отверстия совмещались, и тогда сквозь них в особый ящик-«каассу» падал камушек. К сожалению, инженер и архитектор Витрувий, оставивший нам подробное описание первых счетчиков, ничего не сообщает о том, пломбировались ли эти самые «каассы». А между тем, если они не пломбировались, жуликоватые древнеримские таксисты вполне могли подбрасывать лишние камушки, когда развозили пьяных патрициев или, скажем, туристов из Карфагена.

Часто ли продельвают подобные штуки нынешние нью-йоркские кэбби, я не знал, поскольку в Нью-Йорке на такси не ездил, но прохвосты из Вечного города проучили меня жестоко: Когда в период совсем еще недавних эмигрантских скитаний наша семья сошла с самолета в аэропорту имени Леонардо да Винчи и мы, не зная ни слова по-итальянски, протянули таксисту бумажку с адресом, он

содрал с нас сто долларов за поездку в центр города, и требовал еще денег — за багаж! — и орал, и не отдавал чемоданы, а у нас всего было триста долларов, и нам предстояло неопределенное время дожидаться в Риме американских виз...

Но инспектор комиссии по такси и лимузинам не собирался вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, и едва я дочитал сорок второй параграф, он объявил, что экзамен закончен. Произошло то, чего боялась жена и чего в глубине души боялся я сам: я стал шофером такси, не умея водить машину.

Глава 2. АЗЫ НОВОЙ ПРОФЕССИИ

В последний год жизни в России, ожидая разрешения на выезд, я решил, что мне необходимо получить водительские права. Конечно, права можно было купить, и стоили они не дороже, чем пара импортной обуви, но я и в самом деле хотел научиться управлять автомобилем. Как ни сложится моя судьба за границей, думал я, хорошо ли, плохо ли, а ездить на машине мне придется. И даже мой консервативный папа, который обычно не одобрял всякие мои затеи и у которого, как и у меня, никогда не было своей машины, на этот раз согласился со мной: «Там все ездят. Там это необходимо».

Отмучив шесть полагавшихся каждому учебных часов с инструктором, я получил советское «Удостоверение шофера-любителя». В Нью-Йорке экзотическое мое удостоверение обменяли на стандартный лиценс¹, но практики вождения у меня не было никакой. Самостоятельно, без инструктора я ни разу не садился за руль...

Отступать, однако, было поздно, и, пообещав жене быть предельно осторожным, я явился на работу в тот самый бруклинский гараж, по ходатайству которого таксистские мои документы были оформлены в кратчайший срок.

Пришел я, как мне было велено, к пяти утра и увидел в диспетчерской безобразно заплывшего жиром Ларри, который уверял кого-то по телефону: «Да, это я, Ларри!..» — и жестом велел мне подождать. Разговор был важным: все, что говорила трубка, диспетчер старательно записывал на узеньких красных и зеленых бланках; по-видимому, он принимал ранние вызовы машин. Из угла в угол, хромая, словно перекошенный маятник, ходил надуленный алкоголик с крупнопористым, словно из пенобетона, носом. На скамье без спинки в неудобной позе сторбилась женщина лет тридцати. Наверное, она сидела так уже давно; можно было только догадываться, что черты ее безбрового, серого сейчас лица в иное время, в иной обстановке милы и приятны.

Я понимал, что этих двоих лучше ни о чем не расспрашивать, и смутное предчувствие, что я вступаю в чужой, неизвестный мне мир, где живут какие-то совсем другие люди, по каким-то своим законам, коснулось меня...

— Ди? Донна? — переспрашивал диспетчер. — Тоже десять?

Дверь, в которую я вошел четверть часа назад, приоткрылась, и в образовавшуюся щель на высоте примерно дверной ручки в диспетчерскую просунулась всклокоченная голова и рявкнула:

— Ларри, машину для леди!

Правая рука Ларри продолжала писать, но левая юркнула в ящик стола и швырнула на покрытие плексигласом поверхность ключи от машины. Женщина взяла их и вышла. Хромой продолжал ходить из угла в угол, а диспетчер все писал и писал:

— Фрэнк? Шоу? Двадцать?.. Гарри? Тоже шоу?..

— Ларри, машину для джентльмена!

Ларри умоляюще взглянул на сердитого карлика.

— Донна Линда? — рука шмыгнула в стол. — Дубль? — Звякнули ключи. — Четыре?

Хромой вышел...

Приблизившись к столу, чтобы напомнить о себе, я взглянул на разграфленные бланки и увидел, что диспетчер вписывает свои пометки в столбики, озаглавленные так: «Название ипподрома», «Сумма ставки», «Номер заезда»... (Впервые — мне теперь часто придется употреблять это слово — я видел живого букмекера.) А по плексигласу стола по направлению ко мне уже скользнула какая-то синяя карточка с фотографией. Я взял ее в руки. Фотография была моя. Рядом было напечатано мое имя. А над именем и фотографией нависал черный, не изменившийся и по сей день мой таксистский номер — 320718.

— Ключи не забудь! — прикрикнул на меня диспетчер. — Они тебе пригодятся.

В глубине захламленного двора стояли два желтых «форда»: один новехонький, на который — ну его к бесу! — я поглядывал с опаской, и другой битый, изъеденный ржавчиной, но зато очень даже для меня подходящий. Какие бы увечья ни наеся я этому калеке, потом можно сказать, что так и было. Не раздумывая я направился к старой машине и не промахнулся: ключ легко отпер дверцу — шелудивый каб предназначался мне. Взревел мотор... Теперь нужно было выполнить фигуру

¹ Лицензия.

высшего пилотажа: развернуть машину к воротам. Я тронул руль, он не двигался. Попробовал сильнее — никакого эффекта. Баранка не крутилась ни вправо, ни влево, на лбу у меня выступил пот...

— Эй, Ларри! — Голова карлика торчала рядом с моей машиной, а через двор, кольхаясь и пыхтя, к нам уже спешил Ларри.

— Руль не крутится, — пожаловался я.

— Эй, парень, — с налету заорал на меня Ларри, — у меня все машины такие! Ты что, не понимаешь: если руль заедает, нужно нажать на газ. Тогда руль повернется...

— Нет, не понимаю, — твердо сказал я. — Когда нужно повернуть руль, я нажимаю не на газ, а на тормоз.

— Но в гараже сейчас нет другой машины!

— Ларри! — пристыдил диспетчера карлик.

— Хорошо, очень хорошо! — взвизгнул диспетчер. — Я дам ему кэб, у которого на спидометре пять тысяч миль! Но, Робби, пусть он в твоём присутствии сам подтвердит: можно доверить ему эту ляльку, эту красавицу?

Тут загадочный мой покровитель, почему-то защищавший мои интересы, но в то же время и как бы не замечавший меня, повернулся в мою сторону. Нужно было что-то ответить. Я покраснел и отрицательно покачал головой:

— Нет...

Профессор Стенли Гофман, специалист по новейшей русской истории, уволенный из университета еще во времена вьетнамской войны и кончивший службой в мебельном магазине, вызвался безвозмездно дать мне несколько уроков вождения.

Учить меня было трудно. Многострадальная машина Стенли, единственное его достояние, не хотела меня слушаться. Я боялся своих неуверенных движений, боялся автомобилей, обгонявших наш, и все время наезжал на бровку. Однако за субботу и воскресенье терпеливый Стенли научил меня более или менее ровно вести машину, поворачивать и даже выполнять разворот.

Почувствовав, что моя квалификация растет буквально с каждым часом, я все же не отважился еще раз показаться на глаза ни жирному Ларри, ни тем паче странному моему заступнику, который, как объяснил мне некий словоохотливый таксист в закусочной «Макдональд», был главой профсоюзной ячейки водителей в том бруклинском гараже, где мой дебют так и не состоялся. Однако необходимости встречаться вновь со свидетелями моего позора не было: ведь я уже стал обладателем синей карточки, дипломированным, так сказать, таксистом, а таксисты требовались везде. И однажды утром в гараже «Фринат», расположенном в районе Квинса, нервный диспетчер Луи швырнул мне в окошко ключи от кэба номер 866, и я побежал разыскивать свою машину!

Светало... По обеим сторонам глухой улочки, упиравшейся в бок моста Квинсборо, выстроились желтые чекеры с наклейками гаражных номеров. Я обошел вокруг квартала, который и солнечным днем выглядит довольно мрачно, — моего номера не было. Оставалось поискать под мостом, где разместились еще с полсотни машин, но туда идти не хотелось: там было темно.

Под ногами грохотали листы железа. Под низко нависшими конструкциями моста гулко отдавался каждый звук. За спиной послышались шаги, я оглянулся, наступил на бутылку и чуть не упал; по широкому проходу ко мне направлялись двое черных! Волосы их были перехвачены повязками, под мышкой у каждого торчала коробка из-под сигар. В таких коробках, я видел в кино, грабители носят револьверы...

Зловещая пара приближалась, но я уже успел заметить кэб с номером 866 и юркнул к машине гораздо поспешней, чем позволяло чувство достоинства. Шаги замерли... С трудом втиснулся я в кабину: мой чекер стоял между двумя другими, почти вплотную к ним. Испуганно вскрикнул пережатый стартер, я лихорадочно стал сдавать назад, чтобы поскорее выбраться из-под моста, и зацепился за бампер соседней машины! Я попытался исправить ошибку и ударил другую машину. По крыше кабины над моей головой постучала рука.

— Выходи!

Без всякой попытки к сопротивлению покинул я свое убежище. Но меня бандиты не тронули. По-видимому, им нужен был кэб, а не я. Тот, который стучал по крыше, забрался на сиденье и в два движения развел сцепившиеся машины (при этом к моим царапинам он не добавил ни одной) и остановил чекер посредине прохода.

— Садись!

Не поднимая глаз, я достал из кармана доллар.

— Спрячь!

Крыло моего кэба было изрядно помято.

— Меня заставят за это платить?

— Что ты так много болтаешь? Езжай работать!..

Так в тихий предутренний час в воскресенье я оказался в движущейся машине — один. Было 3 июля, мой день рождения, самый радостный с тех пор, как я помнил себя!

Сколько раз дано человеку испытать ощущение счастья! Сколько раз испытывал это ощущение я? Ну, пожалуй, тогда, когда с риском для жизни переплыл крошечный сельский пруд. Но ведь то был не я, а истерзанный туберкулезом и голодом мальчик из послевоенного русского детства. И еще я был счастлив, когда летал. И учил летать надменную медноволосую кассиршу из салона красоты на соседней улице. Я шептал ей: «Не бойся! Делай, как я!» Повторяя мои движения, она грациозно взмахивала руками, и мы взмывали в воздух!.. Но ведь то были сны... А потом, лишь много-много лет спустя, впервые допущенный к монтажному столу, склеил я два случайно попавшихся под руку кинокадра: черно-белый с горящим в ночном небе и падающим на землю самолетом и совсем из другого, цветного фильма — поле, покрытое алыми маками... Я пропустил ролик на маленьком экране мовиолы и вдруг почувствовал, как по спине пробежал озноб: в монтажном стыке возникло нечто неожиданное, чего ни в одном из кадров порознь не было, — будто вспыхнула искра!.. Что это было?..

Вот так и сейчас — я ехал, сам не зная куда, и был счастлив.

Во всем огромном Нью-Йорке я был, наверно, единственным таксистом, который радовался тому, что на улицах нет пассажиров. Мне хотелось обвыкнуться, побыть одному. Еще сильнее обрадовался я, когда увидел, что на мосту Квинсборо нет ни одной машины, кроме моей!

Разве я мог когда-либо даже мечтать, что однажды какой-то сумасшедший залет в свою машину полный бак бензина и отдаст ее мне на целый день, чтобы я катался по городу? Даже добрый Стенли такого не сделает. А теперь этот танк, этот чекер — мой! Я свободен, как птица. Еду куда хочу! Мало того: за то, что я буду учиться водить машину, узнавать волнующий, до сих пор незнакомый Нью-Йорк, мне же за мое удовольствие будут платить деньги. Неужели такое бывает?

Я тронул руль вправо, и кэб двинулся к бровке. Тронул влево — он выровнялся. Коснулся тормоза — он замедлил ход. Я понял, что моя машина чутка и послушна. Я ехал все смелей, от скорости захватило дух, стрелка спидометра приближалась к отметке «20». Теперь самое главное, думал я, не спутать педали — газ и тормоз!

Сколько ни спрашивал я потом таксистов, ни один из них не помнил своего первого пассажира: кто это был, куда и откуда ехал. Не запомнил своего первого пассажира и я. А вот первого таксиста, который со мной разговорился, я, конечно, запомнил.

Мы встретились в то же воскресное утро, когда, перевалив через мост, я оказался в не проснувшемся еще Манхеттене и, заведя у Центрального вокзала пустое такси, пристроился ему в хвост. Мне не терпелось пообщаться с коллегой, но он сидел, уткнувшись в газету, и, не решившись его беспокоить, я стал осматривать свой чекер.

Внутри он был просторным, несмотря на отделявшую водителя от пассажира прозрачную пуленепробиваемую (?) перегородку, верхняя часть которой двигалась. Сидя за рулем, я мог открывать и закрывать ее и даже зашелкивать на замок. При закрытой перегородке пассажир и водитель могли рассчитаться, используя вделанную в плексиглас кормушку с круто изогнутым дном, через которую можно передать деньги, но нельзя выстрелить. На передней панели был установлен счетчик с флажком. Когда в кэб сядет пассажир, я опущу флажок, и на табло появится 65 центов посадочных. Справа от счетчика, вставленная в специальную витринку, красовалась моя синяя карточка.

Я вышел из машины, полюбовался гипертрофированными бамперами чекера, надежно защищавшими его спереди и сзади, и заглянул в пассажирскую часть салона. Интересно, подумал я, а может ли пассажир, сидя на заднем сиденье, прочесть на карточке мое имя и номер, чтобы в случае чего потом на меня пожаловаться? Я плюхнулся на черную подушку и тотчас подскочил как ужаленный: счетчик клацнул — 65 центов!..

— Доигрался? — сказал насмешливый голос. Пожилой таксист с газетой в руках стоял рядом. — Разве тебя не предупреждали?

Наверняка предупреждали, но всего не упомнишь. Теперь, не заработав еще ни копейки, я на почин оказался в минусе: шестьдесят пять центов придется отдать.

— Выдумали черт знает что! — буркнул я. — Когда клиент сядет, я уж не забуду включить счетчик.

— Ты, может, и включишь, а другой нет.

— Почему?

— Получит деньги и положит себе в карман. Кэбби это такой народ — за ними нужен глаз да глаз.

Замечание было не из приятных, однако же меня лично — ну, какой я кэбби! — оно ничуть не задело.

— Правда, что таксисты зарабатывают по шестьсот долларов в неделю? — спросил я.

— По-разному зарабатывают...

— Ну сколько у вас, например, получается в среднем?

Мой новый знакомый удивленно взглянул на меня:

— Ты думаешь, что я таксист?

Я понял, что сморозил какую-то бестактность.

— Если ты собираешься работать в такси, научись разбираться в людях.

Что он имел в виду? Бесцветное морщинистое лицо, изможденная фигура...

— Разве ты не видишь, как я одет?

Замусоленный галстук. Помятый черный пиджак, напыленный несмотря на жару.

— Хозяин этого кэба — мой друг. Я ведь не работаю, как ты, на гараж. Если у меня есть свободное время, я иногда могу выехать на несколько часов.

Разговор наш происходил в шесть утра в воскресенье.

— Для чего же вам это нужно: ездить под видом шофера такси?

— Ты задал умный вопрос. Я встречаю новых людей, завожу знакомства, собираю нужную информацию: я — бизнесмен!

Как ни был в то утро поглощен я мыслями о своей персоне, как ни гордился собой, я все-таки догадался, что даже передо мной, случайно промелькнувшим на его пути человеком, он стыдился своей участи, своей желтой машины. И тем более мне было жаль его, что мое собственное положение было совсем иное. Ведь о себе-то я определенно знал, что я не таксист и никогда таксистом не буду, и мне, наоборот, даже польстило бы, если бы кто-нибудь по ошибке принял меня за настоящего кэбби. Но мысли мои спутались, едва я спросил себя: а хотелось бы мне, всегда так искренне верившему, что никакой труд не может быть постыдным, встретить сейчас кого-нибудь из сотрудников радиостанции или соседей по дому — сухонького художника с шестнадцатого этажа? его хромую жену? будущего миллионера? Ох, пожалуй, нет, не хотелось бы...

Долго мы стояли у Центрального вокзала. Никто к нам не подходил, разговор заглох. Поразмыслив над тем, как бы приспособить свои убеждения к нынешнему моему положению, я рассудил так: работа в такси не хуже любой другой, но если все-таки она унизительна, то не потому ли, что таксисту дают, а он принимает чаевые — лакейские деньги? С тем я и уехал.

Я по-прежнему не вижу на улицах прохожих, а машины вокруг — только желтые, только такси. И все без пассажиров, пустые. И все куда-то спешат, спешат... Куда? Как это глупо, думаю я. Согласно моим представлениям таксист должен ехать быстро, когда везет клиента, а если клиента нет, нужно ехать медленно, чтобы, случаем, не проскочить мимо. Разумнее же всего остановиться и подождать. Человек, которому понадобится такси, сам увидит мой чекер.

Я остановился на углу и стал ждать. Пять минут, десять... А такси все мчатся и мчатся мимо. И не вдоль тротуара, а по самой середине авеню.

Вдруг я заметил какую-то странную фигуру: девушку в вечернем туалете. Это выглядело так несуразно: залитый солнцем город и она — в длинном, держащемся на тонкой шлеечке платье; спутанные волосы и заспанное лицо. Девушка еле шла, ее шатало. Но она направлялась ко мне. Однако, приблизившись к краю тротуара, не дойдя до моего чекера лишь несколько шагов, зачем-то подняла руку. И тотчас же мчавшаяся посередине проезжей части машина дрогнула, словно подстреленная птица споткнулась в лёте, и резко вильнула в нашу сторону. Возмущенный тем, что какой-то нахал отнимает у меня «мою» работу, я нажал на гудок, но дверца хищника кэба самодовольно хлопнула, и уже на том месте, где секунду назад балансировала легкомысленная гуляка, тяяло сизое облачко. С перепоя, решил я, клиентка просто не разглядела, что моя машина пуста. Все расставил я по местам, разложил по полочкам: какие деньги у клиентов брать, каких — чаевые, например, — не брать; лишь одну подробность не уточнил: где взять самих клиентов? Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я радовался, что улицы безлюдны?

Мертвое июльское воскресенье...

Ладно, мой пассажир меня найдет, подбадриваю я себя. Но мои пассажиры, по-видимому, еще не проснулись. А может, они вообще уехали из Нью-Йорка? Что им делать в выходной день в душном городе? Чекер уже раскалился на солнце; воздух в кабине стал густым, по лицу течет пот...

Все было против меня в это первое утро! Следующий клиент, который появился на углу, где я караулил добычу, обманул меня, как и подгулявшая девица. Он не шатался, не был пьян. Он отлично видел меня, но почему-то остановил движущуюся машину. Я понял — не рассудком, а скорей нутром: чтобы заполучить пассажира, необходимо двигаться.

В конце квартала, по которому зашкандыбал мой чекер, поднял руку прохожий. Он находился на моей стороне, на моей «территории», но мчавший посередине кэб немедленно юркнул к нему — и нету...

Вон у бровки остановилась парочка. И сразу к ней два такси. И чуть не столкнулись. А парочка от них, назойливых, в четыре руки отмахивается: не нужно нам, мол, машины! И оба кэба отъезжают пугтые.

Совсем близко, шагах в пятидесяти от меня, из подъезда выбежал подросток и зовет: такси! такси! Но и этот мне не достался. С противоположной стороны метнулся другой кэб наперерез моему, я еле успел затормозить.

Теперь мне стало ясно, куда спешат пугтые такси: они стараются обогнать друг друга. Это самая настоящая гонка. Кэбби, который выигрывает гонку, получает приз — работу. Но я не мог участвовать в этом состязании. Никаких шансов на победу у меня не было. Я попробовал переждать, пропустить конкурентов, куда там: желтые машины летели непрерывным потоком. Я решил поискать другую магистраль, где было бы поменьше кэбов, и немедленно ее нашел. Это была Пятая авеню, сплошь блиставшая нарядными витринами. Однако магазины были еще закрыты, и, проехав от Центрального парка до Сорок второй улицы, я не встретил ни одного пешехода. Только бездомные спали кое-где на тротуарах да бродил угрюмый полисмен, охранявший от еврейских активистов контору «Аэрофлота». Впрочем, я не терял время попусту: я учился водить машину. Говорил же мой папа: «Там все ездят». Вот и я наконец как все — тоже едущ...

К тому времени, когда город наконец проснулся и стал постепенно заполняться толпой, и я уже кого-то куда-то отвез, и мой счетчик уже накладал добрых шесть или семь монет, выяснилось, что даже в таком строго упорядоченном районе, как Манхеттен, где улицы пронумерованы, а их номера определяют направление движения: по четным транспорт течет на восток, по нечетным на запад, — оказавшегося за рулем новичка подстерегают бесчисленные неожиданности и ни одна из них не бывает приятной. Внезапно дорогу мне преграждали то здание «Пан-Ам», то почта. Коварство автострад Центрального парка не имело пределов. Одна из них, например, обещавшая привести меня к знаменитой «Таверне», внезапно вышвырнула мой кэб из парка где-то поблизости от площади Колумба. Другая, по которой я, сверяясь на этот раз с картой, направился через парк к музею «Метрополитен», завела меня в джунгли Гарлема. А какие номера откальвал подлец Бродвей! Без всякого предупреждения он превращался вдруг то в Амстердам-авеню, то в Седьмую; и даже Парк-авеню, такая вроде бы солидная магистраль — уж на нее-то, казалось бы, может положиться начинающий таксист — тоже подложила мне свинью. Я проехал по Парк-авеню ровно одну милю, не сделал ни единого поворота, и очутился — где бы, вы думали? — опять на Бродвее! Но если бы только это...

Едва в моем кэбе появились первые пассажиры, с которыми мне волей-неволей приходилось разговаривать так: «Куда вам ехать? Как туда проехать? А почему же вы заранее не сказали, где повернуть?», — что только вокруг меня не начали вытворять все остальные водители!

Респектабельный лимузин выскочил из-за угла и помчался мне навстречу по улице с односторонним движением. И еще имел наглость сигналить! Виноваты, как выяснилось, были не он и не я, а проклятая Шестьдесят шестая улица, которая, путая общее для Манхеттена правило «чет-нечет», ведет на запад. Из-за этой путаницы, я конечно, разнервничался и вынужден был остановиться, чтобы перевести дух. Но едва я успокоился и отчалил от бровки, как проезжавшая мимо в открытой машине дама чуть было не саданула мой кэб в бок. Куда она смотрела?! Даму я строго отчитал, но что было делать со всеми остальными? Улицы и авеню Нью-Йорка буквально кишели посподившими с ума автомобилистами, которые совершенно не желали считаться ни с тем, что мой чекер начинает движение, ни с тем, что пассажир попросил меня сделать левый поворот из правого ряда. Я двигался по улицам в каком-то непрерывном визге тормозов, под градом сыпавшихся на меня проклятий и брани.

Я понимаю, что многие из вас в свое время тоже учились водить машину, тоже пережили ощущение «полета в космос», понервничали, разбили фару или погнули бампер. Но чтоб так уж — под градом проклятий? Не слишком ли?

Наш опыт не совпадает потому, что вы учились на тихих улочках или по крайней мере сами решали, куда вам ехать. У меня же за спиной сидел клиент, который заставлял меня ехать туда, куда ему вздумалось, и к тому же удобным для него маршрутом...

А спешка?! Постоянно торопившиеся куда-то пассажиры трепали нервы еще похлестче, чем все эти чокнутые водители. Правда, мои клиенты не сердились, когда выяснялось, что кэбби не знает, как проехать с автовокзала в Сохо (им, по-моему, даже нравилось командовать: направо! налево!), но едва доходило до денег, чуть ли не каждый из них буквально выходил из себя:

— Что за фокусы! Почему вы не оставили себе тридцать центов? Ведь я же сказал вам!

- Он, наверное, хочет больше...
- Мало ли что он хочет!
- Ладно, дай ему еще немножко... Держи!
- Не привык? Работал в кино?... Эйзенштейн!

Я прикусил язык и про кино больше не заикался.

Но что это: в пыльный салон гаражного кэба, стекла которого, что называется, сроду никто не протирал, впорхнуло д и в о, сияние! Видел ли я когда-либо прежде женщину подобной красоты? Ей пришлось дважды втолковывать мне, как проехать на Бикман плэйс, и дважды напоминать, что по дороге надо купить газету. Зато, тормознув у киоска, я молниеносно, не дав опомниться даме, выпрыгнул из машины и преподнес ей трехкилограммовый воскресный выпуск, словно корзину цветов!..

В мощном брусчаткой проезде перед входом в дом угрюмый кэбби вдвоем со швейцаром грузили в такси багаж. Помогая пассажирке выйти из машины, я отнял у нее неудобную пачкающую ношу, и леди, расплачиваясь, оценила мою галантность в полтора доллара! Но принять даже столь щедрые чаевые из рук ослепительной красавицы было немислимо!

— Позвольте мне отказать от этих денег, — пролепетал я.

Взметнулись удивленные брови, я был польщен.

— Видите ли, я в такси недавно. По профессии я учитель...

— Леди, только, пожалуйста, не надо жалеть его! — ни с того ни с сего выступил кэбби, грузивший багаж. — Слава Богу, что этот дурак больше не учит детей. «Учитель»!..

Таксист, которого я видел впервые, готов был наброситься на меня с кулаками. За что он меня ненавидел? Наша жизнь состоит из компромиссов. Положил я себе не брать чаевых — а что из этого вышло? Лопнул еще один мыльный пузырь, и в душе осталась еще одна грязная лужица...

По-прежнему избегая опасной и к тому же не приносившей мне успеха гонки, я свернул с широкой авеню в узкую улицу. Людей здесь было мало, но я проехал квартал, другой, и меня остановили дети. Мальчик и девочка, лет по семь-восемь. Они махали ручонками, завидев мой кэб издали. Но подъехал я к ним не спеша: на улице не было желтых хищников, готовых вырвать у меня мою скромную удачу.

В окне-витрине со светящимся переплетением неоновых трубок, изображавшим нечто непонятное, возникла немолодая брюнетка. Она сделала жест: минуточку! — и детишки, тоже черноволосяе, черноглазые, забрались в чекер. Они подняли возню, грохотали откидными сиденьями, елозили, а я стал считать вырубку. У меня были уже две пятерки, семь бумажек по доллару и полная горсть мелочи... Мелькнул счетчик: 65 центов превратились в 75, — и в тот же миг мимо моего лица промелькнула детская ручонка: клац!

— Ты зачем выключил счетчик? — спросил я мальчишку, высунувшегося по пояс в открытое окошко перегородки, отделявшей меня от пассажиров.

— Я не выключил.

— А что же ты сделал?

— Я остановил таймер².

Ребенок хитро улыбался, на него нельзя было сердиться.

— Мистер, дай мне квотер, — попросил он.

Я дал.

— А мне-е? — В окошко высунулась девочка. Пришлось дать и ей.

— Пожалуйста! — горячо зашептал мальчик. — Дай еще один.

Это мне совсем уже не понравилось, но мальчишка меня пристыдил:

— Смотри, как у тебя их много.

Я дал ему второй квотер.

— А мне-е? — захныкала девочка.

Наконец появились отец с матерью, а с ними еще дети, совсем малышня. Снова смех, возня, взволнованный детский шепот, и опять тянутся ко мне ручонки-попрошайки: дай нам тоже! Я обернулся и посмотрел на родителей. Они сохраняли улыбчивый нейтралитет. Они не вмешивались! Что за публика!..

Папаша указывал дорогу и одновременно вел странный допрос:

— Скажи, какие бывают таксисты?

Я не понимал, о чем он, собственно, спрашивает.

— Негры бывают?

— Конечно.

² Устройство, отсчитывающее плату поминутно за простой кэба.

— Японцы бывают?

— Бывают.

— А цыгана-таксиста ты видел?

Я пожал плечами: не знаю, мол...

— Не видел и никогда не увидишь,— назидательно произнес папаша.

— Это почему же? — удивился я.

— Потому что у таксиста тяжелая работа,— объяснила мать семейства,— а мы работать не любим.

Только теперь я догадался, что изображало переплетение неоновых трубок в витрине, возле которой я ожидал этих клиентов. То была повернутая вверх ладонью рука, по которой гадалка читает судьбу. Такая же рука, только из синих, а не из красных трубок, мерцала в окне дома, у которого мы остановились. Счетчик показывал 1.85, я получил два. Но, видимо, супруги ощутили некоторую неловкость, и цыганка решила доплатить таксисту по-своему:

— Хочешь, погадаю?

Я молчал.

— Бесплатно! — Она протянула руку, и я подал ей свою. — Ой! — восхитилась цыганка, едва взглянув на мою ладонь, и зацокала языком. — Ой, что я вижу!.. Ты скоро станешь богатым! Да, да: кто-то оставит в твоём кэбе мешок с деньгами.

Я кисло улыбнулся, а прорицательница сказала:

— Не веришь? Потом сам увидишь...

Было два часа дня. К трем я обязан вернуться в Квинс, в гараж: кэб будет ждать водителя вечерней смены. «Хватит на сегодня»,— решил я. Мне хотелось есть, и я вошел в пиццерию.

Всей выручки вместе с мелочью согласно моим подсчетам должно было набраться двадцать шесть долларов, а полагалось сделать за утреннюю смену шестьдесят пять. Впрочем, расстраиваться из-за невыполненной «нормы» не стоило: лиха беда начало. Я глотнул кока-колы, откусил кончик огнедышащей пиццы — и застонал! Господи, у меня же нет этих двадцати шести долларов! Как назло, уходя из дому, я взял с собой ровно столько, сколько стоили два собвейных жетона и пачка сигарет. Между тем шестьдесят пять центов я задолжал гаражу, плюхнувшись сдуру на «горячее сиденье», доллар выключилчли у меня цыганята, доллар стоила пицца, а чаевых я не брал.

Растрата невелика, но какво объясняться? Хоть большую, хоть малую выручку таксист обязан сдать до цента. Что я скажу? Ну как я буду кричать в окошечко диспетчеру, что нельзя отказывать детям, попросившим подарить им по монетке, а рядом будут стоять съехавшиеся после смены водилы и слушать?..

Словно насмехаясь над моими горестями, авеню Колумба провожало меня в гараж криками «такси! такси!». Теперь, когда я кончил работу, на каждом углу маячила поднятая рука. Подойдя к застоявшемуся чекеру, я заметил у себя за спиной нагруженную покупками парочку.

— Куда вам? — спросил я, ковыряя в замке ключом и совершая свое первое таксистское преступление: «ПОКА Пассажиры не сели в кэб, водитель не имеет права спрашивать их, куда они намерены ехать. За нарушение этого правила — ШТРАФ 100 ДОЛЛАРОВ». — Я возвращаюсь в Квинс, в гараж,— объяснил я просительно глядевшим на меня клиентам и тотчас спохватился, что совершил второе преступление: «НИ СЛОВОМ, НИ ЖЕСТОМ И НИКАКИМ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОДИТЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА УКАЗЫВАТЬ Пассажиру, в каком направлении он намерен и в каком не намерен ехать. За нарушение — ШТРАФ 100 ДОЛЛАРОВ». Какую в сумме я уже заслужил кару?

— А нам как раз в Квинс и нужно,— обрадовался парень.

Везуха! Я открыл багажник, мы погрузили пакеты. Девчонка, ей лет пятнадцать, заговорщицки мне подмигнула.

— А ты не теряешься!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ты меня понял!

Была она такая счастливая, такая гордая: никто и ни в чем не смей ей сейчас перечить! Я и не стал выяснять, что у нее на уме.

Парень, ему уже стукнуло двадцать, накануне вернулся из дальнего плавания. Моряк. Пять месяцев не был дома. Вчера эта девчонка встречала его в порту. Сейчас она льнет к нему, багажник загружен подарками.

— Поедем через туннель?

— Если ты укажешь дорогу.

Он не удивляется моему невежеству и не впадает в менторский тон. Он указывает таксисту, как найти связывающий Манхеттен с Квинсом туннель, и звучит у него это так же естественно, как и

рассказ о плавании. Канада, Норвегия, Португалия, Египет, Китай... Красных он не любит, возмущается: какие-то подонки из Гринич-Вилледж недавно организовали социалистическую партию.

— Недавно? По-моему, это произошло лет шестьдесят назад.

Смеется:

— Ты что-то спутал. Наши ребята точно говорили — в прошлом году.

И девчонка кивает, она хорошо помнит: именно в прошлом году.

Разговор прерывается, когда мы въезжаем в туннель со встречным движением. Для меня это эксперимент на выживание...

Убогий домок, у которого кончается наша поездка, прилепился к заброшенному складу. 6.05...

— Сколько с нас? — зачем-то спрашивает девчонка и смотрит хитро, испытующе. Молчка указываю на счетчик.

— Эх ты, кэбби, называется! А про туннель забыл? Про багажник забыл? А я-то думала...

За проезд по туннелю я действительно уплатил семьдесят пять центов, но брать деньги с пассажиров за пользование багажником запрещено, меня на этот счет строжайше проинструктировали в гараже.

— Не спорь, я лучше знаю! — наступают на меня девчонка. — Мой отец таксист.

Пресекая никчемный наш спор, парень протягивает мне самую крупную за день купюру — десятку, сдачи не надо. Я отнекиваюсь: они и так были удачными пассажирами, без них мне пришлось бы ехать в Квинс пистом. Я сую сдачу и чувствую, что жест мой насквозь фальшив. Ведь мне позарез нужны эти деньги.

— Ты за нас не волнуйся, — уговаривает меня морячок. — Я привез шесть тысяч!

— Да! — подтверждает девчонка.

Мы долго прощаемся, пожимаем друг другу руки. Потом еще много раз буду я испытывать эту особенную радость от внезапно возникающей симпатии к незнакомым людям.

— Не забывай брать по пятьдесят центов за багажник! — напутствует меня девчонка. — Это помогает. И смотри, с тебя еще станет, не вздумай возить черных!

Наутро я снова попытался выиграть гонку за ранним пассажиром. Я развил скорость, обогнал одно, другое, пятое такси, и теперь сколько видел глаз впереди не было желтых акул. Я сам был акулой! Мой чекер мчался посередине мостовой, стрелка спидометра приближалась к «50» — я господствовал над Лексингтон-авеню! Гонку выигрывает тот, кто идет с наивысшей скоростью! Первый же пассажир, которого я увижу, будет мой. Ну где же он? Где?!

В конце следующего квартала у бровки остановился пешеход и поднял руку. Я прибавил газу, и бац! — руль ударил в грудь, кэб споткнулся о красный свет. Но пассажир-то все равно мой. Никуда он, голубчик, не денется. Остальные такси отстали! Я впился глазами в светофор: ну, быстрее же, быстрее... Ну!..

Не тут-то было: плавно кативший сзади «форд», который я давным-давно обогнал, не споткнулся о красный свет. Я рванул с места. До конца утопил педаль газа. Но в моторе чекера только шесть цилиндров, это не «ягуар» и не «порш». Я опять проиграл гонку. Гонку, в которой не знаешь заранее ни дистанции, ни числа участников и в которой победу приносит, оказывается, не скорость. Но если не скорость, то что?

Я свернул с гоночной трассы авеню и, поездив минут десять по тихим улицам, спокойненько подобрал клиента. Отвез. Пошарил еще с четверть часа и снова нашел. Так у меня появился свой оригинальный стиль работы. Пусть дураки участвуют в дикой гонке без судьи и правил. Я же получал своих пассажиров без всякой нервотрепки. Правда, их было немного, но зато коварный почтайт все реже преграждал мне дорогу, присмирили вокруг водители, все реже я слышал брань и скрежет тормозов. Одно было скверно: денег я привозил в гараж вдвое меньше, чем остальные кэбби. В конце недели меня вызвал менеджер, мистер Форман.

— Знаешь, сколько денег ты получишь за первую свою неделю?

Я догадывался, что чек будет более чем скромным.

— Тебе начисляется сорок три процента от выручки. За воскресенье ты заработал двенадцать долларов, в понедельник — четырнадцать, во вторник — одиннадцать. Понимаешь, почему так мало?

Естественно, я понимал, что у меня пока нет сноровки, что я еще не успел втянуться.

— Это все приблизительные объяснения, которые никого и ничему не учат, — перебил меня менеджер. — Ты хочешь научиться зарабатывать деньги?

Еще бы! Такую науку я готов был впитать, как губка влагу.

— Ты теряешь много рабочего времени, дожидаясь, пока клиент сам подойдет к твоему кэбу.

Ты из России, там люди привыкли садиться в такси на стоянках. Здесь, в Нью-Йорке, мы работаем совсем иначе. Нью-йоркский таксист всегда в движении!

Я слушал, раскрыв рот.

— Вторая, и главная, твоя ошибка. Когда работы мало, ты рыскаешь по улицам, а пассажиры тем временем останавливают кэбы — на авеню...

Сидя в своем безоконном гаражном закутке, откуда он знал, где я рыскаю? Допустим, про такси в России он где-то вычитал. Допустим, что кто-то из водителей видел меня на стоянках и рассказал ему. Но о моем «оригинальном стиле», которым я так гордился, как мог менеджер разузнать и о нем? Я не вытерпел:

— Каким образом вы узнали, где я ищу пассажиров?

Поскольку мистер Форман не ставил перед собой задачи произвести на меня неизгладимое впечатление, он разъяснил и это:

— Я просмотрел твои путевые листы³. Ты же пишешь, что в пять пятьдесят утра подобрал клиента возле дома двести двадцать по Шестьдесят седьмой улице, а через полчаса — возле номера восемьдесят восемь по Восьмидесятой улице. Еще через двадцать пять минут ты получил работу на Сорок третьей улице. Значит, ты кружишь по улицам. А житель Нью-Йорка, когда хочет поймать такси, не дожидается случайной машины у порога своего дома, он выходит на авеню. Он так привык.

Гарри Форман — это не выдуманное, а настоящее имя, и назвал я его здесь потому, что менеджер гаража «Фринат» был единственным из всех таксистских начальников (с которыми мне потом приходилось сталкиваться), который вызвал меня не для того, чтобы отчитать, обругать, оштрафовать, отобрать документы, а для того, чтобы мне помочь. Никаких иных целей, кроме этой, менеджер преследовать не мог, ибо знал наперед, что пользы от меня его гаражу не будет уж хотя бы потому, что я живу в Бруклине, а гараж находится в Квинсе, и, мало-мальски подучившись работать, я уйду.

Много раз после этого разговора я проигрывал гонку. Малодушно отказывался от борьбы и уходил в тихую заводь ловить случайную рыбешку. Но однажды, угадав ритм переключения светофоров, подстроившись под зеленую волну, я позволил двум или трем чересчур горячим таксистам обогнать меня и, когда они споткнулись о красный свет, плавно обошел их и взял пассажира.

Выигранный клиент, мой живой «гран при», не спешил, однако, сесть в кэб. Он хотел сперва заключить с таксистом некое устное соглашение об условиях предстоящей поездки.

— Вы отвезете меня на угол Третьей авеню и Тридцать второй улицы, — говорил он с полувопросительной интонацией (а я кивал), — выпишете мне квитанцию... и укажете в ней сумму на тридцать пять центов большую, чем на счетчике...

— Вы предлагаете неплохие условия, сэр, — отвечаю я, стараясь попасть в тон. — Садитесь на переднее сиденье, вам будет удобнее.

Веснушчатое лицо расплывается в улыбке. Но сияет «сэр» не потому, что глуп, а потому что ему семнадцать лет и в руках у него позанимающий рабочим инструментом чемоданчик.

— Вы, наверное, неплохой специалист, если компания оплачивает ваши поездки на такси.

Да, электрик он неплохой. Работает четвертый месяц. Зарплата пока скромная, но повышение уже обещано. И это тем более важно, что прибавка даст возможность обзавестись своей семьей, устроить жизнь по-своему.

— Давно встречаетесь со своей невестой?

Простой вопрос неожиданно вызывает сбивчивые разъяснения: конкретной невесты пока нет. И даже постоянной девушки нет. И вообще ему нелегко будет найти такую, которая разделяла бы его склонности, увлечения.

Я заинтригован.

— Не думаю, сэр, что вам трудно будет найти себе подругу жизни. — Тут я не врал, мальчик с виду был славный. — Наверно, дело осложняют ваши увлечения?

Молчит, не хочет сказать.

— Скрытный вы человек, — попрекнул я его, но это, конечно, не помогло. Приходится опять пустить в ход бесстыдное сверло лести, против которого не может устоять хрупкий панцирь, защищающий душу подростка. Жениться поскорей, оказывается, придется из-за конфликта с отцом. Ну а против каких сыновних склонностей восстают отцы — известно. Отца он поймет позднее,

³ Нью-йоркский кэбби обязан (я и по сей день не знаю, для чего это нужно) регистрировать в путевке, где и в какое время он получил каждую работу, сколько человек село в машину, куда и к какому времени они были доставлены, какую сумму выбил счетчик. За каждую пропущенную в путевом листе запись правила комиссии по такси и лимузинам предусматривают штраф.

поучаю я, но ведь может случиться, что это произойдет слишком поздно, когда кажущиеся ему теперь невинными бутылка пива или «джойнт» уже сделают свое разрушительное дело...

Но я попал пальцем в небо. К моему сведению, на свете есть вещи куда более волнующие, чем марихуана и все такое. Например? Ну если уж на то пошло, хотя бы игральные автоматы.

— Фу ты, глупость какая! — разозлился я. — Как же можно скармливать автоматам первые свои трудовые деньги!

Но я опять не угадал. Уже вторично за последние пять минут выясняется, что пошлость и мудрость не сестры. Азартные игры ничуть не увлекают моего пассажира. На свои заработки он покупает автоматы, однако вовсе не такие, чтобы играть на деньги, а такие, чтобы играть для удовольствия: pin-ball machines.

— Сколько же у вас этих автоматов?

— Шесть.

— Но ведь они дорогие!

В том-то и дело, что совсем недорогие. Он выскивает старые, поломанные и чинит, реставрирует. Он их очень любит. Он сам сконструировал автомат, которого нигде нет, — «космический дождь». Есть у него еще идея автомата «подводная война». У него много идей!

— А почему же отец против?

— Квартира у нас тесная. В моей комнате места больше нет, в кухне мама не позволяет.

Мы уже стоим, но парень все не прощается, хотя расплатился, а я уже выписал квитанцию. Мнется, собирается что-то еще сказать, наконец вымучивает:

— Эх, научится бы мне когда-нибудь так водить машину, как вы!

Я ехал в метро и хохотал. Люди с опаской поглядывали в мою сторону, отодвигались, а я все не мог унятьсья.

В грохочущем аду подземки, где в жару, как водится, были выключены кондиционеры и вовсю шпарило отопление, я подсчитывал свои победы, и не было им числа! Во-первых, я действительно научился водить машину. Так быстро? Наш опыт опять не совпадает. Не забывайте: с первого дня я участвовал в утренней гонке. Меня не учили плавать: оказавшись за бортом лодки, я вынужден был плыть... За прошедшие две недели я наездил ты ся чу миль! И не в благостной тишине предметов, а по kloкочущим манхэттенским авеню, туннелям, мостам — и не сбил пешехода, не изувечил ни себя, ни свой кэб, ни чужую машину!

На исходе моего третьего года в Америке я прожил первые дни среди живых американцев и не мог не заметить, что поведение этих всегда спешивших куда-то, чуждых мне не только по языку, но и по образу мышления и н о с т р а н ц е в, несомненно, определялось тем, чтобы ни словом, ни жестом и никаким иным образом не унижить человеческое достоинство недотепы таксиста. Двести с лишним человек воспользовались за эти дни моим чекером, но ни один из моих клиентов не высказал подозрения, что я с п е ц и а л ь н о катаю его по Центральному парку или вокруг здания «Пан-Ам» и все никак не могу попасть к гостиницам «Коммадор» или «Билтмор». И ни один не потребовал, чтобы за свою ошибку я заплатил из собственного кармана. А можно ли не вспомнить здесь секретаршу, которой выпало именно в эти дни дважды очутиться в моем кэбе? Вот ведь какое подчас испытание посылает рок человеку... Оба раза секретарша эта должна была во время обеденного перерыва подскочить (куда-то поблизости) на интервью: на старом своем месте она дорабатывала последнюю неделю. Из-за меня пассажирка опоздала на интервью в первый раз; однако когда три или четыре дня спустя злополучная эта девушка, едва открыв дверцу желтой машины, сразу же узнала доблестного кэбби и — обомлела, ахнула, но не послала меня ко всем чертям, а заставила себя сесть в мой чекер (хотя я искренне советовал ей не делать этого), и конечно же мы опять — опоздали... Как это случилось, что две недели подряд в мой кэб попадали исключительно терпеливые, доброжелательные и скромные люди? (Почему потом они переродились в грубиянов, сквалыг, скандалистов?..) И разве все мои «шалости» были столь уж невинны, вроде того, что я от случая к случаю забывал сделать вовремя поворот? Иной раз я забывал, например, посмотреть, сел ли в кэб второй пассажир, и трогал с места в тот момент, когда одна нога клиента еще оставалась на тротуаре. Сколько раз, начиная движение, слышал я истошный, от которого кровь стыла, крик? Но ни старик, уронивший из-за моей выходки очки, ни осанистая медсестра, на мальчишка-саксофонист, которого я чуть-чуть не сделал калекой, — никто не изругал меня, не извел мою душу нотациями. И пусть за полтора рабочих часов я полтора раза облился холодным потом, а заработал едва ли по доллару в час, я все равно победил!

Пусть завтра ни свет ни заря мне снова нужно вставать и тащиться в метро через весь город, но зато — не в искусственно созданный посреди Нью-Йорка русский мирок, на котором еще вчера для меня сходилась клином вся Америка. Две недели назад я чувствовал, что медленно умираю. Теперь, падая от усталости, я чувствовал, что живу!

Глава 3. КАЛЕЙДОСКОП

Так началась моя двойная жизнь. Я вставал в четыре, в половине пятого садился в метро, проезд в котором стоил тридцать пять центов, без четверти шесть выезжал из гаража и включался в утреннюю гонку.

Моя смена кончалась в три пополудни, домой я возвращался к пяти, что-то ел, ложился на диван и спящими глазами просматривал советские газеты. Когда же глаза совершенно слипались, я садился к письменному столу. Потому что помнил: ровно в десять утра в ближайшую пятницу я опять должен войти в студию записи, закрыть за собой звукопроницаемую дверь; высокий седой человек пустит звуковую заставку «ГОВОРИТ «РАДИО СВОБОДА», и я останусь один на один с микрофоном.

Вот уже три года мое обозрение «Хлеб наш насущный» слушают там, в России, миллионы людей. Моя программа волнует и ранит там каждую душу: и русского, и еврея, и казаха, и латыша. Такая уж у меня тема. Я рассказываю о том, почему великая, высокоразвитая страна, сверхдержава, которая сегодня засеивает самое большое на планете поле (вдвое больше американского), не в состоянии прокормить свой народ. И почему в этой стране, которая вышла на первое место в мире по производству минеральных удобрений, в стране, где сельскохозяйственным трудом занято всемерно больше рабочих рук, чем в Америке, люди не могут купить в магазине ни мяса, ни рыбы, ни курицы, ни молока, ни картошки.

Но с каждым месяцем моя работа приносит все меньше удовлетворения. Все чаще возникает у меня гнетущее ощущение, что каким-то таинственным образом советские глушилки достают и сюда — в редакционные кабинеты, в студию записи. И ощущение это не результат психического расстройства: был детант, разрядка. «Избегайте оценок; к чему резкости?!» — советует мне доброжелательный, чуть барственно звучащий баритон.

Тот сценарист документального кино, который еще совсем недавно, находясь по ту сторону стены, был только слушателем этой радиостанции, ни за что не поверил бы, если бы ему сказали заранее, что, когда он окажется здесь, его новые начальники почти так же, как и прежние, станут увещевать его, а иной раз и одергивать, чтобы он не выплескивал в эфир всю ту правду о закрытом обществе, которую удавалось выискать и собрать по крупицам; что вполне достаточно сказать половину этой уродливой правды, а еще похвальней — осьмушку... С не меньшим увлечением, чем я играю в шофера такси, мои начальники играют в детант; и бархатисто-барственный баритон подчас не упускает намекнуть, что своевольничество в конечном итоге приведет к потере работы.

Это было так привычно, так не ново, но в моем нынешнем, эмигрантском положении был новый нюанс: мои работодатели понимали, что моя еженедельная программа (о русском хлебе) — единственный для меня способ заработать на жизнь, что здесь, в Америке, я больше ни на что не гожусь.

Вот почему в последние недели я почувствовал себя куда как лучше и на душе у меня становится легче, когда на рассвете по мосту Квинсборо мой желтый кэб въезжает в центр Нью-Йорка, где меня неизменно встречает его живой символ — всегда веселая, всегда пьяненькая «регулирущица». В одной руке у «регулирущицы» бумажный пакетик с бутылочкой, другой она четко распоряжается потоками машин. Стоп! — показывает она, когда загорается красный свет, и энергично машет — ездай! ездай! — когда загорится зеленый. Весело же ей оттого, что машины ее слушаются. Как рано ни начал бы я работать, она уже на своем посту — под эстакадой протянувшейся через Ист-ривер подвесной канатной дороги. Наверное, где-нибудь здесь, под мостом, бездомная эта пьянчуга и ночует. Но даже в дождь, промокшая, смахнет рукавом струйки воды с лица, приложится к горлышку — и опять за «работу»!

Колонна на мосту, стоп!

Колонна на авеню, марш!

Белокурая, молодая, она всегда улыбается, ей всегда хорошо! По-моему, эта женщина да еще я — самые счастливые люди во всем Нью-Йорке...

Выполняя главную заповедь мистера Формана: нью-йоркский кэбби всегда в движении! — я, съехав с моста, гоню сколько есть духу на север, в район Семидесятых улиц, пока не выхватываю пассажира. Уже вполне овладев этим маневром, однажды разнообразия ради я повернул на юг, проехал с полмили сквозь тишину безлюдных пока улиц-ущелий и стал петлять, петлять, пока вдруг не наткнулся на длинную желтую змею, голова которой лежала у подъезда отеля «Мэдисон». Что делают здесь водители всех этих кэбов с выключенными моторами? Почему они не участвуют в утренней гонке?

Я остановился, и в ту же минуту вращающаяся дверь выпустила наружу стандартного постояльца приличной гостиницы: светлый плащ, с портфелем «атташе». Светлый плащ оглянулся по

сторонам, вдохнул полной грудью пропитанный автомобильной гарью воздух Мэдисон-авеню и, взглянув на часы, направился к выстроившимся у подъезда такси.

Водитель первой машины полулежал на капоте своего «форда», опираясь щекой о выгнутую лебедем кисть. Заметив приближающегося клиента, он драматическим жестом отгородился от каких бы то ни было просьб:

— Я н и к у д а не еду. Я отдыхаю...

— Моя машина занята,— сказал другой, смуглый кэбби, на голове у которого красовалась огромная кепка.

Когда я подъехал поближе, светлый плащ упрашивал следующего таксиста:

— Пожалуйста, отвезите меня на автовокзал. Я так спешу, я был бы вам так признателен...

— Нет, мистер, мы обслуживаем только иностранных туристов.

Отверженный уже тремя водителями, пассажир с нервическим смешком в голосе обратился ко мне:

— А ты, интересно, кого обслуживаешь?

— Всех,— кротко сказал я.

На автовокзале пятеро черных подростков поджидали «большой кэб», чтобы ехать в отель «Мэдисон»: из всех нью-йоркских такси только в чекере позволено возить пятерых пассажиров. Сошедшие с ночного автобуса мальчишки и девчонки выглядели сонными, помятыми, но одна — худущая, большеротая — казалась, только закончила собираться на бал. И блузка на ней — ослепительная, и юбочка — невероятно пышная, и вся жизнь вокруг — праздник! Хотя подружки на нее косились, к вещам, которые все укладывали в багажник, принцесса эта не притронулась, забралась на переднее сиденье и, даже сидя, «танцует». И плечи ее движутся, и руки движутся. Ну-ка, где тут у тебя радио?

Чтобы не выглядеть круглым дураком (невозможно было ею не любоваться), напускаю на себя мрачность.

— Не бывает,— говорю,— в гаражных кэбах радио.

— Как же ты живешь без музыки?

Девчонки на нее откровенно злятся, а парни не сводят глаз.

— А в какое ты ходишь диско? — кокетничает она с таксистом.

— Кэбби не шастают по диско,— цежу я сквозь свои ненадежные, временные зубы.— Мы много работаем.

Бесенята в глазах исчезли, и, подавляя нарочитый зевок, она уже совершенно иным тоном, как бы засыпая от невыносимой скуки, которую я на нее навесил, переключается на ту единственную тему, которую зануда таксист, мол, способен поддержать в разговоре:

— Ну, как поживает Люси?

— Что еще за «Люси»?

— Твоя жена! — И будто я уже ответил про жену: — Как детишки?

— Тихий ужас! — говорю.— Можешь себе представить: примерно такие, как ты.

Рот до ушей, довольна! С трудом, по слогам читает по синей карточке:

— *Vla-di-mir*? Это имя или фамилия?

— Имя.

— Красивое... Терпеть не могу всех этих Томов, Клифов, Сэмов. Надоели! — Зыркнула в зеркало заднего вида, проверяя реакцию мальчишек, и опять ерзает: что бы еще придумать?

— Ты из России?

— Угу.

— Еврей?

— Угу.

— Слушай, а что, там, в России, живут только одни евреи?

Я подавился воздухом.

— Сэр! — всполошились мальчишки.— Она ничего такого не хотела сказать!

— В прошлый раз, сэр, когда мы были в Нью-Йорке, нас из аэропорта тоже вез еврей из России.

Поняв, что надо мной не смеются, я отвечаю примирительным тоном.

— Не знаю, таксистов из России в Нью-Йорке я что-то пока не встречал...

Очередь желтых машин у отеля «Мэдисон» за время моего отсутствия не двинулась с места. На капоте первого кэба в той же томной позе возлежал все тот же таксист. Двое других: кряжистый водитель в большой кепке и тщедушный маленький, с остриженной ежиком седой головой,— курили, прислонившись к стене. Перед ними стояли две пожилые дамы и почтительно слушали.

— Все эти машины возле гостиницы вызваны по специальным заказам, — растолковывал провинциалкам нью-йоркские порядки кэбби в кепке. — Вон там, на углу, — он указал пальцем, — нужно ловить такси.

Дамы поблагодарили доброхота за разъяснения и, понурясь, побрели на угол.

— Почему ты не хочешь отвезти их туда, куда им нужно? — спросил я.

— Потому что я жду уже больше часу! — с раздражением отвечал кэбби.

— Ждешь — чего?

Но на этот вопрос ответа не последовало. К подъезду отеля подкатил чекер, и рослый негр в красной рубашке, в небесно-голубых брюках (яркие цвета одежды выдавали в нем островитянина — с Джамайки? Тринидада? Гаити?) принял вместе со швейцаром разгружать чемоданы. Пассажиры, сутулый хасид, распластались и засеменили ко входу. Проводив его взглядом, негр сеутулился, покрутил возле шоколадных своих щек указательными пальцами, будто наматывал на них локоны волос, и у него — выросли невидимые пейсы! В руках у негра появилась зеленая бумажка, и он изобразил целую пантомиму: как жадный еврей расплачивается с таксистом. Единственная сложенная пополам купюра, которую он все пересчитывал и пересчитывал без конца, превратилась в пухлую пачку; «еврей» пугался тянувшихся к нему чужих наглых рук, защищал от них свое богатство, — прохожие останавливались и смеялись, так это было талантливо! А «еврей» между тем все скарденничал, торговался, страдал, так больно было ему расставаться с деньгами, и, наконец оторвав их от себя, словно часть души, уплатил самому себе и снова стал самим собой — завоевателем Нью-Йорка, черным эмигрантом — кэбби! Негр поднял над головой — чтоб все видели! — двадцатидолларовую ассигнацию, звонко чмокнул изображенного на ней президента Джексона и провозгласил перед всей Мэдисон-авеню, почему он покинул свой чудесный остров в Тихом океане и оказался здесь, в Америке:

— I love money!⁴

Насладившись эффектом, кэбби вскочил в свой чекер и, лихо отогнав его задним ходом в конец квартала, пристроился в хвосте очереди. То ли с грустью, то ли с завистью водитель в кепке подвел итог:

— Кеннеди!..

— Чем вы все здесь, возле гостиницы, занимаетесь? — спросил я, обращаясь к Кепке и Ежику, но они промолчали.

— А вот это уже свинство! Что за манера: не отвечать, когда к вам обращаются! — возмутился я и вздрогнул, услышав русскую речь.

— Если ты хател са мной пагаварит, зачем ты гавариш па-английский? — укоризненно сказал таксист в кепке.

— Откуда же я мог знать, что ты русский?

— Я не русский...

Теперь, по акценту его речи, я догадался, что он из Грузии и что на нем типичная грузинская кепка.

— Ты грузин?

— Я еврей.

— Он думает, что он очень похож на американца, — иронически заметил в мой адрес развалившийся на капоте таксист, и по его акценту было ясно, что он одессит.

— Чего вы пристали к человеку? — заступился за меня Ежик, стопроцентный москвич.

— Поц! — рявкнул кто-то у меня за спиной. Позади стоял негр в голубых брюках. Наверное, у меня был очень глупый вид, потому что все засмеялись.

Негр хлопнул меня по плечу и, как бы представляя меня моим соотечественникам, перевел ругательство с идиш:

— Русски-уй!

Его успех нарастал.

— Дитынах! — закричал негр, а русские уже прямо-таки корчились от хохота.

Не успел стихнуть смех, как вспыхнула ссора: одессит и грузин не могли поделить славы — каждый с пеной у рта доказывал, что это именно он обучил негра с Гаити русским ругательствам.

— Ниумны чаловэк, — доверительно пожаловался мне грузин. — Когда я начал учить эту обезьяну, он еще сидел в своей Одессе.

— Ясное дело, — сказал я, — товарищ приехал на все готовенькое.

Грузин степенно кивнул.

Вращающаяся дверь вытолкнула наружу девушку с портпледом. Швейцар ловко отнял портплед, о чем-то спросил девушку и объявил:

⁴ Я люблю деньги! (Англ.)

— Первый кэб!

Водитель поднялся с капота (он оказался высоченного роста), сделал «потягусеньки» и попытался сунуть швейцару доллар. Но швейцар отстранил руку дающего, и печать обиды проступила на его надменном лице. Однако долговязый кэбби не смутился, а, наоборот, явно чему-то обрадовался и достал еще один доллар... Уволивший девушку с портпледом желтый «форд» исчез за углом. Ежик проводил его печальным взглядом:

— Кеннеди!..

— Зачем он дал деньги швейцару? — спросил я, но грузин в кепке ответил так, будто не расслышал вопроса:

— Теперь я первый. Поставь свою машину впереди моей.

Пелена загадочности окутывала все происходившее перед входом в отель «Мэдисон».

— А разве ты не возьмешь следующую работу? — не унимался я.

— Пасмотрим, — многозначительно сказал грузин.

Мне было досадно, что мои земляки хитрят со мной, превращая какую-то ерунду в профессиональную тайну. Но их поведение было скорей смешным, чем обидным. Ведь не собирался же я становиться одним из них — жуком, шефом, который каждого встречного обведет вокруг пальца. Мне и не нужно знать их секретов; пусть я заработаю меньше, помучаюсь со своими временными, то и дело срывающимися с опор мостами лишней месяц — что за беда?

Между тем гаитянин ни секунды не стоял на месте. Сейчас он играл в баскетбол. Все прохожие были его противниками. Он вел невидимый мяч низко и стремительно по краю тротуара, обыграл полисмена, обошел двух обнимавшихся на ходу лесбиянок, резко сместился на край, обвел меня, чуть не наскочив на мамашу с детской коляской, и тройным прыжком вышел к щиту...

— Этот дурак цели день может так бэгат, — сказал грузин и окликнул негра: — Эй!

Негр подошел.

— Павтари! — Грузин старательно по слогам произнес еще не изученный парнем перл.

— Боб, — старательно выговаривал черный.

— Скажи хорошо, — добивался грузин безупречности произношения.

— Боб тую мьят.

Получалось, по-моему, совсем неплохо, но педагог был чересчур требователен и нетерпелив. «Ступид!» — срамил он ученика.

— Что ты от него хочешь? — сказал Ежик. — Он же только вчера слез с дерева.

Из дверей отеля выкатилась на тротуар тележка с чемоданами, следом за нею показались пассажиры.

— Японцы! — ахнул Ежик. — Сколько их?

— Шестеро, — заговорщицки углом рта обронил швейцар.

Грузин крикнул от удовольствия и открыл багажник.

— Как ты втиснешь в свой «пежо», — зашептал Ежик, — багаж и шесть человек?

— Хот дэсят! — сказал грузин, и Ежик заметался, разрываясь между японцами, которым он улыбался, чемоданами, которым он не мог улыбаться, и швейцаром, которого умолял: — Две машины! Скажи им, что нужно две машины!..

Незаметно вырвавшийся из глубины квартала чекер подлетел к подъезду, и в следующий миг между грузином и чемоданами выросла могучая фигура гаитянина; он что-то задумал и был полон решимости.

— Покажите деньги! — приказал кэбби японцам, и один из них простодушно раскрыл бумажник. Черный шеф деликатно дотронулся до купюр и вытащил за уголок пятерку.

— Это чаевые, — объяснил он пассажиру. — Хорошие японцы платят швейцару чаевые, а хороший швейцар за это вызывает большой кэб.

— Сенька, — кивнул японец, а негр, одарив чужими деньгами швейцара, приобрел в его лице союзника.

— Им нужен чекер, — сказал таксистам швейцар.

— Что эти сволочи делают?! — отчаянно завопил Ежик, пытаясь протиснуться в центр группы, но гаитянин лишь откинул свой атлетический корпус назад, и Ежик уже хрипел: каменная спина вдавила его в корпус машины.

Японцы стояли испуганные, побледневшие, они наверняка сбежали бы, но подкупленный гаитянином швейцар уже вовсю грузил чемоданы в его кэб. Грузин безнадежно махнул рукой и, чуть не плача от обиды и злости, сказал негру все русские слова, которым так старательно его обучал.

Негр же освободил присмирившего, изрядно помятого Ежика и вытащил из японского бумажника все остальные, сколько там было, доллары. Однако, завладев деньгами, он попытался придать видимости законности своим действиям и пересчитал купюры: семь десятидолларовых бумажек.

— Твел долла линч ⁵, — непринужденно, как нечто само собой разумеющееся, пояснил кэбби японцам. Пусть джентльмены ничего такого не думают, он лишнего с них не берет. С шестерых пассажиров таксисту полагаются не семьдесят, а семьдесят два (!) доллара, но эту мелочь он уступает потому, что японцы — хорошие люди.

Гаитянин спрятал конфискованные доллары и вернул владельцу бумажник.

— Многовато ты с них слупил, — заметил таксисту швейцар.

— Твел долла линч! — зарычал гаитянин, и переговаривавшиеся на своем языке японцы умолкли, поняв, что у этого страшного черного человека есть свои святые убеждения, за которые он готов на все.

Но тут вперед выступил самый маленький и самый смелый японец. Он тоже боялся негра, но чувство логики было в нем сильнее, чем чувство страха.

— Вай?! — пискнул потомок самураев, бесстрашно наступаая на черного верзилу, и, обличая его, даже вытянул вперед указательный пальчик: из Кеннеди в город д в а д ц а т ь долларов, из города в Кеннеди с е м ь д е с я т? — Вай?! — Он должен был знать: почему?

— Потому что мы поедем по Экспресс-шоссе! — не моргнув глазом отвечал кэбби.

— Сенькаберимяч, — пропищал японец, вполне удовлетворенный таким объяснением, а пятеро его спутников дружно принялись кланяться: и швейцару в цилиндре, и большому кэбу, и всему гостеприимному отелю «Мэдисон».

Упал невидимый занавес, картина кончилась, и на сцене появились новые чемоданы.

Грузин и Ежик так увлеченно обсуждали план мести грязному нигтеру, внаглую захватившему безответных японцев, что, как мне показалось, вообще не заметили эти вновь возникшие перед входом в отель чемоданы, а швейцар распахнул дверцу м о е г о чекера. Где-то глубоко-глубоко в потемках сознания зашевелился незнакомый мне прежде азарт: а вдруг под шумок — чем черт не шутит! — я получу Кеннеди.

Две старухи в голубых париках чинно уселись, я ждал затаив дыхание.

— Морской вокзал!

Но ни разочарования, ни ощущения проигрыша не было: чем поездка к Морскому вокзалу хуже поездки в аэропорт? Мне все интересно. Может, там, у причала, стоит сейчас знаменитая «Куин Элизабет»?

Любопытство мое было вознаграждено с лихвой: мне впервые открылось мрачное чудо Нью-Йорка.

Даже если бы прежде, до этой поездки, я прошел бы пешком те же самые семь кварталов от Мэдисон-авеню до западного берега острова Манхеттен, впечатление не было бы до такой степени поразительным. Потому что прогулка занимает минут тридцать, а поездка — пять.

Бриллиантовый квартал Сорок седьмой улицы, оккупированный ювелирами, выставившими на витринах груды золота и самоцветов, сменили сверкающие на солнце небоскребы Рокфеллеровского центра; за ними последовали театры Бродвея; появились патрули проституток, киношки с крестами на вывесках и притоны, где за семь долларов, как обещали зазывалы, можно испытать «неземное блаженство»; мы уже двигались среди домов с заколоченными фанерой окнами, кое-где виднелись руины, словно после бомбежки; исчезали белые лица...

Но вот — белая эффектная девушка. Стоя посреди тротуара, она расстегивает блузку, обнажает грудь, затем поднимает нарядную юбку и, присев на корточки, справляет нужду. Вокруг нее суетятся двое: один с камерой, другой с отражателем. В неустанном творческом поиске рождается обложка или вкладка для иллюстрированного журнала...

Исчезли притоны, впереди — лишь разбитая эстакада шоссе и «Куин Элизабет», которую зовет подымающаяся из моря рука с факелом.

Не успел я рассмотреть Морской вокзал, как в машину прыгнул негр в кожаной куртке, надетой на голое, разрисованное татуировкой тело. Меня он называл «эй, мен», спросил разрешения закурить, и кэб наполнился чадом марихуаны.

В этом чаду я увидел обратную панораму — возрождения Нью-Йорка: из района трущоб мы возвращались к великолепию центра...

Уже возле Тайм-сквер прямо перед капотом чекера из людского водоворота вынырнула стриженная под мальчишку девица: льняные волосы и потертые джинсы. Накурилась, наверно, до одури: машет мне, не видит, что в кэбе пассажир. А может, именно потому и лезет в чекер, что там — клиент. Нахальная такая малолетка-проститутка. Я уже неплохо различаю ньюйоркцев, поднаторел. Показываю, что, мол, занят, но «эй, мен» опустил стекло и зовет: «Садись, садись!» — и она уже на заднем сиденье.

⁵ Искаженное английское twelve dollars each, то есть по двенадцать долларов с каждого пассажира.

— К сожалению, мисс, я не имею права брать второго пассажира, пока не отвезу первого.

— Но я опаздываю!

— Куда? — В короткое это слово я уж постарался влить по меньшей мере галлон сарказма.

История не нравится мне чрезвычайно. Не хочу я, чтоб они оставались вдвоем на заднем сиденье! За спиной гудят машины, я не трогаю с места.

— Выходите, мисс.

— Эй, кэбби, кончай комедию! — Негр выходит, громко хлопнув дверцей.

— А деньги? — выскакиваю я вслед за ним. Ну что мне делать? Догонять этого хамлюгу, а машину — бросить?

Водители, чертыхаясь, объезжают мой чекер.

— Он оставил деньги! — кричит через окно проститутка.

Когда я возвращаюсь, она указывает пальцем на скомканные доллары в кормушке и как ни в чем не бывало спрашивает:

— К десяти часам в Вилледж, в университет, мы успеем?

— Сейчас уже пять минут одиннадцатого.

Злюсь я еще и потому, что не знаю толком, где в Гринич-Вилледж находится университет. Опять придется кого-то спрашивать, переспрашивать. Но, оказывается, нам нужно сделать всего один поворот на Пятую авеню и доехать до самого ее конца, до Арки.

— От Арки я пройду пешком, это рядом, — объясняет мне, таксисту, пассажирка, которая и сама-то в Нью-Йорке со вчерашнего дня.

Она из Мичигана. Собирается здесь учиться. На десять ей назначил декан. Но она не очень огорчена тем, что опаздывает. Она все равно опоздала — на несколько месяцев. Заявление о стипендии нужно было подавать еще весной. Впрочем, и это не так уж важно. Главное, что в свои семнадцать лет она твердо знает, чего хочет — стать актрисой.

— Послушай, будущая знаменитость, — говорю я, слегка смущенный тем, что с первого взгляда пронзаю покамест не каждого пассажира. — Ты хоть понимаешь, кто это был?

— А кто?

— Нехороший парень, опасный парень. И особенно для тебя.

— Вы говорите это только потому, что он черный?

— Неправда. Ты видела, как он одет...

— Он не сделал мне ничего плохого!

— А может, просто не успел? Он позвал тебя в машину, и ты села. Он только что курил, — привираю я, — гашиш.

— В самом деле? — откликается она с неподдельным интересом.

— Если бы он пригласил тебя в бар...

— Не надо, пожалуйста, — просит девушка. Пересела на откидное сиденье, высунулась в кабину через окошко перегородки и показывает язык. Я, конечно, растаял.

— Ох, — говорю, — артистическая ты натура...

Заметила синюю карточку, поинтересовалась, не из России ли я.

— Почему вы оттуда уехали? Ведь это страна, где все принадлежит всем.

— А кто рассказал тебе о России?

— Преподаватель истории.

Воображение мое тотчас рисует: просветленное лицо, эрудит, марксист, кумир старшеклас-
сников.

— А что ты будешь делать, если тебя не примут в университет?

— Не знаю. Поживу пока здесь, мне тут нравится.

— А где ты «поживешь»?

— У подруги. У нее студия на Саттон плэйс.

— И мама разрешит тебе остаться в Нью-Йорке?

— Маме теперь не до меня: она ждет ребенка, выходит замуж.

Я заглянул в бездонную голубизну ее глаз, и мне стало не по себе. Если ее угостить выпивкой, она выпьет, если кокаином — понюхает. Она пойдет с каждым, кто будет держаться с ней как товарищ, на равных; и единственное, чего не позволяют ей сегодня ее убеждения, это мучать животных. Сквозь какие испытания предстоит пройти этой нежной, доверчивой девочке?..

Но работа в такси не способствует углубленным размышлениям, это калейдоскоп. Глянешь в него — открывается яркая, ни на что не похожая картина. Миг спустя видишь уже другой волшебный орнамент, повертите эту игрушку в руках и скажите, какое изображение оставило след в вашей памяти? Никакое. Запомнилась только феерия. Вот так и в такси. Смена впечатлений происходит при каждом включении счетчика.

Не прошло и получаса, как я уже успел подружиться с дюжим альбиносом... Сзади в кабине раздавался какой-то звон, и новый пассажир, на которого я еще не успел взглянуть, вскрикнул:

— Сэр, у вас тут что-то забыли!

Я просунул голову за перегородку и увидел промокший, расплывающийся на глазах бумажный пакет, из которого сочилась — кровь! Выскакивая из кэба, я стукнулся головой о раму, ойкнул и, придерживая ушибленное место, открыл заднюю дверцу; мой пассажир вытирал окровавленные руки краем оберточной бумаги. На полу лежали бутылка виски и бутылка вина. Из разорванного пакета вываливались ломти мяса.

— Пакет оставила парочка гомосексуалистов: молодой и моложавый. По дороге в Колумбийский университет они целовались, — пожаловался я альбиносу. — Теперь вот придется возвращаться к университету...

— И думать не смейте! — прикрикнул на меня пассажир. — У нас в Оклахоме этих паршивцев вытащили бы из кэба посреди улицы и такого духу им дали бы!

— С мясом-то что делать? Выбросить?

— Как можно! Это же великолепные бифштексы.

— Все равно пропадут. Жарища. А мне еще долго работать. Если хотите — забирайте.

— Погодите минутку.

И мой пассажир скрылся за дверьми продуктового магазина. Что взбрело ему в голову? Какого лешего я должен его ждать? Но альбинос быстро вернулся. Вид у него был озабоченный. Он принес пустые пакеты, прозрачный кулек с кубиками льда, споро все перепаковал и не без торжественности вручил мне аккуратный сверток.

— Теперь можете ездить по жаре хоть целый день!

Нужно ли тратить слова и расписывать, какими душевными друзьями прощались мы четверть часа спустя...

Едва альбинос растворился в толпе, как счетчик в моем кэбе снова щелкнул, картинка в калейдоскопе сменилась, и я опять подружился. На этот раз с раввином из Тель-Авива. Он хохотал до слез, когда я рассказывал, как джентльмен-южанин подбил меня присвоить бифштексы и выпивку, чтобы проучить гомосексуалистов. Отсмеявшись, ребе клацнул замочком старомодного сакважика, извлек из него кипу⁶ и протянул ее мне.

— В этом смасшедшем городе, в этом Вавилоне, еврей, который забывает, что он еврей, плохо кончит...

Поняв, что угроза на меня не действует, раввин сделал жалостливое лицо и попросил:

— Ну что вам стоит? Наденьте хоть на минутку, пока довезете меня до «Хилтона». Ну доставьте мне такое удовольствие.

Я надел кипу и запел субботний гимн: «Элия, гуга неви!» «Элия, гуга тешби!» — подтягивал ребе. Мне опять было так хорошо! А раввин не мог мною налюбоваться:

— Если бы вы только знали, как вам к лицу эта кипочка, вы бы ее никогда не снимали.

По дороге в «Хилтон» мы должны были заехать на Сорок седьмую улицу забрать кое-что, сказал раввин. Как только он ушел, возле моего чекера появился какой-то красавчик. Брюнетик, набриллиненный, все на меня посматривает. Я смутился и снял кипу. Но красавчик по-прежнему не сводит с меня глаз. Я тоже стал смотреть на него. Тогда наконец он сказал:

— Мой друг с тобой в «Хилтон» едет.

— Ну и что?

— Ничего. Просто он попросил меня присмотреть за вещами.

Обидчивый по натуре, я почему-то не почувствовал ни малейшей обиды. Может быть, потому, что уже успел отличиться: чужие бутылки так ласково позванивали у моих ног. Шутки шутками, а пакет с мясом тянул долларов на сорок. Что со мной происходит? Я утрачиваю чувство достоинства? Становлюсь таксистом? Шефом?..

— Хи-хи!

За спиной раздавался короткий смешок. И не просто смешок, а с переливами, с колокольчиками. Хихикала тетка лет пятидесяти.

— Хи-хи, я так спешу: сегодня день рождения моей собачки...

Каким образом она оказалась в машине? Я не слышал, как открывалась дверца, после того как вышел раввин.

— Поедьте в Вест-Вилледж. Я так замоталась, что и денег с собой не взяла, хи-хи, даже на метро нету.

Я сразу отрезвел.

— Без денег я вас не повезу.

⁶ Ермолка.

— Ах, какой вы, хи-хи, невозможный. Не волнуйтесь, вам заплатит швейцар. Только, пожалуйста, наконец поезжайте, а то я явлюсь домой после гостей, это будет конфуз, хи-хи... Поверните налево.

— Вы слишком поздно сказали.

— Не важно. Поверните на следующем углу... Пьер так любит общество, друзей, но еще больше — поверните направо — он любит ходить в банк. Когда я спрашиваю: «Пьер, мы сегодня пойдем в банк?» — он так радуется, а когда приходим, сразу бежит к менеджеру и царапает стол...

— Какой стол?

— В котором менеджер держит для Пьера печенье. А я говорю: «Пьер, сегодня мы возьмем т в о и деньги».

— Хи-хи! — Это уже не у нее, а у меня вырвался смешок. — Что-то, леди, не могу я понять, о ком, собственно, вы рассказываете. Пьер — это ваш сын или у вас муж такой — со странностями?

— Пьер — это моя собака, — строго проговорила леди.

— Вы хотите сказать, что ваша собака имеет с в о и сбережения?

— У Пьера текущий счет.

— И много на нем денег?

— Хи-хи, значительно больше, чем на моем, — ответила пассажирка и в подтверждение своих слов протянула мне стандартное, выданное Сити-банком удостоверение личности вкладчика с фотографией белого пуделя. Весь чудной разговор наш, как понял я в следующую минуту, возник не сам по себе. Это была обкатанная, с отшлифованными репликами юмореска-реприза, специально рассчитанная на то, чтобы удивлять незнакомых собеседников хозяйки пуделя по кличке Пьер — героя детской телевизионной серии. Пьер снимался в кино много и с неизменным успехом. Он участвовал в четырех художественных фильмах и в одиннадцати рекламных роликах.

— Как же ваш Пьер сделал такую карьеру?

— Его однажды увидел мой босс.

— А кто он такой — ваш босс?

— Владелец телевизионного канала.

— Так вы работаете на телевидении?

— Нет, я убираю квартиру моего босса и ухаживаю за тремя его собаками.

Приехали. Пассажирка исчезает в подезде и вскоре возвращается с деньгами и со старым, больным пуделем на руках. Больше Пьер в кино не снимается; сегодня ему исполнилось шестнадцать лет. Обычно пудели не живут так долго. Если приравнять возраст Пьера к человеческому, ему уже более ста лет. Старческие глаза слезятся, изо рта свисает гипертрофированный, почерневший на конце язык.

Был уже полдень, а выручка моя все еще не достигла и двадцати пяти долларов. Черт возьми, да я опять ничего не заработал!..

Выбраться из лабиринта, именуемого Вест-Вилледж, легко только тому, кто знает этот район. Сворачивая из переулка в переулок, я блуждал в поисках знакомой магистрали и никак не мог отыскать ни Шестой, ни Седьмой авеню, проходивших где-то совсем рядом, как вдруг увидел — чемоданы!.. Два черных и два коричневых.

Еще совсем недавно я, как и вы, не обратил бы никакого внимания на эти вполне заурядные чемоданы, стоявшие у обочины тротуара. Но сейчас сердце мое дрогнуло и заньло: с ручек чемоданов свисали бирки с яркими буквами «JFK»⁷. Неужели и мой час пробил?

Хозяин чемоданов, пригнувшись, спросил через окно:

— Поедете в Кеннеди?

Открывая багажник, я заметил еще двух пассажиров. Принаряженные тихие девочки стояли чуть в стороне, обнимая своих кукол.

Отец девочек подавал мне чемодан за чемоданом, а я остороженько, деланно-равнодушным тоном, чтобы не спугнуть клиента, спросил:

— Подскажите мне дорогу?

Он внимательно посмотрел на меня.

— Я живу в Лос-Анджелесе. А вы разве не знаете, где находится аэропорт?

— Приблизительно, — промямлил я.

Между тем багажник с т р е м я чемоданами, которые из-за квадратной их формы мы еле втиснули, был уже захлопнут, девочки уже уселись, и призадумавшийся было пассажир — а не поехать ли ему в аэропорт в каком-нибудь другом кэбе? — все же не отнял у таксиста выгодный рейс, а великодушно представил мне возможность решать самому:

⁷ Джон Фитцджеральд Кеннеди.

— У нас есть полтора часа — успеете?

Кто не рискует, тот не пьет шампанского!

— Успеем! — сказал я. — Найдем!

Кровь стучала в висках. Я услышал, как хлопнула дверца, и рванул к перекрестку. О, как проклинал я теперь свое легкомыслие! Ведь сегодня у отеля «Мэдисон» можно было подробно расспросить водителей, как проехать из центра в Кеннеди. Но почему надо было спрашивать именно про Кеннеди, а не, скажем, про стадион «Янки»? Да и пассажиры успели меня избаловать: до сих пор почти каждый из них знал свой маршрут.

Каким-то чудом уже через полминуты мой чекер оказался на Шестой авеню, и, как только красный свет преградил мне дорогу, я выскочил из машины и метнулся к остановившемуся рядом такси:

— Как попасть в Кеннеди?

И шофер и пассажиры рассмеялись — вот так кэбби!

Ждать, пока они кончат смеяться, времени не было, и я хотел было кинуться к другой желтой машине, но таксист уже совладал с собой и сказал:

— Не нервничай, это очень просто. Езжай до Сорок шестой улицы, поверни направо, доедешь до шоссе — и прямо через мост Трайборо. Следи за указателями — и приедешь в Кеннеди. Ты не можешь туда не попасть.

Вспыхнул зеленый свет, сзади надрывались гудки, но таксист схватил меня за руку:

— Повтори.

«До Сорок шестой и направо, до Сорок шестой и направо!» — я гнал машину, слышал за спиной детские голоса, но не оглядывался. Было стыдно встретиться глазами с человеком, который доверился мне и теперь наблюдал, как я суматошусь. Голоса девочек звучали тихо-тихо, однако я уловил, что они повторяют одно и то же: «Папынетупапынету...» Я прислушался.

— Нашего папы нету...

Я оглянулся — и голова пошла кругом! На заднем сиденье прижались друг к дружке две перепуганные мальшки. На полу болтался ч е т в е р т ы й чемодан; «папы» в машине не было...

Увидев этот проклятый чемодан, я мгновенно понял, что произошло. Отец девочек поставил его в кэб и захлопнул дверцу, с тем чтобы обойти чекер сзади и сесть с другой стороны, а я в это время нажал на газ. Но как только эта картина прояснилась, другая леденящая мысль залила мозг: г д е? На какой улице все это случилось? где я его оставил? Ведь я ничего не помню!

Девочки были очень напуганы, но все же они не растерялись до такой степени, как я.

— Папа остался у бабушкиного дома, — сказала младшая.

У меня, однако, уже не было сил, чтобы попытаться разыскать «бабушкин дом». Я был счастлив, что эти козявки хоть не ревут.

— Дети, — сказал я добрым, как у Волка из «Красной шапочки», голосом, — сейчас мы поедем в полицию, и нам скажут, где находится бабушкин дом.

— Мистер водитель, — сказала старшая, ей было от силы лет пять, — нам нужно ехать прямо до «Королевской котлеты» и свернуть налево. Бабушкин дом там.

Я доехал до «Королевской котлеты», повернул, и мы увидели папу.

— Папа! Папа! — запищали девчужки.

Что пережил этот человек, когда какой-то подозрительный тип, выдававший себя за таксиста и не знавший дороги в аэропорт, говоривший к тому же на ломаном языке, угнал машину с его крошечными детьми? Как он воспитывал своих малявок? Кто и как воспитывал его самого, если, увидев меня, он не выругался и опять-таки не отнял у меня работу?.. По-видимому, он все же не ведал, какие еще страсти ему предстоит принять за свою доброту на пути из Гринич-Вилледж к вокзалу авиалинии «TWA».

Аэропорт Кеннеди! Половина души, половина жизни нью-йоркского кэбби, неисчерпаемый колодец фартовых таксистских долларов! Недаром любит матерый водила прихвастнуть доскональнейшим знанием Кеннеди: с завязанными, мол, глазами проедет он хоть к багажному, хоть к таможенному отделению любой из авиакомпаний, вспомогательные службы которых разбросаны на огромной территории; мол, назубок знает он подъездные пути к каждому из отелей, к каждой стоянке или базе проката автомобилей в аэропорту... Но никакому кэбби не придет в голову даже вскользь упомянуть, что ему хорошо известны все семь главных авиавокзалов: International, Pan-Am, North West, Eastern, United, American, TWA. Это уж, наверно, последним дураком надо быть, чтоб не знать в о к з а л о в! Однако же я — не знал...

Мне было сказано «TWA», а чтобы попасть туда, ничего вообще знать не надо. Езжай себе по главной дороге да посматривай на разноцветные щиты. Видишь коричневый щит? Какой на нем номер? «4»? А что еще на этом щите написано? «TWA»? Да ты просто умница!..

А вот прямо перед твоим носом, над все той же главной дорогой, цифры на цветных габличках: «1», «2», «3» и коричневая ч е т в е р к а. По какому маршруту ты поедешь, чтобы попасть на TWA? По коричневому? По четвертому? Э, брат, да ты гений, тебе бы при таком интеллекте не такси водить...

Вам легко смеяться. Вы не забывали папу у бабушкиного дома. Ваш затылок не сверлил его ненавидящий взгляд... Когда же я увидел все эти переплетения путепроводов и магистралей аэропорта, все эти щиты да номера, то настолько обалдел, что немедленно потерял главную дорогу и оказался на какой-то узкой, глухой, где не было ни машин, ни указателей. Я понимал, что еду куда-то совсем не туда, но не мог признаться в этом перед опаздывающим на самолет пассажиром с детьми. На что я надеялся? Да ни на что! С таким, наверно, чувством приговоренные идут на расстрел.

В стороне от дороги над высоченным беззаконным корпусом я увидел надпись «TWA», высоченные распахнутые ворота и самолет, на котором были начертаны эти же три буквы.

— Вот, — сказал я, не оборачиваясь и почему-то не съезжая с дороги, — вот TWA.

— Это ангар, — с полным уже отчаянием в голосе сказал папа. — А мне, как ни странно, нужен пассажирский вокзал...

По дороге нам навстречу несло такси. В полном маразме, ничего уже не соображая, я попытался сделать разворот. Раздался резкий скрежет тормозных колодок, громыхнул отборнейший мат, я увидел у своих глаз искаженную злобой маску и услышал свой голос:

— Ради Бога: как попасть на TWA?

Буря стихла, таксист отдышался и проворчал:

— Поезжай за мной...

Вот так благодаря еще одному доброму самаритянину мои пассажиры все-таки не опоздали к самолету, и, промямлив в который уже раз жалкие свои извинения, я последовал за одним из разгрузившихся возле аэровокзала кэбов и вскоре оказался на таксистской стоянке — в большом загоне, где за проволочным ограждением скопилось не менее сотни желтых машин и где сто водителей курили, болтали друг с другом, ковырлялись в перегретых моторах, а над всем этим стоял неизбывный смрад.

Поставив свой чекер в ряд, который указали шоферы, я мгновенно почувствовал, как меня всего целиком захватило то самое желание, которое испытывает каждый кэбби, въезжающий на стоянку в аэропорту после того, как целый день мотался по городу.

— Где здесь уборная? — спросил я таксиста, с которым случайно встретился взглядом.

Таксист пожал плечами и отвернулся.

— Где тут уборная? — обратился я к другому, и он иронически-гостеприимным жестом указал под ноги.

Весь асфальт загона для желтого стада, разглядел теперь я, был испещрен потеками, в выбоинах стояли зеленоватые, видимо, с примесью антифриза озерца, но никто, кроме меня, не обращал на эту мерзость внимания: таксисты жевали сэндвичи, пили колу и кофе. «Скоты!» — с отвращением думал я о своих товарищах.

Я взглянул на свои руки, они были черного цвета.

— Эй! — крикнул я водителю, который только что пригласил меня не стесняться. — Тут у вас хоть можно где-нибудь руки помыть? — Однако на этот раз ответа не удостоился.

«Что за морды! — бесился я, пробираясь по узкому проходу, сам не зная куда и зачем, лишь стараясь ступать осторожно. — Ни единого человеческого лица». Я прислушался, о чем говорят таксисты, столпившиеся возле киоска-фургончика, бойко торговавшего булочками, сигаретами, водой.

— Рахат-ахарам, Лагадия, — издавал гортанные звуки араб, а собравшиеся вокруг арабы развесили уши...

— Фьюить-фьюить джей-эф-кэй, — щебетал китаец, окруженный китайцами...

— Ора-тора-аэропорто, — галдели пуэрториканцы.

Внезапно я понял, что ишу. Находясь в смрадной этой клоаке, я был не в состоянии ни есть, ни пить. Чтобы не опуститься до уровня окружавшего меня сброда, подавил в себе потребность сходить по нужде; но тем сильнее жгло меня другое неутолимое желание каждого дорвавшегося до стоянки кэбби. Я не мог больше носить в душе все то, что случилось со мною за день. Я должен был немедленно и подробно кому-нибудь все-все-все рассказать: и про то, что сейчас впервые приехал в Кеннеди; и про то, как привез своего пассажира в ангар; и про то, как обидел меня раввин; и про свои необыкновенные трофеи — бифштексы и виски. Но попадись мне сейчас столь желанный слушатель, мои приключения наверняка послужили бы лишь поводом для самого бесстыдного хвастовства беспашашной моей таксистской удалью, смекалкой и прочими доблестями. Небо, что об этом я мог рассказать?! Но ведь так нестерпимо хотелось...

И тут я сделал то, из чего потом родилась эта книжка. То, что придавало мне сил, когда подступило отчаяние. То, что подарило мне со временем десятки друзей среди таксистов, на которых я не выплескивал все, что бурлило и кипело в груди, не отпугивал их, а — слушал.

Я вернулся к своей машине, взял шариковую ручку, которой вел записи в путевом листе, нашел клочок бумаги, уселся поудобнее и задумался. «Заметки таксиста» — ну, с чего бы начать?.. Но сосредоточиться мне так и не удалось: дверца чекера открылась, и в мою кабину заглянул Ежик. Не дожидаясь приглашения, он плюхнулся рядом со мной на сиденье и сказал:

— Господи, как я ненавижу эту страну!

Часть вторая

РЕМЕСЛО ДЛЯ НЕУДАЧНИКОВ

Помимо всего беспристрастности их мешало еще то, что они были шоферами такси, — и стало быть, за год или два работы они видели столько человеческой мерзости, что ее хватило бы на десяток жизней. Это, пожалуй, было самое печальное и непоправимое в их ремесле.

Гайто Газданов, «Ночные дороги».

Глава 4. ССОРА С РУССКИМИ

Глубокоуважаемый читатель — из тех, что практического склада, из тех, кто всегда стремится почерпнуть из книжки хоть какую-нибудь, хоть на что-то пригодную мудрость! Если ты знаешь, что это за попытка: «один слон, другой слон, два слона» — метаться ночами на смятой постели, часами глядеть на стынущие синевой окна, вставать, курить, искать в старом журнале с к у ч н у ю статью, пробегать глазами по строчкам, совершенно не понимая, что там написано, и опять гасить свет в полной уверенности, что заснуть все равно не удастся, — не таскайся по врачам, не выпрашивай у них омерзительные — брр! — голубые таблетки, а садись-ка за баранку такси и увидишь: все пройдет, как семь баб пошепчут!

Лет десять терзала меня бессонница. Последние годы я не ложился, не приняв снотворного. В течение одного лишь месяца такси полностью излечило меня! А потому не спеши отмахнуться от добросердечного моего совета, он совсем не нелеп. Ручаюсь: едва голова твоя коснется подушки, ты провалишься в непробудную пустоту; так сплю теперь я.

Но желтый кэб вошел и в мои сны... Мне снится белый Днепр в предутреннем тумане, сгущающемся у прибрежных ракушек. На допотопном, времен моей юности, пароходе-колеснике мы плывем в село, на родину моей няньки. Я стою за штурвалом и проскочил мимо устья Десны. Теперь надо возвращаться. Но развернуть пароход в узкой, обмелевшей реке невозможно. Возвращаться нужно з а д н и м х о д о м, а этого я не умею. Пароход не слушается меня, точно-в-точь как и чекер, который при том же маневре всякий раз выходит из повиновения. Мне страшно, что все вокруг: команда, матросы, которые и раньше подозрительно на меня поглядывали, — теперь наверняка догадываются, что я не умею по-настоящему управлять пароходом. Вот какой-то свирепого вида матрос догадался, шагнул ко мне; ужас сдавил мне горло... Пронзительный звон взрывает видение. Я вскакиваю и, шаря по тумбочке, пытаюсь заглушить привезенный из России будильник; я все еще сплю и не сразу могу вспомнить, что нахожусь в своей спальне и где расположено окно, а где дверь.

Выезжая на рассвете из гаража, я не направляюсь теперь в не проснувшийся Манхеттен. Что мне сейчас там делать? Хотя я вполне могу за утренние часы и три и четыре раза выиграть гонку, это отнимает слишком много сил и принесит слишком мало денег.

Попав на главную магистраль Квинса, я сворачиваю в сторону, противоположную от моста, за которым меня поджидает бездомная «регулирующая», и гоню свой кэб навстречу встающему над Лонг-Айлендом солнцу: я еду в Кеннеди.

Двадцаточка забытого папы настолько пришлась мне по вкусу, что, разузнав у таксистов, когда приходит первый самолет, я каждое утро отправляюсь его встречать. Ветер листает на тротуарах страницы вчерашних газет. На мне лишь рубашка с короткими рукавами, но я не чувствую прохлады. А в Манхеттене уже сейчас жарко, да еще будет дышать жаром в лицо раскаленный мотор. И потому мне особенно приятно предвкушение отдыха на открытом, обдуваемом со всех сторон пространстве аэропорта, а в манхеттенское пекло я попаду часа на два позднее и к тому же не с пустыми руками.

Я еду и думаю: уймой благ одарило меня такси. И работу на радио мне теперь потерять не страшно: без куска хлеба моя семья не останется. И машину вожу я с каждой неделей все лучше и лучше; и забыл о бессоннице. Только зарабатываю я пока совсем мало.

Появилась у меня эдакая неумная повадка, изо дня в день снижающая мой заработок: я подбираю пассажиров, которых не берут другие таксисты. Например, голосует прохожий, и идущий впереди кэб с включенным сигналом «off duti»⁸ останавливается. Мне бы проехать мимо, а я притормаживаю: может, таксист возвращается в гараж и сейчас выяснится, что этот клиент ему не попутчик. Так и есть. Кэбби открыл окно, о чем-то спросил — и уехал.

Сознавая, насколько оскорбителен для человека, склонившегося к окошку желтого кэба, беспардонный этот вопрос развалившегося на сиденье шефа: «Куда ехать?» — я не позволяю себе допрашивать стоящего передо мной пассажира, а прежде всего приглашаю его в машину.

— Большое спасибо, — благодарит меня пассажир. — Полчаса уже здесь торчу: никто не хочет меня везти. Вы поедете в Бруклин-Хайтс?..

Минут через семнадцать мы на месте. На счетчике 3.65. Казалось бы, грех жаловаться. Но возвращаться в Манхеттен мне придется порожняком, и если в Бруклине я очутился утром, когда ведущие в центр города дороги забиты пробками, едва ли что-нибудь еще заработаю я за этот неудачно сложившийся час.

Сидя в кресле-каталке, голосует инвалид. Таксисты не останавливаются. Однако же не останавливаются они не потому, что все подряд мерзавцы, а потому что кресло-каталка не влезет ни в «форд», ни в «додж» и ни в какую другую машину — кроме чекера.

Инвалид подкатил к распахнутой дверце, а подняться с кресла не в состоянии, ему нужно помочь. Зайдя со спины, я беру клиента под мышки и пытаюсь подтолкнуть. Тяжелое, словно из чугуна, тело. Мои мышцы напряжены до предела, но только тогда, когда я совсем уже выбиваюсь из сил, до меня доходит: на самом деле я не помогаю бедняге, а мешаю ему. Оказывается, мне нужно встать спиной к чекеру и лицом к инвалиду, нагнуться, чтобы он мог взяться за мою шею обеими руками, и, пятась задом, войти в салон и втянуть за собой беспомощную тушу.

За старание мой инвалид по собственной инициативе платит мне вдвое больше, чем показывает счетчик. Но проехали-то мы всего милю. А процедура высадки при неумелом помощнике еще сложнее посадки, и мы расстаемся недовольные друг другом: он из-за меня ушиб ногу, я из-за него потерял время.

В Нижнем городе, на улице Диланси, на достоправной барахолке, куда людей заманивает азарт выискать по дешевке модную тряпку, у края тротуара над горкой картонных ящиков часто стоят евреи в лапсердаках с печальными, как сумерки в Вильямсбурге, глазами и поднятой, подзывающей такси рукой.

Стоят они подолгу. Водители-гои, водители-аиды не хотят возиться с ящиками. Какого лучшего я нажимаю на тормоз? Чтобы услышать это: «Ты хороший человек. Ты понимаешь на идиш?»

Мы уже погрузили все стоявшие на тротуаре картонки, но они все прибывают. Их несут и несут — из убогой лавки под покосившейся вывеской. Широко расставляя слоновьи ноги, топает супруга неудавшегося негоцианта, пыхтит мальчишка с болезненным нервным лицом, а за ними хромой негр катит на тележке еще целую гору.

— Все поместится, — уверяет меня лапсердак, — только счетчик, пока мы стоим, не надо включать: пусть лучше мои деньги пойдут твоей семье, а не этим... Ты меня понял?

Хотя клиент оказался прав и все коробки удалось втиснуть, мой чекер загружен от пола до потолка, я лишен заднего обзора и вынужден вести машину очень медленно, включив аварийные огни.

Попетляв по улочкам-нищевородам за вильямсбургским мостом, мы останавливаемся у такой же пыльной витрины с треснувшим стеклом. 3.05. Я помогаю разгружать, чтобы поскорей освободиться. Наконец бизнесмен, которого осенила счастливая мысль, что именно в этой лавке его товар пойдет нарасхват, достает из кармана деньги. Он отсчитывает второй, третий, чет в е р т ы й — где наше не пропало! — доллар, глядит на меня орлиным взглядом и ждет благодарности. Но каким-то загадочным образом вся печаль из глаз правоторной, обритой наголо еврейской мамаш, из глаз ее худосочного ребенка и хромого негра перелилась в мои: минут десять я искал пассажира, минут десять мы ехали, десять минут гужевались с ящиками, раньше чем через десять минут я не попаду в Манхеттен — когда же я получу следующего клиента? Сколько я могу заработать за этот час?..

⁸ «Не работаю». Согласно правилам таксисту разрешено включить сигнал «off duti», закончив рабочую смену, или в обеденный перерыв, или при неисправности машины.

Остановившись у тележки с горячими бубликами, я заглатываю — мне больно жевать — безвкусное тесто и наблюдаю, как шагах в десяти от меня пытается остановить кэб грузная черная старуха. Мимо проносятся пустые такси. Черные водители, белые водители в упор не видят черной старухи.

— Эй, леди, садитесь в мой кэб! — кричу я. — Сейчас поедем!

Насупленная старуха ковыляет к машине и бормочет (вроде бы себе под нос, но так, чтоб и я слышал):

— Ишь какой умник выискался! Хочет, чтобы клиенты ждали, пока он ест свой ланч.

Дернула меня нелегкая позвать ее! Едва она опустила на сиденье и счетчик клацнул, взвилась:

— Сейчас же убери эти шестьдесят пять центов! Он еще за руль не сел, а я уже должна ему чуть ли не доллар. Я не собираюсь платить эти деньги. Ты все подстроил!

— Что я подстроил? Счетчик включается автоматически.

— Посмотрите на него — «автоматически»! У меня племянник в полиции служит, он тебе покажет!

Прочитать старуху несложно. Можно кликнуть людей, застыдить, довести до слез. Тем более она этого заслуживает. Но сколько нервов у меня вымотает свара! Разве не лучше обратить все в шутку?

— Леди, прошу вас, не жалуйтесь на меня в полицию!

— Отберут у тебя права, тогда будешь знать! — Гордо подняв голову, она удаляется.

Смешно получилось? Не очень...

Съесть бублик я остановился не потому, что был ужасно голоден (вполне можно было еще потерпеть), а потому, что уже минут пятнадцать не мог найти работы. Ел я минуты три, еще две занял эпизод со старухой. Шестьдесят пять центов я потерял. Если следующий пассажир сядет в мой кэб минут через десять, сколько за этот час я заработаю?

Впрочем, ссоры с пассажирами происходили не чаще чем раз в неделю. На какой работе, в каком обществе один из ста встреченных вами людей не доставит вам неприятностей? К тому же во многом я сам виноват. Сколько раз я себе говорил: не подбирай тех, кого не берут другие таксисты. Они ведь лучше знают. И зарекался, и клятвы себе давал, но какой-то бес все толкает и толкает меня: если кто-то в твоём присутствии незаслуженно обижает человека, игнорирует его, неужели и ты тоже должен его не замечать?

Не будем, однако, преувеличивать ни свои горести, ни свои добродетели. Пассажиры, которых заведомо не следовало впускать в кэб, отнимали у меня не так уж много времени: ну час, ну два в день, не больше. Почему же в остальные часы я не мог наверстать упущенное? Хоть кровь из носу — мне необходимо было доискаться: как же все-таки кэббисты делают деньги? Вот за этим, а не только за «легкой» двадцаткой — за пассажиром из аэропорта в город — ездил я на рассвете в Кеннеди. Там на стоянках я общался с таксистами, я учился.

Как и любое другое место, где мы привыкли видеть скопление публики, впервые увиденный безлюдный аэропорт, как безлюдная, скажем, станция метро, вызвал смутное ощущение тревоги. Проехав мимо нескольких пустых полутемных вокзалов, мимо пустых стоянок такси, я оказался перед небольшим, напоминавшим очертаниями полумесяц загоном, наполовину заставленным желтыми кэбами, свернул туда и пристроился за машиной, у которой были включены мигающие аварийные огни. В таксистской очереди это означает «я последний».

Выйдя из чекера и осмотревшись, я почувствовал себя как бы не в своей тарелке: все собравшиеся на этой стоянке кэббисты были черные. Решив, однако, вести себя как ни в чем не бывало, я подошел к группе водителей, громко разговаривавших на каком-то незнакомом языке. Когда я приблизился, они потеснились, дали мне место в общем кружке. Я поздоровался, и мне ответили, а тот, кто говорил, переключился на английский.

Речь шла о том, что происходит с таксистами здесь, в Кеннеди, когда, возвращаясь в Нью-Йорк после отпуска, они превращаются в пассажиров и становятся добычей своих собратьев по бизнесу. Оказывается, самое веселое приключение для кэббиста-клиента — это попасть в машину кэббиста-прохвоста.

— Входим в аэровокзал, — рассказывает молодой пуэрториканец, — я предупреждаю жену: ни слова по-английски! Ночь, диспетчера нет, полиции нет; обращаюсь по-испански к разбитному таксисту, который уже успел вырвать у жены чемодан: «Сеньор, вы можете отвезти нас в «Асторию», графство Квинс?» — Байку рассказывает мастер. Произнося последнюю фразу, он втянул голову в плечи, погасил в глазах блеск остроумия, и лицо его стало тупым и наглым. — «Графство Квинс? Это неблизко... Но за сорок долларов я тебя, так уж и быть, отвезу». Подскакивает второй жулик, рвет из рук второй чемодан: «Amigo, я тебя отвезу за тридцать!»

«Нет, сеньор. Ваша цена, конечно, выгодней, но ведь этот сеньор предложил свою помощь раньше»...

Поездка из Кеннеди в «Асторию» стоит около десятки. Жох катает оказавшегося на заднем сиденье таксиста вокруг всего Нью-Йорка — 37,55!

Таксист заплатил десять долларов и сказал: «Парень, если бы ты сделал кружок монет на пять, я бы слова тебе не сказал, но ты переборщил».

К сожалению, финал истории скомкан, поскольку каждый из слушателей торопится сам что-нибудь рассказать: «А вот я!.. А вот мы!..» Право рассказывать достается седому, лет шестидесяти негру. Опять ночь, опять Кеннеди; к возвратившемуся с женой из Атланты черному таксисту подходит черный шеф.

— «Куда ехать, братишка?» — «Мне нужно в Гарлем, сэр. Вы знаете туда дорогу?» — «Дорогу-то я знаю, но это далеко. Аж за рекой...» — «Сколько же мы будем вам должны, сэр?» — «Смотря по какому мосту поедем». — «Мне бы как-нибудь подешевле». — «Ну, если подешевле — 59.75». Садимся, — рассказывает негр, — моя старушка достает очки, авторучку. «Леди, вы хотите записать мой номер? В чем дело?» «Не обращайтесь, — успокаивает пассажир всполошившегося жулика. — Она со странностями. У нее муж, знаешь, лет тридцать водит кэб в Нью-Йорке». «Братишка, что ж ты мне сразу не сказал?!» «Я тебе покажу 59.75! — взрывается жена таксиста. — Я тебе покажу «братишку!» «Вы же меня просто не поняли, — выкручивается угорь. — Я сказал, что если мы поедем по мосту Пятьдесят девятой улицы, вы сэкономите семьдесят пять центов, которые платят за мост Трайборо»...

Цельный день я думал об этих историях, вспоминал расправу над японцами, учиненную Твелл-долла-линчем. Если квалификация кэбби действительно заключается в том, чтобы выискивать доверчивых людей и обжуживать их, то я, пожалуй, не гожусь в таксисты.

Хотя черные водители запросто приняли меня в свою компанию и отнеслись ко мне вполне дружелюбно, на следующее утро я все же проехал мимо черной стоянки American Airlines и сделал круг по безлюдному аэропорту. Миновав несколько пустых загонов, я увидел желтый хвост, высунувшийся из бетонного, уходящего куда-то вниз туннеля, мигающие огни последнего кэба и через минуту уже знал, что нахожусь на стоянке British Airways, куда примерно через час прибудет самолет из Южной Африки. Еще минуту спустя выяснилось, что попал я на какой-то слет или симпозиум таксистов высшего класса, асов. Один из них вчера ездил в Коннектикут за полтораста долларов, другой отхватил Филадельфию и привез домой двести.

— Зачем мне ваши филадельфии? — сказал третий таксист, со строгим, мужественным лицом. — Я по городу сделал больше.

— Больше? — изумился я.

— Представь себе: двести восемьдесят семь монет! — отвечал кэбби, и его лицо стало еще мужественней.

— Сколько же ты проработал часов? — вмешался в разговор черный кэбби, с которым мы как-то познакомились и поболтали на Пенсильванском вокзале. Родом из британских колоний, он жил в Лондоне, был одним из лидеров профсоюза цветных рабочих, теперь почему-то оказался в Нью-Йорке.

— Я никогда не работаю больше десяти часов, — сказал чемпион таксистов.

— Как же ты сделал триста долларов?

— Двести восемьдесят семь...

Послушать, как зашибают бешеные деньги, было интересно не только мне; чемпиона окружили. Скромность, однако, не позволяла ему хвастать перед другими водителями своим исключительным профессиональным мастерством. Заработал он так много потому, что вчера ему посумаспешдшему везло. Он подобрал пьяного. Пьяный заплатил двадцать долларов вперед, а когда приехали, забыл об этом и дал еще двадцать. Так ведь на том не кончилось! Вылезая из кэба, пьяный попросил проводить его к лифту — еще двадцатка.

Слушатели были в восторге. Как они радовались за этого кэбби! Меня и моего знакомого совсем оттеснили, а чемпиона перебил таксист, которому накануне повезло еще больше! Он вез в Байтстаун невероятно щедрую семейку: папу с мамой и дочку с мужем. Папа дал шестнадцать, мама восемнадцать, дочка двадцать, а муж двадцать пять!

— Зачем они врут? — тихо спросил я.

— Так легче жить. Хочется, чтобы хоть кто-нибудь и им позавидовал, — комментировал парень из Лондона, а врун заливался:

— Я вообще везучий!

— По-моему, не очень, — громко сказал мой знакомый.

Все неприязненно уставились на него, но он не смутился.

— Те, кому в жизни везет, не водят такси. Те, кому везет, сейчас еще спят. Они проснутся, когда мы вернемся в город, и поедут в наших кэбах в свои офисы — продавать дома, нефть, кока-колу, акции. Бывают везучие бизнесмены, везучие актеры, адвокаты, а везучих кэбби не бывает. Здесь все неудачники...

Потупились, никто не сказал ни слова. Мне тоже стало не по себе. Бочком, бочком отодвинулся я в сторонку и по проходу между желтыми машинами спустился в бетонный, продуваемый ветром туннель.

Туннель этот вывел меня к вестибюлю аэровокзала, у входа в который тоже собрались таксисты. Они стояли полукольцом, в центре которого находились двое: один, с зубами из нержавеющей стали, сидел на гранитном выступе стены, а над ним громоздился детина, рот которого сверкал золотом, как сокровищница Аладдина. Именно по этим зубам, золотым и железным, я догадался, что оба мои земляки.

Острием булавки Аладдин тыкал сидевшего перед ним кэбби в щеку.

— Здесь и здесь одинаково?

Медицинский осмотр в такой необычной обстановке сопровождался еще более необычным для врача и больного разговором.

— Ты же идиот! — приговаривал врач, постукивая пациента по колену небольшим гаечным ключом, а пациент дрыгал ножкой и грызлся:

— Так сделай меня умным!

— А кто это может? Ты человеческий язык понимаешь? Тебе нельзя работать.

— А кто за меня будет платить?

— Ты сдохнешь!

Ко мне подошел грузин в кепке, промышлявший у отеля «Мэдисон»:

— Самолет уже приземлился, сейчас поедем.

Вровень с нашими лицами поднялся назидательный палец.

— Не будем забывать, товарищи, что рейс м э ж д у народный: пассажиры должны пройти таможенно.

Габардинов, хоть и с бахромой на рукавах, макинтош. Такая же выдавшая виды, но некогда подобранная в тон велюровая шляпа.

— Вы его знаете? — спросил я таксиста в велюровой шляпе, указав взглядом на доктора с золотыми зубами.

Чуть приопустились веки, и это означало — да.

— Он врач?

Последовал едва заметный кивок. Очевидно, Габардиновы Макинтош привык к тому, что окружающие у л а в л и в а ю т его ответы.

— Почему же он работает в такси?

— А что еще ученый человек может делать в этой вонючей Америке?

«Вонючей»? Я не рискнул противоречить вслух, но и согласия с категорическим таким суждением не выразил. Это было расценено как дерзость. Царапающий взгляд измерил мой рост.

— Когда ты приехал?

— Года три назад.

— И до сих пор ничего не понял! — Габардиновы Макинтош закинул рукава за спину и зашагал прочь, а грузин в кепке покачал головой, осуждая меня.

— Кто это? — поинтересовался я.

— Балшой человек! — с печалью ответил грузин и вернул разговор в заглохшее было русло: — Земляк, я тоже не сразу раскусил этих американцев.

И он добросовестно, обстоятельно принялся растолковывать мне разницу между обманчивым впечатлением, которое американцы производят на доверчивого эмигранта поначалу, и тем, что они собой представляют на самом деле. Трудлюбивый грузин начал водить желтый кэб на второй день по приезде, хотя по-английски не понимал ни слова, а Нью-Йорка, разумеется, тоже не знал:

— Пассажиры — ты же сам знаиш: смеются, дорогу показывают, типы⁹ хорошие платят. Но я тогда еще глупый бил, думал: какие добрые, какие хорошие люди!

Поумнел грузин примерно через неделю, когда его с женой пригласили на обед чета волонтеров, помогавших новопривывшим из России.

— Абкинавэны абет. Суп из пакетика, турка¹⁰ мороженая. Павериш, я это кушат нэ мог. Варенья немножко скушал, чаю выпил, гаварим спасибо и пошли в синагогу...

Однако вовсе не обед — скромный или неудачный — задел грузинское самолюбие, а то, что

⁹ Искаженное английское tips — чаевые.

¹⁰ Искаженное английское turkey — индейка.

после службы в синагоге, когда евреи столпились на крыльчке (и тут я своему приятелю вполне поверил), волонтеры стали отчаянно хвастаться своим гостеприимством: «Познакомьтесь, это семья евреев из Советской Грузии; мы их только что обедом угощали...» Рассказ сопровождался подмигиваниями и перешептываниями: можете, дескать, представить себе, какой это был обед и как наши гости — дай им Бог здоровья, — уписывали американские вкусности! Именно тогда у грузина в кепке открылись глаза и он понял, что Америка — «ванючая» и народ в ней живет — «ванючий»!

— Приходим дамой, я гаварю жене: сделай стол!

— Какой стол?

— Абкинавэны! Ты видел когда-нибудь грузинский стол?

Я поддакнул, и грузин продолжал:

— Делает жена стол, я звоню этим валантерам: «Приезжайте!.. Пачиму праздник? Просто пакушаем вместе. Вчера ми у вас кушали, сегодня ви у нас покушаете. Только, пожалуйста, позвоните своим друзьям и пригласите их тоже». «Каких друзей пригласить?» «Каких хатите. Пригласите десять человек, двадцать человек, а еще лучше будет, если пятьдесят человек». «Нет у нас столько друзей», — удивляются волонтеры. «А вы пазавите соседей. Пазавите своих детей. Дети у вас ест, соседи ест — всех завите!»

Ни детей, ни соседей волонтеры не привезли, но сами приехали. Зашли — ахают: «У вас, наверно, свадьба. Почему же вы не сказали, мы бы привезли подарки...» А жена-грузинка, провозившаяся в кухне не приседая добрых часов двадцать, хохочет: «Какая свадьба? Ми каждый день так кушаем». «А что нэ скушаем, — сверкнул глазами глава кавказской семьи, — в памойное ведро выбрасываем».

К нам присоединился еще один кавказец:

— Им трудно понять, как ми жили...

Это «им» относилось вовсе не к волонтерам и вообще не к американцам. Незнакомый грузин имел в виду меня. В отличие от остальных эмигрантов кавказцы не считали себя русскими. «Мы не из Советского Союза. Мы из ФРГ, — шутили грузины, — из Федеральной Республики Грузии».

— Маленький пример, — сказал вступивший в наш разговор грузин, поясняя свою мысль. — Допустим, я захожу в парикмахерскую. Побрили, сделали компресс, массаж, я встаю, ничего не плачу, говорю спасибо. Мне отвечают: «Пожалуйста, уважаемый». Прихожу в другой раз, сделали маникюр — спасибо. «Пожалуйста! Заходите к нам...»

— А ты, значит, опять не платишь?

— Ни капейки! Прихожу в третий раз. Постригли, уложили волос, я небрежно кидаю сто рублей, парикмахер говорит: «Большое спасибо. Заходите к нам, уважаемый».

Тут, наверное, мне бы самое время, воспользовавшись дружеской беседой, расспросить таксистов, сколько они заработали накануне, и подробнее выяснить, как вообще делает деньги водитель желтого кэба, но вместо этого я зачем-то сказал:

— Не знаю, какую ты получал зарплату, а я из своей не мог платить по сто рублей парикмахерам. На сто рублей моя семья должна была жить дней десять.

Лица грузин расцвели, так приятно им было слышать мои слова.

— Чтоб моя мама была так здорова, — побожился любимец парикмахеров. — Никогда в жизни не получал я никакой зарплаты!

— Как же ты жил?

— Я хорошо жил. Красиво.

— Я имею в виду — кем ты работал?

— Скульптором я был, — с горечью ответил грузин. — Панимаиш: скульптором!

Но я не понимал.

— Почему же ты водишь такси?

— А что еще скульптор может делать в этой паскудной Америке?!

Над сонной стоянкой пронеслось движение: стеклянные двери аэровокзала отворились, взревели пять-шесть одновременно включенных моторов, кэбби спешили к своим машинам. Промелькнул таксист с железными зубами; он бежал, прижимая к груди, словно раненую, левую руку.

Хорошо в аэропорту на рассвете! Тишина, ветерок... Нас пятеро или шестеро заспанных русских водителей. Всей компанией, заперев машины (кое-кто из ребят еще сунет электронный счетчик под мышку, чтоб, часом, не свистнули), мы отправляемся в буфет пить кофе. По дороге опять начинаются таксистские байки. Хотите послушать еще одну? Ну хотя бы о том, как Доктор получил свой первый доллар на чай.

Он тогда только-только провалил медицинский экзамен, и его благоверная велела ему либо идти работать, либо убираться из дома ко всем чертям. Старый знакомый, с которым они вместе работали в Одессе в таксомоторном парке, научил Доктора, как купить за сто долларов лиценз, и вчерашний врач стал кэбби.

Нужно ли упоминать, что разговорная речь таксистов отличается от учебных текстов, по которым иммигрант изучает язык. Куда ни придет Доктор: в аэропорт, к гостинице, в ремонтную мастерскую, — всюду слышит: «Фак ю! Фак ю!» Спросил своего кореша: что это значит? Тот объяснил:

— Жаргончик... Вместо thank you¹¹ таксисты в Нью-Йорке обычно говорят fuck you¹².

— А почему они так говорят?

— Почему да почему. Они так говорят в шутку...

Что-то, а пошутить Доктор всегда любил. Но чтобы шутка была уместна, нужен повод. Однажды какая-то старуха из Боро-парка, расщедрившись по случаю пятницы, оставила а идише драйвер¹³ доллар на чай!

— Фак ю! — осклабился Доктор.

— Как вам не стыдно, я старая женщина...

— По-моему, вы совсем не такая старая, — галантно отвечал Доктор.

— Закрой свой грязный рот! — зарычала старуха. — Где твоя благодарность?! Такое говорят человеку, который дал тебе целый доллар?!

— Ша! — сказал Доктор. — Если вам мало, я могу сказать больше: ай фак ю вэри мач!

...Хорошо среди своих! Я знаю уже почти всех русских, встречающих в Кеннеди ранние самолеты. Вот Алик-с-пятнышком — официант из ленинградского «Интуриста». Смазливенький, с розовой родинкой на щечке, он подмигивал посетителям и потихоньку предлагал им расплатиться валютой. Принимал валюту по официальному советскому курсу: семьдесят копеек за доллар, — и спускал эти доллары на черном рынке раз в семь дороже. Алик-с-пятнышком был состоятельным человеком.

— Как же тебя не взяли за одно место? — поинтересовался я.

— О чем ты говоришь! Я восемь лет проработал, ты спроси: хоть тучка над моей головой пронеслась?

— Значит, ты был п о л е з н ы м человеком...

— Не говори глупостей!

— По-другому не бывает.

— Ты не все знаешь, — фыркнул Алик. — Я никого не закладывал. Но если меня просили...

— О чем же тебя просили?

— Боже мой! Ну, могли сказать, чтоб я задержал людей за столом, пока в номере посмотрят ихние вещи. Так я подавал горячее на полчаса позже... Биг дил!¹⁴

— И это все?

— Ну Боже мой! Ну могли сказать, чтоб я поставил на стол тарелочку с микрофоном... Биг дил!

Дальше в своей откровенности Алик не шел. Да и к чему мне было добиваться его признаний? Здесь в приличный ресторан официантом Алика не брали, а подручным он даже начинать не хотел. Не позволяла профессиональная гордость:

— Я обслуживал дипломатические приемы — по четырнадцать блюд на обнос! Пусть я сгнию в этой желтой клетке, но убирать со стола грязную посуду не буду!

Раньше всех приезжали на стоянку Помидор или Валет, партнеры. Они купили такси пополам и работали на нем через день. Помидор был краснощекий, кругленький, а кличка второго происходила от названия корпорации, от надписи на дверце кэба: «Valet Taxi Corporation». Золотые руки, слесари экстра-класса, они по приезде, однако, бедствовали, гладили за гроши одежду в химчистке. Вдруг работа нашла их! Мелкий бруклинский подрядчик выхватил горящий заказ: срочно смонтировать сантехнику в надстройке на Парк-авеню. «Сумеете?» — «Что за вопрос!» Стелился ребятам под ноги, еду им заказывал в китайском ресторане — только работайте! Работали день и ночь. Еще не закончили — выгнал! Слесари умели читать чертежи, но не умели читать по-английски: к унитазам они подключили горячую воду...

К тому времени, когда мы встретились, у Валета и Помидора мнение об Америке сформировалось окончательное:

— Язык педерастов и страна педерастов!

Завсегдатаем утренней стоянки был и Длинный Марик, неизменно возлежавший на капоте своего «форда». В ясную погоду одессит, принимая солнечные ванны, сбрасывал рубашку, и тогда с

¹¹ Спасибо (англ.).

¹² Грубое ругательство.

¹³ На идиш — еврейский водитель.

¹⁴ Большое дело!

его ностальгической груди в американское небо глядел грустный Ленин. Длинный Марик, однако, не презирал Америку. Он был разочарован. Он всю жизнь рубил на Привозе мясо...

— Неужели невозможно устроиться рубщиком на Брайтоне? — спросил я.

— Под! — отвечал Марик. — При чем здесь твое «невозможно»? Рубщик, по-твоему, это что — призвание? Как народный артист? В Одессе я делал дела!

— А здесь?

— А здесь я могу делать только на горшок...

Единственный человек, от которого я услышал нечто вразумительное на ту же тему, был Ежик:

— Ты когда-нибудь обращал внимание на то, как тут строят дома? Видел особняки в Форест-Хиллс, в Дугластаун? Симпатичный фасад, на втором этаже балкончик. Но выходит на балкон не дверь, а окно.

— Ну и что?

— Балконом нельзя пользоваться.

— Какой из этого вывод?

— Выслушай! Строят жилой дом рядом с Линкольн-центром. На двести квартир. Каждая чуть ли не полмиллиона, а балконов нет.

— Ты чокнулся: балконы, балконы... Навязчивая идея?

— Как ты не понимаешь: это же архитектура «фак ю», философия «фак ю»!

— У тебя есть право судить о подобных вещах?

— Право! Я архитектор! Мы с женой специально ходили смотреть эти квартиры. Звукоизоляция нет, планировка жуткая: не комнаты, а какие-то кишки, каморки. Лишь бы считалось: три спальни! При входной двери — мраморный порожек: лишь бы считалось люкс — и гоните бабки!

— Тихий бред, — отрубил я. — Сто домов построили хорошо, а десять плохо. Что из этого следует? Если хочешь говорить всерьез, скажи: почему ты, архитектор, водишь такси?

— А что еще мне остается делать? Кому здесь нужны архитекторы?

— Если не передергивать, это будет звучать иначе. Сегодня любому архитектору трудно найти работу. Кто же виноват, что ты приехал, не выучив языка, что тебе теперь вдвое трудней?

— Пошел ты знаешь куда! — взорвался Ежик.

Он, безусловно, чего-то недоговаривал. Многие инженеры из эмигрантов работали в Нью-Йорке, не зная языка. Им меньше платили, они занимали должности техников, но не садились за баранку такси. Почему он не устроился для начала простым чертежником? Откуда эта ненависть, отчаяние? Ответить на эти вопросы мог только сам Ежик, который, нахамив мне, перестал со мной здороваться. Я же на него не сердился, но и не терзался его судьбой.

Приятно, когда ты всех знаешь, а еще приятней, когда все знают тебя. Ко мне больше не обращаются «эй, чекер!». Меня называют Бублик. Если мне лень тащиться в буфет, те, что идут, спрашивают:

— Бублик, тебе принести кофе? С молоком?

Даже Макинтош меня отличает: всем общий кивок, а со мною за ручку. Доктор — мой лучший друг:

— Я свою суку зарублю топором!

— Что такое?

— Вчера я чинил машину, не сделал бабки. Прихожу домой — она не дает мне кушать.

— Вы серьезно?

— Нет, я смеюсь... Сняла с плиты кастрюлю с горячим борщом: «Если откроешь холодильник, этот борщ будет у тебя на голове».

— А дочь не вмешалась?

— У меня нет дочери!

Молчу уж, чтоб не бередить его раны, но у него потребность высказаться:

— Голодный сажусь к телевизору: надо же успокоиться, от нервов меня аж трясет. А эта дрянь стала перед телевизором и закрывает экран!

— Зачем?

— «Ты его не покупал, ты не будешь его смотреть!»

— Сколько ей лет?

— Шестнадцать. Взрослый, сформировавшийся человек.

За стеклами очков — слезы.

— Доктор, милый, плюньте! Будь они трижды неладны, уйдите от них. Вы же молодой, здоровый мужик. Сколько здесь одиноких эмигранток, симпатичных, добрых, которые счастливы будут...

Рассердился:

— Не порите хреновину! Что я — плейбой? Жених? Это моя семья. Это мой крест, мой позор, но я не могу без них жить...

В расписании произошло изменение, о котором никто не знал. Стеклозванные двери аэровокзала растворились внезапно, но еще большей неожиданностью было то, что из них к нашим желтым машинам повалила черная толпа...

Вместо международного рейса первым прибыл внутренний. А внутренними рейсами по ночам, по сниженным ценам, летают в основном черные пассажиры.

Кэбы один за другим выезжали со стоянки и мчались мимо черной толпы. Уехали пустыми Доктор, Ежик, Макинтош. Удрали двое моих знакомых — чех и поляк. Удрал Йоська, толстый мальчишка, который стеснялся мочиться на асфальт и возил с собой баночку с крышечкой. Приехав в аэропорт порожняком, проторчав здесь часа полтора в ожидании самолета, таксисты не желали впускать негров в свои машины. Неужели они так их боятся?

Я остался и получил работу. Правда, не на двадцать долларов, а примерно на десять — в Джамайку. Отвезти нужно было солдата-отпускника и его стереозвуковую установку в картонной коробке. Установка была громоздкой, коробка не лезла в салон; мы с солдатом изрядно намучились, прежде чем сообразили пристроить ее торчком в открытом багажнике. Зато солдат оказался — душа нараспашку. Стерео он купил случайно вчера в Чикаго, прямо на улице, где живет его девушка. Шикарная вещь, даже не распечатанная, и всего сто долларов!

«Краденая», — подумал я, но не попрекнул солдата. К любимой девушке он прилетел из Европы, сюрпризом решил нагрятуть, а тут под руку подвернулся такой подарок. Сторговался с продавцами, что за ту же цену они еще и помогут поднять установку на четвертый этаж. Подняли, позвонил. «Кто там?» — слышит солдат родной голосок. «Доставка! Из магазина „Сирс“». Что такое? Почему? Кто заказывал? Ах!.. Звякнула, натягиваясь, цепочка, забило сердце солдата. Сейчас обовьет его — обалдевшая от радости, горячая спронея... Да не обвила. Из-за двери выглянул задрапированный в простыню мужской торс. Такие вот дела...

Из Чикаго солдат полетел в Нью-Йорк, где его ждут всегда — родители, сестренки. Им сейчас мы и возем злосчастную стереоустановку. Рассказывал солдат и об армии: уважительно, серьезно. В армии он стал другим человеком: отучился бессмысленно убивать время. За год из него сделали классного автомеханика. Да и вообще он обучен теперь уйма полезнейших вещей, буквально на все случаи жизни.

— Ну, например...

Задумался солдат, какой бы привести пример, и привел — такой, что для меня интересней и быть не могло: как должен вести себя американский десантник, если попадет в плен к русским. Прежде всего надо пытаться бежать. Даже если шансов на успех нет.

— Зачем же тогда бежать?

— Они будут меня ловить, а это отвлекает силы противника.

— Ну а если тебе удалось бежать, что же ты, черный, будешь делать на советской территории? Где спрячешься?

— Спрятаться нужно у священника или у проститутки.

— Но ведь могут поймать, начнут допрашивать...

— На допросах нужно прикидываться дурачком. Если спросят, сколько в полку людей, надо сказать: очень много, я не считал. Я вообще, мол, плохо учился. Если спросят, сколько танков, надо сказать: тьма-тьмуца, тысяч пять.

— Поверят ли? — усомнился я.

Солдат подмигнул: какое ему дело — поверят, не поверят. Главное, задурить им головы!

На крыльце отчего дома солдата встречала вся семья. Ойкнула и повисла на шее молодая мама. Крепко обнялись отец с сыном, визжали сестренки, одаренные серебряными долларами. Мы с папой, уже собравшимся на службу — при галстукке, в жилетке, — втащили стереоустановку на крыльцо. Оторвавшись от сестренок, солдат вынул бумажник.

— Сколько с меня?

— На счетчике 7.75, — дипломатично ответил я.

Солдат отсчитал восемь долларов, я дал ему квортер сдачи. Монетка нырнула в карман мундира. Повисла драматическая пауза.

— Почему ты так заплатил? — спросил я. — Разве я обязан таскать твое стерео?

— Но мы ведь не просили вас этого делать, — вежливо возразила светящаяся радостью мама.

Я уже слышал, да и по своему скромному опыту знал, что черные клиенты, как правило, не платят чаевых, но я не предполагал, что это может быть до такой степени обидно...

Мое новое положение среди русских таксистов, которым я очень гордился, досталось мне нечаянно. Въехав однажды на стоянку, я занял очередь за шуплым, с железными зубами Узбеком,

которого уже пару раз в моем присутствии осматривал Доктор. Узбек курил, щурясь от дыма, не выпуская сигареты изо рта, а правой рукой тем временем баюкал, нянчил левую:

- Болит...
- Дать тебе таблетку?
- А что, она поможет?
- Снимет боль.

Запил таблетку моей кока-колой и, ни слова не сказав, отошел. А минут через десять вернулся:

- Отпустило. — С видимым удовольствием вращал кулаком, сжимал и разжимал пальцы.
- Что у тебя с рукой?
- А я знаю?
- Какое у тебя давление?
- Двести десять.
- Тебе нельзя работать!
- А платить за меня будешь ты?

Узбек — еврей из Самарканда — купил «медальон» год назад. Своих денег было мало, нахватал у ростовщиков. Откуда ему было знать заранее, что он заболит? И о чем теперь говорить?

- Лучше посмотри на мою фамилию.

Как и многие из таксистов, Узбек возил с собой фотографии в рамочке на передней панели: супруга, детишки. Мне казалось это странным, я не понимал еще, что кэбби почти не видятся со своими семьями.

- Сколько же часов в день ты работаешь?
- Как придется: когда пятнадцать, когда восемнадцать.
- Сколько дней в неделю?
- Семь... Будь она проклята, эта Америка!

В разговор, не замечая меня, вмешался Ежик:

— Тебе сто раз говорили: ростовщикам, конечно, не платить нельзя, но банку месяц-два не платить можно.

- Они же отнимут машину.

— Слова не скажут. Им нужно написать письмо. Что ты заболел и в этом месяце вынужден пропустить платеж. Укажи, какое у тебя сейчас давление. Если ты хоть несколько дней посидишь дома, попьешь лекарство — полегчает. А расплатишься с ростовщиками — наверстаешь долг банку...

- Ты хорошо говоришь, но кто это может — писать такие письма?
- Хочешь, я напишу? — предложил я.
- По-английски?!
- Я напишу с ошибками, но смысл будет понятен.

Пока я писал, вокруг собрались таксисты. Скульптор заглянул через плечо и тоном знатока похвалил:

- Мне нравится твой слог.
- «Ви» надо говорить, «ви», — строго указал ему Габардиновы Макинтош, а Доктор посетовал вслух:

— Культурный человек должен возиться из-за этой скотины! Пусть я не доживу до завтрашнего утра, если он отправит письмо.

- А почему нет? — Узбек неуверенно пожал плечиком. — Что мне, жалко наклеить марку?

Не знаю, отправил ли Узбек письмо, но он продолжал работать по семь дней в неделю, и нянчил больную руку, и присил у меня таблетки. Мой же общественный статус подпрыгнул на триста пунктов! Чувствовавший себя одиноким среди таксистов Макинтош решил, что общаться с человеком, который умеет написать по-английски письмо, для него не зазорно, и почти силой вытаскивал меня из кружка:

- О чем вы можете разговаривать с этими торгашами?
- Почему торгашами? — неуверенно протестовал я. — Гиви, например, скульптор...
- Какой он скульптор! На кладбище надписи на памятниках делал.
- А этот, архитектор?

— Ви очень наивный, — покровительственно произнес Макинтош. — Он числился архитектором при ипподроме. Ему говорили: поставьте здесь еще одну кассу, к этой трибуне сделайте навес...

- Он был рабочим?

— Он выписывал рабочим наряды. Лично я такого, извиняюсь за выражение, горе-архитектора не взял бы даже на сто рублей.

— А кем вы работали? — спросил я и понял, как болезненно ждал Макинтош этого вопроса. Эффектным, отработанным жестом откинул он габардиновую полу и вынул из прорезного кармашка старого пиджака темно-красную книжечку — удостоверение своего бывшего могущества. Секунду-другую у меня перед глазами маячила тисненая золотом надпись: **СОВЕТ МИНИСТРОВ АБХАЗСКОЙ АССР...** На таксистской стоянке, куда мы оба, недоспав, спешили на рассвете, эта претензия, эта красная книжечка могла вызвать только насмешку. И все-таки я протянул руку, чтобы взять документ. Мне хотелось своими глазами прочесть, что записано в удостоверении: был ли в действительности Габардиновыи Макинтош тем, за кого с такой настойчивостью себя выдавал, — номенклатурным вельможей? Печать, залихватские подписи... Ага, вот: «Заместитель начальника республиканского стройуправления».

— Я был первым заместителем, — уточнил Макинтош, но это было неправдой. Если бы он и в самом деле был первым, то уж проследил бы, чтоб именно так и вписали. Должность была никак не генеральской, и ей не соответствовали все эти замашки: полуприкрытые веки, чуть заметные кивки, его вопросы: «Как здоровье? Как семья? Как работа?» — которые он повадилса задавать мне, не оставляя пауз для ответов.

Теперь я понял, почему буквально с первой же минуты распознал в нем начальника. Копируя кого-то, перед кем прежде заискивал, этот провинциальный заместитель вжился в утрированный образ, в карикатуру. Впрочем, нетрудно было догадаться, что служебное положение позволяло ему воровать дефицитный цемент, спекулировать ваннами и умывальниками.

— Денег было море? — подмигнул я.

Он не испытывал ни малейшей неловкости, хотя вместо крупного руководителя в нем признали крупного афериста.

— Павеpишь! — сказал он вдохновенно. — Никогда я не знал, сколько у меня денег...

Он закапывал свои миллионы в подвале, спускал пачки сторублевых купюр на веревке в запаянной консервной банке в жижу дворовой уборной и жил в постоянном страхе: если поймают — расстрел. Потому и уехал. Из какого же источника питалось его презрение к Скульптору, к Ежику, ко всем остальным таксистам?

Всю жизнь я прожил в России, а России — не знал. Разве не из таких вот «работяг», «шоферюг», продавцов, официантов, не из Доктора, у которого они все лечились (и который был убежден, что грибы становятся ядовитыми, если по ним проползет ядовитая змея), да еще Начальника, авторитет которого они признавали, разве не из этих самых человеческих единиц складывалось то, что мы все называем советским народом? Более того: люди, с которыми меня столкнула судьба в Нью-Йорке на таксистской стоянке, за тридцать земель от страны, где мы родились и выросли, — были никак не худшей частью этого народа. Они были тружениками и не были пьяницами. Если утром шел дождь, они не приезжали встречать первый самолет: отвозили жену на работу, детей в школу, хотя за это им приходилось расплачиваться лишним часом ночного труда. Они были евреями, когда шли в синагогу, чтоб после службы поклониться у раввина «мэбэль». Они были грузинами, когда чванились: «Разве вы можете понять, как мы жили?» Они были советскими, когда, поссорившись с пассажиром, грозили американцу: «Подожди, вот придут наши!»

Таксисты были ничуть не хуже и не глупее людей, с которыми я привык общаться. Единственное отличие, которое я заметил, заключалось в том, что кэбби — и белые, и черные, и русские, и американцы — обладали, если можно так выразиться, недисциплинированным мышлением.

Любой из моих пассажиров рассказывал о специфике своего куда более сложного, чем наш, бизнеса несколькими фразами, за пять минут или за десять, сообразуя степень подробности лишь с продолжительностью поездки. Мои же нынешние приятели, таксисты, не умели этого, как я не умел ездить задним ходом. Если я спрашивал, что нужно делать, чтобы зарабатывать побольше, они отвечали:

— Умным надо быть...

Морща от напряжения лоб — столь заумным показался ему мой вопрос, — кэбби-ветеран из Бенсонхерста сказал:

— В такси нужно иметь мазл¹⁵.

— Будешь работать — научишься, — резюмировал Алик-с-пятнышком.

Доктор подвел ко мне кадрового водилу, с которым когда-то работал в таксомоторном парке в Одессе:

— Скотина, объясни человеку все как следует, чтоб он не мучался.

— Почему не объяснить, — кивал таксер. — Он не делает бабки потому, что медленно едет. Я видел, как он едет.

Тем острее было задето мое самолюбие, что укол был справедлив. Я спросил:

— С какой скоростью ты сейчас ехал в Кеннеди?

¹⁵ На идиш — счастье.

— Семьдесят.

— Но ведь ты же часа полтора проторчишь здесь и потом под отелем не меньше. Какой смысл в том, что ты выиграл десять минут на шоссе?

— Это дело привычки.

— А гнать с такой скоростью не опасно?

— Работа на транспорте связана с авариями.

Можно хоть что-нибудь почерпнуть из таких объяснений? Скажите, можно?

— Доктор, вы в Союзе тоже водили такси? — поинтересовался я.

— Почему вы так решили? — обиделся Доктор.

— Я уже несколько раз слышал, что вы работали в таксопарке.

— Но я работал врачом. — Он благодушно улыбался. — Скотобаза — это же лучшие годы моей жизни!

— А что вы там, собственно, делали?

— Стоял на проходной и каждой скотине говорил: «Дыхни!» К обеду я был уже пьяный без водки.

Стоявшие вокруг нас таксисты заржали.

— Чем же вам эта роль так нравилась?

— Нравилась? Роль? — насмешливо переспросил Доктор. — Тем, что каждая скотина давала мне двадцать копеек!

Я поморщился, и губы Доктора искривила ирония.

— Посмотрите на него: ему противно! Он такой интеллигентный, что умеет даже писать по-английски! Что ты понимаешь? — клевал меня Доктор. — Я же лечащий врач с многолетним опытом. Я принимал в поликлинике по сорок больных в день и после этого ходил по вызовам: у меня пухли ноги! Я работал, как вол, как ишак, а получал сто десять рублей в месяц. Ты забыл, сколько стоила курица на базаре? Килограмм картошки — рубль. Мы же подышали с голоду!..

Он глядел куда-то мимо меня, будто там, за моей спиной, находился самый важный для него слушатель.

— Если я приходил в дом, где на столе стояла тарелка с яблоками, так я уже смотрел не на яблоко, а на эту тарелку, пока мне не говорили: «Доктор, пожалуйста, скушайте яблочко». Тогда я брал д а а — и пихал в карман. Я мог своему ребенку покупать яблоки? — Доктор опять бросил взгляд куда-то мимо меня. — Мы жили в одной комнате с родителями, на четырнадцати метрах. Моя жена каждую ночь отворачивалась к стенке, она стеснялась! Я постоял месяц на проходной таксопарка — мы ожили! Мы имели что кушать. Мы через год купили кооперативную квартиру!

На русских таксистов то, что говорил Доктор, не произвело впечатления. Разве только врачи там бедствуют? Обо всех, кто не умеет подворовывать, там говорят: человек не умеет жить. Наш разговор был никому не интересен, и он заглох бы, если бы, оглянувшись, я не заметил, куда поглядывал Доктор: за моей спиной стоял толстый мальчишка, тот самый, что возил с собой баночку, и внимательно слушал. Тут черт дернул меня за язык.

— Погоди, — перебил я Доктора. — Если тебя, врача, советская власть так унизила и ты был вынужден собирать на проходной по двадцать копеек с рабочих, то почему же, попав в страну, где живут не «скоты», а люди, ты ее проклинаешь?

— Атомную бомбу им на голову! — закричал Доктор и бросил быстрый взгляд на мальчишку. Дался нам обоим этот мальчишка!

— Бомбу? — переспросил я. — За то, что твоим старикам дали пенсии? За то, что твоя семья и твои родители живут в бесплатных, по сути, квартирах? За это?

Неострожные слова мои упали, как спичка в сено. Что поднялось!

— Поц! Поц! — в одну душу орал весь кружок, а Доктор схватился за голову и стонал:

— Бож-же! Как-о-ой поц!

— Нам дают то, что нам положено!

— Положено!

Крича чуть ли не громче всех, я пытался делать вид, будто абсолютно спокоен:

— Я тоже так считаю: если в доме гость, его надо накормить, приютить. Но если вместо спасибо гость скажет, что это ему положено, что мой дом воюющий!..

— Он идейный! — глумился Доктор. — Беги! Беги скорей, сообщи куда следует!

— Ах вот как? — обрадовался я. — Ты, стало быть, советуешь донести на тебя? Прекрасная мысль. Но если я пойду в Эф-Би-Ай¹⁶ и скажу, что ты ведешь антиамериканскую пропаганду, объясни, что из этого выйдет? Что они могут тебе сделать? Они могут у тебя отнять талоны на бесплатные продукты? Выселить тебя из дешевой квартиры?

¹⁶ ФБР.

Лицо Доктора осенила догадка:

— Они могут поцеловать меня в же!

— Правильно,— сказал я.— В этой стране даже для таких, как ты, существует свобода слова. Даже твои права охраняет конституция...

Почему непристойная, режущая слух выпренность звучала в моих интонациях? Разве я говорил не то, что думал?

— Минуточку!— Разочарованный рубчик с Привоза, он же Длинный Марик, приподнялся на своем ложе.— Товарищ Бублик, убедительно прошу вас ответить на такой вопрос: почему корова делает б л и н ы, а коза о р е ш к и?

Длинный Марик молот какую-то чепуху, но его внимательно слушали. Словно воочию Марик увидел слева от себя на асфальте коровий блин, справа — козы орешки и застыл перед необъяснимостью загадки. Таксисты нервно хихикали, их щекотал восторг.

Я вынужден был что-то сказать и, саркастически ухмыльнувшись, буркнул: «Отцепись, не знаю»; но именно такого ответа Длинный Марик и добивался. Он широко развел руки, подчеркивая всю мою несостоятельность.

— Так если ты даже в говне не разбираешься, как же ты берешься рассуждать об американской конституции?

Толстый мальчишка смеялся вместе со всеми, бессильная злоба душила меня. Но я знал: споря против всех, выиграть невозможно,— и снова набросился на Доктора:

— Сколько раз ты завалил экзамен?

— Допустим, четыре.

— Почему же ты не можешь его сдать?

— А кто вообще может сдать их экзамен? Это же мафия.

— Какая мафия?

— Медицинская. Разве эта сволота подпустит кого-то к своей кормушке?

— Но я знаю минимум трех врачей, которые сдали с первого захода.

— Значит, забашляли...

— Они такие же нищие эмигранты, как и ты.

Пытаясь привлечь внимание таксистов, я достал из кармана деньги.

— Доктор, за каждый правильный ответ я буду платить тебе пять долларов. Как по-английски называются почки, ты, конечно, знаешь?

— Кидней,— сказал простодушный Доктор.— Давай бабки.

— Нет. Пять долларов ты получишь, если скажешь, как называются *надпочечники*. Ну! О чем ты думаешь?

— Допустим, что я забыл...

— А как будет *предплечье*?

Возникла нехорошая пауза.

— *Надкостница*?

— Куда ты гнешь?— сказал Доктор.

— Я хочу тебе доказать, что ты водишь такси не потому, что тебя не пускает к кормушке «мафия», а потому, что ничего не знаешь.

— Дурак!— рассмеялся Доктор.— Я двадцать лет лечил людей.

— «Скотов».

Он сделал вид, что не слышал.

— Этот английский мне ни на хрен не нужен. Я могу лечить эмигрантов.

— Нет, не можешь,— сказал я.— Тебя на пушечный выстрел нельзя подпускать к больным. Ты не знаешь американских лекарств, не умеешь пользоваться справочниками. Мы с тобой говорим не в первый раз: ты не в состоянии объяснить механизм инфаркта. Ты после института не прочел ни одной книжки...

— Да кто ты такой!— двинулся на меня Доктор, он готов был меня избить.— Над тобой же все смеются. Ты даже в таксисты не годишься!

— Правильно,— сказал я,— ты точно такой же врач, как я таксист.

Мальчишка давно отошел и курил на пару с другим пацаном самокрутку марихуаны; мы оба — и Доктор и я — в равной степени были ему смешны и противны. Но я продолжал разоряться:

— В этой «воночей» Америке есть, по крайней мере, одно преимущество: здесь вас всех н а с и л ь н о никто не держит!

Они говорили: «Разве был бы в Кишиневе хоть один камень, который я не поцеловал бы?», «А я бы пополз на карачках!», «А я согласен десять лет отсидеть!» Но их не впускали обратно... Я плюнул под ноги.

— Вы омерзительные, злые твари! Подонки! — Вскочил в чекер и так рванул с места задним ходом — выезд со стоянки был заблокирован кэбами, — что бедный Скулыптор еле вывернулся из-под колес...

Я кружил и кружил по пустому аэропорту, а руки тряслись; я не мог прийти в себя. Господи, как глупо! Моя очередь, занятая в половине шестого, потеряна. И ради чего? Несчастных, раздавленных эмиграцией людей я убеждал в том, что на самом деле им хорошо. А может, я хотел в чем-то убедить самого себя?

Среди моих записей, сделанных в ту первую таксистскую осень, есть замусоленный блокнот с пометкой «Утренний Кеннеди» и списком действовавших в этой главе персонажей: «архитектор Балкон, Грузинский Стол, тарелочка с микрофоном, Скулыптор, исчезнувший Узбек». Под списком жирно отчеркнут вывод, поразившее меня открытие: эмигранты не любят Америку; а за этой записью следуют две мелко-мелко исписанных странички, озаглавленных «Жареная картошка». Сделанная бисерным почерком заметка начинается так: «„Номер 830 по Пятой авеню, угол Шестьдесят шестой улицы. Повторите, пожалуйста”. — „Зачем?” — „Я хочу быть уверен, что шофер знает, куда нужно меня отвезти”».

Странный пассажир был прав: недоразумения с перепутанным или недослышанным адресом иногда случались. Я повторил по-таксистски: «Шестьдесят шесть и Пять» — и, уловив в слове «пожалуйста» мягкое «л», спросил:

— Вы из Англии?

— Из Восточной Африки.

Ответ произнесен с безупречной корректностью. Джентльмен разговаривает не с таксистом, а с незнакомым джентльменом.

— А чем вы вообще занимаетесь? — задал я вопрос, которым повадился шупать своих пассажиров.

— Как вам сказать... Читаю книги, коллекционирую марки.

— Если не возражаете, я имел в виду: что вы делаете, чтобы зарабатывать на жизнь?

— О, в этом смысле? Н и ч е г о... Совершенно ничего.

После войны ему пр и ш л о с ь прожить несколько лет здесь, в Штатах. Но з а т о с тех пор и он сам и его дети навсегда освобождены от обязанности заниматься чем-то ради заработка.

И опять я не уловил весь смысл, который он вкладывал в свои слова.

— Вы часто сюда приезжаете? — спросил я. — Вам нравится Америка?

— Н р а в и т с я? — Он удивился чуть больше, чем позволяла ему его сдержанность. — А что, собственно, здесь может нравиться?

Я пошевелил лопатками, словно за шиворот попала холодная капля.

— Впрочем, вы, наверное, правы. Так не бывает, чтоб ничего не нравилось. Гм... Что же мне здесь нравится? Дайте подумать... Ага! Жареная картошка. Пожалуй, так: в Америке мне нравится жареная картошка.

«Мерзавец!» — подумал я, а вслух сказал:

— Эта страна сделала так много добра и вам лично, сэр, и всему миру, что ваш остроумный ответ звучит цинично.

— Что поделаться...

С минуту мы ехали молча, но удержаться от продолжения разговора было трудно не только мне.

— Мои личные обстоятельства в послевоенные годы действительно переменялись тут, в Америке, но это произошло скорее за счет некоторых недостатков, а никак не достоинств этой страны.

В своем ответе он не употребил ни одного из тех слов, которые, произнеси он их сейчас: «разбогател», «сколотил состояние», «деньги», — прозвучали бы вульгарно.

— А страна, в которой вы теперь живете, вам нравится?

— Безусловно! И Швейцария мне нравится. И по-своему Франция.

Он не упомянул Англию.

— А Россия? Вы бывали в России?

— О да! Дважды в сорок первом году и дважды в сорок втором.

(«Неуместная пунктуальность ответа» — с трудом разбираю я свою старую запись в блокноте.)

— Вы были дипломатом?

— Я был моряком. Мы сопровождали конвои в Архангельск...

Мой чекер свернул на Пятую авеню и остановился, не доезжая метров двадцати до входа в дом, с тем чтобы нашему разговору не помешал швейцар.

Конвои в Архангельск! Спасти тяжело раненную Россию, потерявшую летом 1941 года

большую часть своей европейской территории и вместе с нею промышленность, могло лишь прямое переливание — из вены в вену. Америка протянула донорскую руку, но процедуру вливания — оружия, стратегического сырья, продовольствия — проводили британские моряки. Немцы понимали, что раненый гигант может подняться на ноги, и потому поставили на пути конвоев из Англии господствовавшую в Северном море эскадру. Английские моряки, сопровождавшие караваны судов в Архангельск в сорок первом — сорок втором годах, были, по сути, смертниками. Пройти четыре раза туда и четыре обратно мимо немецкого линкора «Тирпиц» было все равно что восемь раз сыграть в «русскую рулетку».

Мы разговаривали уже не менее четверти часа.

— Вы надеетесь, что в России что-то изменится? — спросил я.

— Нет, — сказал он и добавил: — Хотя верующих, знаете ли, там все-таки больше, чем коммунистов.

— Эту легенду придумали западные журналисты, — сказал я. — Людей, которые действительно веруют, в России немного.

— Но ведь и в коммунизм уж совсем никто там не «верует», — парировал он, и я краешком сознания заподозрил, что притягивает меня к этому человеку нехорошее чувство, всего-навсего зависть. Я завидовал не только его состоянию, его элегантности, его воспитанности: он был умнее меня! И потому я искал в нем слабину, выжидал, не споткнется ли он в разговоре, не ляпнет ли какую-нибудь глупость; и тогда с полным удовлетворением я взгляну на часы и «вспомню», что мне ведь надо работать. И он — споткнулся...

В истории любой страны есть столько мерзости и крови, что задеть чью бы то ни было национальную гордость дело нехитрое. Мне, однако, хочется думать, что я все же не сделал это намеренно, а, поскольку мы болтали уже обо всем на свете, случайно упомянул о в ы д а ч а х.

Я спросил его, где он служил в 1945—1946 годах, когда англичане выдавали на расправу Сталину русских. Не только тех русских, которые взяли в руки гитлеровское оружие, но и сотни тысяч угнанных немцами в каторгу девушек и подростков. Доблестные британцы («в едином строю» с американцами) с оружием в руках, избивая дубинками женщин, загоняли их, освобожденных вчера из фашистской неволи, в советские теплушки, отправляли прямым маршрутом из немецких концлагерей в советские, в Сибирь, на верную гибель. Он сказал:

— Да, это было ужасно, но ведь мы ничего не знали... Это сделал Антони Иден...

Как мог этот рафинированный человек сказать такое о событиях, растянувшихся на два года, об акциях, в которых участвовали целые полки: н е з н а л и?!

Депутаты парламента не знали о том, что сотни женщин писали им сотни отчаянных писем. Генералы не знали, что десятки их подопечных, солдат и офицеров, заключали с этими женщинами фиктивные браки, чтобы спасти их от «возвращения на родину»: от расстрела или голодной смерти на Колыме. Не знали... Но даже эта откровенная, сорвавшаяся с языка моего собеседника нелепость не вызвала во мне и тени превосходства над ним.

Подлый поступок женщины может назвать ошибкой только тот, кто любит ее... Он любил свою Англию, этот умный сноб; он жалел Россию и презирал Америку.

За что?

Мы пожали друг другу на прощанье руки. Он улыбнулся, и в его улыбке я прочел (наверное, мне просто этого хотелось) и уважение, и сочувствие, и пожелание удачи. Я был горд его рукопожатием, как будто это король Швеции вручал мне Нобелевскую премию за мои невероятные заслуги в такси, за то, что я наконец научился водить чекер и задним ходом!..

(Продолжение следует)



ИБО ЗНАЮ НАДЕЖДУ

КУМРАНСКИЕ ГИМНЫ

Находка кожаных свитков Кумрана (1948) является, как известно, величайшим археологическим открытием XX века. Было обнаружено «недостающее звено», связывающее времена Ветхого завета с эпохой новозаветной. Община, жившая вблизи Мертвого моря со II века до н. э. по I век н. э., большинством исследователей отождествляется с ессеями — предвестниками христианства, идеологическими оппонентами как фарисеев, так и саддукеев евангельских времен. Общинники — «Сыны Света» — трудились сообща и соблюдали полное имущественное равенство, отделившись от прочих людей — «Сынов Тьмы». В их среде сохранялся Дух Пророчества: пророки, имевшие общение с Богом Живым, получали от Него откровения о праведном пути человека и о том, что случится в будущем. Они пророчествуют и о временах, близких к ним — о явлении Мессии и Его страданиях, — и о последующих событиях, вплоть до последних сражений между Светом и Тьмою. Почти все исследователи согласны в том, что предтеча Иисуса Христа Иоанн Креститель, живший до начала своей проповеди в пустыне, был тесно связан с ессеями и, по всей видимости, обитал в Кумране. Лексика и метафорика текстов Кумрана непосредственно предвосхищают новозаветную: здесь впервые встречаются такие словосочетания, как «нищие духом», «Сыны Света», «спасение верой», «рождение свыше»; часто упоминается и само понятие «Новый завет» как самоназвание общины. Среди рукописей обнаружен и «Свиток Хвалений», или «Кумранских Гимнов». Эти Гимны воспринимаются сегодня как крик, вырвавшийся на волю после двух тысяч лет молчания... Нет никакого сомнения в том, что Гимны были известны не только Иоанну Крестителю, но и евангелистам и апостолам и оказали влияние на стиль их Писаний. «Свиток...» содержит 32 целых Хваления и ряд фрагментов. В нашу подборку включены гимны, дающие представление о тематическом разнообразии «Свитка...», о разных сторонах религиозных представлений кумранитов, их образно-поэтической системе. Выбраны гимны, наглядно являющие связь мышления и метафорики ессеев как с Ветхим, так и с Новым заветом.

Гимны, условные названия которых даны современными исследователями, переводятся на русский язык впервые.*

Гимн 5

ПРЕДМЕССИАНСКИЕ МУКИ

...Чтобы шествовать в духе Твоей воли,
Заповедал Ты нам Свои законы,
И от замыслов нечестивцев
Душу Своего раба избавил:
Ведь они меня так презирали,
Словно превратили мою душу
В тонущий корабль в морской пучине,
В крепость, осажденную врагами.

В бедствии своем я стал подобен
Женщине, рождающей впервые¹,
Ощувившей родовые схватки,
Боли, возрастающие в чреслах
Перед тем, как первенец родится.
Ибо дети дошли до чресел смерти²,
И Рождающая Мужа терпит муки.
Но из чресел смерти изведешь Ты мужа,

* Перевод осуществлен по изданию «Мегиллат Хаходайот мимгиллот мидбар Йегуда» («Свиток Хвалений из свитков Иудейской пустыни»). Издатель И. Лихт. Иерусалим. «Мерказ». 1957.

И при муках родовых Шеола³
 Он изыдет из горнила чрева —
 Явит силу он — Советник Чудный⁴,
 Да, спасется муж от волн крушащих!

Он родится — устремятся волны,
 Да, возникнут в муках небывалых,
 Явятся при страшных потрясениях!
 Он родится — родовые схватки
 Разорвут горнило ее чрева!..⁵
 А Рождающая Ехидну⁶
 Неизбывным страданьям обречется,
 И готовы адские потоки
 Для всех ее страшных злодеяний.
 Завопят основанья вселенной⁷,
 Как суда на волнуемых водах,
 С громким криком небеса содрогнутся!

И земли обитатели станут —
 Как скитающиеся по морю,
 Устрашенные волн клокотаньем!
 Мудрецы ее — моряки в пучинах,
 Бури яростью поглощена их мудрость!

Когда бездна воскипит, валы восстанут,
 Возгласит мятежная пучина,
 И взволнуется, и разойдется,
 Обнажив Шеол с Аввадоном⁸,
 И взлетят все стрелы истребления,
 И над бездной издадут свой голос, —

Вот тогда врата Шеола распахнутся,
 Чтоб впустить все деянья Ехидны,
 И погибели двери затворятся
 Вслед за той, что породила нечестье,

И, сомкнувшись, вечности затворы
 Скроют духов, порожденных Ехидной!⁹

Гимн 6

ОГНЕННАЯ РЕКА

Восхваляю Тебя, Господи:
 Ты от гибели спас мою душу,
 Из Шеола, из Аввадона
 Ты вознес ее в вечную высь.
 И прямым, бесконечным путем
 Я пойду, ибо знаю надежду
 Сотворенных Тобою из праха:
 Вековечная тайна их ждет!¹⁰

Ибо дух извращенный
 От великой вины Ты очистил,
 И средь Сонма Святого
 Поставил на страже его,
 Ввел в общенье с Сынами Небес¹¹,
 Вечный жребий назначил для мужа,
 Приобщил его к духам познания,

Чтобы славил он Имя Твое
Средь общины хваленья¹²,
О Твоих чудесах повествуя
Всем созданьям Твоим!..

Что я значу — творенье из глины?
На воде разведенный — что стою?
Разве сила дана мне в удел?

Я стоял близ предела нечестья,
Был мой жребий — среди омраченных¹³,
И великих волнений
Страшилась душа бедняка.
Каждый шаг мой был — горе и ужас,
Ведь капканы нечестья раскрылись,
Разостлались погибели сети,
Невод мрака — над ликом воды...

Но взвоятся погибели стрелы
И, надежду отняв, расплодятся,
Суд отвесом падет,
И постигнет сокрывшихся гнев,
И последняя ярость
Сынов Велиала настигнет¹⁴,
И, спасенья лишив,
Муки смертные их окружат,

И поток Велиала
Захлестнет вознесенные крылья,
И раскатятся Реки Огня¹⁵,
И деревья пожрут —
Древо свежее вместе с увядшим,
И лучи, устремившись,
Пронизуют основы всего —
Да, прожгут утвержденье земли,
Основанье разостланной суши,
Гор ступни опалят,
Корни мрамора — бурной смолой:
Все — до бездны великой — сгорит!..

И тогда Велиала потоки
В глубину Аввадона прорвутся,
Мысли бездны смешав,
Ил в глубинах ее возмутив,
И земля возопит
О великой беде во вселенной,
Станут громкими мысли ее!

Всяк живущий на ней воскричит,
Изнеможет в беде небывалой, —
Так взволнует их Бог
Потрясающей силой Своей!

И жилище Его
Потрясется от истинной Славы,
И Небесное Воинство
Голос издаст!

Изнемогут и в трепет впадут
Основанья вселенной,

Ибо вышние воинства
Вступят в бой¹⁶,

И сраженья без роздыха будут,
Пока не придут к Завершенью,
И подобного этому нет!..

Гимн 21

ОТ СКОРБИ.— К РАДОСТИ

Фрагмент

Восхваляю Тебя, Боже,
И восславлю Тебя, мой оплот,
И хвалу изумленья
Вознесу Тебе радостным гласом,
Ибо Ты возвестил мне
Тайну правды Твоей,
Вразумил меня чудом сокрытым,
Научил меня истине,
И знаменья Свои мне открыл,
Чудеса Твои стали мне явны,
Тайны истины и милосердья.

И познал я, что Ты справедлив
И в Твоем милосердье — спасенье
Всем сынам Твоей истины.
Вне Твоей милости — гибель!

Горьких слез мне открылся источник —
Стенанье и плач,—
От меня не сокрылась
Тщета моего сотворенья,
Но росла в размышленьях моих:

Снова в прах человек возвратится!..
А удел человека —
Прегрешенье, и скорбь, и вина:
Это все мне на сердце взошло,
Это кости мои поразило,
Как болезнь и недуг,—
Чтобы скорбная мысль со стенаньем
Звучала на арфе,
Чтобы скорбную песнь отыскать
Для печали и плача любого.

Чтобы горькое длилось рыданье,
Пока не исчезнет нечестье,
И злодейства не станет,
И не станет недуга и боли.

И тогда заиграю на арфе спасенья,
И на лире веселья,
И на ликованья тимпане,
И на флейте хвалы —
И вовек не замолкну!..

Гимн 27

О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

...Я приобщился к собранью
 Всех мужей Твоей правды:
 Благословляю Тебя
 И всем своим сердцем люблю,
 Страх пред Тобою
 Всею душой избираю,
 Не уклонюсь я больше
 От заповедей Твоих!

Многих других я наставлю
 В страхе судов Твоих, Боже,
 Дабы не оставляли
 Повелений Твоих!

Я знаю, Тобой вразумленный,
 Что не во власти плоти —
 Наши земные стези,
 Сын Адама не властен
 Над своими путями,
 И человек не сам
 Направляет шаги свои.

Я знаю: в руке Твоей, Боже,
 Помысел всякого духа,
 Ты ведал его деянья
 Пред тем, как создал его!

И кто из живущих может
 Решенье Твое изменить?..

Ты праведника сотворил,
 От чрева его предназначил
 Ко времени благоволения,
 И сделал верным Завету,
 Во всем покорным Тебе,
 Явил ему многую милость,
 От мук его душу избавил,
 Навеки Ты спас его!

Ты мир даровал ему вечный,
 Ты дал ему все.
 И над плотью
 Ты славу его вознесешь!..¹⁷

И Ты согворил нечестивых,
 Чтоб на них излить Свою ярость,
 От чрева Ты предназначил
 Ко Дню Истребления их!

Ведь шли они злою стезею,
 Завет презирая Твой,
 Их души гнушались правдой
 И заповеди отвергли,
 И то для себя избрали¹⁸,
 Что ненавидишь Ты!

И замысел Твой сокрытый
От века их предназначил
К свершенью судов великих
Над ними — воочию всех!

И быть им знаменем и притчей
До самого края вселенной,
Чтоб все Твою славу познали,
Великую силу Твою!..

Но разве плоти дано
Уразуметь Твои тайны!
Как может создание из глины
Направить шаги свои?..

Ты дух сотворил, о Боже,
И от создания мира
Ты ведал деянья его,
И путь всех живущих в мире
Тобой предначертан был!..

Я знаю: нет в мире богатства,
Что с правдой Твоей сравнится,
И я возжелал приобщиться
К собранью святых Твоих!
Лишь их Ты избрал, я знаю¹⁹,
И будут они вовеки
Служить одному Тебе!

Я знаю: из рук нечестивых
Ты не возьмешь подношенья,
Не примешь Ты искупленья
За злодеяния их!

О Боже истины! Знаю:
Навек истребишь Ты нечестье,
И пред Тобой не пребудет
Беззакония путь!..

Фрагмент 1

О ПОКАЯНИИ

Даже ангелы святые на небе
Имени Твоего не знают²⁰,
Ведь Оно велико и чудно,
Но они Твоих чудес понять не могут,
Твои таинства уразуметь не властны...
Что ж сказать о том, кто в прах вернется?..

Грешник я — в пути нечистом запятнался,
Осквернился виною злодеянья,
Но преткнулся — и упал во время гнева:

Как мне устоять пред пораженьем,
От угрозы горя уберечься?..

Но внимали мы Твоим вразумленьям:
«Кто раскается — тому есть надежда,
Что его Ты от мерзости очистишь!..»

Вот и я, из глины сотворенный,
На Твое милосердие полагаюсь,
На Твою безмерную милость!

Знаю: истина — Твое реченье,
Твое слово вспять не обратится!
Уповаю на величие Твоей правды —
И стою: Ты утвердил меня крепко!

Ведь по милости Своей безмерной
Ты благоволишь к человеку —
И его к Себе возвращаешь!..

Перевел с древнееврейского Д. ЩЕДРОВИЦКИЙ.

КОММЕНТАРИИ

Гимн 5

Женщине, рождающей впервые... — в Ветхом завете жена в родовых муках олицетворяет народ Божий, искупающий свои грехи накануне спасения: «Страдай и мучься болями, дочь Сиона, как рождающая, ибо ныне ты... дойдешь до Вавилона. Там будешь спасена...» (Михей, 4, 10). Кумранский гимн развивает этот образ, предвосхищая видение Иоанна Богослова: «Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Откровение, 12, 1—2). Здесь жена означает духовное потомство Иакова и его двенадцати сыновей (ср. сон Иосифа в Книге Бытия, где солнце — Иаков, луна — Рахиль, одиннадцать звезд — одиннадцать братьев Иосифа. — Бытие, 37, 9—10). Автор настоящего гимна отождествляет себя с Женой, рождающей Мужа-Мессию. Он, следовательно, говорит от лица всего народа Божия.

² *Ибо дети дошли до чресел смерти...* — в оригинале здесь игра слов: «мишбар» — это и «родильные недра», и «волна», поэтому «мишберей мавет» можно перевести и как «чресла смерти» и как «смертные волны». Кумранский гимн дает контаминацию обоих значений слова, встречающихся в Библии (ср. 2 Царств 22, 5, и Исайя, 37, 3).

³ *И при муках родовых Шеола...* — Ше о л («вопрошаемый», «неисследимый») — библейское название ада. Здесь описание родовых мук Жены внезапно сменяется образом «рождающего Шеола»: Муж-Мессия должен совершить исход из «чресел смерти», то есть воскреснуть из мертвых! Ср. «сошествие во ад» Иисуса Христа в Новом завете (1 Петра, 3, 18—19), а также в апокрифическом Евангелии Никодима (18—24).

⁴ *Явит силу он — Советник Чудный...* — Ч у д н ы й С о в е т н и к («Пэлэ йоэц») — один из эпитетов Мессии в пророчестве Исайи: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исайя, 9, 6).

⁵ *Разорвут горнило ее чрева...* — в гимне два рождения Мужа (из чрева Жены и из «чресел смерти») как бы переходят друг в друга. Здесь автор гимна снова говорит о чреве Жены, и эти слова можно рассматривать как пророчество о гибели Иудеи после появления в ней Мессии. Ср. пророчество Даниила: «...Предан будет смерти Христос и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения...» (Даниил, 9, 26).

⁶ *А Рождающая Ехидну...* — олицетворение Праведности и Нечестия в образах двух жен (Рождающей Мужа и Рождающей Ехидну) восходит к Ветхому завету (ср. противопоставление спасительной Премудрости и погубительной Блудницы в Притчах Соломоновых, гл. 7—8). В Новом завете развитие этих образов получает завершение: Жене, облеченной в солнце, противопоставляется Вавилонская Блудница (Откровение, 17, 1—6).

⁷ *Завоят основанья вселенной...* — здесь и далее описание апокалиптических катастроф на земле, предшествующих Страшному Суду.

⁸ *Обнажив Шеол с Аввадоном...* — А в в а д о н («погубительный») — одно из названий ада, который мыслится здесь находящимся под морскими волнами.

⁹ *Скроют духов, порожденных Ехидной!* — по-видимому, от ессеев-кумранитов воспринял этот образ Иоанн Креститель, называвший нечестивцев «порождения ехиднины» (Матфей, 3, 7; ср. слова Иисуса Христа у Матфея, 23, 33).

Гимн 6

¹⁰ *Вековечная тайна их ждет!* — согласно кумранскому «Уставу» праведник не только избавляется от мук Шеола, но и приобретает к «тайнам чудес Господних».

¹¹ *Ввел в общенье с Сынами Небес...* — кумраниты верили в способность праведников общаться с ангелами.

¹² *Средь общины хваленья...* — имеется в виду ессейская община, трижды в день восхвалявшая Бога (ср. Псалом 54, 18).

¹³ *Был мой жребий — среди омраченных...* — до вступления в Кумранскую общину автор гимна принадлежал к грешникам — «Сынам Тьмы» (ср. Фессалоникийцам, 5, 5).

¹⁴ *Сынов Велиала достигнет...* — В е л и а л («необузданный», или «не могущий взойти») — имя злого духа, встречающееся в Ветхом завете (1 Царств 2, 12; 10, 27; 3 Царств 21, 10). В синодальном переводе «Сыны Велиала» — «негодные люди».

¹⁵ *И раскатятся Реки Огня...* — предсказание великих бедствий на земле перед наступлением Царства Божьего.

¹⁶ *Ибо вышние воинства / Вступят в бои...* — битвы между Духами Света и Тьмы в преддверии окончательной победы Света. Ср. описание Армагеддонской битвы в Новом завете (Откровение, 16, 13–16, и 19, 11–21).

Гимн 27

¹⁷ *И над плотью / Ты славу его вознесешь...* — имеется в виду бессмертие души, в которое верили ессеи (см.: Флавий Иосиф, «Древности Иудейские», 18, 1, 5, § 18).

¹⁸ *И то для себя избрали...* — автор гимна допускает свободный выбор человеком пути Праведности или же Нечестия. Сами же эти пути были предначертаны Богом «от века».

¹⁹ *Лишь их Ты избрал, я знаю...* — кумраниты называли себя «избранниками Бога».

Фрагмент 1

²⁰ *Имени Твоего не знают...* — учение о таинственных именах Бога, знание которых дарует покровительство свыше, содержится уже в Ветхом завете (см. Исход, 6, 3; Псалом 9, 11; 19, 2; 98, 6; Исайя, 52, 6). В Псалмах говорится: «Защиту его, потому что он познал имя Мое» (90, 14). У ессеев существовало особое учение о Божественных именах, сообщавшееся только посвященным. Согласно этому учению Величайшее Имя Божье сокрыто даже от ангелов.

Вступительное слово и комментарии Д. ЩЕДРОВИЦКОГО.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

*

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Рассказ. Сценарий. Наброски. Записи

«...СОХРАНИТЬ В НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ»

...само бесследное исчезновение бывает условным; часто случается, что однажды умершее впоследствии становится бессмертным и яростно живущее оказывается мнимым или ничтожным¹.

В естественной эйфории последних лет, связанной с публикацией главных книг Платонова, незаметно отошли на задний план вопросы культуры возвращения этого уникального наследия XX века. Рукописи художественных текстов, варианты, наброски, письма, записные книжки, с замечательной смелостью и вызовом немилосердному времени сохраненные «вечной Марией» Платонова, его женой Марией Александровной, сегодня зывают о помощи. Написанные почти всегда карандашом, на самой плоской бумаге, на оборотной стороне машинописей, на бланках служебных записок, они физически угасают. Это одна сторона дела. Другая — возвращение читателю неискаженного авторского текста. Уже при жизни Платонова его произведения не только отклонялись, но и беспощадно и ультимативно правились. Редакторская правка прошла по «Городу Градову», «Сокровенному человеку», «Епифанским шлюзам», по всем рассказам, изданным при жизни писателя. Традиция «казни произведений Платонова» (определение М. А. Платоновой) оказалась одной из живучих. В 1936 году при публикации рассказа «Глиняный дом в уездном саду» («Нужная родина») исчезнет его финал. «...среди них есть много таких же, как он, круглых сирот, которые наравне с ним создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности. Он нигде не встретил живыми отца и мать, их могилы наверно давно загромодили где-то великие строения, и он перестал искать их. Выросши большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства осуждены на то, чтобы их носить только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле» (курсивом обозначен сокращенный при публикации текст рассказа. — Н.К.)².

Это 30-е годы, когда идеологический гребень прочешет даже такие рассказы, как «Июльская гроза» и «Среди животных и растений». Но по этой же логике недоверия к тексту писателя в некоторых изданиях рассказа «Афродита» (1943—1944) будет отсечен его пронзительный финал: «Фомин снял шинель и сел писать письмо Афродите: „Дорогая Наташа, ты верь мне и не забывай меня, как я тебя помню. Ты верь мне, что все сбудется, как должно быть, и мы снова будем жить неразлучно. У нас еще будут с тобою прекрасные дети, которых мы обязаны родить. Они томят мое сердце тоской по тебе...”³.

Что оставалось от своеобразного стиля и особой языковой интонации Платонова, можно проиллюстрировать на рассказе военных лет «В сторону заката солнца» (курсивом обозначен исправленный или сокращенный платоновский текст, в скобках — редакторский вариант):

«Он заснул и во сне примерз к земле (Пока спал, он примерз к земле)

© Публикации и составление М.А. ПЛАТОНОВОЙ.

Вступительная статья, подготовка текста и комментарий Н.В. КОРНИЕНКО.

¹ Из черновых набросков Платонова 1937—1938 годов к очерку о Карагезе (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед.хр. 66).

² ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед.хр. 45, л. 20.

³ Там же, ф. 619, оп. 1, ед.хр. 1483, л. 25.

— *Вставай, организми!* (брат!) — сказал себе Толокно в *утешение*... Он с усилием *оторвал себя* (оторвался) от промерзшей земли... Капитан указал рукой на заходящее большое солнце, *сияющее светом по облакам и исбу*. Бойцы посмотрели на великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе подошли сейчас на торжественную музыку, *уводящую сердце человека в безвозвратный путь* (трогающую человека за сердце)⁴.

Еще один пример. Сохранилась машинопись повести «Эфирный тракт» с редакторской правкой 1927 года. Жесткой рукой сокращены две главы — история Аюны и диалог ученого Попова с секретарем парткома. В соответствии с этими достаточно большими купюрами (около двух печатных листов) вычищен и стиль повести. На последнем листе машинописи Платонов оставил запись: «Верить машинке!» В 1966 году повесть будет впервые опубликована, а к купюрам 1927 года добавятся новые. Теперь уже трудно будет понять самые простые связи в тексте. Так, Мария Кирпичникова думает, что для нее история Аюны то же, что для сына Егора стихотворение «о шоффере». В тексте же нет истории Аюны. Исчезла — теперь уже по политическим мотивам — и вторая часть стихотворения, которое учит Егор: «Нам людей давить не жалко, / По уставу не знакома / Пионеру грусть»⁵. В монографии 1989 года можно прочитать о повести «Эфирный тракт»: «Повесть «Эфирный тракт» *вплотную* подвела Платонова к *отказу* от *былой односторонности*, согласно которой инженер, ученый, как некогда воин или купец, — главный Прометей эпохи (курсив мой. — Н. К.)»⁶. Смею уверить, что с «односторонностью» Платонова, а тем более с «отказом» от нее все намного сложнее. Об этом свидетельствуют и полный текст «Эфирного тракта», и статья «О социалистической трагедии» (1934), и роман «Счастливая Москва» (1933—1936). Я уж не говорю о записных книжках писателя, которые в последние годы печатаются выборочными порциями в соответствии с социально-политическим моментом.

Мы удивительно мало знаем о писателе. Так уж сложилось, что и при жизни писателя и после его смерти суждения о Платонове по-своему опережали процесс возвращения его произведений. Неостребованными остаются целые материи наследия: повести, сценарии, рассказы, статьи, наброски, научно-технические изобретения, работы по мелиорации 20—40-х годов. Как свидетельствуют, например, документы, с Комитетом по изобретениям СССР Платонов был связан с 1925 по 1948 год. С 1931 по 1935 год он старший инженер-конструктор Росметровеса. И даже оставив эту должность, он продолжал инженерно-конструкторскую работу. И не несколько патентов на изобретения, а десятки патентов, технических записок, чертежей хранится в его архиве (думается, много нового откроет и архив Комитета по изобретениям). Кто возвратит эту часть наследия Платонова, имеющего самостоятельное значение для культуры? Как это ни странно, но именно технические записки и чертежи могут оказаться единственным источником для датировки многих текстов писателя, под которыми сейчас достаточно произвольно стоит дата их создания. Изобретение, над которым работал Платонов-изобретатель, обязательно говорило на страницах его произведений языком одновременно технически точным и поэтическим...

Еще один пласт наследия Платонова связан с сельским хозяйством и русской деревней: работы по мелиорации 20-х годов, наброски к «Очеркам бедной области», материалы по жизни рек Воронежской губернии, отчеты о командировках 1929—1932 годов от Наркомзема РСФСР, статья 1946 года «Страхование урожая от недородов»... Документы свидетельствуют, что «Чевенгуру», «Котловану», «Ювенильному морю» предшествовал кропотливый жесткий анализ культурных, нравственных, исторических последствий социально-экономических преобразований русской деревни. Как говорит платоновский Макар: «Самой деревни, в смысле ее царского устройства, уже не существовало: в ней произошел колхоз»⁷. Это великий урок Платонова-художника: подробный социально-экономический анализ самых разных ситуаций в деревне и в сельском хозяйстве никогда не разрушает эстетическую гармонию его поэтического мира. Поднять же этот пласт наследия безусловно необходимо. Творческая история «Ювенильного моря» и «14 красных избушек», написанных в 1931—1932 годах (время страшного прессинга сталинской идеологии и публичных отречений Платонова от всего им написанного), приоткрывает глубинные пласты литературной судьбы писателя, его последовательного сопротивления «идеологической оглашенности» искусства. Знакомство с творческой историей «Чевенгура» и «Бессмертия», «Котлована» и «Фро» многое поставит на место и в наших сегодняшних представлениях о писателе. Странно читать, будто интересы Платонова в пору писания «Чевенгура» ограничивались газетной периодикой: «Именно в политических исканиях эпохи стремился принять участие художник Платонов; он знал, что роман его читать иначе не будут, он и сам не читал тогда иначе»⁸. Но в личной (небольшой) библиотеке Андрея Платонова находим:

⁴ Там же.

⁵ Там же, ф. 2124, оп. 1, ед.хр. 70, л. 58.

⁶ Ч а л м а е в В. Андрей Платонов. М. 1989, стр. 155.

⁷ Архив ИРЛИ, ф. 780, ед.хр. 18, л. 1 (рассказ «Отмечавшийся Макар»).

⁸ П л а т о н о в А. Чевенгур. Воронеж. 1989, стр. 416. Комментарий Л. Коробкова.

«Философию общего дела» Н. Ф. Федорова, «Курс русской истории» В. Ключевского, «Закат Европы» О. Шпенглера, «Новую космологию» Ир. Скворцова, «Народоведение» Фр. Ратцеля, «Всеобщую географию» Э. Реклю, книги по древней истории, многочисленные номера еженедельников и журналов «Мысль и слово», «Вестник Европы», «Записки мечтателя», «Россия» и др.

Современники Платонова тонко чувствовали, какие мощные пласты философской мысли начала XX века хранятся в памяти писателя. Странными кажутся сетования наших историков (в 1989 году) по поводу рассказа Платонова 1936 года «Бессмертие»: не удержался, мол, и автор «Чевенгура», подключился к общему славословию наркома «железнодорожной державы» Л. М. Кагановича... Удивительно, но у неистовых критиков Платонова 30-х прозрение наступило быстрее. Нескольких месяцев оказалось им достаточно, чтобы отречься от первоначальной, высокой, оценки «Бессмертия» (именно за сцену телефонного разговора знаменитого наркома с главным героем рассказа Левинным). Уже в 1937 году критик А. Гурвич, проанализировав художественную ткань платоновского рассказа, обнаружил у истоков родословной героя «Бессмертия» не Кагановича, а христианское мироощущение главного героя «Чевенгура» Саши Дванова: «Разве не его (Дванова. — Н.К.) котомку несет в своих руках Левик, как знамя жертвенности и самоотречения?.. Вместе с котомкой Дванов передал Левину все свои чувства и мысли»⁹. И. Сац в 1938 году в письме Платонову просил его убрать из статьи «Пушкин и Горький» слово «взыскание» («... центр темы заключается в выходе из положения смерти, во взыскании погибших»): «...,взыскание» — неприятная традиция из этого слова со времен Бердяева, Булгакова и пр. [нрзб], конечно, этим и пренебречь»¹⁰.

При издании главных повестей Платонова 20—30-х годов произошла путаница с заменой вождей, по типу «регистра переименования» героев «Чевенгура», мучительно выясняющих вопрос «были ли Колумб и Меринг достойными людьми, чтобы их имена брать за образцы дальнейшей жизни, или Колумб и Меринг безмозглы для революции». Первую правку подобного рода провел сам Платонов, готовя в 1928 году к переизданию повесть «Сокровенный человек»? В духе пуховских откровений о том, что «вождей много, а паровозов нету», «одними идеями одеваемся, а порток нету», провести замену имени Троцкого было нетрудно. Внутренняя логика сохранялась. Первая правка: «Ночью Пухов играл с красноармейцами и рассказывал им о Троцком, которого никогда не видел». Платонов вычеркивает Троцкого и вписывает... командарма Южного фронта товарища Фрунзе. Вторая правка: «Угля у меня не хватало, я и вернись из-под Крыма на «Герое Троцком» — пароход такой есть». Платонов зачеркивает Троцкого и вписывает Томского. А на полях пуховская ремарка: «...на пароходе «Герое Томском» — пароход такой есть, а героя нету»¹¹. Однако платоновская правка не спасет «Сокровенного человека» — в изданиях 60—80-х годов произойдет полное разрушение удивительно тонкой ткани этой повести.

То, что произошло с именами вождей при публикации «Джана», «Котлована», «14 красных избушек», по-своему замечательно. В современных изданиях Сталин везде заменен на Ленина, а там, где в тексте появляется Ленин, сделаны купюры. Исчезли из «Котлована» и попытки Насти, ученицы Сафронова и Чиклина, связать имена Ленина и Сталина: «Настя писала Чиклину: „Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Сталин, Козлов и Сафронов. Дядя Чиклин, Сталин только на одну каплю хуже Ленина, а Буденный на две...”»¹². Возможно, что сам Платонов на каком-то этапе переписал имена вождей, готовя приемлемый вариант. Однако таких свидетельств пока мы не имеем. Думается, что эта правка восходит к 60-м годам. Политическая история России XX века, какой она отразилась в творчестве Андрея Платонова, еще будет восстановлена, но для этого нужно вернуть и «Котлован», и «Джан», и «Среди животных и растений» к рукописному авторскому оригиналу.

Предлагаемый читательскому вниманию материал из домашнего архива А. Платонова и фонда Платонова Центрального государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ) публикуется по рукописным автографам. Все автографы представляют собой карандашную запись, иногда скоропись. В публикации набросков сохранены авторские сокращения: при завершении текста писатель мог вернуться к первоначальному варианту. Авторские купюры в текстах помещены в квадратные скобки. Недописанные части слов в материалах, печатающихся с автографов Платонова, восстановлены и заключены в угловые скобки. Косыми скобками обозначены в текстах варианты стиливой правки Платонова.

⁹ «Красная новь», 1937, № 10, стр. 209.

¹⁰ ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед.хр. 126-а, л. 1.

¹¹ Там же, ф. 613, оп. 1, ед.хр. 7426, л. 46, 105.

¹² Там же, ф. 2124, оп. 1, ед.хр. 71, л. 84.

НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

(Святочный рассказ к 10-й годовщине)

Циркуляр гласил нижеследующее:

«Приближающуюся 10-ти летнюю годовщину Великой Октябрьской Революции, как Всемирно-Историческое Событие, надлежит ознаменовать соответствующими надлежащими мероприятиями. Не внося предварительных предложений и не предпреляя форм необходимых мероприятий, мы всецело предоставляем изыскание таковых форм инициативе служащих масс вверенного нам ведомства; однако, предложения должны быть завизированы завами соответствующих отделов, в котором сотрудник, вносящий предложение, числится по штату, и затем передана Нач. АФУ для систематизации и передан мне на утверждение.

Пред. Управления Электрофлюидсиндиката Ф. Кроев.
Нач. АФУ И. Месмерийский.
Зав. Орг. Отд. Завын-Дувайло».

Служащие массы, получив под личные расписки текст циркуляра, одновременно задумались. Многие тотчас же рапортовали, что их мышление вращается в кругу мероприятий, предусмотренных операционным планом на 1927—8 год, а так как в плане 10 летний юбилей Октября не обозначен, то и мысль невозможно направить по линии внепланового задания, а посему нижеподписавшиеся не имеют предложений.

Но и иные служащие, принятые вне биржи труда, озаботились и стали вносить предложения, чтобы уцепиться на служебных постах.

Сначала почти все инициаторы посетили товарища Завын-Дувайло на предмет справки: подлежат ли предложения оплате установленным гербовым сбором или нет, а также — на скольких страницах допустимо писать предложения.

Получив точные разъяснения, инициативные служащие сели писать — конечно, дома, чтобы не занимать служебного времени.

Через 2 недели, к указанному в циркуляре сроку, тов. Месмерийский приступил к предварительной читке поступивших предложений. Некоторые из них он дал мне — «для отжата смысла и составления оценочного резюме», — как указал мне тов. Месмерийский.

В порядке поступления я публикую некоторые предложения, для получения их гласного одобрения. Эти предложения я сократил, отжав смысл из бумажных пространств и выбросив революционные <трюизмы — нрзб>, неизбежно предшествовавшие каждому предложению (как будто их составители были на заметке у ГПУ и усердно реабилитировали себя).

«...Сосчитавши героев Октября, я подвел итог и у меня вышло 147 человек, что для 1/6 части мирового пространства обидно мало. А потому, а также вследствие... я был бы рад, если бы соответствующие ведомства, напр. Наркомвнудел, ЦСУ, Наркомвоенмор и др., завели книги учета выдающихся деятелей революции по всем советским линиям... дабы в будущем составить единый том с перечнем всех героев и утвердить его вышестоящей инстанцией. Затем том героев опубликовать вместе с фотографиями и факсимиле — для всеобщего почитания трудящимися массами. Такой труд был бы великим достижением, наряду с Днепростроем и прочими гигантскими масштабами... Секретарь общего п/отдела Орготдела Адм. - Фин. Управления Е.С. Несваринов».

[«...Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В.И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине Октябрь режиссера туманных картин т. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолеей в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю... учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел... От сего трудовой энтузиазм

и преданное рвение в народе возвысятся и поездки тов. Никандрова самоокупаются... Делопроизводитель Отдела заказов Х. Вантунг».¹

«...Особым торжественным законодательным актом организовать на прострaнстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих событий — для вечного показа потомкам и поучения их. Следовало бы открыть такие ревзаповедники на Перекопе, в Самаре, Ярославле, в Донских пунктах, в Ленинграде и прочих местах обширного соотечества. Атрибуты и живые участники должны состоять в нетронутom и естественно-героическом покое... Зав. п/отделом ликвидации убытков Ф. Арчаков»².

«...Срочно организовать всесоюзную архивную кампанию, с целью отыскания замечательных документов эпохи, с последующим преподанием их публике в напечатанном систематическом виде. Для успешного проведения кампании привлечь учащихся, красноармейцев и безработных, а также комсомольцев в их, имсyoщий в виду быть, субботник... Старш. архивариус синдиката Родион Маврин».

«...Художественно начертить схему диктатуры пролетариата — от председателя Всесоюзного Съезда Советов вплоть до батрака и лесоруба. Заключенных же, беспризорных и частных связать с общей схемой пунктиром... Схему выставить на радиомачте станции Коминтерна и осветить прожектором со склада Синдиката... Чертежник Проект-бюро Ч. Плярт».

«...Всем союзным женщинам надо сшить по одной vareжке беспризорным, только сговориться, чтобы они не пришлось на одну руку. Машинистка О.Становая».

«...Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья, с интервалами для заслушивания итоговых отчетов... Счетовод А.Зверев».

«...Спеть одновременно под открытым небом всем Союзом Социалистических Народов Интернационал — в полтораста миллионов голосов с лишним. Я полагаю, его услышат, даже китайцы и лорд Чемберлен. Пускай это будет обедня Всемирной революции и задрожат анафемы капитала. Кассир Г. Л. Латыгин, быв. комрота Туркестанской Краснознаменной дивизии особого назначения»³.

«...Раньше бывало ходят так называемые божья странники: висит у них на животе кружка, на кружке живописная картинка, а в кружку люди кладут пятаки и любую разменную монету — по желанию. Так и строились Кафедральные соборы. Так нужно и теперь. Надо раздать кружки нашей полухулиганящей молодежи, над кружкой поместить четкие чертежи Днепростроя и Волго-Дона с красочной перспективой экономического благополучия и пустить молодцов по советским странам. Через год — к 11-ти летию — мы бы одной меди набрали на индустриализацию миллионов триста... Инструктор межрайонной торговой периферии синдиката И. Жолнеркевич».

«...Энергию крымских и всяких прочих землетрясений употребить для неотложной электрификации тех же мест... Лифтер Порежин».

«...Вывесить загодя высокий флаг, а ходить по грязям толпой не нужно. Пушай люди лежа полежат хоть в десятый год. Рассыльный М. Крестинин».

Эти и прочие мероприятия, надлежаще сведенные мною в единое и общее целое, пошли к тов. Месмерийскому.

Означенный начальник ознакомился с папкой предложений лишь как с вещью, а не как с содержанием смысла, и выразился общей резолюцией:

«Пред. Правления Синдиката. Для непосредственного соответствующего распоряжения, т.к. дело относится к политическим мероприятиям».

Предправления тов. Кроев продержал папку четыре недели и так и не мог ее прочитать — от занятости текущими делами.

Начал падать снег — приближался Ноябрь вместе с годовщиной.

Тов. Месмерийский направил меня к тов. Кроеву — для напоминания о праздничных мероприятиях. Через 2 дня я был принят и заявил у стола председателя:

— Тов. Кроев, прочитайте всю массу предложений — там есть существенные мероприятия...

— Да? — спросил Кроев, удивившись, что его сотрудники могут предлагать что-то существенное. — Что же, сделаем что-нибудь... Я, знаете ли, уже читал предложения. Что, не ожидали? Прочитал. Все мероприятия стоят миллиард — я прикидывал. Взять из них одно — рассыльного: вывесить флаг... Надо попопстей, чтобы вышло поэкономней... Вот. А папку возьмите — отдайте в архив...

Затем папка с исходящих номеров вошла через входящий журнал в архив — к тов. Р. Маврину. Тот ее аккуратно занумеровал большим номером вечного покойника и положил в отдел «Оргмероприятия». При составлении ведомости достижений Синдиката к 10-й годовщине Октября — работа архивариуса была надлежаще учтена в графе «Нагрузка аппарата»: 20000 дел плюс одно.

В рукописи на первой странице имеются два названия рассказа: «Итоги и перспективы (Доклад Начальника АФУ своему наркому по поводу 10 летия Октября)» и «Революция исполненная». На последней странице рукописи — дата его написания: «16.X.27». Подзаголовок рассказа выбран автором не случайно. Соединив в нем название традиционного народного праздника (зимних Святков, отмечаемых с 25 декабря по 6 января по старому стилю) с новым революционным календарем, А.Платонов обнажает пародируемый объект: абсолютную подчиненность единому революционному содержанию всех уровней культуры и жизни. Своеобразный эффект «градовской школы философии» (определение Л. Шубина) точно зафиксировал в рассказе и разрушительные процессы, происшедшие в языковой сфере. Современник Платонова лингвист А. Селищев писал о чудовищных «словарных утратах» в живой русской речи, которые подменялись самыми немислимыми словообразованиями. Он с болью отмечал, что «сокращение слов носит иступленно-стихийный характер и угрожает в недалеком будущем сделать нашу речь нечленораздельной» (С е л и щ е в А. М. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917—1926). Изд. 2-е. М. 1928, стр. 167).

¹ С конца 1926 года газеты периодически сообщали читателю о работе С.Эйзенштейна над фильмом «Октябрь», о подготовке рабочего уральского завода В. Н. Никандрова к исполнению роли В. И. Ленина. Рабочий Никандров, имевший внешнее сходство с Лениным, играл в юбилейном году роль Ленина и в пьесе Н. Суханова «1917» в Малом театре. В октябре 1927 года предпраздничные номера газет и тонких журналов вышли с фотографиями из фильма «Октябрь», первый просмотр которого состоялся 7 ноября 1927 года. В идее «походного мавзолея» одним из объектов пародирования стало стихотворение известного поэта Д. Алтауэна «Кремлевская стена», опубликованное в подборке юбилейных материалов. Стихотворение построено как широкое эпическое повествование о нечеловеческих трудностях, которые преодолевают советские люди, стремясь в Москву: это и «люди с Памира», и «с Карпат и Алтая, седые от ветра и бед» («Новый мир», 1927, № 9, стр. 138).

² ...организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников... — в этом «предложении» развернуты конкретно-исторические координаты идеи ревзаповедников Пашинцева, одного из рыцарей чистоты революционной идеи в «Чевенгуре». Не случайно ревзаповедниками писатель отмечает самые героические (кровопролитные) места гражданской войны. Следует также отметить, что в 1927 году в преддверии Октября страна была охвачена идеей всеобщей военизации, призывы к бдительности и подготовке к войне заполнили всю периодику. «Опасность велика, — отмечалось в статье «Военная опасность и борьба с ней». — Авангард международного пролетариата ее сознает. Трудящиеся массы не будут застигнуты врасплох. В этом залог нашей победы» («Красная новь», 1927, № 10, стр. 168). Ср. с «Городом Градовом»: «Сушить сухари впрок — весной будет с кем-то война».

³ ...спеть одновременно под открытым небом... — в этом «предложении» пародируется единый прием проведения многочисленных международных акций в рамках предпраздничных мероприятий. 1927 год проходил под знаком постоянных приветствий китайской революции. Так, в редакционной статье журнала «На литературном посту» от 25 мая 1927 года А.Фадеев писал: «<...> лозунгом Коммунистического Интернационала является не голая пропаганда мира, а защита русской и китайской революции». Однако на октябрь 1927 года приходится и первые поражения китайской революции, которые по времени совпадают с сентябрьским заседанием Лиги Наций и выступлением на ней английского премьер-министра Чемберлена. Имя Чемберлена в 20-е годы приобретало, по определению А. Селищева, знаково-символическое значение: «В переносном смысле Чемберленом стали крестить все, имеющее касательство к иностранной жизни» (С е л и щ е в А. М. Язык революционной эпохи, стр. 191). Ср. с «Городом Градовом»: «Протестовать против Чемберлена, — в случае чего стать, как один, под ружье».

МАШИНИСТ

Либретто

Действующие лица:

Маши н и с т
 Девушка
 Кузьма
 Активист
 Середняк
 Жених девушки
 Лошади, петух, тараканы
 Второстепенные персонажи

Машинный зал электростанции. Два турбогенератора. Распределительная вертикальная панель с приборами. Красные лампы над включенными автоматами. Под лампами циферблаты амперметров. Таблички: «литейный», «сборный», «кузнечный», «колесный», «токарный». Вращающиеся коллекторы генераторов динамо-машины. Из-под токособирательных щеток брызжет огонь. Стрелки циферблатов-амперметров подрагивают близь красных черточек, указывающих предельную нагрузку.

Машинист стоит у турбогенератора. Турбина слегка парит через клапаны регулятора. Жарко. Машинист отирает с лица пот обтирочными концами. По лицу машиниста ползет масляная грязь. Он смотрит на приборы. Стрелки трепещут. Коллекторы динамо-машин искрят еще сильнее. Машинист берет наждачный лист и, прижав его к вращающемуся коллектору, уменьшает пламя, бьющее из-под щеток. Коллектор натерт до блеска.

Станция везет свою предельную нагрузку.

Электрическое сверло вонзается в котельный лист. Сверлильный прибор грудью прижимает котельщик. Из-под сверла бьет пламя, несмотря на струю воды, которая охлаждает сверло. Резец гонит стальную стружку с обтачиваемого паровозного бандажа.

Фасад электростанции. Черная доска на фасаде. На доске написано:

«Наш завод работает на плюху. За полугодие промфинплан выполнен на 85%. Здесь делают узкое место и организуют социалистическое горе».

Снова машинный зал электростанции. Машинист чистит наждаком коллектор. Щетки искрят сильнее, чем раньше, и машинист не может их сбить. Стрелки амперных циферблатов перешли за красные черты пределов нагрузки и подрагивают на новых местах.

Из корпуса второго генератора показывается дым. Машинист оглядывается на него. Взрыв напряженного синего (если можно это сделать) пламени. Машинист подбегает к распределительной панели и выключает всю нагрузку сгоревшего генератора. Затем закрывает вентилем паропровод в турбину, которая вращала выбывший генератор. Весь турбогенератор останавливается. Теперь работает только один турбогенератор.

Стрелки циферблатов «токарный», «котельный», «литейный» падают на нули. Эти цеха вез сгоревший турбогенератор.

Ранее показанное электрическое сверло вновь показывается. Оно теперь останавливается. Резец, гнавший стружку с бандажа, также перестает работать. Котельщик, что работал сверлом, а затем токарь проносят движением уст некоторые слова и плюют на железо с такой яростью, что из железа от их плевков показывается ржавь.

Электростанция. Машинист тоже плюет на корпус работающего генератора. Слюни его кипят на теле машины и вмиг исчезают.

Машинист нажимает кнопку, около которой написано «котельная».

Котельная. Батарея котлов. Над одной топкой загорается красная лампа. Она освещает табличку: «держат предельное давление».

Два кочегара. Они в одних штанах, без рубаш. Они подходят под непрестанно льющійся душ, обдаются водой, затем открывают дверцу топки и начинают бросать в нее, навстречу выбивающемуся дымному огню, полные лопаты угля.

Машинный зал электростанции. Машинист глядит на единственно работающий турбогенератор. Машинист говорит генератору:

«Держись, бедняк!»

Подходит к распределительной панели. Включает автомат: переводит всю нагрузку завода на

уцелевший турбогенератор. Моментально, вслед за движением руки машиниста, включившего автоматический рубильник, из-под щеток генератора вместо искр стали бить целые молнии.

Стрелки циферблатов — «токарный», «котельный», «литейный» — трогаются с нулей, показывают нагрузку.

Сверло котельщика завращалось. Резец снова взял сталь. Турбогенератор работает с громадным перенапряжением, он даже дымится. Пластины предохранителя нагреты докрасна (сделать это натуральным цветом, если можно), затем они делаются накаленными добела и так остаются белыми.

Весь машинный зал электростанции наполняется газом тлеющего генератора и паром из неплотностей турбины. Машинист открывает двери электростанции, через дверь виден летний день и покоящиеся без ветра деревья. Машинист снимает пиджак и ложится на корпус генератора с наждаком в руках. Он хочет потушить молнии на коллекторе — и трет его наждаком. Все движения машиниста не поспешны, но чрезвычайно экономны и потому кажутся быстрыми. Ему 30 лет.

Из котельной входит кочегар. Он равнодушен.

«Что у тебя тут газует?»

Осветительные лампы припогасают в тумане газа.

Машинист отвечает с машины:

«Ступай баланс нажми. Видишь — напряжение тает. Твой пар в мою вертушку не берет — давай мне давление».

Кочегар уходит. Котельная. Котел [нрзб] работает: из предохранительного клапана бьет вихрь пара. Кочегар залезает по лестнице на котел. У него в руках ключ. Он поворачивает ключом гайку клапана. Пар перестает бить из клапана. Кочегар сходит с котла.

«Жги воду с форсом», — говорит он второму кочегару. Второй кочегар открывает дверцу топки. Оттуда рвется длинное пламя. Вдвоем они начинают загрузку топки углем.

Машинный зал. Машинист лежит на генераторе. Входят двое: директор завода и секретарь партколлектива. Они осведомляются — в чем дело. Стоят у генератора. Смотрят на трепещущие стрелки приборов. Пауза.

«Пронесемся или сгорим?»

Машинист сползает с машины. Рубашка на его животе истлела, пока он лежал, и он взмок от пота.

Взрыв синего пламени из генератора. Одновременно — вихрь пара из клапана турбины. Машинный зал от дыма и пара делается невидимым.

Котельная. Кочегар натягивает рычаг гудка. Тревожный гудок. К электростанции подъезжает пожарный паровоз.

Кочегар направляет струю брандспойта в чад машинного зала. Чад несколько рассеивается. Около генератора навзничь лежит машинист. Он показывает на свой голый черный живот. Кочегар направляет струю воды на живот машиниста. Машинист встает.

«Брось меня в топку, такого стервеца!»

Кочегар поливает водой директора и партийного секретаря, которые также лежат опрокинутыми. Кочегар кладет брандспойт на пол и закручивает вентиль еще вращающегося турбогенератора. Все стрелки циферблатов показывают нули. Кочегар говорит:

«Ты думаешь, промфинплан теперь споткнулся. Пускай споткнулся — мы его подыдем, и он опять пойдет!»

Ночь. Звезды. Завод во тьме. Здание электростанции. Окна ее слабо светятся. Там горят керосиновые лампы. Два десятка монтеров сидят на полу: они перематывают якоря генераторов и разбирают турбину. Машинист повис на цепи недействующего электрического крана. Ему помогают другие мастеровые. От их общего веса кран начал действовать — он приподымает деталь генератора, зацепленную за другой конец крановой цепи.

Стоит очередь больных паровозов — иные без дышел, иные без тендеров и т.д. Мимо паровозов идет девушка с узелком. Она подходит к электростанции. Входит в машинное помещение. Видит машиниста; тот сползает с крановой цепи. Девушка дает ему узелок с едой. Машинист сразу ест. Девушка опечаленно стоит против этого грязного полуголого человека. Она говорит:

«Я не знаю, зачем я ношу тебе еду, зачем тоскую, когда мы никогда не будем женаты».

Машинист жует.

«Уже скоро, Маша, будет социализм.

Ты подожди чуть-чуть».

Девушка идет обратно мимо больных паровозов. В ее руке пустой узелок. Она прислоняется к цилиндру холодного паровоза и стоит в слабой ночной тьме. Затем идет дальше. Очередь паровозов длится мимо нее. Девушка идет все более быстро. Бежит. Паровозы не кончаются. Она хватается за колесо паровоза и останавливается в недоумении.

Общее собрание рабочих завода. Собрание происходит в цехе. Трибуна — тендер паровоза. На трибуне — машинист электростанции, директор завода, секретарь партколлектива и предзавкома. Собрание взволновано.

«Кто сжег генератор? Какой полугад остановил весь завод на 14 часов? Показать его на усмотрение масс!»

Тысячное собрание настроено тревожно и угрюмо.

Машинист встает.

«Я».

Секретарь партколлектива встает.

«Мы».

Собрание сразу умолкает. Кто сидел, тот встает. Общее молчание. Видно, как по лицам мастеровых невозбранно ползают мухи.

Секретарь, директор, предзавкома и машинист медленно сходят с тендера. Идут сквозь строй рабочих. Их останавливают без внимания. Машинист идет сзади всех; его лицо выражает спокойствие, а не огорчение. Секретарь, предзавкома и директор уже вышли из массы. Но двое задних мастеровых протягивают руки и задерживают машиниста:

«А ты оставайся, черт беззаветный!

Опять пойдешь в сборку — паровозы гонять».

Заболоченная долина большой реки. Испарения болот застыт солнце. Осока, камыш, топь, бездорожье и глушь бесприютного местожительства. Бедная деревня на острове — среди мокрой поймы. Утро. Тишина. При гъезде в деревню вывеска — «Колхоз имени Генеральной Линии». Около некоторых изб стоят прислоненные новые тесовые гробы. У других изб мужики только делают гробы. Недалеко от деревни видна железнодорожная дамба, пересекающая всю речную пойму поперек*.

На дамбе неподвижно стоит крестьянин. Он бос и плохо одет. Он глядит в даль пустыми выцветшими глазами, едва ли что соображая. В колхозе звонит колокол на работу. Крестьянин автоматически идет с дамбы в колхоз.

Среди колхоза большой двор. На воротах вывеска «РСФСР. Организационный Двор». На дворе собрались крестьяне, по виду и настроению подобные первому, которого мы назовем Середняком: он становится в ряд со всеми. Из дома Оргдвора появляется на крыльце Активист. Он говорит всем:

«Зачем готовите гробы? Или полагаете, что этот свет наш, а тот — будет вашим? Упреждаю, что тот свет будет организован по одному началу с этим: деваться вам некуда. Хотите живите, хотите кончайтесь».

Около Активиста труба громкоговорителя. Активист включает радио. Труба начинает играть, Активист же дирижирует звуками. Мужики разбредаются по Организационному Двору, соблюдая некоторый такт, соответственно музыке и движению дирижирующих рук Активиста. Одни крестьяне подбирают палочки и соломинки и складывают их в кучи среди Оргдвора; другие — укрепляют плетни; третьи — просто топчутся. Действие происходит в тумане болот и точно во сне всех действующих. Середняк мнет глину ногами в углу Оргдвора. Белые глаза его равнодушны и почти мертвы.

Активист прекращает управление радиомузыкой.

Мужики враз замирают на своих местах.

«Снабжение Энтузиазмом закончено».

Активист делает жест всеобщего устранения. Крестьяне оставляют Оргдвор. Середняк снова на дамбе и глядит в даль.

«В ожидании спуска дальнейших директив».

Готовые гробы. Крестьяне волокут с улицы во дворы: ставят их в глушь бурьяна и ложатся в них.

Середняк стоит один на высоте дамбы вдали. Активист выходит на крыльцо Оргдвора и глядит на сторожевого Середняка в бинокль.

Общий скотный двор. Беспризорными стоят десять—двадцать лошадей. Они ржут без пищи и питья и оглядываются в мучении. Затем идут всем табуном на водопой. Возвращаясь с водопоя, выдирают зубами солому из крыш, рвут траву по дороге, собирают отдельные пучки сена — и все это несут в зубах на общий скотный двор. Здесь они сваливают весь самовольно собранный корм в кучу и только теперь начинают коллективно есть.

* Съемку вестн в пойме р. Тихой Сосны, близь г.г. Острогжска и Коротояка, Центр. Черязем. Область.

Деревенская площадь. На ней собралась стая грачей. Стая поднялась и улетела.

Плетень. На плетне воробьи. Они также поднимаются и улетают вдаль — за колхозную деревню.

Колея дороги на выезде из деревни. По этой колее ползет длинная череда тараканов, покидающих колхоз.

Активист идет по пустынному колхозу. В руках у него бумажные таблички и номерки. Активист входит во дворы и избы. В одном дворе он видит бочку. Прикрепляет к ней бумажку с надписью: «Бочка № 49. Емкость 200 литров». Подходит к плетню. Вешает на него тоже ярлычок: «Временная единоличная огорожа № 73. На учете топливного утиля».

Видит петуха, поглядывающего на Активиста из-за лопуха. Бросается на петуха. Петух бежит от Активиста. Активист мчится за петухом через дворы, плетни и гумна. Петух взлетает и летит как форменная птица. Активист глядит на полет петуха в бинокль.

Активист входит в избу. Внутренность избы — голая и чистая, как больница. На лавках лежат женщина, мальчик и крестьянин: все вниз лицом и совершенно неподвижны. На стене — обычные часы с маятником и гириями. Маятник не качается, часы стоят. Активист глядит на часы. Пускает их в ход, покачнув маятник своей рукой. Маятник, сделав несколько ходов, вновь останавливается. Активист выходит из избы.

Со середины улицы Активист глядит на сторожевого Средняка, что стоит на дамбе.

К Активисту подходит истомленный, еле одетый человек — бедняк Кузьма.

Активист говорит ему, не отрывая взора от бинокля:

«Беги в луга и ликвидируй там петуха».

Кузьма делает ему удар в ухо. Но сытый, твердый Активист не чувствует боли, т.к. удар истомленного человека слишком слаб и бессилен. Этот бедняк Кузьма сам зашатался от своего напряжения, тогда как Активист остался неподвижен. Кузьма ложится в дорожный прах.

«Где же ты, партия?»

Средняк машет с дамбы руками. Активист трогается в направлении — на дамбу. Кузьма подымается и идет за ним.

Вдалеке виден быстро мчащийся паровоз. Показать работающий паровоз вблизи — на всем ходу. Паровоз не окрашен, на цилиндрах нет покрышек — смазочные трубки обнажены; вообще — многие внутренности паровоза наружи, как обычно бывает на паровозах, вышедших из капитального ремонта и работающих для испытания. На тендере паровоза написано крупно мелом: «Проба».

Из окна паровоза выглядывает машинист, тот самый, что был раньше на электростанции. Он видит вдалеке, на линии, человека — Средняка. Машинист дает долгий свисток. Средняк не уходит с рельсов. Паровоз уже почти настигает его. За Средняком виден тупик — деревянный упор. Машинист резко закрывает пар и поводит ручкой автоматического тормоза до отказа. Средняк мчится от паровоза прямо по линии, между рельсов, не соображая, что надо оставить путь в сторону. Лицо Средняка не выражает испуга — он бежит автоматически и наблюдает опустевшими, ясными глазами окружающий солнечный мир.

Тормозные колодки паровоза настолько сильно сжимают колеса, что из-под колодок брызжет огонь. Колеса перестают вращаться. Паровоз проползает несколько метров юзом и останавливается. Средняк садится на деревянный упор тупика и глядит на паровоз.

Активист и бедняк Кузьма взбираются по насыпи к паровозу. Машинист сходит с паровоза.

Активист спрашивает у машиниста сумку с директивами. Машинист не понимает. Активист назойливо требует, — он вынимает карандаш, чтобы расписаться в получении документов.

Машинист вытирает руки паклей. Чтобы отвязаться от Активиста, он проводит по лицу Активиста грязной паклей. Активист молча утирается.

Кузьма просится на паровоз. Средняк стоит тут же, но не смеет ничего сказать. Кузьма входит на паровоз. Паровоз уезжает задним ходом.

Активист и Средняк уходят на колхоз.

Средняк доходит до своего дома. Входит в избу. В избе его висят остановившиеся часы и лежит старик с обомлевшим лицом. Средняк берет лукошко с печки, выходит во двор и посыпает мусор из лукошка по земле, как раньше он посыпал зерно курам. Но никакой птицы нет. Солнце пустынно освещает дворовую землю. Тогда Средняк прислоняется к молодому деревцу, — и так стоит. Но с улицы поверх плетня на него смотрит лицо Активиста. Активист показывает ему жестом головы и руки, что деревцо надо вырвать.

Средняк целует ствол деревца, затем изымает его с корнем из земли и несет Активисту. Активист направляется по улице. Средняк идет за ним с деревцем на плечах. Оба они входят на Организационный Двор, и Активист показывает место у крыльца, где нужно вновь посадить это дерево. Средняк бездумными медленными руками начинает рыть яму для корня.

От одного края колхоза начинается болото. Среди болота виден плот. На плоту — люди и костры. Из крайней одной хаты медленно выходит тучный рыхлый крестьянин; одет он плохо и на лицо худ.

Активист выглядывает из ворот Оргдвора и замечает тучного мужика. Активист постепенно достигает его.

«Ты чего не являлся на раскулачивание? Ты отчего не выселился?»

Тучный крестьянин устало глядит на Активиста.

«Я ж тихий бедняк!»

Активист пробует рукой живот этого крестьянина

«А отчего ты тучный?»

Бедняк поднимает рубаху на своем животе.

«Это не жир, а старость — у меня водянка и я вскоре скончаюсь!»

Активист берет готовый гроб, что стоит прислоненный к соседней избе. Затем Активист вынимает свисток и свистит в него. Из Оргдвора выглядывает Середняк. Активист показывает Середняку на гроб и на плот, который виден на болоте. Середняк заспешил куда-то с Оргдвора.

Середняк подводит лошадь к пустому гробу. Привязывает лошадь упрощенным способом к гробу.

Активист сажает тучного мужика в гроб и трогает лошадь в воду.

Тучный бедняк кричит в пространство из гроба:

«Где ты, Козьма! Я же сырой, бедняк, и не кулацкий класс!»

Лошадь без сопровождения поволокла гроб по болотной мели — в направлении видимого плота. Тучный бедняк еще кричит оттуда что-то, но Активист смотрит на него в бинокль, и бедняк прячет лицо внутрь гроба, боясь вылезти из него.

«Раз ты тучный, то езжай на плот в кулацкий класс! Бедняк пухлым быть не должен».

Лошадь уволокавает гроб с бедняком. Активист и Середняк стоят на болотном берегу.

Паровоз едет по дамбе, лежащей поперек заболоченной долины. Кузьма и машинист глядят из окна на болота. Кузьма показывает рукой на всю окрестность.

«Когда я был мальчишкой, кулаки на великие деньги продали землю инженер-буржуйам¹ под эту дамбу. А река загордилась и умерла — и стали мы гибнуть в болотах. Но теперь мы кулаков посадили на бревна и отправили жить на середину болот!»

Паровоз переходит на главный путь и исчезает с полным паром.

Активист сидит на берегу и смотрит в даль болот. Середняк неподвижно стоит около него, опустив руки. К берегу приближается лошадь. Она волочит обратно по болотной мели пустой гроб.

В гроб садятся Активист и Середняк. Лошадь волочит их на Организационный Двор. Активист входит на крыльцо дома, что на Оргдворе, и протяжно свистит в свой свисток.

Из гробов, поставленных в бурьян на разных дворах, поднимаются равнодушные мужики и бредут к Оргдвору.

Собрание на Оргдворе. Стоят несколько десятков крестьян против крыльца. Активист включает радио. Прислушивается. Выключает.

«Оно играет не то. Я вам сейчас сыграю на губах Организационный танец, а вы пляшите под него всем темпом своих туловищ».

Видно, как уста Активиста играют танец. Мужики с мертвыми лицами топчутся по-лошадиному. Активист перестает играть. Он недоволен.

«Темпу больше, а то раскулачу!»

Мужики танцуют и кружатся несколько быстрее. В общем танце мужики обертываются лицами в противоположную от Активиста сторону. Активист кричит им:

«Взором ко мне!»

Крестьяне враз оборачиваются к нему. Все лица танцующих покрыты слезами.

Активист замечает это.

«Ликвидировать кулацкое настроение!»

Слезы на всех лицах моментально обсыхают — и мужики усиленно организуют радость и улыбку на своих лицах.

Паровоз въезжает в ворота паровозоремонтного завода.

Паровоз останавливается. С паровоза сходят машинист и Кузьма.

Партийный комитет завода. Машинист и Кузьма входят в дверь Комитета. В Комитете заседание. Все члены Комитета — простые рабочие. Машинист просит, чтобы Комитет дал Кузьме право сказать свое слово. Большевики соглашаются. Кузьма садится на стул посреди комнаты.

Телефон звонит. Секретарь Комитета слушает телефон. Он говорит затем:
«Через полчаса общее собрание. Сейчас явится Секретарь Обкома».

Общее собрание рабочих завода в цехе. На трибуне Кузьма. Он говорит наглядно. Представляет Активиста. Показывает омертвевший образ Середняка и т.д.

Уже темнеет. Ночь. Тот же паровоз стоит близь цеха. Кочегар бросает уголь в топку. Машинист, Кузьма и еще десять—пятнадцать мастеровых выходят из цеха. Влезает на паровоз. Паровоз сразу берет хороший ход. Выезжает за ворота завода. Около ворот стоит с узелком невеста машиниста. Она видит машиниста и кричит ему. Машинист машет ей рукой приветствие, но паровоз уходит все более быстро. Машинист снимает фуражку и бросает ее своей невесте! Девушка подбирает фуражку и стоит с ней и своим узелком. Задний фонарь паровоза уменьшается и делается вовсе невидимым. Паровоз исчез.

Ночь. На высоком шесте горит красный фонарь над колхозом. Дальше — над кулацким плотом — горит фонарь желтый.

Оргдвор. Среди Оргдвора стол. На столе большая плошка, в которой горит сало. За столом сидит Активист и пишет ведомость. Ночной ветер колеблет листы его ведомости.

Середняк проходит мимо Оргдвора и стучит сторожевой колотушкой.

По железнодорожной дамбе, которой сейчас не видно, мчатся три огня паровоза. Огни летят выше уровня колхоза и земли, в полной тьме — точно по небу.

Активист слышит шум какого-то движения и смотрит на небо. На небе звезды. Активист склоняется над ведомостью и снова пишет. Огонь в плошке колеблется.

Активист трудится с крайним усердием и углубленностью. Он не слышит, как к нему подходят Кузьма и машинист. Кузьма без всякого предупреждения делает Активисту удар в голову, но попадает только косвенно, почти промахивается, и сам падает на землю от своего измождения. Машинист тогда бьет Активиста ровным ударом в лоб. Активист валится, но во время падения выхватывает револьвер и стреляет вверх. Освещенный паровоз стоит на дамбе. После выстрела с паровоза раздается тревожный, длинный гудок: видна струя пара, бьющая из сирены.

Поднявшись, Активист видит, что на Оргдворе, кроме машиниста и Активиста (очевидно, Кузьмы. — Н.К.), стоят десять—двенадцать рабочих. Он смотрит на дамбу. Там гудит паровоз.

Активист прыгает через плетень. Рабочие оставляют его без внимания. Активист подбегает к берегу болота и бежит по воде по направлению к кулацкому плоту, над которым горит желтый фонарь.

По темным дворам мужики поднимаются из гробов. Лошади прыгают с общественного скотного двора табуном. Люди и лошади идут на Оргдвор. Позади всех шестует петух — тот, который некогда улетел от Активиста.

Кузьма, машинист и все прибывшие рабочие сидят за столом. Их окружают крестьяне и лошади.

Утренний рассвет. Около дамбы находится все население колхоза: крестьяне, лошади, петух, воробы, старики, несколько женщин и т.д.

Все рабочие и машинист входят на паровоз. Кузьма остается в колхозе. Он новый председатель колхоза. Паровоз дает продолжительный гудок и отъезжает. Все население колхоза бежит босед паровозу, но паровоз уже скрывается на полном ходу.

Паровозоремонтный 3-д. Главные ворота. На воротах громадный плакат:

«Товарищи! Сегодня начинается сверхурочный добровольный труд для постройки землечерпательной машины, чтобы осушить болота в подшефном колхозе имени Генеральной Линии».

Машинный зал электростанции.

Входит машинист. Дежурный машинист передает нашему машинисту свою работу. Машинист расписывается в книге.

Котельная. Кочегар тянет рычаг гудка.

Гудок: конец рабочего дня. Открываются проходные будки. Из будок никто не выходит. Один мастеровой подошел к доске с номерами. Вешает свой номер. Сторож глядит на него — и смеется. Мастеровой снимает свой номер назад и уходит обратно в цех. Новый гудок к началу работы. Проходные будок закрываются.

Машинист нажимает кнопку. В котельной на котле зажигается красная лампа с табличкой: «держат предельное напряжение».

Из-под щеток коллекторов бьют искры и молнии. Машинист, как прежде, начинает борьбу с перегруженными машинами. Он трет коллекторы наждаком. Плюет на корпус машины. Слюны кипят. Он снимает рубашку. Мочит ее под краном. Выжимает из нее лишнюю воду. Потом

накладывает влажную рубашку на корпус машины. От рубашки идет пар. Так же поступает машинист со штанами и с нижним бельем. Всей своей одеждой, намоченной и влажной, он покрывает горячие машины. Сам остается голый. Лишь через чресла обвязывает себя веревкой.

В машинный зал входит девушка — невеста машиниста. Она лучше, чем прежде, одета и не имеет в руках узелка с едой.

«Я тебе ничего не принесла: принесу, когда социализм настанет».

Машинист рассеянно глядит на нее, потому что все время чутко слушает работу машин.

«Ладно, Маша. Как социализм доделаем, так я тебя враз полюблю. А ты пока пойди походи».

Маша стоит и плачет. Машинист целует ее и, обернувшись, плюет на свою рубашку, лежащую на машине.

Рубаха тлеет. Сплюнутая влага вскипает. Девушка уходит. С порога оборачивает свое плачущее лицо.

«У Карла Маркса жена была, у Ленина была,
а у тебя все нет и нет».

Машинист озадачен. Но машины дымятся. Он вновь мочит свою одежду, выжимает ее и расстилает по корпусам машин.

«Проходит месяц».

Едут товарные платформы. На платформе ящики с частями машин. На ящиках написано «Экскаватор. В колхоз Генеральная Линия». На одной платформе сидят машинист и пятеро мастеровых.

«И еще проходит неделя».

Плавающий экскаватор стоит собранный на воде. Труба его дымится. Ковш поднят.

Лето. Высокий день. Чаща осоки, кустарника и болотная топь окружают экскаватор с трех сторон. Экскаватор поворачивается рабочей стороной к заросшему болоту. Ковш опускается под воду. Ковш извлекает грунт и относит его в сторону.

Экскаватор вгрызается в болотную чащу. Его ковш корчует чащобу, заросли, рвет из-под воды залежалые деревья, мечет грунт. Машины экскаватора работают ураганным темпом. При больших напряжениях, когда ковш экскаватора цепляет под водой глубокие корни, понтон экскаватора накреняется, через него хлещет вода. Тысячи лягушек, спасаясь, бросаются на экскаватор; другие тысячи их облепляют грунт берегов рослого канала. Вода мутными потоками кружится вокруг напряженной, трепещущей машины. Как трактор борозду, машина роет новую реку. Среди вечной неподвижной девственности, в окружении диких прекрасных цветов — экскаватор рвет землю и поднимает сверху железной рукой букеты подводных нежных растений, а затем бросает их прочь. Машинист, облитый маслом и потом, с радостной яростью работает рычагами управления.

Позади экскаватора уже образовалось прямое и точное русло новой реки. Экскаватор работает дальше — вперед, окутанный дымом и паром.

Болото близь колхоза. Под руководством Кузьмы все члены колхоза работают по живот в воде. Колхоз роет лопатами подводный грунт и накладывает его в корзины бабам, которые выносят грунт в корзинах на берег. Грунт — жидкий; по женщинам, когда они уносят корзины, течет грязь. Мужики, роющиеся в болотной жиже, тоже все в грязи. Заросли рвут руками. Миллионы комаров и мух неподвижными тучами стоят над тружениками. Бабы ходят с корзинами из болота на берег и возвращаются обратно. Колхозники копают. Они потеют даже в воде: соленые пятна слившегося пота блестят на их голых телах.

Колхоз углубляет русло по направлению к далекой непроходимой чаще, что стоит стеной вдалеке.

Из-за той чащи показывается дым работающего экскаватора.

Весь водяной колхоз обращается взором в то направление.

Кузьма выходит на берег. За ним выходят все.

Экскаватор бьется уже в последней болотной чаще — от колхоза отделяет его уже небольшое пространство негустого болота.

Кузьма уводит всю артель в деревню.

Колхоз. По улице ходят куры. Горой лежат пустые гробы. Кузьма входит в избу. Висят остановившиеся часы. Кузьма толкает маятник. Часы идут. С пола на стену поднимаются тараканы. Кузьма моет руки, достает из сундука чистую рубашку.

Улица колхоза. Бабы и мужики вышли из изб со свежей одеждой и переодеваются на воздухе.

Экскаватор уже пробился сквозь чащи и работает на виду колхоза, оставляя за собой след в виде новой, геометрически точной реки.

Экскаватор приближается к берегу колхоза.

По берегу к остановившемуся экскаватору идет колхоз. Впереди шествия флаг. Близь флага — Кузьма. Под флагом два колхозника несут на носилках рупор радиогромкоговорителя и принадлежности для радиоприема. Задние несут на шестах антенну. Баба волочит по береговой воде провод заземления. Позади колхозных людей идут общие лошади, Петух, Грачи, Воробьи и одна Собака.

Шествие останавливается на берегу против экскаватора. Кузьма пускает радио. Радио играет музыку. Все члены колхоза дирижируют руками в такт музыке. Экскаватор дает гудок. Ковш опускается под воду. Ковш поднимается, наполненный грунтом. Ковш относится в сторону и сгружает подводный грунт на берег. Движения машины сложны и сознательны.

Середняк находится близ Кузьмы. Он поет от оживления и движется на месте:

«Чья ж теперь машина?»

Машинист отвечает с борта экскаватора:

«Ваша».

Услышав это, весь колхоз в новой одежде с берега бросается в воду. Достигнув экскаватора, люди хватаются за него и с жадностью держатся за причальные брусья. Лошади также подходят вброд к машине. Петух перелетает воду и садится на площадку понтона.

Колхозники влезают на экскаватор. Трогают детали машины, гладят железо, глотают слюны от жадности к новой собственности. Кузьма и Середняк обнимают котел.

Середняк наклоняется ртом с борта, моет губы, вытирает их начисто исподней рубахой и подходит к машинисту. Целует машиниста.

«Мы уже теперь в колхозе не расстанемся. От такого имущества у нас будет покладная общая душа!»²

Некоторые колхозники пошли и поплыли в даль — по новому каналу.

Из деревни в канал рудьями тронулась стоячая дотоле вода.

Машинист бросается в одежде в новый канал, чтобы вымыться.

Станция железной дороги — невдалеке от колхоза. К станции подходит пассажирский поезд. С поезда сходят несколько рабочих семей с паровозоремонтного завода. Невеста машиниста, празднично одетая, также сходит с поезда. Ее сопровождает молодой человек — ее новый жених.

Снова экскаватор. Середняк, Кузьма и машинист пляшут на понтоне под аккомпанемент прерывистого гудка, рукоять которого дергает один мастеровой.

На берегу появляются люди с поезда. Бывшая невеста машиниста идет под руку со своим женихом.

Для приезжих с экскаватора на берег выкладывается мостик.

Плот с классом кулаков. Меж ними несколько бедняков, в том числе Тучный бедняк, а также Активист. Они видят экскаватор и проишествия на нсм. Жердяки они подталкивают плот в направлении экскаватора, пробираясь сквозь болотные заросли.

На понтоне экскаватора совершается свидание семей рабочих с колхозниками. Бывшая невеста машиниста представляет ему своего жениха:

«Это мой будущий муж».

Машинист радостно пожимает руку этому мужу:

«Здравствуй. Значит, ты с ней будешь работать в котел нашего класса: все равно!»

Кузьма отзывает машиниста к котлу экскаватора и открывает дверцу топки: там погасает огонь.

Но колхозные ребятишки под командой Середняка уже подволокли к экскаватору поезд связанных между собой пустых гробов. Гробы раскальваются и идут в топку экскаватора.

К экскаватору подплывает кулацкий плот. Машина сифонит — из дымовой трубы вырываются языки огня.

Машинист и колхозники глядят на кулацкий плот. Кулаки глядят на экскаватор.

Машинист обращается: «Вы кто?»

Кулак отвечает с плота: «Мы — как класс».

Машинист пускает в ход экскаватор. Ковш приближается к плоту, цепляет его за край и волочит вокруг экскаватора — из камышей на чистый поток. Тучный бедняк кричит с плота. Кузьма объясняет машинисту. Машинист освобождает ковш от плота и приспускает ковш к Тучному бедняку. Бедняк забирается в ковш; с ним садятся еще двое бедняков. Кроме них, за борт ковша уцепился Активист.

Ковш поднимается над водой. Затем останавливается в воздухе. Машинист двигает одним из рычагов, ковш сотрясается, Активист падает в воду. Трех бедняков ковш опускает на берег.

Затем ковш энергично подталкивает плот вперед; плот увлекается течением потока и уползает в даль, в вечерний сумрак. Девушка подходит к машинисту:

«А если б я стала ждать тебя?»

Машинист думает.

«Зачем? Твой жених тоже мастеровой, и мне еще много надо земли рыть».

Невеста опускает голову.

Середняк подходит к ней:

«Записывайся к нам в колхозные матеря!»

Девушка глядит на Середняка, на машиниста и своего жениха (простога мастерового) и легко улыбається.

Трое людей — Машинист, Жених и Середняк — склоняются к лицу девушки и одновременно целуют ее. Кузьма тоже пытается пролезть между склонившимися туловищами — для дачи своего поцелуя, — но не управляет.

(Обращаю внимание, что этот поцелуй качественно другой, чем знаменитый концовочный поцелуй. Если постановщикам сделать этот поцелуй качественно другим не удастся — тогда не делать поцелуя вовсе. Задача в том, чтобы поднять «поцелуй» из позора и сделать его свежим социально <действенным — *нрзб*> явлением³.)

ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 95, л. 5—36; автограф (школьная тетрадь).

На первых страницах тетради — письмо Платонова в сценарный отдел фабрики «Совкино». Из письма следует, что писатель сдает в сценарный отдел либретто, а сам текст сценария будет развернут после решения вопроса о съемках фильма. В архиве Московской фабрики «Совкино» следы «Машиниста» не обнаружены; однако в ее планах есть два платоновских названия «Епифанские шлюзы» и «Песчаная учительница» (ЦГАЛИ, ф. 2498, оп. 1, ед. хр. 26, л. 41; ед. хр. 28, л. 103). Примечателен и тот факт, что среди машинописей, оборотные стороны которых писатель использовал в качестве бумаги для рукописи «Котлована», находятся и листы киносценария «Песчаная учительница», все три экземпляра письма в «Совкино» о «Машинисте», очерк «Огни Волховстроя». История создания «Машиниста» открывает тот перекресток, где в 1929 году произошла встреча проектов инженера и меллиоратора Платонова с социально-политическими установками года «великого перелома». В письме в сценарный отдел Платонов указывал место возможной съемки фильма «Машинист» — пойму р Тихой Сосны, между г. г. Острогжском и Коротояком (120 км от г. Воронежжа...) в этом же месте работает экскаватор» (л. 3). Эта сугубо техническая деталь письма автобиографична: в январе 1926 года губернский меллиоратор А. Платонов подписал договор с Ленинградской технической конторой на ремонт паровой лопаты, строительство понтона и подготовку экскаватора (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 2, ед. хр. 3, л. 7). В очерке «Огни Волховстроя» Платонов описал картину преобразования «болот» в «проспекты» и собственную деятельность по возвращению к жизни «умирающих рек»: «Для работы по урегулированию рек в Воронежской губернии Губземуправлению потребовались экскаваторы... Дело это новое, поэтому для ознакомления с работой экскаваторов я поехал предварительно на Волховстрой и оттуда на заводы Ленинграда для заключения договора на изготовление экскаватора» («Воронежская коммуна», 1925, № 1). Оставил свидетельство о деятельности Платонова этого времени В. Шкловский, совершивший агитполет в Воронежскую губернию в 1925 году: «Еще здесь прочищают реки, выпрямляют их, спускают болота и сыпят на землю известь, чтобы поля не были кислыми. Так прочистили Тихую Сосну. Товарищ Платонов очень занят. Пустыня наступает. Вода уходит под землю и там течет в больших подземных реках» (Шкловский В. Третья фабрика. М. 1926, стр. 125). Судьба Тихой Сосны продолжает волновать Платонова и в Москве, где уже известный в литературных кругах писатель продолжает сотрудничать с Наркомземом РСФСР. Свидетельство тому — сохранившаяся служебная записка Платонова начала 1929 года «Характер отложений, слагающих пойму реки Тихая Сосна» и наброски к очерку о меллиоративных работах на этой реке. Вот только некоторые из записей — жесткий социально-экономический анализ экологической обстановки в районе много-страдальной реки: «... Заболочено 20 тыс. га. Стоимость речного осушения» 20 р. максимум на 1 га. <...> 666 т/д (трудодней — Н. К.) уже затрачено (на 1928...). <...> Почвы долин р Тихой Сосны, обогащаемые ежегодными наносами черноземных водоразделов (ил, далювиальные сносы), очень богаты, особо благоприятны для луговых растений и для огородных культур. При этом все почвы богаты известковыми солями <...> За 15 лет поименные леса Тихой Сосны ухудшились так: понижение прироста, верба выжила ольху, суховершинность <...> Все жители поймы больны малярией. 100%; но долина Тихой Сосны — центр округа — края в промышленном отношении» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 2, ед. хр. 8, л. 6). Среди материалов к очерку сохранились и записи Платонова, сделанные, очевидно, уже в ноябре—декабре 1929 года, после исторического ноябрьского пленума ЦК ВКП(б), одним из решений которого было направление в деревню 25 тысяч рабочих: «Энтузиаст-давило Энтузиаст действительный. <...> Богатая луговая долина. Бедные деревни. Постройка дамбы поперек долины. Река умирает. Луга уничтожаются. Деревни нищают. Скот дохнет. Продукции нет. Город строится. Очереди у магазинов <...> Партия мобилизует рабочих в деревню» (там же, л. 5). Последняя запись жиро отчеркнута и обведена Платоновым. Это уже не просто будущий социальный каркас «Котлована». Писатель как бы развернул в набросках к очерку две программы: программу культурного возрождения земли и человека и программу социально-политических преобразований деревни. Именно работа над этим очерком шла параллельно с работой над сценарием «Машиниста». Завершенный текст очерка в доступных нам архивах не обнаружен. Известна и сценарная судьба «Машиниста». Возможно, окончив в декабре 1929 года сценарий «Машиниста», Платонов использовал этот текст в работе над «Котлованом». Форма киносценария стала важным этапом в поиске ритма повести: в рукописи «Котлована» писатель с особой тщательностью следил за пропусками между частями повести, своеобразными кадрами немного кино. Думается, что и название колхоза «Генеральная Линия» в «Машинисте» и «Котловане» — это не только социально-политическая, но и кинематографическая аллюзия из жизни 1929 года: фильм С. Эйзенштейна «Генеральная линия», о котором с конца 1926 года постоянно сообщала пресса, вышел на экраны в 1929 году (под названием «Старое и новое»). Многие эстетические реалии этого фильма присутствуют и в платоновском «Машинисте». Так, главной героине фильма С. Эйзенштейна (колхознице-ударнице Марфе) в сценарии Платонова противостоит девушка Маша, мечтающая выйти замуж еще до наступления социализма. Отсылает к фильму «Старое и новое» и сцена своеобразного оголения машиниста ради спасения машины: в фильме так же поступает Марфа, снимающая свой единственный наряд, кружевную нижнюю юбку, чтобы протереть сломавшийся трактор.

¹ *Инженер-буржуй* — первоначально в рукописи «буржуй»; добавлением Платонов вносил современный политический аспект содержания, связанный с шахтинским процессом 1928 года.

² *Мы уже теперь в колхозе не расстанемся.* — Над этим кульминационным «словом» коллективного героя писатель особенно долго работал в рукописи, дав несколько его вариантов: «А мы думали — отчего у нас душа пропала!.. А это у нас товарищ Активист имущество взял да испортил, и мы испортились»; «У нас душа явилась от такого имущества. А то товарищ Активист забрал все сквозь и [ирэб] испортил, и нам стало пусто жить. Мы говорим болото, а он нам — даешь, говорит, сплошь, а то сам возьму»; «Ведь теперь вода опустится, луга высохнут, и наш колхоз очутится на бутре радости!»; «Мы уж теперь расстаться не можем, иначе машина пропадет, а без нее нам — мокро станет» (л. 31—32 автографа).

³ Финальная сцена «коллективного поцелуя» дописана Платоновым после первоначального финала. Это своеобразная авторская пародия на концепцию «живого человека» РАППа, которая была в центре литературных дискуссий 1928—1929 годов.

«О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ТРАГЕДИИ»

Надо не высовываться и не упиваться жизнью: наше время лучше и серьезней, чем блаженное наслаждение. Всякий упивающийся обязательно попадает и гибнет, как мышонок, который лезет в мышеловку, чтобы «упиться» салом на приманке. Кругом нас много сала, но каждый кусок на приманке. Надо быть в рядах обыкновенных людей терпеливой социалистической работы¹, больше ничего.

Этому настроению и сознанию соответствует устройство природы. Она не велика и не обильна². Или так жестко устроена, что свое обилие и величие не отдавала еще никому³. Это и хорошо, иначе — в историческом времени — всю природу давно бы разворовали, растратили, проели, упились бы ею до самых ее костей: аппетита всегда хватило бы. Достаточно, чтобы физический мир не имел одного своего закона, правда, основного закона — диалектики, и в самые немногие века мир был бы уничтожен людьми начисто. Больше того, и без людей в таком случае природа истребилась бы сама по себе вдребезги. Диалектика наверно есть выражение скупости, трудно оборимой жесткости конструкции природы, и лишь благодаря этому стало возможно историческое воспитание человечества. А то бы все давно кончилось на земле, как игра ребенка с конфетами, которые растаяли в его руках, и он не успел их даже съесть.

В чем же истина современной нам исторической картины?

Конечно, эта картина трагична, — уже потому, что действительная историческая работа совершается не на всей земле, а только на меньшей ее части с огромной перегрузкой.

Истина, по-моему, в том, что «техника... решает все»⁴. Техника это и есть сюжет современной исторической трагедии, понимая под техникой не один комплекс искусственных орудий производства, а и организацию общества, обособленную техникой производства, и даже идеологию. Идеология, между прочим, находится не в надстройке, не на «высоте», а внутри, в середине общественного чувства общества⁵. Точнее говоря, в технику надо включить и самого техника — человека, чтобы не получилось чугунного понимания вопроса.

Между техникой и природой трагическая ситуация. Цель техники — «дайте мне точку опоры, я переверну мир»⁶. А конструкция природы такова, что она не любит, когда ее обыгрывают: мир перевернуть можно, подобрав нужные моменты рычага, однако надо проиграть в пути и во времени хода длинного рычага столько, что практически победа будет бесполезной. Это элементарный эпизод диалектики. Возьмем современный факт: расщепление атомного ядра. То же самое. Настанет всемирный час, когда мы, затратив на разрушение атома П—количество энергии, получим в результате П+1 и этим убогим добавком будем так довольны, потому что он, абсолютный выигрыш, получен в результате как бы искусственного изменения самого принципа природы, т. е. диалектики. Природа держится замкнуто, она способна работать лишь так на так, даже с надбавкой в свою пользу, а техника напрягается сделать наоборот. Внешний мир защищен против нас диалектикой. Поэтому, пусть это кажется парадоксом: диалектика природы есть наибольшее сопротивление для техники и враг челове-

чества. Техника задумана и работает в опровержение или в смягчение диалектики. Удастся ей пока это скромно, и поэтому мир для нас добрым быть еще не может.

Одновременно лишь диалектика является единственным нашим наставником и средством против ранней, бессмысленной гибели в детском наслаждении. Так же, как она же явилась силой, создавшей всю технику.

В социологии, в любви, в глубине человека диалектика действует столь же неизменно. Мужчина, имевший десятилетнего сына, оставил его с матерью, а сам женился на красавице. Ребенок затосковал по отцу и терпеливо, неумело повесился. Грамм наслаждения на одном конце уравновесился тонной могильной земли на другом. Отец взял с шеи ребенка бечеву и вскоре ушел за ним вслед, в могилу. Он хотел упиться невинной красавицей, он любовь хотел нести не как повинность с одной женой, а как удовольствие. Не упивайся — или умирай⁷.

Некоторые наивные могут возразить: современный кризис производства опровергает такую точку зрения. Ничего не опровергает⁸. Представьте сложнейшую арматуру общества современного империализма и фашизма, истощающее измождение, уничтожение тамошнего человека, и станет ясно, за счет чего достигнуто увеличение производительных сил. Самоистребление в фашизме, война государств — есть потери высокого производства и отмщение за него⁹. Трагический узел разрубается, не разрешаясь. В классическом смысле трагедии даже не получается. Мир без СССР несомненно уничтожился бы сам собою в течение одного ближайшего века.

Трагедия человека, вооруженного машиной и сердцем, и диалектикой природы должна разрешиться в нашей стране путем социализма. Но надо понимать, что это задание очень серьезно. Древняя жизнь на «поверхности» природы еще могла добывать себе необходимое¹⁰ из отходов и извержений стихийных сил и веществ. Но мы лезем внутрь мира, а он давит нас¹¹ в ответ с равнозначной силой.

Статья «О социалистической трагедии» публикуется по рукописному оригиналу. Машинописный текст статьи хранится в архиве М. А. Платоновой и в архиве М. Горького (ИМЛИ имени А. М. Горького). Впервые эта статья Платонова упоминается и анализируется в работе Л. Аннинского «Откровение и сокровение. Горький и Платонов» («Литературное обозрение», 1989, № 9, стр. 14—16). Статья предназначалась для горьковского издания «Записных книжек», своеобразного приложения к фундаментальному коллективному труду писателей «Две пятилетки» (в домашнем архиве сохранилось письмо Платонова в редакцию «Записных книжек»). Статья «О социалистической трагедии» является в творчестве Платонова середины 30-х годов своеобразным философско-культурологическим метатекстом неопубликованных повестей Платонова первой половины 30-х годов («Ювенильное море», «Хлеб и чтение», «Инженеры», «Джан»). Статья также приоткрывает лабораторию работы писателя над романом «Счастливая Москва». В комментарии предлагается анализ авторской правки Платонова 1934 года перед отсылкой статьи М. Горькому.

¹ *Надо быть в рядах обыкновенных людей терпеливой социалистической работы...* — Первоначально в рукописи: «людей одной и общей цели». Правка отражает отход от вульгарно-социологического варианта, восстанавливая логику эстетической позиции начала 30-х годов, наиболее последовательно выраженной писателем в статье «Великая Глухая»: «...писатель не может далее оставаться лишь профессионалом одного своего дела: он должен вмешиваться в самое строительство, он должен стать рядовым участником его <...>».

² *Она не велика и не обильна.* — Ср. с «Епифанскими шлюзами» (1926), где выражена классическая для русской культуры модель мироотношения: «Сколь разумны чудеса природы... Сколь обильна сокровенность пространств. <...>Натура в сих местах обильна...» Слом этой классической модели в статье подчеркнут открытой аллюзией ее фундаментальных историко-культурных источников: «Летописи» Нестора («Вся земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет»), «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина («...земля наша велика и обильна...»).

³ *...свое обилие и величие не отдавала еще никому.* — Ср. со статьей Платонова «Культура пролетариата» (1920), где жестко были обозначены последствия обезбоживания мира для взаимоотношения человека и природы: «...верхом на истину человеку еще рано садиться, он этого не заработал, а скупа природа на оплату труда, нет хозяина».

⁴ *...«техника... решает все»* — из речи И. Сталина на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года. За этим лозунгом-тезисом

стояла и развернутая программа технократизации культуры: «Максимум в десять лет мы должны пробежать то расстояние, на которое мы отстали от передовых стран капитализма. (...) Пора покончить с гнилой установкой невмешательства в производство. Пора усвоить другую, новую, соответствующую нынешнему периоду установку: *вмешиваться во все*» (С т а л и И. Собрание сочинений, т. 13, стр. 41). Глубинные пласты диалога с этой концепцией заложены уже в повести «Ювенильное море» (1932).

⁵ ...а внутри, в середине общественного чувства общества. — Первоначально в рукописи: «...в сердце общества».

⁶ ...«дайте мне точку опоры...» — аналог приписываемой Архимеду фразы «Дай мне, где стоять, и я сдвину землю» (БСЭ). Ему же принадлежит расчет закона рычага, о чем идет речь у Платонова. Исследование современных аспектов архимедовской традиции занимает большое пространство в романе «Счастливая Москва». Вот только пример иронического контекста, в котором она дается: «Еще Архимед и Александриец Герон ликовали по поводу золотых правил науки, которые обещали широкое блаженство человечеству: ведь одним граммом на неравноплечном рычаге можно поднять тонну, даже целый земной шар, как рассчитывал Архимед. Луначарский же предлагал зажечь новое солнце, если нынешнее окажется недостаточным или вообще надоевшим и некрасивым» (архив М. А. Платоновой).

⁷ *Грамм наслаждения на одном конце уравновесился тонной могильной земли...* — Нравственные последствия технократически-архимедовского подхода к жизни прописаны Платоновым в финальной сцене самоубийства ребенка в романе «Счастливая Москва». Инженер Сарториус говорит французской комсомолке Кате Бессонэ, ощутившей свою вину за то, что «заскучал и самостоятельно умер ребенок — в то время, когда она упивалась счастьем с его отцом»: «Вы слышали, что есть золотое правило механики. Некоторые думали посредством этого правила обжечь целую природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вас, или из вас — как это сказать? — какое-то бесплатное золото. (...) Ну сколько получил — не больше грамма! А на другом конце рычага пришлось нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли, какая теперь лежит и давит его ребенка. (...) Не живите никогда по золотому правилу (...) Это безграмотно и несчастно, я инженер и поэтому знаю: природа более серьезна, в ней блага нет...»

⁸ *Ничего не опровергает.* — После этой фразы в рукописи первоначально следовало: «Техника высокого производства создала империализм». Это и следующее за ним предложение хранят память не опубликованного при жизни Платонова рассказа «Мусорный ветер» (1933), рассказа о гибели человека в западной цивилизации, о природе общества тоталитарного и технократического типа.

⁹ ...война государств — есть... — Первоначально в рукописи: «...есть отмщение, обратная отдача природе того, что у нее». Предложение не дописывается, вычеркивается почти открытая ссылка на мотивировку войны русского философа Н. Ф. Федорова, который считал войну следствием «небратских отношений» человека и мира: «(...) мир идет к своему концу, а человек своей деятельностью даже способен приблизить конец, ибо цивилизация, эксплуатирующая, но не восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускорения конца» (Ф е д о р о в Н. Ф. Философия общего дела. Верный. 1906, стр. 209)

¹⁰ ...добывать себе необходимое... — Первоначально в рукописи вместо «необходимое» было написано «счастье». Авторская правка приоткрывает природу рождения платоновских странных сочетаний: «Еще долго тело персиянки томилось жизнью, точно непрерывно готовое к счастью» («Такыр»); «бедное, но необходимое наслаждение» («Река Потудань»).

¹¹ ...давит нас... — Первоначально в рукописи: «давит нам душу в ответ», вариант, включающий классическое для русской литературы XIX века содержание последствий цивилизации для человека.

[ПРЕДИСЛОВИЕ]

[Чем можно жить человеку в тюрьме, в одиночном заключении?]

[В тюрьме, в одиночном заключении человек живет лишь заблуждением своего ума или воображением недостижимых для него людей и природы. Но воображение и заблуждение это почти одно и то же, потому что воображать означает способность чувствовать удаленное или несуществующее, обходиться одной лишь мыслью и чувством, вместо действительности, то есть заблуждаться. И в этом заблуждении Никодим Васильевич Якунин жил уже четырнадцатый год, с того времени, как его водворили после суда в одиночное заключение. В подследственной тюрьме Якунину было свободно и весело, но он уже давно забыл то прошедшее время, и даже свою личную жизнь Якунин стал уже забывать, потому что прожил ее вперед в своем воображении...]

Вначале ему было трудно, и сердце его обмирало каждый раз, когда он просыпался по утрам и вспоминал, что он в тюрьме и что ему здесь предстоит еще жить долгие печальные годы.]

Он смотрел на животных, на растения, на бедных людей, которые копаются на городской свалке, чтобы добывать себе средства на пропитание, и завидовал им. Он завидовал им не потому, что животные, растения и сборщики костей и тряпок /отбросов/ были свободными, а он глядел на них из-за подоконника тюрьмы, — он уже привык жить в тюрьме. Заключение человек думал, что в тех людях, которые бродят по свалочным кучам на петербургской окраине, в козах, собаках и курах, принадлежащих жителям дощатых, вымокших в сырости климата домиков, даже в редкой побледневшей траве, росшей по кучам отбросов, и во мху есть нечто важное, значительное и таинственное, чего нет в нем самом, в душе и в мысли сидевшего в тюрьме человека. Став ногами на откидной стол под окном, арестант подолгу и жадно глядел в смутный, серый мир свободы за решеткой тюрьмы. Ему казалось, что там что-то было, неизвестное ему; оно было для него всегда неизвестным, даже тогда, когда он сам жил на воле, и он не успел его узнать до тюрьмы, а теперь уже поздно или, может быть, рано еще, — надо сначала выйти отсюда наружу, в траву и в люди, чтобы самому почувствовать все.

Шел последний день сентября месяца, когда под Петербургом смеркается рано. Арестант покинул окно и сел на койку в ожидании ужина — пшенной похлебки и четверти /пол/ фунта хлеба. Он жил в камере один, потому что в камере вся площадь равнялась одной квадратной сажени, и раньше здесь был карцер, — лишь года два назад с окна сняли железный занавес. Тюрьма эта была старой постройки, небольшая по размеру и населению, и, главное, она была с деревянными полами и дровяным, печным отоплением, за что она славилась как теплая и удобная на зиму; сколько в этой тюрьме ни сидело народа, иные люди по много лет, но никто не выходил из нее с ревматизмом, потому что деревянный пол был теплый и покоен для ног. В эту старую петербургскую тюрьму особо важных преступников не сажали; в ней обыкновенно содержались уголовные, а также долголетние бродяги и уличные мошенники — рецидивисты, которые почти каждый год принаравливались зимовать в тюрьме, а с теплом опять выходили вольничать в город. Арестант, думавший о значении жизни внутри других людей, просидел в этой тюрьме уже почти одиннадцать лет, но не враз, а в три срока, и сейчас он сидел третий срок; два раза в эти одиннадцать лет у него было промежуточное время, когда он жил на свободе; однако на воле ему приходилось бывать недолго — в первый раз он прожил без тюрьмы два месяца, а во второй всего четыре дня. На свободе его сердце становилось несдержанным, он начинал жить с излишней силой, точно счастливый, и за это вновь подвергался аресту, суду и возвращению в тюрьму. [Первоначально, тринадцати лет, еще в малолетстве, он был осужден за бродяжничество и по подозрению в ограблении магазина съестных припасов и колониальных товаров, совместно с другими несовершеннолетними преступниками-сиротами, не помнящими родства; по отбытии двухлетнего заключения его отдали в дом трудолюбия, где Никодим должен был научиться плотничьему и столярному ремеслу. Прожив в том доме трудолюбия месяц, Никодим ушел оттуда с одним стариком в Любань; они шли не по железной дороге, а дальними глухими путями, потому что старик был темный вор. В последний раз он был на воле семь лет тому назад, ночевать ему было негде, и он остановился около возовых весов на базаре у Обводного канала.] Он, в сущности, в точности не знал, или уже забыл теперь, за что его держали всю молодость в тюрьме. [Первоначально, еще малолетнего, его определили в дом трудолюбия, как бродягу-сироту, не помнящего родства, как побирושку и мелкого хищника съестных припасов на базаре; попечительство о бедных пожелало, чтобы] В последний раз он был на свободе семь лет тому назад. Он помнит, что его позвал к себе в гости — в дом трудолюбия — один добрый старик, пуговичный мастер, ранее сидевший с ним в тюрьме. В доме трудолюбия два старика и одна старуха угостили бывшего арестанта закуской и

напоили чаем с сахаром, сколько он поел и попил, и Никодим тогда сильно наелся в пустой переплетной мастерской дома трудолюбия, а старики со старухами развеселились, они стали плясать и петь, поспешая, пока надзиратель не позвонил, чтобы они шли спать на покой, а то завтра им надо рано работать. Никодим тоже стал тогда весел и ему были милы все эти старые люди, напившиеся вместе с ним чая с черным обильным хлебом, за счет одного бывшего арестанта-старика. Никодим хотел тут же сделать всему дому трудолюбия какое-либо добро в ответ на угощение, но он не имел ничего ни из денег, ни из лишней одежды, и только ухмылялся вместе со всеми, или пел песни в тон старухам. Когда надзиратель позвонил в колокольчик и приказал всем итти спать в ночное помещение наверху, то Никодим попрощался и решил итти ночевать в сарай, где стояли возовые весы, что у Обводного канала против Тамбовской улицы. Но его знакомый старик ушел тайно вместе с ним из дома трудолюбия, не побоявшись надзирателя; старик хотел еще немного погулять и порадоваться, как и должно быть в жизни. Никодим, опьяневший от хлеба и горячего чая, веселый от гостеприимства, пошел со стариком на Обводной канал. Тогда тоже была осень, но сухая и теплая, поэтому жить еще можно было и без жилища. Старик и Никодим пришли на базар; он уже был пуст из-за позднего, вечернего времени и все ларьки, рундуки и деревянные будки с товаром стояли закрытыми. Однако старику, пуговичному мастеру, вдруг захотелось подарить прюнелевые башмаки знакомой пожилой женщине Марфе Ефимовне, которая сама не жила в доме трудолюбия, но ходила туда в спальные горницы и чинила там одежду старикам и молодым — всем жителям; пуговичный мастер уважал эту женщину и она его тоже терпела. Никодим также был не прочь сделать что-нибудь для стариков и старух из дома трудолюбия, но купить ему подарок было не на что, поэтому он снял ставни с одной будки, где продавали галантерею, тесьму, фитили для ламп, туфли для ношения летом и для покойников и прочее имущество /товары/; но под первой навесной ставней оказалась вторая, закрытая на бауты и на два тяжелых замка, — тогда Никодим, чтоб долго не мучиться, уперся ногами в грунт и свалил будку на землю, а затем они вместе с пуговичным мастером вошли ногами в товар и стали в нем копаться, выбирая, что подобнее и побогаче, потому что и без того бедному человеку худое дарить совестно /тому, кто и без того худ и беден/. Но вскоре в разбитую галантерейную будку поналезли разные бездомные ночлежники, подростки, старые женщины, торгующие днем сальниками и требухой из чугунных горшков, и эти люди враз опростали всю торговлю, так что старый пуговичный мастер еле успел сохранить для себя четыре пары туфель, а у Никодима осталась в руках одна картонка с жестяными запонками, но и это добро он не сохранил /удержал/, потому что набежал ночной полицейский, он начал свистеть и вырывать товар у пуговичного мастера и Никодима, — тогда Никодим схватил его поперек тела, уволок прочь и бросил под откос Обводного канала. Все базарные ночные люди разбежались от страха, но поживились они мало: в разоренной ими лавке запас товара имелся небольшой, да и ассортимент его был невелик. Никодим вернулся на прежнее место, пуговичный мастер уже исчез, — он покинул своего друга, чтобы сберечь туфли для старух, — тогда Никодим оторвал с ларька железную табличку «цены без запроса — grand prix», крикнул какой-то возглас и начал валять деревянные торговые будки на землю; некоторые же из них он приподымал и швырял с размаху, чтобы они кололись на части и чтобы товары из них вываливались наружу: в то время в Никодиме была еще молодая сила; он свалил и разбил вдребезги семь торговых будок и дошел до москательного ряда. Там его схватили сторожа и полицейские; Никодим их начал увечить, но ослабел в одиночестве и его повязали...

С тех пор время ушло... Сейчас, в сентябрьские сумерки, Никодим рассматривал светлые точки, которые он сделал ногтем на серой, смутной стене; это была карта звездного неба северного полушария, он сделал ее по памяти с одной

книги, виденной в детстве, и по наблюдению из тюрьмы, и Никодим все прошедшие, долгие годы глядел время от времени на расположение небесных звезд, нарисованных на стене. Ему казалось, что звездами на небе написано что-то самое важное и необходимое, существенное для каждого человека, — не может быть, чтобы картины и фигуры, составленные из звезд, не имели смысла: это вероятно целая книга, открытая для чтения. Человек ведь должен знать все, и притом сразу, поэтому во всем небе всего одна страница. Но что там написано? Этого Никодим не знал; он догадывался, но не был уверен, что его размышление — правда. Лишь в Млечном Пути он был уверен, — не во всем Млечном Пути, а в отростке из него, который выходил в сторону и кончался во тьме или уходил дальше тьмы, — по мнению Никодима это означало: нужно уйти и не вернуться; если весь Млечный Путь походил на толстый прут или обруч, окружающий все звезды и землю, чтобы никто никуда не ушел, то оборвавшаяся, слепая ветвь из него была дорогой бежавшего. Для Никодима это светлое направление, слабеющее в небесной мгле, имело значение надежды. Всякий раз, когда небо было звездное, он подолгу смотрел из тюремного окна на Млечный Путь и на его одинокую ветвь, пока небо не проходило над ним, увлекая Млечный Путь за стену тюрьмы, и тогда Никодим глядел на другие, медленно плывущие прохладные созвездия. Электрический свет в камерах теперь не зажигали, — горела только одна лампочка в коридоре у дежурного стражника, — потому что шла всемирная война и на электрической станции наверно не хватало антрацита.

Пожинав худым хлебом и пшениным супом, Никодим лег спать; уже больше двух тысяч ночей подряд он ночевал в одной и той же тюрьме, предавшись своей безвыходной судьбе. В первые времена своего проживания в заключении он скучал о своем детстве в бревенчатой избе на краю Петербурга; там он слышал, как дуют ветры, как идет дождь, там он застывал от холода и согревался на деревянной кровати около отца, там он хотел есть и наедался щами и кашей вместе с отцом и матерью, а здесь, в тюрьме, стены были толстые — и Никодим не чувствовал за ними погоды, он не застывал здесь в камере, но жил как продрогший, сжавшись по ночам под серым казенным одеялом, он тут не голодал до мучения, однако его постоянно томила слабость неполной жизни в теле от кислой хлебной и пшеничной пищи, которую он ел не для удовольствия, а ради необходимости жить дальше, до смерти. В последнее время хлеб в тюрьме стали давать нечистый, с отрубями и жмыхом, хороший хлеб шел солдатам, они были конечно нужнее арестантов, Никодим с этим соглашался. Но раньше ему было [приятно] сознавать, когда он ел чистый ржаной хлеб, что еще недавно это размолотое ржаное зерно питало и выращивало солнце, — где-нибудь в губернии, на далекой ровной ниве, неизвестно где, — а теперь оно было перемешано со жмыхом и стало неощутимым во рту, [жмых его поработил] от жмыха же Никодим болел изжогой, точно от химического, безродного продукта; и лишь вспоминая, что и жмых есть тоже остаток подсолнуха, подсолнечного зерна, и его с жадностью поедают животные, которые не живут в неволе, которые имеют свою самостоятельную, неизвестную душу, Никодим ел его с удовлетворением, не заботясь, что желудок его будет страдать от изжоги.

Днем в тюрьме можно было читать книги, их давали из тюремной библиотеки. Только Никодим за семь лет их не прочитал полностью ни одной. Когда-то он захотел вдруг почитать и попросил себе книгу; тогда ему принесли сразу две тонкие книжки, — одна называлась «Житие угодника божия Николая, Мирликийского чудотворца», а другая «Как преступник Яшка стал слугой отечества». Никодим с охотой начал читать о преступнике Яшке, но вдруг заметил, что чтение мешает его собственным, интересным мыслям: чтение делает их словно ненужными или жалкими, а свой ум начинает жить в дремлющем сновидении, и настоящее трудное чувство делается легким и ложным; этого Никодим принять не мог: он не хотел /желал/, чтобы кто-нибудь его избавил от ощущения самого

себя; Никодим хотел сохранить в себе остатки собственного ума и сердца от разрушения их одиночеством, тоской и печалью; и он боялся, что душа в нем затомится, станет глупой и бедной, прежде чем он выйдет на волю. И поэтому он боялся, что чужие мысли из книги отучат его думать или чувствовать, что ему хочется самому по себе. Слабое сердце легко завоевать.

Придя к такому решению, Никодим несколько лет тому назад закрыл книгу, не желая знать, что у нее в конце, — он сам мог придумать сочинение, еще более увлекательное, чем в книге, и, главное, ему казалась своя мысль истинней и лучше, потому что он мог свою мысль чувствовать и переживать в воображении как в действительности.

И с тех пор Никодим ничего не читал; он предался своей мысли и воображению. Он начал представлять себе, как он живет на свободе настоящей жизнью, — как он работает по колодезному или плотничному делу, передвигаясь пешком из деревни в деревню со своим инструментом; Никодим воображал, что это происходит летом, над полями и жилищами стоит небесное тепло, лишь изредка проходят дожди, но они быстро просыхают, и дорога по ржаным и ячменным полям опять лежит сухая и легкая, — и день проходил в пути среди природы. Заночевав в поселке у Порохового завода, Никодим на следующий день подрядился очистить два срубовых колодца у четырех домохозяев на краю поселка. Отделавшись к вечеру, Никодим получил расчет и пошел в харчевню, а там он увидел молодую официантку, которая продавала за прилавком холодный рубец, студень, огурцы и хлеб. Как только он увидел ту официантку, ему сразу стало хорошо и больно (и сейчас, — не в мысли, а в тюрьме и в сердце, — Никодиму было больно и печально — он в действительности видел однажды такую же милостивую, добрую девушку, только она была не официантка, а простая прохожая, — Никодим не успел в точности запомнить ее лица, зато до сих пор не забыл ее грустной и счастливой прелести, незаметно и навеки вошедшей в него). Наевшись в харчевне, Никодим опять остался ночевать в поселке Порохового завода, а наутро пошел на заводской двор наниматься чернорабочим — ему уже надоело ходить по деревням и поселкам лишь для того, чтобы кормиться, он захотел иметь постоянных родных и знакомых, чтобы не отвыкать от людей, к которым только что успеешь привыкнуть за те два или три ночлега, когда даешь ремонт колодцу в попутной, очередной деревне... И Никодим мысленно ежедневно прожил полгода чернорабочим на заводском дворе, возя известь и шлак в вагонетке; но каждый вечер он ходил в харчевню на поселок и ел что-нибудь из дешевого, глядя на официантку за буфетом и чувствуя от нее всю свою душу. Через полгода Никодим пошел в подручные к слесарю и вскоре сам стал слесарем, хотя и низшего разряда. Купив пиджак, брюки и сапоги, Никодим велел официантке выйти за него замуж, — к тому времени она уже привыкла /и узнала/ его видеть. Она ему сказала, чтоб он подождал до закрытия заведения; он подождал, а она заплакала и объявила ему, что она ведь вдовица с двумя малолетними детьми. Но Никодиму в этом разницы не было — кто она такая; он женился на ней, снял горницу с кухней, и с течением времени жена понесла от Никодима нового ребенка. Потом у них родилось постепенно еще четверо детей, жена начала стареть, он, Никодим, тоже стал гнущься и плешиветь, в еде и одежде была нехватка, и жена часто плакала, склонившись над меньшим ребенком, Сережкой, никогда не жалуясь мужу ни на что, потому что ей самой была известна вся жизнь, вся радость и горе. Ночью однажды жена сказала Никодиму, что бог ее скоро приберет, у нее вся грудь выболела, пусть только Никодим больше не женится, чтобы мачеха детей не обижала. Тогда Никодим изменился сердцем /характером/, — он потребовал на работе увеличить расценки, чтобы в семействе не было нужды по хлебу, чтобы наши жсны не сохли прежде старости, а дети не оставались [без ученья]. Ведь он к тому времени был уже слесарем первой руки, а зарабатывал в

месяц рублей тридцать. Мастер хотел выгнать Никодима из конторы, но Никодим сам заругался на него и они подрались друг с другом, пока их не разняли служащие. После того Никодиму дали расчет с завода, он получил одиннадцать рублей двадцать копеек и явился домой. [Через неделю-две в семействе Никодима вышел весь хлеб.] Жена, узнав, что мужа уволили, заболела. Никодим накрыл ее одеялом и начал сам готовить пищу и смотреть за детьми, пока не вышли ее деньги. Он продал на толкучке свой пиджак и шапку, на вырученные деньги покормил детей еще два дня, а затем пошел утром опять к заводу, не зная, что ему дальше делать — разбойничать или побираться. Рабочие шли на работу; они увидели Никодима около проходной будки, им стало жалко его и каждый, кто мог, дал Никодиму по ломтю хлеба из своей доли, которую /дала/ дома жена на обед. Никодим снял с себя нательную рубашку и сложил в нее хлеб; затем он пошел обратно к семейству, но не успел дойти и остановился — на заводе загудел тревожный гудок. Никодим подумал, что это пожар или взрыв; он оставил хлеб в рубашке временно на земле и побежал назад к заводу, чтобы помочь тушить пожар или спасти людей и имущество. Он пробежал сквозь

Печатается по записям в тетради, на форзаце которой имеется запись: «Путешествие из Ленинграда в Москву». Текст «Предисловия» не закончен, обрываясь на середине предложения, не проведена и окончательная стилиевая его правка. Очевидно, это первые наброски экспозиции романа «Путешествие из Ленинграда в Москву в 1937 году». Эти записи свидетельствуют о связи «Путешествия...» с окончанием работы над романом «Счастливая Москва» (рукопись хранится в архиве М. А. Платоновой). В сохранившейся в архиве СП СССР платоновской аннотации к роману «Путешествие из Ленинграда в Москву» уточняется смысл его названия: «Путешествие по маршруту Радищева. Повторение поездки Радищева в *обратном направлении* (курсив мой. — Н. К.) и описание этой поездки» (ЦГАЛИ, ф. 631, оп. 15, ед. хр. 315, л. 84). Примечательно, что эпиграфом из Радищева («Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала...») помечена и первая страница романа «Счастливая Москва». На последней, 231 странице рукописи московского романа имеется запись, как бы предваряющая наброски петербургской темы «Предисловия»: «Начало романа: Жить нельзя собою в тюрьме, можно — воображением новой другой жизни».

ЗАПИСИ

Люди оценивают явления не по своему разуму-чувству, а по злободневному велению. Но «злободневные» веления зачастую ценят факты не за их самих, а за их носителей, за прошлые заслуги и многое другое».

Бог есть великий неудачник.

Удачник — тот, кто имеет в себе, приобретает (здесь и далее подчеркнуто Платоновым. — Н. К.) какой-либо резкий глубокий недостаток, несовершенство этого мира. В этом и жизнь. А если лишь совершенство, то зачем сюда ты, черт, явился?

Жизнь состоит в том, что она исчезает.

Ведь если жить правильно — по духу, по сердцу, подвигом, жертвой, долгом, — то не появится никаких вопросов, не появится желание бессмертия и т. п. — все эти вещи являются от нечистой совести.

Он стал счастливый как давно хотел быть, да все помехи случались в промежуток.

○ Как один хотел подчинить, изменить искусство и т. д., — а его самого изменило искусство.

Бог есть, бога нет. То и другое верно. Бог «стал (?) — *нрзб*» непосредствен etc., что разделился среди всего — и тем как бы уничтожился. А «наследники» его, имея в себе «уголь» бога, говорят его нет — и верно. Или есть — другие говорят — и верно тоже. Вот весь атеизм и вся религия.

Бог есть и бога нету:

Он рассеялся в людях, потому что он бог и исчез в них, и нельзя быть, чтобы его не было, он не может быть и вечно в рассеянности, в людях, вне себя.

Мученье — первая категория жизни; вторая — радость: Ив. Гвоздарев ¹.

Инстинкт самосохранения надо превратить в инстинкт самопожертвования <.> питаемый патриотизмом.

Любовь к родине

К роднику своей души.

Народ не в том, что он существует, а в том, чем он движется.

Все вопросы, мучительные, являются, когда не исполняешь главного долга в эту минуту.

Ты как машина? «Потеешь (?) — *нрзб*» Почему?

Потому, что я человек, а не машина.

— Мертвые-то и посоветуют.

— А почему?

— Они не заинтересованы.

Не зря ли все было?

Ответ погибших.

Опять война... (говорит с мертвыми товарищами)

— Были бы мы на свете, мы бы не побоялись.

— Воюй до конца, работай до смерти.

Великое заблуждение: принимаются за истину те данные науки, которые исторически преходящи, как бы являются рабочим пейзажем, видимостью при движении, исчезающие при углублении в природу ².

Но вся тайна — что у нас народ хороший, его хорошо «зарядили» предки. Мы живем отчим наследством, не проживем же его.

Деятельность офицера должна доказывать любовь отечества к солдату: в этом залог победы войск ³.

Очень важно. Конечно, лишь мертвые питают живых во всех смыслах. Бог есть — покойный человек, мертвый.

Смерть — война необыкновенно увеличивает творческую способность к жизни и работе (пример современной Америки и нашей страны).

Девочка, которая всех передразнивала и затем забыла свое естественное лицо, и так и осталась рожницей. Кто-то, мертвый предмет, передразнил и ее, и у нее застыла рожница в испуге. Что-то — м. б., это было солнце.

Или нет убоже, прошел! .

Зимой огонь, замерзнув во дворе, поселяется дома в печке, чтобы согреться.

Партизаны поймали немца. Немца обучили, перевоспитали, привязались к нему. Потом, по обстановке и крайней нужде, немца пришлось расстрелять. И вот пришлось расстрелять своего «воспитанника» — это была драма самая страшная из всей войны для этих людей.

Оч«ень» важно.

Нельзя предпринимать ничего без предварит«ельного» утвержд«ения» своего намерения в другом человеке. Др«угой» чел«овек» незаметно для него разрешает нам или нет новый поступок.

Лысенко, майор, командир полка.

Долгая смерть под движущимися 40—50 танками, он мог противопоставить только 2 пушки.

«Покойников не ругают».

История есть, д«олжна» б«ыть» спасение«м» от забвения.

О скромнейшем солдате ⁴.

Пока мужчины и женщины еще могут любить друг друга — не все потеряно человеческим сердцем.

Рождение второго ребенка тоже измена первому? Как измена любви ⁵.

«нрзб» не пожалел себя. Я продам душу, я отдам тело, но дождусь тебя живой, а не мертвой, чтобы любить тебя «:» тело, душу.

Д«ля» сохр«анения» себя — она изменяет — д«ля» сохр«анения» любви к мужу: у нее душа «нрзб» бездушная уцелела бы ⁶.

Пока я люблю и могу любить, не может быть, чтоб плохо было на свете, да и не будет плохо.

Затанцуют, затопчут память о войне ⁷.

Надо быть внутри войны, а не снаружи ее.

Смерть страшна чувством, что не стало главного добра, и уходишь, как похищаешь добро из мира, и оно сгниет в твоей груди.

Бой однократен, оригинален, поэтому его нельзя спланировать как технологический процесс.

На добавке от себя (Илья) весь мир держится.

Безделие в бою — вот источник трусости: займи бойца в бою делом непрерывно, и в бою можно быть лодырем — он и погибнет и других погубит.

Зайцев:

Уж если я никому ничего не должен, как же я буду обязан чем-либо врагу или могу жить в его подчинении.

Нечто «царственное» есть — эгоистическое и доброе.

Человек — табачный дым, пиво, коричневое лицо, хриплый голос, любезный.

В армии: дисциплина автоматична, как бы консервативна, — один полюс; и другой полюс — бой, война требует творчества, нарушения консерватизма, инерции, иногда устава. Меж этими полюсами — все напряжение военачальника.

Много снарядов — хорошо, что у нас один вождь — и военный, и хозяйственный и идейный.

Жизнь есть упускаемая и упущенная возможность.

Сказка:

Дети наделали опасных игрушек: каждая смертельная. Чтобы они не впустили их в дело, им делают еще более лучшие, более поэтому опасные игрушки, чтобы они отвлеклись от использования — и протягивали руки за лучшей и лучшей.

Ребенок долго учится жить; он учится самоучкой, но ему помогают и старшие люди, которые уже приучились существовать. Наблюдать за развитием сознания в ребенке и за осведомленностью его в окружающей неизвестной действительности составляет для нас радость.

Такую же радость мы чувствуем при наблюдении роста советского солдата на войне.

Искусство сказки состоит из действия, из мудрости и действия, но мудрость только в прямых действиях, а не в рассуждении и не в логике.

Все материалы, помещенные в этом разделе, не датированы. Это записи карандашом на отдельных листах, на обрывках бумаги и из небольшого блокнота.

¹ ...*Ив. Гвоздарев* — герой повести о детстве, замысел которой восходит к 1927 году: «Думаю теперь засесть за небольшую автобиографическую повесть (детство, 5—12 лет примерно)» («Живя главной жизнью». — «Волга», 1975, № 9, стр. 166). Начало повести «Дар жизни» хранится в архиве Платонова (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 49); повесть не окончена, прописан только психологический рисунок истоков сиротства, своеобразная предыстория героев-сирот «Чевенгура» и «Котлована». Этот герой появляется в записных книжках Платонова 30-х годов, с ним связана линия поиска нового содержания идеи жизни. В набросках сохранилась и следующая запись, связанная с Иваном Гвоздаревым: «Важное. Утрата матери Иваном Гвоздаревым — утрата души: и поиски души всю остальную жизнь» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 99, л. 6).

² *Великое заблуждение...* — Записи этой части публикации — из блокнота Платонова ноябрь—декабрь 1942 года.

³ Первый набросок к замыслу сценария «Русское поле» (1943). Ср.: «Офицер есть образ родины для солдата и как бы заместитель отечества для солдата на поле боя и жертвы, он, офицер, должен быть в глазах воинов «стоящим в прародца место»; и только через офицера, — ибо никого иного нет ближе для солдата в час битвы, в час его возможной смерти. — родина может требовать от своего сына-солдата исполнения долга; и одновременно беречь его, любить его вечной любовью и помнить по смерти вечной памятью» (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 98, л. 8).

⁴ *О скромнейшем солдате.* — Лист этих записей относится, очевидно, к 1944 году. В них прослеживаются некоторые линии рассказа «Афродита» (1944), а также психологические мотивировки рассказа «Возвращение», связанные с судьбой матери детей.

⁵ После смерти сына в 1943 году у Платонова в 1944 году родилась дочь.

⁶ *Наброски к рассказу «Возвращение».* Ср.: «И я не стерпела жизни и тоски по тебе... А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда...»

⁷ *Затанцуют, затолчут память о войне.* — Записи этой части публикации относятся к написанию повести «Молодой офицер» (1945—1946), оставшейся в рукописи (ЦГАЛИ, ф. 2124, оп. 1, ед. хр. 76).

БОРИС СЛУЦКИЙ

(1919 — 1986)

*

Я ПРОРВУСЬ И УЙДУ

* * *

Война хоронила не так хлопотливо,
как мир.
Сперва она просто бросала своих мертвецов,
роняла и забывала.
Потом на чужбине им воздвигала кумир,
вблизи от здешних дворцов
торжественно, с музыкой их зарывала.

Домой отправляли тогда, в сорок пятом году,
не ниже чем генерала,
полки, им оставленные,
прощались с ним на ходу,
связистка, им брошенная,
над гробом стремглав
обмирала.

Со странной завистью мы провожали его:
в родимом суглинке зарюют его, упокоят.
он станет частью родины,
а мы уйдем в ничего,
в то самое ничего,
что ничего не стоит.

* * *

Людские корни не крепче древесных:
их можно вырвать или обрубить.
О чем ты думаешь, мой ровесник,
и как с тобою, мой сверстник, быть.

Какое право тогда мне досталось.
А много ли я тогда понимал?
Доньше еще не прошла усталость
от тех решений, что я принимал.

Война — это местность, скажем, область,
где юноши с юношами второпях
то честность выказывают и доблесть,
то пушки пробуют на воробьях.

И воробьиные перья серые,
 легкие, слабенькие, — беда, —
 летят над тем, что высшей мерою
 почему-то звали тогда.

Из письма Заболоцкого

Снова травмы моей профессии —
 и на миг повредясь в уме,
 словно Заболоцкий в письме,
 усомнюсь, что жемчуг поэзии
 стоит вечной муки ловца.

Он тогда ожидал конца,
 и в таланте своем раскаивался,
 и писать навсегда заикался,
 от себя самого отрекался
 и писать навсегда зарекался.

Это было в письме. Оно
 домочадцами сохранено.

Вновь меня сомнение гложет:
 мука с музой всегда заодно.
 Пусть спасается тот, кто может.
 Кто не может — ныряй на дно!

* *
 *

Мать пестует младенца — не поэта.
 Он из дому уходит раньше всех.
 Поэмы «Демон» или же «Про это» —
 не матерей заслуга и успех.

Другие женщины качают колыбели
 стихотворений лучших и поэм,
 а матери поэтов — ослабели,
 рождая в муках, и ушли совсем.

В конце концов, когда пройдут года,
 на долю матери один стишок достанется,
 один стишок изо всего блистания.
 И то — не всякой. Тоже — не всегда.

* *
 *

С точки зрения горя все строки длиннее, чем следует,
 все они ни о чем, и не раз отмечали,
 что из горя, тоски и печали не следует
 ничего, кроме горя, тоски и печали.

С точки зрения горя и море — не море,
 солнце жжет, а не греет, не светит, а жжет.
 Горе думает, с очевидностью споря,
 что и правда — лжет.

Не хочу становиться на точку, куда горе толкает,
и размазывать по земле тоску свою и беду.
Если горе вцепилось и не отпускает,
я прорвусь и уйду.

* * *

Катакомбы, в которых
спасались в часы катаклизма,
не опишет историк
эпохи социализма.

Но в каком-нибудь веке
не ранее сорокового
эти страшные вежи
получат последнее слово.

Публикация Ю. БОЛДЫРЕВА.



«НАСИЛИЕ — НЕ РЫЧАГ ИСТОРИИ...»

В прошлогодней апрельской книжке «Нового мира» была напечатана статья Александра Ципко «Хороши ли наши принципы?», в которой предпринята попытка критически переосмыслить доктринальные корни той политической линии, что проводилась в нашей стране на протяжении семидесяти с лишним лет, попытка кардинально переоценить теоретические и идеологические основы советского общества. За время, прошедшее с момента этой публикации, редакция получила множество откликов.

Наши корреспонденты в большинстве своем солидаризируются с нравственными и гражданскими воззрениями А. Ципко, поддерживают его стремление с надклассовых, гуманистических позиций разобраться в истоках той трагедии, что в недавнем прошлом пережила Россия. Есть, конечно, и письма противоположного свойства, авторы которых частично или полностью не разделяют взглядов публициста, напрямую, порой в самой резкой форме, оспаривают их. Мы передали А. Ципко всю корреспонденцию, вызванную публикацией его работы. Часть же писем (надо сказать, незначительную, но в целом отражающую общее состояние читательских настроений и симпатий) мы помещаем на страницах нашего журнала. Хочется надеяться, что Александр Ципко в какой-то мере ответит на них своей новой статьей в «Новом мире», над которой он сейчас работает. Так же как, быть может, учтет он и положения, высказанные известным историком и политологом А. Авторхановым в его новой, вышедшей в 1990 году на Западе книге «Ленин в судьбах России». Две главы из нее с небольшими сокращениями публикуются ниже.

В момент работы над книгой А. Авторханов, разумеется, еще не был знаком с позицией А. Ципко. Тем не менее он как бы заведомо и заочно полемизирует с некоторыми ее аспектами. «Не было никакого русского марксизма. Был только тот марксизм, который мог возникнуть среди русской интеллигенции после знакомства с теми работами, которые сами основатели научного социализма рекомендовали для издания в России, и прежде всего после знакомства с «Манифестом Коммунистической партии»...» — утверждает А. Ципко.

Не оправдывая творцов «Манифеста», А. Авторханов стремится показать, что русские революционеры все же ревизовали марксизм, с целью захвата власти на собственный лад переиначили его, сделав главный упор на идеи насильственного передела существующего уклада жизни, на насилие как главный рычаг исторического прогресса.

Итак, тема, однажды поднятая на страницах «Нового мира», будет продолжена...

Уважаемая редакция!

Спасибо за честную и глубокую статью А. Ципко. Я не ученый, так, обыкновенный человек, каких у нас миллионы. Но я постоянно, ежедневно думаю — где же выход? И не нахожу выхода.

Да, мы позволили производить социологические опыты над собой в течение 73 лет. Революция октября 1917 года привела к сегодняшней катастрофе.

Идеология социализма-коммунизма на практике потерпела полный крах. Основная причина — уничтожение частной собственности. Даже мы, обычные инженеры, рабочие, служащие, давно это поняли! Поняли, что учение Маркса — Энгельса устарело, не выдержало проверки временем и жизнью. Что Ленин ушел в политику чуть ли не со школьной скамьи, не зная, в сущности, жизни. И ни минуты не сомневаясь — ринулся проводить в жизнь Марковсы утопические идеи. Все честно названо своими именами. Все понятно до конца. Задача ясна: скорейшая реставрация института частной собственности во всех ее проявлениях: рынок капитала, рынок труда, рынок товаров.

Большое спасибо Ципко и вашему журналу за правду.

С уважением

Исакова Ирина Борисовна, инженер ЛНПО

«Авангард», беспартийная (Ленинград).

Уважаемый Александр Сергеевич!

Разрешите прежде всего поблагодарить Вас за интересную статью «Хороши ли наши принципы?», нужную и, на мой взгляд, долгожданную. Особое ее значение в том, что она распространя-

ется в область исторического материализма, представляет из себя, пожалуй, первый удачный опыт достаточно систематизированной и научной критики этого раздела Марксова наследия (речь идет о советских ученых и средствах массовой информации, доступных широкому кругу читателей в СССР) и в этом смысле является дополнением критики диалектического материализма, данной в прекрасной статье «Научна ли «научная картина мира»?» В. Н. Тростникова («Новый мир», 1989, № 12).

Несомненна актуальность и важность двух основных мотивов Вашей статьи, нашедших свое отражение уже в ее заголовке. 1. Научный. «Хороши ли наши принципы?» в том смысле, что научны ли, не утопичны ли именно основополагающие принципы марксизма? 2. Морально-этический. «Хороши ли наши принципы?» в том смысле, что нравственно ли, понимая утопичность основополагающих воззрений Маркса на социализм, продолжать ссылаться на них, утверждать их истинность и искать ошибки лишь в неумных действиях его последователей и учеников?

Представляется, что акцентирование морально-этического мотива повысило эмоциональность, публицистичность статьи, однако несколько снизило значение ее научного содержания. В то же время как очищающая правда может сегодня рассматриваться именно современная подлинно научная критика основных представлений Маркса — Энгельса — Ленина о социализме.

Нельзя не согласиться с Вашей мыслью: «Сейчас уже очевидно: без внутренних духовных потрясений, не пройдя курса интенсивной шокотерапии правдой, общество наше духовного здоровья не обретет». Тем не менее, на мой взгляд, очевидно, что шокотерапией перечень необходимых средств и способов «медицинской помощи» не может исчерпываться. Думаю, Вы понимаете, что нормальный ортодокс просто не будет сегодня читать Вашей статьи: мол, ересь, бред. Такой ортодокс сформировал свои убеждения не в результате осмысленного постижения науки, такие убеждения — всегда слепая вера, результат внушения, вдалбливания. Такие убеждения существуют и распространены уже и только потому, что сознание, пораженное ими изначально, не может ни осмыслить, ни усомниться в них. Для думающего же человека не только начала века, но и всегда, и сегодня, характерна приведенная Вами схема реакции на марксизм: «Если же духовно здоровый, не забывающий о совести человек и впускал в свою душу марксизм, то ненадолго. Отрыжка наступала при первом же столкновении с жизнью». Безусловно, эти крайности в восприимчивости к марксизму не исчерпывают картины. Есть много промежуточных стадий. Поэтому навряд ли существует универсальный способ «лечения». Скорее всего их целый арсенал, действенных и приемлемых способов. От «шокотерапии правдой» до незаметного и постепенного заманивания и затягивания в правду примерами из жизни, выделением, вне связи с общей концепцией, отдельных «опор» марксизма и демонстрацией их научной несостоятельности.

Полностью разделяю Вашу мысль: «Те же из новых ортодоксов, а их большинство, кто отказывает нашей революции в праве на марксистское первородство, просто фальшивят». Но вот что нельзя не учитывать.

В традициях советской общественной науки — подкреплять рассуждения и выводы ссылками из Маркса, Энгельса, Ленина. Это объясняется и инерционностью сложившихся подходов «старого времени», и все еще высоким авторитетом классиков марксизма. С практической точки зрения такие ссылки по сей день еще повышают наукообразность, солидность работы, а возможно, и ее пропагандистскую значимость, степень влияния на общественное сознание.

Вынужденные в силу особенностей нашей страны положить в начало, а иногда и в основу своего изучения философии и политэкономии именно работы Маркса, Энгельса, Ленина, нынешние критики марксизма (чаще всего сегодня речь идет об отдельных положениях и выводах марксизма), переросшие своих учителей и видящие их недостатки, не могут, в том числе и в силу порядочности, отвергать свои научные корни, то влияние, которое оказал на них марксизм, свою связь с ним, часто даже преувеличивая его значение. Кроме того, марксистско-ленинская идеология овладела сознанием больших масс людей. Поэтому порывая с марксизмом напрочь, есть возможность потерять и нечто существенное.

Насаждение марксистско-ленинской идеологии трансформировало основы формирования общественного сознания. А сознанию общественному и индивидуально необходима в качестве основы некая концепция миропонимания. Такими концепциями традиционно являлись религии. Но, возведенные в ранг догматов веры, подобной концепцией могут служить и основополагающие формулы марксизма. Крушение веры опасно. Оно ведет, в частности, к утрате осмысленности и комфортности существования. Путь ухода от марксистской догматики с заменой ее догматикой религиозной представляется неперспективным. (Атеистическое воспитание, основанное на критике религиозных догматов, делает сознание слабовосприимчивым к ним.)

Но, думается, существует другой путь. Пользуясь марксистской терминологией, попытаться наполнить Марксову концепцию социализма и коммунизма нормальным научным смыслом, смыслом, не вступающим в противоречие с историей и жизнью, и так, чтобы основными формулами этой

новой концепции можно было бы пользоваться как догматами веры, не задумываясь, не пытаюсь их осмыслить.

С уважением

Букалов А. К. (Навои).

Уважаемая редакция «Н. м.»!

Напрасно искал я в статье А. Ципко что-либо похожее на научные доводы, аргументы. Автор не утруждает себя такими вещами. Зато нудного морализирования полно. Чуть не половина статьи посвящена тому, что Ципко приводит какую-либо цитату из Маркса, Энгельса или Ленина, а то и своими словами передает какую-нибудь их мысль и предоставляет читателям возмущаться, сам восклицает: «Ах, как безнравственно!»

Если и можно проследить за ходом авторской мысли, то все сводится к пошло-банальным фразам, которые давно стали в перестроечной прессе общим местом. Посмотрите, дескать, люди добрые, что эти марксисты натворили! А во всех бедах виноваты, конечно, они одни! А чтобы эти изверги не смогли «уйти от ответственности», Ципко с торжеством указывает нам на... Сталина, Ракоши, Пол Пота, Чаушеску как на самых верных марксистов. И заключает: «Коммунистическая идеология породила за семьдесят лет столько чудовищ, сколько старая частнособственническая цивилизация не умела породить за три века».

Ну тут уж перебор, милейший!

Откройте ну хотя бы книгу француза Лео Таксиля «Священный вертел», рассказывающую о «святом» папском престоле в Риме, и убедитесь, что одна только милая Вашему сердцу христианская религия породила столько чудовищ и таких, что даже Пол Пот по сравнению с ними — младенец. (Я не преувеличиваю!) Да Сталину еще надо поучиться у Тьера, солдаты которого, усмирив восстание парижских рабочих, за 6 дней расстреляли около 100 тыс. человек! Уж чем-чем, а «христианской» моралью ни попы, ни капиталисты никогда не связывали себя, особенно когда расправлялись с классовым врагом — с рабочими.

А то, как Ципко «доказывает», что Сталин — прямой последователь Маркса, это уже просто комедия. Он выдергивает цитаты из Маркса и показывает, что эту вот его мысль Сталин претворил в жизнь и эту вот претворил. А потом еще изумляется, как это 37 процентов советских людей, не доверяя «здравому смыслу», продолжают «верить в коммунизм».

Ведь даже полуграмотные люди инстинктивно чувствуют в этом «здравом смысле» жульнический подлог.

Вам, дражайший, не кажется, что вещи, на первый взгляд очень похожие, как, например, марксизм и сталинизм, могут оказаться на поверку не имеющими друг к другу никакого отношения?

Не кажется ли Вам, что Сталин сделал с марксизмом то, что один первоклассник сделал с уравнением, убрав из него все нули (ведь ноль — пустое место!), или то, что сделал Бонапарт с французской революцией (цитирую императора: «Я сохранил некоторые завоевания революции... Сохранил завоевания и изгнал теорию!»)?

Главное преступление Маркса (по Ципко) в том, что он-де «презрел религию, мораль, нравственность».

Я не спрашиваю, что в конце концов автор подразумевает под «моралью» и т. д. Эти понятия можно толковать как угодно. Вызывает удивление другое: почему Ципко не замечает всей гнусности, подлости, гадости, жестокости, свинства, на которых построено классовое общество, — столетиями буржуазия бесчеловечно эксплуатировала рабочий класс. Голод, нищета, женский и детский труд, увечья на производстве доводили не раз рабочих до отчаяния. Забастовки же, вооруженная борьба подавлялись с такой жестокостью, каких не знали средние века.

И вот когда рабочим удается одержать победу над каким-нибудь Тьером или Колчаком, Ципко льет горючие слезы. Он под микроскопом рассматривает каждую каплю «невинной» буржуазной крови, не замечая морей крови рабочих.

Но довольно. «Бессмысленно бомбардировать хаос», — сказал Виктор Гюго.

Займемся «великим открытием» Ципко: «научного социализма существовать не может» потому-де, что «нельзя создать науку о том, чего нет». Далее автор занимается экономическими изысканиями, причем цель их — доказать, что «пророчества Маркса не сбылись» и т. д. Доводы его просто жалки, ибо он даже не потрудился дать им какое-то обоснование.

Примеры: «Капитализм... не разрушал моральные и мировоззренческие стимулы к труду». Если стимулом считать голод, нищету, безработицу, то это, конечно, верно...

Степом, безбоянно запутанный Ципко, представляется мне в следующем виде.

Вопреки обывательским представлениям о марксизме (это, наверное, немало удивит автора статьи) Маркс н и к о г д а не «проектировал» социализм; более того, жестоко издевался над теми, кто это делал. Еще более удивит А. Ципко то, что научный социализм есть наука не столько о

социализме, сколько о капитализме! Маркс в первую очередь изучил именно тенденции развития пути, по которому развивался капитализм. Не понять этого может лишь человек, либо никогда ничего не слышавший о марксизме кроме как от буржуазных писателей, либо наглый фальсификатор. Учение Маркса есть анализ всей истории человечества, научная теория, а не проект улучшения жизни.

Если и есть в марксизме руководство к действию, то это призыв к борьбе против эксплуататоров и угнетателей, против этой разбойничьей банды, веками порабовавшей людей...

О будущем же обществе коммунисты всегда говорили лишь в условном наклонении. Маркс и Энгельс чуть не в каждой своей работе говорят: это, возможно, будет так, а может быть, и иначе. Упрекать их за то, что какие-то их прогнозы не сбылись, это все равно что попрекать метеорологов за неверный прогноз погоды.

Прочем, пусть Ципко не хихикает по поводу «несбывшихся пророчеств», они еще сбудутся. Сто лет — для истории короткий срок.

Это ложь, будто рабочий класс на Западе не подвергается больше эксплуатации и угнетению. Если брать США, то здесь средний рабочий живет немного лучше, чем в СССР, все те блага, изобилием которых на Западе любят наши журналисты соблазнять советских людей, восхваляя рыночную экономику, как правило, дорого стоят и недоступны простому рабочему. Качество товаров (дешевых) из-за монополизации рынка тоже оставляет желать лучшего. В странах, где у власти побывали социал-демократы, где сильные компартии и профсоюзы (ФРГ, Франция, Италия, Швеция), трудящиеся живут несколько лучше, но это объясняется лишь тем, что частный капитал здесь ограничен; эти страны фактически находятся на переходной стадии к социализму. (По поводу последнего абзаца см. июльскую книжку «Знамени» за этот год, письмо Вадима Белоцерковского, комментатора «Радио Свобода»). Стоит также вспомнить бесчеловечный грабеж развивающихся стран развитыми...

Назвать Сталина, Хрущева, Брежнева, Чаушеску, Пол Пота коммунистами, а строй, который они создали, социализмом может только лжец. Сталин всегда был ярым врагом коммунизма, а до революции — шпионом жандармов...

В СССР не было важнейшего условия нового строя: у власти в 20-е годы оказался не рабочий класс, а банда мелких буржуйчиков!

Ципко возмущает вывод Ленина о том, что «нравственно все, что полезно для дела социализма». Целиком согласен. Нравственно то, что способствует освобождению рабочего класса, и безнравственно поступает тот, кто демагогическими заумными статьями пытается мешать этому освобождению.

С уважением к вашему журналу

А. Савальский,
беспартийный коммунист.

PS. Сейчас народ не доверяет коммунистам, он одурачен «рыночной» пропагандой, организованной ревизионистской верхушкой КПСС, а также антикоммунистической истерией в «лево-радикальной» прессе.

В самые страшные годы буржуазно-фашистской диктатуры Брежнева и К^о Солженицын призвал нас «жить не по лжи». Я хочу жить не по лжи, потому и пишу это письмо, хотя более чем уверен, что никакой реакции на него не будет.

В четвертом номере «Нового мира» опубликована кровью написанная статья А. Ципко «Хороши ли наши принципы?». Хотя ответ на этот вопрос давно дала жизнь и практика (которая — критерий истины) и любой здравомыслящий человек давно знал ответ, А. Ципко спрессовал аргументы и факты до степени «мощного напора всеокрушающей правды».

Отдавая автору должное, я хотел бы отметить резанувшую меня финальную мысль этой статьи, несколько снижающую ее пафос. Мысль эта заключается в том, что А. Ципко видит в марксизме некую «интеллектуальную фантазию, которой не суждено сбыться». Иными словами, марксизм представлен как ошибочная теория, которая подвела слишком доверчивый народ, попытавшийся воплотить утопию в жизнь. При таком подходе авторы утопии выглядят в лучшем случае как искренне заблуждающиеся ученые, в худшем — как фанатики идеи.

Но исчерпывается ли правда марксизма этими версиями? Думаю — нет.

За каждым деянием человека, в том числе ученого или философа, помимо самого этого деяния кроется многоуровневая мотивация. Важен не только вопрос: что? (что создано и какого качества?), — а вопрос: для чего? исходя из каких мотивов, побуждений, подсознательных импульсов?

Первым, поверхностным ответом на вопрос о мотивах создания утопии является ответ альтруистический: для чего? — для благодетельствования человечеству. Для многих этот ответ является первым и последним: да, утопия и марксизм ошибочны, но они созданы из лучших побуждений,

из страсти благодетельствовать других. На самом деле все обстоит гораздо сложнее и трагичней.

В истории утопии важна не столько содержательная часть учений о летающих в рот жареных рябчиках, сколько личности, психические типы создателей утопий. К сожалению, книга, посвященная психоанализу личностей «великих» утопистов, до сих пор не написана, но это будет страшная книга — это будет книга о всех мыслимых видах пограничных состояний и психических патологий. Что еще хуже, это будет книга о самых пагубных человеческих страстях — глубоко скрытой мизантропии, болезненной жажде славы, нечеловеческих вождениях, мании величия и патологической воле к власти. То, что А. Ципко называет поразительной цельностью, целеустремленностью, подвижнической верой в свое предназначение, когда-нибудь получит медицинское наименование «синдрома ослепления». Одержимым этим синдромом свойственна крайняя степень фанатизма, предельная зашоренность, неадекватное восприятие действительности, полное пренебрежение жизнью во имя головной химеры, несоизмеримость цели и средств, методов и результатов.

Даже при отсутствии явных патологий большинство утопистов — люди примитивные, духовно обделенные, мстительные изгои, не нашедшие себе места в жизни, отвергнутые интеллектуальной элитой, испытывающие разнообразные комплексы, особенно комплекс неполноценности, перерастающий в манию величия. Утопия для них — защита от жизни, глобальный способ решения личных психопатологических проблем, жертвование человеческим и природным ради личного эгоизма.

Главное свидетельство справедливости сказанного — убогость всех без исключения утопических «учений», убогость и примитивность, выдаваемые за гениальность.

Бабёф, Бланки, Прудон, почти все русские революционеры — это настоящие бесы Шатобриана и Достоевского, и вот эту-то глубинную, тщательно скрываемую, подсознательную и патологическую бесовщину и упустил А. Ципко, пытаясь ответить на вопрос о принципах. По большому счету не в принципах дело, но в том, какую часть своей души выражает человек своими принципами — божественную или дьявольскую. Отсюда, наверное, выражение «бес попутал». В нашем случае — изначально и непоправимо.

И. Ильин (Москва).

Уважаемый А. Ципко!

Прочитал Вашу статью в журнале «Новый мир» № 4 «Хороши ли наши принципы?». Вы знаете, я не являюсь ортодоксальным марксистом, но Маркса читал, читали и Вы, господин Ципко. Вы должны были уяснить себе, что все, к чему мы пришли, Маркс как величайший мыслитель человеческой истории предвидел в своей теоретической системе. Зачем же это Вы выпускаете? Я не могу с Вами вести долгих дискуссий в своем письме. Но не у Маркса ли говорится, что история — это такая жестокая штука, что тащит свою триумфальную колесницу по миллионам человеческих трупов? Не они ли с Энгельсом предупреждали рабочий класс, чтобы после взятия власти он держал ухо востро, поскольку все чиновники имеют обыкновение превращаться из слуг общества в новых господ?

Теперь о теории классово-борьбы, которая Вам не нравится. Мне же кажется, что она и на том свете продолжается. Ведь как появились классы, государство, так и идет борьба. Кто уничтожил Спартака, кто Ивану Исаевичу Болотникову глаза выколол и утопил в Печоре?

Когда у Маркса в анкете спросили, что является сущим на земле, он ответил, что борьба.

Г. Кондратович (Новосибирск).

Нахожусь под впечатлением статьи А. Ципко «Хороши ли наши принципы?». Публикацией этой статьи раскрыты глаза многим и многим нашим соотечественникам.

Мы много читаем, много спорим, но опровергнуть Маркса, Энгельса, Ленина нам было не под силу.

После детальной проработки и осмысления статьи Ципко мы чувствуем в себе силы дебатировать с ортодоксами марксизма на любом уровне. И все-таки очень обидно: за что, за какие грехи над нашим народом проведен такой жестокий эксперимент?

Лично для меня, пишущего эти строки, самым неприемлемым в учении марксизма является насилие.

Кудревский А. И. (Киев).

Потрясен и восхищен только что прочитанной статьей Александра Ципко «Хороши ли наши принципы?».

Да, «не каждый в состоянии выдержать такой мощный напор всеокрушающей правды. Тут и душе надломиться недолго».

Мне как юристу особо близок тезис Ципко о том, что «не подтвердилось учение пророков (я бы взял это слово в кавычки) коммунизма, внушающих, что законы, мораль, религия — это все

лишь буржуазный предрассудок...». Полностью разделяю утверждение А. Ципко о том, что «насилие не может быть рычагом истории, повивальной бабкой нового. Чаще всего оно свидетельствует о духовной болезни общества и духовной болезни его врачевателей...». Деграция наших так называемых правоохранительных органов и болезни ее «врачевателей» также логически связаны с этим самым «учением пророков».

Спасибо А. Ципко за шоковую терапию. Без такой терапии невозможна истинная переоценка ценностей. Люди должны знать, что на основе учения «пророков» коммунизма могут быть построены лишь страшные по своей сути королевства кривых зеркал. Пусть же страдания народов нашей страны послужат предостережением другим народам планеты, пусть смерть нашей мечты о коммунистическом рае, основанной на лжеучении «пророков», явится импульсом к возрождению гуманного и демократического общества в нашей многострадальной стране.

Большое спасибо за публикацию.

Ветеран войны и труда, член московской
городской коллегии адвокатов Н. С. Яблочкин.

Уважаемый Александр Ципко!

Ваша статья «Хороши ли наши принципы?» имеет огромное значение. Я читал и плакал. От горя и от радости. Большое спасибо Вам за статью и спасибо Сергею Залыгину за ее публикацию.

Я знал, что такая работа появится, она должна была появиться, она не могла не появиться. А узнал о ней случайно — в электричке Киев — Коростень четверо мужчин о чем-то оживленно спорили, а сидевшие вокруг другие пассажиры лишь прислушивались и иногда вставляли свои реплики. Прислушался и я. И понял, что разговор о политике. Вскоре увидел, что один из споривших мужчин что-то читает из журнала. По обложке и шрифту я догадался — из «Нового мира». Я подсел ближе к спорившим и так вышел на Вашу статью, которую все поддерживают. Люди хоть и периферийные (не столичные жители), но к политике «держат ухо остро», и я даже был удивлен, что на такую статью, на такую генеральную работу вышел через скромных мужиков.

Вашу статью читал дома всем, сейчас обсуждаем ее на работе. Еще раз большое спасибо.

С уважением и массой наилучших пожеланий

Богдан Толмачев (Малин, Житомирская область).

Мы, рядовые давние читатели Вашего журнала, выражаем сердечную благодарность — нам особенно близко и дорого научно-публицистическое направление Вашей работы.

Особо признательны за публикацию талантливой работы Александра Сергеевича Ципко — «Хороши ли наши принципы?» (№ 4 за 1990 г.). Это незаурядная, до дерзости мужественная и глубоко принципиальная и честная публикация. А. Ципко отлично стимулирует поиск верных социальных решений, разумных ориентаций. Эмиссия его работ весьма значима и авторитетна. Имеем в виду и более ранние его труды, например, серию его статей, опубликованных несколько лет назад в журнале «Наука и жизнь».

Могут возразить: у доктора философии Ципко немало спорного. Конечно. Но возможно ли бесспорное в наше столь сложное время?

Спасибо «Новому миру» за поисковый, новаторский энтузиазм. За смелость.

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями

Дмитраков Иван Прокофьевич, ветеран войны и труда,
дважды отличник народного просвещения, доцент.

Сырко Зинаида Петровна, зав. отделом обслуживания ЦР
Библиотеки имени Мамина-Сибиряка (Пушкин Ленинградской области).

А. АВТОРХАНОВ

*

ЛЕНИН В СУДЬБАХ РОССИИ

Главы из книги

ВЛАСТЬ — ВСЁ, ИДЕИ — НИЧТО

Великие демократические революции против абсолютизма в Европе, в том числе и русская Февральская революция, происходили не по рецептам каких-либо книг, а в силу насущных потребностей жизни каждой нации. Октябрьская революция была искусственно организованной революцией — по книгам и рецептам как предшественников Ленина, так и его самого. Успешной она оказалась не в силу потребностей России, а в силу исторической конъюнктуры: страна переживала величайший государственный и общенациональный кризис из-за беспрецедентной в истории войны на два фронта, одинаково страшных: на внешнем фронте она воевала против блока Германии и ее союзников, а на внутреннем — против большевиков с их стратегией поражения России в войне методами дезорганизации армии и тыла. Ленин знал, что нормальным путем он никогда не придет к власти в России. Поэтому не законы детерминированности исторического развития из позднего марксизма («К критике политической экономии», «Капитал»), а волюнтаристский тезис раннего марксизма, что коммунисты «могут достигнуть своей цели лишь путем насильственного низвержения всего существующего строя» («Коммунистический манифест»), делается стержнем ленинизма. Но в одном глубоко верующий «детерминист» и Ленин: он знает, что без общенационального кризиса в стране невозможна и насильственная революция. Такой кризис вероятен, а революция еще более вероятна только в результате поражения собственной страны в войне с внешним врагом. Война — та ось, вокруг которой вращается вся революционная стратегия Ленина. Однако Ленин отлично знает и другое: кто путем насилия пришел к власти, тот может удержать ее тоже только путем насилия. Отсюда Ленин заимствует мимоходом и в другом смысле выдвинутую Марксом формулу о «диктатуре пролетариата». Впервые она появилась в одном частном письме Маркса к его единомышленнику, а потом он упомянул эту формулу в двух строках на полях одного закрытого партийного документа. На этом стоит остановиться, тем более что Ленин и его наследники объявили это замечание Маркса основой основ его учения о пролетарском государстве, хотя сам Маркс о «диктатуре пролетариата» не писал ни книг, ни даже статей. Да, Маркс употребил слова: «диктатура пролетариата» в письме к Вейдемейеру в 1852 году: «Классовая борьба необходимо ведет к диктатуре пролетариата». Через двадцать с лишним лет Маркс повторяет эту формулу на полях проекта Готской программы, причем оба раза эти замечания Маркса не подлежали публикации. Этой одной или двум строчкам Ленин посвятил целую книгу «Государство и революция», а вот другому фундаментальному замечанию Маркса на полях того же проекта — что в странах, где существует всеобщее избирательное право и отсутствует военщина (а именно в Англии и Америке), к социализму можно прийти демократическими путями, — Ленин посвятил только одну фразу, объявив это положение Маркса устаревшим в «эпоху империализма». Все марксистские лидеры социалистических партий и Интернационала, которых поддерживал Энгельс после смерти Маркса, встали на позицию Маркса о демократии, прокладываящую путь к социализму мирными методами, то есть путем завоевания парламентского большинства.

Интересна сама история замечаний Маркса, которую избегают излагать советские марксоведы. В конце мая 1877 года марксистская партия Вильгельма Либкнехта и Августа Бебеля («эйзенхатцы») и лассальянская партия «Всеобщее германское рабочее объединение» решили объединиться в одну общую социал-демократическую рабочую партию Германии в городе Гота, где была принята ее первая программа, получившая название Готской программы. Ее проект, составленный совместно марксистами и лассальянцами, был послан на ознакомление Марксу. Вот на полях этого проекта Маркс и записал: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политиче-

ский переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным кроме как революционной диктатурой пролетариата». Когда Маркс писал эти слова, перед его глазами был, как он указывает, режим абсолютизма и «военный деспотизм» в прусской Германской империи, но Маркс подчеркнуто исключал из этого замечания страны демократии — США и Англию.

Был и ряд других замечаний, мелких и придиричьих, в адрес последователей более популярного, чем Маркс, лидера германского рабочего движения — покойного Фердинанда Лассалья. Все эти замечания были названы самим Марксом замечаниями на полях (Randlosse) и посланы лично Либкнехту, Бебелю и Ауэру с требованием вернуть их обратно после прочтения. Интересно, что они были опубликованы Энгельсом только через восемь лет после смерти Маркса — в 1891 году. Важно привести здесь комментарии Энгельса к ним, которые, может быть, отсутствуют в советских изданиях (я не имею возможности проверить это и располагаю только немецким текстом). Вот что пишет Энгельс: «Можно себе представить, что старое общество может перерасти мирно в новое — в странах, где власть сосредоточена в руках народного представительства, которое на основе конституции может сделать, что надо, поскольку имеет за собою большинство народа, — в демократических республиках, как Франция и Америка, и в монархиях, как Англия... Если это так, то наша партия и рабочий класс могут прийти к власти только под формой демократической республики. Она даже и есть специфическая форма диктатуры пролетариата, как показала Великая французская революция... Что, на мой взгляд, надо включить (в новую Эрфуртскую программу. — А. А.) — это требование концентрации всей политической власти в руках народного представительства (Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms. «Dietz Verlag», 1965, S. 88—89). В письме к Зорге Энгельс писал, что новая Эрфуртская программа вполне марксистская, ибо в ней учтены все замечания Маркса к Готской программе. Что касается формулы «диктатура пролетариата», то, как известно, Маркс не настаивал, чтобы ее включили в Готскую программу, а Энгельс не предлагал включить эту формулу и в Эрфуртскую программу 1891 года. Здесь нужно сослаться и на очень существенное замечание Каутского, что, говоря о диктатуре пролетариата, Маркс имел в виду не форму правительства, а его «состояние», тем более что он исключил отсюда Англию и Америку («Kautsky gegen Lenin». Berlin. 1981). Однако коммунистический издатель из цитированной книги претендует на лучшее знание марксизма, чем сами Маркс и Энгельс, когда пишет: «Главный недостаток программы состоит в том, что она не говорит о диктатуре пролетариата как о предпосылке к социалистической перестройке общества» (там же, стр. 183).

Энгельс расширил круг государств, в которых социал-демократы могут прийти к власти через парламенты, но исключил из этого круга Россию как государство абсолютной монархии. Произошла Февральская революция, свергшая монархию и установившая режим неограниченной демократии. Вне всякого сомнения, что Энгельс включил бы демократическую Россию в число держав, где социал-демократы к власти могут прийти мирным путем.

Что же делает Ленин? Ленин пишет, ссылаясь на Маркса и Энгельса, целую книгу за два месяца до большевистского переворота, доказывая, почему надо уничтожить демократию в России, чтобы построить социализм, — книгу «Государство и революция». «Государство и революция» носит подзаголовок «Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции». На первый взгляд можно подумать, что перед вами академический трактат на указанную тему, на деле — классический памфлет с апологией диктатуры и анафемой демократии. Ленин готовится к уничтожению русской демократии и провозглашению в России «диктатуры пролетариата». Для этой цели ему важно поставить к себе на идеологическую службу Маркса и Энгельса. Для этой же цели он вынужден произвести над ними небольшую хирургическую операцию, исключая из марксизма все, что не укладывается в концепцию ленинизма, объявляя все, что внесли в марксизм марксистские теоретики западной социал-демократии, антимарксистскими творениями. Поскольку ни Маркс, ни тем более Энгельс не могут оказать Ленину при подобной операции прямую помощь, Ленину приходится прибегать к методам не только антинаучным, но и предосудительным. Во-первых, он пользуется не трудами Маркса, предназначенными к публикации или опубликованными, а его частными письмами, которые не принадлежали огласке; во-вторых, он манипулирует цитатами Маркса, допуская передержки и фокусы по классическому методу софистов; в-третьих, он намеренно игнорирует все то, что не укладывается в рамки поставленной им цели, или даже опровергает эту цель. При всем этом Ленин совершенно резонно рассчитывает на низкую культуру и марксистское невежество русского пролетариата, а что скажут о его операциях над Марксом и Энгельсом европейские марксисты и русские меньшевики, ему абсолютно безразлично, к тому же он заранее застраховал себя от их ударов, объявив их всех ренегатами марксизма и изменниками пролетариата. Кроме того, Ленин отличался редким талантом вкладывать в уста своих учителей мысли, до которых они сами не доходили, но которые давали ему повод делать это самому от их имени. Вот такими методами Ленину удастся то, что в Москве называется дальнейшим развитием марксизма. Яркими образцами такого рода манипуляций и изобилует книга Ленина «Государство и революция»,

которую он писал в подполье в августе—сентябре 1917 года, но опубликовал после своего переворота — в 1918 году. Вот некоторые примеры:

1. Мысль об «отмирании государства», когда к власти приходит рабочий класс, принадлежит Марксу. Конкретизация этой мысли — Энгельсу в его «Анти-Дюринге», в котором он утверждал, что после национализации средств производства государство отмирает, подчеркивая, что «государство не «отменяется» (это выпад против анархистов.— А. А.), оно *отмирает*». Ленину страшно не нравится такое мирное «отмирание» при отсутствии «скачков... бурь... революции» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 17)¹. Ленин говорит, что так толкуют Энгельса все оппортунисты и ренегаты. Ленин приписывает Энгельсу то, чего он никогда не писал и не говорил. Например: «На деле здесь Энгельс говорит об «уничтожении» пролетарской революцией государства *буржуазии*, тогда как слова об отмирании относятся к остаткам *пролетарской* государственно-сти *после* социалистической революции. Буржуазное государство не «отмирает», по Энгельсу, а «*уничтожается*» пролетариатом в революции. Отмирает после этой революции пролетарское государство или полугосударство» (т. 33, стр. 18). В явном противоречии с Энгельсом Ленин делает вывод: «Смена буржуазного государства (то есть демократической республики.— А. А.) пролетарским невозможна без насильственной революции» (т. 33, стр. 22). Только после ленинской «пролетарской революции» это полугосударство, собственно, превратилось, по его же словам, в «новый тип государства» — в полное тоталитарное государство беспрецедентной в истории концентрации, централизации и абсолютизации власти. Получилось все наоборот. Энгельс писал: «Вместо управления людьми будет управление вещами». Вот уже восьмое десятилетие ленинское «полугосударство» тотально распоряжается и людьми и «вещами». Такое управление сегодня в Советском Союзе называют на убогом жаргоне канцеляристов административно-командной системой и приписывают ее рождение тоже не Ленину, а Сталину. Но ведь административно-командный стиль — атрибут и привилегия любой бюрократии в любом государстве, так что ни Ленин, ни Сталин тут не были оригинальны. Оригинален их тоталитаризм.

2. Ленин утверждает, что «учение о классовой борьбе, примененное Марксом к вопросу о государстве и о социалистической революции, ведет необходимо к признанию *политического господства* пролетариата, его диктатуры, т. е. власти, не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу масс» (т. 33, стр. 26). Если таково учение Маркса, то почему надо доказывать это на десяти страницах, вместо того чтобы привести хотя бы одну цитату из самого Маркса? Потому что таких цитат о власти, «не разделяемой ни с кем и опирающейся непосредственно на вооруженную силу», у Маркса нет.

3. Еще грубее поступает Ленин с Марксом, когда прибегает к цитатам из его работы «18-е брюмера Луи Бонапарта». Ленин пишет, что «все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее надо разбить, сломать. Этот вывод есть главное, основное в учении марксизма о государстве» (т. 33, стр. 28). У Маркса речь идет о разрушении и сломе машины абсолютистского государства, чтобы закрыть путь к реставрации старых порядков. Маркс пишет, что «все перевороты усовершенствовали эту машину, вместо того чтобы сломать ее. Партии, которые, сменяя друг друга, боролись за господство, рассматривали захват этого огромного государственного здания как главную добычу при своей победе». А вот комментарий Ленина: «Мысль Маркса состоит в том, что рабочий класс должен *разбить, сломать* «готовую государственную машину», а не ограничиваться простым захватом ее» (т. 33, стр. 37). Маркс ни одним словом не обмолвился о рабочем классе, у него речь идет о революционных демократических партиях, которые руководили не социалистическими, а демократическими, буквально народными революциями.

Это видно даже и из письма Маркса Кугельману (апрель 1871 года), которое цитирует Ленин: «...не передать из одних рук в другие бюрократически-военную машину, а *сломать* ее», «и именно таково предварительное условие всякой действительной народной революции на континенте» (т. 33, стр. 37). Это Маркс писал, расшифровывая тезис из «Брюмера» о демократических «народных революциях», которые терпели поражение из-за того, что не сломали старой «бюрократически-военной машины». Русская «народная революция» в феврале 1917 года радикально уничтожила государственную машину самодержавия и установила в стране демократический строй с неограниченными политическими свободами и гражданскими правами. Ленин упорно, настойчиво доказывает необходимость уничтожить этот демократический строй путем насилия, опирающегося на вооруженные силы повстанцев, ложно ссылаясь на тезис Маркса, в котором Маркс говорит о сломе старой «бюрократически-военной машины» старых абсолютистских режимов. О сломе государственной машины демократической республики ничего ни у Маркса, ни у Энгельса, разумеется,

¹ В дальнейшем при ссылке на это издание в скобках указывается том и страница.

Ленин не нашел. Наоборот, как мы уже видели, Маркс в замечании к Готской программе утверждает, что в демократических странах к социализму можно прийти мирным путем. Интересно, что Ленин как бы мимоходом приводит высказывание Энгельса, которое, собственно, опровергает все главные тезисы «Государства и революции». Энгельс, говорит Ленин, «признает, что в странах с республикой или с очень большой свободой «можно себе представить» (только «представить»!) мирное развитие к социализму» (т. 33, стр. 69). Но Ленин неумолим. «...постоянно забывают, — пишет он, — что уничтожение государства есть уничтожение также и демократии» (т. 33, стр. 82).

Уничтожить государство Ленину не удалось, тем успешнее ему удалось уничтожить демократию. Ближе к концу книги Ленин выставил новый тезис, который нам хорошо знаком больше из Прудона и Бакунина, чем из Маркса и Энгельса: «Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства» (т. 33, стр. 95). Ленин, вероятно, хотел сказать, что при коммунистическом государстве не будет свободы, но когда будет свобода, то тогда уже не будет самого коммунистического государства. Опыт Советского Союза говорит в пользу этого тезиса.

Ленин, конечно, обладал как теоретическим талантом, так и стратегическим умом, чтобы разработать и пропагандировать свою собственную концепцию о «взрыве» и «разгроме» государственной машины демократической республики через насильственную революцию, но когда он предпочел это сделать не от своего имени, а от имени марксизма, восстали такие выдающиеся марксисты, как Карл Каутский и Роза Люксембург. Если на то пошло, то Ленин был отнюдь не первым коммунистом, который писал о «взрыве» и уничтожении государственной машины демократии, об уничтожении самого государства через насильственную революцию. Лидер голландских левых, будущий деятель Коминтерна А. Паннекук писал еще в 1912 году в «Нойе цайт», что «Борьба пролетариата есть не просто борьба против буржуазии из-за государственной власти». В этих словах весь будущий Ленин, хотя Ленин замечает непоследовательность этого автора. Однако Каутский ответил Паннекуку (Ленину): «До сих пор противоположность между социал-демократами и анархистами состояла в том, что первые хотели завоевать государственную власть, вторые — ее разрушить. Паннекук хочет и того и другого» (т. 33, стр. 112). Ленин утверждает: «Против Каутского марксизм представлен именно Паннекуком, в данном споре, ибо как раз Маркс учил тому, что пролетариат... должен разбить, сломать этот аппарат» (т. 33, стр. 113), что неверно, как мы видели выше.

Другим предшественником Ленина был Бухарин, который писал в 1916 году то же, что и голландец, когда утверждал, что надо «взорвать» государство и что вообще «социал-демократии необходимо подчеркивать свою принципиальную враждебность к государству». Отвечая на эту статью Бухарина в том же 1916 году, Ленин стоял на позициях... Каутского. Ленин писал: «Это неверно... Анархисты хотят «отменить» государство, «взорвать»... его... Социалисты... признают отмирание, «постепенное» «засыпание» государства после экспроприации буржуазии» (Сталин И. Вопросы ленинизма. М., 1939, стр. 248). На VI съезде партии в августе 1917 года Ленин передал Бухарину через Крупскую, что в споре о «взрыве» государства прав был Бухарин, а не он, Ленин. Вот справка Бухарина по данному вопросу, которая привела Сталина в великое возмущение: «Против статьи... выступил... В. И. (т. е. Ленин)... у меня не было ошибки, которая мне приписывалась... с другой стороны, из заметки Ильича видно, что он тогда неправильно относился к положению о «взрыве» государства (разумеется, буржуазного), смешивая этот вопрос с вопросом об отмирании диктатуры пролетариата... Занимаясь вопросом, Ильич пришел к тем же выводам относительно «взрыва», но он развил эту тему, а затем и учение о диктатуре настолько, что сделал целую эпоху в развитии теоретической мысли в этом направлении».

Речь идет о книге Ленина «Государство и революция», которая действительно сделала эпоху в том отношении, что идеи Паннекука и особенно Бухарина Ленин не только развил дальше, но и положил их в основу своей стратегии «взрыва» февральской демократии и установления однопартийной диктатуры большевиков. А Сталин возмущался зря, говоря, что выходит, что Ленин был учеником Бухарина. Да, что правда, то правда — в данном вопросе приоритет за Бухариным, что Ленин и признал.

На стороне официальных советских идеологов, критиковавших своих оппонентов на Западе, всегда было одно преимущество: они критиковали работы, которые не имел права читать советский человек. Поэтому ему преподносились отдельные, вырванные из контекста цитаты, выпускались авторские аргументации. Произведения марксистского теоретика Каутского в царской России пользовались, и по Ленину и по словам самих немцев, бóльшим успехом, чем в Германии, а вот в ленинской России было запрещено переводить на русский язык не только книги Каутского, но и Розы Люксембург, в которых критиковался большевизм. Читателю небезынтересно узнать аргументацию вышеназванных авторов против большевистского понимания демократии и демократического социализма Маркса и Энгельса.

Карл Каутский посвятил специальную книгу проблемам расхождений между западной марксистской социал-демократией и ленинским большевизмом. Автор с самого начала подчеркивает два

важнейших факта: 1) уже в «Коммунистическом манифесте» Маркс и Энгельс посчитали нужным заявить, что коммунисты не считают себя особой, обособленной партией по отношению к другим рабочим партиям. Поэтому в I Интернационале тонкий слой марксистов работал вместе с другими рабочими партиями (с партиями прудонистов, бланкистов, тред-юнионов); 2) эти «социалистические партии совместно боролись не только за короткий рабочий день, за страхование по безработице, высокую зарплату и за производственные советы (Betriebsräte), но и за свободу, равенство и братство всех людей без различия пола, религии и происхождения» (Karl Kautsky. *Kommunismus und Sozialdemokratie*. «Deitz Verlag», S. 4—5). Здесь Каутский хочет обратить внимание на то, что классики марксизма не считали, что коммунисты претендуют на монопольное право представлять интересы всего рабочего класса и поэтому готовы были сотрудничать со всеми другими рабочими партиями, борющимися одновременно и за насущные материальные интересы трудящихся, и за их социальное и политическое раскрепощение. Ленин же претендовал на исключительное право коммунистов представлять социальные и политические цели рабочего движения, а все остальные социалистические партии объявлял «предателями», «изменниками», «ренегатами». Каутский выводит эту граничащую с одержимостью претензию Ленина и его сторонников из факта позднего проникновения в Россию идей марксизма, а также из абсолютистской структуры политического режима России. Полицейские условия заставляли русских марксистов работать в подполье, отсюда, говорит автор, многие русские марксисты приобрели утопические и фантастические черты домарксистских социалистов, а именно — черты бланкистов и бакунистов. Автор пишет: «Они не отрицали марксизм, но представляли его скорее фанатично, приписывая марксизму бланкистские и бакунистские идеи. Самым значительным среди таких марксистов был Ленин» (там же, стр. 6). Ленин разошелся, продолжает автор, с другими марксистами по вопросу организации партии в условиях царской России на конспиративных началах, но без внутрипартийной демократии, тогда как Маркс считал, что главное — это воспитание партии и рабочего движения в духе демократии. Для Маркса «партия менее всего была средством захвата власти, а более всего средством воспитания масс», говорит Каутский. В этой связи Каутский указывает на тот факт, что Маркс и Энгельс согласились вступить в «Союз коммунистов» только после того, как этот «Союз коммунистов» отказался от своего старого устава, согласно которому «Союз» считался заговорщической организацией с диктаторской властью партийного центра. В новом уставе руководство партии выбиралось на демократических началах и могло быть смещено в любое время. I Интернационал вынужден был работать в некоторых странах в подполье, но Маркс упорно боролся против того, чтобы там создавали заговорщические организации с диктаторским центром, как этого хотел лидер итальянских революционеров Джузеппе Мадзини, и Маркс победил. Роза Люксембург с первых же дней возникновения большевизма по плану Ленина из «Что делать?» разгадала, какой будет партия, созданная по ленинскому методу, когда писала: «Создание централизации на двух принципах: слепое подчинение всех организаций до малейшей детали одному центру, который за всех думает, создает и решает, а также строгое разграничение между ядром партии и окружающей ее революционной средой. То, за что борется Ленин, представляется нам механическим привнесением организационных принципов бланкистского заговора рабочих кружков в социал-демократическое движение рабочей массы. Ход мыслей Ленина направлен на контроль партийной деятельности, а не на ее оплодотворение, на сужение, а не на расширение, на раздробление, а не на объединение» (там же, стр. 8).

Комментируя эти слова Розы Люксембург, Каутский пишет, что она разгадала всю сущность будущего ленинизма уже на его начальной стадии возникновения, но «конечно, не могла она еще тридцать лет назад предвидеть все губительные действия, которые таились в утробе ленинизма... Диктатор является в высшей степени ревнивым богом. Он не терпит другого бога около себя. Ленин был того мнения, что весь пролетариат беспрекословно должен повиноваться его руководству. Кто в партии не верил в его божественную непогрешимость, тот пожинал его пламенную ненависть... Отсюда и невозможность для Ленина, как и для всякого другого, кто хочет быть диктатором в партии, работать коллективно с другими товарищами по партии, которые иногда думают иначе, чем диктатор» (стр. 9). Отсюда Каутский приходит к выводу:

«Если диктатура проникла в партийный организм, то партия духовно нищает, ибо диктатура вынуждает творческие, духовные силы партии к отказу от духовной независимости или исключает их из партии» (стр. 9). Прямым следствием ленинского фанатизма и необузданности его диктаторской воли Каутский считает и трагедию гражданской войны, последовавшей за разгоном Учредительного собрания. Вот его слова: «Если бы не разгон Учредительного собрания, Россия не подверглась бы всем ужасам и опустошениям гражданской войны. Как богата сделалась бы страна, сколько процветания принесла бы социалистическая перестройка трудящимся. Как быстро пошло бы экономическое и духовное обогащение масс, как выросло бы доверие между рабочими, крестьянами и интеллигенцией, как росла бы социалистическая продукция — на путях к созданию царства свободы, равенства и братства» (стр. 13).

И этого человека, которому сам Энгельс поручил управлять своим литературным наследством и комментировать его, Ленин заклеил как ренегата марксизма и изменника рабочего класса.

Однако, по существу, подобной же критике, что и Каутский, ленинскую «диктатуру пролетариата» подвергла выдающийся теоретик марксизма, организатор и вождь Германской компартии Роза Люксембург за несколько месяцев до своей трагической гибели в январе 1919 года. Из ряда ее статей была потом составлена книга «Русская революция», которая, кажется, никогда не переводилась на русский язык (цитаты по последнему изданию: Rosa Luxemburg. Die russische Revolution. «Europäische Verlagsanstalt», 1963). В книге Розы Люксембург поражают пронизательность анализа и необыкновенный дар предвидения. Она как коммунистка безусловно разделяет программу Октябрьской революции и признает, как она выражается, как «выдающихся руководителей — Ленина и Троцкого». Признает она и «диктатуру пролетариата», но ее понимание сущности этой диктатуры абсолютно противоположно тому, как понимают «диктатуру пролетариата» Ленин и Троцкий. Вот рассуждения Розы Люксембург: «Свобода только для сторонников правительства, только для членов партии не есть свобода. Свобода — всегда только свобода думающих иначе» («Freiheit ist immer nur die Freiheit des anders Dankenden», S. 73).

Люксембург говорит, что Ленин и Троцкий исходят из предположения, что революционная партия уже имеет в кармане готовый рецепт, как построить социализм, как создать новую хозяйственную, социальную и правовую систему, но в этом их заблуждение. Она пишет: «Мы знаем приблизительно, что именно сперва надо убрать, чтобы открыть путь к социалистическому хозяйству, но каковы тысячи больших и малых шагов, которые надо для этого предпринять, — этого мы не знаем... Социализм невозможно построить изданием декретов... Вся масса должна в этом участвовать, иначе он будет декретирован дюжиной интеллектуалов. Безусловно нужен общественный контроль, иначе обмен опытом останется достижением закрытого круга бюрократов нового правительства».

Каковы будут результаты такой системы и что надо делать? Автор утверждает: «Коррупция неизбежна... Никто не знает этого лучше, чем Ленин. Но в выборе средств (против нее) он совершенно ошибается. Декреты, диктаторская власть надзирателей предприятий, драконовские штрафы, господство ужаса — это все паллиативы. Единственный путь к возрождению — это школа самой общественной жизни, неограниченной, широчайшей демократии, общественное мнение. Правление методами страха только деморализует массы!»

Автор догадывается, что Ленин и Троцкий на это не пойдут. Тогда, пишет Роза Люксембург, в советской России сложится политический режим, которого она не увидела, но зато хорошо знаем мы теперь, через семьдесят лет. Вот продолжение ее рассуждения:

«Если все это отпадает, то что же тогда остается делать? Ленин и Троцкий выдвигают выборные органы Советов как истинное представительство трудящихся. Однако с уничтожением общественной жизни во всей стране будет парализована жизнь и в самих Советах. Без всеобщих выборов, без неограниченной свободы прессы и собраний, без свободы борьбы мнений замрет жизнь и во всех общественных инстанциях. Останется кажущаяся жизнь, при которой только бюрократия будет действующим элементом... Общественная жизнь постепенно засыпает... Действует лишь дюжина выдающихся партийных руководителей, и будут таскать элиту рабочего класса по собраниям, она будет аплодировать речам вождей и единогласно утверждать предложенные ей резолюции. Словом, это будет в основе своей диктатура, но не диктатура пролетариата, а кучки политиков» (стр. 74—75).

Много немарксистских писателей от русского Замятина и до англичанина Оруэлла по-разному предсказывали будущую картину советского социализма, но никто с такой гениальной точностью даже в деталях не предсказал картину сегодняшнего советского социализма, как это мы видим из приведенного анализа марксистки Розы Люксембург...

Идея власти затмила в голове Ленина все другие идеи: гуманистические, патриотические и даже социалистические. «Мы Россию завоевали, — повторял он, выражаясь языком оккупанта собственной страны, — теперь мы должны Россией управлять». Управление это началось с братоубийственной гражданской войны и ужасающего Красного террора — не во имя социализма, а во имя удержания власти любой ценой и с любым количеством жертв. В конечном счете выяснилось, что для большевизма власть — всё, а конечная цель — ничто...

ОТ УТОПИИ СОЦИАЛИЗМА К РЕЖИМУ ТОТАЛИТАРИЗМА

Совершенно естественно, что догматическая организация заговорщиков, пришедшая к власти путем насилия и против воли большинства народа, не может управлять этим народом иначе как посредством террористической диктатуры. Что первое поколение заговорщиков управляло мето-

дами террора, это вполне обычное явление в истории всех насильственных переворотов, но что их сменяющиеся наследники на протяжении четырех поколений продолжают удерживать свою диктатуру ортодоксальнейшими методами первого поколения основоположников их власти, как это случилось в России, — это уже беспрецедентное явление в мировой истории. Трудно это объяснить лишь виртуозной техникой заговорщиков. Вероятно, разгадка лежит отчасти и в феноменальном характере русского человека: бесконечно терпеть, приспосабливаться ко всяким тяжким ситуациям, как он веками приспосабливался к монгольскому игу, крепостному праву...

Надо отметить и другой факт, который обычно игнорируют: ленинскую концепцию террора и заговора ученики и наследники Ленина распространили и на внутривнутрипартийную жизнь — сначала как идеологический террор, потом как физический террор и под конец как метод захвата власти путем внутривнутрипартийных заговоров.

1. По Ленину, «диктатура пролетариата» и «диктатура партии» одно и то же, а «научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 383);

2. «...при руководстве партии осуществляется *диктатура класса*» (т. 41, стр. 31);

3. «...фактическая конституция Советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу» (т. 41, стр. 403);

4. «Партией руководит... Центральный Комитет из 19 человек» (т. 41, стр. 30);

5. «...волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более делает и часто более необходим» (т. 40, стр. 272).

Если партия и ее аппарат во главе с «одним диктатором» — мозг режима, то политическая полиция — его корпус, отсюда понятно и их органическое взаимодействие. (На этом основании я и назвал советскую политическую систему тоталитарной партократией.) Вот на этой довольно стройной и научно обоснованной «философии диктатуры» и построено все материально-правовое здание ленинизма, которое окончательно утвердилось как тоталитарное государство в период гражданской войны и военного коммунизма. Вполне логично и закономерно, что в лице Сталина это тоталитарное государство нашло куда более идеального диктатора, который «один более делает и часто один более необходим», чтобы осуществить волю своего класса — партапаратной бюрократии, чем Ленин. Путь к завершению такого тоталитарного государства оказался тяжким, продолжительным и кровавым. Начал его, вопреки утверждениям советских исследователей, не Сталин, а Ленин, у которого сам Сталин был «винтиком» в революции, «разъездным громилой» в гражданской войне и палачом на «стройках военного коммунизма», как надзиратель от ЦК над Чека.

Если Ленин говорил в книге «Что делать?», что «подготовленная проповедью Ткачева и осуществленная посредством «устрашающего» и действительно устрашавшего террора попытка захватить власть — была величественна», а академик Покровский называл Ткачева первым большевиком, то тогда становится понятно и замечание Бердяева: «Маркс и Энгельс говорили о буржуазном характере революции в России и были скорее меньшевиками, чем большевиками». Против кого же было направлено острое террора Ткачева, которым так восхищался Ленин? Сохранилось очень интересное свидетельство сестры Ткачева А. Анненской, в котором говорится: «Он со всем пылом молодости ненавидел господствующий в России режим и находил, что для обновления страны необходимо ни мало ни много как уничтожить всех людей старше 25 лет» (В а р ш а в с к и й В. С. Родословная большевизма. 1982, стр. 20).

Ленин не был так циничен, но философия террора Ленина была недалеко от такой постановки вопроса, ибо он, к сведению всей России, повторял лозунг народников-террористов: «Кто не с нами, тот против нас». Поскольку «законы классовой борьбы» не знают, по Ленину, пощады к противникам, то судите сами, куда завела бы Ленина его террористическая философия, если вспомнить, что уже при советской власти более 76 процентов российских избирателей во время выборов в Учредительное собрание голосовали против большевиков. Ведь если делать политику по лозунгу Ленина, то создалось бы абсурдное положение, когда невозможно ни уничтожить, ни даже закрыть в концлагеря две трети населения страны. К тому же не так понимали марксистские учителя Ленина «законы классовой борьбы» при переходе к социализму. Мы уже писали об отрицательном отношении основоположников марксизма к тайным организациям и политическим заговорам. Писали и о том, как Маркс и Энгельс выдвинули тезис, что в демократических странах (Англия, Америка, Франция, Швейцария и Голландия) к социализму можно прийти при помощи мирных средств. Этим самым они пересмотрели и свои старые взгляды на террор якобинцев и народников. В письме Марксу от 4 сентября 1870 года Энгельс писал: «Террор представляет собой большей частью бессельную жестокость людей, которые сами напуганы и стараются успокоить себя. Я убежден, что в царстве террора во Франции 1793 г. были почти целиком повинны сверженные буржуа, высту-

павшие как патриоты, мещане из мелкой буржуазии, пачкающие свои штаны от страха, и сброд, делавший из террора выгодное дело».

Весь верхний командный этаж ленинской партии как раз и состоял из буржуазно-дворянских сынков (Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Дзержинский и другие). Рабочий народ сюда редко попадал (Шляпников, Томский, Федоров). Средний этаж весь состоял из «сброта» вроде Кобы-Сталина и его бандитского окружения. На нижнем этаже обитала «пролетарская масса», которая не имела ни малейшего представления, что это за штука «диктатура пролетариата» и какой «социализм» она ей готовит. Зато гениальный Толстой угадал, какой социализм готовят России русские марксисты, когда заявил в «Русском богатстве» в 1891 году: «При социализме придется учредить такое количество чиновников, что они съедят 3/4 всего того, что будет заработано людьми» (вот данные из советской печати: 18 миллионов бюрократов проедают ежегодно 40 миллиардов рублей!). Ленин, конечно, выдумал свою революцию и свой «казарменный коммунизм» не для наказания не согласных с ним русских людей, а как благо для них и для всего человечества. Но проблема не в том, что Ленин хотел, а в том, что он сделал. Он начал прокладывать дорогу пролетариату в рай на земле через трупы миллионов «непролетариев». Он мог сказать, как и его учитель Бабеф: «Любовь к революции убила во мне всякую другую любовь и сделала меня жестоким, как дьявол». Русские марксисты во главе с Лениным восхищались якобинским террором и были падки на заимствования их учреждений, терминологии и политических ярлыков, таких, к примеру, как пресловутый термин «враг народа». Этот термин Ленин впервые употребил как криминальное обвинение против партии русского классического либерализма и демократии — против кадетов — буквально на второй же день после прихода к власти. Как известно, вся философия тирании Сталина была построена на априорности истины: человек, которому наклеили ярлык «враг народа», — уже враг, и доказывать это фактами и уликами не требуется. Большевики только отказались перенять у французов гильотину, зрелище, чуждое русскому менталитету. Чекисты кончали с врагами тайно и оптом из револьверов и винтовок в подвалах тюрем или в глухих лесах далеко от городов. Исходные позиции марксизма — гимн свободе и равенству — в социализме ленинских марксистов сработали «диалектически»: превратились в свои противоположности. В основе этой трансформации идей свободы и равенства в духовное и материальное рабство лежит — по Бердяеву — своеобразие русского исторического процесса. «Русская революция, — пишет Бердяев, — порождена своеобразием русского исторического процесса и единственности русской интеллигенции... Произойшла русификация и ориентализация марксизма» («Истоки и смысл русского коммунизма»).

Литература о красном терроре, основанная на самих большевистских источниках, так велика, что нет никакой возможности сделать хотя бы ее краткий обзор. Для моей цели в этом нет и нужды. Меня интересует философия и психология самого террора. Если гражданская война началась с разгона Учредительного собрания, то красный террор был объявлен только после убийства Володарского в конце июня 1918 года, то есть в ответ на индивидуальный и единичный террористический акт Ленин потребовал от своего наместника в Петрограде Зиновьева объявить массовый красный террор. Зиновьев отозвался в духе Ленина: «Буржуазия убивает отдельных революционеров, а мы уничтожим целые классы» (Ш у б Д., стр. 374). Нарком внутренних дел Г. Петровский направил местным Советам следующий приказ: «Надо покончить с сентиментальностью... Всех известных властям правых социалистов-революционеров надо немедленно арестовать. Из буржуазных и офицерских кругов надо арестовать значительное число людей в качестве заложников. При любом признаке сопротивления, при малейшем движении из белогвардейских кругов надо ответить массовыми казнями» («Еженедельник ВЧК», М., 1918, № 1).

Петроградская «Красная газета» писала в эти дни: «За жизнь одного нашего борца должны заплатить своей жизнью тысячи наших врагов... Хватит! Мы слишком долго возились с ними». Все лица, не согласные с большевиками, считаются без исключения «буржуями» и «белогвардейцами». Поэтому газета требует: «Зададим буржуазии кровавый урок... Товарищи матросы, рабочие и солдаты, уничтожайте остатки буржуазии и Белой гвардии, чтобы от них ничего не осталось. Лозунг дня гласит: Смерть буржуазии!» (Ш у б Д., стр. 374). Еще до убийства Урицкого и до покушения на Ленина газета «Правда» от 4 августа писала: «Рабочие и бедняки! Возьмитесь за оружие, учитесь стрелять, готовьтесь против восстания кулаков и белогвардейцев. Восстаньте против всех, кто против Советской власти агитирует. Десять пуль против каждого, кто поднимет руку против нее. Господству капитала можно положить конец, когда перестанут дышать последние капиталисты, помещики, попы и офицеры» (там же, стр. 375).

9 августа 1918 года Совнарком издает декрет за подписью Ленина о «создании особых частей из верных и преданных людей для развертывания беспощадного массового террора против кулаков, духовенства и белогвардейцев. Всех подозрительных заключить в концлагеря» (там же, стр. 371). Тогда последовало убийство Урицкого и покушение на Ленина (30 августа 1918 года). Газета

«Известия» (19.10.18) сообщила, что в Петрограде расстреляно 512 заложников, в Нижнем Новгороде 46 заложников, расстрелы происходили и в других городах (там же). На страницах газеты «Северная коммуна» Зиновьев заявил буквально следующее: «Чтобы успешно бороться с нашими врагами, мы должны иметь собственный социалистический гуманизм. Мы имеем сто миллионов жителей в России под Советской властью. Из них девяносто мы должны завоевать на нашу сторону. Что же касается остатка, то его нужно уничтожить» (там же).

Всю суть философии красного террора и его политическое обоснование один из руководителей ВЧК, М. Лацис, изложил в печатном органе чекистов в следующих словах: «Мы уничтожаем класс буржуазии. Поэтому нет нужды доказывать, выступало ли то или иное лицо словом или делом против Советской власти. Первое, что вы должны спросить у арестованного, это следующее: к какому классу он принадлежит, откуда он происходит, какое воспитание он имел и какова его специальность? Эти вопросы должны решить судьбу арестованного. Это и есть квинтэссенция Красного террора» (журнал «Красный террор», М., 1.10.18).

Добавим от себя, что это есть и наиболее ортодоксальная интерпретация ленинизма в классовый борьбе, нашедшая свое революционно-правовое оформление в декрете Наркомата юстиции от 5 сентября 1918 г. «О Красном терроре». В нем дается право местным властям заключать классовых врагов в концлагеря, а врагов советского режима уничтожать (S. Wolin and R. Slusser. The Soviet Secret Police. N. Y. 1954).

Таким образом, поводом для объявления всеобщего Красного террора по всей стране Ленину послужил единственный акт убийства 20 июня 1918 года комиссара по печати и главного редактора петроградской «Красной газеты» В. Володарского. Ответом на начало этого террора и было убийство председателя петроградской Чека Урицкого 30 августа 1918 года поэтом Леонидом Каннегиссером и покушение в тот же день Фанни Каплан на Ленина. Ей было двадцать восемь лет, она принадлежала к партии эсеров и одиннадцать лет сидела в каторжной тюрьме за покушение на царского чиновника. О своем мотиве она сказала, что хотела убить Ленина «за измену революции». Большевицкая негласная пропаганда долго распространяла легенду, что добрый «гуманист» Ленин не разрешил ее судить, — и действительно ее не судили, расстреляли без суда и следствия, о чем с гордостью рассказывал ее палач комендант Кремля П. Мальков в эру Хрущева.

Даже победив в гражданской войне, Ленин не собирался прекращать красный террор. Яркие примеры тому — как Ленин реагировал на тамбовское восстание мужиков, доведенных комбедами и военным коммунизмом до отчаяния, а также на восстание «красы и гордости революции» — кронштадтских матросов, тех самых матросов, которые привели самого Ленина к власти в октябре 1917 года. И этот террор никогда не был ответом только на «белый террор»: он еще носил и превентивный характер. Когда секретарь Коминтерна и долголетняя единомышленница Ленина Анжелика Балабанова, вернувшись из командировки в Киев, пожаловалась Ленину, что там все еще пачками расстреливают украинских социалистов, Ленин хладнокровно ответил: «Разве вы не понимаете, что если мы не расстреляем этих лидеров, то можем оказаться в положении, когда нужно расстрелять десятки тысяч рабочих» (A. Balabanoff, «Mein Leben», S. 188). Сказанное Балабановой подтверждают новые документы: обмен телеграммами между Троцким и Лениным в августе 1919 года, найденными в центральном архиве в Москве. Троцкий телеграфирует Ленину о необходимости радикальной чистки в Киеве, Одессе, Николаеве и Херсоне ввиду абсолютной невозможности формирования Красной Армии на Украине, если чекисты не ликвидируют там «бандитизма». Ленин ответил, что по решению Политбюро он направляет в распоряжение Троцкого несколько чекистских отрядов — для общей чистки Украины (журнал «Жовтень», Киев, май 1989).

В бессмысленном, огульном и массовом терроре против совершенно невинных людей уличал большевиков Мартов на конгрессе Германской независимой социал-демократической партии в Галле в 1920 году в присутствии председателя Коминтерна Зиновьева. Вот выдержка из речи Мартова:

«В ответ на убийство Урицкого и покушение на Ленина, совершенные отдельными лицами, в Петрограде, где правительствует Зиновьев, казнены не менее восьмисот человек. Это были офицеры, арестованные задолго до покушения и никакого отношения к ним не имевшие, к тому же арестованные не за контрреволюцию, а только за якобы их оппозицию против революции. (В зале оживление, крики по адресу Зиновьева: «Палач!», «Бандит!») Список этих людей опубликован в газете «Известия», и Зиновьев не может отрицать этот факт. Среди казненных был и рабочий, член нашей партии Краковский. Зиновьев не может также отрицать, что подобные же казни состоялись и во всех других городах России по прямому указанию из центра, которое изложено в циркуляре наркома внутренних дел Г. Петровского органам местной власти. Уже сам по себе факт, что жены и сыновья политических противников были также арестованы как заложники и многие из них из мести за действия их мужей и отцов были расстреляны, является доказательством масштаба террора»

(«Protokoll des ausserordentlichen Kongresses der Partei der Unabhängigen Sozialisten», S. 216-217. Berlin, 1920).

Террористическому разгулу с сотнями тысяч жертв по всей стране посвящена специальная монография «Красный террор в России» народного социалиста С. П. Мельгунова, в которой приведено много официальных документов и свидетельств из советской прессы. Тухачевский по приказу Ленина и Троцкого жестоко расправился не только с тамбовскими повстанцами, но и с их семьями. Вот пара документов по поводу тамбовского восстания. Приказ от 1 сентября 1920 года: «Провести к семьям восставших беспощадный красный террор. Арестовывать в таких семьях всех с восемнадцатилетнего возраста, не считаясь с полом, и если бандиты будут продолжать выступления, расстрелять всех». Вот и другой документ, адресованный к всем местным властям страны от имени ВЦИК от 11 июня 1921 года, который недавно приводил в печати писатель Владимир Максимов:

«1. Граждан, отказывающихся назвать свое имя, расстреливать без суда на месте.

2. Селянам, у которых скрывается оружие, объявлять приговор о взятии заложников и расстреливать таковых в случае несдачи оружия.

3. Семья, в доме которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имущество ее конфискуется, старший работник в этой семье расстреливается на месте без суда.

4. В случае бегства семьи бандита имущество таковой распределить между верными Советской власти крестьянами, а оставленные дома сжигать».

Широко известна и кровавая расправа Ленина, Троцкого, Тухачевского и ведущих делегатов X съезда партии, которые одной рукой давали нэп, а другой устраивали кровавое побоище над теми, благодаря кому получили власть. Ленинский стратегический инстинкт самосохранения и на этот раз сработал безотказно, когда в Тамбове и Кронштадте Ленин увидел смертельную опасность для себя. Именно поэтому он так жестоко и беспощадно подавил оба восстания.

На X съезде (8—16 марта 1921 года) Ленин заявил, что Кронштадт, который восстал под лозунгом «За Советы без коммунистов!», событие более опасное, чем думают сами коммунисты. Ленин правильно оценил ситуацию, ибо видел, что кронштадтские матросы со своим зажигательным лозунгом попали в самую точку. Вся Россия думала именно так, как думали кронштадтцы, — после страшных лет террора коммунистической тирании, прикрывающейся именем Советов.

Кронштадт восстал за неделю до открытия съезда, 1 марта 1921 года. Восстанию предшествовало общее собрание матросов и солдат, на котором присутствовали около 15 тысяч человек. На собрании были приняты следующие требования к правительству Ленина—Троцкого: роспуск существующих и выборы новых Советов при тайном и свободном голосовании; свобода слова и печати для всех социалистических партий, как это было даже в царской России после 17 октября 1905 года; свобода собраний профсоюзов и крестьянских организаций; ликвидация института политкомиссаров в армии и во флоте; немедленное прекращение реквизиции хлеба у крестьян; объявление свободного рынка для крестьян. Аналогичные требования выдвигались не только в Кронштадте, но и во время крестьянских волнений и восстаний в ряде других районов России. В Петрограде было несколько рабочих забастовок и волнений, угрожающих перейти в восстание с теми же требованиями, что и у кронштадтских матросов. Ленин почувствовал, что союз Кронштадта, Петрограда и крестьянской России — это уже второе издание Октября. на этот раз под новым лозунгом: «Вся власть Советам без коммунистов!» Вот почему Ленин на том же X съезде заявил, что один лишь Кронштадт является более опасным для судьбы коммунистического режима в России, «чем являлись Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые». Ленин даже не допускал, что такой умный и динамичный лозунг, как «За Советы без коммунистов!», — мог родиться в голове матросов, он думал, что этот лозунг за них сочинил профессор Милуков в Париже!

Четыре года русско-германской войны плюс четыре года гражданской войны привели Россию на грань полной хозяйственной катастрофы. Ко всему этому Ленин всерьез решил построить в России социализм на этих руинах войны и поэтому ввел тотальное запрещение частной хозяйственной инициативы как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Отсюда возможная катастрофа стала неизбежной. От голода началось массовое бегство рабочих из городов к родным в деревни, хотя и там жили не сытно. Поэтому промышленные предприятия работали не в полную силу, а некоторые даже стояли. На металлургических предприятиях осталось только 50 процентов прежнего состава рабочих, с уральских предприятий ушло 37 процентов всех рабочих. Инфляция и соответственно цены на товары достигли астрономических цифр. Производство в сельском хозяйстве упало до 62 процентов довоенного уровня, урожай составил в 1920 году только 37 процентов необходимого для страны хлеба. Свирепствует голод с миллионами жертв. Петроград угрожает восстанием, Кронштадт уже восстал, а Ленин все еще хочет построить социализм!

Зиновьев в панике требует у Ленина двинуть против петроградских рабочих и кронштадтских матросов надежные части Красной Армии и чекистских войск. Тухачевский прибывает в Петроград, чтобы организовать военные силы, а «президент» Калинин — в Кронштадт, чтобы уговорить

матросов не восставать против «собственной власти». Тухачевский действовал успешно, но Калинин встретил решительный отпор матросов. Вот репортаж современника по свежим следам событий. Один из матросов сказал «президенту»: «Почему вы расстреляли наших отцов и братьев в деревне? Вам тепло. Вы и комиссары живете во дворцах... Товарищи, я сам был коммунистом, но теперь разгоним фальшивых коммунистов, натравливающих рабочих на крестьян, а крестьян на рабочих. Надо положить конец расстрелам наших братьев». Другой матрос, Петрешенко, под бурные аплодисменты митинга заявил протест против расстрела рабочих Петрограда и крестьян в деревнях. В заключение он внес резолюцию, осуждающую коммунистическую диктатуру. Резолюция была принята единодушно. «Арестуйте их,— сказал Петрешенко, обращаясь в сторону Калинина и сопровождающих его комиссаров. Калинина отпустили, но некоторые сопровождающие комиссары были арестованы» (Г у л ь Р. Тухачевский. Берлин. 1922).

5 марта 1921 года кронштадтцы создали Революционный комитет из 15 человек. Во главе шестидесятилетней отборной армии чекистских и воинских частей Тухачевский прибыл в Петроград, где разоружил весь петроградский гарнизон и направил матросам и солдатам следующий приказ Троцкого:

«Я приказываю всем тем, кто восстал против социалистического отечества, немедленно сложить оружие, кто откажется, тот должен быть разоружен и передан представителям Советской власти. Немедленно должны быть освобождены все арестованные комиссары. Только те могут рассчитывать на милость Советской республики, кто безусловно капитулирует. Одновременно я издаю приказ для подготовки подавления восстания и уничтожения мятежников вооруженными силами. Вся ответственность за жертвы мирных людей падает на голову белогвардейских мятежников. Это последнее предупреждение».

В это время власть в Кронштадте была в руках Революционного комитета во главе с названным выше Петрешенко. Кто входил в состав Революционного комитета? Вот список его членов: 9 матросов, 4 рабочих, один санитар, один школьный директор; почти вся коммунистическая организация Кронштадта тоже присоединилась к восстанию. Вот их-то вместе с Революционным комитетом Троцкий называет белогвардейцами! Кронштадт твердо рассчитывал на поддержку рабочих и солдат Петрограда, но тут Зиновьев и Тухачевский приняли суровые предупредительные меры. Зиновьев объявил Петроград на осадном положении и одновременно издал приказ: разгонять любые собрания рабочих, а демонстрантов расстреливать. Тухачевский издал другой приказ: начать бомбардировку Кронштадта с самолетов и артиллерий. Троцкий, Тухачевский, Зиновьев явно спешили, ибо через пару недель, когда растает лед, трудно было бы взять островную крепость. На интенсивную бомбардировку, непрерывный артиллерийский огонь и ультиматум Троцкого Революционный комитет ответил героическим напряжением сил. Революционный комитет обратился и к внешнему миру с воззванием, в котором говорилось: «Фельдмаршал Троцкий, весь в крови рабочих, первым открыл огонь по революционному Кронштадту, который восстал против коммунистического правительства, чтобы восстановить истинную Советскую власть» («Правда о Кронштадте». 1921, стр 20).

Началось концентрированное наступление всех родов войск против маленького, но мужественного гарнизона, который отстаивал буквально каждый дом со всех сторон окруженной крепости. Следующее свидетельство принадлежит самому Тухачевскому:

«Я был пять лет на войне, но я не могу вспомнить, чтобы когда-либо наблюдал такую кровавую резню. Это не было большим сражением. Это был ад. Тяжелая артиллерия всю ночь непрерывно грохотала, и снаряды взрывались так оглушительно, что в Ораниенбауме были снесены стекла всех окон. Матросы бились как дикие звери. Откуда у них бралась сила для такой боевой ярости, не могу сказать. Каждый дом, который они занимали, приходилось брать штурмом. Целая рота боролась полный час, чтобы брать один-единственный дом, но когда его наконец брали, то оказывалось, что в доме было всего два-три солдата с одним пулеметом. Они казались полумертвыми, но, пытаясь, вытаскивали пистолеты, начинали отстреливаться со словами: мы мало уложили вас, жуликов!» (Г у л ь Р. Тухачевский, стр. 173—174).

Революционная и боевая слава кронштадтских матросов гарантия тому, что Тухачевский не сгушал здесь красок. Только 17 марта Тухачевский мог доложить Ленину и Троцкому, что Кронштадт лежит в руинах, его улицы усеяны тысячами трупов, попавшиеся в руки чекистских войск расстреляны на месте, другие взяты в плен, некоторым удалось бежать в Финляндию.

Вот тогда только Ленин дал стране нэп, но с категорической оговоркой: нэп не стратегия, а тактика, не программа, а пауза, вынужденная передышка для подготовки нового коммунистического наступления.

Существуют некоторые исторические легенды, связанные с интерпретацией характера как военного коммунизма, так и нэпа. Сейчас в связи с перестройкой создается еще одна новая легенда вокруг того же нэпа. Посмотрим на суть таких легенд и насколько они оправданы. Советские

исторические учебники твердят, что военный коммунизм был временным чрезвычайным мероприятием, связанным с трудностями снабжения как Красной Армии в гражданской войне, так и рабочих в городах в условиях нехватки продуктов и товаров. Нет ничего ошибочнее, чем такое утверждение. Гражданская война кончилась в 1920 году, но Ленин и не заикался, что режим военного коммунизма будет когда-нибудь отменен. Троцкий пишет, что еще в феврале 1920 года он внес в ЦК предложение об отмене военного коммунизма, но Ленин выступил решительно против этого. Оно было отвергнуто ЦК одиннадцатью голосами против четырех (Троцкий Л. Моя жизнь, ч. II, стр. 199).

И тот же Троцкий через месяц на IX съезде в полном согласии с Лениным называет военный коммунизм «трудоустройством» в промышленности — «столбовой дорогой к социализму». Более того, вопреки другой легенде, что X съезд партии в 1921 году объявил нэп, на этом съезде не было произнесено вообще слово «нэп», а было принято решение вместо подрастерстки ввести продналог. Это, конечно, был большой шаг в направлении будущего нэпа, но еще не сам нэп. Согласно этому решению после сдачи государству определенной процентной нормы хлеба крестьянин получал право на обмен своих хлебных излишков на другие товары, но подчеркивалось, что «обмен допускается в пределах местного хозяйственного оборота». Только через два месяца, на X партконференции в конце мая 1921 года, Ленин заговорил в полный голос о радикальном повороте в советской экономической политике от военного коммунизма к нэпу, не отказываясь вернуться обратно к режиму военного коммунизма, как только методами нэпа будет восстановлено разрушенное внешней и гражданской войнами народное хозяйство страны. Партийные идеологи, как и мы, точно знают, что для Ленина режим военного коммунизма с его военно-полицейскими методами — единственный путь к социализму, ибо добровольно социализм Россия не приняла, что и доказали гражданская война, Тамбов, Кронштадт, Петроград. Ленин откровенно признался, что он просчитался, думая, что социализм можно построить по приказу, путем насилия. Вот это признание Ленина в его выступлении 17 октября 1921 года: «Мы думали, что по коммунистическому велению будет выполняться производство и распределение... Если мы эту задачу пробовали решить напрямик, так сказать, лобовой атакой, то потерпели неудачу» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 44, стр. 165).

Однако Ленин не капитулирует. Он категоричен в своем решении строить социализм, но уже комбинируя методы насилия из арсенала «диктатуры пролетариата» с мирными методами «диктатуры рынка» как внутреннего, так и внешнего капитализма (аренды, концессии и т. д.). Эту концепцию нэпа он образно выразил в том же выступлении: «Не удалась лобовая атака, перейдем в обход, будем действовать осадой и сапой» (т. 44, стр. 165). Да, Ленин говорил, что мы вводим нэп «всерьез и надолго», но он никогда не говорил, что мы вводим его навсегда. Правда, и сам Сталин говорил, защищая нэп против Троцкого, Зиновьева, Каменева, что мы нэп ввели на «целый исторический период», и записал это в решении ЦК, но через года два-три он же его и ликвидировал, ссылаясь, и вполне справедливо, на того же Ленина. Собирались ли Ленин в связи с нэпом отказаться от «диктатуры пролетариата», от однопартийной системы, от революционного террора, от концепции мировой революции? Реакция во внешнем мире в связи с ленинским нэпом допускала такое развитие, а русские сменеховцы в главе с профессором Устряловым прямо пророчили, что большевизм в России переждается. Сам Ленин к этому не давал никаких поводов. Вспомним классические высказывания Ленина как накануне, так и после введения нэпа — насчет его будущей стратегии. Незадолго до провозглашения нэпа Ленин сообщил «секрет» этой будущей стратегии: как только мы будем сильны настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот. Вспоминая этот завет Ленина, даже ЦК застойного времени устами одного из своих секретарей заявил: «Наша партия была и остается верной завету Ленина: делать „максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах“» («Правда», 23.4.69). Подводя итоги одного года нэпа на XI съезде партии (март 1922 года), Ленин заявил: «Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: — достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута... Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил» («Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет». М. 1961, стр. 23), с тем чтобы начать «наступление» (на частнохозяйственный капитал) (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 413).

Ленин говорит: утверждение белогвардейского профессора Устрялова, что «нэп — это не тактика, а эволюция большевизма», приносит нам большую пользу; но что же касается меньшевиков, которые думают, что мы и всерьез отказываемся от принципов коммунизма и что они солидарны в этом с большевиками, то Ленин говорит, что таких меньшевиков «за публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а Бог знает что такое» («Одиннадцатый съезд РКП(б). Стенографический отчет», стр. 25). Да, говорит Ленин, нэп — вынужденное и временное отступление, только передышка, не политическая

стратегия, а экономическая тактика. И Ленин, цитируя одного из своих единомышленников, объяснил, в чем истинная цель его «перестройки»: «„Мало буржуазию победить, dokonать, надо ее заставить на нас работать“. Вот это — замечательные слова... Управлять хозяйством мы сможем тогда, если коммунисты сумеют построить это хозяйство чужими руками» (там же, стр. 31).

Отразилась ли экономическая «перестройка» Ленина в политической структуре системы, расширились ли рамки диктатуры в сторону гласности и свободы совести — словом, отказался ли режим от физического и духовного террора как метода управления государством и обществом? Ясные ответы, данные Лениным, нынешние перестройщики цитируют неохотно, а террористическая практика Ленина периода нэпа вообще замалчивается, зато постоянно подчеркивается «гуманистический социализм» Ленина этого периода, от которого Сталин якобы отошел. Это глубоко заблуждение или намеренная дезинформация. Приведу здесь наиболее яркие примеры, хорошо известные историкам. В этой связи приходится обращаться к Хрущеву, которому принадлежит приоритет противопоставления «гуманиста» Ленина террористу Сталину. В своем докладе о культуре личности на XX съезде Хрущев старается доказать, что Ленин уже в конце гражданской войны решил отказаться от террора и дал указания главе ВЧК Дзержинскому, чтобы Чека отказалась от практики массового террора. Хрущев говорил: «Ленин учил, что применение революционной силы обуславливается сопротивлением эксплуататорских классов; причем это относится к той эпохе, когда существовали эксплуататорские классы и обладали силой. Но как только политическое положение страны улучшилось, когда в январе 1920 года Красная Армия взяла Ростов и, таким образом, одержала победу над Деникиным, Ленин дал указание Дзержинскому прекратить массовый террор и отменить смертную казнь». Хрущев ссылается на выступление Ленина на сессии ВЦИК 2 февраля 1920 года. Действительно, в этом выступлении Ленин мотивирует, почему был введен красный террор и почему теперь советская власть якобы решила отказаться от него. Вот выдержка из этого выступления Ленина в изложении Хрущева: «Террор был нам навязан Антантой, когда мировые могущественные державы обрушились на нас... Мы не могли продержаться и двух дней, если бы не ответили... офицерам и белогвардейцам беспощадным террором. И как только мы одержали решительную победу, еще до окончания войны, тотчас после взятия Ростова, мы отказались от применения смертной казни и этим показали, что к своей собственной программе мы относимся так, как обещали». (На VIII съезде в 1919 году была принята новая программа с обещанием восстановить все политические свободы и права, как только будет подавлено «сопротивление эксплуататорских классов».)

Ну вот одержали окончательную победу над всеми врагами советской власти, изгнали из страны интервентов Антанты, объявили вне закона и посадили в тюрьмы даже тех левых меньшевиков и эсеров, которые вместе с большевиками боролись против Деникина, Колчака и Юденича, подавили восстания крестьян и кронштадтцев — кончился ли ужас перманентного террора? Факты опровергают утверждение Ленина:

1) смертная казнь не была отменена, произошла только смена вывески ненавистной народу инквизиции: Чека была переименована в ОГПУ, при котором была создана коллегия с чрезвычайными правами выносить, как и при Чека, заочные смертные приговоры за одно лишь подозрение в контрреволюции или просто инакомыслии;

2) это Ленин дал приказ в разгар нэпа в 1922 году выслать из страны только за инакомыслие большую группу русской интеллектуальной элиты, среди которой было много знаменитых на весь мир ученых;

3) это Ленин написал членам Политбюро письмо от 19 марта 1922 года с требованием расправы над русским православным духовенством, которое оказалось настолько ужасным, что даже генсек Сталин не осмелился тогда выполнить требование Ленина во всем его объеме, а наследники Сталина испугались включить это письмо Ленина в ПСС Ленина, или в Ленинские сборники, или хотя бы в Лениниану. Поэтому это письмо нам известно только из самиздата. Приведем выдержки из него: «Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников (в городе Шуе верующие не давали властям грабить церковные ценности. — А. А.)... был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров» («Вестник РСХД», 1970, № 98, стр. 55—56);

4) в письме от 17 мая 1922 года тогдашнему наркому юстиции Д. Курскому Ленин сформулировал основной принцип «революционного правосознания» и пресловутой «советской законности» в будущей статье 58-й Уголовного кодекса, пользуясь которой Сталин уничтожал «врагов народа». Ленин писал: «Т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодекса... Основная мысль, надеюсь, ясна... открыто выставить принципиальное и политически правдивое... положение, мотивирующее *суть* и *оправдание* террора, его необходи-

мость... Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» (Л е н и н В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 190).

Всякий согласится, что Сталина можно обвинить только в том, что он был слишком скрупулезен в деле выполнения «советской законности», завещанной Лениным.

В русском революционном движении есть хорошо известный его участник, близкий знакомый семьи Ульяновых, потом соратник Ленина со дня возникновения большевизма — Г. А. Соломон. Этот высокоинтеллигентный и критически мыслящий большевик оставил после себя две книги очень интересных воспоминаний, когда, порвав с Лениным, еще раз очутился в эмиграции, — «Среди красных вождей» и «Ленин и его семья». Один диалог его с Лениным поразителен в обрисовке внутреннего психологического мира Ленина, который не очень дорожил своей властью над Россией и да самой Россией, а весь был погружен в утопию мировой революции. Соломон вспоминает:

«Когда вскоре после большевистского переворота я приехал в Петербург, я беседовал с Лениным: „Скажите мне, Владимир Ильич, как старому товарищу, — сказал я, — что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на остров „Утопия“, только в колоссальном размере, — я ничего не понимаю...“ „Никакого острова „Утопия“ здесь нет, — резко ответил он тоном очень властным. — Дело идет о создании социалистического государства. Отныне Россия будет первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем... А, вы пожимаете плечами! Ну так вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее, господа хорошие, мне наплевать, это только этап, через который мы проходим к мировой революции...“ Я невольно улыбнулся. Он скосил свои узенькие маленькие глаза монгольского типа с горевшим в них ироническим огоньком и сказал: „Вы улыбаетесь! Дескать, все это бесплодные фантазии. Я знаю все, что вы можете сказать, знаю весь арсенал тех трафаретных, избитых, якобы марксистских, а в сущности, буржуазно-меньшевистских ненужностей, от которых вы не в силах отойти даже на расстояние куриного носа... Мы забираем и заберем как можно левее!..“ Улучив минуту, когда он на миг смолк, точно захлебнувшись собственными словами, я поспешил ему возразить: „Все это очень хорошо. Допустим, что вы дойдете до самого того ни на есть левейшего угла... Но вы забываете закон реакции, это чисто механический закон отдачи. Ведь вы откатитесь по этому закону черт знает куда!..“ „И прекрасно, — воскликнул он, — прекрасно, пусть так, но в таком случае это говорит лишь за то, что надо еще более забирать влево!.. Это вода на мою мельницу...“» (С о л о м о н Г. А. Ленин и его семья, стр. 45—46, Париж.).

Эта запальчивая самоуверенность, эта бесшабашная левизна, это истинно русское шапкозакладательство «все нам ничем», даже на Россию нам наплевать, когда в двери стучит «мировая революция» и «мировая советская социалистическая республика», — разве все это было основано на реальном анализе мировой ситуации или это было результатом больной фантазии Ленина: «империализм — последняя стадия», «крах загнивающего капитализма»? Ведь Ленин и большевики не только фантазировали, они ведь и глубоко верили в свои фантазии, которые, вопреки Плеханову, победили в Октябре. Деля политический отчет ЦК XIII съезду партии в 1924 году, Зиновьев заявил:

«Было время, когда в момент Брестского мира даже Владимир Ильич считал, что вопрос о победе пролетарской революции в целом ряде передовых стран Европы есть вопрос двух-трех месяцев. Было время, когда у нас в ЦК все часами считали развитие событий в Германии и Австрии... Мы считали тогда — раз мы возьмем власть, этим самым завтра развяжем руки революциям в других странах».

Ленин в обоих случаях просчитался: мировая революция не состоялась и «социализм в одной стране» пошел «на выучку» к «загнивающему капитализму». Правда, как известно из документов, Ленин, прежде чем признать банкротство обеих вождельных утопий: «построения социализма» и развязки «мировой революции», — попытался, явно на этот раз авантюристически, сделать фантастическое реальным: совершить «мировую революцию» штыками Красной Армии. Под лозунгом «германский молот и русский серп победят весь мир» Ленин двинул Красную Армию во главе с Троцким, Сталиным, Смилгой, Егоровым, Тухачевским в поход против Европы с точно сформулированной военно-стратегической задачей на первом этапе: «Даешь Варшаву! Даешь Берлин!» Когда на подступах к Варшаве Пилсудский разбил Красную Армию, поляки спасли Европу, а Ленину задали предметный урок: от мифа «мировой революции» надо отказаться если не навечно, то надолго. Более того. В мощном контрнаступлении польская армия перешла советские границы и продиктовала советской России унижительный мир: 18 марта 1921 года был заключен Рижский мирный договор между Россией, Украиной и Польшей, согласно которому Россия уступила Польше Западную Украину и Западную Белоруссию да еще заплатила ей контрибуцию в сумме 30 миллионов золотых рублей. Последовавшие затем события в Кронштадте избавили Ленина и от мифа о социализме, если не надолго, то хотя бы на время.

Величие политических деятелей меряют не по их звонким лозунгам и торжественным деклара-

циям, а по результатам их действий. Одни государственные деятели завоевывают бессмертие своими благотворными делами во имя человека и человечности, другие утверждают свое бессмертие в истории злодеяниями, но только в том случае, если эти злодеяния уникальны. По странности психологии человека имена сеятелей добра постепенно исчезают из его памяти, но имена великих злодеев остаются навсегда. В этом ряду имя Сталина бессмертно. Как оценит история основоположника античеловеческой тоталитарной системы Ленина, вопрос сложный, ибо хотя Ленин по жестокости из той же породы, что и Сталин, но Ленин не уголовник — он революционер, ослепленный утопией социализма.

Рассуждая в правовых категориях, ответственность Ленина за эпохальное несчастье России первична, Сталина — вторична. Благое намерение осчастливить страну на костях ее активного политического меньшинства и духовно-интеллектуальной элиты, как это делал Ленин в России, уже само по себе преступно и не может быть оправдано никаким «социалистическим раем» для уцелевших. Однако главную морально-политическую и уголовно-правовую ответственность Ленина перед народами бывшей Российской империи я вижу в другом: Ленин изобрел как раз тот тоталитарный механизм государственной власти, пользуясь которым его наследники увековечили физический и духовный террор и почти на целый век выключили Россию из семьи цивилизованных и процветающих государств...



Из истории русской общественной мысли

ПОЛЮСА ЕВРАЗИЙСТВА

Л. П. Карсавин (1882—1952), Г. В. Флоровский (1893—1979)

Евразийство основали объединившиеся «на некотором общем настроении и мироощущении» весьма разные по подходам и научным интересам люди: философ и богослов Г. В. Флоровский, лингвист и культуролог Н. С. Трубецкой, географ и политолог П. Н. Савицкий, музыковед и публицист П. П. Сувчинский. Кроме общего настроения и мироощущения их, пожалуй, объединяло еще одно качество, чрезвычайно характерное для этого выбитого поколения деятелей русской культуры, еще успевших получить образование и сформироваться как личности в старой России, но как профессионалы вынужденных работать уже в совершенно иных условиях. Это качество — необычайная широта культурных интересов и внушительный масштаб личности. О характере этого поколения, а значит, и об удивительном воспитывающем потенциале «канунной» русской культуры мы можем судить по тем немногим, оставшимся несломленными, как, например, А. Ф. Лосев и М. М. Бахтин или Н. И. Вавилов и Н. Д. Кондратьев. К этому же поколению принадлежат и величайшие наши поэты XX века, правда, в отличие от ученых уже успевшие заявить о себе в предреволюционные годы: это родившиеся в 1889—1892 годах А. Ахматова и Б. Пастернак, М. Цветаева и О. Мандельштам. А о том, какие личности (и сколько) сгорели в пожаре гражданской войны и террора, мы можем только гадать, так же как и о том, что быть могло, но не возмогло.

Объединившиеся в первом своем сборнике «Исход к Востоку» (1921) молодые ученые видели свою цель в нащупывании и прокладывании путей для некоторого нового направления, которое они обозначили, «может быть, не очень удачным, но бьющим в глаза» термином «евразийство». Собственно евразийцем, по признанию Г. Флоровского, можно было считать тогда только П. Савицкого (кстати, несомненно повлиявшего на формирование взглядов Л. Н. Гумилева, с которым он в начале 50-х годов сидел в мордовских лагерях), общее же настроение, пронизывающее это и последующие евразийские издания, можно характеризовать как антизападничество. «Ни с кого не желая снимать... ответственности, — резко сформулировал эту позицию П. Савицкий, — евразийцы в то же время понимают, что сущность, которая Россией... была воспринята и последовательно проведена в жизнь, в своем историческом, духовном происхождении не есть сущность русская. Коммунистический шабаш наступил в России как завершение более чем двухсотлетнего периода „европеизации“². Если сменовеховцы, обнаружив логическую связь коммунистической идеологии с господствовавшим до революции умонастроением русской интеллигенции, сделали вывод о необходимости признать практику большевизма, то евразийцы, напротив, сделали из наличия этой связи вывод о глубокой порочности господствовавшего интеллигентского умонастроения, указав на корни его в западничестве. Западничество, по мнению евразийцев, — такая идеологическая установка, которая побуждает видеть в Европе лишь плоды цивилизации и не обращать внимания на скрывающиеся за ними творческие процессы. Это побуждает учиться не творчеству, не искусству оформления органических содержаний, но подражанию готовым формам, а значит, и их фетишизации, что ведет к атрофии творческих потенций, деградации культуры и всплеску утопических настроений.

Из всех евразийцев Г. Флоровский больше всего сделал для выяснения философских основ утопизма (идя здесь вслед за своим любимым другом и учителем П. И. Новгородцевым) и показал,

Составление А. В. СОБОЛЕВА и И. А. САВКИНА. Вступительная статья А. В. СОБОЛЕВА. Комментарий Г. МАЖЕЙКИСА, И. А. САВКИНА, А. В. СОБОЛЕВА.

¹ «N. S. Trubetzkoy's letters and notes». The Hague — Paris. 1975, p. 21.

² «Евразийский Временник» (Берлин), 1925, № 4, стр. 16.

что такой основой является органическое мирозерцание, триумфальное шествие которого в Европе он видел прежде всего в мышлении романтиков и Гегеля. Дело здесь не в противопоставлении организма механизму, а в том, что дух понимается не как сверхприродный Абсолют, а как органически взаимосвязанное целое, развивающееся по собственным «природным» законам. Достаточно назвать этот дух Богом — и суть христианства разрушится, и путь к абсолютному будет пролегать только через слияние с посясторонним «цельм». Не борьба Бога и дьявола в сердцах людей, а борьба «нового» со «старым» станет определять ход истории. И как отдаленное следствие — проблемы истины, добра и красоты будут вытеснены проблемами политическими. Г. Флоровский всячески старался отвлечь евразийцев от бесплодной, по его мнению, захваченности текущей политикой, обратить их взор к миру культуры. «От грохота вселенской бури, — предупреждал он, — не подобает преждевременно и малодушно упадать в апокалиптический транс. Это еще не последние времена. Метафизическая буря бушует издревле, и чуткий слух во все времена и сроки слышит ее и сквозь пелену благополучия. Хронологический предел не любопытен для углубленного духа»³.

Но не каждому дано было сохранить взгляд на события с точки зрения вечности и не быть захваченным злобой дня. Тем более когда эта злоба ежедневно и ежечасно перемальвает твоих родных и близких, твою страну и культуру. Впав в отчаяние от утраты русской культурой волевого начала под воздействием идеологии европоцентризма, некоторые евразийцы вместо трудной и долгой работы по просветлению и укреплению религиозных основ русской культуры в видах будущего возрождения России принялись за сочинение идеологических систем, чтобы ими вооружить новых людей, выброшенных на поверхность революционными событиями. Этатизм и «органическое мирозерцание» и послужили тем полем, на котором начались уступки марксистской идеологии. Флоровский же уже в 1923 году увидел опасность мировоззренческого сдвига и разошелся с бывшими друзьями. Для его же собственного творчества евразийский период оказался чрезвычайно плодотворным. Именно тогда он продумал свои главные темы и предпринял пересмотр истории русской культуры в свете случившейся катастрофы. В этом смысле его фундаментальный труд «Пути русского богословия» (который Н. А. Бердяев считал более подходящим назвать «Беспутья русского богословия») является главным творческим итогом раннего евразийства.

К середине 20-х годов одним из главных идеологов евразийства становится Л. Карсавин. Его очень настойчиво вводил в евразийскую среду П. П. Сувчинский, преодолевая сопротивление Н. С. Трубецкого. «Все недостатки Карсавина, — уговаривал Трубецкого Сувчинский в апреле 1924 года, — я очень хорошо знаю. Но знаю и то, что в будущем придется еще страшно бороться с латинством. И в этом отношении он ни с кем не сравним. Мне кажется, что ради этой цели — можно многое «попустить»...»⁴. «Я думаю, — продолжал он настаивать в мае, — привлечь Карсавина т о л ь к о к а к с п е ц а...»⁵.

Несмотря на то, что Карсавина принимали небезоговорочно и только на роль высококвалифицированного исполнителя, он в глазах многих скоро превратился в главного выразителя духа евразийства. Это произошло потому, что переломилась ситуация.

В том самом апреле 1924 года, когда решался вопрос о подключении Карсавина к евразийству, началась активная работа по подключению самого евразийства к более могущественному «целому», и идеи «тотализации», «индивидуальности как момента симфонической личности», «индивидуальной личности как личности социальной», «воли народа» и т. п. оказались более ко двору.

Чекистская провокационная организация «Трест» начала внедряться в евразийство с помощью П. С. Арапова, личность которого может служить символом парижской ветви евразийства второй половины 20-х годов. (Позднее Арапов мученически погиб на Соловках.) П. Савицкий охарактеризовал его следующим образом: «Палка Арапова, с которой он не расставался, была в евразийской среде столь же общеизвестна, как и его улыбка (очень привлекательная, со скрытой жестокостью и цинизмом). В руках талантливого автора каким ярким героем романа мог бы стать Арапов — изысканный «аристократ», человек с несомненной склонностью к богословию и философии и несомненными чертами чекиста! «От патристики до чекистики» — вот лозунг, который относится к нему более чем к кому-либо другому»⁶. Летом 1924 года «Трест» организует Арапову «нелегальную» поездку в СССР, о которой он делает благоприятный доклад евразийцам и генералу А. П. Кутепову, а осенью того же года он привел к евразийцам гвардейца

³ Флоровский Г. В., «Метафизические предпосылки утопизма» («Путь» (Париж), 1926, № 4, стр. 31).

⁴ ЦГАОР, ф. 5783, оп. 1, ед. хр. 359, л. 81 об.

⁵ Там же, л. 84 об.

⁶ Там же, л. 107 об.

П. Н. Малевского-Малевича, получившего от богатого англичанина Г. Н. Сполдинга «в безответственное распоряжение на русское дело» 10 тысяч фунтов стерлингов (по тогдашнему курсу около 100 тысяч золотых рублей), и П. Н. Малевский-Малевич согласился тратить эти деньги на евразийское движение⁷.

Эти деньги, а также открывшиеся якобы возможности влиять на внутрirosсийские процессы, многих евразийцев ослепили, а других, догадывавшихся о реальном положении дел, соблазнили надеждой «переиграть» ГПУ. «Я думаю, что он, — писал, например, о П. Н. Савицком его прежний сотрудник, скрывшийся за инициалами А. Б., — не ошибается в своих российских сотрудниках, но он уверен в том, что не они, а он их проведет... Ему нужны штыки, которые поддержат его идеологию при крушении идеологии марксистов. Эти штыки он видит в руках беспринципной чекистской армии, которая сможет стать проводником евразийства... Сменить идеологию без смены лиц — вот к чему стремится столбовый кормчий корабля»⁸.

С ноября 1928 года в Париже на деньги, полученные П. Н. Малевским-Малевичем, начинает выходить газета «Евразия», от которой сразу же отшатнулись основоположники евразийства П. Н. Савицкий и Н. С. Трубецкой — настолько пробольшевистской, почти просталинской была эта газета. Еще в сентябре 1925 года ничего не подозревавший о связях с ГПУ Н. С. Трубецкой писал П. П. Сувчинскому и П. Н. Савицкому о глубоком неблагополучии в евразийском движении. «Меня просто пугает, что с нами происходит. Я чувствую, что мы забрались в трясины, которая с каждым шагом всасывает нас все больше и больше. О чем мы переписываемся? О чем говорим? О чем думаем? — только о политике. Надо назвать вещи своими именами: мы становимся политиканами и живем под знаком примата политики. Это — смерть»⁹. Карсавин же стал главным идеологом газеты «Евразия», в которой, по сообщению сначала включенного в ее редакцию, но быстро порвавшего с ней К. А. Чхеидзе, «евразийство рассматривалось как особый вид марксистского ревизионизма»¹⁰.

«Если можно определить демократическое умонастроение одним словом, — пишет, например, Л. Карсавин, — то, пожалуй, не найдешь лучшего термина, чем *н е к р о ф л и я* (труполобие)»¹¹. Важно подчеркнуть одно: сотрудничество в газете «Евразия» не стало случайным эпизодом в творчестве Л. Карсавина. Никаких серьезных философских и мировоззренческих сдвигов в этот период у него не произошло. Еще в июле 1925 года Л. Карсавин говорил С. Франку «в озорническом тоне», что «нужно посменовеховствовать»¹², и, несмотря на вслэские уговоры последнего не делать этого, «посменовеховствовал». В газете он защищает «органическое мирозерцание», восклицает, что «нечего бояться обвинения в утопизме»¹³, и, демонстрируя свои гегельянские корни, утверждает, что коммунисты «сильны практически — как бессознательные орудия и активные носители Хитрого Духа истории»¹⁴.

В 1929 году Л. Карсавин издал в Каунасе свою основную метафизическую работу «О личности», но Н. О. Лосский справедливо указал на подспудный карсавинский антиперсонализм, отметив, что «любая из личностей» в учении Карсавина «является одним и тем же всеединством» и что «у него нет концепции истинной вечной индивидуальной уникальности как абсолютной ценности»¹⁵.

Метафизика всеединства, составляющая основное русло русской философской традиции, начиная с Вл. Соловьева, на примере Л. Карсавина обнаружила свою явную нестойкость в отношении соблазнов утопизма, этатизма и антиперсонализма. Большая часть критики «евразийского соблазна», содержащаяся в публикуемой статье Г. Флоровского, относится и к мировоззрению Л. Карсавина. Позднее Г. Флоровский очень глубоко заметил, что «основной недуг русского «Ренессанса» — деперсонализация человека и фетишизм «сводных понятий»...»¹⁶. Жизнь сама проанализировала построения Л. Карсавина и Г. Флоровского, развела этих выдающихся мыслителей по разным полюсам евразийского движения, в котором они оба участвовали, и показала, где лежит сокровище каждого из них. Это движение оказалось прекрасным полигоном для испытания мировоззрений.

⁷ ЦГАОР, ф. 5783, оп. 1, ед. хр. 359, л. 94.

⁸ А. Б., «Евразийцы и Трест» («Возрождение» (Париж), 1953, № 30, стр. 126).

⁹ ЦГАОР, ф. 5783, оп. 1, ед. хр. 390, л. 26.

¹⁰ Там же, ед. хр. 310, л. 5.

¹¹ «Евразия» (Париж), 30 марта 1929 года.

¹² ЦГАОР, ф. 5783, оп. 1, ед. хр. 362, л. 10 об.

¹³ «Евразия» (Париж), 16 февраля 1929 года.

¹⁴ Там же, 30 марта 1929 года.

¹⁵ Лосский Н. О. История русской философии. М. 1925, стр. 317.

¹⁶ Флоровский Г. В., «Письмо к Ю. Иваску от 24 февраля 1972 г.» («Вестник РХД» (Париж), 1979, № 130, стр. 52).

Л. П. КАРСАВИН

*

ГОСУДАРСТВО И КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ

I

Территория, власть и население — таковы три основных элемента государства, которые давно уже установлены учеными. Чтобы уберечься с самого начала от материалистических предположений, будем называть их не элементами, а м о м е н т а м и. Действительно, они не составляют государства таким же образом, как элементы составляют физическое тело, но по сути являются феноменами единого государства. Не может быть государства без территории, как утверждают правоведы — теоретики государства. И это правда; но, однако, не вся. Конкретная территория — это не только некоторая площадь земли, абстрактная поверхность, но и определенные свойства этой земли, конкретный и живой край со своей растительностью и животным миром; то есть, по существу, географический индивид. Немцы даже придумали особый термин — *Landschaft*, чтобы как-то выразить специфичность этого географического индивида. Ландшафт не просто сумма климата, геологического рельефа, рек, особенностей почвы, животного и растительного мира, жителей, — он есть многоединство всех этих моментов, настоящий индивид. Для географов даже человеческая история не обособлена от ландшафта, и, таким образом, он сам становится исторической единицей, историческим индивидом, объектом геополитики и исторической географии.

Особенности края согласуются с образом жизни населяющих его людей. Нельзя понять народного характера англичан, не обращая внимания на то, что они с давних времен живут на острове. Море оберегает их от неожиданных нападений, море и относительно небольшие размеры их острова заставляют население торговать, заниматься мореплаванием. Все гимназические учебники согласно указывают на то, какое важное значение для истории древних греков имели горы, побережья их полуострова, острова Эгейского моря и т. п. Многие из историков считают своим долгом выяснять географические причины исторических событий, подчеркивают влияние географических условий на характер народа и его историю. Другие же выдвигают на первый план характер занятий, то, как народ преобразует свой край. Так, утверждается, что именно географические обстоятельства заставили жителей Месопотамии объединиться в деспотическое государство. С другой стороны, голландцы, твердя свою старую поговорку: «Бог создал море, голландец — его берега», кажется, говорят правду. Да и греки были хорошими моряками не потому, что жили в Греции, а, возможно, потому, что они от природы были хорошими моряками: путешествовали по земле, пока не нашли для себя подходящий полуостров и не остались жить в Греции.

Ибо, по моему мнению, в сфере истории и социологии поиски причин не являются собственно научным предпринятием; тем более что без экспериментов, точного измерения и математики невозможно достоверно установить причины, а материал упомянутых выше наук и вовсе не из области математики, и только одни большевики пытаются экспериментировать в социологии. Для истории и социологии понятие причины имеет лишь второстепенное, вспомогательное значение. Поэтому многие географы не затрудняют себя вопросами, что здесь является причиной, а что следствием, а говорят о к о н в е р г е н ц и и этих моментов. Это означает, что определенному краю соответствует определенный характер народа, определенный социально-политический строй; конечно, возможно и наоборот.

И край (территорию), и жителей этого края (народ), и их социально-политический строй (власть) я считаю моментами, или явлениями, одного индивида, одной сущности, но только в том смысле, что наряду с ними или отдельно от них этот индивид не существует: только в них он способен проявляться и только ими он актуализируется. Можно говорить также о теле народа. И действительно, чем является мое, то есть некоторого индивида, тело, мой биологический организм? Безусловно, он — рождающаяся во времени и пространстве, растущая и умирающая единица. Она постоянно растет, вбирая в себя частицы подобных ему организмов, общий нам всем (жителям данного края) воздух, плоды земли — словом, всякое Божье творение, — перерабатывает их и превращает в себя. И она же постоянно умирает, отдавая свои собственные частицы земле, воздуху, животным и людям. Мы дышим не только воздухом, но и частицами других организмов. В некотором смысле мы все являемся людоедами и каннибалами. Мой биологический организм — это конкретный процесс, конкретное мое общение с другими организмами и с природой. Он не только «я», которое сейчас пишет, но также и я — ребенок, которым уже не являюсь, и я — старик,

которым, слава Богу, еще не являюсь. Он обладает многими моментами и выступает как множественное их единство. Он существует не только в данный момент времени, но также присутствует во всех своих моментах, и все они находятся в нем. Таким же организмом (только сверхиндивидуальным) является и живущий в этом крае народ. Он обладает своим телом, а значит, всеми телами соотечественников, которые некоторым образом биологически общаются друг с другом. Это тело народа нельзя отделить от общего для нас всех воздуха, общей для нас всех земли, в которую превратились наши уже умершие тела и которой мы сами скоро станем.

Естественно, народ возникает из общего корня, общей крови. Только не надо по-гитлеровски этого преувеличивать, как бы это ни соблазняло в горячке националистов *Rassentheorie*. Но упомянутые общие обстоятельства жизни народа имеют еще большее значение. Поселившиеся в Америке эмигранты — англичане, скандинавы, немцы, выходцы из других стран — соединились друг с другом и даже с природой Америки и стали совершенно новым народом совершенно нового этнологического типа. Не все это замечают, так как мы привыкли примитивно думать и считать нациями-народами только те народы, происхождение которых стало нам уже неизвестно. В действительности же все народы рождались, росли, как американский, и потому уже не существует ни чистых рас (то есть одного происхождения), ни чистых народов. Народ является творением и фактом истории. Он опирается на общность происхождения, общность населяемого им края, общность языка и — в первую очередь — на свою творимую культуру и историю. Власть, родившаяся из народа или ставшая народной, способна управлять им, организует его. Такая власть столь же соответствует народу и краю, как и край соответствует народу. Без власти не может проявляться ни воля народа, ни его самосознание. И не случайно многие теории государства (за исключением так называемой органической) заняты только объяснением происхождения власти.

Уже древние философы стали сравнивать государство с биологическим организмом. Платон начертал органическую теорию государства; его ученик, а отчасти и противник, Аристотель своим известным определением человека придал ей некоторые черты индивидуалистичности: человек — *zoon politicon*, политическое (с другими людьми общающееся и создающее государство), государственным образом живущее существо¹. В XV веке англичанин Фортескью, а в XIX — Шефле, Спенсер, Рене Вормс² и другие возродили органическую теорию государства. Она опирается на факты, выше уже изложенные нами, и до сих пор остается гораздо более популярной, нежели порой кажется. Действительно, какой-нибудь известный публицист мог не слышать о ней ни слова и тем не менее употреблять понятия-метафоры органической теории: писать о болезнях государства, его возрождении и смерти, об органических законах и органическом росте государства, государственным клетками называть индивидов и социальные группы и т. д. При этом, однако, многие считают подобные изречения (фактически неизбежные) лишь красивыми метафорами, а указанные теоретики государства понимали развиваемую ими органическую теорию слишком формально, схоластически — в самом плохом значении этого слова. И неудивительно поэтому, что они наговорили много всяких благоглупостей. Например, одни совершенно серьезно называли государственные учреждения его нервами, а другие с еще более серьезным видом доказывали, что нервами государства являются его железнодорожные пути. Блончли³ говорил, что государство — это организм мужского пола, а церковь женского. Совершенно естественно, что критики еще более невежественные, чем эти теоретики, стали разрушать подобными же аргументами саму органическую теорию. — Как же может быть государство биологическим организмом, если такие организмы, как, например, люди, женятся и выходят замуж, а на свадьбе государств никто еще и рюмки не опрокинул? Кому, говорят, известны дети обречившихся государств? Нос человека только в рассказе Гоголя отдельно от тела путешествует, а богатый литовец может и без всего этого свободно повеселиться в Париже.

Представители органической теории точно и красиво выразили ту мысль, что государство является некоторым многоединством, актуализирующейся единицей, осуществляемой во множественности индивидов; она обладает и биологической стороной, существует как непосредственно сросшаяся с краем и этим краем не менее, чем людьми, обнаруживается. Однако биологическая жизнь — лишь один необходимый, но далеко не самый важный способ проявления государства. Сам человек живет не только телесными, но и духовными деяниями, и самосознание для него важнее, нежели иные физические органы. Кроме того, хотя аналогии помогают понять изучаемую проблему, будят ум, но сами по себе ничего не доказывают. Теоретики, используя ребяческие аналогии, забыли, что их необходимо пояснить и доказать. Не хочется их, и так уже слишком критикуемых, чересчур за это обвинять: индивидуалистическое мировоззрение XVII—XX веков было неблагоприятной почвой для органической, универалистской теории. Выясняя причины ее неудачи, мы сталкиваемся с самой сутью кризиса европейской культуры — европейским индивидуализмом.

До сих пор, однако, господствующее философское мировоззрение единственно подлинной, несомненной реальностью считает сознание индивида, индивидуальное «я» человека. Можно, мол, сомневаться, существует ли объективный мир (Бог, природа, другие люди, даже мое тело): такое уж скандальное бытие у философа, он не может доказать даже существования собственного тела. Но нельзя сомневаться в том, что я действительно мыслю, чувствую, существую: *cogito, ergo sum*. Конечно, не для каждого мыслителя важен этот гносеологический вопрос. Часто и среди мыслителей есть здравомыслящие люди; они на практике не сомневаются в существовании мира и других людей. Тем не менее индивидуалистическая гносеология по сути соответствует воззрениям и многих современных философов, социологов, историков и т. п. А эти воззрения, в свою очередь, соответствуют современному образу жизни и деятельности с их эгоизмом, с тем, что каждому в первую очередь важны свои собственные дела, с тем, что возникли партии, которые отказываются даже от собственной родины, с тем, что люди ради эгоистических целей своей партии, класса, социальной группы волей-неволей разрушают государство; наконец, соответствуют тому, что в упадок приходит само государство и даже семья.

Индивидуалист может еще отчасти верить, что существуют другие люди; но государство, социальная группа и даже семья для него не что иное, как сумма, агрегат, скопление похожих друг на друга индивидов. Он не признает никакого сверхиндивидуального самосознания и воли (самосознания и воли семьи, социальной группы, народа), так как, по его мнению, государство-народ, социальная группа, семья являются только суммой составляющих их индивидов. Очевидно, что общество, представляемое таким образом, похоже на физический мир в представлениях атомистического материализма. Новоевропейский индивидуализм почти полностью соответствует новоевропейскому же материализму.

Но откуда тогда появилась государственная власть? То есть почему общество (агрегат или сумма индивидов) разделилось на две группы: управляющих и управляемых? Почему одни приказывают, другие слушаются? Индивидуалист отвечает на подобный вопрос двумя теориями: силы и договора. Первая утверждает, что, мол, правящая группа либо сама захватила территории, обжитые народом, либо унаследовала их от тех землевладельцев, которые стали господами еще в древности, то есть в любом случае эти люди насильно завладели землями и капиталом и стали поэтому богачами. Таков первый ответ — со стороны теорий силы (патримониальная, патриархальная теория Маркса). Все они пытались выяснить, каким образом возник руководящий государственный слой и какова его история, но мало обращали внимания на то, что власть является сущностным моментом упорядоченного (неанархического) общества или государства и что без нее не было и не может быть государства. Теории силы не выяснили и того, почему все (не только правящие, но и те, кем правят) признают сам п р и н ц и п власти, мало того — власть уважают, почитают и даже обожествляют, считают ее сверхиндивидуальной вещью. Все это не выдумки правителей или священников, но факт социальной психики (его неплохо описал, правда объясняя с индивидуалистических позиций, юрист Петражицкий⁴) — некоторая инстинктивная идеология власти, которая живет в каждом человеке, хотя и не всегда ясно сознается. Идея власти не исчезает даже во время революции, хотя ее форма извращается анархией, своеобразной борьбой всех за власть, которую более точно можно назвать панархией. Апостол Павел прекрасно определил значение абсолютной, надэмпирической идеи власти: «...нет власти, как только от Бога, которые же есть, Богом установлены»⁵. Такое понимание было выдвинуто представителями так называемой т е о к р а т и ч е с к о й теории. Поставил ли Бог первых властителей, устанавливает ли таинственно новых — это совершенно не важно. Несомненен объективный факт, что все нормальные люди инстинктивно признают значение сверх-индивидуальной и надэмпирической абсолютной (а значит, и религиозной) власти; факт, объяснить который не может теория силы, но который теократическая теория объясняет, хотя и односторонне, догматически. Ибо общество употребляется только со становлением государственности, а государство без власти быть не может. Это имманентный закон социального индивида: не существует устроенного общества без власти, человека — без такого общества, а без человека не существует и самого мира. И если действительно Бог сотворил мир, то человеческий инстинкт государственности — идея власти — соответствует воле самого Бога.

Однако этот инстинкт и все упомянутые теории не во всем согласуются с индивидуалистическим мировоззрением. Индивидуалист считает всех людей равными, совершенно похожими друг на друга, как один атом материи похож на другой. Индивидуалист не желает быть порабощенным, стараясь хотя бы в теории защитить свою индивидуальную свободу. Не в состоянии поработить других и не желая превосходства их над собой, он предпочитает равенство. Индивидуалистическая философия XVIII века провозгласила идеал свободы и равенства — *liberté et égalité*; и люди, вынужденные отказаться от самой свободы, не пожелали отказаться от и д е и свободы и от равенства. Наполеон, законный сын Великой революции, считал, что свобода была возможна только в годы революции, в то время, когда все желали только равенства: *la liberté est un pretexte*.

L'egalite voila votre marotte*; а у известных историков революции Токвиля и Тэна⁶ эта мысль лежала в основе объяснения революции. Идеал равенства заставил наиболее последовательных сторонников идеала индивидуалистической демократии превратить его в социалистический (политическое равенство дополнить экономическим) и наконец совершенно отказаться от свободы — коммунизм. Я не склонен к пренебрежению идеалами равенства и свободы; наоборот, сейчас, во время господства фашистских настроений, их-то как раз и нужно защищать. Только надо понимать их без сентиментальной идиллии (не говорить о не осуществимом на земле братстве — fraternité) и без индивидуализма, так как нельзя понять природу свободы и равенства до тех пор, пока считаешь индивида единственной реальностью.

Философы-социологи, являясь горячими сторонниками свободы и равенства, создали теорию договора еще более индивидуалистическую, чем все вышеупомянутые. Они искренно верили, что общество есть не что иное, как агрегат всех индивидов, и тем не менее полагали, что общества без власти быть не может и что все (или почти все) с этим согласны, признают это и уважают власть. Такой момент с о г л а с и я (договора) и был положен в основание теории. Представьте себе, говорили ее приверженцы, общество без власти. Такое общество просто не смогло бы существовать, так как сразу началась бы война всех против всех, то есть анархия, и общество разрушилось бы. Но как смогли бы индивиды преодолеть анархию? — Несомненно, они начали бы переговоры и наконец договорились, установив, что может делать индивид, а что нет. Все вместе обуздали бы каждого, уменьшив его возможности, но зато защитили бы установленные его права. Таким образом, все индивиды были бы равны, а их договор (общая воля — *volonté générale*) защищал бы всех и каждого из них от анархии. Все индивиды (= народ), собравшись и договорившись, конечно, смогли бы все свои права передать одному человеку, государю (так оправдывал абсолютную монархию Гоббс⁷). Народ также мог бы, организуя власть, оставить себе (каждому гражданину) некоторые права, даже объявить их неприкосновенными (так размышлял Локк, излагая теорию конституционной монархии, а после него — создатели «Декларации Прав» в Америке и во Франции), или народ мог бы через всеобщее собрание править собою сам и назначать на государственную деятельность уполномоченных, полностью зависимых от этого собрания (демократическая теория Руссо).

Самые известные сторонники теории договора даже не пытались объяснить, как в действительности появилась власть и образовалось государство; они не интересовались вопросами истории. Исторические образы были для них только метафорами, только средствами для более простого и краткого изложения социологической теории. Потому-то и нет смысла побивать, как это делается и по сю пору, их теории историческими аргументами, ибо такие аргументы не затрагивают сути этих теорий и только мешают понять и оценить их. Как подчеркивает теория договора, власть опирается не только на силу, но и на авторитет; не только на волю представителей, но и на волю подчиненных (на их одобрение и согласие), то есть власть является к о н с т и т у т и в н ы м моментом государства и должна осуществлять, и некоторым образом осуществляет, идеалы и волю всех. По Канту, договор является не историческим фактом, а р е г у л я т и в н о й идеей. Только опираясь на эту идею, следует создавать, преобразовывать и оценивать государство. Также и Руссо своей теорией пытался показать, каким именно образом согласуются государство и право. Потом историческую метафору договора никто больше не употреблял, но главные его идеи все еще лежат в основании идеологии демократического государства.

Теория договора справедливо указала на субъективную сторону идеи власти, ту, которая предполагает признание власти ее подданными, но снизила объективную. В сущности, эта теория является индивидуалистической и стремится объяснить возникновение власти из самого индивида. Но воля всех индивидов-атомов не может и не должна быть больше воли каждого из них, так как все они равны и имеют одну и ту же цель (собственное благополучие). Сколько ни умножай единицу на единицу — единицу и получишь. Согласно индивидуалистической теории договора «общая воля» должна быть равна воле каждого индивида. Но это уже не согласуется с объективными фактами, заставляет считать государственную власть послушной рабой всех, «ночным сторожем»; таким образом, власть не только ослабляется, но даже разрушается. Как же тогда, опираясь на теорию договора, можно организовать государство? И как будет выглядеть такое демократическое государство?

Необходимо при этом различать идеальное, воображаемое демократическое государство и конкретное, или так называемую реальную демократию; такое государство не является полностью демократическим, а только стремится к идеалу демократии, но считает себя при этом истинно демократическим. Тем не менее реальные демократические государства, не совпадая с идеалами демократии, раскрывают и хорошие и плохие их стороны. Имеются в виду государства, а именно

* Свобода лишь предлог Ваш конек равенство (франц.). (Прим. ред.)

Америка и Франция, которые идеологи демократии строили и перестраивали в большей мере, нежели другие страны. Для нашего рассмотрения важнее Франция, которая и до сих пор возглавляет европейскую культуру. Ее мы и будем иметь в виду при рассмотрении строя демократического государства, даже если будем рассматривать не конкретную форму правления, а только сами демократические принципы.

Воля народа (демоса), общества, всех индивидов является источником конститутивного момента государственной власти. Значит, собрание народа (всех индивидов) есть высший орган демократического государства. Но ясно, что все 40—70—150 миллионов граждан, собравшись, не могут решать важные государственные дела. Очевидно, что в таком случае необходимо уменьшить права всего «народа» и каждого индивида. Кроме неприкосновенных прав, которые всеми признаны, индивиду и всему «народу» осталось одно право — выбирать представителей, которые от имени всего народа будут править государством. Конечно, даже и такое малое право — предмет большого желания, но где же тут кроется знаменитая воля демоса? Это единственное право «народа» часто превращается в иллюзию. Демократы требуют, чтобы «народ» (все его индивиды) выбирал своих представителей прямым голосованием. Понятно, что, выбирая даже своего хорошего знакомого, я не могу знать, выберет ли он при непрямом голосовании нужного представителя, тем более выберет ли в свою очередь последний такого представителя. Вообще избиратели мало знают, кого они выбирают и как избранный будет руководить страной. Действительно, хотя и не весь «народ» собирается выбирать представителей, избирательные округа должны быть относительно большими. А из 100 тысяч людей, само собой разумеется, не все могут знать, какого человека они выбирают и насколько можно верить его прекрасным обещаниям. Выборы были бы невозможны, если бы «народу» не помогли выбрать представителей партии со своими программами и известными руководителями. Таким вождям и программам партий избиратели доверяют. Однако на деле, вместо того чтобы выбрать человека, они выбирают фамилию среди других фамилий, значащуюся в списке кандидатов, то есть мертвую бумажку. Кроме того, партии стараются обогнать друг друга по части всяких обещаний и предлагают всегда больше, чем могут да и хотят выполнить, так как их опытные руководители хорошо знают, что сопротивление других партий освободит их от обязанности выполнять свои обещания. Избиратель может узнать то, к чему партия стремится, но никогда не знает, чего она в итоге достигнет. Не может он знать и самого важного: как люди, рекомендованные популярными руководителями для избрания, да и сами эти руководители, — как они будут решать вопросы, не предусмотренные и не предусматриваемые партийными программами, но имеющие решающее значение для всего народа, например — воевать или нет.

Иначе говоря, и в демократическом государстве весь народ страной не правит: он только выбирает из предлагаемых ему кандидатур и подчиняет себя в итоге неизвестным людям, подчиняет до новых выборов, значит, на несколько лет. Несомненно, что новые выборы являются некоторым образом средством контроля над действительными руководителями государства; это, конечно, большое преимущество демократии, настолько большое, что ради него, несмотря на все недостатки демократии, французские патриоты не желают с ней расстаться, заменив ее фашистским или коммунистическим режимами, которые не признают такого контроля и попирают всякую свободу индивида. Однако надо 잊аться еще от многих и многих ошибок в деятельности парламента и других недостатков в государственном устройстве, чтобы избиратели могли бы по-настоящему оценить своих избираемых и переизбираемых кандидатов. Поэтому в так называемом демократическом государстве правит не «народ» (= сумма избирателей) — не его воля, это иллюзия, — а собрание представителей (парламент), а также партии, которые организуют выборы, и сам парламент, то есть некоторый правящий слой. К последнему принадлежат и бюрократия, и так называемые политические деятели — адвокаты, газетчики, которые прикидываются голосом народа, — и профессоры.

Но правит ли парламент, это собрание нескольких сотен людей, демократическим государством? На первый взгляд кажется, что да, правит, ведь он и законы принимает, и правительства (а во Франции даже президента) выбирает и отстраняет, и даже свергает президента, правда редко и в нарушение собственных законов. Лучше всех по этому поводу сказал римский император Калигула: *senatores optimi viri, senatus mala bestia**. Действительно, что может решить пускай даже стоголовый дракон, не имея ни одной нормальной головы? Русские говорят: сколько голов, столько умов, — и ошибаются, голов намного больше. Несомненно, что, становясь членом большого собрания, человек перестает самостоятельно мыслить: чем многочисленнее собрание, тем больше его участники зависимы. Большое собрание способно шуметь и голосовать, но оно не в состоянии управлять страной. Реально ею управляет, если управляет, кабинет министров, который и предлагает парламенту проекты законов, а потом сам же их исполняет. Тем не менее и члены парламента были бы не

* Сенаторы — добрые мужи, сенат же — дурной зверь (*лат.*).

в состоянии исполнять даже малейшие обязанности, если бы не обладали некоторой организацией. Парламент организуют те же самые партии, которые организуют и выборы. Партии же заранее свои действия друг с другом не согласовывают: всем управляет стихийный процесс — борьба партий, расстановка сил. Однако партии не только организуют парламент, но своей борьбой в парламенте и его перевыборами «именем народа»... дезорганизуют этот парламент и ослабляют.

Наконец, управляет ли государством кабинет министров? Сомневаюсь. Во-первых, кабинет министров выбирается и отстраняется парламентом, поэтому полностью зависит от борьбы партий и их взаимоотношений. С другой стороны, он зависит от бюрократии исполнительного аппарата, ибо многие в нем мало компетентны в своих министерских делах. Они предлагают парламенту законы для голосования, которые пишутся и потом приводятся в исполнение (и «исправляются») постоянными, но перед парламентом не ответственными помощниками министров. Бюрократия, это действительно ядро демократического государства, сама не являясь демократичной.

Одним словом, демократическое государство анархично. Совершенно не управляет страной «народ» (демос); почти не управляет парламент, немного управляет кабинет министров, а более всего — бюрократия, единственный постоянный элемент власти. Возникает вопрос: да как оно еще может существовать, такое государство? Почему же оно до сих пор не только не разрушилось, но и от «рогатых немцев» защитилось? Видимо, не такое уж оно демократическое, и демократические формы его не соответствуют его действительному политическому устройству. Оно живо как раз тем, что в нем не демократично, — прежде всего своей бюрократией и, конечно, армией. Как и все теории государства, теория демократического договора не отражает действительности, а если и отражает, то односторонне, указывая только на один, хотя и весьма важный, момент государственной жизни — значение индивида, его прав, свободы и инициативы. Кризис демократического государства заключается в том, что последовательно осуществляемая демократия неизбежно превращается в анархию, этот спелый плод индивидуализма.

Слово «демократия» означает власть народа. Ясно, что демократическое государство неправомерно присвоило себе это имя, так как оно сделало все, чтобы именно народ власти не имел, мало того — оно даже не поняло, что есть этот народ. Я считаю, что каждое государство постольку живо и здорово, поскольку демократично и в сути своей есть демократия. Идеалом государства является демократический строй, но так называемое демократическое государство — лишь одна из форм государства, воплотившая этот идеал не в большей степени.

II

Нельзя понять, что есть государство, не выяснив, что такое народ и индивид.

Прежде всего — мое индивидуальное «я» является не абстрактным, а конкретным единством множества собственных моментов. Я мыслю, мое мышление есть я сам, я это свое мышление замечаю и я же чувствую в то самое время и многое другое, что также совпадает с моим «я». Я — это каждый момент в отдельности (мышление, наблюдение, чувства...) и все они вместе, хотя каждый момент как таковой и отличен от других. Если бы не было моментов, не было бы и самого моего «я», потому что только своими моментами оно живет, обнаруживается и актуализируется. Самые большие ошибки метафизиков определялись именно тем, что они представляли себе абстрактное, отличное от своих моментов «я». Они не видели или не хотели видеть, что такое «я» невозможно где-либо наблюдать, ведь наше «я» есть конкретное единство своих моментов, многоединство.

Я познаю временные вещи и само время только потому, что есть сущее прошлого, настоящего и будущего, некое всевременное сущее. Именно в себе, в своем настоящем я обладаю той самой маленькой минуткой — последним моментом прошлого и первым моментом будущего; мое прошлое уже не совсем реально и мною «забываемо», а мое будущее известно мне еще меньше. Но все это означает только одно: что я не являюсь совершенным сущим, что я сам существую не полностью. Для выяснения данного вопроса недостаточно просто описать наше сознание: необходимо углубиться и в философские проблемы. Но сейчас здесь я не могу и не хочу делать этого, так как уже не раз обсуждал эти проблемы (см. мою книгу «О личности», Каунас, 1929; а те, кто не желает довериться моим выводам, могут обратиться к совсем маленькой книжечке О. Spann «Kategorienlehre»⁸). Здесь же, догматически, без доказательств, утверждаю: человеческое «я» (сознание) есть, по сути, всевременное единство всего, однако, существуя на земле, оно является несовершенным и потенциальным; кроме того, это «я» есть еще и пространственное единство всего, на земле также несовершенное. Нет абстрактного духа, нет духа без тела, а тело моего «я», как уже было отчасти сказано, не совпадает ни с одним конкретным моментом его жизни, в том числе и с биологическим телом человека, которое есть только его центр.

Отражая и познавая объективный предмет, я познаю сам предмет, а не субъективный мой образ. Иначе должен был бы согласиться со скандальными выводами кантианцев о том, что будто

бы нельзя говорить, соответствуют ли образы объективным предметам и существуют ли вообще эти предметы, объективный мир на самом деле, или он только плод моего богатого воображения. Философствуя, я хочу избежать скандалов. Несомненно, что познаю саму вещь, которая не совпадает со мной; но в таком случае нельзя сомневаться и в том, что та вещь, которую я познаю, является и моим сознанием, его моментом (в этом Кант был прав). Настоящие листья дерева, которое я вижу, их шелест, форма дерева и т. д. есть мои чувства, моменты моего «я» и само мое «я»; но в то же самое время все это является и свойствами мною видимого дерева, есть само это дерево.

Таков основной факт знания: я и мною познаваемая вещь связываются, сливаются, соединяются, становятся общими, моими и предмета, «качествованиями». Подобный факт может объясняться только одной гипотезой: я и познаваемый предмет — в равной мере два явления, или момента, одного многоединства. С одной стороны, это единство проявляет себя объективным, неживым и бессознательным предметом, с другой стороны — мною, субъектом, познающим предмет, оживляющим наше общее единство. Если это так, то мое «я» менее индивидуально, нежели я его представлял. В таком случае оно является моим единством с познаваемым объектом, и такое единство обязательно должно быть «я», хотя и большее, чем мое индивидуальное, но которое проявляется, кроме меня, еще и как бессознательный предмет («не-я»).

Я, познавая другого человека, вступаю, соединяюсь с ним в некоторое единство, тем самым оживляя первичное, потенциальное наше единство. Большее «я» во мне проявляется только моим индивидуальным «я»; проявляется так, что то, что я познаю, имеет в себе некоторую опору, никоим образом от меня не зависящую, со мной не совпадающую, но являющуюся моим другим «я». Именно то, что сверхиндивидуально, я индивидуализую. И мы оба — я и другой человек — являемся двумя индивидуациями (друг от друга отличающимися и только отчасти связанными) большей личности, большего «я». Мы образуем, актуализируем одну социальную личность, проявляющуюся двумя способами. Только потому, что я составляю с другими людьми многоединство, большее, чем индивидуальная личность, единство, выступающее как социальная личность, я могу познавать их мысли так же, как свои собственные мысли, а их чувства — как свои чувства.

Мое «я» постоянно то увеличивается, то уменьшается. Оно есть индивидуация то многоединства двух, трех или многих людей — моей семьи, моего народа, всего человечества (например, во время размышлений); то моего маленького индивидуального «я». Действительная реальность не существует в форме индивидуального сознания, индивидуальной личности, как думают индивидуалисты, но есть личность социальная. Индивидуальная личность есть не что иное, как момент явления, индивидуация социальной личности, что, однако, не заставляет нас считать ее менее самостоятельной, свободной и, наконец, менее индивидуальной. Не происходит этого потому, что социальная личность обнаруживается, существует и актуализируется только своими моментами, то есть индивидами. Отдельно от индивидов, вне их, социальная личность не существует, а если и существует, то лишь как чистая потенция. Поэтому личность извне на индивидов не влияет, их воли не подчиняет и не связывает: ее воля — их воля и только как их воля актуализируется.

Существует много типов социальных личностей. Любая беседа двух людей свидетельствует о существовании социальной личности. Точнее говоря, только во время их общения она и рождается, при расставании же — умирает. Каждая взаимодействующая группа людей есть социальная личность, как, например, товарищество, учреждение, сейм. Существуют социальные личности только на одно мгновение, периодически проявляющиеся (сейм), относительно постоянные (семья, народ, государство, человечество). Все люди мыслят по одинаковым законам логики, которые обладают непреходящим, абсолютным значением, — потому что в каждом человеке, индивидуализируясь, мыслит само человечество. Каждый человек признает моральные принципы — потому что в каждом из нас индивидуализируется воля и идеалы всего человечества. Апостол Павел говорит: «Не я, но сам Христос говорит моими устами»⁹, — то есть воплотившийся, ставший человеком Бог. Люди, сплотившись в Церковь, уподобились Богу, настолько соединились с ним (хотя, конечно, не совпали), что через их мышление и волю стали проявляться самого Бога ум (Логос) и воля. Поэтому законы мышления (логики-Логоса) и нравственности обладают большим, абсолютным значением, нежели если б они были актом всего человечества.

Мать, желая спасти ребенка, жертвует своей жизнью. Неужели это акт ее индивидуального «я»? Как происходит то, что она жертвует именно своим индивидуальным «я» ради жизни другого «я» (ее ребенка)? Когда враги топчут мою землю, я, не жалея себя, бросаюсь на ее защиту. Но чья же в действительности эта реакция: моего индивидуального «я» (для которого, мысля логически, никакой народ не нужен) или самого народа, во мне индивидуализировавшегося? Думаю, что, признавая волю народа и его самосознание, никого своей философией не обманываю. Конечно, каждый фантазер вправе считать свою волю волей народа. И как раз сейчас так много глупостей говорится и делается от имени народа! Лжепророков куда больше, чем вестников правды.

Так или иначе — реально существует самосознание и воля народа (социальной личности), но

они проявляются только в мыслях индивидов, в их словах, письменности и действиях. Таким образом, моя кратко изложенная теория объединяет индивидуализм с универсализмом. Волю народа и его самосознание нельзя определить голосованием, нельзя потому уже, что важны не общие слова, а конкретные действия и мысли. Чтобы узнать дух народа, надо обратиться к великим народным писателям, поэтам, философам, гениям. Здесь не помогут ни анкеты, ни статистические методы. Для выражения своего мировоззрения народ рождает гения, которым осознаются не сформулированные до той поры представления и желания этого народа. Вспоминая своих великих сынов, народ познает сам себя, но каждый индивид познает свое народное «я» индивидуально, своеобразно; один только Бог в состоянии согласовать все аспекты индивидуальных и народных мировоззрений, познать всеединство. Мы, исследуя прошлое своего народа, его древние обычаи, его язык, соединяемся с ним, вбираем в себя другие его индивидуации и выявляем их каждый раз заново и по-новому. Так, в нас и нами, живет народ.

Именно история, язык, институты и обычаи связывают прошлое народа с его настоящим и будущим, актуализируют многоединство народа. Общность слов и выражений, общие обычаи и формы взаимоотношений между людьми реально связывают человека с его предками, и в этих взаимоотношениях живут снова и снова (в этом и состоит смысл институтов). Пусть человек ошибается, выражает какие-то свои, субъективные мнения, подражает иностранцам. Исторический процесс просеет его слова и деяния, оставит только то, что народно и для народа необходимо.

Народ должен не только познать самого себя, свои цели и задачи, но и воплотить их. Для воплощения воли народа необходимо согласие индивидов как многоединства; значит, необходимо, чтобы возникла власть и народ был организован, стал обществом — государством. Без власти не может быть ни воли народа, ни истории, ни ясного самосознания народа. И власть есть форма самосознания и воли народа. Интересно, что сам Руссо это понимал. Он различал общую волю (*volonté générale*) и волю всех (*volonté de tous*). Воля всех — это сумма всеиндивидуальных волей (желаний). В этом случае люди не могут друг с другом договориться, так как каждый стремится к своим эгоистическим целям. Но если при обсуждении некоторого вопроса каждый индивид будет обсуждать и решать его от имени всех, то они договорятся и решат вопрос единогласно. Это и есть общая воля. Конечно, в этом Руссо противоречил собственным индивидуалистическим взглядам.

Не только Руссо, но и самые ярые материалисты и индивидуалисты ощутили значение социальной группы как общественной клетки. Маркс и его последователи из индивидуалистической теории сделали все логические необходимые выводы: демократический идеал последовательно заменили социалистическим. Но клеткой общества (совершенно непоследовательно) был признан не индивид, а социальная группа, класс. Мало того: наиболее важным конститутивным моментом класса материалисты объявили классовое самосознание и классовое мировоззрение. Правда, при этом они исказили значение социальной группы, взяв за норму группу наиболее искусственную и наименее живую — класс фабричных рабочих¹⁰. Тем не менее им удалось преодолеть индивидуализм и тем самым привлечь к себе всех, кто ощущал значимость общественных, универсальных, сверхиндивидуальных моментов, хотя ввиду господства индивидуализма не мог достаточно ясно сформулировать собственные чувства. До последнего времени социалисты и марксисты защищали универсализм и боролись с мировоззрением демократического индивидуализма. Это и было одним из наиболее веских исторических оправданий их деятельности и движения.

После войны универсализм был представлен коммунистами и фашистами; однако и ими природа социальной группы была понята не лучше, чем марксистами. Как коммунисты, так и фашисты отказались от индивида во имя социальной группы как большей единицы, одни в пользу класса, другие — народа. Это относительно безобидная вещь по сравнению с крайним, эгоистическим, отрицающим общество индивидуализмом и даже с индивидуализмом демократических теорий. К несчастью, упомянутые идеологи отбросили все положительные моменты индивидуализма и недооценивают саму индивидуальность человека (практически — элементарную свободу индивида). По их мнению, индивид должен быть слепым и послушным орудием в руках вождя и идеологов, должен быть только экземпляром группы, совершенно похожим на другие точно такие же экземпляры, которых тем не менее продолжают называть индивидами. В этом отношении социалисты и фашисты более последовательные индивидуалисты, чем самые последовательные из демократов: они стремятся к абсолютному равенству индивидов, но культ общества заменяют культом вождя. Так крайности неожиданно сходятся — индивидуалисты признают только индивида, а социалисты и фашисты признают только общество, но индивидуалистически его объясняя. Такой универсализм нездоров, так как слишком абстрактен, он не замечает, что общество нельзя сводить ни к множественности индивидов, ни к их единству — оно есть многоединство.

Конкретная социальная группа состоит из многих индивидов, отличающихся друг от друга; они должны отличаться своими особыми чертами, своею личностью. Воля такой группы проявляется в совместной деятельности индивидов, в согласованности их индивидуальных действий;

только так социальная группа актуализируется, действительно живет и может быть признана актуальной социальной личностью. Действовать должна вся группа. С появлением необходимости таких действий обязательно найдется и их инициатор. Он первый скажет, что нужно делать и как нужно делать. Тогда все осознают свое желание действовать, как и то, что инициатор правильно, хотя бы и приблизительно, формулирует их стремления. Возможно, некоторые дополнят и поправят его предложение своими советами: несомненно, что каждый поймет это предложение по-своему и также по-своему начнет его исполнять. Возможно, кое-кто с удовольствием отказался бы от этой деятельности, но мнение и настроение других принуждает к ней, заражает общим энтузиазмом. После того как инициатор разбудил смутное желание всех, сформулировал не всем ясную цель, социальная группа начинает социальную деятельность, то есть каждый делает свою, не похожую на других работу, своеобразно понимая цель и способы ее осуществления. При этом действия всех оказываются согласованы.

Каждая группа имеет одного или нескольких инициаторов, руководителя или совет руководителей. Если группа существует более длительный срок, то такие руководители становятся постоянно действующим руководящим слоем. Они приобретают авторитет, все остальные им доверяют и следуют, чаще всего не задумываясь, их советам и приказам. Доверяют же не только потому, что считают их более опытными людьми, но и потому, что каждый инстинктивно чувствует, что такие вожди изыскивают и осуществляют волю всех, а не только свою личную. Все соглашаются с волей вождя и руководящего слоя, хотя такое согласие выражается различными способами. Один делает то, что ему приказано, с удовольствием и не сомневаясь, другой исполняет приказ неохотно, но боится в этом признаться, так как понимает его необходимость, третий же исполняет потому, что страшится наказания — укора вождя, осуждения других и т. д. Вот конкретный пример. Гражданин недавно провозглашенного государства участвовал вместе с другими в его создании, голосовал за его законы и даже отличался патриотизмом, агитировал всех по призыву правительства вступать в вооруженные силы и воевать. И вот когда на страну нападает враг и его самого призывают на защиту родины, выясняется, что упомянутый гражданин — трус. Была бы его воля, он убежал бы и спрятался, хотя и признает, что обязан исполнить свой долг. Он также стыдится своих друзей, боится военного трибунала — словом, на войну идет плача. И тем не менее, хотя и под принуждением, исполняет не только волю народа и государства, но и свою волю. Правительство принудило его выполнять собственную волю и собственный долг.

Каждая социальная группа имеет вождя или, если она для этого достаточно велика, руководящий слой. Поскольку этот слой — тоже группа, то он в свою очередь имеет одного или нескольких вождей. Слой, руководящий народом, не совпадает с его правительством (во Франции он рассеян в самых разных структурах — и в правительстве, и в парламенте, и в бюрократии, и в партиях, и в некоторых общественных слоях). Обычно он неупорядочен, но когда новое государство создается (или перестраивается во время революций), такой слой сознательно упорядочивается своими собственными вождями. Так было во Франции XVIII—XIX веков, после войны в России, Италии, а сейчас в Германии. Так или иначе, из народа естественно вырастает руководящий слой, а из последнего формируется правительство, которое сотрудничает с этим слоем и опирается на него. Такой слой существует долго. Являясь социальной, пусть и не всегда упорядоченной группой, он по-своему формулирует и осуществляет волю других групп, всего народа, конкретизирует ее и индивидуализирует. Конечно, другие группы эту волю индивидуализировали бы иначе, поэтому не всегда и не везде они охотно подчиняются руководству и правительству. Но тем не менее такому слою доверяют, ибо он давно руководит государством, лучше знаком с делами всей страны и более в них опытен. В процессе управления страной руководящий слой сталкивается с народной волей, уже выраженной в некоторых социальных институтах, политическом строе, в правовых системах, сталкивается с народной или государственной идеологией. Все это ограничивает и упорядочивает само руководство. Естественно, слой создает и материальную силу — войско, послушный правительству аппарат. Он может всех заставить себя слушать, но только до некоторых пределов, так как народ, обычно сопротивляясь пассивно, за подобными пределами начинает сопротивляться уже активно. Самая деспотическая власть должна учитывать настроения и желания общества. Она опирается в первую очередь на авторитет и — уже выясненный нами социально-психологический факт — на природу и структуру самого народа как социальной личности.

Подобное государственное устройство народа вполне естественно и необходимо: не надо только чрезмерно идеализировать его. Всякий руководящий слой — его вожди, власть не только по-своему формулируют волю народа, но также преследуют и достигают собственные эгоистические цели. Маркс и его ученики выдвинули на первое место именно этот эгоизм и так преувеличили его роль, что стали отрицать не только надклассовые, «надслоевые», народные мотивы деятельности каждого руководящего слоя, но и саму реальность народа. Трудно понять, почему, согласно им, пролетариат может иметь общее социальное мировоззрение, а народ нет. Тем не менее марксисты,

сами того не ведая, признали-таки и народ, который не перестал существовать оттого, что они называли его пролетариатом — пролетариатом, перестроившим общество. И без идиллии марксисты также не смогли обойтись: народ, перестроенный пролетариатом, должен и будет жить идиллически. Пока руководящий слой отвечает потребностям руководства, все терпят и смиряются с некоторым его эгоизмом. Каждый понимает, что эгоизм — неизбежное свойство человека. Если необходимо руководство, а значит, и государственная жизнь, необходимо принять и подобные особенности людей, как говорят немцы, *ins kauf nehmen**, лишь бы они не разрушали этим устоев государства. Но там, где руководство преследует исключительно эгоистические цели и отказывается от собственной родины, там оно уже выродилось. И если народ сколько-нибудь еще здоров, то неизбежно начнется революция. Руководящий слой правит народом, но народ оказывает ему сопротивление, пытается пополнить его новыми людьми и тем воздействовать на него. Когда руководящий слой становится полностью негодным, народ заменяет его другим (в чем и состоит суть революции). Поэтому важно искать такие формы государства, которые снимали бы остроту борьбы народа с руководящим слоем, сделали бы такую борьбу постоянной и тем предупредили бы большие революции, то есть установили бы нормальное состояние. Деспотическое государство сменить руководящий слой и тем продлить свою жизнь может только с помощью революции: изменением политического строя, устранением государя, *le despotisme modéré par l'assassinat***. Демократия же пытается борьбу народа с руководством заменить борьбой партий, чем дезорганизует сам руководящий слой, так как партии представляют не народ, но прежде всего этот слой.

Какими же путями возникает руководящий слой? Самыми разнообразными: то естественно вырастает из общества; то завоеватели долго и жестоко эксплуатируют народ, пока наконец, постоянно «сотрудничая» с поработенным народом, не перенимают его взгляды, обычаи, образ жизни и не становятся подлинно народными вождями. Так болгары-турки стали болгаро-славянами, германцы-завоеватели — французами, офранцузившиеся норманны — англичанами, а норманны скандинавские — русскими и т. д. Иногда, когда старый руководящий слой становится дряхлым и немощным, новые люди, молодежь захватывают революционным путем власть и, поэксплуатировав народ и набравшись некоторого опыта в идеологических шатаниях, наконец успокаиваются и становятся новым народным руководящим слоем. Так было во Франции во время Великой революции, так происходит и сейчас в России, Италии, Германии.

Во Франции революционеры пытались так перестроить государство (подобно всем революционерам), чтобы народ сам правил страной; и в результате они перестроили свое государство рационально-демократическим образом. Но самым важным результатом Великой революции явилась не новая демократическая конституция, которая была наконец создана, а то, что из народа вырос и сам собой упорядочился новый руководящий слой. Так что демократическую конституцию Франции можно назвать в некотором смысле такой же привилегией руководящего слоя, какие когда-то охраняли права бояр.

Если руководящий слой здоров, то государство всегда народно и в истинном смысле слова демократично через этот слой; поскольку он вырос из народа, внимателен и участлив к нуждам его, сотрудничает с ним — посредством этого слоя народ сам правит собой. Так называемая демократия есть не что иное, как одна из исторических форм государства и демократической остается до тех пор, пока не выродится руководящий слой. Но не будем поддаваться иллюзиям. Совершенного государства, совершенной организации на земле не существует и быть не может. Необходимо выбирать лучшее из несовершенного. Наилучшей организацией государства является та, которая, как уже было сказано, 1) помогает руководящему слою естественно вырасти из народа, 2) помогает руководящему слою постоянно сотрудничать с народом, а народу постоянно пополнять его новыми людьми, которая 3) как раз этим своим постоянным содействием не только препятствует вырождению руководящего слоя, но 4) сообщает ему действительность, силу, организованность и которая 5) согласовывает влияние руководящего слоя, а через него и самого народа, с силой и инициативами реальной власти.

Чтобы народ мог сотрудничать со своим руководящим слоем, мог воздействовать на него и пополнять его, народ сам должен быть организован, причем не механически, как это делается в демократических государствах. Мы уже видели, что всеобщее голосование скорее дезорганизует, нежели упорядочивает народ, а партии пытаются воспользоваться его доверием ради своих корыстных целей. Не может организовать народ и одна-единственная партия (якобинцы, большевики, фашисты), так как такая партия, уничтожив все другие, обязательно становится деспотической и пытается объединить народ, навязывая ему силой собственную идеологию, которую она требует признать за несомненную истину. Однако еще не было на земле безошибочных идеологий. И

* С этим смириться. (Прим. ред.)

** Деспотизм укрощается убийством (франц.). (Прим. ред.)

заставляя народ верить в ложные истины, насильно прививая их молодежи, эта единственная партия отравляет и разрушает себя и народ. Исчезла идеология якобинцев и «святых» Кромвеля, и, безусловно, исчезнет и коммунистическая. Как когда-то якобинцы, так сейчас коммунисты и фашисты хотят преобразовать государство по некоторому рациональному плану и разрушают для этой цели в первую очередь старый народный строй, дезорганизуют народ. Но ведь народ живет сам и растет не по рационалистическому плану. Нельзя его рационально или рационалистически перестроить и упорядочить, можно только помочь ему самому себя устроить. Он — живая социальная личность, а с живой личностью необходимо обращаться осторожно и не доверять рациональным теориям, не только потому, что, возможно, иррациональна сама народная жизнь, но и потому, что разум человека, особенно отдельного индивида, довольно слаб.

Большевики и фашисты (последние, правда, меньше) повторили ошибку французских якобинцев — стали создавать рациональное государство, заменив народную волю волей партии. Однако желая творить и совершенствовать государственное устройство, необходимо в первую очередь помочь народу самому упорядочиться. А вот для этого необходимо понимать, что такое народ, опираться на естественный процесс его самоорганизации, на живые социальные группы, — не на дезорганизованное, время от времени созываемое стадо избирателей, а на практическое самоуправление, на профессиональные и аграрные ассоциации. Например, в Европе, кроме французской бюрократической демократии, существует английское королевство, которое выросло из самоуправления и до сих пор на него опирается. Правда, это королевство тоже называется демократическим, притом что континентальная идеология демократов (французская) не только изменила его, но отчасти и искажала. И однако более здоровое и сильное государство трудно найти. Англичане все еще умеют отказываться от своих эгоистических стремлений ради интересов отечества. После мировой войны английские обладатели толстых кошельков пыхтели, но безропотно платили огромные налоги, в результате чего англичане успешно преодолели последний экономический кризис. Но с другой стороны, трудно где-либо еще найти человека, который так отчаянно, как в Англии, защищал бы и ценил свою свободу и права. Понятно теперь, что здоровое государство основывается на живых социальных группах и личностях, а социальная личность в свою очередь проявляется только волею свободных индивидов и без них существовать не может. Каждая социальная группа представляет народ, хотя и по-своему. Разумеется, такие группы общаются между собой. Это легко осуществимо, так как каждую группу может замещать ее руководитель как человек, хорошо известный всем ее членам, поскольку он был выбран не в силу случайности, но одобрен всей группой. Съезд таких заместителей групп или округов (органических единиц) способен заменить практически неосуществимое общее собрание всех этих групп. Собравшиеся уполномоченные могут решать общие вопросы от имени своих групп точно так же, как если бы они решались в самих группах, то есть не изменяя их воле. В свою очередь, уполномоченные сами могут назначать своих заместителей в высшие советы. Такое назначение предпочтительнее, чем прямые выборы, поскольку это будет именно замещением, а не представительством, как в демократическом государстве. Иерархические упорядочив таким образом социальные группы, можно упорядочить и сам народ, из которого в свое время естественным путем вырастает руководящий слой. Интересно, что подобными идеями руководствовались и создатели советской конституции. Разумеется, эта конституция не выполняется и превращена диктатурой партии в ничто. Тем не менее стоит присмотреться, как эта конституция, как система Советов и комитетов сочетают сильную власть центра с активным участием народа в политике и обеспечивают общение руководящего слоя с народом. Здесь можно найти много интересного, хотя коммунистическая идеология и диктатура партии не только исказили, но и скомпрометировали здоровую мысль и усилия тех, кто ее защищает.

Я не стремлюсь предлагать или навязывать какие-то конкретные государственные реформы. Народ-государство растет сам по себе; в этом ему вряд ли в состоянии помочь и теоретики и политические деятели. А вот повредить могут. Большевикам было нетрудно написать новую конституцию, но они не смогли, уничтожив большинство старых социальных групп, создать новые, способные к творчеству жизни группы. Тогда чего стоит такая конституция? Ведь и Муссолини пытался создать новые группы — трудно сказать, на что он рассчитывает. Ясно пока одно: знание того, что такое народ-государство, не дает еще права самим создавать это государство, но без этого знания нельзя помочь народу творить его и преобразовывать.

Перевели с литовского Г. МАЖЕЙКИС и И. САВКИН.

Лев Платонович Карсавин родился в Петербурге. В 1922 году был выслан за границу и покинул Россию на так называемом философском пароходе. С 1928 года — профессор Каунасского университета, в 1940—1946 годах преподавал в Вильнюсе. Был арестован и скончался в лагере в 1952 году. Выдающийся русский медиевист, автор многих капитальных трудов по духовной культуре латинского средневековья. Главные сочинения: «Философия

истории» (1923), «О началах» (1925), «О личности» (1929). Подробнее о жизненном и творческом пути Карсавина можно прочесть в статье С. Хоружего «Лев Платонович Карсавин» («Литературная газета», 22.2.89). О его пребывании и кончине в инвалидном лагере рассказывается в мемуарах А. Ванеева (см. «Наше наследие», 1990, № 3—4).

Настоящая статья была опубликована (и, возможно, написана) на литовском языке в журнале «Židinys» («Очаг»), 1934, № 5, 6. Независимый от узкопартийных интересов, политических и религиозных пристрастий, ежемесячный «журнал науки, искусства, политики, академической и научной жизни» служил свободной трибуной мнений, собрал вокруг себя цвет литовской гуманитарной интеллигенции. Так, в том же 1934 году журнал напечатал статью А. Мацейны, впоследствии видного католического мыслителя, получившего известность в Германии работами по русской философии. Известно, что Мацейна в бытность студентом Каунасского университета слушал лекции Карсавина, которые повлияли на выработку его собственной философской позиции. В журнале появлялись многочисленные статьи о русской философии, в частности о Вл. Соловьеве. Издатель журнала Стасис Шалкаускис сам увлекался учением Соловьева, а его ближайший сподвижник Винцас Миколайтис Путинас защитил докторскую диссертацию по этике Соловьева. Когда Карсавин в 1928 году переехал из Парижа в Каунас и занял кафедру всеобщей истории (по некоторым сведениям, отклонив более лестное предложение из Оксфорда), он не только переменял атмосферу парижской эмиграции, крайне политизированную и наэлектризованную часто бессмысленными спорами и столкновением самолюбий, на более спокойную, но и оказался в среде людей, близких ему по духу. Здесь в 30-х годах помимо множества статей он выпустил шесть книг своей «Истории европейской культуры», в которых запечатлены борения европейского духа на протяжении четырнадцати веков.

Отдельная тема — Карсавин и литовский язык. Карсавин приступил к изучению литовского языка, когда ему было уже под пятьдесят, и удивительно быстро овладел им настолько, что порой поправлял самих литовцев. При этом он преследовал уникальную задачу приспособить литовский язык для выражения тонких философских категорий. Заменяя латинизмы и германизмы в философском лексиконе, он либо использовал такие архаические, «корневые» слова, о которых давно забыли его литовские коллеги, либо вводил слова из обыденной речи.

Укажем еще на одно любопытное свидетельство: А. Ж. Греймас, один из столпов современной семиотики, учившийся у Карсавина, признавался, что за всю жизнь ему лишь однажды довелось встретить человека, изъяснявшегося на чужом языке столь же изящно и непринужденно, как Карсавин; это был небезызвестный Теодор Адорно. Поэтому авторы предлагаемого вниманию читателя перевода все нарекания на тяжесть слога и трудность восприятия смиренно примут на собственную ответственность.

¹ «Общественное животное» — определение человека, данное Аристотелем. См. Pol. 1253a 9 сл.

² Ф о р т е с к ь ю Джон (ок. 1394—ок. 1476) — английский юрист и государственный деятель, теоретик абсолютизма. Обосновал превращение сословно-представительных учреждений в средство усиления власти короля; Ш е ф ф л е Альберт (1831—1903) — немецкий экономист, социолог, государственный деятель, автор четырехтомного труда «Строение и жизнь социальных тел». Признаком «социального тела» согласно Шеффле является идеальная духовно-психическая связь индивидов, охватываемая в их символических и технических действиях; С п е н с е р Герберт (1820—1903) — английский философ. В частности, утверждал, что дифференцированные (разделенные на сословия) общества более приспособлены к борьбе за выживание, революцию же считал «болезнью» общественного организма; В о р м с Рене (1869—1926) — французский философ. В работе «Организм и общество» (1895) проводил многочисленные аналогии между структурой и функциями человеческого общества и биологического организма.

³ Б л ю н ч л и Иоганн (1808—1881) — швейцарский правовед, представитель органической теории.

⁴ П е т р а ж и ц к и й Лев Иосифович (1867—1931) — русский социолог и правовед, профессор Петербургского университета, основатель психологической школы права.

⁵ «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1).

⁶ Т о к в и л ь Алексис (1805—1859) — французский социолог и государственный деятель. О мере влияния его работ на Карсавина можно судить по следующей цитате из его основной работы «Королевский строй во Франции и Революция» (русский перевод 1918). Констатируя, что на смену королевскому абсолютизму приходит бюрократическая иерархия функционеров, он заключает: «Эта огромная социальная власть безлична... она — продукт и представитель всех и подчиняет право каждого воле всех. Это особая форма тирании, которую называют демократическим деспотизмом. Нет больше социальной иерархии, нет четкого деления на классы и строго установленных рангов; народ, составленный из абсолютно похожих индивидуумов, это расплывчатая масса, признаваемая за единственно законный источник верховной власти, но старательно лишенная всякой возможности руководить и даже контролировать свое правительство». В этих условиях он возлагал большие надежды на укрепление общинных учреждений и местного самоуправления; Т э н Ипполит (1828—1893) — французский философ и историк.

⁷ Г о б б с Томас (1588—1679) — английский философ. В книге «„Левифаан“, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» (1651) обосновывал предпочтительность той монархии, которая обеспечивает непрерывность волеизъявления суверена, внутреннее единство воли в государстве и ее единство с исполнительными органами. Суверен — верховный политический властитель и верховный судья в вопросах веры и всех иных суждений и мнений, могущих иметь значение для государства; его задача — сохранение и продление жизни «государственного тела».

⁸ По-видимому, имеется в виду Отмар Ш п а н н (1878—1956), австрийский экономист и философ. Ввел в социологию так называемый универсалистический метод, согласно которому действие отдельных индивидов приобретает смысл лишь будучи включенным в некую социально-смысловую тотальность.

⁹ Контаминация цитат из Посланий апостола Павла. См. ряд сходных мест: «Ибо я от Самого Господа принял,

что и вам передал...» (I Кор. 11:23); «Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает чрез нас...» (II Кор. 5:20). Склонность Карсавина цитировать по памяти, случалось, вызывала протесты со стороны коллег-медиевистов. Вл. Лосский сетовал, что, прочитав однажды у Карсавина дивную по красоте мысли цитату из «Святых отцов», как ни старался, не смог установить ее точное авторство.

¹⁰ Помимо распространенного взгляда на город как искусственное образование, механический конгломерат, часто препятствующий «органическим» проявлениям человеческой природы, эта оценка Карсавина могла иметь своим источником и вторичность современного термина «пролетариат» по отношению к первоначальному смыслу *proletarius* — производящий потомство, простонародный.

Комментарии Г. МАЖЕЙКИСА и И. САВКИНА.

ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ

*

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОБЛАЗН

Дни правды дороже воинственных дней...¹

Судьба евразийства — история духовной неудачи. Нельзя замалчивать евразийскую правду. Но нужно сразу и прямо сказать — это правда вопросов, не правда ответов, правда проблем, а не решений. Так случилось, что евразийцам первым удалось увидеть больше других, удалось не столько поставить, сколько расслышать живые и острые вопросы творимого дня. Справиться с ними, четко на них ответить они не сумели и не смогли. Ответили призрачным кружевом соблазнительных грез. Грезы всегда соблазнительны и опасны, когда их выдают и принимают за явь. В евразийских грезах малая правда сочетается с великим самообманом. «В них рассказ убедительно-живый развивал невозможную повесть. И змеинного цвета отливы волновали и мучили совесть»²... Первоначальное евразийство хотело быть призывом к духовному пробуждению. Но сами евразийцы если и проснулись, то для того, чтобы грезить наяву... Евразийство не удалось. Вместо пути проложен тупик. Он никуда не ведет. Нужно вернуться к исходной точке. И оттуда, быть может, откроются новые кругозоры, протянутся новые и верные пути.

1

Революция всех застала врасплох, и тех, кто ждал ее и готовил, и тех, кто ее боялся. В своей страшной неотвратимости и необратимости свершившееся оказалось непосильным, и внутренний смысл и действительная размерность происшедшего оставались загадочны и непонятны. И нелегко дается мужество видеть и постигать.

Есть и была вечная и простая правда в белом деле и в белой борьбе. Это правда наивного и прямого нравственного противления, правда волевого неприятия и отрицания мятежного зла. Но на нравственное противление нужно иметь духовно оправданное право. И духовной силы, собираемой во внутреннем искусе и бдени, нельзя заменить ни пафосом благородного негодования, ни жадной мести. Белый порыв распался в страстной торопливости, отравленной ядами «междуусобной брани». Нравственное негодование не перегорело в смирение, не просветлело в вещей зоркости трезвенной думы. Среди грохота исторических обвалов казалось странным и неуместным задуматься, сосредоточиться, уйти в себя. Это казалось превратным бездельем и бездействием, внутренней сдачей и отказом от борьбы. Максимализм бездумного, мстительного гнева разряжался в кровавое нетерпение внешнего действия и внешнего конца. В такой торопливости нет подлинной силы и действенной правды. Ибо нет воли к покаянию. И нет зоркости. Ненависть выжигает любовь, а только в любви духовная зоркость. Легко было поддаться опьянению нравственного ригоризма и пред лицом зла и злобы, творимой на русской земле ее теперешней антихристовой властью, духовно ослепнуть и оглохнуть и к родине самой и потерять всякий исторический слух и зоркость. Точно нет России и до конца и без остатка выгорела она в большевистском пожаре, — и в будущем нам, бездомным погорельцам, предстоит строиться на диком поле, на месте пустом. В таком поспешном отчаянии много самомнения и самодовольства, сужение любви и кругозора. За советской стеной скрывается от взоров страждущая и в страданиях перегорающая Россия. Забывается ее творимая судьба. И нужно прямо и твердо понять: революция и разруха, обман и отравка не убили Россию; и она живет и жива, жива в безумии и озорстве, жива в буйном хмеле и злобе, жива в молчаливом противлении, жива в незримой преобразении своем. Среди бесовского маскарада, под мерзостной маской е с т ь т в о р и м а я Р о с с и я, и проходит она по мытарствам огненного испытания. И с нею должна быть наша любовь, любовь сочувствия и любовь противления, двоящаяся и строгая любовь. Наша душа должна внутренне обратиться к России, в любви отождествиться с нею. И принять ее роковую

судьбу как свою судьбу, и перестрадать ее покаянный искуc. Не все в любимой России должны мы принять и благословить. Но все должны понять и разгадать, как тайну Божия гнева, как правду Божия суда. А ще забуду тебе, Иерусалиме, да будет забвена десница моя...³

Нужно понять и признать: русская разруха имеет глубокое духовное корнесловие, есть итог и финал давнего и застарелого духовного кризиса, болезненного внутреннего распада. Исторический обвал подготовлялся давно и постепенно. В глубинах русского бытия давно бушевала смута, сотрясавшая русскую почву, прорывавшаяся на историческую поверхность и в политических, и в социальных, и в идеологических судорогах и корчах. Сейчас и кризис, и развязка, и расплата. В своих корнях и истоках русская смута есть прежде всего духовный обман и помрачение, заблуждение народной воли. И в этом грех и вина. Только в подвиге покаяния, в строгом искусе духовного трезвения, может открыться и открывается подлинный выход из водоворотов ликующего зла. На духовный срыв нужно ответить подвигом очищения, внутреннего делания и собирания. Только в бдении и аскезе, только в молитвенном безмолвии накапливается и собирается подлинная сила, — в молчаливом искусе светлеет и преобразуется душа, куется и закаляется творческая воля. Только в этом подвиге совершится воскресение и воскрешение России, восстановление и оживление ее разбитого и поруганного державного тела. Это трудный и суровый путь. Но нет легких и скорых путей для победы над злом, и в делах покаяния дерзко требовать легкости. Предельный ужас революции был в нашем бессилии — в том, что в грозный час исторического испытания нечего было противопоставить раскованным стихиям зла, что в этот час открылось великое оскудение и немоча русской души. В революции открылась жуткая и жестокая правда о России. В революции обнажаются глубины, обнажается страшная бездна русского отпадения и неверности, — «и всякой мерзости полна»⁴... Нечего бояться и стыдиться таких признаний, нечего тешить себя малодушной грезой о прежнем благополучии и перелagать все на чужую вину. В раскаянии нет ни отступничества, ни хулы. И только в нем полнота патриотического дерзновения, мужества и мощи.

В таких исторических признаниях, в остром и живом чувстве сверхполитической и лжедуховной природы русской революции, в призыве к зоркому культурно-патриотическому бдению и раздумью — в этом была правда и историческое дело начального евразийства. И эта правда оказалась жестокой для самих евразийцев. Они тоже соблазнились о терпении и увлеклись исканием легких и скорых путей. В своем внутреннем развитии, или, сказать правду, разложении, евразийство отравилось тем самым соблазном лжедейственной торопливости, с раскрытия и обличения которого оно началось, — отравилось вожделием быстрой и внешней удачи. Верные, но беглые наблюдения разрослись в торопливый и мечтательный синтез, и обманная, хотя и розовая греза заволочла и окутала историческую быль.

2

В самом восприятии и в толковании переживаемой современности евразийцы не сумели и не смогли sobлюсти строгой внутренней меры, не сумели сочетать свободу исторического внимания со свободой высшего и духовного, оценочного разбора и суда. Евразийцы точно зачарованы историческими видениями, развертывающимися вокруг «в обстановке величайшего социально-практического переустройства и возбуждения»⁵. Они подавлены исторической необходимостью, мощной поступью неотразимых событий. Для них «жизнь есть конкретность идеи», единой, единственной и потому «истинной». Истину они хотят найти и расслышать в исторической действительности, в эмпирическом бывании, как его скрытую, но непреложную тему. И потому в их сознании правило исторической дуткости превращается в требование «слушаться» истории, — именно слушаться, не только слушать. Исторический учет и признание поспешно перерождаются в покорное и даже угодливое приятие творимой новизны. Евразийцы не допускают возможности несправедливой истории. При всей неизбежности эмпирической неполноты и несовершенства в истории для них всегда раскрывается, осуществляется и овеществляется правда. И отсюда у них болезненный страх исторической отсталости, страх не попасть в ритм событий. В бессильном испуге рождается торопливая готовность уступить зову времени. Евразийцы как-то веруют в непогрешимость истории, в благодетельную ритмику органических процессов. Они приемлют суд времени как окончательный и неопровержимый суд. И отказываются от суда над историей как от безумной тяжбы со вселенской и премудрой стихией, властью, проявляющей себя в роке исторической судьбы. В оценочном суде над историей им чудится состав гордости и насилия, чудится мечтательная отвлеченность, гордость неудачников, отброшенных «естественно-органическим» процессом развития и брюзжащих в обиженном сознании своей неужности и обреченности. Евразийцы готовы подсмеиваться над каждым, кто не поддается с покорностью органическому насилию стихий, как над близоруким изгоем всемогущей жизни. И точно, бывают безнадежно опоздавшие и отсталые люди, ослепшие и оскуде-

шие безвременно и безвозвратно. Но евразийцы забывают, что судить, и осуждать, и отвергать историческую новизну можно не только во имя старого, но и во имя вечного, во вдохновении подлинных святых. В евразийстве оживает «пресловутое змеино положение» о разумности действительного и действительности разумного, какой-то огрубелый и опрошенный «панлогизм». В испуге отвлеченности евразийцы и не замечают и не хотят заметить греховного и грешного расхождения и несоответствия «истинной идеи» и... самой жизни. Это расхождение не только по степени. То правда, что в жизни, во всех ее изворотах и сращениях, раскрываются и осуществляются «идеи». Но не во всякой жизни воплощается одна и та же, «истинная» идея. Мало и недостаточно уловить «смысл происходящего». Может оказаться, что события текут в бездну отпадения — и в этом их «смысл». Подобае ли тогда радоваться, подобае ли разрушительные идеи возводить в мерило и идеалы, как бы ни были они пестры и многоцветны, как бы «органически» ни были они сращены с жизнью... Бывает злая жизнь. И ей надлежит противиться, без примирения и уступок. В таком противлении нет никакой отвлеченности, нет гордости и отщепенства. Напротив, только в праведном противлении осуществляется подлинное смирение, — смирение пред голосом Божией правды, не пред слепым роком. Только в нем преодолевается человеческая гордыня, овеществившая себя в злом направлении исторических событий. Только в нем проявляется высший и подлинный реализм, учитывающий не только извивы исторического бытия, но и гораздо более действительные, хотя в исторической эмпирии и не осуществленные Божественные меры бытия, — Божию волю о мире. Этого высшего и духовного реализма вовсе нет в евразийстве. Евразийцы приемлют случившееся и свершившееся как неотвратимый факт, — не как знамение и суд Божий, не как грозный призыв к человеческой свободе.

В евразийстве есть воля и вкус к совершившейся революции; и евразийцы приемлют ее как обновление застоявшейся жизни. Они правы, революция есть «глубокий и существенный процесс», не «историческое недоразумение». В русской современности динамически интегрирована и интегрируется длительная и сложная предыстория. Правильно и своевременно говорить сейчас о противоречиях и невязках старой, петербургской России, в которых зачиналась, и готовилась, и созревала смута. В известном смысле, конечно, революция есть «саморазложение Императорской России», бурный конец петербургского периода. Но смысл этого исторического обрыва евразийцы толкуют узко и превратно, в скудных терминах натуралистической морфологии. Весь смысл трагедии старой России сводится для них к некоему «псевдоморфозу», к «разрыву» правительства с «народом», к правительственному насилию над народной массой, втесняемой в чужеродные и тем самым ложные рамки «европеизма». И торопливое примирение с «новой Россией», рождающейся в кровавой пене революции, для евразийцев вполне оправдывается совершившимся обнажением материка, освобожденного от насильственных наслоений.

Любовь к отечеству — сложное и запутанное чувство: голос крови и голос совести соединяются в нем, чаще перебивая и заглушая друг друга, редко сливаясь в мерном созвучии. И до этой меры патриотическая любовь должна возрастать в суровом внутреннем искусстве. Этого искусства нет в евразийстве. В нем недостает строгости к себе, недостает страха Божия, нравственной чуткости, духовного смирения и простоты. В евразийском патриотизме слышится только голос крови и голос страсти, буйной и хмельной. Патриотизм для евразийцев есть «пенающийся и хмельной напиток», не зов долга и не воля к подвигу. Евразийцам кажется, будто сейчас приходится делать выбор между интеллигентской хилостью и новой «народной» силой и выбирать вторую. Они не понимают, что выбор предстоит между греховным самоутверждением и творческим самоотречением, в покаянной покорности Богу. Не от Духа, а от плоти и от земли хотят набраться они силы. Но нет там подлинной силы, и Божия правда не там. Для евразийцев более чем достаточно ссылки на «органическое рождение» из вихря стихий, из недр инстинктивного самоопределения народного, чтобы приять и оправдать творимую новизну. В евразийстве пробуждается запоздалый романтический пафос стихии, ярой, властной, многоцветной. Евразийцы всюду видят стихию — и любят ее, и веруют в нее, в органические законы естественного роста. В самих себе они с удовлетворением ощущают «веяние необыкновенного стихийного подъема сил», выбивающихся и вырывающихся из-под развалин обреченного прошлого. История для них прежде всего мощный силовой процесс, явление силы, не духа, — развитие, а не творчество и не подвиг. После великих исторических потрясений поломанные и искаленные в них люди от обратного, от усталости и бессилия, начинают грезить о силе и мощи в каком-то надрывном подобострастии пред стихией. В пафосе стихий стираются категорические грани добра и зла как какая-то моралистическая условность, как придирка слишком субъективной рефлексии, несоизмеримой с высшей правдой и мудростью исторического сверхличного бытия. Не по нравственным и духовным мерилам определяется тогда и оценивается достоинство людей и событий, но по потенциалу заряжающей их и в них воплощающейся стихийной энергии и мощи. Так слагается культ «сильных» людей, не то «героев», не то «разбойников»; и в нем получает лжерелигиозное оправдание право на страсть и волю, с забвением о

единственным действительным и возможным пути к Богу через крест и любовь. Есть что-то от этого романтического перегара в теперешнем евразийстве. В каком-то смысле евразийцев зачаровали «новые русские люди», ражие, мускулистые молодцы в кожаных куртках, с душой авантюристов, с той бесшабашной удалью и вольностью, которые вызревали в оргии войны, мятежа и расправы. Точно от неожиданности, что в пленной и окованной России оказались «живые» люди, евразийцы загляделись на них; и все кажется в них мило и право уже по тому одному, что они — в России, сидят на родной земле, «естественно-органически вырастают из народного материка». Пусть эти новые люди, этот «новый правящий слой» собрался и скристаллизовался вокруг «воров», бездумных и скудоумных, — «выбора у народа не было», решают евразийцы; по нашей скудости и хилости на «ворах» русский свет клином сошелся. В этих «ворах» евразийцы увидели «воплощение государственной стихии». Их загипнотизировал большевистский пафос «народоводительства», волевой пафос коммунистической партии, пусть скудной и ложной в своей идеологии, но «властной до тираничности». В своей практической работе коммунисты невольно отобрали «здоровых и приспособленных» и властно обратили их на осуществление действительных, хотя и бессознательно угаданных народно-государственных целей. «Как-никак», давно уже сознаются евразийские авторы, «революция породила не сомненных героев зла и разрушения...». Теперь они подчеркивают — не только разрушения. Ибо во властном пафосе коммунистического интернационала народная стихия «почувствовала формальную наличность нужных ей качеств государственности и власти», нашла в нем свой кристаллизационный центр и упор. В действительности коммунисты оказались «бессознательными орудиями вырождавшейся государственности». Они вынесли на себе, хотя помимо своего умысла и воли, «новый народ», новый правящий слой. В известном смысле, по евразийской оценке, большевики как бы спасли Россию — от анархии, во всяком случае. И потому евразийцы сознательно и хотят быть «следственниками современного большевизма», «следственниками советской государственности» — в психологии и типе, в пафосе и внутреннем строе. Они хотят и призывают равняться по большевистскому примеру и типу, только переменяв «конструктивный принцип» с безбожного на религиозный. Станным образом они не замечают и не понимают, насколько в формальном «типе» большевистского максимализма отражается и выражается его безбожная, бесчеловечная, бесовская сущность, — не чувствуют, что при «полярных» основаниях окажутся необходимыми инородные и инотипные «методы и силы».

У евразийцев сложилось совсем не оправданное представление, будто революция в каком-то смысле уже кончилась и выплавление новой России завершилось. Заглядевшись на мнимую социальную стройку, завлеченные «современной страстью к твердому устройению и максимализму», евразийцы проглядели самое существо русского процесса. Они странно оглохли к той духовной смуте, которая в действительности и пучит и взрывает историческую поверхность. Евразийское внимание рассеялось по социально-политической поверхности, в евразийском восприятии притуляется и меркнет весь острый и могучий трагизм русской смуты. Внутри России, в самых недрах русского бытия и духа, все еще продолжается смертельная борьба, борьба разночестных и несовместимых начал, — и, может быть, именно сейчас она в наивысшем разгаре и напряжении. Раскаленная и расплавленная народная масса все еще в огне, вулканические сотрясения не прекратились, и основной кристаллизационный процесс едва еще начался.

Наивная доверчивость к органической работе темных подсознательных сил соединяется в евразийском сознании с жутким, хотя и мечтательным упоением властью. Ибо «только единая и сильная власть способна провести русскую культуру через переходный период, канализировать и направить пафос революции». В этой сильной власти найдет и оформит себя сама народная стихия, в ней воплотится, осуществит себя.

Евразийцы признают, конечно, что «зло действительно сильно в мире». Но смутно и наивно представляют они себе и другим пути и приемы борьбы со злом. Они как бы мечтают о самоукрощении мятежной стихии чрез организующую властную волю ею же рожденных и ее воплощающих «сильных» людей. Они недосматривают и недооценивают мотивы злостного бунтарства и одержимого беснования в воспеваемом ими процессе органического вырастания и сложения «нового народа, не менее русского», чем прежний. Они забывают об упрямой инерции зла, воссавшегося в самую духовную конституцию народа, забывают о взошедшем в кровь и дух нигилизме, безбожии и богоборчестве. Конечно, в чистое «зло» ни народы, ни личности никогда не превращаются, они бывают и становятся только «злыми», только носителями зла, — но этого ограничительного «только» не следует преувеличивать. Ибо «зло» не есть что-то внешнее и не в качестве прибавочного груза присоединяется к своим носителям; оно становится для них роковым внутренним законом, онтологически разлагает своих носителей и может довести их до полного и необратимого распада — в окаменелом нечувствии и нераскаянности. Духовные яды глубоко всосались в русскую жизнь и еще долго будут в ней падать и смердеть. И, конечно, не только «старый правящий слой» изъязвлен и отравлен ядами исторического разложения, но в гораздо

большей степени и «новый», рожденный и повитый в буйстве и злобе. И напрасно и наивно надеяться на выцветание и самовыветривание этих ядов, на их самообессиливание и самообезвреживание. От бесспорной лживости исторического материализма и коммунистической идеологии евразийцы слишком поспешно заключают к ее естественному, практическому краху. Разоблаченные заблуждения веками сохраняют свое роковое обаяние и злую власть над людьми, и от их страшного дурмана не в силах без благодатной помощи освободиться греховная человеческая воля, немощная в добром, упорная и упрямая в злом. У евразийцев есть какая-то поспешная готовность отвлечься от зла, в излишней доверчивости к мнимому закону исторической гетерогонии целей. Им кажется, что «потери и жертвы, несомые в период возобладания исторического материализма, могут быть искуплены тем обнаружением сути вещей, которое происходит в этот период...». Они как-то забывают, что эти «потери и жертвы» исчисляются в тысячах и тысячах живых душ, замученных, озлобленных и извращенных...— Есть что-то от самого тупого просветительства в евразийских представлениях о борьбе с ложью и злом — на корню устаревшая пометь толстовства и руссоизма. Точно, в самом деле, можно весь страдальный вопрос духовного очищения и преобразования свести к смене идеологии, к замене одной «программы» другой, «ясной и четкой», точно все зависит от додуманности, настойчивости и упорства...

3

Евразийцы приемлют революцию в ее факте и свершении. И вместе с тем, в порядке мнимого закона исторической гетерогонии целей, они подчеркивают несоответствие и несовпадение революционной онтологии и замыслов эмпирических вожаков и совершителей смуты, волевой коммунистической группы. Коммунистическую идеологию, систему «воинствующего экономизма» и исторического материализма евразийцы решительно и резко отвергают и признают, что уже теперь она «стоит перед окончательным крахом», «несомненно и окончательно погибает», разложенная в самих своих исповедниках «сознанием ее неосуществимости и нежизненности». Устойчивости коммунистической идеологии в России евразийцы не допускают еще и потому, что она есть плод чужой «европейской» культуры, последнее слово и завершение «европеизма» и, стало быть, не опасна для самоопределяющейся евразийской души. Силою вещей она неизбежно отпадет и уже отпадает. И потому евразийцам становится боязно и страшно за судьбы «нового правящего слоя», сложившегося и скрепленного на коммунистическом «упоре». Ради спасения революции в ее социально-онтологических достижениях и итогах, для закрепления осуществившегося в ней великого народно-государственного сдвига нужно заменить выдыхающую коммунистическую идеологию новой, органической системой идей. «Ложной, сатанинской и злой, но огромной идее коммунизма» нужно противопоставить новую идею, соравную ей по мировому размаху, по широте и охвату, — нужно найти и противопоставить ей новую «идею-правительницу». Найти ее и подслушать можно и нужно «в недрах общей духовной обстановки момента и эпохи», ибо «семя идеи — сама жизнь». Эта новая идеология должна сразу стать реальной силой — «идеи должны иметь аппарат прямых действий». Новая «идея должна заменить нам государство, средоточие и вождя, до тех пор пока наше государство, средоточие и вождь не будут реально созданы, сделаны идеей...». Так говорят евразийцы. И это возможно только через создание новой «партии» — правда, партии особого типа и строя. В этом типе и строе евразийцы стараются учесть пример и урок большевизма. Это партия единая и единственная, правительствующая, исключая самую «партийную систему», то есть множественность партийных группировок. Эта новая партия слагается и должна слагаться на основах единого и общего, конкретного и всеобъемлющего миросозерцания. Это не простое объединение по частному поводу и для частных целей, хотя бы и политических, — но крепкий и строгий «государственно-идеологический союз», некая «идеологически-политическая лига». Он слагается по началу отбора, но отбора органического, творимого самой жизнью. В свободном, изнутри направляемом развитии и росте «симфонической народной личности», в порядке естественной и необходимой социальной дифференциации, выделяется и слагается в себе своеобразная «соборная личность» второго порядка, «правлящий слой», и в нем, как его средоточие и сердцевина, как его живой стержень, выделяется некий «государственный актив», — это и есть «единственная правительствующая партия». Система сплошных и непрерывных органических связей между всеми слоями, уровнями и центрами социального бытия обеспечивает прямое и непосредственное соответствие между ними в мысли и воле. Выражая и утверждая свою мысль и свою волю, правящий слой и правительствующая партия тем самым выражает «бессознательную, стихийную», но твердую всенародную общую волю, которую в себе самих они носят, и знают, и опознают. Они «формулируют народное миросозерцание», в народных массах «лишь не осознанное, хотя и определенное». И мысль и воля правящего слоя «в нормальных условиях являются в целом и главным лишь индивидуацией и конкретизацией народного сознания», и «существование этого процесса

индивидуации и конкретизации — органично». Народная воля органически выражается и осуществляется в сильных людях, в сильном и собранном меньшинстве. В живом и здоровом народно-государственном организме не может и не должно быть внутренних противоречий, раскождений и натяжений. И потому властное народоводительство единого и единственного полномочного меньшинства не только не включает в себя элементов насилия и диктатуры, но, напротив, представляет собою последовательное осуществление начала народоправства. «Ведущее» меньшинство органически и непреложно выражает подлинную, хотя и бессознательную волю народа, воплощает и олицетворяет ее, отчеканивает ее в целостную идеологию. Выражая свое мирозерцание и осуществляя свою волю, правительство тем самым выражает и осуществляет народное мирозерцание и народную волю. Грядущая правительствующая партия изображается евразийцами в патетических и героических чертах. «Партия, отвечающая традиции и потребности (евразийского) месторазвития в сильной и собранной власти; партия, железная спайка которой проникнута духом братства; партия со своею символической и своею мистической; партия, которая использует и включает в себя потребности и навыки русского сектантства и обращает их на служение нравственным заповедям Церкви и мирскому государственному делу; партия, строящая культуру как систему»... — Это Партия уже с большой буквы. И уже не *pars civitatis*, но *pars mundi** — «носительница и выразительница потребностей и воли великой *partis mundi* — Евразии»... В избранном и отборном волевом меньшинстве народная жизнь получает и обретает свое единство, обретает свое лицо. Евразийцы оговариваются: «само по себе» государство есть только «форма»; и все же, по их утверждению, на первое место в иерархии сферы культуры следует поставить сферу государственную, преимущественным выразителем и носителем которой является правящий слой». Ибо в государстве, в государственной организации впервые и вполне осуществляется и выражается единство культурной жизни. В нем и только в нем получает «действительное личное бытие» симфонический «культуро-субъект». И ниоткуда кроме как из «личной» по преимуществу государственной сферы нельзя получить «личную» организованность и законченность. Поэтому на подчиненных местах оказывается не только сфера «материально-культурная», хозяйственная и техническая, но и «сфера духовного творчества». Правда, обе эти сферы обладают собственным бытием и тяготеют к своим собственным средоточиям, стремятся каждая стать «соборным» субъектом, слагающимся из «соборных» личностей низших порядков. Но государственное верховенство распространится и на них, и притом в формах направляющего и руководящего вмешательства, — ибо, будучи одною из частных сфер, государство есть вместе с тем и целое, соотносится с другими частными сферами «как целое со своими частями». «Не должно быть каких-то внегосударственных организаций или объединений», утверждают евразийцы, но «всякая организация должна быть и органом государства». «Правящий слой не такой же субъект, как субъекты хозяйства и духовной культуры; он как бы порождается ими для того, чтобы они чрез него над собою властвовали». Органическое происхождение правительства и правящего слоя в евразийских представлениях устраняет принципальную опасность насилия. Евразийцы согласны, что в эмпирическом и действительном бытии «государство всегда стремится расширить свою сферу и растворить в себе индивидуальные и частные». Более того, «государственности всегда угрожает разрыв между народом и его правящим слоем, нарушение органического их взаимодействия». Но это относится к области неизбежного эмпирического несовершенства и неполноты. «Государственного искусства» находить в каждое время свои здоровые меры сохранения должного и надлежащего жизненного равновесия.

Замысел духовного преодоления русской смуты выдохся и измельчал в евразийстве. Евразийцы не поняли, не сумели понять ни его смысла, ни размерности, ни сложности; они и упростили его, подменили его другим, более простым, быть может, но зато и пустым и опасным. Духовное преодоление смуты не может ограничиваться эмоциональным оценочным разбором и судом. Оно должно быть действенным, творческим и трудовым. Оно должно быть радостным покаянием, бодрым подвигом национального преображения. Это преображение уже совершается, — об этом благодатном возрождении русской души свидетельствует мученическая история Русской церкви, гонимой и скитающейся, но торжествующей в духе и силе Или⁶. И вот подлинную творимую Россию евразийцы увидели не там, где есть она, не в твердых православного духа, а у «воров». Всю жуткую и трагическую проблематику религиозно-культурного перерождения и преображения евразийцы по старой интеллигентской манере свели на задачу создания нового и правления, новой партии, единой и единственной, которая должна переслоить выброшенный революционными бурями «новый правящий слой», с тиранической властью организовать его вокруг себя и стать его основой и направляющей силой. Допустим, в исторической действительности так иногда бывает, приходит «частночеловеческий» или «многочеловеческий» Бонапарт. Решается ли этим

* Не часть общества, но часть света (лат.). (Прим. ред.)

проблема культурного возрождения и религиозного восстановления взвихренного в смуте народа?.. Сложную и трудную задачу религиозно-творческого возрождения евразийцы разменяли на суемудрие идеологических упражнений. Допустим, выветривается коммунистическая идеология, ничтожная по предельному суду, но разве не оставляет она в душах больного и ядовитого наследия и последствий? И разве выздоровела одержимая ею душа? И исцелят ли ее «идеи»? В сущности, евразийцы стремятся перевести опустошенных людей из одной одержимости в другую, в «п о д д а н с т в о» другой, новой, евразийской идее. И прежде всего спросим: разве душа — пустой сосуд, в котором легко и по произволу можно менять идеологическое содержимое? Вряд ли. Евразийцы так слепо верят в подсознательные силы русской стихии, что точно ждут, что опустошенная душа сама себя и из себя, без искуса и без подвига, в процессе органического роста наполнит абсолютной идеологией... Евразийцам как бы представляется, что эмпирическая свобода по отношению к истинным целям и заданиям может выражаться только в степени приближения и совершенства, только в степени сознательности и радения, только в делании или не-делании. Они не чувствуют страшной свободы прямого противления, избрания лжи и зла. И потому именно не понимают до конца русской трагедии как творческого искупления греха и вины. Они довольствуются декларацией «абсолютного» значения новой, рождающейся русской культуры. Есть странная и жуткая наивность в евразийских представлениях о смене идеологий и полное забвение острого трагизма религиозно-исторических процессов.

Евразийцы сознают себя «третьим максимализмом»⁷. В действительности, конечно, ни один из этих притязаемых максимализмов подлинным максимализмом не был — ни черный, ни красный, ни новоявленный черно-красный. Ибо все это максимализмы средств, не заданий. И во всех трех случаях тяжелые и томительные задачи действительной жизни снижаются до уровня и пределов внешнего общественного строительства и даже простой организации, при жутком нечувствии трагической проблематики духовно-культурного творчества. Во всех трех случаях сказывается духовное опрощение, оскудение и немочь, прикрываемые распущенностью страстей и произвола. И в этом общее между ними. С этим связана и другая общая черта — величайшая духовная узость, кружковский дух, дух самопревозношения и полной презрительности к человеку, к человеческой свободе. От внутренней слабости исчезает понимание того, что только свобода есть достаточная и необходимая среда для подлинного творческого самоопределения и творчества. Искякнувший пафос творчества подменяется пафосом распределения и «водительства», максимализмом власти, не только дерзновенной, но и дерзостной. И в евразийстве, при всех декларациях о «внепартийности», копится и возгорается дух человеконенавистнической нетерпимости, дух властолюбия и порабощения. В нем искривляются все перспективы, все кругозоры. Под прикрытием органических ссылок евразийцы откровенно и открыто подчиняют кружковому суду и разбору всю человеческую жизнь. Они куют на нее идеологические цепи. В евразийстве снова оживает худшая и самая опасная черта старой интеллигентской психологии — делить все на «правое» и «левое», на «благонадежное» и «неблагонадежное», под новыми обозначениями «старое» и «новое», «европейское» и «евразийское». Евразийство по своему психологическому складу есть последнее интеллигентское направление, совмещающее в себе все прежние пороки. Вся задача сводится к тому, чтобы пленить в послушание, в «подданство идее». Психологический тип остается прежним, духовная ткань не обновится, переменятся только слепые вожди у слепых по-прежнему масс. Евразийцы здесь переворачивают перспективу. Действительная религиозная «идеология» есть путь или ступень к вере, а не зрелый плод. Она свидетельствует, исповедует, запечатлевает молитвенный опыт, родится из него. Из идей веры не вырастет, и идеями можно задушить душу, заглушить в ней самую возможность веры. Следовало бы вспомнить хотя бы Достоевского, который с гениальной прозорливостью разоблачил обманы и прелести мечтательных идей и идеологий, их опустошительную вампирическую власть над душой...

С евразийской точки зрения человек всегда «выражает», никогда не творит. И потому вся задача общественного устройства сводится к тому, чтобы каждый выражал не самого себя, не свою обособленную самость, но то высшее «соборное» целое, к которому он органически и кровно принадлежит. Каждый должен превратиться в «о р г а н высшей соборной личности». Евразийцы воскрешают старую мечту о некоем обобществлении человека. Для них порядок обращается: не из личных волей слагается и сростается «общая воля», но в них открывается и проявляется — в каждой по-своему и по-особому, единая в согласном многообразии. И весь процесс определяется сзади, из темных недр народного подсознания. Евразийцы веруют в возможность и действительность общей народной воли. Она для них есть какой-то врожденный инстинкт, «бессознательный, стихийный» и все же «определенный». И остается его расслышать и опознать в самих себе и возвести на ступень разумного познания в четкой и ясной идеологической формулировке. В наивном и жутком нечувствии евразийцы не замечают, что народная воля бывает в колебании и разноречии, что «народный космос» никогда не бывает на одно лицо. Не только потому, что единое лицо проявляется во множественности ликов. В том и трагизм народного духа — и трагизм неизбежный, — что во

множественности эмпирических ликов открывается не одно лицо. Ибо не к одному, но ко многим пределам стремятся составляющие сложного и спутанного процесса народно-исторической жизни, множественные личные пути, — и к пределам взаимно несоизмеримым и даже полярным. В столкновениях и борьбе, в разногласии и спорах отражается несводимая множественность человеческих избраний и пристрастий, расходящихся по смыслу и по знаку, часто многогранных, но свободных. Всегда есть множество «народных волей», разнозначных и разночестных, и никогда они органически не сливаются в симфоническое единство. Но в смутном шуме противоречивых мнений всегда слышится и звучит и голос народной правды. Допустим, «новый народ» родился в России и свидетельствует свою волю. Разве не может «народный дух» ослепнуть и «народная воля» заблудиться, упасть в беснование и обман? Конечно, и в революции и в большевизме выразилось и воплотилось нечто «народное» и «органическое», — но какое, однако, благое или лживое? И пьяный хмель злобы и ненависти, и мстительный угар, и насильничество, и одержимость, и буйство — все это в каком-то смысле действительно «народно». И если Ленин и прочие «воры» действительно «кое-что» выражают от народного духа, если новый правящий слой отчасти «в себе, как в микрокосме, выражает народный космос» — не остается излишним спросить, что же они выражают и все ли благополучно в «народном космосе». Евразийцы задумываются над «силою и длительностью» большевизма, угадывают какое-то его молчаливое «притяжение» народом, хотя бы на время, — уж не знают ли большевики, в самом деле, какую-то тайну народного духа, не владеют ли они каким-то тайным русским словом?.. Допустим, знают; но не есть ли это колдовское и разбойничье слово, бесовский приворот, манящий и лстящий мятежному подполью большой души?..

В евразийской утопии противоречиво переплетаются и спаиваются мотивы органической теории и самого острого, просвещенского рационализма. Здесь евразийцы повторяют марксизм, во всех его внутренних невязках, с его сочетанием эволюционного фатализма и революционного пафоса. Станным образом, революционное действие в марксизме обосновывается и оправдывается в последнем счете именно из исторического фатализма, поскольку действительное революционное меньшинство угадывает и опознает «естественные тенденции развития», выражает и творит высшую историческую необходимость. В известном смысле марксизм как историческая философия завершает диалектику протестантской мысли. Реформация началась с испуга пред человеком, отчаяния пред его немощью и ничтожеством, со страшливой переоценки Божией мощи. И во внутреннем своем раскрытии она обернулась и изшла мирским, безбожным и богоборческим гуманизмом. В протестантских кругозорах совершенно исчезала и исключалась человеческая свобода, но именно поэтому человек оказывался неким медиумом необоримой благодати. Все человеческие действия относились за счет Божией воли и силы. Судьбы мира и истории оказывались путем Божиим, путем Божия самооткровения и самоосуществления. В мире и в человеке Бог впервые становился самим собою. Гегель раскрыл эту тайну протестантизма, и Фейербах договорил ее до конца. В протестантских пределах из этого необоримого фатализма, из этого пленения личности в тенетах хитрого рока, «хитрого разума», оставался единственный выход — в формальный субъективизм кантианского типа, разлагающий историческую объективность, угрожающий безвольным ригоризмом уединенного суждения и оценки. Евразийцы на слово поверили, что от этого сектантского и рассудочного индивидуализма с его атомистическим распадом единственное спасение можно найти в «объективном идеализме», вовлекающем идеальные начала в объективный мировой процесс настолько, что стирается и теряет всякий смысл грань между «должным» и «сущим». Ибо «должное» определяется очередным превращением «сущего». Евразийцы запутались в диалектике «европейской» философии, они сами себя завели в тупики протестантизма. Евразийская историософия не перегорела, не очистилась в животворном искусстве церковного опыта и раздумья. Она всецело замкнута в порочном кругу реформационного оскудения. И евразийцы повторяют и оживляют запоздалые и устарелые грезы ими же обличаемого «еретического Запада». В евразийском восприятии загадка народного лица, загадка народной стихии, заслоняет великую и жуткую тайну народного призвания. Лицо и призвание, они не совпадают, и не всегда по первому разгадать второе. И не только тогда, когда под народным лицом мы разумеем эмпирический облик народа, снятый и запечатленный в том или другом возрасте его исторического существования, но даже и тогда, если в синтетической интуиции мы учтем всю живую совокупность естественных сил и возможностей «народного духа». Ибо народное призвание не исчерпывается самоосуществлением естественного и своеобразного лица. По острому слову Влад. Соловьева, «идея народа есть не то, что он сам думает о себе во времени, но то, что Бог думает о нем в вечности»⁸. Призвание есть зов и задание, поставленное не только в эмпирическом плане, но в горнем и высшем, в Божием замысле и изволении. Оно может быть не узано, не освоено исторической волей народа, может быть ею отвергнуто, не только не осуществлено. Его могут подменить ложные и лживые избрания, самоизмышленные и грешные задачи. И тогда померкнет и опустошится народная душа, хотя и взорвутся в ней бурным пламенем мятежные страсти. Может быть, наступит час бдения и раскаяния. И в

строгом искусстве вернется народ к своему призванию, — но вернется не чрез самоутверждение, не чрез гордость хотя бы очень кровной и коренной стихии, но чрез самоотречение, чрез волевой отказ, чрез покаянное освобождение от тяжелого и рокового наследства, от прежних ложных избраний и порожденного ими злого исторического груза превратных пристрастий и пагубной любви. Надолго, навсегда остаются на историческом лице народа трагические рубцы и швы, следы бывших грехопадений. И в свете горнего призвания они выступают еще резче. «О, недостойная призвания, ты призвана!»⁹ — в этом основное натяжение народно-исторического бытия. Но никогда не бывает исторический путь народов «путем зерна»¹⁰, путем развития. Либо это есть подвиг, подвиг узания и осуществления вышнего зова, либо падение, противление, отступничество, непризнание и неосуществление своего подлинного призвания и задачи.

4

Евразийцы чувствуют и определяют себя как «осознателей русского культурного своеобразия». И с большой настойчивостью и упорством подбирают и накапливают признаки и свидетельства этого своеобразия. В этой регистрации наблюдается немалая наблюдательность. Но со своими реестрами евразийцы плохо справляются и смутно понимают их действительный смысл. Своеобразие они открывают всюду, начиная от «месторазвития» и вплоть до религиозной области. С большим вниманием они изображают в подробностях «географические особенности России», подчеркивают своеобразие этнического состава, не забывая даже об особенностях расового коэффициента гемоагглютинации народов евразийского материка. Они заняты морфологией России-Евразии, и на это уходит все их внимание. Географическое единство и своеобразие «евразийской» территории настолько поражает их, что в их представлениях подлинным субъектом исторического процесса и становления оказывается как бы территория — даже не народы. Поэтому история русского народа и растворяется для них в истории Евразии как своеобразной среды и «месторазвития». Правда, сама территория и з м е н я е т с я в историческом бытии, под «психическим и физическим давлением» населяющих ее народов. Но вместе с тем именно территория является основным фактом и фактором исторического процесса. Евразийцы не отрицают наличности и действительности «начал внеместных», но эти начала неизбежно преломляются через «месторазвития», облакаются в «местные одежды». Это относится даже к «религиозным принципам». Здесь, по евразийскому суждению, пред нами т а к о е же общее начало, как начало «жизни». И подобно тому как «общее начало жизни» осуществляется во множественности видов и «местных» типов, и только в них, так и «религиозные принципы» получают по «месторазвитиям» многообразное выражение и только в совокупности этих «местных» выражений могут осуществиться. «Религиозные начала» таким образом вводятся в состав культурно-типического своеобразия, в множественности «местных одежд», в каждом типе в своей. И в охранении этого своеобразия евразийцы опасаются трогать и менять эти «одежды». В этом есть острый привкус религиозного релятивизма. Точно можно в самом деле все исторические религии и религиозные формы рассматривать как равноправные «индивидуации» или воплощения общей религиозной стихии, одних и тех же «религиозных начал».

Евразийская историософия отделилась по морфологическому типу. Евразийцы остаются морфологами, начиная с давних рассуждений об «Европе и человечестве» и кончая новейшими «основами политики». С морфологической точки зрения, Россия есть особый и особенный, самостоятельный, живой организм, «своеобразная культурно-личность». С этой точки зрения всякий действительный субъект исторического процесса есть некая «симфоническая личность», от рождения и даже от вечности одаренная особыми и определенными задатками и строем, которые должны раскрыться, и в историческом бытии органически раскрываются в системе народно-культурного бытия, — всегда с непреодолимой неполнотой и несовершенством, не в одном, но во многих чередующихся воплощениях, из которых каждое в своем месте и в свое время закономерно и необходимо, как закономерно и необходима и вся совокупность последовательных воплощений. Проблемы своеобразия, самобытности, органической верности врожденному или данному типу — эти морфологические или социологические проблемы занимают полностью весь евразийский кругозор. И при этом кажется, что историческая морфология исчерпывает до дна смысл и содержание культурно-исторической проблемы.

Морфологическое понимание русской самобытности мы впервые, но с полной отчетливостью встречаем у кн. Вл. Одоевского. Народы и все человеческие общества в его представлении суть «живые организмы», и организмы замкнутые и непроницаемые друг для друга. И каждый из них слагается по своему типу и в нем проходит свою историческую судьбу, от младенчества до старческого конца. Из сочетания и смены таких разнообразных и неповторимых народных судеб слагается история человечества. В судьбе современной Европы Одоевский видит все следы старческого разложения, иссякания силы и воли, органический распад и разлад отдельных сфер жизни. На смену

умирающему подрастает новый, свежий и юный народ, полный сил, «непричастный преступлениям старого мира». Историсофические схемы Одоевского как бы продолжает Герцен. Но у Герцена они наполняются обильным фактическим содержанием, получают логический блеск и чекан. Смысл остается тот же. В чередовании времен сменяют друг друга народы, народные организмы, несродные и несходные друг с другом, как несродны и несходны между собою отдельные животные виды. И каждый проходит свой путь, свой круг развития, от зарождения до смерти. Каждая народная жизнь очерчена и ограничена в своих возможностях врожденным составом сил и задатков — и только в бессильной грезе может разорвать этот роковой путь. Запад умирает после долгих веков славной жизни и после бесславной старости, бессильный осуществить свою последнюю мечту и думу — «социализм». И вот на исторической сцене появляется новое племя, новый народ, без грузного прошлого, с избытком мощи и воли к силе, — славяне и Россия. Есть тайное счастье в том, что органическое сложение славянского племени в точности соответствует западному заветному идеалу, который роковым образом расходится с западным европейским органическим типом. И потому предоставленная самой себе, верная своему своеобразию, своему жизненному типу, Россия с неизбежностью пройдет свой особенный путь, непохожий и отличный от европейского; и в органическом развитии своем осуществит социалистическую мечту. Ибо так сложился, так уродился ее живой организм. В понимании Герцена всемирная история, история «человечества», слагается из замкнутых и множественных циклов, совпадающих во времени или сменяющих друг друга. В сущности, это старая биологическая теория постоянства множественных видов, перенесенная в историческую область. Так слагается теория культурно-исторических типов. Странно сказать, но именно Герцена договаривает в своей книге Данилевский и за скучноватым Данилевским блестящий Леонтьев¹¹. Для Леонтьева история есть человеческая биология. Откровенно и открыто он подчиняет жизнь народов и человеческих обществ общим и непреложным законам органической эмбриологии. Из биологии ведут свое начало исторические понятия и представления и Данилевского и Леонтьева. Есть множественность культурно-исторических типов, в своей жизни и развитии замкнутых друг от друга и ограниченных в своих врожденных характерах, но сталкивающихся в борьбе за существование. У каждого все свое. У каждого свои задачи, ибо они поставлены в природном типе и сводятся к полноте и многоцветности проявления своего лица. У каждого свой роковой предел жизни. Смысл народно-исторического существования в полноте цветения, а затем — вырождение и смерть. Запад уже умирает, о России догадка Леонтьева двойится. Мучительная и страдная религиозная драма самого Леонтьева не должна заслонять от нас того неожиданного факта, что у него не было христианской философии истории, — ее заменяла натуралистическая морфология исторической жизни, невольно перерождавшаяся в не-христианскую философию истории. Весь смысл исторического бытия для Леонтьева в том, чтобы жизнь прожить, от зачатия до неизбежного гроба. И каждый должен прожить ее по-своему и как можно ярче. Острый релятивизм исторических суждений Леонтьева только подчеркивается широтой его эстетических пристрастий, которым он не без цинизма подчиняет все мерила и начала оценки, чтобы не урезать, не оскотить полноты и множественности жизненной игры.

И здесь мы подходим к неожиданному наблюдению. Рожденная и построенная в целях опознания и оправдания национального своеобразия, защиты исторической самобытности от идеи «общечеловеческой цивилизации» теория исторических типов приводит к утверждению человечества как единого существа. Исходный «плюрализм» оборачивается под конец самым острым субстанциальным «монизмом». Это понимал и ясно высказывал сам Данилевский, противопоставляя идее «общечеловеческой» цивилизации идею цивилизации «всечеловеческой». Только совокупность разнородных и разнообразных типов и культур совместно выражает богатую и сложную сущность человечества, но именно ее — сущность человечества. «Для коллективного и все же конечного существа человечества», по словам Данилевского, «нет и нет и назначения, другой задачи, кроме одновременного и разноместного (то есть разнопланового) выражения разнообразных сторон и направлений жизненной деятельности, лежащих в его идее и часто несовместимых как в одном человеке, так и в одном культурно-историческом типе развития»¹². Это рассуждение невольно напоминает и предвосхищает мысль Бергсона о веерообразном раскрытии жизненного порыва, во многообразии расходящихся навсегда путей осуществляющего иначе не осуществимую полноту своих изначальных потенций. Во множественности и только в исчерпывающей совокупности типов развития воплощается и осуществляется идея человечества, и каждый тип нужен и неизбежен в свое время, и на своем месте, и именно в своем своеобразии, не ради чего иного, как ради блага или жизненной полноты всевеликого и многоликого Существа. Освобождаемые от гнета и рабства «общечеловеческим идеалам» народы в итоге морфологического толкования оказываются «отданными в кабалу до рождения» роковому процессу всечеловеческого развития и роста. Они живут для себя только по видимости, — в последнем счете они служат, и притом бессознательно и невольно, «прогрессу

кораллового рифа». В таком скудном итоге последняя мудрость исторической морфологии. И в ней не только снимаются оценки, они делаются невозможными. Типы уравниваются по ценности и смыслу, ибо все мерила поглощаются в мериле «всечеловеческой» надобности и пользы.

В евразийской морфологии исторических типов теряется проблема христианской философии истории. Схемы и типы заслоняют конкретную и трагическую судьбу. Евразийцы не пережили до конца тех старых уже русских дум о России, в которых превзойдена узость морфологизма и учтена его правда. Была скрытая, но вещая правда в том, что проблема русского своеобразия была поставлена сразу в виде антитезы России и Европы. Это случилось не только потому, что силою исторических превратностей Россия была брошена в душевные объятия Европы, что внутри самой России сложилась своя внутренняя «Европа» и русский исторический лик двоился. Смысл встречи России и Европы нельзя свести только на «тактическую» необходимость. Напротив, в таком толковании и заключалась основная опасность извращенного «евролеизма». При «тактической» встрече душа, духовная природа Европы остается неузнанной и непонятой, — подлинная встреча не осуществляется, и потому не удастся найти творческую меру соотношения с Европой. «Поворот» к Европе был нужен и оправдывался не техническими потребностями, но единством религиозного задания и происхождения. В этом живом чувстве религиозной связанности и сопринадлежности России и Европы как двух частей, как Востока и Запада, единого «христианского материка», была вещая правда старшего славянофильства, впоследствии с такой трагической силой и яркостью пережитая и выраженная Достоевским. В таком признании не только не стирается, но впервые четко проводится твердая и ясная грань между православной Россией и неправославной Европой, — проводится не морфологическая только грань, но конкретная, религиозно-историческая, с ясным сознанием, насколько в «морфологии» раскрывается внутренняя, свободно-духовная жизнь народов, насколько народы творчески ответственны за свою «морфологию», за свой строй и судьбу. Правда и непроходящая ценность славянофильской философии истории состоит в ее ярком Христостранализме, в чуткой восприимчивости к подлинной исторической динамике, к динамике не только органических круговращений, но и творческого делания и греховного распада. Старшие славянофилы знали и чувствовали трагедию Запада и болели ею и никогда не могли бы сказать, что Запад нам чужой, даже в его грехе и падении. И именно трагедии Запада евразийцы не замечают. Со спутанным и космым набором понятий подошли они к страдной проблеме России и Европы. И не смогли четко поставить проблему ее. Морфологический мотив своеобразия невидяно сплетается у них с мотивом религиозной оценки. И остается до конца неясно, в чем для евразийства корень западноевропейской лжи — в национальной ограниченности или в уклонении злой воли. Иначе сказать, есть ли тот соблазн, о который в своем пути бесспорно преткнулся европейский Запад, есть ли он исключительно западный соблазн, от которого по самому органическому сложению своему застрахован и предохранен евразийский Восток; или это общий, хотя и многовидный соблазн, заложенный в самой динамике греховно-естественного человеческого строя и только подчеркнутый на Западе условиями времени и места... Евразийцы склоняются к первому ответу. Они признают наличность на Западе, даже под покровом ереси, абсолютно ценных аспектов христианства; но эти «аспекты», по их толкованию, остаются «чуждыми православным народам и могут быть раскрыты только народами романо-германскими и жизненно важны именно для них». Под условием отречения от своего горделивого уединения и от ереси Запад мог бы взаимно дополнять Россию в объемлющем симфоническом единстве, но и в своем православии он остался бы чуждым Востоку, замкнутым от него, в своем «аспекте». Евразийцы не понимают до конца трагической судьбы Запада, не понимают вселенского смысла его падения и заблуждения, вселенского смысла «уроков отреченной веры». В небратском отчуждении евразийцы не видят, не чувствуют и не слышат живых, ищущих и страждущих западных людей, пусть слепых и даже злобных, но уже коснувшихся ризы Христовой, уже помазанных Его благодатью. Евразийцы предоставляют их свободе. В евразийстве нет чувства живой и конкретной религиозно-исторической круговой поруки, нет чувства ответственности за врученную России правду Православия. Ересь и раскол вызывают в них отвращение, гнев и злобу вместо жалости, боли и любви, все долготерпящей. Они довольствуются сухим и как бы самодовольным требованием «покаяния». Есть здесь какая-то несправедливая самозамыкающаяся радость о счастливом обладании. Великая правда старших славянофилов была в их остром чувстве русской религиозно-культурной ответственности пред Западом. Россия должна и призвана ответить на западные вопросы. Русская мысль должна перестрадать западные соблазны, ибо это человеческие соблазны, соблазны призванного в Церковь человечества. Нельзя их обойти. Без искуса не закалится мысль. И соблазны снова придут, с незащищенной стороны. Есть некая тайна в том, что именно те, а не иные народы приняли христианство, хотя и не соблюли, не сохранили его. Не все земли открыли христианскому благовестию свое духовное лоно. Нельзя уменьшать ответственность каменных душ. Но не следует впадать в самодовольство о чужой неправде...

Россия не Европа, говорит Данилевский и повторяют евразийцы. Допустим и согласимся. Да, Россия не Европа, но по какому мерилу «не Европа»? В евразийском определении смешиваются географические, этнические, социологические, религиозные мотивы без ясного сознания их разнородности. «Россия не Европа», допустим и в известном смысле согласимся. Географически и биологически не так трудно провести западную границу России и, может быть, даже выстроить на ней стену. Вряд ли так же легко и просто разделить Россию и Европу в духовно-исторической динамике; и вряд ли это нужно. Нужно твердо помнить: имя Христа соединяет Россию и Европу, как бы ни было оно искажено и даже поругано на Западе. Есть глубокая и не снятая религиозная грань между Россией и Западом, но она не устраняет внутренней мистико-метафизической их сопряженности и круговой христианской поруки. Россия, как живая преемница Византии, останется православным Востоком для православного, но христианского Запада внутри единого культурно-исторического цикла.

Россия есть Евразия. Согласимся, но потребуем твердого и ясного определения этого удачного, но смутного имени. В нем есть двусмысленность, и сами евразийцы вкладывают в него разные смыслы. Евразия — это значит: и Европа, и Азия, — третий мир. Евразия — это и Европа и Азия, помесь или синтез двух с преобладанием последнего. Между этими понятиями евразийцы колеблются. Геософически они довольно легко проводят обе границы, и западную и восточную. Но в дальнейших планах восточная граница оставляется расплывчатой, и в пределы Евразии вводится слишком много Азии. Всегда есть пафос отращения к Европе и крен в Азию. О родстве с Азией, и кровном и духовном, евразийцы говорят всегда с подъемом и даже упоением, и в этом подъеме тонут и русские и православные черты. В советской современности, из-под интернационалистической декорации, евразийцы впервые увидели «стихийное национальное своеобразие и не-европейское, полуазиатское лицо России-Евразии», увидели и «Россию подлинную, историческую, древнюю, не выдуманную «славянскую» или «варяжско-славянскую», а настоящую русско-туранскую Россию-Евразию, преемницу великого наследия Чингисхана». «Заговорили на своих признанных теперь официальными языках разные туранские народы, татары, киргизы, башкиры, чувашы, якуты, буряты, монголы стали участвовать наравне с русскими в общегосударственном строительстве, и на самих русских физиономиях, ранее казавшихся чисто славянскими, теперь замечаешь что-то тоже туранское; в самом русском языке раззвучали какие-то новые звукосочетания, тоже «варварские», тоже туранские. Слово по всей России опять, как семьсот лет тому назад, запахло жженым кизяком, конским потом, верблюжьей шерстью — туранским, кочевым... И встает над Россией тень великого Чингисхана, объединителя Евразии...». «Наше отношение к Азии интимнее и теплее, ибо мы друг другу родственнее», — утверждают евразийцы. Евразийская культура именно «в Азии у себя дома», ей ближе всего «азиатские культуры», и «для ее будущего необходимо... совершить организационный поворот к Азии». Смысл и содержание этого поворота остается неясным. Исторического взаимодействия России с Азией не приходится отрицать, и верно, что до сих пор мы это мало знали. Русскую Азию до сих пор мало изучали — и мало чувствовали и понимали русские задачи в Азии. И в этом отношении есть известная правда у евразийцев. Свою русскую Азию, Азию в России, географическую и этническую, необходимо узнать и освоить, понять ее государственный смысл и вес, — но это должно в последнем счете вести к оформлению и укреплению восточной границы России. Верно, в своем народно-государственном сложении и бытии Россия не вмещается в географическую Европу, и «азиатская (зауральская) Россия» не есть колониальный придаток, но живой член единого тела. Однако все это имеет государственный и экономический, но не религиозно-культурный смысл. Евразийцы переходят в этом направлении внутренние меры и расшатывают восточную границу Евразии. Они слишком увлекаются природными, географическими и этническими признаками и забывают, что единственная четкая грань, определяющая без колебания и спора действительные культурно-естественные границы Евразии-России как исторического «третьего мира» (не только как «части света», материка или «континента-океана»), заключается в Православии. Как Правильный мир Россия отлична от латино-протестантской Европы не более, чем от вовсе нехристианской Азии, причем в равной мере в народно-государственном теле России имеются островки и оазисы и Европы и Азии. Правда, евразийцы пытаются утвердить и некое религиозное единство Евразии, странным образом без снятия граней по вере. Они не останавливаются на правиле веротерпимости. Они торопятся под него подвести не только религиозно-нравственное, но религиозно-мистическое основание. Так слагается соблазнительная и лживая теория «потенциального Православия»¹³. В евразийстве сложилась некая розовая сказка об язычестве, и в ней к тому же совершенно забыто коренное различие между «язычеством» до-христианским и «язычеством» после-христианским. Здесь ведь не одно хронологическое различие: в сохранении своего «языческого» облика после Христа исторические субъекты не только мистико-метафизически, но и эмпирически проявляют и упражняют бесспорное противление истине. Никакими историческими

справками нельзя подтвердить евразийского заявления, будто, «не будучи сознательно упорным отречением от Православия и горделивым пребыванием в своей отъединенности, язычество скорее и легче поддается призывам Православия, чем западнохристианский мир, и не относится к Православию с такой же враждебностью». Знакомство с историей православной миссии в «евразийском» мире открыло бы евразийцам нечто иное. И на эту историю нельзя возражать интеллигентской легендой о фальшивых приемах и формах русского миссионерства, вроде того исправника-мусульманина, получившего Владимира в петлицу за обращение магометан в православие, о котором еще рассказывал Герцен. Нужно вспомнить имена святителя Иннокентия Иркутского, митрополита Иннокентия Московского, Нила, архиепископа Ярославского, архимандрита Макария Глухарева, архиепископа Иркутского Вениамина, Казанского архиепископа Владимира, приснопамятного святителя японского Николая¹⁴. Все они пламенели духом чистого апостольства. И сталкивались с упорным противлением не верующего во Христа мира. Надо вспомнить их опыт. И тогда рухнет до основания евразийская декламация об язычестве как не очень стойком, «смутном и начальном опознании истины», декламация о том, что, если «языческий мир свободно устремится к саморазвитию, свободное его саморазвитие будет его развитием к православию и приведет к созданию специфических его форм». Евразийцы чересчур «ценят своеобразие и будущее» евразийского «потенциально православного мира» и во имя этого своеобразия готовы заградить уста благовестникам истины в расчете на саморазвитие «наивного» язычества. Станным образом, под общее и расплывчатое понятие этого будто «наивного» язычества подводится и буддизм (ламаизм) и даже ислам. В русской исторической действительности даже недавнего прошлого именно татаро-мусульманская и монголо-ламайская стихии оказывали бурное противление духу Святой Руси, — не русификации, но духу Православия и церковности. Евразийский рассказ о буддизме и исламе поражает смесью действительной наивности и кощунства. Думается, в прежних суждениях о «религии Индии и христианстве» евразийские авторы были ближе даже к объективно-исторической правде¹⁵, чем в теперешних заявлениях о «предчувствии» Богочеловечества в теории «бодисатв». В перемене евразийского отношения к буддизму есть логика тактики: буддисты оказались не только в Индии и в Европе (под именем теософов), но и в Евразии, и стало необходимо и их как-то ввести в состав евразийского «единства в многообразии»... Об опасностях русского ламаизма евразийцы не то забывают, не то просто не знают. И то же надо сказать об исламе. Опять-таки не приходится говорить и здесь о «нестойкости» и невинности. Религиозное нечувствие евразийцев к языческим ядам, если оно происходит не от приспособительного легкомыслия, является логическим завершением их общего исторического морфологизма, который требует признания, приятия и оправдания всех эмпирически подмечаемых черт «своеобразия». Религиозные характеристики попадают в общий счет. И в конце концов и на Православие евразийцы смотрят и должны смотреть как на культурно-бытовую подробность, как на историческое достоиние России. Евразийцы чувствуют православную стихию, переживают и понимают православие как историко-бытовой факт, как подсознательный «центр тяготения» евразийского мира, как его (именно его) потенцию. И вместе с тем конкретно-практические задачи Евразии они определяют совсем не по этому «центру», не из живого православно-культурного самосознания, но из размысленный теософического, этнического, государственно-организационного порядка. Для них именно «монголы формировали историческую задачу Евразии, положив начало ее политическому единству и основам ее политического строя». И потому Россия превращается в их сознании в «наследие Чингисхана»¹⁶. Россия есть переродившийся «московский улус», и евразийцы даже как бы скорбят о «не осуществившейся исторической возможности» окончательной организации Евразии вокруг Сарая, о не оправдавшемся «предложении» перехода сарайских ханов в православие. Не то не хватило у ханов «свободы самоопределения из себя», не то, вопреки евразийскому мечтанию, «потенциальное православие» татар оказалось мнимым. Соблазнительный и опасный, хотя, может быть, неясный и самым евразийцам смысл превращения России в «улус» и «наследие Чингисхана» заключается в сознательно-волевым выключении России из перспективы истории христианского, крещеного мира и перенесении ее в рамки судеб не-христианской, «басурманской» Азии. В историософическом «развитии по Чингисхану» есть двойная ложь: и крен в Азию, и еще более опасное сужение русских судеб до пределов государственного строительства. При всей правде державного самосознания, оно не должно поглощать в себе культурной воли, воли к духовной свободе. В евразийском толковании русская судьба снова превращается в историю государства, только не российского, а евразийского, и весь смысл русского исторического бытия сводится к «освоению месторазвития» и к его государственному оформлению: «монгольское наследство, евразийская государственность», заслоняет в евразийских схемах «византийское наследство, православную государственность». При этом евразийцы не чувствуют, что вовсе не один «строй идей» получила Россия от Византии, но богатство Церковной жзни. Это и дар, и задание, и призвание. Этим даром задается и определяется «историческая миссия» России, в перспективах культурного бытия, не евразийской «плотью» и не врожденным лицом.

Странное дело, чрез меру словоохотливые на рассуждения о Православии и о Церкви в отвлеченно-метафизическом плане, евразийцы умолкают в плане «феноменологическом», при разборе, толковании и учете действительных, жизненных сил и отношений. В евразийской «феноменологии» русской современности для Церкви места нет. Вместо этого евразийцы рассуждают о русском «мистическом рационализме», о религиозных инстинктах, о «потребностях и навыках» русского сектантства. И призывают совершить какой-то «сектантский исход» — неясно, откуда и куда. По новейшему евразийскому утверждению, «до тех пор, пока в самой сердцевине интеллигенции и народа не зародятся вновь внутренние таинственные процессы сектантского исхода, которые вскружат, поднимут и организуют новых современных людей, до тех пор можно с решительностью сказать, что у русских коммунистов противников нет». В сектантстве евразийцы увидели теперь «метафизический пафос подлинной русской религиозности». Есть большая двусмысленность в евразийском отношении к Церкви. С одной стороны, государство как бы отделяется от Церкви, сохраняя, впрочем, в своей полномочной юрисдикции и власти «представителей Церкви» и, более того, сохраняя за собой право и свободу «р а с к р ы в а т ь р е л и г и о з н у ю с в о ю п р и р о д у и руководствоваться определенными им самим, а не диктуемыми Церковью религиозными конкретными заданиями». Правда, евразийцы поясняют эту мысль как будто успокоительными примерами. Государство «может, например, взять на себя именно в данный момент необходимую защиту Православия от воинствующего католичества и организовать религиозное воспитание и обучение в своих школах, предложив Церкви принять в нем под контролем государства добровольное участие...». Но ведь нетрудно угадать и другие возможности «религиозного» самоопределения и самоуправления евразийского государства. Сами евразийцы намекают, что государство может в видах охраны свободы и самобытности развития нехристианских исповеданий воспретить всякую Православную миссию и благовестие среди иноверцев и сектантов и потребовать молчания Церкви о своих действиях в пользу ислама или буддизма как некоего «потенциального Православия». Не будет ли «религиозная природа» такого государства носить очень соблазнительный характер?..

Нужно сказать больше: в евразийском «государственном максимализме» заложен острый и кощунственный соблазн. В евразийском толковании все время остается неясным, что есть культура (или «культуро-субъект») — становящаяся Церковь или становящееся государство. Евразийцы колеблются между ответами. С одной стороны, «весь мир (есть) единая соборная вселенская Церковь как единая совершенная личность», с другой — только в государстве и именно в нем «симфонический народный субъект» получает свое лицо. И притом нужно помнить, «сфера духовного творчества», потенциально и по заданию объединяемая в Церкви, занимает, по евразийской схеме, место, всецело подчиненное руководящей воле «государственного актива», обладающего ею на началах «безусловного господства». Следует вспомнить, что этот «актив», или Партия с большой буквы, имеет «свою символику и свою мистику»... Не превращается же она в какую-то самозванную «церковь» над Церковью — самозаконная, самодовлеющая, властная... По категорическому разъяснению евразийских авторов, тварные субъекты свое лицо и «личность» вообще получают только и впервые во Христе, чрез причастие единственной подлинной Личности и ипостаси Богочеловека. Не приходится ли, по силе евразийской последовательности, признать, что именно в государстве и только в нем и народы, и составляющие их низшие «соборные» личности приобщаются и соединяются Христу? Такое допущение зловещим, но действительным призраком встает над евразийством, как тень Великого Зверя... В последнем счете, для евразийцев Церковь в государстве, не государство в Церкви, — *ecclesia in re publica*, не *res publica in ecclesia*. Из этих формул, наметившихся во всей остроте еще во времена Равноапостольного Константина, евразийцы выбирают во внутренней воле первую... И с этим связана последняя невязка их религиозно-исторической философии и культуры.

В евразийском толковании путь личности к Богу опосредствован всей сложной системой тех естественных кровных и мирских социальных центров, к которым индивидуум принадлежит. Воссоединяется с «религиозной сущностью мира» личность только в составе объемлющих ее «симфонических» целых. И здесь сказывается острое смещение разноприродных планов, перекрещивающихся, но не сливающихся в историческом становлении. Церковь — «не от мира сего». Конечно, вместе с тем в последнем, религиозно-метафизическом счете Церковь есть идеальная цель и призвание мира. Но это — цель, миру сему, в его кровном и естественном строе, запредельная. Мир «становится» Церковью только в своем п р е с у щ е с т в е н и и, переставая в известном смысле быть самим собою. В этом «становлении» мир перерождается и преображается, как бы перестраивается по иным, сверхтварным началам. Все кровные связи надрываются и отменяются, и слагаются новые, иные, благодатные, по усыновлению Богу через Христа. В Церкви все становится новым. Потому и требуется от оглашаемого в предкрещальном исповедании отречение от мира, от порядка плоти и крови, и только чрез это отречение становится возможным крещальное рождение

от Духа Святого. Христианство требует разрыва самых крепких и дорогих кровных связей: «ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее; и враги человеку домашние его» (Мф. X. 35—36). И этот разрыв родовых и кровных связей требуется не только для подвига личного религиозно-нравственного восхождения, но и для подвига мирского, общественного устройства. «Зане, уды есмы тела Его, от плоти Его и от костей Его. Сего ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два в плоть едину. Тайна сия велика есть: аз же глаголю во Христа и во Церковь» (Еф. V. 30—32). Семья не есть к р о в н а я ячейка или «биологически обоснованный микрокосмос культуры». Нет, христианская семья слагается в р а з р ы в е кровных связей и чрез вольное избрание и свободную любовь, по образу таинственного обручения и брака Христа-Агнца с Церковью. И семья, как некая церковь, есть прообраз и мера всех высших общественных союзов и соединений, когда они устрояются по мере Христовой. Органическая неволя в церковной семье преобразуется в духовную свободу, чрез «благодать чистого единокровия». Церковь есть полнота бытия. Церковь объемлет и должна объять все благое в твари и достойное благодатного увековечения, но объемлет не в порядке достраивания эмпирии до Церкви, н е в п о р я д к е р а з в и т и я м и р а в Ц е р к о в ь, но в порядке его п р е л о ж е н и я в нее как в Тело Христово по новому закону Духа и свободы. Церковь не создается и не осуществляется в процессе мирского культурного строительства. Культура не есть ступень церковного сложения, хотя бы в качестве «начально организованного материала собственного своего церковного бытия». Не все входит в Церковь, многое и слишком многое остается за ее порогом, и не только по греху, но и потому, что не все п р и з в а н о к наследию вечной жизни, — не по несовершенству только, но по инородности небесной жизни. И потому более чем неосторожно сказать, что «Православная русская Церковь эмпирически и есть русская культура, становящаяся Церковью». Евразийцы слишком нагружают Церковь миром и мирским. Плоть и кровь не наследуют вечной жизни. Это не отрывает христианство от земли, не «выпаривает» его из жизни. Но Церковь всегда остается в странствии на исторической земле, всегда чуждая духу века сего, собирая в духовном рождении чад своих из в с я к о г о народа. Евразийцы не чувствуют, что нет и не может быть в падшем человечестве вообще ни одного народа, для которого христианство было бы своим и родным в порядке естественного рождения. И даже для рожденных в православии, то есть от крещеных отцов и матерей, оно остается чужим, до усвоения его в «купели усыновления», до крещального второго рождения; нельзя ссылаться на то, что человеческая душа «по природе» христианка¹⁷ — вернее сказать, христианка п о п р и з в а н и ю, по той идеальной «природе», которая н и к о г д а не была осуществлена и, более того, была отвергнута в вольном человеческом грехопадении и так и осталась заданием и призванием, и притом неосуществимым чисто человеческими силами в их новом разбитом состоянии не только без помощи Божией, но и без «нового творения», без нового акта Божественного снисхождения в тварную жизнь. В грехопадении осуществилась чисто человеческая обезбоженная «природа», «неестественная» в отношении к Божию призванию, и даже противоестественная, но как бы «естественная» в рамках замкнувшейся от Бога твари. И для такой греховной «природы» христианство всегда есть «насилие». «Царствие Божие нудится и нужицы восхищают е»¹⁸... «Развиться» во христианство и до христианства т а к о е человечество само из себя не могло и не может, оно должно переродиться, обновиться в своем естестве. В евразийском изображении этот процесс теряет свою трудность, — у евразийцев есть явный уклон в устарелое пелагианство¹⁹. Воцерковление людей и еще более народов всегда остается незаконченным не в силу одной только эмпирической ограниченности исторического бытия, но и по греховной инертности и «немощи» грешно-естественной среды, сковывающей члены, пленяющей волю. О христианских народах, о Православной России в частности, можно сказать, что они имеют христианское происхождение. Но это происхождение в духе и благодати приходится охранять и сохранять, блюсти и непрестанно воссозидать в неуклонном подвиге и восхождении; это динамический процесс, всегда в какой-то мере над бездною отпадения. Христианство не может всосаться в кровь и держаться силою одной исторической, бытовой инерции. Это творческий процесс, всегда требующий ответственного напряжения. Противоположность «природы» и «благодати» в этом смысле данности и заданности, а не только неполноты и полноты, потенции и акта, всегда остается неснятой и внутри церковно-исторического бытия. Всегда остаются два плана. Конечно, в известном смысле во всяком подлинном воцерковлении побеждается «естества чин». Но не все человеческое перегорает и просветляется в этом процессе. Ибо Царствие Божие не есть «всеединство» в том смысле, что в него войдет н у м е р и ч е с к о е «все», да еще во многообразии своих колеблющихся превращений (а не простых ступеней роста, как представляется иным евразийцам). Кое-что во всяком случае достанется на долю «тмы кромешной». А многое останется просто за порогом вечности, как принадлежность одного только времени, — так, например, все формы земной, народно-государственной и хозяйственной организации, остающиеся и даже освящаемые в оцерковленном бытии, но снимаемые и преодолеваемые в

самой Церкви как таинственным Телом Христовом. Вряд ли и народы как кровные организмы войдут в Царствие, — конечно, печать принадлежитости к данному народу и эпохе как конституционный элемент духовного строя сохранится, как сохранится в воскресшем теле и личный облик плоти, но самые эмпирические и земные формы не войдут в вечное Царство Славы, когда и времени уже не будет, как не входят они и сейчас в Царство Благодати, в эпоху времени и смены. Ибо здесь уже снята грань между варваром и скифом, рабом и свободным, хотя и остается она еще в оцерковленном и околицерковном мире. Идея симфонического многообразия во единстве слепит евразийцев, — их внимание рассеивается по множественности, они подчеркивают различия, и в итоге само православие распадается у них на «многие исповедания», национальные по типу. В этой мысли есть доля правды: каждый верует по-своему, ибо процветающая делами вера есть со своей субъективной стороны неповторимый и незаменимый личный путь и подвиг; неужели же следует говорить и о «личных исповеданиях». О них все же скорее, чем о народных. И, главное, весь смысл и ценность не в том, что разное, но в том, что едино, во Христе, и Он, по апостольскому слову, т о т ж е, и д н е с ь, и до века...

5

Россия в развалинах. Разбито и растерзано ее державное тело. Взбудоражена, и отравлена, и потрясена русская душа, и проходит по мытарствам огненного испытания — и в них перегорает, переплавляется. Видно, не исполнилась еще внутренняя мера, не истекли, не свершились еще тайные времена и сроки. И вспоминаются мудрые слова одного из наших владык. «Доколе, Господи! — спрашиваем и не понимаем, что в нашей это воле, от нас зависит, от нашего подвига и смирения. Вот открылись на Руси дивные знаки Божия промышления — знамения, чудеса... И никто не расслышал, не понял их вешего смысла, — что бдит Господь о России... И знамения сокрылись... Еще рано... Еще не прозрела, не готова наша душа...» Ибо только в ответе на дерзновение взыскующей веры, в ответе на подвиг духовного стяжания откроется Нечаянная Радость — «сверлом Божией воли».

Есть соблазн тонкого маловерия в тоске нетерпеливого ожидания, — и в нем прикрывается лукавая уклончивость немощной воли. В русской смуте открылась снова и поставлена перед нами великая и жуткая задача духовного созидания и воссозидания.

Соблазн слепых мирских пристрастий победил и обессилил и в евразийстве его нечаянную правду. Евразийцы духовно ушиблены нашим «рассеянием», утомлены географической разлукой с родиной. И есть бесспорная правда в живом пафосе родной территории, — дорога и священна родимая земля, и не оторваться от нее в памяти и любви. Но не в крови и почве подлинное и вечное родство. И географическое удаление не нарушает его, если сильны и крепки высшие духовные связи. И за рубежом есть и творится Россия, и в нас, по плоти от нее удаленных, но в воле и духе крепких ей, может и должна созидаться и создается она. И мы можем и должны быть не только сторонними зрителями, но и творческими соучастниками и совершителями русских судеб и русской судьбы, — не в порядке внешнего вмешательства, не в грезах о вторжении и насилии, но в творческом со-переживании, со-страдании и преодолении трагизма русской души, в со-чувственном духовном делании и собирании, в устроении себя в живые камни родного дома. Конечно, по родной территории проходит магистраль родной судьбы. Но и нам доступно духовное со-пробывание с Россией и в России, творческое, действительное и живое. Евразийцы поспешно поверили в наш отрыв от России и в увлечении спором с близорукими эмигрантскими доктринерами преждевременно сами себя убедили, что Зарубежная Россия совсем не Россия и нет в ней и не может быть творческого русского дела. Отсюда какая-то рабская внимательность к советской действительности, какая-то болезненная торопливость сесть на землю, наивное ожидание чудес от земли. В этом дурном кровавом почвенничестве отражается внутренняя бездомность и беспочвенность, психология людей, связанных с родиной только через территорию. Но подлинная связь через любовь и подвиг... В их избрании и воле Восток Ксеркса победил Восток Христа²¹, «Восток съвше»... Не смогли и не сумели они понять и разгадать веший смысл русского искусства, русской судьбы. Не Божий суд и судное испытание распознали они в русской смуте, но откровение стихий. И в стихийном эросе, в вожделении водительства и власти погасла воля к очищению и подвигу. Мечтательный и страстный пафос плоти подавил дух творческой свободы. И жуткие кругозоры русского горя закрыли образ нового Левиафана. В этих грезах нет исхода, нет правды.

Но знаем и верим, пробуждается русская душа и в творческом самоотречении от своего дома прилепляется к Дому Божию. И не в умствованиях, и не в надрыве, но в бдении и подвиге восстанавливает его. Верим и знаем, Великая Россия воскреснет и восстановится тогда, и только тогда, когда воскреснет, восстанет мы в молитвенной силе. Ибо Россия, это — мы, каждый и все, хотя и больше она каждого и всех. Ибо каждый из нас в своем подвиге собирает и созидает Россию и в своей косности и падении разоряет и бесчестит ее. Ибо каждое падение разлагает творимый

народный дух, и в личных возрастаниях святится он и просветляется священнотайно. О семи праведниках миру стояние, и о семи злодеях приходит погибель ему. В самих себе, каждый и все в круговом общении и поруке, должны мы напряжением творческой воли строить и созидать новую Россию, не осуществленную по нашей немощи и небрежению Святую и праведную Русь... И тогда воздвигнутся стены Иерусалимские!²²

Флоровский Георгий Васильевич — выдающийся богослов и историк русской культуры. Родился в Одессе в семье священника. Окончил в 1916 году Новороссийский университет и был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию. В январе 1920 года эмигрировал вместе с родителями в Болгарию, где сблизился с будущими евразийцами Н. С. Трубецким, П. Н. Савицким, П. П. Сувчинским и А. А. Ливеном (вдохновившим друзей на издание в 1921 году первого евразийского сборника «Исход к Востоку»). В августе 1923 года разошелся с евразийцами, хотя делал еще попытки организовать с ними и с представителями более старшего поколения (С. Булгаковым, П. Новгородцевым, В. Зеньковским и другими) двухтомный сборник «Истоки», в котором предполагал поместить и свои статьи «Запад как философская проблема», «Православие как путь творчества».

Печатается по: «Современные записки» (Париж), 1928, № 34, стр. 312—346.

¹ Из баллады А. К. Толстого «Песня о походе Владимира на Корсунь». Слова князя Владимира, сказанные после принятия им христианства.

² Из стихотворения А. К. Толстого «Он водил по струнам; упали...».

³ Псалтирь, 136, 5.

⁴ Из стихотворения А. С. Хомякова «России».

⁵ Сувчинский П. П., «К познанию России» («Евразийский Временник» (Париж), 1927, № 5, стр. 23). Разбираемые далее Флоровским идеи нашли выражение как в данном номере «Евразийского временника», так и в «Евразийской хронике» (Париж, 1927), работе Л. Карсавина «Церковь, личность, государство» (Париж, 1927) и брошюре «Евразийство. Опыт систематического изложения» (Париж, Берлин, 1926).

⁶ Евангелие от Луки, 1, 17.

⁷ Имеется в виду евразийская социально-экономическая программа, противопоставляемая социализму и капитализму.

⁸ Из работы В. С. Соловьева «Русская идея» (см.: Соловьев В. С. Сочинения в 2-х тт. М. 1989, т. 2, стр. 220).

⁹ Из стихотворения А. С. Хомякова «России».

¹⁰ Одноименный сборник стихотворений В. Ф. Ходасевича вышел в 1920 году.

¹¹ Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Изд. 4-е. СПб. 1889; К. Н. Леонтьев развивал идеи Данилевского в статьях, объединенных в сборник «Восток, Россия и славянство» (т. 1; М. 1885).

¹² Данилевский Н. Я. Россия и Европа, стр. 124.

¹³ «Евразийство. Опыт систематического изложения». Париж, Берлин, 1926, стр. 19.

¹⁴ Инокентий (ум. в 1731 году) — святитель, с 1727 по 1731 годы епископ Иркутский; Инокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов, 1797—1879) — с 1868 года митрополит Московский и Коломенский, церковный писатель; Нил (в миру Николай Федорович Исакович, 1799—1874) — архиепископ Иркутский, затем Ярославский, духовный писатель; Макарий (в миру Михаил Яковлевич Глухарев, 1792—1847) — миссионер алтайский, переводчик Библии; Вениамин (в миру Василий Антонович Благодрагов, 1825—1892) — архиепископ Иркутский, миссионер и духовный писатель; Владимир (в миру Иван Петров) — с 1892 года архиепископ Казанский, духовный писатель; Николай (в миру Иван Дмитриевич Касаткин, 1836—1912) — основатель русской православной миссии в Японии, духовный писатель.

¹⁵ Имеется в виду статья Н. С. Трубецкого «Религия Индии и христианство», опубликованная в сборнике «На путях» (Прага, 1922).

¹⁶ Имеется в виду изданная Н. С. Трубецким под криптонимом И. Р. брошюра «Наследие Чингисхана». На Трубецкого при написании этой брошюры оказали влияние слова академика С. Ф. Платонова, сказанные им евразийцам при посещении Берлина в августе 1924 года. «Нарождается, — говорил Платонов, — какой-то новый культурный тип русского человека, происходит какое-то перерождение среднего русского человека; этот новый тип скорее степного, восточного характера... Россия стала восточной страной, передвинулась, так сказать, на Восток» (письмо П. Сувчинского П. Савицкому от 19 августа 1924 года. — ЦГАОР, ф. 5783, оп. 1, ед. хр. 359, л. 91).

¹⁷ Выражение Тертуллиана, христианского теолога, из его трактата «О душе».

¹⁸ Евангелие от Матфея, 11, 12.

¹⁹ Пелагианство — учение христианского монаха Пелагия (ок. 360 — после 418) о возможности преодолеть греховность естественными силами, распространявшееся в противовес концепции благодати Блаженного Августина и признанное ересью.

²⁰ «Бог идеже хочет, побеждается естества чин» (то есть природный порядок) — из Великого канона святого Андрея Критского, богослужебной поэмы, читаемой Великим постом.

²¹ Намек на стихотворение В. С. Соловьева «Ex oriente lux».

²² Псалтирь, 50, 20.

АНТОНИЙ, МИТРОПОЛИТ СУРОЖСКИЙ

*

БЕЗ ЗАПИСОК

Мы раскрываем страницы Евангелия, и наш ум вновь и вновь — в который раз! — поражают слова Иисуса Христа: «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Еще ранее сказано было о Христе устами Иоанна Предтечи, что Он будет крестить — огнем. Вот, значит, как называется то, что дает Христос: огонь. Вера Христова — вера огненная. Таков критерий.

Но как может быть убедительной для неверующего мира весть об огненной вере, если он, этот мир, не видит огненности в тех, кто называет себя верующими? Где там огонь? Воздушные замки мечтательности на религиозные темы, воздушные умствования и теоретизирования, мнения и суждения о вере. Тепловатая вода набожных эмоций. Земляная тяжесть так называемого православного быта (слово-то какое — «быт»!). Вспыхнет на мгновение огонь, озарит, согреет — и снова погаснет. Но есть люди, в которых огонь горит, не угасая ни на минуту, ощутимый в каждом их слове, в каждом взгляде. Огонь, который нельзя подделать, когда его нет, но и нельзя скрыть, когда он есть.

Живущий в Лондоне митрополит Антоний Блум, правящий иерарх Русской Православной Церкви на Британских островах, — человек острого и глубокого ума, незаурядной одаренности. Важнее другое свойство, нечасто встречающееся среди верующих и неверующих: безупречная интеллектуальная честность. Самые благовидные соображения никогда не побудят его закруглить прямому мысли. Он твердо знает и не устает учить нас, что воображаемая встреча воображаемого человека с воображаемым Богом — это духовная погибель. Поэтому его слово точно и предметно, абсолютно свободно от прикрас, тумана, благообразной стилизации. Это не просто литературный стиль — это стиль духовности. Стиль православной аскетике, всегда осуждавшей и мечтательность, и фарисейские словесные церемонии «смиренноглаголания». Уж у него-то ни слушатель, ни читатель не наткнется на красоты слога во вкусе Порфирия Головлева. Понятно, что к нему тянутся люди нашего столетия, уставшие и от наглой лжи, и от застенчивой полуправды, и от имитации под благочестивую старину. И все-таки самые разные люди — русские и англичане, от носителей православной традиции до хиппи включительно — не ощущали бы к его проповеди такого безусловного доверия, если бы присутствие огня не было таким явственным. Того огня, о котором говорил Христос. Проповедь — это не всегда слова. Помню, меня поразило в одной московской церкви, как после обедни сотни верующих подходили к нему под благословение, и он успевал посмотреть в глаза каждому — каждому! — таким огненно-сосредоточенным взглядом, словно во всей вселенной только двое: этот человек — и он.

Владыка Антоний Блум — очень современный человек в лучшем смысле этих слов, потому что он не уклонился от того, чтобы с полной внутренней честностью перечувствовать и продумать опыт нашего времени. Потому что он никогда не поддается соблазну — уйти из реальности в, воображаемую старину. Но, будучи нашим современником, он одновременно современник святых древних времен, ибо духовные вопросы стоят для него с той же жгучей серьезностью, с какой стояли для них. Те же самые вопросы.

Уже во времена святого Симеона Нового Богослова были люди, которые полагали, что мера святости, некогда возможная, стала невозможной, а потому приходится понизить требования к себе. Великий мистик XI века учил, что такое мнение не просто ересь, а всем ересям ересь.

Апостол Павел напоминает: «Иисус Христос вчера, и сегодня, и вовеки». Это самое главное: христиане всех времен — современники друг другу потому, что они призваны быть современниками Христа. Все в христианстве — и вероучительные догматы, и таинства, и обряды, и Церковь

как таинство таинств — должно быть реальностью личного отношения к живому Христу. Христианин — это тот, кто ответил на слова Христа: «Ты иди за Мною».

Об этом нам может рассказать владыка Антоний, потому что он, без всяких метафор, вправду увидел живого Христа. И как увидел! из глубины боли, протеста, озлобленности, делающих все набожные фразы былых времен невыносимыми. Из той глубины, в которой человек не может принять ничего, кроме Бога.

С. АВЕРИНЦЕВ.

Расскажите, пожалуйста, о вашем детстве.

У меня очень мало воспоминаний детства; у меня почему-то не задерживаются воспоминания. Отчасти потому, что очень многое наслепилось одно на другое, как на иконах: за пятым слоем не всегда разберешь первый; а отчасти потому, что я очень рано научился — или меня научили, — что, в общем, твоя жизнь не представляет ни к а к о г о интереса, интерес представляет только то, д л я ч е г о ты живешь. И поэтому я никогда не старался запоминать ни события, ни последовательность их, раз это никакого отношения ни к чему не имеет... Прав я или не прав, это дело другое, но так меня прошколили очень рано. И поэтому у меня в воспоминаниях очень много пробелов.

Родился я случайно в Лозанне, в Швейцарии¹; дед мой Скрябин, с материнской стороны, был русским консулом на Востоке, в тогдашней Османской империи, сначала в Турции, в Анатолии, а затем в той части, которая теперь Греция, и мой отец встретился с этой семьей, потому что тоже шел по дипломатической линии и был в Эрзеруме секретарем у моего будущего деда. Дед мой был тогда уже в отставке и проводил время в Лозанне (1912—1913 годы), отец же был в этот период назначен искусственно консулом в Коломбо. Это было назначение, но туда никто не ездил, потому что там ничего не происходило, и человека употребляли на что-нибудь другое, полезное, но он числился в Коломбо. И вот чтобы отдохнуть от своих коломбских трудов, они с моей матерью поехали в Швейцарию к ее отцу и моей бабушке.

Бабушка, мать моей матери, родилась в Италии — тогда это была Австрия; она родилась в Триесте, но Триест в то время входил в Австро-Венгерскую империю; про ее отца я знал только, что его звали Илья, потому что бабушка была Ильинична; они были итальянцы. Мать моей бабушки позже стала православной с именем Ксения; когда бабушка вышла замуж, ее мать уже была вдова и уехала с ними в Россию.

Было их три сестры; старшая была умная, живая, энергичная (впоследствии она была замужем за австрийцем) и до поздней старости осталась такой же; и жертвенная была до конца. Она болела диабетом, и напоследок у нее случилась гангрена, хотели оперировать, ей тогда было лет под восемьдесят, она сказала — нет, ей все равно умирать скоро, операция будет стоить денег, а эти деньги она может оставить сестре; так она и умерла. Так это мужественно и красиво. Младшая же бабушкина сестра была замужем за хорватом и крайне несчастна.

Мой дед Скрябин был в Триесте русским консулом, познакомился с этой семьей и решил жениться на бабушке, к большому негодованию ее семьи, потому что замуж сначала следовало выдавать, конечно, старшую сестру, а бабушка средняя была. И вот семнадцать лет она вышла замуж. Она была, наверное, удивительно чистосердечная и наивная, потому что и в девяносто пять лет она была удивительно наивна и чистосердечна. Она, например, не могла себе представить, чтобы ей соврали; вы могли ей рассказать самую невозможную вещь — она на вас смотрела такими детскими, теплыми, доверчивыми глазами и говорила: это п р а в д а?!

Вы провалили? В каких случаях? При необходимости?

Конечно, провалил. Без необходимости, а просто ей расскажешь что-нибудь несветимое, чтобы рассмешить ее, как анекдот рассказывают. Она и я никогда не умели вовремя рассмеяться; когда нам рассказывали что-нибудь смешное, мы всегда сидели и думали. Когда мама нам рассказывала что-нибудь смешное, она нас сажала рядом на диван и говорила: я вам сейчас расскажу что-то смешное, когда я вам подам знак, вы смейтесь, а потом будете думать...

Дедушка решил учить ее русскому; дал ей грамматику и полное собрание сочинений Тургенева, словарь и сказал: вот теперь читай и учись. И бабушка действительно до конца своей жизни говорила тургеневским языком; она никогда о ч е н ь хорошо по-русски не говорила, но говорила языком Тургенева, и подбор слов был такой.

Вы, значит, еще и итальянец?

Очень мало, я думаю; у меня такая реакция антиитальянская, они мне по характеру с о в е р ш е н н о не подходят. Вот страна, где я ни за что не хотел бы жить; я ездил, когда был экзархом, в

¹ 19 июня 1914 года.

Италию, и всегда с таким чувством: Боже мой! н а д о в Италию... У меня всегда было такое чувство, что Италия — это опера в жизни: ничего реального. Мне не нравится итальянский язык, мне не нравится их вечная возбужденность, драматичность, так что Италия, пожалуй, из всех стран, которые я знаю, — последняя страна, где бы я поселился.

После свадьбы с бабушкой они приехали в Россию. Позже мой дед служил на Востоке, а мама тогда была в Смольном и приехала на каникулы к родителям (шесть дней на поезде из Петербурга до персидской границы, а потом на лошадях до Эрзерума), где и познакомилась с моим отцом, который был драгоманом, то есть, говоря по-русски, переводчиком в посольстве. Потом дед кончил срок своей службы, и, как я сказал, они уехали в Швейцарию — моя мать уже была замужем за моим отцом. А потом была война, и на войне погиб первый бабушкин сын; потом, в 1915 году, умер Саша, композитор; к тому времени мы сами — мои родители и я, с бабушкой же, — попали в Персию (отец был назначен туда). Бабушка всегда была на буксире, она пассивная была, очень пассивная.

А мать была, видимо, наоборот, очень интенсивная?

Она интенсивная не была, она была энергичная, мужественная. Например, она ездила с отцом по всем горам, ездила верхом хорошо, играла в теннис, охотилась на кабана и на тигра — все это она могла делать. Другое дело, что она совсем не была подготовлена к эмигрантской жизни, но она знала французский, знала русский, знала немецкий, знала английский, и это, конечно, ее спасло, потому что, когда мы приехали на Запад, время было плохое, был 1921 год и была безработица, но тем не менее со знанием языка можно было ч т о - т о получить; потом она научилась стучать на машинке, научилась стенографии и работала уже всю жизнь.

Как отцовские предки попали в Россию, мне неясно, я знаю, что они в петровское время из Северной Шотландии попали в Россию, там и осели. Мой дед со стороны отца еще переписывался с двоюродной сестрой, жившей на северо-западе Уэстерн-Хайлендс; она была уже старушка, жила одна, в совершенном одиночестве, далеко от всего и, по-видимому, была мужественная старушка. Единственный анекдот, который я о ней знаю, это из письма, где она рассказывала деду, что ночью услышала, как кто-то лезет вверх по стене; она посмотрела и увидела, что на второй этаж поднимается по водосточной трубе вор, взяла топор, подождала, чтобы он взялся за подоконник, отрубила ему руки, закрыла окно и легла спать. И все это она таким естественным тоном описывала — мол, вот какие бывают неприятности; когда живешь одна. Больше всего меня поразило, что она могла закрыть окно и лечь спать; остальное — его дело.

Жили они в Москве, бабушка был врачом, а отец учился дома с двумя братьями и сестрой; причем дед требовал, чтобы они полдня говорили по-русски, потому что естественно — местное наречие; а другие полдня — один день по-латыни, другой день по-гречески сверх русского и одного иностранного языка, который надо было учить для аттестата зрелости, — это дома. Ну а потом он поступил на математический, кончил и оттуда — в школу министерства иностранных дел, дипломатическую школу, где проходили восточные языки и то, что нужно было для дипломатической службы.

Отец рано начал ездить на Восток; еще семнадцати-восемнадцатилетним юношей он ездил на Восток летом, во время каникул, верхом один через всю Россию, Турцию — это считалось полезным. Про его братьев я ничего не знаю, они оба умерли; один был расстрелян, другой умер, кажется, от аппендицита. А сестра была замужем в Москве за одним из ранних большевиков; но я не знаю, что с ней случилось, и не могу вспомнить фамилию; долго помнил, а теперь не могу вспомнить. Вдруг бы оказалось, что кто-то еще существует: со стороны отца у меня ведь никого нет...

Моя бабушка с папиной стороны была моей крестной; на крестинах не присутствовала, только «числилась» — вообще это, думаю, не особенно всерьез принималось, судя по тому, что никто из моих никогда в церковь не ходил до того, как впоследствии я стал ходить и стал их «водить»; отец начал ходить до меня, но это было уже значительно позже, после революции, конец 20-х — начало 30-х годов.

В Лозанне в 1961 году я встретил священника, который меня крестил. Была очень забавная встреча, потому что я приехал туда молодым епископом (молодым по хиротонии), встретил его, говорю: «Отец Константин, я так рад вас снова повидать!» Он на меня посмотрел, говорит: «Простите, вы, вероятно, путаете, мы, по-моему, с вами не встречались». Я говорю: «Отец Константин! Как вам не стыдно, мы же с вами знакомы годами — и вы меня не узнаете?» — «Нет, простите, не узнаю...» — «Как же, вы же меня крестили!..» Ну, он пришел в большое возбуждение, позвал своих прихожан, которые там были: смотрите, говорит, я крестил архиерея!.. А в следующее воскресенье я был у него в церкви, посередине церкви была книга, где записываются крестины, он мне показал, говорит: «Что же это значит, я вас крестил Андреем — почему же вы теперь Антоний?» В общем, претензия, почему я переименовал имя. А потом он служил и читал Евангелие по-русски, и я не узнал, к сожалению, что это русский язык был... Говорили мы с ним по-французски, служил он по-гречески, а Евангелие в мою честь читал на русском языке, — хорошо, что кто-то мне

подсказал: вы заметили, как он старался вас ублажить, как он замечательно по-русски читает?.. Ну, я с осторожностью его поблагодарил.

Ну вот, месяца два после моего рождения мы прожили с родителями в Лозанне, а потом вернулись в Россию. Сначала жили в Москве, в теперешнем скрябинском музее, а в 1915—1916 году мой отец был снова назначен на Восток, и мы уехали в Персию. И там я провел вторую часть относительно раннего детства, лет до семи.

Воспоминаний о Персии у меня ясных нет, только отрывочные. Я, скажем, глазами сейчас вижу целый ряд мест, но я не мог бы сказать, где эти места. Например, вижу большие городские ворота; это, может быть, Тегеран, может быть, Тавриз, а может быть, и нет; почему-то мне снится, что это Тегеран или Тавриз. Затем мы очень много ездили, жили примерно в десяти разных местах.

Потом у меня воспоминание (мне было лет, я думаю, пять-шесть), как мы поселились недалеко, опять-таки, кажется, от Тегерана, в особняке, окруженном большим садом. Мы ходили его смотреть. Это был довольно большой дом, весь сад зарос и высох, и я помню, как я ходил и ногами волочил по сухой траве, потому что мне нравился треск этой высохшей травы.

Помню, у меня был собственный баран и была собственная собака; собаку разорвали другие уличные собаки, а барана разорвал чей-то пес, так что все это было очень трагично. У барана были своеобразные привычки: он каждое утро приходил в гостиную, зубами вынимал из всех ваз цветы и их не ел, но клал на стол рядом с вазой и потом ложился в кресло, откуда его большей частью выгоняли; то есть в свое время всегда выгоняли, но с большим или меньшим возмущением. Постепенно, знаете, все делается привычкой; в первый раз было большое негодование, а потом просто очередное событие: надо согнать барана и выставить вон...

Был осел, который, как все ослы, был упрям. И для того чтобы на нем ездить, прежде всего приходилось охотиться, потому что у нас был большой парк и осел, конечно, предпочитал пастись в парке, а не исполнять свои ослиные обязанности. И мы выходили целой группой, ползали между деревьями, окружали зверя, одни его пугали с одной стороны, он мчался в другую, на него накидывались, и в конечном итоге после какого-нибудь часа или полутора часов такой оживленной охоты осел бывал пойман и оседлан. Но этим не кончалось, потому что он научился, что если до того, как на него наложат седло, он падет наземь и начнет валяться на спине, то гораздо труднее будет его оседлать. Местные персы его отучили от этого тем, что вместо русского казачьего седла ему приделали персидское деревянное, и в первый же раз, как он низвергся и повалился на спину, он мгновенно взлетел с в о е м, потому что больно оказалось. Но и этим еще не кончалось, потому что у него были принципы: если от него хотят одного, то надо делать другое, и поэтому если вы хотели, чтобы он куда-то двигался, надо было его обмануть, будто вы хотите, чтобы он не шел. И самым лучшим способом было воссесть очень высоко на персидское кресло, поймать осла за хвост и потянуть его назад, и тогда он быстро шел вперед. Вот воспоминание.

Еще у меня воспоминание о первой железной дороге. Была на всю Персию одна железная дорога, приблизительно в пятнадцать километров длиной, между не то Тегераном, не то Тавризом и местом, которое называлось Керманшах и почиталось (почему — не помню) местом паломничества. И все шло замечательно, когда ехали из Керманшаха в город, потому что дорога под гору шла. Но когда поезд должен был тянуть вверх, он доходил до мостика, вот такого, с горбинкой, и тогда все мужчины вылезали, и белые, европейцы, люди знатные, шли рядом с поездом, а люди менее знатные толкали. И когда его протолкнул через эту горбинку, можно было снова садиться в поезд и даже очень благополучно доехать, что было, в общем, очень занимательно и большим событием: ну подумайте — пятнадцать километров железной дороги!

Затем, когда мне было лет семь, я сделал первое великое открытие из европейской культуры: первый раз в жизни видел автомобиль. Помню, бабушка подвела меня к машине, поставила и сказала: «Когда ты был маленький, я тебя научила, что з а лошадьё не стоят, потому что она может лягнуться; теперь запомни: п е р е д автомобилем не стоят, потому что он может пойти». Тогда автомобили держали только на тормозах, и поэтому никогда не знаешь, пойдет или не пойдет.

Были у вас какие-нибудь гувернеры?

В Персии была русская няня на первых порах; потом был период, примерно с 1918 по 1920 год, когда никого не было — бабушка, мама; были разные персы, которые научили ездить верхом на осле и подобным вещам. Из культурной жизни ничего не могу сказать, потому что не помню, в общем, ничего. Было блаженное время — в школу не ходил, ничему меня не учили, «развивали», как бабушка говорила. Бабушка у меня была замечательная; она страшно много мне вслух читала, так что я не по возрасту много «читал» в первые годы: «Жизнь животных» Брема, три-четыре тома, все детские книги — можете сами себе представить. Бабушка могла читать часами и часами, а я мог слушать часами и часами. Я лежал на животе, рисовал или просто сидел и слушал. И она умела читать; во-первых, она читала красиво и хорошо, во-вторых, она умела сделать паузу в те

моменты, когда надо было дать время как-то реагировать; периодически она переставала читать, мы ходили гулять, и она затевала разговоры, о чем мы читали: нравственные оценки, чтобы это дошло до меня не как развлечение, а как вклад, и это было очень ценно, я думаю.

В 1920 году мы начали двигаться из Персии вон: перемена правительства, передача посольства и т. д. Отец остался, а мать, бабушка и я, мы пустились в дорогу куда-то на запад. У нас был дипломатический паспорт на Англию, куда мы так никогда и не доехали; вернее, доехали, но уже значительно позже, в 1949 году. И вот отчасти верхом, отчасти в коляске проехали по северу Персии глубокой зимой, под конвоем разбойников, потому что это было самое верное дело. В Персии в то время можно было ездить под двумя конвоями: или разбойников, или персидских солдат. И самое неверное дело был конвой персидских солдат, потому что они и не п р е м е н н о вас ограбят, но вы на них жаловаться не можете: как же так? мы же их и не думали грабить! мы же их защищали! кто-то на них напал, но мы не знаем, наверно, переодетые!.. Если показывались разбойники, конвой сразу исчезал: зачем же солдаты будут драться, рисковать жизнью, чтобы их еще самих ограбили? А с разбойниками было гораздо вернее: они либо охраняли вас, либо просто грабили.

Ну вот, под конвоем разбойников мы и проехали весь север Персии, перевалили через Курдистан. Сели на баржу, проехали мимо земного рая: еще до этой войны там показывали земной рай и дерево Добра и Зла — там, где Тигр и Евфрат соединяются. Это замечательная картина: Евфрат широкий, синий, а Тигр быстрый, и воды его красные, и он врезается в Евфрат, и несколько сот метров еще видно в синих водах Евфрата струю красных вод Тигра... И вот там довольно большая поляна в темном лесу и посреди поляны огражденное решеточкой м а л е н ь к о е иссохшее деревце: вы же понимаете, что оно, конечно, высохло с тех пор... Оно все увешано маленькими тряпочками: на Востоке в то время, не знаю, как теперь, когда вы проходили мимо какого-нибудь святого места, то отрывали лоскут одежды и привешивали к дереву или к кусту или, если нельзя было это сделать, клали камень, и получались такие груды. И там это деревце стояло; оно чуть не потерпело крушение, потому что во время второй мировой войны американские солдаты его вырыли, погрузили на джип и собирались уже везти в Америку: дерево Добра и Зла — это же куда интереснее, чем перевезти какой-нибудь готический собор, все-таки гораздо старше. И местное население их окружило и н е д а л о джипу двигаться, пока командование не было предупреждено и их не заставили врыть обратно дерево Добра и Зла. Так что оно еще, вероятно, там и стоит...

В этот период я в первый и в последний раз курил. На пути было удивительно голодно и еще более, может быть, скучно, и я все ныл, чтобы мне что-нибудь дали съесть, чтобы скоротать время. А есть было нечего, и моя мать пробовала отвлечь мое внимание папиросой. В течение недели я пробовал курить, пососал одну папиросу, пососал другую, пососал третью, но понял, что папироса — это чистый обман, что это не пища и не развлечение, и на этом кончилась моя карьера курильщика. Потом тоже не курил, но совсем не из добродетельных соображений, а мне говорили, что вот закуришь, как все, а я не хотел быть как все; после говорили, что когда попадешь в анатомический театр, закуришь, потому что иначе никто не выдерживает, и я решил — у м р у, но не закурю; говорили, что когда попаду в армию, закурю, но так и не закурил.

Так мы доехали до Басры, и так как в то время в океане были мины, то самый короткий путь на запад был от Басры в Индию, и мы проехали на восток, к Индии; там прожили с месяц, и единственное, что я помню, это красный цвет бомбейских зданий, это высокие башни, куда персы складывают своих усопших, чтобы их хищные птицы съели, и целые стаи орлов и других хищных птиц, которые кружили вокруг этих башен; это единственное воспоминание, которое у меня осталось, кроме еле выносимой жары.

А затем нас отправили в Англию, и тут я был полон надежд, которые, к сожалению, не оправдались. Нас посадили на корабль, предупредив, что он настолько обветшал, что, если будет буря, н е п р е м е н н о потерпит крушение. А я начитался «Робинзона Крузо» и всяких интересных вещей и, конечно, м е ч т а л о буре. Кроме того, капитан был полон воображения, если не разума, и решил, что всем членам семьи зараз погибать не надо, и поэтому маму приписал к одной спасательной лодке, бабушку — к другой, меня — к третьей, чтобы хоть один из нас выжил, если будем погибать. Мама очень несочувственно относилась к мысли о кораблекрушении, и я никак не мог понять, как она может быть такой неромантической.

Ну, в общем, двадцать три дня мы плыли из Бомбея до Гибралтара, а в Гибралтаре так и стали: корабль решил никогда больше не двигаться никуда. И нас высадили, причем большую часть багажа мы получили, но один большой деревянный ящик утлыл, то есть был перевезен в Англию, и мы получили его очень много лет спустя; англичане нас где-то отыскали и заставили уплатить фунт стерлингов за хранение. Это было громадное событие, потому что это был один из тех ящиков, куда в последнюю минуту вы сбрасываете все то, что в последнюю минуту вы н е м о ж е т е оставить. Сначала мы разумно упаковали то, что н у ж н о было, потом — что м о ж н о было, и оставили

то, что и к а к уже нельзя было взять, а в последнюю минуту — сердце не камень, и в этот ящик попали самые, конечно, драгоценные вещи, то есть такие, которые меня как мальчика потом интересовали в тысячу раз больше, чем теплое белье или полезные башмаки. Но это случилось уже позже.

И вот мы пропутешествовали через Испанию, и единственное мое воспоминание об Испании — это Кордова и мечеть. Я ее не помню глазами, но помню впечатление какой-то дух захватывающей красоты и тишины. Затем север Испании: дикий, сухой, каменистый и который так хорошо объясняет испанский характер.

Затем попали в Париж, и там я сделал еще два открытия. Во-первых, в первый раз в жизни я обнаружил электричество — что оно вообще существует; мы куда-то въехали, было темно, и я остановился и сказал: надо лампу зажечь. Мама сказала: нет, можно зажечь электричество. Я вообще не понимал, что это, и вдруг услышал: чик — и стало светло. Это было большим событием; знаете, в позднейших поколениях этого не понять, потому что с этим рождаются; но тогда это было такое непонятное явление, что может в д р у г появиться свет, в д р у г погаснуть, что не надо заправлять лампу, что она не коптит, что не надо чистить стекла — целый мир вещей исчез...

А второе, что я открыл, это что есть люди, которых на улице давить нельзя. Потому что в Персии было так: по улице мчится или всадник или коляска, и всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене; если ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют, а если не кинешься — тебя опрокинут: сам виноват, чего лезешь под ноги лошади! И вот мы ехали, по-моему, в первый день с вокзала на такси по Елисейским полям, то есть по громадной улице, — тогда почти не было автомобилей, все было очень открыто, не было никаких магазинов вдоль улицы, это было очень красиво, — и вдруг я вижу: посреди улицы стоит человек и никуда не кидается, просто стоит как вкопанный, и коляски, автомобили вот так проходят. Я схватил маму за руку, говорю: мама! его надо спасти! мы ведь тоже были на машине, могли остановиться и сказать: скорей, скорей влезай, спасем! И вот мама мне сказала: н е т, это городской. Ну так что же, что он городской?! Мама говорит: г о р о д о в о г о н е л ь з я д а в и т ь... Я подумал: это же чудо! Если стать городовым, то можно на всю жизнь спастись от всех бед и несчастий! Со временем я несколько переменял свои взгляды, но в этот момент я действительно переживал это как дипломатический иммунитет: стоишь — и тебя н е м о г у т раздавить! Вы понимаете, что это значит?! Вот это было второе большое событие в моей европейской жизни.

Это все, что я тогда в Париже обнаружил. Потом мы поехали в Австрию — всё в поисках какой-нибудь работы для матери, — а в Австрии еще была жива бабушкина старшая сестра, которая была замужем за австрийцем: Потом поехали в северную Югославию, в область Загреба и Марибора. Там мы жили какое-то время на ферме, мне было тогда лет семь, и я что-то подрабатывал, делая, вероятно, никому не нужные какие-то работы. Затем снова вернулись в Австрию, потому что в Югославии нечего было делать, и полтора года сидели в Вене.

И там мне пришлось пережить первые встречи с культурой: меня начали учить писать и читать, и я этому поддавался очень неохотно. Я никак не мог понять, зачем это мне нужно, когда можно спокойно сидеть и слушать, как бабушка читает вслух — так гладко, хорошо, — зачем же еще что-то другое? Один из родственников пытался меня вразумить, говоря: видишь, я хорошо учился, теперь имею хорошую работу, хороший заработок, могу поддерживать семью... Ну, я его только спросил: ты не мог бы делать это за двоих?

Так или иначе, в Вене я попал в школу и учился года полтора и отличился в школе очень позорным образом — вообще школа мне не давалась в смысле чести и славы. Меня водили как-то в зоологический сад, и, к несчастью, на следующий день нам задали классную работу на тему «чем вы хотите быть в жизни». И конечно, маленькие австрийки написали всякие добродетельные вещи: один хотел быть инженером, другой доктором, третий еще чем-то; а я был так вдохновлен тем, что видел накануне, что написал — даже с ч у д н о й, с моей точки зрения, иллюстрацией — классную работу на тему: «Я хотел бы быть обезьяной». На следующий день я пришел в школу с надеждой, что оценят мои творческие дарования. И учитель вошел в класс и говорит: вот, мол, я получил одну из ряда вон выдающуюся работу. «Встань!» Я встал — и тут мне был разнос, что «действительно видно: русский варвар, дикарь, не мог ничего найти лучшего чем возвращение в лоно природы» и т. д. и т. п.

Вот это основные события из школьной жизни там. А два года назад² я впервые снова попал в Вену и наговаривал ленты для радио, и тот, кто делал запись, меня спросил, был ли я когда-нибудь в Вене. «Да». — «А что вы тогда делали?» — «Я был в школе». — «Где?» — «В такой-то». Оказалось, что мы одноклассники, после пятидесяти лет встретились; ну конечно, друг друга не узнали, и дальше знакомство не пошло.

² Рассказ записан в 1973 году.

А на каких языках вы с детства говорили?

Меня с детства заставляли говорить по-русски и по-французски; по-русски я говорил с отцом, по-французски — с бабушкой, на том и на другом языке с матерью. И единственное, что было запрещено, это мешать языки, это преследовалось очень строго, и я к этому просто не привык. Ну, по-персидски говорил свободно. Это я, конечно, забыл в течение трех-четырёх лет, когда мы уехали из Персии, но интересно, что когда я потом жил в школе-интернате и во сне разговаривал, видел сны и говорил, я говорил по-персидски, тогда как наяву уже ни звука не мог произнести и не мог понять ни одного слова. Любопытно, как это где-то в подсознании осталось, в то время как из сознания изгладилось совершенно. Потом немецкий: меня в раннем детстве научили произносить немецкий по-немецки, это очень помогло и теперь помогает. В хорошие дни у меня по-немецки, в общем, меньше акцента, чем по-французски. Когда ты год не говоришь на каком-то языке, потом ты уже ничего не можешь. Но самый замечательный комплимент, который я не так давно получил о немецком, это от кёльнского кардинала, который был слеп; и когда я с ним познакомился, мы с ним поговорили, и он мне сказал: «Можно вам задать нескромный вопрос?» Я говорю: да. «Каким образом вы, немец, стали православным?» Я задрал нос, потому что слепой человек большей частью чуток на звук. Но это был хороший день просто, потому что в более усталые дни я не всегда так хорошо говорю, но могу, когда случится... Испанский — читаю; итальянский — это вообще не проблема; ну, голландский, он легкий, потому что страшно похож на немецкий язык XII—XIII веков. Когда голова совсем дуреет, читаю для отдыха немецкие стихи этой эпохи.

А когда вы маленьким были, были какие-то обязанности, или просто как рос, так и рос?

О нет! Прежде всего с меня ничего не требовали неразумного, то есть у меня никогда не было чувства, что требуют, потому что родители большие и сильные и поэту могут сломить ребенка. Но с другой стороны, если что-то говорилось — и н и к о г д а не отступали. И — я этого не помню, мама мне потом рассказывала — она мне как-то раз что-то велела, я воспротивился, мне было сказано, что так оно и будет, и я два часа катался по полу, грыз ковер и визжал от негодования, отчаяния и злости, а мама села тут же в комнате в кресло, взяла книжку и читала, ждала, чтобы я кончил. Няня несколько раз приходила: барыня, ребенок надорвется! А мама говорила: няня, уйдите! Когда я кончил, вывопился, она сказала: ну кончил? теперь сделай то, что тебе сказано было. Это был абсолютный принцип.

А потом принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не преследовали. Скажем, меня могли наказать, но в этом всегда был смысл, мне не приходилось иметь потаенную жизнь, как иногда случается, когда с детьми обращаются не в меру строго или несправедливо: они начинают просто лгать и устраивают свою жизнь иначе.

У нас была общая жизнь; ответственности требовали от меня, — скажем, с раннего детства я убирал свою комнату: стелил постель, чистил за собой. Единственное, чему меня н и к о г д а не научили, это чистить башмаки, и я уже потом, во время войны, нашел духовное основание этого не делать, когда прочел у кюре д'Арса³ фразу, что вакса для башмаков то же самое, что косметика для женщины, и я страшно обрадовался, что у меня есть теперь оправдание. Знаете, у всякого ребенка есть какие-то вещи, которые он находит ужасно скучными. Я всегда находил ужасно скучным пыль вытирать и башмаки чистить. Теперь-то я научился делать и то и другое. Ну и потом все домашние работы мы делали вместе, причем именно в м е с т е, и не то что «пойди и сделай, а я почитаю», а «давай мыть посуду», «давай делать то или другое», и меня научили как будто.

Это еще в Персии?

Нет, тогда была совсем, насколько я помню, свободная жизнь: большой сад при посольском имени, осел, — ничего, в общем, не требовалось. Кроме порядка: никогда бы мне не разрешили пойти гулять, если не прибрал книги или игрушки, или оставил комнату в беспорядке, — это было немислимо.

И теперь я так живу; скажем, облачения и алтарь я после каждой службы убираю, даже если между службами Выноса Плащаницы и Погребения остаются какие-нибудь полтора часа, все складываю. Именно на том основании, что в момент, когда что-то кончено, оно должно быть так закончено, как будто, с одной стороны, ничего и не случилось, а с другой стороны — все можно начать снова: это так помогает жить! С вечера, например, меня научили все приготовить на завтра. Мой отец говорил: мне жить хорошо, потому что у меня есть слуга Борис, который вечером все сделает, сложит, башмаки вычистит, все приготовит, а утром Борис Эдуардович встанет — ему делать нечего.

А маленьким вас баловали?

³ В и а н н е Жан-Мари (1786—1859) — «арский кюре», французский святой, известный приходский священник.

Ласково относились, но не баловали — в том смысле, что это не шло за счет порядка, дисциплины или воспитания. Кроме того, меня научили с самого детства ценить маленькие, мелкие вещи; а уж когда началась эмиграция, тогда сугубо ценить, скажем, о д и н какой-то предмет; одна какая-нибудь вещичка — это было чудо, это была радость, и это можно было ценить г о д а м и. Скажем, какой-нибудь оловянный солдатик или какая-нибудь книга — с ними жили месяцами, иногда годами, и за это я очень благодарен, потому что я умею радоваться на самую мелкую вещь в момент, когда она приходит, и не обесценивать ее никогда. Подарки делали, но не топтали в подарках даже тогда, когда была возможность, так что глаза не разбежались, чтобы можно было радоваться на одну вещь. На Рождество однажды я получил в подарок — до сих пор его помню — маленький русский трехцветный флаг, шелковый; и я с этим флагом настолько носился, до сих пор как-то чувствую его под рукой, когда я его гладил, этот самый шелк, его трехцветный состав. Мне тогда объяснили, что это значит, что это н а ш русский флаг: русские снега, русские моря, русская кровь, — и это так и осталось у меня: белоснежность снегов, голубизна вод и русская кровь.

Во Франции, когда мы попали туда с родителями, довольно-таки туго было жить. Моя мать работала, она знала языки, а жили очень розно, в частности — все в разных концах города. Меня отдали живущим в очень, я бы сказал, т р у д н у ю школу; это была школа за окраиной Парижа, в трущобах, куда ночью, начиная с сумерек, и полиция не ходила, потому что там резали. И конечно, мальчишки, которые были в школе, были о т т у д а , и мне это далось вначале ч р е з в ы ч а й н о трудно; я просто не умел тогда драться и не умел быть битым. Били меня беспощадно — вообще считалось нормальной вещью, что новичка в течение первого года избивали, пока не научится защищаться. Поэтому вас могли избить до того, что в больницу увезут, перед глазами преподавателя. Помню, я раз из толпы рванулся, бросился к преподавателю, вопия о защите, — он просто ногой меня оттолкнул и сказал: не жалуйся! А ночью, например, запрещалось ходить в уборную, потому что это мешало спать надзирателю. И надо было бесшумно сползти с кровати, проползти под остальными кроватями до двери, умудриться бесшумно отворить дверь — и т. д.; за это бил уже сам надзиратель.

Ну, били, били и, в общем, не убили! Научили сначала терпеть побои; потом научили немного драться и защищаться — и когда я бился, то бился насмерть; но н и к о г д а в ж и з н и я не испытывал так много страха и так много боли, и физической и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: все равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет сорок пять, когда это уже было дело отзвеневшее. Но этот год было действительно тяжело; мне было восемь-девять лет, и я н е у м е л ж и т ь .

Через сорок пять лет я однажды ехал в метро по этой линии, я читал и в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой — и упал в обморок. Так что, вероятно, это где-то очень глубоко засело: потому что я не истерического типа и у меня есть какая-то выдержка в жизни, — и это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-нибудь переживание может глубоко войти в плоть и кровь.

Но чему я научился тогда, кроме того чтобы физически выносить довольно многое, это те вещи, от которых мне пришлось потом очень долго отучиваться: во-первых, что всякий человек, любого пола, любого возраста и размера, вам от рождения враг и опасность; во-вторых, что можно выжить, т о л ь к о е с л и стать совершенно бесчувственным и каменным; в-третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная другая сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, — ее мне пришлось г о д а м и потом изживать, действительно просто годами.

В полдень в субботу из школы отпускали, и в четыре часа в воскресенье надо было возвращаться, потому что позже через этот квартал было идти опасно. А в свободный день были другие трудности, потому что мама жила в маленькой комнатухе, где ей разрешалось меня видеть днем, но ночевать у нее я не имел права. Это была гостиница, и часов в шесть вечера мама меня торжественно выводила за руку так, чтобы хозяин видел; потом она возвращалась и разговаривала с хозяином, а я в это время на четвереньках проползал между хозяйской конторкой и маминими ногами, заворачивал за угол коридора и пробирался обратно в комнату. Утром я таким же образом выползал, а потом мама меня торжественно приводила, и это было официальным возвращением после ночи, проведенной «где-то в другом месте». Нравственно это было очень неприятно, — чувствовать, что ты не только лишний, но просто положительно нежеланный, что у тебя места нет, н и г д е е г о н е т. Не так удивительно поэтому, что мне случалось в свободные дни бродить по улицам в надежде, что меня переедет автомобиль и что все это будет к о н ч е н о .

Были все же очень светлые вещи; скажем, этот день, который проводился дома, был о ч е н ь светлый, было много любви, много дружбы, бабушка много читала. Во время кани-

кул, они были длинными, мы уезжали куда-нибудь в деревню, и я нанимался на фермы делать какие-то работы. Помню первое разочарование: работал целую неделю, должен был заработать 50 сантимов, держал их в кулаке и с восторгом из этой деревни возвращался в другую деревню; шел, как мальчишка, размахивая руками, и вдруг эти 50 сантимов вылетели у меня из кулака. Я их искал в поле, в траве — нигде не нашел, и мой первый заработок так и погиб.

Игрушки? Если вспоминать игрушки, я могу вспомнить — ну, помимо осла, который был на особом положении, потому что это был зверь независимый, помню этот русский флаг, помню двух солдатиков, помню маленький конструктор; помню, в Париже продавали тогда маленькие заводные «сайдарз», мотоциклы с коляской, — такой был... И потом помню первую книгу, которую я купил сам, — «Айвенго» Вальтера Скотта; «выбрал» я ее потому, что это была единственная книга в лавке; это была малюсенькая лавка и единственная детская книга. Бабушка решила, что мы можем себе позволить купить книжку, и я отправился; продавщица мне сказала: о, ничего нет, есть какая-то книжка, перевод с английского, называется «Иваноз» (французское произношение «Айвенго»), — и посоветовала не покупать. И когда я вернулся домой бабушке рассказать, она говорит: немедленно беги покупай, это очень хорошая книга. До этого мы еще в Вене с бабушкой прочитали, вероятно, всего Диккенса; позже я разочаровался в Диккенсе, он такой сентиментальный, я тогда не замечал этого, но это такой шарж, такая сентиментальность, что очень многое просто пропадает. Вальтер Скотт — неровный писатель, то есть он замечательный писатель в том, что хорошо, и скучный, когда ему не удается, а эта книга мне тогда сразу понравилась. Ну, «Айвенго» такая книга, которая не может мальчику не понравиться.

Были вещи, которых вы боялись, — темной комнаты, диких зверей?

Нет, диких зверей я не специально боялся, просто не было случая особенно бояться. Ну, бывали кабаны у нас в Персии, они были в степи, заходили в сад; бывали другие дикие звери, но они по ночам рыскали, а меня все равно ночью из дома не пускали, поэтому ничего особенно страшного не было. А темной комнаты я боялся, но я не скрывал таких вещей. С одной стороны, надо мной никогда не смеялись ни за какие страхи, ни за какие предрассудки, детские свойства; а отец в те периоды, когда мы были вместе, во мне развивал мужественные свойства просто рассказами о мужественных поступках, о том, какие были люди, и поэтому я сам тянулся к этому. Не к какому-то особенному героизму, а к тому, что есть такое понятие мужество, которое очень высоко и прекрасно; поэтому мальчиком я себя воспитывал очень много в дисциплине. Когда я начал уже больше познать, когда мне было лет одиннадцать-двенадцать, я в себе воспитывал физическую выдержку. Отец, например, считал, что позор, если ты возьмешь горячую кастрюлю и ее выпустишь из рук: держи! А если обожжешь пальцы — потом посмотрим. Это также относилось к утомлению, к боли, к холоду и так далее. Я себя очень воспитывал в этом отношении, потому что мне казалось, что это — да! это мужественное свойство. Когда мне было лет пятнадцать-шестнадцать, я годами, скажем, спал при открытом окне без одеяла, и когда было холодно, я вставал, делал гимнастику, ложился обратно — ну, все это впрок как будто пошло.

Затем школьные годы пошли дальше, три года в той же школе. Почему? Она самая дешевая была, во-первых, затем единственная по тому времени вокруг Парижа и в самом Париже, где можно мне было быть живущим. Потом меня перевели в другую — там был просто рай земной, божьи коровки после того, что я видел в первой школе; самые ярые были просто как картинки.

Школьную дисциплину вы принимали?

Я был слишком ленив для того, чтобы быть шаловливым мальчиком; у меня было чувство, что шалости просто того не стоят. Меня школа не интересовала, меня интересовали только русские организации; и кроме того, я обнаружил очень важную вещь: если ты учишься плохо, ты два года сидишь в одном классе, и так как я хотел избавиться от школы поскорее, то я всегда учился так, чтобы не засидеться, это было моим основным двигателем. А некоторые предметы я любил и ими занимался; то есть «некоторые», множественное число, — почти преувеличение, потому что я увлекался латынью. Меня всегда интересовали и увлекали языки, латынь мне страшно нравилась, потому что одновременно с латынью я увлекся архитектурой, а латынь и архитектура одного свойства: это язык, который весь строится по определенным правилам, именно как строишь здание — и грамматика, и синтаксис, и положение слов, и соотношение слов, — и этим меня латынь пленила. Немецкий я любил, немецкую поэзию, которую я и до сих пор люблю. Про архитектуру, когда мне было лет десять, я очень много читал, а потом успокоился, увлекся другим — воинским строем, тем, что называлось р о д и н о в е д е н и е, то есть всем, что относилось к России, — историей, географией, языком опять-таки; и жизнью ради нее. Я учился во французской школе, и там идеологической

подкладки никакой не было: просто приходили, учились и уходили, или жили в интернате, но все равно ничего не было за этим.

Товарищи были по школе или по организации?

Нет. Были товарищи в организации, то есть люди, мальчики, которых я любил больше или меньше, но я никогда ни к кому не ходил и никогда никого не приглашал.

Принцип?

Просто никакого желания не было; я любил сидеть дома у себя в комнате один. Я повесил у себя на стене цитату из Вовенарга⁴: «Тот, кто ко мне придет, окажет мне честь, кто не придет, доставит мне удовольствие»; и единственный раз, когда я пригласил мальчика в гости, он посмотрел на цитату и ушел. Общительным я никогда не был; я любил читать, любил жить со своими мыслями — и любил русские организации. Я их рассматривал как место, где из нас куют что-то, и мне было все равно, кто со мной, если он разделяет эти мысли, нравятся он мне или не нравится — мне было совершенно все равно, лишь бы он был готов головой стоять за эти вещи.

Я уже не был живущим в школе, у меня было немножко больше времени, и я попал в первую свою русскую организацию, скаутскую, вроде пионеров, которая отличалась от других тем, что, кроме обычных летних лагерных занятий, таких, как палатки, костры, готовка на улице, лесные походы и так далее, нам прививалась русская культура и русское сознание; лет с десяти-одиннадцати нас учили воинскому строю, и все это с тем, чтобы когда-нибудь вернуться в Россию и отдать России обратно все, что мы могли собрать на Западе, чтобы мы могли быть действительно и физически и умственно готовы к этому... Так нас учили в течение целого ряда лет; летние лагеря длились месяц-полтора, строгие, суровые лагеря; обыкновенно часа три в день воинского строя, гимнастика, спорт, были занятия по русским предметам; спали на голой земле, ели очень мало, потому что тогда очень трудно было вообще найти каких-нибудь денег, но жили очень счастливо. Возвращались домой худоще; сколько бы ни купались — в речке, в море, — возвращались грязные до неопишемости, потому что, конечно, больше плавали, чем отмывались. И вот так из года в год строилась большая община молодежи. Последний раз, когда я уже был не мальчиком, а взрослым и заведовал таким летним лагерем, то в разных лагерях на юге Франции нас было более тысячи молодых людей и девочек, девочек и мальчиков.

В 1927 году просто потому, что та группа, в которой я участвовал, разошлась, распалась, я попал в другую организацию, которая называлась «Витязи» и которая была организована Русским Студенческим Христианским Движением, где я пустил корни и где остался; я, в общем, никогда не уходил оттуда — до сих пор. Там все было так же, но были две вещи: культурный уровень был гораздо выше, от нас ожидали гораздо большего в области чтения и в области знания России; а другая черта была — религиозность, при организации был священник и в лагерях была церковь. И в этой организации я сделал ряд открытий. Во-первых, из области культуры; похоже, что все мои рассказы о культуре мне дали в стыд и осуждение, но ничего не поделаешь. Помню, однажды у нас в кружке не дали первое задание — думаю, мне было лет четырнадцать — прочесть реферат на тему «отцы и дети». Моя культурность тогда не доходила до того, чтобы знать, что Тургенев написал книгу под этим названием. И поэтому я сидел и корпел и думал, что можно сказать на эту тему. Неделю я просидел, продумал и, конечно, ничего не надумал. Помню, пришел на собрание кружка, забрался в угол в надежде, что забудут, может быть, пронесет. Меня, конечно, вызвали, посадили на табуретку и сказали: ну? Я посидел, помялся и сказал: я всю неделю думал над заданной мне темой... И замолчал. Потом, в последующем глубоком молчании, прибавил: но я ничего не придумал. И вот этим кончилась первая лекция, которую я в жизни читал.

А затем, что касается Церкви, то я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением. Основной, может быть, опыт мой был такой в этом отношении. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 году, Католическая Церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на «смотрины», со мной поговорил кто-то и с мамой тоже, и все было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе. И мы уже собрались уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал: конечно, это предполагает, что мальчик станет католиком. И я помню, как я встал и сказал маме: уйдем, я не хочу, чтобы ты меня продавала. И после этого я кончил с Церковью, потому что у меня родилось чувство, что если это Церковь, тогда, право, совершенно нечего туда ходить и вообще этим интересоваться; просто

⁴ Французский моралист XVIII века.

ничего для меня в этом не было... Должен сказать, что я был не единственным; летом, скажем, когда бывали лагеря, в субботу была всенощная, литургия в воскресенье, и мы систематически не вставали к литургии, но отворачивали борты палатки, чтобы начальство видело, что мы лежим в постели и никуда не идем. Так что, видите, фон для религиозности у меня был очень сомнительный. Кроме того, были сделаны некоторые попытки моего развития в этом смысле: меня раз в год, в Великую Пятницу, водили в церковь, и я сделал с первого раза замечательное открытие, которое мне пригодилось навсегда (то есть на тот период): я обнаружил, что если войду в церковь шага на три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. И поэтому дальше третьего шага я никогда в церковь не заходил. Падал в обморок — и меня уводили домой, и этим кончалась моя ежегодная религиозная попытка.

И вот в этой организации я обнаружил одну сначала очень меня озадачившую вещь. В 1927 году в детском лагере был священник, который нам казался древностью — ему было, наверное, лет тридцать, но у него была большая борода, длинные волосы, резкие черты лица и одно свойство, которое никто из нас себе не мог объяснить: это то, что у него хватало любви на всех. Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были «хорошие», или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. Каждый мог получить ее всю, не то чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась. Единственно бывало, это что любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью или большим горем. Но это были две как бы стороны той же самой любви; никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась. И действительно, если прочесть у апостола Павла о любви, о том, что любовь всему верит, на все надеется, никогда не перестает и т. д., это все можно было в нем обнаружить, и этого я не мог тогда понять. Я знал, что моя мать меня любит, что отец любит, что бабушка любит, это был весь круг моей жизни из области ласковых отношений. Но почему человек, который для меня чужой, может меня любить и мог любить других, которые ему тоже были чужими, было мне совершенно неизвестно. Только потом, уже много лет спустя, я понял, откуда это шло. Но тогда это был вопросительный знак, который встал в моем сознании; неразрешимый вопрос — но вопрос.

Я тогда остался в этой организации, жизнь шла нормально, я развивался в русском порядке очень сознательно и очень пламенно и убежденно; дома мы говорили всегда по-русски, стихия наша была русская, все свободное время я проводил в нашей организации. Французов мы не специально любили (моя мать говорила: как хороша была бы Франция, если бы не было французов), называли мы их туземцами — без злобы, а просто так, просто мы шли мимо; они были обстановкой жизни, так же как деревья, или кошки, или что другое. С французами или с французскими семьями мы сталкивались на работе или в школе и не иначе, и это не заходило никуда дальше. Какая-то доля западной культуры прививалась, но чувством мы не примыкали.

Еще из воспоминаний об отношениях с французами, это когда мы уже жили на Сен-Луи-ан-л'Иль; мама получила там работу литературного секретаря у издателя, и ее хозяйин сказал ей однажды, когда она не смогла прийти на работу: знайте, мадам, что одна только смерть, а ваша смерть, может быть оправданием, что вы не пришли на работу...

Когда мне было лет четырнадцать, у нас впервые оказалось помещение (в Буа-Коломб), где мы могли жить все втроем: бабушка, мама и я; отец жил на отлете — я вам скажу об этом через минуту, — а до того мы жили, как я рассказывал, кто где и кто как. И в первый раз в жизни с тех пор, как кончилось раннее детство, когда мы ехали из Персии, я вдруг пережил какую-то возможность счастья; до сих пор, когда я вижу сны блаженного счастья, они происходят в этой квартире. В течение двух-трех месяцев это было просто безоблачное блаженство. И вдруг случилась совершенно для меня неожиданная вещь: я испугался счастья. Вдруг мне представилось, что счастье страшнее того очень тяжелого, что было раньше, потому что когда жизнь была сплошной борьбой, самозащитой или попыткой уцелеть, в жизни была цель: надо было уцелеть вот сейчас, надо было обеспечить возможность уцелеть немножко позже, надо было знать, где переночуешь, надо было знать, как достать что-нибудь, что можно съесть, — вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим — но бессельно? Что нет никакой глубины в этом, что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и пространства, — а глубины в ней нет; может быть, какая-то толщина есть, она может какие-нибудь сантиметры собой представлять, но ничего другого, дно сразу. И представилось, что если жизнь так бессмысленна, как мне вдруг показалось, —

бессмысленное счастье, — то я не согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья.

Мой отец жил в стороне от нас; он занял своеобразную позицию: когда мы оказались в эмиграции, он решил, что его сословие, его социальная группа несет тяжелую ответственность за все, что случилось в России, и что он не имеет права пользоваться преимуществами, которые дало ему его воспитание, образование, его сословие. И поэтому он не стал искать никакой работы, где бы мог использовать знание восточных языков, свое университетское образование, западные языки, и стал чернорабочим. И в течение довольно короткого времени он подорвал свои силы, затем работал в конторе и умер пятидесяти трех лет (2 мая 1937 года). Но он мне несколько вещей привил. Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью, и я помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом». Я так полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?» Он ответил: «Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь. — И потом прибавил: — Ты запомни: жив ты или мертв — это совершенно должно быть безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть». И о смерти он мне сказал раз вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты». И он жил один, в крайнем убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать: я дома, но не открою». Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я! Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал.

И вот когда я решил кончать самоубийством, за мной было: эти какие-нибудь две фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника (непонятная по своему качеству и типу любовь) — и все, и ничего другого. И случилось так, что Великим постом какого-то года, тридцатого, кажется, нас, мальчиков, стали водить наши руководители на волейбольное поле. Раз мы собрались, и оказалось, что пригласили священника провести духовную беседу с нами, дикарями. Ну, конечно, все от этого отлынивали как могли, кто успел сбежать, сбежал; у кого хватило мужества воспротивиться вконец, воспротивился; но меня мой руководитель уломал. Он меня не уговаривал, что надо пойти, потому что это будет полезно для моей души или что-нибудь такое, потому что, сошлись он на душу или на Бога, я не поверил бы ему. Но он сказал: «Послушай, мы пригласили отца Сергия Булгакова; ты можешь себе представить, что он разнесет по городу о нас, если никто не придет на беседу?» Я подумал: да, лояльность к моей группе требует этого. А еще он прибавил замечательную фразу: «Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там». Я подумал, что, пожалуй, и можно, и отправился. И все было действительно хорошо; только, к сожалению, отец Сергей Булгаков говорил слишком громко и мне мешал думать свои думы; и я начал прислушиваться, и то, что он говорил, привело меня в такое состояние ярости, что я уже не мог оторваться от его слов; помню, он говорил о Христе, о Евангелии, о христианстве. Он был замечательный богослов и он был замечательный человек для взрослых; но у него не было никакого опыта с детьми, и он говорил, как говорят с маленькими зверятами, доводя до нашего сознания все сладкое, что можно найти в Евангелии, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость — все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше. Он меня привел в такое состояние, что я решил не возвращаться на волейбольное поле, несмотря на то, что это была страсть моей жизни, а ехать домой, попробовать обнаружить, есть ли у нас дома где-нибудь Евангелие, проверить и покончить с этим; мне даже на ум не приходило, что я не покончу с этим, потому что было совершенно очевидно, что он знает свое дело и, значит, это так...

И вот я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз четыре, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырех, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался; я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу; потому что прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым Евангелием есть какая-то культурная база; Марк же писал именно для таких молодых дикарей, как

я, — для римского молодняка. Этого я не знал — но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других...

И вот я сел читать; и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь — и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади. Я сидел, читал и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, я вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос... И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда я смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут — значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, все, что о Нем говорят, — правда. Это того же рода логика, как у ранних христиан, которые обнаруживали Христа и приобретали веру не через рассказ о том, что было от начала, а через встречу с Христом живым, из чего следовало, что распятый Христос был тем, что говорится о Нем, и что весь предшествующий рассказ тоже имеет смысл.

Ну, дальше я читал; но это уже было нечто совсем другое. Первые мои открытия в этой области я сейчас очень ярко помню; я, вероятно, выразил бы это иначе, когда был мальчиком лет пятнадцати; но первое было: что если это правда, значит, все Евангелие — правда, значит, в жизни есть смысл, значит, можно жить и нельзя жить ни для чего другого как для того, чтобы поделиться с другими тем чудом, которое я обнаружил; что есть, наверное, тысячи людей, которые об этом не знают, и что надо им скорее сказать. Второе — что если это правда, то все, что я думал о людях, была неправда: что Бог сотворил всех; что Он возлюбил всех до смерти включительно; и что поэтому даже если они думают, что они мне враги, то я знаю, что они мне не враги. Помню, я на следующее утро вышел и я шел как в преображенном мире; всякий человек, который мне попадался, я на него смотрел и думал: тебя Бог создал по любви! Он тебя любит! ты мне брат, ты мне сестра; ты меня можешь уничтожить, потому что ты этого не понимаешь, но я это знаю, и этого довольно... Это было самое разительное открытие.

Дальше, когда продолжал читать, меня поразило уважение и бережное отношение Бога к человеку; если люди готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не делает. В рассказе, например, о блудном сыне блудный сын признает, что он согрешил перед небом, перед отцом, что он недостойн быть его сыном; он даже готов сказать: прими меня хоть наемником... Но если вы заметили, в Евангелии отец не дает ему сказать этой последней фразы, он ему дает договорить до «я недостойн называться твоим сыном» и тут его перебивает, возвращая обратно в семью: принесите обувь, принесите кольцо, принесите одежду, — потому что недостойным сыном ты можешь быть, достойным слугой или рабом — никак; сыновство не снимается. Это третье.

А последнее, что меня тогда поразило, что я выразил тогда бы совершенно иначе, вероятно, это что Бог — и такова природа любви, — что Бог так нас умеет любить, что готов с нами разделить все без остатка: не только тварность через Воплощение, не только ограничение всей жизни через последствия греха, не только физические страдания и смерть, но и самое ужасное, что есть, — условие смертности, условие ада: боголишенность, потерю Бога, от которой человек умирает. Этот крик Христов на кресте: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил? — эта приобщенность не только богооставленности, а боголишенности, которая убивает человека, эта готовность Бога разделить нашу обезбоженность, как бы с нами пойти во ад, потому что сошествие Христово во ад — это именно сошествие в древний ветхозаветный шеол, то есть то место, где Бога нет... Меня это так поразило, что, значит, нет границы Божией готовности разделить человеческую судьбу, чтобы разыскать человека. И это совпало — когда очень быстро после этого я уже вошел в Церковь — с опытом целого поколения людей, которые до революции знали Бога великих соборов, торжественных богослужений; которые потеряли все — и родину, и родных, и часто уважение к себе, какое-то положение в жизни, дававшее им право жить; которые были ранены очень глубоко и поэтому так уязвимы, — они вдруг обнаружили, что по любви к человеку Бог захотел стать именно таковым: беззащитным, до конца уязвимым, бессильным, безвластным, презренным для тех людей, которые верят только в победу силы. И тогда мне приоткрылась одна сторона жизни, которая для меня очень много значит. Это то, что нашего Бога, христианского Бога, можно не только любить, но можно уважать; не только поклоняться Ему, пото-

му что Он — Бог, а поклоняться Ему по чувству глубокого уважения, другого слова я не найду.

Ну, на этом кончился, в общем, целый период. Я старался осуществить свою вновь обретенную веру различным образом; первым делом я был так охвачен восторгом и благодарностью за то, что со мной случилось, что прохождению никому не давал; я был школьником, ехал на поезде в школу и просто в поезде к людям обращался, ко взрослым: вы читали Евангелие? вы знаете, что там есть?.. Я уж не говорю о товарищах в школе, которые претерпели от меня многое.

Второе — я начал молиться; меня никто не учил, и я занялся экспериментами, я просто становился на колени и молился как умел. Потом мне попался учебный часослов, я начал учиться читать по-славянски и вычитывал службу — это занимало около восьми часов в день, я бы сказал; но я недолго это делал, потому что жизнь не дала. К тому времени я уже поступил в университет, и было невозможно учиться полным ходом в университете — и это. Но тогда я службы заучивал наизусть, а так как я ходил в университет и в больницу на практику пешком, то успевал вычитывать утреню по дороге туда, вычитывать часы на обратном пути; причем я не стремился вычитывать, просто это было для меня высшим наслаждением, и я это читал. Потом отец Михаил Бельский дал мне ключ от нашей церковки на Монтань Сент-Женевьев, так что я мог заходить туда на пути или возвращаясь домой, но это было сложно. И по вечерам я молился долго — ну просто потому, что я очень медлительный, у меня техника молитвы была очень медлительная. Я вычитывал вечернее правило, можно сказать, три раза: прочитывал каждую фразу, молчал, прочитывал второй раз с земным поклоном, молчал и вычитывал для окончательного восприятия — и так все правило... Все это, вместе взятое, занимало около двух часов с половиной, что было не всегда легко и удобно, но очень питательно и наслаждительно, потому что тогда доходит, когда ты всем телом должен отозваться: Господи, помилуй! — скажешь с ясным сознанием, потом скажешь с земным поклоном, потом встанешь и скажешь уже чтобы запечатлеть, и так одну вещь за другой. Из этого у меня выросло чувство, что это — жизнь; пока я молюсь — я живу; вне этого есть какой-то изъян, чего-то не хватает. И жития святых читал по Четьям-Минеям просто страницу за страницей, пока не прочел всё. Жития пустынников; в первые годы я очень был увлечен житиями и высказываниями отцов пустыни, которые для меня и сейчас гораздо больше значат, чем многие богословские отцы.

Когда я кончал среднюю школу, то думал — что делать? Собрался пустынником стать — оказалось, что пустынь-то очень мало осталось и что с таким паспортом, как у меня, ни в какую пустыню не пустят, а кроме того, у меня были мать и бабушка, которых надо было как-то содержать, и из пустыни это неудобно. Потом хотел священником стать; позже решил идти в монастырь на Валаам; а кончилось тем, что все это более или менее сопряглось в одну мысль; не знаю, как она родилась, она, вероятно, складывалась из разных идей: что я могу принять тайный постриг, стать врачом, уехать в какой-нибудь край Франции, где есть русские, слышком бедные и малочисленные для того, чтобы иметь храм и священника, стать для них священником и сделать это возможным тем, что, с одной стороны, я буду врачом, то есть себя содержать, а может быть, и бедным помогать, и, с другой стороны, тем, что, будучи врачом, можно всю жизнь быть христианином, это легко в таком контексте: забота, милосердие... Это началось с того, что я пошел на естественный факультет (Сорбонны), потом на медицинский — был очень трудный период тогда, просто очень голодный период, когда надо было выбирать или книгу, или еду; и в этот год я дошел, в общем, до изрядного истощения; я мог пройти каких-нибудь пятьдесят шагов по улице (мне было тогда лет девятнадцать), затем садился на край тротуара, отсиживался, потом шел до следующего угла. Но, в общем, выжил...

Одновременно я нашел духовника; и действительно нашел, я его искал не больше, чем я искал Христа. Я пошел в единственную нашу на всю Европу патриаршую церковь — тогда, в 1931 году, нас было 50 человек всего, — пришел к концу службы (долго искал церковь, она была в подвальном помещении), мне встретился монах, священник, и меня поразило в нем что-то. Знаете, есть присловье на Афоне, что нельзя бросить все на свете, если не увидишь на лице хоть одного человека сияние вечной жизни... И вот он поднимался из церкви, и я видел сияние вечной жизни. И я к нему подошел и сказал: я не знаю, кто вы, но вы согласны быть моим духовником? Я с ним связался до самой его смерти, и он действительно был очень большим человеком: это единственный человек, которого я встретил в жизни, в ком была такая мера свободы — не произвола, а именно той евангельской свободы, царственной свободы Евангелия. И он стал меня как-то такое обучать чему-то; решив идти в монашество, я стал готовиться к этому. Ну, молился, постился, делал все ошибки, какие только можно сделать в этом смысле.

А именно?

Постился до полусмерти, молился до того, что сводил всех с ума дома, и т. д. Обыкновенно так и бывает, что все в доме делается святыми, как только кто-нибудь захочет карабкаться на небо, потому что все должны терпеть, смиряться, все выносить от «подвижника». Помню, как-то я молился у себя в комнате, в самом возвышенном духовном настроении, и бабушка отворила дверь и сказала: «Морковку чистить!» Я вскочил на ноги, сказал: «Бабушка, разве ты не видишь, что я молился?» Она ответила: «Я думала, что молиться — это значит быть в общении с Богом и учиться любить. Вот морковка и нож».

Медицинский факультет я окончил к войне, в 1939 году. На Усекновение главы Иоанна Крестителя я просил своего духовного отца принять мои монашеские обеты: постригать меня было некогда, потому что оставалось пять дней до ухода в армию. Я произнес монашеские обеты и отправился в армию, и там пять лет я учился чему-то; по-моему, отличная была школа.

Чему учился?

Послушанию, например. Я поставил вопрос отцу Афанасию: вот я сейчас иду в армию — как я буду осуществлять свое монашество, и в частности послушание? Он мне ответил: очень просто; считай, что каждый, кто дает тебе приказ, говорит именем Божиим, и твори его не только внешне, но в с е м твоим нутром; считай, что каждый больной, который потребует помощи, позовет, — твой хозяин; служи ему, как купленный раб.

А затем — прямо святоотеческая жизнь была. Капрал приходит, говорит: нужны добровольцы копать траншею, ты доброволец. Вот первое: твоя воля полностью отсекается и целиком поглощается мудрой и святой волей капрала. Затем он тебе дает лопату, ведет в госпитальный двор, говорит: с севера на юг копать ров. А ты знаешь, что офицер говорил копать с востока на запад. Но тебе какое дело? Твое дело копать, и чувствуешь такую свободу, копаешь с наслаждением: во-первых, чувствуешь себя добродетельным, а потом — день холодный и ясный, и гораздо приятнее рыть окоп под открытым небом, чем мыть посуду на кухне. Копал три часа, и ров получился отличный. Приходит капрал, говорит: дурень, осел и т. д., копать надо было с востока на запад. Я мог бы ему сказать, что он сам сначала ошибся, но какое мне дело до того, что он ошибался? Единственное, что меня касалось, это что теперь я должен копать в другом направлении. Он велел мне засыпать ров, а засыпав, я стал бы, вероятно, копать заново, но к тому времени он нашел другого «добровольца», который получил свою долю.

Меня очень поразило тогда то чувство внутренней свободы, которое дает абсурдное послушание, потому что если бы моя деятельность определялась точкой приложения и если бы это было делом осмысленного послушания, я бы сначала бился, чтобы доказать капралу, что надо копать в другом направлении, и кончилось бы все карцером. Тут же просто потому, что я был совершенно освобожден от чувства ответственности, вся жизнь была именно в том, что можно было с о в е р ш е н н о свободно отзываться на все и иметь внутреннюю свободу для всего, а остальное была воля Божия, проявленная через чью-то ошибку.

Другие открытия, к тому же периоду относящиеся. Как-то вечером в казарме я сидел и читал; рядом со мной лежал карандаш вот такого размера, с одной стороны подточенный, с другого конца подъеденный, и действительно соблазняться было нечем: и вдруг краем глаза я увидел этот карандаш, и мне что-то сказал: ты никогда больше за всю жизнь не сможешь сказать — это мой карандаш, ты отрезал от всего, чем ты имеешь право обладать... И (вам это, может быть, покажется совершенным бредом, но всякий соблазн, всякое такое притяжение есть своего рода бред) я два или три часа боролся, чтобы сказать: да, этот карандаш н е м о й — и слава Богу!.. В течение нескольких часов я сидел перед этим огрызком карандаша с таким чувством, что я не знаю, ч т о б ы я дал, чтобы иметь право сказать: это мой карандаш. Причем практически это был мой карандаш, я им пользовался, я его грыз. И он не был мой, так что тогда я почувствовал, что не иметь — это одно, а быть свободным от предмета — совершенно другое дело.

Еще одно наблюдение тех лет: что хвалят необязательно за дело и ругают тоже необязательно по существу. В начале войны я был в военном госпитале, и меня исключили из офицерского собрания. За что? За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь. Мне за это товарищи устроили скандал, что я «унижаю офицерское достоинство». Это пример ничем не величественный, нелепый; и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы. А в других случаях хвалили, может быть, а я знал, что хвалят совершенно напрасно. Помню — коль уж до исповеди дошло, — когда я еще был маленьким мальчуганом, меня пригласили в один дом, и нас несколько человек играло в мячик в столовой, и этим мячиком мы разбили какую-то вазу. После чего мы притихли, и нас, я помню, мамаша моего товарища хвалила за то, что мы были такие тихие, и что мы так прекрасно вели себя, и что я был таким примерным гостем. Я потом др ал домой с таким чувством — как бы успеть сойти с

лестницы раньше, чем она вазу обнаружит. Так что вот вам второй пример: х в а л и л и и т и х и й я был, предельно тихий, только, к сожалению, до этого успел вазу разбить.

На войне же была все-таки какая-то доля опасности, и поэтому сознание, что ты действительно в руках Божиих, доходит иногда до очень большой меры. Попутно делаешь всякого рода открытия: о том, что ты не такой замечательный, что есть вещи гораздо важнее тебя; о том, что есть разные пласты в событиях. Есть, скажем, пласт, на котором ты живешь, и тебе страшно, или какие-то еще чувства одолевают тебя, а есть помимо этого еще каких-то два пласта: выше, над тобой, — воля Божия, Его видение истории, и ниже — как течет жизнь, не замечая событий, связанных с твоим существованием. Помню, как-то я лежал на животе под обстрелом, в траве, и сначала жался крепко к земле, потому что как-то неудобно было, а потом надоело жаться, и я стал смотреть: трава была зеленая, небо голубое, и два муравья ползли и тащили соломинку, и так было ясно, что вот я лежу и боюсь обстрела, а жизнь течет, трава зеленеет, муравьи ползают, судьба целого мира длится, продолжается, как будто человек тут ни при чем; и на самом деле он ни при чем, кроме того, что портит все.

Ну, и потом очень простые вещи, которые вдруг делаются очень важными. Знаете, когда дело доходит до жизни и смерти, некоторые вопросы совершенно снимаются, и под знаком жизни и смерти проявляется новая иерархия ценностей: ничтожные вещи приобретают какую-то значительность, потому что они человечесны. а некоторые большие вещи делаются безразличными, потому что они не человечесны. Скажем, я занимался хирургией, и, я помню, мне ясно было, что сделать сложную операцию — вопрос технический, а заняться большим — вопрос человеческий, и что этот момент самый важный и самый значительный, потому что сделать хорошую техническую работу может всякий хороший техник, но вот человеческий момент зависит от человека, а не от техники. Были, например, умирающие; госпиталь был на 850 кроватей, так что было довольно много тяжелых раненых, мы очень близко к фронту стояли; и я тогда, как правило, проводил последние ночи с умирающими, в каком бы отделении они ни были. Другие хирурги узнали, что почему-то у меня такая странная мысль, и поэтому меня всегда предупреждали. Вот в этот момент технически вы совершенно не нужны; ну, сидишь с человеком — молодой, двадцати с небольшим лет, он знает, что умирает, и не с кем поговорить. Причем не о жизни, не о смерти, ни о чем таком, а о его ферме, о его жатве, о корове — о всяких таких вещах. И вот этот момент делается таким значительным, потому что такая разруха, что это важно. И вот сидишь, потом человек заснет, а ты сидишь, и изредка он просто шупает: ты тут или не тут? Если ты тут, можно дальше спать, а то можно и умереть спокойно.

Или мелкие вещи; помню одного солдата, немца, — попал в плен, был ранен в руку, и старший хирург говорит: убери его палец (гноился). И, помню, немец сказал тогда: «Я часовщик». Понимаете, часовщик, который потеряет указательный палец, это уже конченный часовщик. Я тогда взял его в оборот, три недели работал над его пальцем, и мой начальник смеялся надо мной, говорил: «Что за дурь, ты в десять минут мог покончить со всем этим делом, а ты возишься три недели — для чего? Ведь война идет — а ты возишься с пальцем!» А я отвечал: да, война идет, и потому я вожусь с его пальцем, потому что это настолько значительно, война, самая война, что его палец играет колоссальную роль, потому что война кончится и он вернется в свой город с пальцем или без пальца...

И вот этот контекст больших событий и очень мелких вещей и их соотношение сыграли для меня большую роль — может быть, это покажется странно или смешно, но вот что я нашел тогда в жизни и свой масштаб в ней нашел тоже, потому что выдающимся хирургом я никогда не был и больших операций не делал, а вот это была жизнь, и именно глубокая жизнь взаимных отношений.

Потом кончилась война и началась оккупация, я был во французском Сопротивлении три года, потом снова в армии, а потом занимался медицинской практикой до 1948 года...

А что в Сопротивлении делали?

Ничего не делал интересного; это самая, можно сказать, позорная вещь в моей жизни, что я ни во время войны, ни во время Сопротивления ни ч е г о н и к о г д а не делал специально интересного или специально героического. Когда меня демобилизовали, я решил вернуться в Париж и вернулся отчасти законно, а отчасти незаконно. Законно в том отношении, что я вернулся с бумагами, а незаконно потому, что я их сам написал. Было очень забавно. Мама и бабушка эвакуировались в область Лимож, и когда меня демобилизовали, я демобилизовался в лагерь РСХД в По — надо было к у д а т о ехать. Я попал туда и стал разыскивать маму и бабушку, я знал, что они где-то тут, до меня дошло письмо, которое они мне писали месяца за три до этого, оно путешествовало по всем армейским инстанциям. И я их обнаружил в маленькой деревне; мама была больна, бабушка была немолода, и я решил, что мы все вернемся в Париж и посмотрим, что там можно

делать. Первой моей мыслью было перебраться во «Франс Либр»⁵, но это оказалось невозможным, потому что к тому времени Пиренеи были блокированы. Может быть, кто-нибудь более предприимчивый и пробрался бы, но я не пробрался.

Мы доехали до какой-то деревни недалеко от демаркационной линии оккупированной зоны, и я пошел в мэрию. Тогда на мне была полная военная форма, кроме куртки, которую я купил, чтобы спрятать под ней как можно больше военного обмундирования, и я отправился к мэру объяснить, что мне нужен пропуск. Он мне говорит: «Вы знаете, это невозможно, боюсь, меня расстреляют за это». Никому не разрешалось переходить демаркационную линию без немецкого пропуска. Я уговаривал его, уговаривал, наконец он мне сказал: «Знаете, что мы сделаем: я здесь, на столе, положу бумаги, которые надо заполнить; вот здесь лежит печать мэрии, вы возьмите, поставьте печать — и украдите бумаги. Если вас арестуют, я на вас же скажу, что вы их у меня украли». А это все, что мне было нужно, мне бумаги были нужны, а если словили бы, его и спрашивать бы не стали, все равно посадили бы. Я заполнил эти бумаги, и мы проехали линию, это тоже было очень забавно. Мы ехали в разных вагонах — мама, бабушка и я — не из конспирации, а просто мест не было; и в моем купе было четыре французских старушки, которые дрожали со страху, потому что были уверены, что немцы их на кусочки разорвут, и совершенно пьяный французский солдат, который все кричал, что вот появился немец, он его — бум-бум-бум! — сразу убьет... И старушки себе представляли: войдет немецкий контроль, солдат закричит, и нас всех за это расстреляют. Ну, я с некоторой опаской ехал, потому что, кроме этой куртки, на мне все было военное, а военным не разрешалось въезжать — вернее, разрешалось, но их сразу отбирали в лагерь военнопленных. Я решил, что надо как-то так встать, чтобы контроль не видел меня ниже плеча; поэтому я своим спутникам предложил ввиду того, что я говорю по-немецки, чтобы они мне дали свои паспорта, и я буду разговаривать с контролем. И когда вошел немецкий офицер, я вскочил, встал к нему вплотную, почти прижался к нему так, чтобы он ничего не мог видеть, кроме моей куртки, дал ему бумаги, все объяснил, он меня за это еще благодарил, спросил, почему я говорю по-немецки, — ну, культурный человек, учился в школе, из всех языков выбрал немецкий (что было правдой, а выбрал-то я его потому, что уже его знал и потому надеялся, что работать надо будет меньше, но это дело другое...). И так мы проехали.

А потом приехали в Париж и поселились, и у нас был знакомый старый французский врач, еще довоенного издлия, до первой мировой войны, который уже был членом французского медицинского Сопротивления, и он меня завербовал. Заключалось это в том, что ты числился в Сопротивлении, и если кого-нибудь из Сопротивления ранили, или нужны были лекарства, или надо было кого-то посетить, то посылали к одному из этих врачей, а не просто к кому попало. Были ячейки, приготовленные на момент освобождения Парижа, куда каждый врач был заранее приписан, чтобы, когда будет восстание, каждый знал, куда ему идти. Но я в свою ячейку так и не попал, потому что за полтора-два года до восстания меня завербовало французское «пассивное Сопротивление», и я занимался мелкой хирургией в подвальном помещении госпиталя Отель-Дьё, и поэтому, когда началось восстание, я пошел туда — там было гораздо больше работы, там я был нужнее. Кроме того, очень было важно, чтобы там были люди, которые могли законно требовать новых припасов лекарств и новых инструментов, чтобы их переправлять: к нам приходили из этих ячеек, а мы им передавали казенные инструменты, иначе им невозможно было бы получить их в таком количестве. Одно время французская полиция поручила мне заведовать машиной скорой помощи во время бомбежек, и это давало возможность перевозить куда надо нужных Сопротивлению людей.

А еще я работал в больнице Брокá, и немцы решили, что отделение, где я работал, будет служить отделением экспертизы, и к нам посылали людей, которых они хотели отправлять на принудительные работы в Германию. А немцы страшно боялись заразных болезней, поэтому мы выработали целую систему, чтобы когда делались рентгеновские снимки, на них отпечатывались бы какие-нибудь туберкулезные признаки. Это было очень просто: мы их просто рисовали. Все, кто там работал, работали вместе, иначе было невозможно, — сестра милосердия, другая сестра милосердия, один врач, я, мы ставили «больного», осматривали его на рентгене, рисовали на стекле то, что нужно было, потом ставили пленку и снимали, и получалось, что у него есть все что нужно. Но это, конечно, длилось не так долго, нельзя было без конца это делать, нужно было уходить.

Слишком много больных у вас оказывалось?

То есть все, все, никого не пропускали; если не туберкулез, то что-нибудь другое, но мы никого не пропустили за год с лишним.

За год с лишним одни калеки?

Да, одни калеки. Ну, объясняли, что, знаете, такое время: недоедание, молодежь некрепкая...

⁵ «Свободная Франция», патриотическое движение, примкнувшее к антифашистской коалиции; группировалось главным образом в Англии.

Ну а потом немцы все же начали недоумевать, и тогда я принялся за другое: в русской гимназии преподавать — от одних калек к другим!

Еще одно интересное открытие периода войны, оккупации. Одна из вещей, с которыми нам в жизни, и тем более в молитве, приходится бороться, это вопрос времени. Мы не умеем — а надо научиться — жить в мгновении, в котором ты находишься; ведь прошлого больше нет, будущего еще нет, и единственный момент, в котором ты можешь жить, это теперь; а ты не живешь, потому что застрял позади себя или уже забегаешь вперед себя. И дознался я до чего-то в этом отношении милостью Божией и немецкой полиции. Во время оккупации я раз спустился в метро, и меня сцапали, говорят: покажи бумаги!.. Я показал. Фамилия моя пишется через два «о»⁶. Полицейский смотрит, говорит: «Арестовываю! Вы англичанин и шпион!» Я говорю: «Помилуйте, на чем вы основываетесь?» — «Через два «о» фамилия пишется». Я говорю: «В том-то и дело — если бы я был англичанин-шпион, я как угодно назывался бы, только не английской фамилией». — «А в таком случае, что вы такое?» — «Я русский». (Это было время, когда советские армии постепенно занимали Германию.) Он говорит: «Не может быть, неправда, у русских глаза такие и скулы такие». «Простите, вы русских путаете с китайцами». «А, — говорит, — может быть. А все-таки, что вы о войне думаете?» А поскольку я был офицером во французском Сопротивлении, ясно было, что все равно не выпустят, и я решил хоть в свое удовольствие быть арестованным. Говорю: «Чудная война идет — мы же вас бьем». «Как, вы, значит, против немцев?..» — «Да». — «Знаете, я тоже (это был французский полицейский на службе у немцев), убегайте поскорее...» Этим и закончилось, но за эти минуты случилось что-то очень интересное: в друг все время, и прошлое и будущее, собралось в одно это мгновение, в котором я живу, потому что подлинное прошлое, которое на самом деле было, больше не имело права существовать, меня за это прошлое стали бы расстреливать, а того прошлого, о котором я собирался им рассказывать во всех деталях, никогда не существовало. Будущего, оказывается, тоже нет, потому что будущее мы себе представляем, только поскольку можем думать о том, что через минуту будет. И, осмыслив все это после, я обнаружил, что можно все время жить только в настоящем... И молиться так — страшно легко. Сказать «Господи, помилуй» нетрудно, а сказать «Господи, помилуй» с оглядкой, что это только начало длиннющей молитвы или целой всенощной, пожалуй, гораздо труднее.

Ну, и тем временем было десять лет тайного монашества, и это было блаженное время, потому что, как Феофан⁷ говорит: Бог да душа — вот и весь монах... И действительно был Бог и была душа, или душонка, — что бы там ни было, но, во всяком случае, я был совершенно защищен от мнения людей. Как только вы надеваете какую-нибудь форму, будь то военная или ряса, люди ожидают от вас определенного поведения, и вы уже как-то приспосабливаетесь. И тут я был в военной форме, значит, от меня ожидали того, что военная форма предполагает, или во врачебном халате, и ожидали от меня того, что ждут от врача, и весь строй внутренней жизни оставался свободным, подчинялся лишь руководству моего духовника.

Вот тут я уловил разницу между свободой и безответственностью в свободе. Потому что его действительной заботой было: ты должен строить свою душу, остальное все второстепенно. Я, например, одно время страшно увлекся мыслью сделать медицинскую карьеру и решил сдавать специальные экзамены, чтобы получить специальную степень. Я ему это сказал, он на меня посмотрел и сказал: знаешь, это же чистое тщеславие. Я говорю: ну, если хотите, я тогда не буду... Нет, говорит, ты пойдешь на экзамен — и провалишься, чтобы все видели, что ты ни на что не годен. Вот такой совет: в чисто профессиональном смысле это нелепость, никуда не годится такое суждение. А я ему за это очень благодарен. Я действительно сидел на экзамене, получил ужасающую отметку, потому что написал Бог вещь что даже и о том, что знал; провалился, был внизу списка, который был в метр длиной; все говорили: ну знаешь, никогда не думали, что ты такая остолопина... И чему-то научился, хотя это и провалило все мое будущее в профессиональном смысле, но тому, чему он меня тогда научил, он бы меня никогда не научил речами о смирении. Потому что сдать блестяще экзамены, а потом смиренно говорить: да нет, Господь помог, — это слишком легко.

А еще до этого, когда я работал с молодежью и как будто у меня это получалось, отец Афанасий позвал меня, сказал: «Ты слишком преуспеваешь, слишком доволен собой, ты становишься звездой — брось все». Я ему говорю: «Хорошо, что я должен сделать, надо ли объяснять причину? Глупо будет сказать: я хочу стать святым, поэтому больше не буду работать с молодежью». Он мне ответил: «Да нет, собери других руководителей, скажи им: я слишком занят медициной, это меня увлекает больше, чем работа с молодежью, и я ухожу. Если они будут возмущаться, пожми плечами и скажи: знаете, я пробиваюсь в жизни по-своему, вы стройте свою жизнь по-вашему. Только чтобы никто не догадался, что у тебя самые благие побуждения».

⁶ Bloom.

⁷ Святитель Феофан Затворник (1815—1894), автор многих сочинений о духовной жизни.

То же было и с постригом. Я говорил уже, что я дал монашеский обет, но отец Афанасий все меня в мантию не постригал; я его все просил меня постричь, он говорит: «Нет! Ты не готов себя отдать до конца». Я говорю: да готов! «Нет, вот когда ты придешь ко мне и скажешь: я пришел, делай со мной что хочешь, и я готов вот сейчас и не вернуться домой, и никогда не дать своим родным знать, что со мной случилось, и не заботиться об их судьбе, что с ними стало, — вот тогда мы с тобой поговорим. До тех пор, пока ты тревожишься о своей матери или о бабушке, тебе не пришло время пострига — ты Богу не доверился, на послушание не положился». И с этим я бился очень долго, должен сказать. У меня не хватало ни веры, ни духа — ничего. Очень много времени потребовалось, чтобы научиться, что призыв Божий абсолютен, что Бог на сделки не идет, что каждый раз, как я обращаюсь к Богу с вопросом, Он отвечает: Я тебя зову — твое дело отозваться безоговорочно. И так я боролся то против воли Божией, то против своей злой воли, пока не понял очень ясно, что пора сделать выбор: или я должен сказать «да», или перестать считать себя членом Церкви, перестать ходить в церковь, перестать причащаться, потому что никакого смысла нет причаститься, а потом сказать Богу — нет; и никакого смысла нет быть членом Тела Христова — и таким членом, который отказывается выполнить Его волю. И — это, должно быть, покажется вам ужасным — бился я так около полугода и в один прекрасный день дошел до того, что биться уже больше не мог. Помню, я вышел утром из дому, не зная, что это будет за день; я тогда преподавал в гимназии и во время какого-то урока вдруг понял, что выбор надо сделать сегодня, сейчас. И после последнего урока я пришел к отцу Афанасию и сказал: «Вот я пришел». — «Монахом становиться?» — «Да». И тут он стал задавать мне самые невозвышенные вопросы: «Ну хорошо, садись. Сандаля у тебя есть?» — «Нет». — «Пояс есть?» — «Нет». — «Это есть?» — «Нет». — «Ну хорошо, это мы добудем, я тебя постригу через неделю». Потом помолчали, я говорю: «А теперь мне что делать?» Я ждал, что он мне скажет: вот будешь спать здесь на полу, а остальное тебя не касается. «Ну а теперь иди домой». Я говорю: «В каком смысле, как так?» — «Да, ты отказался от дома, от родных, а теперь возвращайся туда по послушанию». Это был очень трудный момент, я должен сказать, но он ни на какой компромисс бы не пошел...

Умер отец Афанасий через три месяца после моего пострига; я долго недоумевал, что мне делать, потому что после такого опыта нахождения духовника просто обойти всех возможных священников или представить себе духовником Стефана, Ивана, Михаила или Петра было слишком нелепо. Помню, как я сидел у себя, мне было двадцать семь — двадцать восемь лет, и я поставил себе вопрос: что делать? — и вдруг с совершенной ясностью у меня в душе прозвучало: «Зачем ты ищешь духовника? Я ж и в...» И на этом я кончил свои поиски.

И когда он уже умер, я стал священником, в 1948 году, по слову человека, которому я очень верил. Он был французом, православным священником, до этого я видел его один раз, когда мне было лет семнадцать, в день, когда я окончил среднюю школу и сдал экзамен на аттестат зрелости. А тут я его встретил в Англии на православно-англиканском съезде, и он прямо ко мне пришел и сказал: «Вы нам здесь нужны, бросайте медицину, делайтесь священником и переходите в Англию». Я ему тогда сказал: «Вы подумайте и скажите, это всерьез или нет. Потому что если всерьез — я по вашему слову поступлю». И он мне сказал, что это всерьез, и я так и поступил и теперь ему всегда напоминаю, что он ответствен за все то недоброе, что я делаю, и поэтому его дело — молиться. И он еще усугубил это дело тем, что после первой моей лекции на английском языке он ко мне подошел и сказал: «Отец Антоний, я за всю жизнь ничего такого скучного не слышал». Я ему говорю: «Что же делать, я английского не знаю, мне пришлось лекцию написать и читать как мог...» «Так вот я вам запрещаю отныне писать или по запискам говорить». Я говорю: «Это же будет ужасно, это будет комично!» Он говорит: «И м е н и о. Во всяком случае, это не будет скучно, мы сможем смеяться на ваш счет». И вот с тех пор я произношу лекции, говорю и проповедую без записок — опять-таки на его душу.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ

*

СХВАТКА С ЛЕВИАФАНОМ

Литература в кругу идеологий

Ниву «идейности художественного творчества» у нас возделывали известные специалисты. Не основной, но внутренне глубоко закономерной чертой их сочинений была, как мы хорошо помним, источаемая ими непреодолимая скука... Здесь, конечно, не сбросишь со счетов вопрос о личной одаренности, но это величина переменная, стало быть, не основная. Скомпрометированной кажется сама методология — анатомирование художественного целого до идейного костяка, сведение сложного к схематическому, творчества к политике.

Мы привыкли разводить литературу и идеологию как «вещи несовместные». Еще недавно, чтобы сохранить душу живую (да и репутацию), полагалось «внутренне эмигрировать» в художественность. Или уж облечь сочинение в притчевые, научно-фантастические, исторические наряды, замаскировать идеологизм. Скажут: иначе бы не прошло... Но и сейчас, когда избегание идеологичности уже не является единственно возможной моделью творческого поведения, когда допустимой и даже модной стала открытая политизированность художника, слова «идеология», «идеолог» так и остались в полубранном ряду. «Не искусство, а идеология» — так унижают неугодное произведение, а особо досаждающего оппонента посрамляют званием идеолога чуждого лагеря. И читателю становится ясно, кто и что перед ним...

Можно сколько угодно доказывать, что эта ал л е р г и ч е с к а я реакция на слово — от нашей привычки мыслить его в единственном числе, как синоним тоталитарности, как дыхание гоббсовского Левиафана, символизирующего всепроникающую моноцентристскую власть; можно сколько угодно напоминать, что идеология — если понимать под ней не комплект изначально сомнительного идейного товара, не набор лозунгов и «призывов» и не орудие манипулирования общественным сознанием, а только систему взглядов и идей, определяющую цели социальной деятельности, — в этом своем качестве обществу жизненно необходима. Но отрицательный рефлекс на слово-раздражитель так силен, что его, этот рефлекс, надо принять как данность, как приметку нашего постидеологического сознания. Толком не раздышавшись после многолетнего засилья «научной идеологии», служившей к каждой бочке затычкой, мы хотим освобождения, хотим деидеологизации. Но ведь она означает не упразднение, а смену идей.

А пока даже самые активные сторонники деидеологизации больше заняты опровержением старого, чем отчетливой артикуляцией нового. Можно только предполагать, что придет на смену исторически изжитому, ясно, пожалуй, одно: это будет не былой монолит, а сумма разнонаправленных идеологических векторов. Их мы и можем попытаться найти в литературе, особенно в таком специфическом жанре, как и д е о л о г и ч е с к и й роман. Его недавние образцы ныне возвращаются в круг нашего чтения¹, и поводом для этой статьи стала уже осуществленная или близящаяся публикация на родине сразу трех произведений — «Наследства» В. Кормера («Октябрь», 1990, № 5 — 8), «Демобилизации» В. Корнилова («Звезда», 1990, № 7 — 10) и «Отверзи ми двери» Ф. Светова², распечатанных нашими журналами (прежде все три были напечатаны за границей). Предпринимая попытку идейного анализа этих произведений — анализа с заведомо суженным ракурсом, неизбежными потерями, спрямлениями и т. п., то есть со всеми предвидимыми и непредвиденными недостатками метода, — хочу, по крайней мере, оговорить, что никак не претендую на разностороннее осмысление и истолкование, а стремлюсь лишь «опознать» отразившиеся в этих романах различные идеологические подходы к действительности. При таком изначально ограничен-

¹ Разумеется, традиция этого жанра никогда не прерывалась вовсе. Оставляя в стороне многочисленные официозные сочинения — и в том числе те, что считались классикой соцреализма, — назовем хотя бы одно, недавнее произведение иного ряда — «Все впереди» В. Белова. Кажется, в спорах об этом романе мы так и не сформулировали с достаточной отчетливостью, что это произведение весьма полно выразило именно и д е о л о г и ю большой и играющей важную роль в нашей жизни общественной группы — выходцев из села, крестьянских сыновей, в своих отношениях и оценках действительности исходящих из системы традиционных жизненных ценностей, из аксиологии русского крестьянства. В острый, даже бурной, со взаимными обидами и переклестами полемики вокруг беловского романа теперь, задним числом, нетрудно увидеть симптомы всеми уже сегодня оознанного и признанного идеологического кризиса, выражающегося в отсутствии достаточно авторитетной, приемлемой для основных групп нашего общества идеологии.

² Этот роман, изданный в Париже издательством YMCA-PRESS и переработанный автором для «Нового мира», в скором времени появится на страницах журнала. (Прим. ред.)

нии вряд ли можно избежать схематизма (быть может, ничем не лучшего, чем у наших записных идеологов от литературной науки); и вот, не чувствуя себя готовым к большому, чем «заметки на полях» современного идеологического романа, попробую хотя бы начать разговор.

При всех различиях в романах В. Кормера, В. Корнилова и Ф. Светова есть общий момент — они отражают «закулисные» идеологии, осознающие себя через противостояние официальной, сформировавшиеся в идейной схватке с Левиафаном. А рефлексия по поводу идейного противостояния власти, как о том убедительно напоминал покойный Владимир Кормер в своей статье «Двойное сознание интеллигенции и псевдокультура» («Вопросы философии», 1989, № 9), присуща именно интеллигенции. Герои романов — столичные интеллигенты, время действия можно определить как «закат моноидеологической эпохи», когда никаких иллюзий относительно «Единственно Верного Учения», кажется, ни у кого уже не оставалось³. Собственно, претензия на моноидеологичность, на «идейное единство» общества, всегда была именно претензией власти и одним из ее мифов, но когда вспышка энтузиазма, недолгая эйфория хрущевской «оттепели» сошла на нет, «детям Пятьдесят Шестого», «поколению XX партсъезда» (какие оптимистичные самоназвания!) стало ясно, что симфония с властью невозможна и необходимо размежевание. Началась пора весьма напряженного идейного самоопределения — на неудобном, если не сказать «похмельном», эмоциональном фоне (очень ощутимом в атмосфере всех трех романов). Какие же идеологии сформулировали те, кого впоследствии скопом стали именовать диссидентами?

Инакомыслие, как мы уже сказали, формировалось через противостояние, через отталкивание от парадно-официальной идеологии, выдвигаемой своей антитезой на любой, хотя бы формальный тезис власти, выстраивая систему идейных оппозиций: коммунизм — антикоммунизм, классовость — надклассовость, интернационализм — национализм, секулярность — церковность, народность — элитарность и т. д. Особый интерес, естественно, стали вызывать те классические идеологии, в схватках с которыми некогда «мужала в борьбе» сама коммунистическая доктрина и к которым она была особенно «неравнодушна». Коллективистская по духу, она противостояла идеологиям индивидуалистическим, наиболее известной и разработанной из которых была идеология либерализма, исторически неразрывно связанная с идеями демократии, прав человека и т. д. (правозащитное движение — таков самый известный и популярный синоним диссидентства). Располагая мощным арсеналом средств и способов «самоутверждения» (по сути, саморекламы) — от записок праздничного кумача до «отвлекаемых» у нас и щедро растрачиваемых на всяческий агитпроп денег и от монополизированных масс-медиа до КГБ для коснеющих в идейных заблуждениях, — «научная идеология» своим форсированным звучанием, своим нескончаемым соло заглушала все «ненаучные», подавляла их. Естественным ответом на эту идейную экспансию стало требование плюрализма, признания множественности различных идеологий, их суверенности и правовой неприкосновенности их границ. Плюрализм неотъемлем от либералистского сознания, от идеи автономности личности (или группы, партии и т. д.), и в нем есть глубокий и недешево доставшийся исторический опыт, это требование выношено мировой историей. Значительно меньше присущ либерализму интеграционный момент, порыв к единению. Эти сильные и слабые черты выразительно проиллюстрированы в романе Владимира Корнилова вставным рефератом, который сочиняет главным герой Борис Курчев.

Курчевский реферат называется «О насморке фуруштатского солдата», и эпиграфом к нему поставлена цитата из «Войны и мира» («Вопрос о том, был или не был у Наполеона насморк, не имеет для истории большего интереса, чем вопрос о насморке последнего фуруштатского солдата»). Все это изящное эссе — как бы спор с и впрямь не очень осторожно сказанной, при желании толкуемой как высокомерие к маленькому человеку, «обознику», толстовской фразой. Но дело, конечно, не в том, что автор реферата на Толстого сердится, не в личном отношении — ему за идею обидно, за либералистскую идею, составляющую пафос реферата. Фуруштатский солдат символизирует человека рядового, «винтик», как некогда выразился товарищ Сталин. И Борис Курчев напоминает: «Но самый последний фуруштатский солдат, самый глупый и ничтожный человек — все-таки личность, а не болт, гайка или винт. И пока он жив и крутится в общем механизме страны или общества, он должен иметь какой-то зазор, какой-то отличный от нуля минимум свободы выбора, свободы воли духовной и свободы воли физической». В этой твердой декларации мы при внимательном рассмотрении обнаруживаем едва ли не все образы и идеи, характерные для идеологии либерализма: уникальность человеческой личности, понятие некоего пространства свободы («зазора», необязательно, конечно, физически очерчивающего личностные пределы). Очень существенна здесь именно свобода выбора, о которой говорит Курчев, выбора, который не оценивается по шкале добра и зла, истины и лжи, — свобода дорога как свобода сама по себе. Все это очень

³ В. Корнилов относит события своего романа ко времени более раннему — непосредственно после смерти Сталина. Но психологически его героя скорее шестидесятники или семидесятники. Возможно, автор романа «спрессовал» время в целях большей смысловой нагрузки действия — не будем ловить его на анахронизмах, они слишком очевидны, чтобы автор не предвидел реакции читателя.

гуманные, вошедшие в кровь современного человека, неоспоримые понятия. Спорить можно лишь об их безотносительности, а б с о л ю т н о м их характере, на коем настаивает либерализм. В сжатом пространстве реферата мы видим, как индивидуалистические ценности начинают сталкиваться с ценностями социальными, как личность в своем порыве к свободе-для-себя вступает в неминуемый конфликт с окружением. Ведь «отдельной личности никогда нигде не было, разве что в романе Дефо», как справедливо говорится в том же реферате. «Всегда человек связан еще с одним человеком, а тот в свою очередь с третьим, и все трое соединены между собой и еще с бесчисленным множеством других людей. И все-таки, насколько я знаю, основное внимание всегда уделялось именно этим связям и путам. Тех, кто были связаны или спутаны, всегда хотели связать или спутать еще сильнее». Вот, пожалуй, главный комплекс либералистского сознания — в связях оно видит прежде всего пути (и как бы «самовяжущие»), боится, что «мистика долга» уничтожит свободу выбора. Мистика, о которой здесь говорит автор реферата, это и есть идеология, понимаемая как средство духовного закабаления беззащитной перед Левиафаном личности. Личность поработается «обязанностями общими, гражданскими и зачастую мнимыми» (чуть ниже мы встречаем в реферате характерный синонимический ряд: мнимое, мистическое, религиозное). Левиафан предстает в разных, меняющихся обликах, это чудище поистине «стоозвонно». Он может обернуться обществом (государством), нацией, церковью и т. д. Как же может беззащитный человек, фурштатец, осуществить свою свободу? Бегством, дезертирством, «равнодушием к своим общественным обязанностям» («нерадивость, леность, разболтанность, филонство (т.е. итальянская забастовка)», перечисляется в реферате). Что ж, здесь есть своя логика, в конце концов известна еще и такая возможность осуществить последнюю свободу, как бегство из жизни, самоубийство...

Случайно ли, что все эти пути к свободе отрицательны? Либералистское сознание и е р а з р е ш а е т извечный конфликт личности и общества, оно его лишь смягчает, настаивая на минимальном «зазоре», «люфте», оно говорит о свободе внешней, что называется, о «свободе тела». Проблему свободы либерализм склонен решать юридически, в категориях прав личности, демократического механизма общественной жизни. Еще раз подчеркнем: это неотъемлемые, правомерные, законные требования, нельзя заставить человека от них отказаться. Но и герой Дефо упомянут в реферате не случайно — в пределе все эти права могут быть осуществлены разве что на необитаемом острове. В реальной жизни к конфликтам может привести даже одновременное осуществление разными людьми этих своих прав. Если взглянуть на дело не с точки зрения отдельного фурштатца, а с общественной (сразу многих фурштатцев), то свобода потребует ограничения, сознательно принимаемых пут. А с этим-то мысль автора реферата «О насморке фурштатского солдата» и не может примириться.

Столкновение никак не ограничиваемых свобод-для-себя гротескно изображено в романе Владимира Кормера «Наследство». Это не только идеологический, но и, если вспомнить историко-литературный термин, «антинигилистический» роман. Что и вызвало к нему неоднозначное отношение еще при бытовании в самиздате. Я сказал «гротескное изображение», но, возможно, и на меня давит распространенное мнение об этом произведении Владимира Кормера как о недоброй карикатуре на диссидентство. В романе слышны отголоски не самого славного судебного процесса 70-х годов, не самой героической страницы в истории инкомыслия последних десятилетий. Но не мне выносить моральные оценки, у меня нет такого права, нет и охоты. Я читаю это увлекательное произведение не как беллетризованную летопись, а как идеологический роман (с акцентом на втором слове). Едва ли не каждая из его сюжетных линий заслуживает отдельного разговора — например, редкое для нашей прозы изображение потаенного служения «катакомбной церкви» или «заграничные» главы, дающие столь же редкую, может быть, уникальную художественную реконструкцию идеологии евразийства.

«Наследство» — роман, написанный с не частым в наше время чувством романной формы, его сюжетные линии мастерски сплетены в единый узел. Но в развитии уже затронутой темы — взаимосочетаемости различных «закулисных» идеологий, их способности к векторному суммированию, образованию нового идеологического поля — проследим лишь ту линию, в которой непосредственно участвует, как можно догадаться, alter ego автора Николай Вирхов. Характерно, что это самый молодой из персонажей «Наследства», и биографическая его отъединенность, пропуск в силу возраста каких-то общих для старших его товарищей этапов идеологического времени (как и его жизненная задача — Вирхов втайне сочинительствует) делает для него возможной позицию отстраненного наблюдателя. Вирхов — человек, пользующийся доверием в весьма разнородной диссидентской компании (впрочем, доверием относительным — безалаберная открытость сочетается здесь со вспышками почти маниакальной подозрительности), но чувствующий себя в ней чужаком, одиночкой. Это и позволяет ему холодновать «наблюдать нравы». Обычно это считают условием беспристрастности, но я бы сказал, что здесь скорее бесстрастность. Младший по возрасту, Вирхов выглядит как человек с большей духовной остротой, чем его успевшие отсидеть в сталинских лагерях друзья. Их идеологическую озабоченность он воспринимает с иронией, идеология для него —

объект наблюдения. Как ни странно, в этом отнюдь не игнорирующем социальные идеи, любопытствующем насчет них человеке пороку чувствуется предтеча постидеологического сознания.

Не случайно в романе немалое внимание уделяется мотиву сосуществования с властью. Для старшего поколения здесь вопроса нет: «...вернувшись из лагерей... уже просто не хотели знать...»⁴, «Они не просто знали что-то... но они решались распространить это свое понимание на жизнь в целом, свою и чужую, и говорили, что... не сделают и шага в верх, что предпочитают бедность карьеризму и благополучию людей, тоже все знающих и ни во что не верящих, но тем не менее из корыстных побуждений стремящихся к престижу и адаптации». Потому что каждый шаг в верх в любой области, в любой сфере деятельности казался им «проституцией»⁵.

Эти непримиримые идейные установки часто проецируются в романе на быт (жителей и духовный), создавая, условно говоря, богомную атмосферу повествования — с психологической неуравновешенностью, выглядящей подчас претенциозной готовностью «переделать мир», и т. п. Вирхову все это начинает представляться бесконечным трепом, растрачиванием жизни впустую, азартной игрой. С беспощадной ясностью проступают малые и немалые человеческие слабости инакомыслящих, пропадает различие между «официальной» и «закулисной» идеологией. Как говорит героиня романа: «...это «советская власть» наоборот!»

Реплика может больно задеть тех, кто, отвергнув приспособленчество, отдал свою судьбу противостоянию режиму, Левиафану. И если есть в таком упреке хоть какая-то доля правды, то она в том, что, отвечая на установки и призывы власти противоположными по смыслу, поляризуясь, сознание носителя «закулисной» идеологии может при этом и не меняться структурно. Еще раз повторю, что не мое дело выносить здесь какие-то оценки. Безусловно, при всех своих слабостях и недостатках, открывающихся взгляду со слишком близкого расстояния, носители сопротивляющейся Левиафану идеологии заслуживают уважения и, во всяком случае, совсем иного отношения, чем «сочувствующие движению» приспособленцы, деньгами и протезированием пытающиеся морально откупиться, заплатить за свою симфонию с режимом. И в то же время мы видим, как трудно обрести духовную свободу, когда сознание — пусть от противоположного — формируется официальной идеологией, оставляющей в нем свои зеркально-обратные оттиски.

Сегодня, когда «научная идеология» перестала быть — полностью скомпрометировала самое себя, — на ее место, в область низкого идеологического давления, хлынут «обратные» идеологии. При всем сочувствии их носителям, при нашей почти врожденной симпатии идеологическим концепциям сопротивления, мы все же должны дать себе отчет в том, что обратный знак по отношению к «научной идеологии» еще не гарантирует подлинной духовной свободы; принципиальная антитоталитарность необязательно означает подлинно бережного и внимательного отношения к отдельному человеку. Героиня кормеровского романа Татьяна Манн, обостренно чувствующая опасность этой радикальной несвободы, формулирует ее так: «Я хочу быть человеком со своим мнением и жить, как я хочу, а не как они хотят... А то, как они говорили, когда бегали с этим письмом в защиту Иркиного хахала? Нас, видите ли, не интересует, почему ты подписываешь и о чем ты при этом думаешь! Подписывая, ты становишься просто социальной единицей «инакомыслия» и в качестве таковой только и имеешь значение...»

Увы, слишком часто и много мы видим примеров подобного радикального диктата в наши дни. Провозглашая привлекательно звучащие, давно чаемые цели, оперируя понятиями, означающими для нас надежду на справедливость (демократия, права человека, плюрализм и т. д.), идеологии, конкурентные к «научной», также могут рассматривать человека лишь как «социальную единицу», тот же «винтик», по сути. Я понимаю, что такая подозрительность на фоне сегодняшней борьбы за демократию, когда битва с Левиафаном еще не завершена и исход ее не ясен, может показаться неуместной, разъединяющей и ослабляющей. Но об этом стоит говорить именно заранее, нужно видеть перспективу — хотя бы для того, чтобы не скомпрометировать в близком будущем сами антитоталитаристские идеи, не прийти к совсем уж «постидеологическому» кризисному сознанию.

Еще резче, острее схожие тревоги звучат в книге Феликса Светова «Отверзи ми двери». Я бы сказал, что главная идея романа — преодоление идеологии, выход в более широкие, даже бесконечные духовные пределы — в пределы веры. «Покаяния отверзи ми двери, живодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему...» — строка молитвы, давшая название книге, выражающая тоску души по горнему. Сразу указан и путь — через покаяние, через самоограничение.

⁴ Отточия в идеологически взрывоопасных местах «Наследства», возможно, следует воспринимать не столько как автокупюры, сколько как «минус-прием», пользуясь структуралистской терминологией. Все, мол, настолько ясно, заранее известно, что слова уже не нужны... За этой «бесповоротной ясностью» и наступает постидеологическая усталость, столь многое определяющая в позиции автора «Наследства».

⁵ В предисловии к журнальной публикации романа («Октябрь», 1990, №5) указано, что именно этот текст, подготовленный к изданию вдовой писателя Е. В. Мунц, следует считать полным и соответствующим последней авторской воле. Принимая эту публикацию за каноническую, в ряде цитаций мы приводим в угловых скобках и текст западного книжного издания «Наследства» (издательство «Посев»), чтобы наглядно проиллюстрировать самоочевидность, выразительность всех «фигур умолчания», о которых сказано выше.

Главный герой романа приходит к вере, в зрелом уже возрасте ощутив недостаточность, неокончателность духовного опыта, накопленного, вынесенного им за все прожитые годы. Распространенные в интеллигентской среде идеологии, весьма подробная панорама которых развернута на страницах романа, не дают Льву Ильичу утешения духовной жажды. Это совсем не легкий опыт, не легкое решение, поскольку, как мы видим, выбранный героем романа путь вызывает непонимание, протесты и даже агрессию людей, близких и дорогих ему, с которыми прошла немалая часть жизни, разделены и печали и радости. Через сомнения и искушения идет человек к глубокой вере, и, сочувствуя ему, мы все же не вправе уйти от не раз звучащего в романе вопроса: возможно ли индивидуальное спасение, не есть ли оно бегство от чужих страданий, равнодушное отстранение от них? Именно в этом упрекают Льва Ильича и его жена, и его друзья, и полужнакомые люди: озаботившись своей душой, сосредоточившись на своем страдании и тоске, он часто остается слеп к ближнему. Человек высокосовестливый, Лев Ильич не может не принять этих упреков, мучается сомнениями.

Вопрос об «этичности» индивидуального спасения — вопрос давний. И хотя известно много глубоких богословских ответов на него, в реальной практике церкви, в земной жизни христианина он возникает вновь и вновь и, видимо, будет возникать всегда. Возможно, суть ответа именно в глубоко личном его характере: это нельзя просто повторить за другими, а нужно пережить. И Лев Ильич, сталкиваясь, порою весьма болезненно, с чужим страданием, умея видеть правду чужих позиций — национальных, идейных и т. д., — приходит к выводу, что высшая, подлинная свобода человека заключается в его духовном самоограничении, в смиреннии, в самостеснении. Об этом так легко, так привычно сказать в одной фразе, но трудно утвердить это своей жизнью.

Главный вопрос книги Ф. Светова сводится к тому: заменяет ли вера идеологию? Кажется, весь пафос романа — в утвердительном ответе на этот вопрос, и все-таки не будем спешить.

Вопрос о социальном идеале христианства мало разработан. Одни отвечают на него в духе «христианского социализма» (такова, например, была позиция Г. П. Федотова, впоследствии, кажется, усложнившаяся). Другие вообще не считают обязательной такую постановку вопроса — преобразовать нужно не внешний мир, а внутренний, озаботиться следует собственной душой. И хотя вера — и это следовало бы считать общепризнанным — по своему духовному объему несравненно больше идеологии, вопрос о христианской идеологии, думается, поставить было бы правомерно.

Разумеется, говорить об этом допустимо с предельной осторожностью, и на несомненности своего взгляда я настаивать никак не могу, однако глубокими и весьма обнадеживающими начинают видеться из сегодняшнего дня идеалы христианской демократии. Даже и для людей иных вероисповеданий или для тех, кто стоит вне религии, привлекательную перспективу открывает понятие соборности, общности в любви.

Рамки этой статьи не вмещают сколько-нибудь подробного разговора о соборности, но один момент никак нельзя обойти: отстаивавшее и утверждавшее самоценность отдельной личности анти тоталитаристское сознание склонно подозревать в соборности замаскированную разновидность принудительного коллективизма в церковных, так сказать, ризах. На самом деле гораздо больше коллективистского духа может обнаружиться в демократии, при «механической» победе большинства над меньшинством. Соборность же, не «обрывающаяся» голосованием, а идущая до соглашения, учитывает именно автономию взглядов меньшинства, в пределе — одной личности. То есть персоналистский подход никак не отменяется, личность существует в соборности, подобно, как не раз поясняли русские религиозные мыслители, существованию каждой ипостаси в Святой Троице. Это вряд ли возможно выразить в рациональных категориях (хотя такие попытки и были), это необходимо почувствовать.

Во всяком случае, идея соборности могла бы быть разделена всеми — пусть лишь как «проект», как идеал. И хотя, будучи переведена в общественный, социальный план, эта идея утрачивает свое мистическое наполнение, но и в неполном своем объеме она может стать общей «платформой», общеприемлемой точкой пересечения различных мировоззрений и идеологий. Понимая, что идеологий много и говорят они подчас на разных языках, может быть, нет смысла настаивать и на самом термине «соборность». Обозначаемая им идея согласия через добровольное самоограничение — это, конечно, лишь цель, к которой следует идти и которая выглядит несравненно более далекой, чем цели, намечаемые идеологиями, подспудно вызревшими в моноидеологическую эпоху и сейчас выходящими на арену. Но по крайней мере среди тех социальных целей, которые мы обнаруживаем в пространстве трех современных идеологических романов, она выглядит самой обнадеживающей и самой истинной.

Литература и искусство

«БЫЛИ ОЧИ ОСТРЕЕ ТОЧИМОЙ КОСЫ...»

Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. Текст подготовил Ю. Л. Фрейдли. Послесловие Н. В. Папченко. Автор примечаний А. А. Морозов. М. «Книга». 1989. 479 стр.

Надежда Мандельштам. Вторая книга. Подготовка текста, предисловие, примечания М. К. Поливанова. М. «Московский рабочий». 1990. 560 стр.

Десять лет прошло, а невозможно ни пройти, ни проехать по Большой Черемушкинской без укола в сердце: там, в доме № 14, в первом корпусе, за окнами нижнего этажа, повернутыми прямо к громыхающей трамвайной линии, ее уже нет. Никогда не придется позвонить в дверь 4-й квартиры — по ненарушимому уговору два раза, чтобы заверить хозяйку: это не те пришли за ней, это кто-то свой. Не увидит, как она незабываемым движением множества травленного, чуть одичалого, но сохранившего в себе очень много жизни существа отпирает дверь и остро тебя оглядывает, снимая цепочку... Не сидеть с ней рядом на кухне, как тогда, в начале 70-х, когда после выхода в свет за границей первой книги у нее были серьезные основания ждать гостей дорогих, только, по счастью, не всю ночь напролет, она заметно успокаивалась каждый раз после девяти вечера — как-никак не сталинское время, ночные аресты вышли из моды, после двадцати одного ноль-ноль вроде бы не приходят, на сегодня пронесло... Не видеть ее глаз с какой-то особенной радужкой, тех самых, вошедших в бессмертное воронежское стихотворение про зрачок в небесной корке: «Омут ока удивленный...» Не слышать ее глуховатого, низкого голоса, ее выразительных интонаций.

Где ее голос продолжает звучать, так это в ее книгах. Там он сохранен надежнее, чем осанка и повадка на фотографиях. Подчеркиваю, это не утешительное общее место, какое можно было бы отнести без разбора к любому покойному автору, обладавшему достаточно характерным стилем. У Надежды Яковлевны была редкая способность, куда более редкая, чем литературное дарование само по себе: она писала как говорила, без видимого миру усилия переноса на бумагу устную интонацию. Это может показаться самым легким, а на деле труднее всего. Кто хочет, пусть попробует. Михаил Поливанов в своем предисловии очень удачно характеризует «Вторую книгу» в жанровом отношении как *table talks*, собрание застольных разговоров. Свидетели не дадут соврать: чуть не каждое слово рождавшихся книг проговаривалось живым го-

лосом, проверялось то на одном, то на другом собеседнике. Магнитофону было бы не под силу увековечить монологи на черемушкинской кухне точнее — разве только дословнее. В книгах сохранен, кажется, самый воздух, в который падали слова. Такая безыскусность со времен античных риториков почиталась за вершину искусства.

Иосиф Бродский совершенно прав, когда в эссе-некрологе говорит о Надежде Мандельштам не просто как о мемуаристе, но как о виднейшем русском прозаике своего времени. Власть над словом либо есть, либо ее нет, и тогда ее не заменят ни добрые намерения, ни прекрасные порывы. Но вот что примечательно: насколько здесь власть эта была дана для исполнения определенного дела. Насколько она была обусловлена тем, что человеку было что сказать. Тем, что сказать это было смертельно необходимо.

Надежда Яковлевна не любила слова «мастерство», скомпрометированного для нее специфически советскими коннотациями: будто имеются какие-то технические секреты «мастеров слова», которыми возможно овладеть в литинститутах, что вроде бы компенсирует разрыв с культурной и нравственной традицией человечества. Но и безотносительно к этим коннотациям язык не поворачивается усматривать у нее «мастерство». Несравненную естественность своего слога она не могла приказать себе воспроизвести, как воспроизводится прием. Помню, она среди самого расцвета своего литературного дара пробовала переводить с английского книгу о молитве проживающего в Лондоне владыки Антония Блума; так ведь пришлось отступить, до того неумелым неожиданно получался перевод. Надежда Яковлевна не могла применять свой дар, пускать его в ход хотя бы для самой благой цели. Она могла говорить только своим голосом — и только о своем. В «Тарусских страницах» на рубеже 60-х под прозрачным псевдонимом Н. Яковлева были напечатаны ее очерки — конечно, это еще не она. Затем она решилась, отбросив последнюю оглядку не то что на возможность напечататься в советском изда-

тельстве, а на какие-либо резоны самосохранения — напомним, что в 1966-м газеты были полны делом Синявского и Даниэля! — начать рассказывать о самом для себя главном: о судьбе Осипа Мандельштама и через нее — о судьбе страны. И тогда огонь зажегся и стал разгораться. Теперь она была гениальной. Ни этому огню, ни силам жизни в ее теле не мог прийти конец, пока обе книги не были написаны. Они стоят под знаком необходимости. После оставалось время для опытов, объединенных Н. А. Струве под заглавием «Третья книга»; опыты эти в разной мере интересны, однако огонь в них ощутимо угасает — как кажется, не только в связи с естественным упадком сил, но прежде всего потому, что необходимое жизненное дело было уже завершено.

Все «литературное» в обеих книгах очень жестко подчинено внелитературной задаче: не что сообщить читателю, в чем-то убедить его. Сколь бы ни был прав Бродский, когда он описывает прозу Надежды Мандельштам как единственно наличное на тот момент средство для языка как такового избежать застоя, концентрировать внимание на внутрилитературных аспектах дела легче с достаточной географической дистанции. Внутри русской жизни, хорошо это или плохо, действует моральное принуждение, заставляющее поспешно переводить разговор с вопросов литературного языка на совсем иные материи. Что, собственно, она нам рассказала? В чем пыталась нас убедить? Что сделала с нами?

Впрямую стоит вопрос о смысле. Как нам сегодня — через десять лет после кончины Надежды Яковлевны, через двадцатилетие после написания второй книги и более чем через четверть века после рождения первой — оценить дело ее жизни? Ответы на этот вопрос тяготеют к крайностям. Мне еще придется говорить об обидах, вызванных ее книгами, о тяжбах, которые ведутся из-за оценки конкретных лиц и событий. Значительно более странно, чем самую яростную обиду, встречать взгляд сверху вниз. Тут мне придется возражать людям, которых я искренно уважаю, но нельзя же так: Анатолий Найман скажет, Наталья Горбаневская в рецензии разовьет тему — и черта всем тоном подведена, вопрос исчерпан, отныне остается принять к сведению эту эпиграмму в прозе. И прежде всего для меня непонятно обвинение в том, что Надежда Яковлевна под конец жизни самоутверждалась, брала поздний реванш и тому подобное — не только за счет Ахматовой, но и за счет своего мужа. Будто бы отношение к обоим великим современникам пришло к симметрии, подлежит описанию в одних и тех же «терминах». Начать с того, что симметрии здесь не найдешь: скорее уж Ахматова была отчасти принесена в жертву единственности Осипа Эмилевича, что

было бы непохвально со стороны беспристрастного летописца, но более нежели понятно со стороны «нищенки-подруги». Однако ни в книгах, настойчиво подчеркивающих по всякому поводу и даже без повода культурное, умственное и нравственное превосходство Мандельштама над взятой им в свою жизнь девочкой из божьего киевского «табунка», ни в тех разговорах, которым я был свидетелем и участником, я не находил и не нахожу никаких грехов перед памятью мужа: не только предполагаемого смыслом слов Н. Горбаневской его принижения ради своей вящей славы, но и другой, более невинной слабости, часто встречающейся у самых верных вдов, детей и друзей прославленных покойников, — навязчивой тепловатой фамильярности, убивающей чувство дистанции. Когда она говорила «Оська», это звучало не фамильярно, а скорее ритуально. В ней чувствовался спасительный страх перед тем, чтобы выграться в его роль, заговорить его голосом. Как-то я попросил ее прочитать что-нибудь из Мандельштама, причем имел неразумие объяснить, что надеюсь расслышать сквозь ее чтение его интонации. Она вроде бы согласилась, напряглась, открыла рот, но сейчас же закрыла и нахмурилась, повторила все эти действия еще два или три раза, хмурилась все больше, а под конец сказала: «Не могу. Оська говорит: цыц!» Существо дела, то есть отказ от самоидентификации, от того, чтобы из лучших побуждений перепутать себя с ним, здесь важнее, чем несколько стилизованная интонация испуганной жениной покорности... Перед другими — иной разговор; но я решительно не вижу, в чем бы это она была небезупречна перед его, как прежде сказали бы, тенью.

И одно дело — спорить с Надеждой Яковлевной, совсем другое — разделяться с ней небрежным пожатием плеч. Сказанное не означает, что мне симпатична идея приписывать ей, человеку донельзя страстному и пристрастному, некую непогрешимость мнений и суждений. Боже избави! Есть не одна, а минимум две веские причины воздержаться от того, чтобы делать из нее икону. Во-первых, нехорошо погрешать против истины; во-вторых, если мы любим человека и чтим его память, мы должны пуще всего бояться возбудить против него иконоборческие аффекты соотечественников и современников. Дела не сведешь к вульгарной зависти — просто по законам естества эмоциональный нажим провоцирует ответную реакцию. С этой точки зрения меня многое смущает в послесловии Николая Панченко к книге «Воспоминания». Ему я готов низко поклониться за то, как он написал о похоронах Надежды Яковлевны, это дорогого стоит, ничего не скажешь. Но мне непонятны, например, его претензии к Михаилу Поливанову — не возражения, а именно укориз-

ны. Я не вижу, почему признание великой заслуги Надежды Мандельштам, сохранившей, по выражению Н. Панченко, «наши мозги от помешательств века», логически или хотя бы морально дезавуирует поливановскую констатацию: «но друзья ей очень многое прощали»? Нам есть что прощать не только тем, кто меньше нас, но и тем, кто заведомо больше и кому мы по гроб жизни обязаны. Что до величия, оно определяет, по самому смыслу слова, м а с ш т а б, а не совершенство. И ведь тут есть еще один нюанс. Вся интонация Панченко принуждает читателя под страхом морального ostrакизма принять не одну, а две различные презумпции: добро бы еще всегдашней правоты Надежды Яковлевны — но ведь наряду с этим безусловной, безнадежной и возмутительной неправоты всех несогласных. Последним отказано в возможности иметь не только свою частную правду, пусть низшего ранга, но хотя бы не совсем постыдные мотивы для заблуждения: например, искреннюю привязанность к памяти некоторых современников. С этим согласиться куда труднее, чем с самой высокой оценкой жизненного дела покойной в целом. Именно в целом, а не в деталях. Детали могут требовать существенной корректировки, и это отнюдь не противоречит величии целого.

Вообще говоря, человек несравнимо более правомочен выносить приговор своему времени со всеми его «измами», тенденциями, умонастроениями, со всеми его наиболее общими чертами, нежели другому человеку. Собственно, этому учит христианство, которое Надежда Яковлевна исповедовала. Но наряду с духовным и моральным аспектами здесь есть и чисто познавательный аспект. Еще Аристотель говорил, что настоящий предмет точного знания — это общее. Описать с безупречной верностью некоторую моральную ситуацию, некоторую духовную ловушку, некоторую психологическую атмосферу вообще — трудно, но вполне мыслимо. Пусть, однако, два человека попробуют с полной добросовестностью воссоздать сценку, разыгравшуюся между ними сутки тому назад, — и мы получим рассказ о двух разных сценках.

Самому зоркому случается недосмотреть, самому пристальному — недослышать, самому пронизательному — понять превратно. Это трюизм, касающийся условий человеческого существования в любое время, в любой стране, в любом обществе. Когда, однако, абсолютно реальные причины побуждают, более того, принуждают не верить ничему, кроме собственных глаз и собственных ушей, когда немислима спокойная перепроверка фактов, выводов и оценок в неторопливых, непринужденных разговорах с себе подобными — человек оказывается перед выбором: либо полное недоверие к себе, при котором никаких воспоминаний не напишешь,

никакого своего слова не скажешь (и которое опасно смыкается с не умолкающими нашептываниями страха — а что я, в конце концов, знаю? куда суюсь?..), либо, напротив, уверенность в себе, которая в других условиях была бы непозволительна, а здесь необходима. Эта уверенность, эта авторитетность и категоричность переходят в постоянный навик ума, твердея с возрастом, потому что есть же еще и законы психологии. Такова ситуация «единственного свидетеля», вне которой обе книги Надежды Мандельштам поняты быть не могут. Когда достаточно твердо помнишь, что одинокая властность их тона не от хорошей жизни, отпадает охота иронизировать. Как, впрочем, и приукрашивать.

С другими нашими пророками — употребляю это слово без кавычек и в достаточно серьезном смысле, — изначально сформированными, как Солженицын, как Шаламов, тем же опытом «единственного свидетеля», у нас, в общем, схожие проблемы. В сравнении с масштабом их подвига проблемы эти вовсе не так уж значительны. Какие есть — мы не достойны и таких учителей. Бог послал нам их, смилостивившись над нами воистину не по грехам нашим. Было бы, однако, лицемерием притворяться, что проблем нет.

Что касается Надежды Мандельштам, важно, что она на каждом шагу отталкивалась не только и не столько от сталинщины, сколько от ущербного либерализма 60-х. (Вот здесь, в оценке времени, когда «все были хорошие», я рад согласиться с Николаем Панченко.) Со сталинщиной, в конце концов, дело было более или менее ясное; когда начальство объявляло расчетам с ней очередное «отставить!», это было оскорбительно, однако на общественное мнение повлиять уже не могло. Опасность была в другом: как бы тема «нарушений социалистической законности», «лагерная тема» тож, не была канализована, хитро отведена в русло, отторгнута от больших логических связей и под разговором не была подведена жирная черта — на присущем тому времени фоне из комсомольской романтики, безупречно гуманного Ленина по Казакевичу и восторженной идеализации 20-х годов. (К слову сказать, критика 20-х у Надежды Яковлевны стимулируется именно контекстом 60-х.) Здесь важно подчеркнуть, что ущербность шестидесятнического либерализма была ущербностью прежде всего мировоззренческой; даже спор с официозом принимал навязанные им псевдоаксиомы, точки отсчета, мыслительные ориентиры и фундаментальные понятия, шел на официальном идеологическом жаргоне. Философские и религиозные интересы, широко распространенные в 70-е годы, для «оттепели» не характерны. Мысли тогда быстро переводились на уровень голый эмоции, настоятельно требующей гитарных струн и расстроганной затуманен-

ности сознания; разъятость мыслительных сцеплений словно материализована в рваной прозе мемуаров Эренбурга, побуждающей вспомнить его же строку: «Подумать не дай, оборви, молю, этот голос...» Вопрос о целостном мировоззрении в таких условиях становился вопросом из вопросов, более острым, насущным и запретным, чем все разгадывания секретов Сталина. Кто ставил его, прорывал паутину, в которой запуталась «оттепель». Одной постановки достаточно, чтобы заслужить благодарность последующих поколений. Но теперь мы должны трезво и ясно представить себе, в каком положении оказывался тот, кто начинал уединенную работу над выработкой целостного мировоззрения. Из рук официальной культуры, официальной науки, тем паче официальной псевдофилософии, даже в их самом что ни на есть «оттепельном» варианте, ничего нельзя было брать; профессионализм оказался подменен и тяжело скомпрометирован. Одна надежда — на «приватного мыслителя Иова», как выражался в свое время Кьеркегор. Что же, в Иовах недостатка не было. Но каждый такой приватный мыслитель оказывался сам себе и философом, и теологом, и экспертом по истории, и теоретиком государства и права, и арбитром по части эстетики и поэтики, не говоря о многом другом. Выбора у него не было: ему приходилось заниматься тем, и даже по преимуществу тем, чем его никто и никогда не учил заниматься. Надежда Яковлевна сказала бы, что ее учил Мандельштам; но ведь и он готовил ее к роли понятливой собеседницы и слушательницы стихов, не к работе по универсальному осмыслению проблем столетия. Брать на себя такую работу в таких условиях значит обрекать себя на дилетантизм; но отказаться от нее, видя всеобщую нужду в целостном мировоззрении, морально невозможно. Выше сил любого человека знать все. Но предмет целостного мировоззрения — именно «все». Если угодно, это вековая коллизия русской жизни, в которой дело институций должны перенять личности; вместо теологического факультета работает помещик Хомяков, а вместо философского факультета — романист Достоевский, так что с целостным мировоззрением дело обстоит куда лучше, чем с профессионализмом.

Надежда Яковлевна писала даже не романы, как Достоевский, а мемуары. Но если мы будем ожидать от ее книг того, что нормально ожидаем от мемуарной литературы, нам угрожает опасность быть очень несправедливыми — либо к ней, либо к ее персонажам, либо на обе стороны сразу. Ее сила — в изображении не конкретного, а общего, не внешнего, а внутреннего. Ее специальность — не столько факты, сколько атмосфера, окружающая факты. Она сумела исключительно удачно дополнить хотя бы того

же Шаламова, автора в отличие от нее с лагерным опытом, сила которого была в аскетичнейшем языке факта. Ибо одна задача — говорить о лагере как логическом пределе жизни целой страны, другая — рассказать о жизни страны, протекающей под таким знаком. В первом случае на первом месте сами обстоятельства, во втором — душевное и духовное состояние, порождающее эти обстоятельства и порождаемое ими. Чтобы психология выступила на первое место, порой даже нужно, чтобы обстоятельства отступили на задний план. Чтобы их экстремальность перестала отвлекать наше внимание.

«Мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда — без сучка и задоринки — с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-проводятым в штатском, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, — так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, — страшнее, и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц».

Одна из наиболее ярких глав «Воспоминаний» — глава «По ту сторону», из которой взята эта цитата и в которой, собственно, ничего не происходит, а просто время и пространство увиденны глазами того, для кого ни времени, ни пространства больше нет — только неволя. «Конец мира». Сама Надежда Мандельштам называет это «робкой попыткой описать сдвиг сознания». Эта формула приложима, по сути дела, к ее творчеству в целом. Во «Второй книге» сразу после вводной главы идет глава «Потрава», в которой тоже ничего не происходит, — обрисованные в ней забавы киевской артистической богемы первых лет революции по видимости довольно невинны, даже милы (особенно для шестидесятнического вкуса к «раскованности»); лишь яростным напряжением покаянной интуиции в них и сквозь них увидено страшное духовное разрушение, сделавшее возможным, а значит, неизбежным все, что последовало. А перед этой главой автор высмеивал расхожие представления, согласно которым «субъект маленький, а объект большой, и от этого все качества». Ибо именно субъект совершает духовный выбор и тем открывает дверь, через которую приходит иное онтологическое состояние мира. Увидеть и описать события, беззвучно совершающиеся в самой глубине субъективности субъекта, — наиболее существенная задача обеих рецензируемых книг.

Биографическое в них всецело подчинено истории; о «катастрофической гибели биографии», о бытии людей, выброшенных из своих биографий, Осип Мандельштам сказал еще на пороге 20-х. Но история в свою очередь подчи-

нена историософии. Это значит, что факт становится в лучшем для него случае — симптомом, в худшем — метафорой чего-то иного. На книги Надежды Манделштам, как на картины импрессионистов, надо смотреть издали, чтобы должным образом сливались мазки, положенные так, а не иначе ради передачи атмосферы. Глаз должен настроиться на уловление этой атмосферы, а не на попытку высчитать с точностью до миллиметра контуры предметов.

Примерно за сто лет до «Второй книги» были написаны «Бесы» Достоевского, ставящие и решающие схожую задачу духовной диагностики. Роман — не совсем роман, мемуары — не совсем мемуары; скорее уж два трактата по демонологии. Многое во «Второй книге» явно или неявно содержит оглядку на «Бесов», отсылку к ним, и это вполне в порядке вещей. Но сейчас я не об этом. После целого столетия споров мы пришли, кажется, к тому, чтобы видеть в романе Достоевского глубинную правду о духовных процессах, выразившихся в нигилизме, в нечаевщине и определивших нашу недавнюю историю. Правду, что называется, последнюю. Но «последняя» правда отнюдь не включает в себя автоматически «предпоследнюю»; их соотношение не так просто. Никому ведь не придет в голову изучать фактическую сторону хотя бы нечаевского кружка — по Достоевскому. Те, кто резко возражал против изображения в романе нигилистов, оказались не правы не потому, что их возражения на каком-то уровне были вовсе лишены смысла, а потому, что счет в романе идет на другие величины. Давно отшумели споры о том, не оклеветал ли писатель Грановского и Тургенева, хотя, по правде говоря, черты Степана Трофимовича и Кармазинова опознаются достаточно однозначно, так что спасительная функция «художественной условности» сведена к минимуму, если не к нулю. Невозможность редукции человеческого и литературного явления Ивана Сергеевича Тургенева к образу Кармазинова настолько очевидна, что на нее нелепо указывать; но всем ведь ясно, что образ Кармазинова, как он дан у Достоевского, абсолютно необходим как средство, чтобы высказать некоторую истину отнюдь не о Тургеневе, а о состоянии культуры. Жанр метафизического памфлета — особый жанр, со своими правами. Не стоит обижаться за людей, потому что «Бесы» — про бесов. Но книги Надежды Яковлевны тоже подчиняются скорее законам метафизического памфлета, нежели законам мемуарной литературы; они тоже «про бесов». Бесплезно возражать, что она не Достоевский, и даже не потому, что ведь и фигурирующий у нее Маршак не Тургенев. Нет, вопрос стоит нелицеприятно, как вопрос о принципах: либо мы уважаем права метафизического памфлета и в таком случае обязаны выносить суждение о «Вос-

поминаниях» и «Второй книге» в соответствии с законами этого жанра, либо мы в принципе отрицаем эти права, и тогда никакое личное величие Достоевского не может заставить нас пересмотреть наш вердикт.

Возбуждать против Надежды Яковлевны тяжбы о добром имени X или Y — дело, которое я не могу признать для всех случаев столь заведомо предосудительным, как его признает Н. Панченко. Просто оно кажется мне по вышеизложенным причинам не имеющим смысла. Все равно что защищать Грановского от Федора Михайловича. Не имеет смысла и противоположное: считать, что с X или Y покончено после такого-то пассажа у нее, что некоему лицу вынесен окончательный приговор с той степенью окончательности, какая до Страшного Суда немислима. У нее не надо искать исчерпывающих характеристик такого-то и такой-то. Счет идет на другие величины.

Так было, по существу, с самого начала. Но внутри поколения спор мемуаристов был неизбежен; как нереалистично и несправедливо было бы требовать от Тургенева, чтобы он смотрел на «Бесов» издали, не чувствуя себя задетым. Позднее, мне кажется, должен действовать спасительный принцип: младшие не вмешиваются в распри старших. Каково мое личное, эмоциональное отношение к конфликтным ситуациям наряду с умственной убежденностью в том, что суть дела внеположна им? Надежда Яковлевна для меня — Надежда Яковлевна: во-первых, «нищенка-подруга» поэта, разделившая его жизнь со всей славой и бедой; во-вторых, автор книг, в исключительном значении которых для нашей ориентации в историческом времени я убежден; в-третьих, человек, которого я знал и не мог не любить. Этого достаточно. А Эмма Григорьевна Герштейн? Выписываю из «Воспоминаний» Надежды Яковлевны, что было сразу после ареста Манделштама. «Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому — кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива». Вы понимаете — там, в тот час они были вместе; а нас там не было. Что в сравнении с этим все их конфликты? И я, тогда еще не родившись, кто я такой, чтобы принимать сторону одной из них против другой? От души прилагаю к себе самому ахматовскую формулу: «Его здесь не стояло». Как будто я могу поручиться за себя, что в то страшное время нашел бы в себе силу войти с Эммой Григорьевной и Евгением Яковлевичем в зачумленный дом, поднять с пола опасные бумаги! Мы, пришедшие после, разве мы смеем отказывать в самом глубокоом уважении людям, которые хотя бы не переходили на противоположную сторону улицы, повстречав в

Воронеже ссыльного поэта, и были ответом небес на его отчаянную мольбу о «читателе» и «советчике»? Не миновать отгнестись таким же образом, например, к заносчивому полубезумцу Сергею Рудакову, который, по правде говоря, выглядит у Э. Герштейн ненамного привлекательнее, чем у Надежды Мандельштам, однако ведь был не только жертвой эпохи, достойной нашего сострадания, но и собеседником Осипа Эмильевича, вошедшим, худо-бедно, в сюжет его судьбы. Это не то что нам теперь после драки кулаками махать.

Есть только один вопрос оценок, в который я попытаюсь вмешаться. К этому у меня три основания. Во-первых, это не вопрос о «личностях» (в деликатном смысле старинного оборота «перейти на личности»), то есть не о том, порядочно или непорядочно вел себя некто десятки лет назад во вполне конкретной и как раз поэтому не реконструируемой ситуации. Во-вторых, речь идет о делах, которым Надежда Яковлевна была свидетельницей ненамного больше, чем мы: кое-что было увидено лишь совсем незрелыми глазами, и притом издали. В-третьих, мои возражения я излагал самой Надежде Яковлевне. (Когда я шел к ней для этого разговора, жена сказала: «Ох, выбросит она тебя в окошко». Я возразил, что из окна первого этажа падать невысоко. Выслушан я был с исключительной кротостью. Под конец было сказано: «Сергей Сергеевич, я недобрая».) Спорил я — о символистах. Более специально — о Вячеславе Иванове.

Для начала позволю себе несколько общих положений. Когда младший поэт отталкивается от старшего и «преодолевает» его, это не манихейский конфликт добра и зла, не поединок святого Георгия со змием, а нормальная и здоровая форма преемственности. Для поединка избирается отнюдь не худший; что за честь одолеть худшего? Даже физическое тело не может оттолкнуться от другого физического тела, не имея с ним точек соприкосновения... История отечественной поэзии давно научила нас, до чего кровным, интимным, глубоким было отталкивание Пушкина («победителя-ученика») от Жуковского («побежденного учителя»); и разве что сентиментально воспринимаемые биографические обстоятельства могут закрыть от современного любителя стихов, что Бродский отнюдь не «продолжает» Ахматову (на это недавно с полным основанием указала В. Полухина). Отнюдь не только юношеские письма О. Мандельштама Вяч. Иванову, но и все его более поздние высказывания свидетельствуют о содержательной и продуктивной амбивалентности, которая и является нормой в отношении младшего к старшему: преклонение пенится и весело закипает враждой, но вражда насквозь прохвачена самым серьезным уважением. В дальнейшем действует

следующий закон: младшие способны более адекватно судить о сравнительном масштабе старших, чем наоборот, и это не потому, что старшие глупее младших, а потому, что реальная иерархия в стане младших может быть определена лишь по законам их поэтической системы, которой еще только предстоит быть выявленной. Грубо говоря, старшие почти всегда «ставят» не на тех младших, и это тоже нормально. Нам не хочется в этом сознаваться. Такое искушение — сделать национальный миф из случайного эпизода на лицейских экзаменах, когда Державин на мгновение расплакался стариковскими слезами в ответ на упоминание его имени в юношеской строке Пушкина... Огорчительно, конечно, что символисты приняли на ура Сергея Городецкого, вместо того чтобы вовремя сообразить, кто именно будет славой русской поэзии в десятилетия, которые последуют за их уходом со сцены. Но разумно ли делать из этого, именно из этого, уничтожающий аргумент против ценности целой эпохи? А ведь во «Второй книге» мы встречаем подобное умозаключение. «Как могли так ошибиться символисты, люди, как принято думать, образованные... Встает еще один вопрос: действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению — нет». Боже сохрани, я вовсе не сторонник благодушно-эстетской идеализации «серебряного века». Но такая логика решительно не годится. Исходя из нее можно было бы предъявить претензии к Пушкину: зачем это он писал такую прочувствованную рецензию на какого-то Виктора Теплякова, но весьма прохладно отнесся к молодому Тютчеву? Или адресоваться к Осипу Мандельштаму: как он смел хвалить Адалис и не похвалить раннего Заболоцкого? В истории литературы таких «почему» слишком много, ибо она живет динамикой сдвига, поневоле обрекающей самых умных старших на непонятливость.

Мне в голову не приходит ограждать Вячеслава Иванова или тем паче символизм в целом от любых нареканий. Нарекания возможны, и притом самые разные — от эстетических до, скажем, религиозно-аскетологических. Но уже в фантазии Ахматовой образ Иванова далеко отошел от реальности; достаточно вспомнить, что она возлагала на него ответственность за все версии, оценки и репутации, имеющие хождение в русском зарубежье. Свое отношение к «соблазнителю», «ловцу человек» Ахматова, как совершенно верно отмечает М. Поливанов в предисловии ко «Второй книге», эффективно передала Надежде Яковлевне. (М. Поливанов цитирует ахматовские слова в передаче А. Наймана: «У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через

некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло.) А в уме Надежды Яковлевны оно уже беспрепятственно дозревало почти до абсолютного, абстрактного неприятия, поскольку не наталкивалось в отличие от Ахматовой на опыт личного общения (не считать же того, что отец однажды взял ее на лекцию Вяч. Иванова, по собственным ее словам, «не то о Скрябине, не то о Метнере», а Осип Эмильевич в ее сопровождении нанес Вяч. Иванову визит в Баку).

Из остроумного замечания О. Мандельштама об особой роли символистов в формировании у большевиков представлений о том, кого из деятелей старой культуры стоит беречь, развивается тенденция возлагать на Вяч. Иванова личную ответственность за все несправедливости, испытанные Мандельштамом и Ахматовой от нового режима. Кстати, замечу, что символистам была в довольно высокой степени свойственна способность творить «каноны», то есть производить отбор и делать его результаты импонирующими вне их собственного круга. Мы мало отдаем себе отчет, что именно они раз и навсегда утвердили высокий статус, например, для Тютчева; да ведь и Достоевского окончательно канонизировала именно символистская культура. Можно нападать на их «учительство», на «ловлю душ», но без него торжество варварства в нашей стране было куда более полным и необратимым. Моральное зло я вижу только в самом положении, когда культуре предлагается выживать в особой резервации; л ю б о е распределение пропусков в эту резервацию, по символистским ли спискам или другим, будет несправедливостью. Но положение это было создано, как известно, отнюдь не символистами. А затем и резервацию упразднили за ненадобностью ¹.

¹ Как кажется, и Мандельштаму и Ахматовой не повезло по одной простой причине. Те, кто был старше их и стяжал себе имя в литературе задолго до революции, воспринимались как ходячие памятники культуры, по отношению к которым возможен был до поры до времени подход как бы музейный. Их «несозвучность» меньше раздражала, поскольку преклонный возраст и устоявшаяся репутация служили для их прегрешений смягчающими обстоятельствами. Им было заведомо поздно перековываться; а если они делали шаг навстречу новой идеологии, работал эффект контраста. Те, кто, как их ровесник Пастернак, не успел сделаться известным прежде революционной поры, могли восприниматься как поэты «советские», ибо пришедшие в литературу вместе с Октябрем (для чего принадлежность к футуристической компании годилась, разумеется, больше, чем к акмеистической). Хуже всего было — уже сложиться и стать известными перед революцией, но еще не обрести статуса маститых. Мальчишка и девчонка, но старорежимные мальчишка и девчонка; и то и другое — несообразно надолго, для Мандельштама — пожизненно. «Другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот» — как сказано в «Четвертой прозе». Само собой разумеется, что это обстоятельство

не буду обсуждать формулировки, безоговорочно отлучающие Вяч. Иванова, да и символистов вообще, от христианства. Литературная критика не должна брать полномочий церковного суда; вполне достаточно сознаться, что поэты не богословы и, увы, не святые («И меньше всего благодать», — сказала о себе Ахматова); если, однако, они исповедуют себя христианами, приходится признавать их таковыми.

И на этом остановимся. С самыми главными словами в обеих книгах не поспоришь. Там, где говорится не о символизме, а о совсем, совсем других материях, слова очень весомы, ибо пропитаны опытом как биографическим, так и внутренним. Там не только каждое слово, а каждое движение интонации — свидетельство.

Вот ведь как обстоит дело. Библейский, освященный древностью образ труб, от которых рассыпаются стены Иерихона, в применении к двум-трем голосам, зазвучавшим в свой час среди нашей жизни — солженицынскому, шаламовскому и этому, — может показаться неумным, неуместным. Пафоса мы нынче боимся, обжегшись на молоке, дуем на воду; может, так оно и лучше. Как ни странно, однако, самая трезвая, самая фактическая истина состоит в том, что стены Иерихона все-таки пали. Материализация этого события приходит с запозданием: это сегодня мы из газет знаем, что кусочек стены возможно пощупать, даже унести на память — достаточно съездить в Берлин. Однако в невидимой глубине все совершилось гораздо раньше: когда «Архипелаг ГУЛАГ», и «Колымские рассказы», и обе книги Надежды Яковлевны были написаны, когда мы их читали. А нынче мы переживаем эпилог.

Пусть читатель простит меня за то, что я, увлекшись разговором о самих произведениях, лишь скороговоркой скажу о труде издателей и комментаторов. Примечания к первой книге выполнены А. А. Морозовым, человеком, который с беспримерным бескорыстием отдал мандельштамоведению всю свою жизнь. Это настоящая исследовательская работа. Им же составлены приложения: подборка стихотворений О. Мандельштама, необходимых для понимания текста Надежды Яковлевны, и прекрасный указатель имен. Послесловие, написанное Н. Панченко, уже упоминалось. Необходимо отметить краткое, умное и красивое предисловие М. К. Поливанова ко «Второй книге» и его же примечания к ней.

Сергей АВЕРИНЦЕВ.

не было единственным, даже главным; но сбрасывать его со счетов не надо. Во всяком случае, оно болезненное, обиднее любой чисто идеологической травли, потому что никто не поймет и не посочувствует: если для новых хозяев жизни ты старорежимен, то для старой интеллигенции — несолиден.

ЭКСПЕРТИЗЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

У наших хозяек математика несложная: муж получил получку, потратил сразу сколько-то, не считая, остаток хозяйка поделила на пятнадцать дней и встала в очередь, прикидывая, сколько чего и на какую сумму она сможет достать. При столь несложных подсчетах можно пользоваться правилами сложения и умножения даже без карманной счетной машинки. На Западе математика более сложная. Там выбор в магазинах огромный, на один и тот же продукт цены варьируются в зависимости от расфасовки, от района, количества купленного и т. д. Если проблемы наилучшего отоваривания решать с помощью той же обычной арифметики, то без компьютера столь сложную задачу не решить. Хозяйка же, как правило, решает ее по-другому — путем более простой арифметики. Сложением она, конечно, пользуется (например, чтобы вычислить стоимость товара в более дешевом магазине с учетом транспортных расходов), но умножением и делением, как правило, не занимается.

Она приходит в магазин за продуктами с чековой книжкой и, выбирая то, что ей необходимо, чтобы прокормить семью в течение недели, старается минимизировать затраты, не подсчитывая затраченную сумму. Она учитывает цены, которые постоянно меняются, и старается купить подешевле. Например, некоторый предмет сегодня стоит дешевле, или его выгодней купить в большем количестве — впрок, или же его пока покупать не надо, так как в другом супермаркете или на рынке он может стоить еще меньше, и т. п. Только в конце месяца по банковскому счету хозяйка заключает, хорошо или плохо она справилась со своей арифметикой — минимизацией.

Этого, однако, недостаточно. Ей нужно купить такие продукты, чтобы еда понравилась всем членам семьи. С подобной задачей невозможно справиться без практики или без опроса заинтересованных лиц — будем называть их экспертами. В семейной дискуссии наметятся компромиссные решения, более или менее удовлетворяющие все участвующие стороны. Разумнее загодя провести такую дискуссию, заранее выбрав траекторию похода хозяйки по магазинам: меньше несъеденных продуктов будет выброшено и семья будет удовлетворена.

Аналогичная ситуация возникает у нас в масштабе всей страны. Естественнее действовать не методом проб и ошибок, а заранее выбрать экспертов, представителей самых разных слоев населения, искать компромиссные решения, анализируя огромное количество возможных вариантов и выбирая из них самые оптимальные. Разумеется, здесь одной новой арифметикой не обойтись. Необходимо развить на ее основе и новую высшую математику. Ясно, что такая теория намного упростит счет по сравнению с обычной высшей математикой, хотя и в этом случае для просмотра всех возможных «траекторий» решений понадобится широкий арсенал современной вычислительной техники.

Высшая же математика, основанная на новых правилах арифметики, развита автором настоящей статьи, его учениками и сотрудниками. В частности, она изложена в моей книге, переведенной издательством «Мир» на французский язык, которая стоит у нас 3 рубля 85 копеек, а во Франции 195 франков, то есть по курсу черного рынка приблизительно 600 рублей. Поэтому в силу правил новой арифметики ее выгодней купить в нашей стране. В силу же старой арифметики после прочтения и продажи ее во Франции первоначальное капиталовложение увеличивается более чем в 150 раз. Это уже настоящее «умножение»!

На этом примере мы сталкиваемся еще с одной новой ситуацией. Пока граждане нашей страны были в известной изоляции, мы находились как бы в термосе и могли рассматривать экспертную систему независимо от других стран. Но сейчас, когда контакты с зарубежными странами стремительно расширяются, огромная разность цен (в частности, цен на труд) неизбежно приведет к истечению товаров за рубеж. Это чревато и ростом эмиграции отдельных специалистов, а возможно, целых областей. В такой

ситуации неизбежно относительное выравнивание цен, подобно тому как разность температур между двумя средами в конце концов уравнивается.

Но об общественных законах речь впереди. А сейчас я приведу серьезные доводы в пользу создания у нас упомянутой выше экспертной системы.

Основные трудности при выработке непротиворечивых и, главное, реализуемых на практике законов, правил, налоговой системы вызваны следующими причинами.

Во-первых, собрать нужную информацию у нас не просто трудно, но почти невозможно.

Во-вторых, те законы и положения, которые в настоящий момент действуют, настолько нежизнеспособны и противоречивы, что нарушаются и обходятся на всех уровнях. Реально (как и в эпоху застоя) функционируют некие неписанные соглашения внутри различных слоев общества.

В-третьих, в идеологии царит полный разброд. Наличие большого количества утопических теорий, мифов, пользующихся поддержкой сравнительно небольших, но активных и часто совершенно непримиримых слоев при временной инертности основных масс населения, требующего всеобщей уравниловки («Долой привилегии!», «Долой кооперативы!»).

Именно наличие экспертов, выражающих усредненное мнение самых разных социальных слоев, их возможную реакцию, способы обхода того или иного закона данным слоем населения, может в известной степени заменить статистические данные и изучение тех правил, полурыночных, полупротивозаконных, которыми они руководствуются. Эти правила подобны правилам «злоумышленников» Чехова, которые вывинчивали гайки на железнодорожном полотне, но не все, а с умом делали: часть оставляли. Эти неписанные правила сильны тем, что члены данного общественного слоя следят друг за другом, подобно тому как законы блатного мира в воровском клане строго выполняются, хотя там нет специальных «правоохранительных органов».

Поэтому построение системы законов по прежнему способу неприемлемо. Недаром раньше к законам прилагались «комментарии», кроме того — активно использовались «указания», подчас противоречащие законам, а также так называемая система «в порядке исключения». Некоторые законы устаревали, но не отменялись и противоречили новым. Ряд законов и правил был практически невыполним, поэтому все привыкли обходить их, относясь к ним как к чисто пропагандистскому явлению, не связанному с реальной жизнью.

Можно проследить систему реальных законов, которая сложилась, например, в таксомоторных парках: такса ГАИ на загородных линиях, такса начальникам, слесарям, мойщикам, всеми признанные способы левого заработка и т. д. Нельзя не считаться с тем, что эта психология сохранилась и сейчас. Поэтому при реализации реформы обойтись без экспертной системы невозможно. В частности, это означает, что, может быть, и не надо ту незаконную рыночную систему, что уже сложилась, разрушать до основания, а лучше постараться привести ее в порядок и не строить новую, срисованную с какой-либо страны.

Когда же выносится закон о том, что избыток пшеницы государство будет покупать у крестьян за валюту, то предлагается акция совершенно новая. Я без проигрыша на экспертной системе просто расспросил знакомых специалистов. Крестьянин и председатель колхоза этот закон (сулящий неизвестное) встретили с равнодушием, даже с известным недоверием. А кооператор сказал, что, возможно, будет выгодно покупать у государства импортное зерно за рубли и его же продавать через крестьян за валюту. Однако кооператор считает, что оборот будет не столь быстрым, как в других сферах. Я не сомневаюсь, что подобная идея, не обработанная на экспертной системе, провалится. Эта проблема соприкасается с другой — взаимоотношением между государственным и рыночным секторами. В Америке, например, прежде чем такие взаимоотношения достигли некоторого равновесия, существовал суд Линча, шерифы, бесконечные перестрелки и т. д. В конце концов установились правила, которые, постоянно совершенствуясь, вошли, так сказать, в плоть и кровь американцев.

У нас времени на воспитание масс нет, мы должны работать с имеющимся в настоящий момент «материалом», давая оптимальные решения, приспособленные к тем правилам, которые вошли в плоть и кровь советского человека.

Но в разных регионах это разные правила, взаимодействующие между собой по неким неписанным законам. В Эстонии, например, одни, в Узбекистане — другие. Грубое вмешательство в эти установившиеся (но не исследованные!) за семьдесят лет связи

может привести к феодальному раздроблению государства с военными столкновениями между отдельными регионами.

Нельзя также путем декретов вводить рыночную экономику как панацею от всех бед.

Экспертная система должна способствовать оптимальному и осторожному вмешательству в сложившуюся систему отношений, учитывать психологию советского человека.

Вспомним, например, попытки белых американцев поработить индейцев. Поскольку система и психология рабства в индейских племенах не была развита, такие попытки не удалась, рабов вывозили из Африки. Известный советский историк, специалист по восстаниям народных масс, Б. Ф. Поршнев высказывал мне такую мысль: Наполеону не удалось избавить русских крестьян от крепостного права, вызвав крестьянскую войну, а Гитлеру, играя на собственнических инстинктах, уничтожить колхозы. И в том и в другом случае крестьяне не были к этому готовы. В противном случае, считал Б. Ф. Поршнев, возникла бы ситуация смутного времени и война (ни та, ни другая) не могла бы быть выиграна. Даже явно выгодное некоторому социальному слою нововведение может восприниматься им отрицательно. Это гениально отразил А. П. Чехов в рассказе «Новая дача». Все попытки семьи интеллигента-инженера облегчить участь крестьян, в частности постройка моста, встречаются последними в штыки. Они рассуждают так: «Нам ездить некуда, на что нам мост. Нужно, так и на лодке переплывем». Точно так же выгодные населению кооперативы, например, или другие полезные мероприятия могут быть встречены враждебно. С этим нельзя не считаться, и это будет учитывать экспертная система.

В настоящее время предполагается большая власть местных Советов — муниципалитетов, в частности над землей. Программа муниципализации земли (некогда предложенная моим дедом, академиком Петром Масловым) была принята на объединенном Стокгольмском съезде партии с-д вопреки программе Ленина о национализации земли. Возможно, если бы эту программу внедрили в стране в силу решений съезда, она постепенно прижилась бы, стабилизировалась. Но в настоящее время передача власти муниципалитетам может привести и уже приводит к противоположным результатам, чем те, которых от нее ожидают, если предварительно не проиграть все возможные варианты на экспертной системе. ЭВМ не учитывает, что во главу муниципалитета будут выбраны честные, умные и хорошие люди, обстоятельство, на которое в настоящее время возлагаются основные надежды. При этом забывают, что Гитлер, как и множество других, отнюдь не подходящих для нас людей, был избран демократическим путем. Экспертная система исходит из реальных соотношений между огромной властью, какая окажется у местных Советов в смысле распределения благ, и теми привилегиями и благами, которые предоставят власть имущим, чтобы те по необходимости не коррумпировались. Сейчас же несоответствие между зарплатой, скажем, хорошей машинистки и ее трудом заставляет последнюю в рабочее время работать налево, колхозников — красть с полей, воровать сено или торф для отопления (вспомним «Матренин двор» А. Солженицына) и т. д.

Если проследить эволюцию Советов (исполкомов Советов) с момента окончания войны, то можно убедиться, как в силу того, что в их руках сосредоточены распределения благ (квартиры, дома, приусадебные участки, мебель и т. п.), их роль постепенно все возрастает. Если, например, председатель исполкома в начале нынешнего периода по номенклатуре был много ниже третьего секретаря райкома, то в период застоя он — второе лицо в районе.

При переходе к конвертируемому рублю с привлечением иностранного капитала в руках местных Советов сосредоточится власть на распределение огромных богатств. Нельзя исключить возможность того, что в результате коррупции или безалаберности государство понесет большие потери. Разумеется, такой и другие нежелательные пути развития экономики должны быть перекрыты. А закрыть все лазейки для их реализации может только сеть экспертных систем, связанных с центральной, учитывающая традиции, особенности и богатства района. Лишь ЭВМ совместно с экспертами способна ускорить установление устойчивого равновесия между государственным, региональными и рыночным секторами, сложным образом взаимодействующими между собой.

Экспертная система позволяет проигрывать различные варианты правил и законов не на живом теле населения, как это было с ограничением продажи водки, а на ЭВМ с участием экспертов. Результаты, полученные этой системой, должны быть открыты и

доступны для проверки. Изначальные посылки экспертов и государственных органов могут подвергаться критике, что также в дальнейшем может быть учтено экспертной системой.

Приведу пример. Известное утверждение, что, если б в Баку не вводили войска, убили бы не сотни, а тысячи людей, с точки зрения математика — гипотеза. Ее оспаривают и с той точки зрения, что, если бы войска ввели раньше, жертв было бы меньше, и с той позиции, что, когда бы их ни ввели, жертв также оказалось бы меньше. Если бы это утверждение основывалось на выводе экспертной системы, что был оптимальный момент ввода войск, то оспаривать пришлось бы не само утверждение, а «аксиомы»: исходные посылки экспертов, статистических данных и моделей. Это потребовало бы от «критиков» квалифицированного подхода, что полезно было бы и для усовершенствования системы.

В число экспертов следует вовлечь представителей капиталовладельцев, с тем чтобы выработать взаимовыгодную и, главное, не раздражающую простого советского человека, с его инстинктом нивелировки, систему. В противном случае вся реформа может окончиться трагически, как в свое время нэп.

Проблема инвестиций иностранного капитала выходит за рамки нашего рассмотрения. Но ее оптимальное решение безусловно поможет скорейшему переходу к конвертируемой валюте и обратно: чем скорее реализуют меры, предложенные ниже, тем больше будет приток иностранного капитала в страну.

Расчет показывает, что экономический кризис, переживаемый нашей страной, в сильной степени связан с отставанием в области радиоэлектроники и компьютерной техники. Как в свое время взрыв первой атомной бомбы в Японии был равносильен временному проигрышу СССР в холодной войне, начавшейся из-за дележа Европы, так отставание в технике с неизбежностью должно было привести Советский Союз к поражению в холодной войне в конце 80-х годов. Если с помощью эффективных мер удастся остановить распад экономики в СССР, что может привести и к распаду самого Союза ССР, то согласно примитивному расчету оптимальной была бы интеграция не с Европой, а с Японией, Южной Кореей, со странами, где электроника опередила нашу на много лет и вырвалась вперед, по сравнению с тяжелой индустрией, например. Поэтому в силу принципа дополнительности приток японского капитала для СССР был бы наиболее эффективен.

* * *

Приведу пример решения задачи перехода к конвертируемому рублю, предложенного упрощенной экспертной системой.

Первая мера, которую предложили западногерманские экономисты относительно проблемы воссоединения Германии, — неотложная денежная реформа в ГДР. Если стена между двумя системами рухнет, необходимо немедленно привести в соответствие валюты. Иначе кровообращение социалистической экономики может остановиться (как это и произошло в ГДР): сколько бы ни поступило товаров, их будут скупать на корню, и они, как сказано выше, неизбежно будут диффундировать за рубеж в силу огромной разницы в ценах на товары. У нас эти товары временно могут скапливаться у богатых покупателей как более надежная инвестиция. И рынок, к развитию которого призывает перестройка, разрушится лишними деньгами населения.

Невозможность реализовать рубли и нестабильность обстановки, а также столкновение с выработанным инстинктом уравниловки у различных слоев населения толкает людей, накопивших большие деньги в рублях, на то, чтобы «перекачать» их в конечном счете в доллары и положить в банки за рубежом. Эти факторы приводят к обесцениванию и вымыванию товаров из страны и тем самым к колоссальным экономическим потерям для государства. Тем более что цена на золото у нас в стране в настоящее время в 3—4 раза ниже, чем за рубежом, если цену доллара исчислять по черному рынку. Поэтому оно с неизбежностью и диффундирует за рубеж.

«Блошинные рынки» в ряде стран заполнены советскими товарами. Отметим, что фактор этот, крайне опасный в смысле диффузии товаров за рубеж при большом обогащении спекулянтов из-за путаницы в объявленном курсе, в предполагаемом ниже проекте начинает, напротив, играть положительную роль — как выход товаров на мировой рынок, хотя бы и по демпинговым ценам. Поэтому первейший вопрос — вопрос согласования валют. Я попробую на элементарном уровне объяснить схему решений этой проблемы экспертной системы, разумеется, в самом примитивном варианте.

Существуют математические методы моделирования приспособления популяций к изменениям окружающей среды. Эти методы показывают большие возможности двухполых популяций по сравнению с однополыми. Близкие методы убеждают, что и использование трехвалютной системы предоставляет большие возможности регулирования соотношений цен при минимизации социальной напряженности. В этом варианте возрастает роль черного рынка, управляемого в нужной степени с помощью рынков ценообразования и в свою очередь дающего нужную информацию о реакции на изменения, предлагаемые центром. Дело в том, что существующий в настоящее время огромный разброс соотношений между рублем и долларом на разные виды продукции и услуг (можно выделить четыре относительно «устойчивых» курса от 20—30 копеек за доллар по ценам на хлеб, транспорт, медицину до 15—20 рублей при обмене на черном рынке) способствует углублению экономического кризиса и, как показывает моделирование, в рамках двухвалютной системы непреодолим без значительного увеличения социальной напряженности.

Разумеется, всякая система ценообразования, введения новых «валют» целесообразна не сама по себе, а как функция определенного выбора системы приоритетов, касающихся основных экономических отношений, в первую очередь собственности. Этот вывод о переходном процессе может быть сделан независимо от детализации системы экономических отношений и от начальных данных. Другими словами, вывод о большей целесообразности трехвалютной системы можно получить чистым математическим моделированием, без участия экспертов. Разбивка же товаров на разные группы и по возможности покупка их на разные виды валют требует привлечения экспертов.

Известна трехвалютная система, введенная во время нэпа, — «рубли — червонцы — доллары», и трехвалютная система «целевые карточки-талоны, рубли, доллары». Последняя частично уже применяется в различных районах страны.

Экспертная система сконструировала компромиссный, достаточно парадоксальный вариант: рубли, нецелевые карточки, доллары. Нецелевые карточки — это те же талоны, по которым покупатель может приобретать определенные товары по выбору. Именно такой вариант выиграл, обработанный в результате взаимодействия экспертов с ЭВМ. Итак, наиболее управляемой с помощью рычагов ценообразования оказалась следующая модель.

Зарплата населению в рублях остается прежней. Плюс к ней выдаются нецелевые карточки — чеки в размере, соответствующем зарплате, которая для этой должности была установлена в начале 80-х годов. В дальнейшем зарплату в карточках изменять в соответствии с принципом: каждому — по результатам труда.

По этим карточкам-чекам за рубли можно по выбору приобретать товары первой необходимости, а также некоторые товары комфорта, оказавшиеся в дефиците (автомашины, пылесосы, телевизоры, холодильники). Кроме того, по карточкам-чекам плюс рублям осуществляется обслуживание, квартплата, транспортные расходы.

Соотношения цен в карточках плюс рубль между продуктами питания и другими товарами приблизительно должны соответствовать соотношению в западных странах. Цены на продукты питания следует по возможности оставить прежними (на рубли плюс карточки) и, следовательно, существенно понизить цены на товары комфорта. Другие же товары, например спиртные напитки, стройматериалы, инструменты, предметы роскоши, золото, драгоценности, меха, бензин и другое, должны продаваться без карточек по ценам, соответствующим спросу.

Поскольку для покупки некоторых дефицитных товаров придется экономить карточки на продуктах питания, электроэнергии, воде, снизится (как подтверждает зарубежный опыт) потребность в продуктах, произойдет экономия электроэнергии, газа и т. д.

Все товары, которые вывозятся частными гражданами за рубеж и реализуются там на «блошиных рынках», должны продаваться в стране либо по карточкам плюс рублям, либо на доллары. Цену следует установить исходя из стоимости этих товаров на «блошиных рынках».

Данная реформа в соотношении деньги плюс карточки — товары возвращает нас к ситуации начала 80-х годов. И хотя процессы перестройки необратимы, прежнее равновесие между зарплатой (подкрепленной теперь карточками) и теми товарами, которые исчезли с прилавков в последние годы, достижимо без особого напряжения, если предлагаемый проект осуществить в кратчайшие сроки.

Хотя такая денежная реформа усилит на первых порах государственный сектор в сравнении с кооперативным и по некоторым позициям возвратит нас к исходным (начала

перестройки), она поможет выправить те перекосы и недоделки, что привели к обострению кризиса. Однако кооперативы, производящие товары, крайне необходимые населению, за которые оно будет отдавать карточки или валюту, не пострадают. Кооперативы — производители товаров, имеющих ценность на мировом рынке, также не понесут ущерба.

Предполагаемые меры в известной степени поворачивают экономику вспять от курса, взятого на децентрализацию. Но практически это уже реализуется в стране крайне неуклюжими мерами. В прессе это сваливают, как испокон веков у нас делалось, на «врагов народа» в лице бюрократии — скрытых противников перестройки. На самом же деле в основном локально латаются дыры расплывающейся по швам от непродуманных шахаханий экономики. С другой стороны, чем больше будет эмиссия рубля и чем стремительней станет возрастать зарплата в рублях, тем быстрее, в силу изложенного проекта, совершится переход к конвертируемой валюте, приостановится крайне опасное размывание границы между наличным и безналичным обращением. Оно сохранится только в рублях, способствуя переходу к твердой валюте.

Необходимое условие реализации предложенной денежной реформы — хорошо поставленный сбор информации, ее грамотная статистическая обработка, быстрое и гибкое регулирование цен и перекачки товаров из категории рублевых в категорию карточно-рублевых и валютных. В частности, при ослаблении таможенных ограничений на вывоз товаров за рубеж необходимо составление подробнейшей декларации вывозимых товаров и строжайшее наказание при обнаружении обмана.

Что касается ввоза долларов в СССР, то все ограничения на этот счет необходимо свести к минимуму, взяв пример с Польши.

Фундаментальный вопрос: что еще можно продавать за валюту или за карточки плюс рубли (квартиры с пропиской, помещения, нерентабельные производства, землю или еще что-то совсем новое) и какой приоритет при этом установить, — нельзя, как я полагаю, решать без помощи предлагаемой выше экспертной системы. Окончательное решение вопроса должно оставаться за Верховным Советом СССР.

Важнейшая информация, которую могут дать «блошинные рынки», позволит производителям товаров получить большую часть доходов, если, например, эти товары в СССР будут продавать по твердой валюте (на доллары или карточки) по цене, равной хотя бы двум третям их цены на подобном рынке. Как уже было сказано, наша таможня не должна этому препятствовать, но собирать данные о том, какие именно товары вывозятся. Соотношение цен и зарплаты по карточкам призвано хотя бы приблизительно соответствовать соотношению, сложившемуся в капиталистических странах.

Точное соотношение цен на товары по карточкам и цен на остальные товары в рублях следует разрабатывать с учетом тех, что имеются в наличии, анализа спроса, зарплаты и т. п.

На первых порах для реализации предлагаемых мер необходимо наполнить магазины дефицитными товарами хотя бы путем закупки их за валюту. Иначе говоря, одновременно с введением карточек следует четко организовать наполнение магазинов, чтобы удовлетворить спрос.

В дальнейшем, поскольку возникнет прямая выгода производить пищевые продукты, крестьяне, фермеры, население, имеющее подсобные хозяйства, активизируются, что в свою очередь может привести к избытку сельхозпродуктов.

Необходимо насытить рынок автомобилями, желающих приобрести машину надо ставить на очередь, взимая вперед рубли плюс карточки. Очередь следует реализовать в течение одного года. Если же срок удлинится, это не так опасно, ибо, по моему мнению, лучше быть в долгу у собственного населения, нежели брать кредиты у иностранных банков. Квартирная плата за общую площадь, осуществляемая по карточкам, также должна возрастать. Однако если достаточно большая сумма в рублях за квартиру выплачена, она должна переходить в собственность владельца. Тогда последний освободится от оплаты за съём в карточках (и обязан будет платить в карточках только за электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги). Таким образом выкуп «собственной» квартиры станет целесообразным. Разумно ввести продажу по карточкам с аукциона земли под строительство частных гаражей. Стройматериалы же продавать только за рубли.

Должна быть разрешена беспрепятственная передача или перепродажа карточек на черном рынке за рубли или за доллары. Очевидно, что их цена будет зависеть от цены на автомобили: чем цена на них ниже, тем выше цена карточек. А чем выше она,

тем больше инфляция рубля, полная девальвация которого и приведет к конвертируемости новых денег — карточек.

Систему штрафов за бесхозяйственность, брак, нарушение закона надо усилить автоматическим изъятием части рублей плюс карточек, взяв за образец аналогичную систему в США.

Необходимо в деталях продумать формы борьбы с фальшивыми карточками, порядок кредита карточек и обмена их на новые. Образцом может служить система чеков и электронных кредитных карточек в западных странах.

Достоинство предлагаемой схемы в том, что она устойчива и гибка, то есть слабо реагирует на непредвиденные резкие изменения, такие, как забастовки, национальные волнения и т. п. Они могут вести лишь к большей инфляции рубля, что только убыстряет переход к конвертируемой валюте. Население привыкло к тому, что после внесения денег (карточек) вперед оно терпеливо долго ждет товара, тем более если есть объективные причины задержки (забастовка, например). Это форма заема у населения. Сейчас многие готовы «подтянуть животы», но не ради абстрактных идей коммунизма или перестройки, а ради приобретения в дальнейшем автомашины, гаража, квартиры, дачи, одежды от Зайцева и т. п., как это делают советские люди, работающие за рубежом.

Интересно было бы опросить экспертов, представляющих более широкие слои населения, чтобы убедиться в приемлемости этого проекта. Некоторые эксперты от республик предложат свои карточки, действующие только внутри данного региона. Это приемлемо, ибо согласуется с предлагаемым переходом к конвертируемой валюте, если будут выработаны условия обмена карточек в банках для граждан, приезжающих в республику.

* * *

Различие между экспертной системой, дающей оптимальный рецепт в каждый конкретный момент, и системой, обеспечивающей долгосрочный рецепт (с учетом отдаленного будущего), подобно различию между тактикой и стратегией. Можно быть хорошим тактиком и плохим стратегом и наоборот. Математическая часть системы, описанной мной, — тактическая. Ее реализация хотя и трудоемка, но возможна. Если же требуется давать долгосрочные прогнозы, влияя на их исходы, то задача существенно усложняется. Ситуацию можно сравнить с диагностикой и лечением болезни. Диагностическая экспертная система, которая помогает консилиуму медиков найти оптимальный вариант врачевания больного в данный момент, сильно отличается от экспертной системы, которая предсказывает ход течения болезни в отдаленном будущем и помогает влиять на ее исход. У больного несколько возможностей: полностью вылечиться, превратиться в хроника и т. п. Каждую из таких возможностей, которая может реализоваться за длительный период, назовем аттрактором. Ясно, что для создания такой системы необходимо заложить в память ЭВМ всевозможные модели выхода на хронические состояния. Помимо оптимальных траекторий изменения здоровья больного в результате лечения, ЭВМ должна показывать, какие из этих траекторий могут притягиваться к тем или иным аттракторам. Очевидно, что эта «стратегическая» задача неизмеримо более сложна, чем «тактическая» — предложить способ лечения в данный момент. Кроме того, у нее менее достоверные результаты, так как все случайности учесть невозможно. Она усложняется еще и тем, что система тех аттракторов, которые мы в нее заложили, начинает конструировать ряд новых «странных» аттракторов, включающих причудливые переплетения хронических болезней, возможно, ранее неизвестных во врачебной практике.

Аналогичная, но существенно более сложная математическая задача возникает при создании экспертной системы со стратегическим назначением, которая моделировала бы социально-экономические явления. Такая система должна учитывать социальные, политические и экономические режимы, которые существовали ранее, а также появились в недавнем прошлом. Это могут быть режимы, сложившиеся в западных странах, или национал-социалистические режимы, утвердившиеся в Испании, Италии и Германии; или, наконец, «единичные» режимы (режим Хомейни в Иране, «коммунистический» режим Пол Пота в Камбодже), пока не имевшие аналогов, но теоретически возможные. Их симптомы могут быть изучены и заложены в память ЭВМ. Если траектория решения имеет тенденцию притяжения к таким аттракторам, при выводах следует это учесть. Трудность в том, что мы не можем точно промоделировать данное явление и попадание в сферу его притяжения не является, как правило, устойчивым. В этих случаях может понадобиться дополнительный анализ парадоксальной подчас ситуации. Это тем более

сложно, что машина (как и в случае с медицинской системой) конструирует из заданных еще и новые «странные» аттракторы.

Такой «странный» аттрактор основан, например, на ситуации в ГДР, жители которой еще недавно либо эмигрировали в ФРГ, чтобы зарабатывать там твердую валюту, либо не работали вообще, так как за ту же работу в ФРГ платили в десятки раз больше. Они ждали присоединения к ФРГ как своего рода эмиграции вместе с жильем и производством. Машина экстраполирует это в следующий «странный» аттрактор. Вначале к ФРГ присоединяется ГДР, затем на менее льготных условиях — Польша, потом — Прибалтика, затем РСФСР, в результате экономически завоевываются те пространства, о которых мечтал Гитлер.

Такого сорта парадоксальных «странных» аттракторов машина может «сочинить» довольно много, и «паразитные» аттракторы сильно запутывают ситуацию, создавая неимоверные вычислительные сложности.

На самом деле предположение, что аттрактор есть некоторое стационарное состояние, — слишком грубо. Ведь и хроническая болезнь — это не стационарное состояние, а некий динамический процесс, часто начинающийся с острого инфекционного заболевания. Надо исследовать диаграмму всего процесса. Симптомы, борьба со смертью, подчас кажущееся полное выздоровление, возможная переоценка сил, новый срыв, далее шадящий режим. Иногда, напротив, болезнь носит четкий волнообразный периодический характер.

Аналогичным путем должно рассматривать в динамике и нашу социально-экономическую историю.

Приведу достаточно грубые и схематичные исторические примеры. В качестве моментов «борьбы со смертью» мы будем рассматривать войны или революции. Я уже слегка касался выше сравнения двух отечественных войн в России. Напомню, что системы наследственного самодержавия и наполеоновской империи, родившейся в результате Великой французской революции, в принципе были антагонистичны. В частности, множество эмигрантов-легитимистов в Петербурге способствовали такой поляризации. Несмотря на это, чувствуя безусловное военное превосходство противника, царское правительство заключило мирный договор с Наполеоном о разделе сфер влияния. Это не остановило Наполеона в его планах, и он развязал войну 1812 года. У Наполеона в России не было пятой колонны. Наполеон продвинулся до Москвы — Россия сжалась как пружина и отбросила его до Парижа. Большую роль, безусловно, сыграла вера, русская религиозность, борьба с «басурманами», «антихристами». Ведь религиозную Испанию, не готовую принять новую, «буржуазную» идеологию, Наполеон тоже не смог одолеть. Далее произошло чудо: Россия не ослабела в целом в результате потерь и разрухи, принесенных тяжелой войной, а, наоборот, оправилась, окрепла и во много раз усилилась. Наряду с Англией она стала сильнейшей страной мира. Далее наступил период, когда Россия стала играть роль «жандарма Европы». Наконец, через сорок лет Россия ввязалась в конфликт с глубоко религиозной мусульманской Турцией и ввела войска в Молдавию и Валахию, раздражая этим Запад. Некоторые строки «Крымской войны» Е. Тарле можно прямо отнести к введению войск в Афганистан в период застоя. В результате — поражение в локальной Крымской войне, потеря ряда территорий и сфер влияния. А затем реформа и освобождение крестьян; реформа, своей половинчатостью не удовлетворявшая левых и раздражавшая правых. Эта схема, как диаграмма в грубом приближении, подходит и для описания как второй мировой войны, так и того, что произошло далее.

Для революций характерен как раз волнообразный периодический процесс. Революция, как говорится, перегибает палку влево до некоторого экстремума (террор Робеспьера во Франции, Брестский мир и военный коммунизм у нас), а затем, как и в случае гибкого стержня, начинается периодическое колебание, в то время как желательно скорейшее установление равновесия.

В Великой французской революции цикл таких колебаний приблизительно был равен восемнадцати годам. Таких циклов было четыре: 1) революция 1793—1794 годов; через девять лет окончательное установление культа Наполеона; 2) поражение в войне 1812—1814 годов; 3) революция 1830 года; 4) революция 1848 года. Далее шел сложный и хаотический период с реакцией, войнами, который привел в конце концов к некоторому равновесию.

В нашей революции циклы были примерно по двенадцать лет и насчитывают восемь колебаний. 1) Предреволюция 1905 года; через шесть лет — 1911 год — усиление власти,

убийство Столыпина. 2) Революция 1917 года; разгром религиозной идеологии; примерно через шесть лет — нэп. 3) 1929 — «год великого перелома»; разгром нэпа и хозяйственного крестьянства; лет через шесть окончательное утверждение культа Сталина. 4) 1940—1941 годы. Захват новых территорий; кризис; война с Германией; примерно через шесть лет — усиление государства и власти; реакция в искусстве (Жданов), в науке (Лысенко). 5) 1952—1953 годы. Кризис в сельском хозяйстве; XIX съезд партии — приход новых людей; смерть Сталина; реформы; шесть лет спустя разгром старой сталинской гвардии, усиление власти; поворот в идеологии. 6) 1964—1965 годы. Устранение Хрущева и приход к власти новых людей, в том числе бывших комсомольских вождей, сторонников жесткой линии («ястребов»); коллегиальность руководства; примерно через шесть лет — уход группы «ястребов»; усиление власти. 7) 1977 год. Уход Подгорного; совмещение Брежневым двух постов — главы государства и генсека; брежневская конституция; приход в Политбюро бесцветных соратников Брежнева; усиление роли исполкомов, коррупция; равновесие между теневой экономикой, черным рынком и госсектором; еще шесть лет спустя — 1983 год. Успехи в холодной войне и т. п.; попытка уничтожить теневую экономику; усиление власти (Андропов). 8) 1989—1990 годы. Поражение в холодной войне со всеми вытекающими отсюда последствиями. Победа идеологии рынка. Попытка передачи полноты власти исполкомам Советов; ослабление идеологии интернационализма и коммунизма; общее ослабление власти; либерализация общества.

При рассмотрении таких длительных процессов мы, по существу, теряем возможность использовать экспертов, поскольку они должны описать эволюцию мироощущения данного социального слоя хотя бы за двадцать — тридцать лет и его прежнюю реакцию. А это, как правило, забывается, как язык, на котором разговаривали в детстве. Тем не менее необходимо привлекать экспертов, которые могли бы свидетельствовать об изменении точки зрения данного слоя общества. Приведу примеры такого изменения. Первый пример касается того слоя населения, по которому я сам могу быть в известной степени экспертом, потому что он взят из моих собственных наблюдений. Как-то, учась, кажется, в восьмом классе, я стоял вечером во дворе с товарищем моих детских игр. Я сказал ему, что, по-моему, роман А. Фадеева «Молодая гвардия» — вещь слабая в художественном отношении. Он заявил мне в ответ, что я антисоветчик. Я не сообщил ему, разумеется, что читал роман Пастернака «Доктор Живаго» в рукописи. Я понимал, что он вообще перестанет иметь со мной дело. При этом в ту пору я был большим поклонником раннего Пастернака, и роман меня разочаровал. Тем не менее я был уверен, что он хотя и не донесет на меня, но будет по этому поводу испытывать угрызения совести. Зато (лет пять назад, задолго до официального признания «Доктора Живаго»), когда мой школьный приятель стал располневшим, облысевшим профессором медицины, если бы я сказал ему, что «Доктор Живаго» мне не понравился, уверен, он не подал бы мне руки. Если же я напому ему про ту давнюю беседу, которую он безусловно забыл, он воскликнет: «Каким же я был тогда идиотом!» Но это неверно. Он был и остался типичным представителем определенного слоя общества. И я сам как тогда, так и сейчас отношусь к другу детства с полным уважением, стараясь при встрече не раздражать его своими высказываниями.

Еще более важно изучать позиции выдающихся людей, того, кто, рискуя жизнью, идет на шаг впереди передового фронта событий, то есть героя своего времени. Таковым был А. Д. Сахаров — человек всегда благородный и смелый, что могут подтвердить все, кто его знал; человек, имя которого войдет в историю. И хотя он отказывался принять назад свои медали Героя, пока не будут выпущены последние политзаключенные, он-то как раз для всех объективных людей как был, так и остается трижды героем. Он получал эти награды именно в рассматриваемой мной первой точке времени и тогда не отказывался от них, хотя и тогда, как известно, имелись политзаключенные. Но передовая линия проходила тогда не там, а на фронтах холодной войны (могущей перерасти в «горячую»), которую мы проигрывали без атомной бомбы.

Такие «траектории» изменения состояния общества ЭВМ должна записывать и запоминать без эмоций, не вынося посмертно приговоров Меншикову и Талейрану за взяточничество, Стеньке Разину за убийство персиянки и т. д. При этом с точки зрения модели безразлично, прислушивался ли Стенька, как опытный атаман, к ропоту своих казаков и принес им в жертву персиянку или был выброшен вместе с ней за борт и заменен другим атаманом. Хочу сказать, что вообще такое моделирование возможно, если только мы будем пренебрегать ролью личности в истории при рассмотрении больших временных отрезков. Тем более не станем заниматься анализом влияния отрицатель-

ных качеств данной личности и осуждения их с высоты моральных принципов современного обывателя. Иначе говоря, такое моделирование имеет смысл только при априорном предположении существования внутренних законов развития общества. Если в качестве начальной аксиомы мы принимаем наличие непознанных еще законов его развития, то жаловаться на них или осуждать их действия столь же нелепо, как осуждать закон Архимеда за то, что какой-либо человек утонул. Их надо изучать и действовать в достаточно широких рамках этих законов, чтобы смягчить тот колебательный процесс, который установился после революции. При таком предположении общие ситуационные диаграммы можно и нужно рисовать в различных ситуациях и накладывать их на аналогичные события, вырабатывая общую схему с использованием концепции Маха и Авенариуса. (Влияние их концепции на открытие законов квантовой физики и теории относительности трудно переоценить.) Это первый шаг к пониманию истинных законов человеческого общества. Математически формализовать это чрезвычайно трудно в отличие от случая тактической экспертной системы, почти невозможно, но стремиться к такому пониманию надо. По крайней мере чтобы осуществить прогноз со стороны. Со стороны, ибо, к сожалению, массам, вовлеченным в некий исторический процесс, объяснить что-либо невозможно. И не только массам, но и отдельным людям. Попробовал бы я, например, объяснить на модели Ягоде, Ежову, Берии, Рюмину или Абакумову, что тройки ОСО уже существовали во время Французской революции, и напомнить, что случилось в дальнейшем с теми, кто осуществлял эти судилища! Чем это кончилось бы для меня, и без модели ясно! И может быть, лишь в почти уже отрезанных их головах мелькнуло бы знаменитое берлиозовское «неужели?..», как «седьмое доказательство» из бессмертного романа Булгакова.

Москва.

В. П. МАСЛОВ, академик.



КОРОТКО О КНИГАХ

*

И. Н. АНЦИФЕРОВ. Душа Петербурга. Л. Ленинградский комитет литераторов. Агентство «Лира». 1990. 252 стр.

Наше время, время исторических воспоминаний, время возврата к едва ли не похороненному индивидуальному «я» отечественной культуры, естественно, стало временем «повальных» переизданий. Возвращаются к жизни книги, на которых уже лежала тень смерти, смерти по большей части насильственной — под ножами соцреализма и прочих демонов недавней истории. Впрочем, на замечательной книге Н. Анциферова «Душа Петербурга» — объективизированном повествовании о том, каким видели Петербург русские писатели, о том, как представления о столице империи и ее литературные изображения менялись с течением исторического времени, — на этой книге печати смерти не было никогда. И не потому даже, что историки литературы и культуры упрямо помнили имя автора и его труды, но потому, что в немой стране диктатуры свободнее, чем люди, говорили камни. Прекрасное стало молчаливо, как невсякая перспектива, и это было как бы негласное соглашение в духе советских времен: открыто любить старый Петербург, скрыто не любить новую власть. В XX веке бывлой Петербург сыграл новую для себя роль в культуре, среди ее грез и идеалов, — стал символом благородного европейского прошлого России, его, если угодно, материальной реальностью.

Н. Анциферов, издавший свою книгу в 1922 году, когда можно было лишь догадываться о том, что несет «пролетарская диктатура» не свершенному еще будущему, тем не менее печально подчеркнул в ее финале: «Петрополь — превращается в некрополь». Петербург, еще так недавно, по меркам истории, на рубеже XIX века, бывший юным городом без «древностей святых», городом будущего (как город будущего он, кстати, и создавался), в результате трагической «мертвой петли» революции 1917 года становится огромной усыпальницей, величественной гробницей, сил и средств на уход за которой не хватало и не хватало... Но интересно — и Анциферов убедительно показывает это, анализируя восприятие города в русской литературе, — что Петербург словно как бы готов к своей новой скорбно-монументальной роли. Петербург, как пишет Анциферов, прежде всего город «трагического империализма», созданный в высшей степени амбициозно и талантливо, но в смутном и мрачном предощущении катастроф, которые постигнут самолюбивые имперские мечты.

Книга Анциферова реалистична, как реалистично, вплоть до аналитического прозаизма,

современное литературоведение. Но вместе с тем в книге присутствует — и это ее лирический подтекст — нечто от культуры «символистской генерации». Автор убежден, что любой город есть «живое существо», с душой и телом, темпераментом и стремлениями. На вид это привычная метафора. Но Анциферов осторожно вносит в нее взамен художественного (иносказательного и косвенного) прямой и буквальный смысл. Он убежденно не проводит границы между живым и неживым, исходя из мысли, что человек жив только в единстве и взаимодействии с миром, в котором существует, что влияющее на человека, будь то город или, скажем, море, живо и имеет душу, поскольку мертвое не способно нравиться или отталкивать, одаривать или ввергать в духовную нищету. Это очень петербургская струна мировосприятия.

Анциферов в «Душе Петербурга» показывает «текучесть» образа города в русской литературе. «Ликующий», победоносный Петербург XVIII века, грозный и трагический Петербург пушкинского Медного всадника, похожий на мрачную фантазмагорию Петербург Достоевского, абстрактно-математический, насквозь выдуманный Петербург Белого и вновь трагический, открытый ветрам эпохи Петербург Блока — трудно поверить, что это лишь разные выражения одного и того же лица города. Возникает невольное искушение вслед за Герценом назвать Петербург эклектичным городом, который «на все похож», таким старым актером, готовым сыграть любую роль вплоть до последней, коммунистической. Но ближе к истине другое — сходство поэтики Петербурга с поэтической туманностью, увлекающей в мир видений, светлых и мрачных, радостных и грустных, почти любых, но неизменно далеких от «плоской» реальности.

*

П. ЛИДИЯ ИВАНОВА. Воспоминания. Книга об отце. Paris. «Atheneum». 1990. 431 стр.

Выше уже было замечено, что последние годы духовно мы живем «в поисках утраченного времени»; оно, однако, нередко оказывается утраченным безнадежно, таким стойким «невозвращенцем», не поворачиваемым вспять никакими усилиями мемуаристов. Впрочем, у культуры есть органическая склонность к жизни воспоминаниями. Ибо воспоминания — прустовский парадокс — в каком-то смысле могут стать и большим, нежели то, что они хранят в миги исторического или личного

сегодня. Книга, о которой пойдет речь, — воспоминания Лидии Вячеславовны Ивановой об отце, Вячеславе Ивановиче Иванове, изданные в 1990 году в Париже на русском языке, — прекрасно демонстрирует родство стихий памяти и культуры. Книга эта написана просто, без претензий и без гордыни, не так уж часто покидающей мемуаристов с богатым жизненным опытом, всю «раритетность» которого они прекрасно знают. Проницательная Э. Гиппиус, некогда вскользь заметившая, что «с В. И. (Вяч. Ивановым. — С. Н.) живет его милая, тихоликкая дочь», произнесла, пожалуй, ключевое слово для понимания личности Лидии Вячеславовны Ивановой, бесхитростно отраженной в ее мемуарах. «Тихоликость», сплав созерцательной задумчивости и доброты, есть именно то, что бросается в глаза на фотографиях Лидии Вячеславовны, что сквозит, как теплый свет сквозь легкие, сотканые из сдержанности и приличий шторы, на многих страницах ее воспоминаний.

Истинный мемуарист равно внимателен к малому и великому. Незначительные будни и потрясающие значением события у него — соседи, собственно, так же, как и в жизни. В этом отношении Л. В. Иванова — мемуарист истинный, ценящий «вкус» детали, колорит пестрых мелочей жизни, которые, кстати, нередко имеют свойство неожиданно расти в значении. Скажем, описание вечера, проведенного с отцом в гостях у П. Флоренского в «Троице-Сергиевске», завершается как бы полусутоливо: «Он провожал нас... Переходя через речку или канаву по деревянному мостику, я заметила на земле булавку и наклонилась, чтобы ее поднять. — Оставьте ее, — сказал Флоренский, — вещи с острыми опасны. Они могут быть заколдованы». Как исподволь и тонко эта запомнившаяся «мелочь» характеризует Флоренского и как легко на ней одной может быть построен целый портрет личности мыслителя!

Жизнь Лидии Вячеславовны Ивановой (а она невольно пишет в мемуарах и о себе) не назовешь переломанной надвое революцией 1917 года, как то случилось со многими из русской интеллигенции ее поколения. В семье Ивановых «смерч» революции старались не замечать, пожалуй, так же, как стараются, сберегая хорошее настроение и бодрость духа, не замечать наводящее тоску ненастье за окном, и (что любопытно!) сумели отстраниться от нее как от исторического явления. Точно так же кажется незамеченным в книге Л. В. Ивановой и итальянский фашизм, который ей довелось узнать ближе, чем русский большевизм. А при описании отъезда семьи из России в 1924 году находим мы спокойные строки: «Если бы я не видела при отъезде НЭПа, у меня была бы страшная тоска по Родине. НЭП избавил меня от этой невзгоды».

Рассказывая о последних днях жизни отца, Лидия Вячеславовна приводит такие его прощальные и напутственные слова: «Слушай, что бы у тебя в жизни ни случилось, смотри! не допусти, чтобы у тебя зародилось подполье». Избежать духовного подполья просто было всегда — в России «на люди» выставлялось немногое; склонность к потаенному душевному «беззаконничеству», к бунтарству под маской смирения жила постоянно. Вячеслав Иванов всему этому был чужд (хотя

и подчеркивали в его жизни поверхностную театральность), чужд естественно — от не любви к дисгармонии. В воспоминаниях дочери он предстает мудрым и непротиворечивым человеком, личностью без «двойного дна». Это последнее, не слишком очевидное в творчестве и биографии Вячеслава Иванова, выступает в воспоминаниях Лидии Вячеславовны как сама собой разумеющаяся черта, лишь завуалированная ученостью, светскостью, утонченностью. Может, и действительно «головоломная» сложность и «святая» простота — родные сестры. По крайней мере книга Л. В. Ивановой наводит на эту мысль, на невольную параллель между, казалось бы, обремененной опытом старостью культуры и безоблачно-поэтическим ее детством. Вячеслав Иванов, кажется, был равно близок и тому и другому.

*

Ш. Э. ГОЛЛЕРБАХ. Город муз. Повесть о Царском Селе. Л. 1930. 192 стр. Факсимильное издание.

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ. Город муз. Приложение к факсимильному изданию. Авторы сопроводительной статьи и примечаний О. С. Остроу, Л. И. Юнберг. М. «Книга». 1990. 93 стр.

В известной работе «Национальный вопрос в России» Вл. Соловьев заметил по поводу взгляда И. Киреевского на иконопочитание — когда, по Киреевскому, простые «доски с изображением» за счет обращенной на них энергии народной веры превращаются в нечто действительно святое, — что такого истолкования достоин лишь «животный магнетизм»: он подразумевал своеобразное намагничивание окружающих предметов и явлений обращенной на них душевной силой. Независимо от иронии философа вспомнить о «магнетизме», кажется, будет уместно, если вести речь о книге Э. Голлербах «Город муз». Первоначально изданная в Ленинграде в 1927 году, переизданная самим автором в 1930-м и, наконец, вновь факсимильно изданная (с этого последнего издания) в Москве книга — может быть, лучшая в творческом наследии Голлербаха — повествует о феномене Царского Села в русской культуре, замечательном как раз тем, что этот живописный пригород Петербурга, одна из бывших царских резиденций и небольшой городок, где жили или часто бывали многие прославленные писатели и поэты, изданная оказалась как бы намагничена творческой энергией, не равен себе самому при всей своей относительной обыкновенности на фоне других «царственных» пригородов отставной столицы — Петергофа, Павловска, Ораниенбаума. Петергоф, например, архитектурно и скульптурно примечательнее, ярче — в нем ошугима «рука Петра», сублимированная в прекрасное стихия воды, моря, ветра, нечто легендарно петербургское. Но аура избранности, звание «приюта муз», побуждающего к творчеству, лишь у Царского Села. И не просто потому, что в Царском Селе жили и творили прославленные люди искусства от Пушкина до Иннокентия Анненского. Голлербах чуток к особой затаенной художественной магии Царского Села, которое с пушкинских времен «превратилось из города в литературный символ и

для целой плеяды поэтов стало не только биографическим фактом, но превратилось в „Элизиум теней”.

Жить и творить в «Элизиуме теней», может быть, однако, как раз непросто — воспоминания, даже прекрасные, исподволь «дирижируют» психикой человека, ограничивают внутреннюю свободу. Характерно, что Александр Блок с его любовью к простору и пустынности, питавшим чувство свободы, оставался сдержанным по отношению к утонченным красотам Царского Села. «Блок, — замечает автор, — любил «царскосельский пейзаж» в целом, но к дворцам, к памятникам, к роскоши минувших лет был равнодушен. Унылое поле за Кузьминным ему казалось прекрасней, чем барочная пышность Эрмитажа...»

Голлербах, искусствовед и библиофил, много лет отдавший музейной работе, поклонялся Царскому Селу не столько как малой родине, городу своего детства, овеянному дорогими личными воспоминаниями, сколько как музею под открытым небом, жизнь в котором роднит с хранимыми в нем раритетами. Но спорность всякого «земного» культа, в частности музейного, в том, что, отдавая наши живые чувства предмету поклонения — творя кумиров, — мы как бы уменьшаемся сами, а намагниченные нашей духовной энергией памятники не стареют в значении именно за счет этой неосознанной жертвенности. Кажется, Эрих Федорович Голлербах принадлежал к такому стихийно жертвенному типу людей. Конечно, самовыявлению Голлербаха как оригинального философа и художника мешала и эпоха — оголтело «левацкие» 20-е и

страшные, кровавые 30-е годы, — но прочитывается в судьбе Голлербаха и жертва тем формам красоты, которые созданы в минувшем, жертва, обрекавшая на их благоговейное хранение, стстранявшая от творчества нового. А могло, думается, случиться иначе, будь у автора «Города муз» больше творческой самонадеянности. Прислушаемся к таким хотя бы дышащим отнюдь не «музейной» поэзией строкам его книги: «Я ощущаю тебя, мой город, как собственное свое тело и вот эту поломанную скамейку чувствую, как царапину на пальце, поврежденную статую — как заусеницу. Осенью, когда дожди разрыхляют аллеи и слюнявят шоссе, я чувствую, кажется, на всем теле налет дождевой сырости».

И последнее о книге «Город муз»: начавшись изысканно и витиевато описанием пышных екатерининских времен, когда впервые зашVELO Царское Село как «приют муз», книга становится строже, торжественней, прикасаясь к пушкинской эпохе, затем обволакивается тонким флером грусти, когда речь идет о начале XX века, и, наконец, побеждает траурно-печальная интонация при описании лет революционной смуты. Царское Село стало усыпальницей великого культурного прошлого, при вступлении в которую становится прежде всего грустно: «...чья-то могучая мозолистая рука навсегда задернула плотной завесой из домотканой холстины маленькую сцену, которая называлась Царским Селом...»

Сергей Носов.

Ленинград.

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ*

*

Ф. А. СТЕПУН. Бывшее и несбывшееся. Лондон. «Overseas Publications Interchange Ltd». 1990. 800 стр.

Воспоминания, или философская исповедь, Ф. Степуна охватывают годы культурного и духовного подъема России в начале XX века и доведены до октябрьского переворота и времен военного коммунизма. Первое издание книги вышло в Нью-Йорке в Издательстве имени Чехова в 1956 году.

Н. А. СТРУВЕ. Осип Манделштам. Лондон. «Overseas Publications Interchange Ltd». 1990. 336 стр.

Автоперевод с французского исследования о Манделштаме, представленного в 1979 году на соискание ученой степени доктора. В приложении — биографическая хроника «Дела и дни Манделштама».

АННА АХМАТОВА. Полное собрание стихотворений на русском и английском языках. Т. 1. Сомервилл (США). «Zephyr Press» 1990. 650 стр.

Перевод стихотворений Ахматовой осуществлен английским поэтом Юдит Хемшмайер, стремившейся вызвать у читателя «чистое ощущение поэзии Ахматовой». Научная биография Ахматовой на английском языке (150 стр.) составлена доктором Робертой Ридер; краткое предисловие к изданию — Анатолия Наймана. В многотомное издание войдет 700 стихотворений, 100 фотографий поэта и полная библиография.

Н. П. ОКУНЕВ. Дневник москвича (1917—1924). Париж. YMCA-PRESS. 1990. 600 стр.

Издание подготовлено в самиздате еще в конце 70-х годов и вошло в серию «Наше недавнее» Всероссийской мемуарной библиотеки, основанной А. И. Солженицыным за рубежом. Добросовестная летопись московской жизни с точки зрения «народного здравого смысла».

Н. П. ПОЛТОРАЦКИЙ. Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение. Сборник статей. Тенафлай (США). «Эрмитаж». 1989. 320 стр.

Включены статьи «И. А. Ильин и Православие»,

* Начиная с этого номера, журнал будет регулярно информировать читателя о книжных новинках зарубежных издательств

«Русские зарубежные писатели в литературно-философской критике И. А. Ильина», «И. А. Ильин и П. Б. Струве» и др. Приведены записи И. А. Ильина о русской революции и большевизме и письма И. А. Ильина к П. Б. Струве (1925—1927). Статьи сопровождаются обстоятельными комментариями.

ПРОТОПРЕСВИТЕР А. ШМЕМАН. Воскресные беседы. Париж. YMCA-PRESS. 1989. 255 стр.

Посмертное издание проповедей о. Александра на «Радио Свобода», состоящее из трех частей: «О Вере и Откровении», «Церковный год», «Почитание Божьей Матери».

Прот. В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ. История русской философии. Тт. 1—2. Второе издание. Париж. YMCA-PRESS. 1989. 470 и 478 стр.

Исправленное и дополненное фундаментальное исследование о путях философии в России, сложившейся на основе лекций автора в Парижском Богословском институте. Первое издание вышло в Париже в 1950 году.

Н. А. БЕРДЯЕВ. Собрание сочинений. Т. 3. Тщны религиозной мысли в России. Париж. YMCA-PRESS. 1989. 714 стр.

Собрание статей 1904—1939 годов о русских философах и писателях А. С. Хомякове, Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом, К. Н. Леонтьеве, В. С. Соловьеве и других. Соответствует давнему замыслу Н. А. Бердяева, еще в 1944 году подготовившему материалы для намеченного, но не выпущенного французского издания.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ. Испанские мистики. Под редакцией и со вступительной статьей профессора Темиры Пахмусель. Брюссель. «Жизнь с Богом». 1988. 378+8 стр.

Предсмертная трилогия Д. С. Мережковского о великих католических святых — св. Терезе Авильской, св. Иоанне Креста и Маленькой Терезе, французской монахини Кармелитского ордена, канонизированной в 1925 году. Первое полное и комментированное издание.

Составитель А. Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов (зам. главного редактора), **А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор А. Гинзбург

Адрес редакции 103806, ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 11.11.90.

Подписано к печати 25.01.91.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Офсетная печать. Объем 16 п. л.
(22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отг.). 28,01 уч.-изд. л.

Тираж 958.000 экз. (2-й завод 170.001—670.000 экз.). Зак. 01420011. Цена 2 р. 10 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Набрано и изготовлены диалитивы в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.
Отпечатано в типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна». Киев-47, проспект Победы, 50.

***В 1991 году «Новый мир»
предполагает опубликовать:***

- ВИКТОР АСТАФЬЕВ. **Прокляты и убиты** (роман);
ЛЕОНИД БЕЖИН. **Калоши счастья** (записки случайного философа);
ВАСИЛИЙ БЕЛОВ. **Год великого перелома** (роман);
АНДРЕЙ БИТОВ. **Япония как она есть** (повесть);
ИОСИФ БРОДСКИЙ. **О Марине Цветаевой** (два эссе);
П. ВАЙЛЬ, А. ГЕНИС. **Страна слов** (эссе);
В. ДОМОГАЦКИЙ. **Кладовка** (воспоминания);
В. ЛОБАС. **Желтые короли** (записки нью-йоркского таксиста);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. **Рассказы**;
ВЛАДИМИР МАКСИМОВ. **И Аз воздам** (роман);
ЧЕСЛАВ МИЛОШ. **Стихи разных лет** (перевод с польского);
МАРИНА ПАЛЕЙ. **Кабирия с Обводного канала** (повесть);
ПЕРЕПИСКА В. В. РОЗАНОВА и М. О. ГЕРШЕНЗОНА;
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Время ночь** (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПИСКУНОВ. **Чью душу желаете?** (повесть);
ФЕЛИКС СВЕТОВ. **Отверзи ми двери** (роман);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Бодался телёнок с дубом** (новые главы «очерков литературной жизни»);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Апрель Семнадцатого** (заключительный «узел» исторической эпопеи «Красное колесо»);
П. Б. СТРУВЕ. **За свободу и величие России** (статьи, заметки, письма);
С. И. ФУДЕЛЬ. **Воспоминания**;
ДАНИИЛ ХАРМС. **Дневники**;
ВИКТОР ЯРОШЕНКО. **Энергия распада** (очерки политических обстоятельств 1989—1990 годов);
и другие произведения.
Следите за нашими анонсами.

С 1991 года в журнале появится новая рубрика «РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР»; будет продолжен и завершен цикл публикаций «ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ».

Цена 1 номера — 2 р. 10 к. Подписка на квартал — 6 р. 30 к., на полгода — 12 р. 60 к., на год — 25 р. 20 к. Подписка принимается без ограничений до 1-го числа предподписного месяца.